This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

B 862,097

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN · LIBRARIES · 1817

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN · LIBRARIES · 1817

Bogdanovich
ВЛАДИМИРА

А. И. Богдановичъ.

Годы перелома.

1895—1906.

Сборникъ критическихъ статей.

со вступительными статьями Короленко, Куприна и Невѣдомскаго.

Книгоиздательство „Міръ Божій“
СПБ. — 1908 г.

ВЛАДИМИРА

А. И. Богдановичъ.

Годы перелома.

1895—1906.

Сборникъ критическихъ статей.

со вступительными статьями Короленко, Куприна и Невѣдомскаго.

Книгоиздательство „Міръ Божій“
СПБ. — 1908 г.

Страничка изъ исторіи реакціонной прессы 320
Великая годовщина—пятидесятилѣтіе смерти Гоголя 326
Типы Гоголя въ современной обстановкѣ.—„Служащій", разсказъ г. Елпатьевскаго 333
Г. Ив. Успенскій въ воспоминаніяхъ В. Г. Короленко 346
Современные славянофилы.—Начало Русскаго собранія 359
„Въ Туманѣ" Андреева и „Одна за многихъ" 372
„Очерки и разсказы" Вл. Короленко т. III 386
О г. Купринѣ и другихъ молодыхъ беллетристахъ.—Еще о г. Короленкѣ 397
Памяти Н. К. Михайловскаго 410
Въ области женскаго вопроса 415
„Петръ и Алексѣй", ром. г. Мережковскаго.—„Страна отцовъ" г. Гусева-Оренбургскаго 429
„Разсказы" г. Арцыбашева 444

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN · LIBRARIES · 1817

А. Гобсеманн-Бергъ

Фототипія В. Кенигъ, С. Петербургъ, Надеждинская ул. № 7-9
Бумага Н. Кенигъ

Памяти А. И. Богдановича.

Существуетъ прекрасный, полный героической трогательности разсказъ объ одномъ адъютантѣ Наполеона. Въ разгарѣ сраженія онъ подскакалъ къ императору, пославшему его съ какимъ то порученіемъ, сдѣлалъ точный, спокойный докладъ, но вдругъ началъ блѣднѣть и шататься въ сѣдлѣ.—„Etes vous blessé, monsieur? — спросилъ Наполеонъ.— „Pardon, sir, je suis mort“ — отвѣтилъ офицеръ и упалъ мертвымъ на шею коня.

Мнѣ вспоминается этотъ разсказъ, когда я думаю о послѣднихъ дняхъ и о смерти Ангела Ивановича Богдановича. До тѣхъ поръ, пока была возможность держаться на ногахъ, онъ мужественно отдавалъ журналу послѣднія крохи жизненной энергіи, преодолѣвая давнишнюю тяжкую болѣзнь, страданія отъ которыхъ стали подъ конецъ невозможно-жестокими. Оставивъ редакцію, онъ въ тотъ же день слегъ въ постель и черезъ нѣсколько недѣль умеръ.

Однажды вечеромъ, вотъ уже годъ тому назадъ, я засталъ его въ редакціи. Онъ былъ одинъ и сидѣлъ за корректурой, нагнувшись, совсѣмъ приблизивъ къ листу свои слабые глаза въ темныхъ очкахъ. Низко опущенный абажуръ лампы оставлялъ всю комнату въ зеленоватомъ сумракѣ, но въ свѣтломъ кругѣ, падавшемъ на столъ, особенно четко выдѣлялся прямой проборъ мягкихъ волосъ, блѣдное, безкровное, исхудалое лицо, свѣтлая бородка, заостренная книзу, и сухая бѣлая рука, нервно чертившая на поляхъ корректурные знаки. Помню, меня поразилъ тогда его голосъ:

А. Тобольцев

Фототипия В. Киссонъ, С. Петербургъ, Лиговская ул. № 7-2
Бромпр. В. Бонгартъ

излюбленное людьми мѣстоимѣніе „я“ онъ замѣнялъ въ разговорахъ съ сотрудниками собирательнымъ редакціоннымъ „мы“.

Вообще я не зналъ болѣе молчаливаго человѣка, чѣмъ Богдановичъ и думаю, что немногословность его проистекала равномѣрно, какъ изъ серьезной замкнутости сильнаго, трезваго и осторожнаго характера, такъ и отъ долголѣтней привычки къ упорной кабинетной работѣ. На редакціонныхъ собраніяхъ онъ подолгу не произносилъ ни одного слова, слушая или дѣлая видъ, что слушаетъ, вертя въ это время въ пальцахъ карандашъ или нервно покручивая въ одну сторону кончикъ бороды. Но когда ему приходилось высказываться, онъ говорилъ сжато и быстро, никогда не останавливаясь ни на мгновеніе, для подысканія слова. Въ эти короткія минуты онъ не позволялъ перебивать себя. Онъ произносилъ спокойно: „виноватъ, я сейчасъ кончу,“ и продолжалъ свою рѣчь оттуда, гдѣ остановился, съ той непоколебимой дѣловой логичностью, ясностью изложенія и знаніемъ вопроса, которымъ трудно бывало противустоять. Передъ большой же публикой онъ, насколько я знаю, никогда не выступалъ, боясь за свои нервы.

Работоспособность его была поразительна. Онъ читалъ въ рукописяхъ статьи почти по всѣмъ отдѣламъ журнала, держалъ ихъ корректуры, велъ громадную дѣловую переписку, принималъ извѣстныхъ авторовъ, а также дебютантовъ въ литературѣ, что между прочимъ одинаково трудно, длительно и неудобно, писалъ рецензіи и критическія статьи, распредѣлялъ матерьялъ для очередной книжки, сносился съ типографіей, торопилъ брошюровочную. Казалось, въ немъ жила какая-то ненасытная потребность заваливать себя сверхъ головы работой. Кто-то сказалъ про него въ шутку: еслибы у Богдановича оставалось время, онъ бы самъ набиралъ статьи, верстал ихъ и печаталъ.

Какъ настоящій безпримѣрный труженикъ, онъ не терпѣлъ праздной болтовни, и высоко цѣнилъ дѣловое время. Поэтому разговоры его съ авторами отличались лаконичностью. Если писатель во что бы то ни было жаждалъ прочитать ему немедленно же, вслухъ, свою повѣсть размѣромъ

въ три, четыре печатныхъ листа,—онъ говорилъ коротко, но твердо: „оставьте здѣсь рукопись, мы сами прочтемъ". Возвращая статью автору-неудачнику онъ говорилъ: „это намъ не подходитъ," а на настойчивые просьбы сказать откровенно, почему именно не подходитъ, онъ отвѣчалъ съ серьезной, дѣловой откровенностью „потому что плохо написано". Авторовъ-графомановъ, и, болѣзненно-обидчивыхъ дамъ-романистокъ онъ избѣгалъ, какъ огня.

Такой образъ дѣйствія очень понятенъ со стороны, но совершенно непонятенъ авторамъ, и вотъ о Богдановичѣ пошло ходячее мнѣніе, какъ о человѣкѣ съ угловатымъ, нетерпѣливымъ и высокомѣрнымъ характеромъ, на что впрочемъ онъ не обращалъ никакого вниманія. Однако онъ одинъ изъ первыхъ привѣтствовалъ исключительные таланты Горькаго и Андреева и воспріялъ отъ купели юношескія произведенія многихъ беллетристовъ, пользующихся теперь большой извѣстностью, а тогда—робкихъ, застѣнчивыхъ, уступчивыхъ и признательныхъ новичковъ. *Тѣ, кому слѣдуетъ, поймутъ меня.* Правда, онъ никогда не нѣжничалъ, не льстилъ, не предсказывалъ писателю будущности, не распредѣлялъ мѣстъ въ литературномъ пантеонѣ. Онъ просто говорилъ: „это намъ подходитъ" или „ваша рукопись сдана въ наборъ". Эту краткость и сухость тоже относятъ насчетъ его нелюдимости, мизантропіи, самомнѣнія и т. д. А между тѣмъ это была только привычная манера дѣлового и страшно занятаго человѣка. Я утверждаю, что подъ его внѣшней холодной и сухой манерой обращенія таилась истинная, сердечная привязанность къ носителямъ даже незначительныхъ талантовъ. Для него бывало большой радостью, когда „нашъ" сотрудникъ попадалъ въ книжки „Знанія", получая такимъ образомъ нѣкоторый патентъ на экзаменъ, выдержанный во второй классъ. И — хотя это всегда отзывалось впослѣдствіи проигрышемъ для журнала—онъ всячески содѣйствовалъ, насколько это отъ него зависѣло, тому что бы экзаменующій получилъ удовлетворительный баллъ и былъ принятъ.

Но были два предмета его постоянныхъ волненій и нѣжной заботливости—это „нашъ журналъ" и „нашъ чи-

татель.“ Оба они были для А. И. реальными, почти живыми существами. Имъ онъ отдавалъ всю свою душу, о нихъ думалъ съ утра до вечера, ради нихъ усугублялъ свою осторожную недовѣрчивость испытаннаго журналиста. Поэтому онъ и бывалъ такъ упрямо безпощаденъ къ перебѣжчикамъ, къ людямъ съ подмоченной репутаціей, къ писателямъ-флюгерамъ, готовымъ писать какъ, гдѣ и что угодно; здѣсь его антипатіи стояли незыблемой стѣной. Наконецъ—и только при нарушеніи интересовъ любимаго журнала—на Богдановича изрѣдка, раза 2—3 въ годъ находили припадки настоящей, не знающей границъ ярости, тѣмъ болѣе страшной, что она оттѣнялась всегдашнимъ спокойствіемъ. Въ одномъ изъ подобныхъ настроеній Богдановичъ однажды такъ объяснился съ придирчивымъ цензоромъ, что редакція журнала съ этой поры не рѣшалась болѣе утруждать его объясненіемъ по дѣламъ печати.— Безкорыстный джентльментъ, уступчивый въ вопросахъ денежныхъ и издательскихъ—онъ становился деспотичнымъ и вспыльчивымъ, когда дѣло касалось репутаціи и чести его знамени—журнала.

Несмотря на громадный трудъ по журналу, Ангелъ Ивановичъ, читалъ поразительно много и, что еще дороже, обладалъ исключительною памятью, въ которой множество самыхъ разнообразныхъ знаній укладывались легко и въ порядкѣ. Никто легче его не обличалъ плагіаторовъ. Это былъ настоящій энциклопедическій умъ, живой справочникъ, въ которомъ умѣщались даже такія свѣдѣнія, которыя были совсѣмъ далеки отъ спеціальнаго медицинскаго образованія Ан. И—ча, и отъ его писательской профессіи. Онъ удивлялъ иногда точными и обширными познаніями въ военномъ искусствѣ, въ конскомъ и атлетическомъ спортѣ, въ православномъ богослуженіи, хотя самъ былъ католикомъ, въ естественныхъ наукахъ, въ математикѣ, въ медицинѣ, въ исторіи, въ музыкѣ, въ политической экономіи, въ живописи, и во многомъ другомъ. Но мнѣнія свои онъ высказывалъ всегда кратко и притомъ въ самой скромной формѣ: „если я не ошибаюсь“... „насколько помню“... „какъ мнѣ кажется.“

Многимъ, изъ знавшихъ Богдановича лишь издали,

поверхностно, покажется невѣроятнымъ, чтобы этотъ болѣзненный, глубоко-серьезный, молчаливый человѣкъ могъ страстно любить наиболѣе яркія, самыя цвѣтныя стороны жизни. Еще за пять лѣтъ до своей смерти, онъ неизмѣнно ходилъ смотрѣть, откуда то съ Канавки, на военные майскіе парады и совершенно искренно, даже наивно восхищался голосомъ діакона Малинина на Смоленскомъ кладбищѣ во время заупокойной обѣдни по В. П. Острогорскомъ. Онъ съ удовольствіемъ, въ видѣ отдыха, читалъ Шерлока Хольмса, Дюма-отца и романы съ приключеніями, и онъ былъ поклонникомъ физическаго здоровья, мускульной силы, ловкости, красоты, нормальной чувственности, отваги, легендарнаго героизма и переносилъ эти симпатіи въ свои сужденія о литературѣ. Я помню, какъ трогательно, наивно и смѣшно, съ необыкновенной серьезностью онъ отозвался объ одномъ авторѣ, принесшемъ въ журналъ свое произведеніе: „романъ хорошъ, мы его напечатаемъ, но ужасно жалко, что авторъ такой плюгавый на видъ". Яркость и сочность красокъ, здоровая и простая художественность, сила изображенія и мѣткость взгляда болѣе всего прельщали его въ произведеніяхъ беллетристикики

Но болѣзнь и усталость брали свое, все болѣе съуживая кругъ личной жизни. За послѣдній годъ мы ни разу не видали даже тѣни улыбки на строгомъ лицѣ Богдановича. Въ обращеніи его съ людьми проглядывала утомленность и сумрачная, но мягкая грусть. Журнальныя невзгоды, вродѣ колебаній подписки, неизбѣжныхъ внутреннихъ неурядицъ, административныхъ нападокъ и т. д., уже не возбуждали въ немъ, какъ раньше, мгновенныхъ, хотя и рѣдкихъ взрывовъ негодованія—онъ принималъ ихъ съ покорной тоской, затаенной подъ внѣшней выдержанной холодностью. И самая политическая ненависть, прежде такъ глубоко возмущавшая и колебавшая его усталую душу, подъ конецъ улеглась и устоялась въ безповоротное презрѣніе и молчаливую брезгливость.

Зналъ ли онъ, предчувствовалъ ли свой близкій конецъ? Никто изъ насъ не съумѣетъ отвѣтить на это, потому что никого онъ не пускалъ въ свою замкнутую душу. Но до

послѣднихъ минутъ главнымъ центромъ его сознанія, важнѣйшимъ интересомъ его угасавшей жизни были все тѣже два, одухотворенные въ его глазахъ существа—„нашъ журналъ“ и „нашъ читатель“. Имъ онъ остался вѣренъ до смерти.

Храбрый солдатъ покидаетъ свой постъ только тогда, когда изъ его рукъ само вываливается знамя, и глаза заволакиваетъ холодный туманъ. Преклонимся передъ этимъ образомъ героизма. Но также снимемъ шляпы и опустимъ головы передъ ежедневнымъ, незамѣтнымъ, будничнымъ самоотверженіемъ, идущимъ вплоть до могилы. Это я говорю тому читателю, на служеніе которому Богдановичъ сжегъ свою жизнь.

А. Купринъ.

Ангелъ Ивановичъ Богдановичъ.

(Черты изъ личныхъ воспоминаній).

Въ 1885 году послѣ долгихъ скитаній судьба закинула меня въ Нижній-Новгородъ. Городъ для меня былъ чужой, знакомыхъ вначалѣ не было. Единственное учрежденіе, родственное, такъ сказать, по духу всякому россійскому интеллигентному скитальцу,—была общественная библіотека, въ которой я и проводилъ не мало часовъ за книгами и газетами. Однажды, сидя такимъ образомъ за читальнымъ столомъ и поднявъ глаза, я встрѣтилъ взглядъ сидѣвшаго напротивъ меня очень молодого человѣка, въ очкахъ. Казалось, онъ хотѣлъ заговорить о чемъ-то, но затѣмъ опять опустилъ глаза въ книгу, а вскорѣ поднялся и вышелъ.

Я сразу почувствовалъ въ этомъ незнакомомъ молодомъ человѣкѣ что-то родственное, точно мы принадлежали оба къ какому-нибудь ордену и угадывали это товарищество по неуловимымъ признакамъ.

Дня черезъ два мой братъ, тоже вернувшійся изъ библіотеки, сказалъ, что тамъ къ нему подошелъ и познакомился съ нимъ молодой человѣкъ, бывшій кіевскій студентъ, живущій въ Нижнемъ подъ надзоромъ полиціи.

Это былъ Ангелъ Ивановичъ Богдановичъ.

Полякъ по происхожденію, р.-католикъ по исповѣданію, А. И. Богдановичъ въ дѣтствѣ попалъ вмѣстѣ съ семьей въ нижегородскую губернію, гдѣ выросъ и получилъ среднее образованіе. Впечатлѣнія приволжскаго края окружали та-

кимъ образомъ его дѣтскіе годы, русская гимназія дала ему знанія и товарищество, русская литература естественно и просто заполонила молодую душу. Не забывая родного языка, онъ однако былъ русскимъ по главному содержанію чувства и мысли. Это не былъ переходъ отъ „завоеванныхъ“ къ торжествующимъ „завоевателямъ“. Какая Россія влекла къ себѣ душу молодого поляка видно хотя-бы изъ того состоянія „поднадзорности“, въ какомъ мы съ братомъ застали его въ Нижнемъ.

Въ журналѣ „Былое“ (январь 1907 года) въ статьѣ А. Баха сообщаются нѣкоторыя свѣдѣнія о „дѣлѣ“, по которому привлекался въ Кіевѣ Богдановичъ. Студентомъ (кажется третьяго курса медицинскаго факультета), онъ принадлежалъ къ одному изъ кружковъ, главой котораго былъ Левинскій, отставной военный, о которомъ г. Бахъ говоритъ, какъ о человѣкѣ необыкновенно обаятельномъ. Кажется никакихъ еще прямо „преступныхъ“ дѣйствій кружокъ совершить не успѣлъ. Сближались съ молодежью и рабочими, причемъ дѣло сводилось главнымъ образомъ на разговоры. У Левинскаго были нѣкоторыя связи съ военными и онъ „готовился“ открыть тайную типографію, для которой пока у него было припасено только немного шрифта. Въ одно апрѣльское утро 1882 г. Левинскій вмѣстѣ съ Богдановичемъ были арестованы на улицѣ, и въ ихъ общей квартирѣ была найдена при обыскѣ „81 точка“, изъ типографскаго штрифта, случайно завалившаяся за сундукъ въ то время, когда шрифтъ убирали, чтобы перенести въ другую квартиру.

Времена были суровыя. Въ Кіевѣ свирѣпствовалъ военный прокуроръ знаменитый Стрѣльниковъ, терроризировавшій даже судей и добивавшійся нерѣдко самыхъ суровыхъ приговоровъ вплоть до смертной казни по ничтожнымъ поводамъ. Долго просидѣвъ въ крѣпости, Богдановичъ на судѣ произнесъ остроумную рѣчь, въ которой указалъ судьямъ на фантасмагорическое несоотвѣтствіе между статьей 249, карающей смертною казнію за дѣянія, грозящія ниспровергнуть насильственнымъ образомъ существующій строй, и... „восемьдесятъ одной точкой“, найденной въ его

квартирѣ. Эта рѣчь, а можетъ быть также молодость и симпатичность юнаго студента способствовали тому, что Богдановичъ даже стрѣльниковскимъ военнымъ судомъ былъ оправданъ. Но университетская карьера его была прекращена высылкой изъ Кіева въ Нижній.

Въ то время, къ которому относится наше знакомство, А. И. Богдановичъ жилъ въ Нижнемъ уже третій годъ, занимаясь частными уроками. Семья его переѣхала въ другой городъ. Онъ былъ одинокъ, и настроеніе его было довольно пессимистическое. Въ свободные часы онъ усердно штудировалъ Шопенгауэра, который въ то время читался молодежью такъ-же сильно, какъ въ 90-хъ годахъ болѣе впрочемъ легкій Ницше. Къ своей недавней революціонной карьерѣ онъ относился иронически, о „положеніи вещей" и возможности борьбы за лучшее отзывался съ насмѣшливой горечью, рѣчи его были пересыпаны парадоксами и сарказмами. Но подъ всѣмъ этимъ чувствовалось горячее сердце и безпокойный умъ, ищущій все-таки выхода и рѣшеній. Вскорѣ всѣ въ нашей семьѣ привязались къ молодому пессимисту, и часто въ нашей скромной квартиркѣ слышались его желчныя, порой остроумныя выходки, возраженія и споры.

Въ то время онъ все еще продолжалъ мечтать о довершеніи медицинскаго образованія, и, несмотря на то, что прошелъ всего три курса,—онъ любилъ давать медицинскіе совѣты, обнаруживая при этомъ познанія, значительно превышавшія его университетскій цензъ. Намъ всѣмъ казалось тогда, что настоящее призваніе Богдановича была медицина. Часто, у насъ говорили смѣясь, что при нѣкоторой желчности и способности къ интуиціямъ и отгадкѣ,—изъ него когда нибудь выйдетъ новый Захарьинъ...

Судьба однако судила иначе.

Я тогда, послѣ почти шестилѣтняго перерыва попытался опять вернуться къ литературѣ и сразу-же началъ много работать также въ мѣстной приволжской газетѣ „Волжскій Вѣстникъ", въ качествѣ корреспондента изъ Нижняго. Время тогда, въ половинѣ восьмидесятыхъ годовъ, было глухое, тяжелое. Общественные интересы во всѣхъ областяхъ жизни

упали. Общество проявляло совершенное равнодушіе даже къ близкимъ земскимъ и городскимъ вопросамъ. Засѣданія думы и земства происходили при полномъ отсутствіи публики. На весь обширный нижегородскій край былъ, кажется, единственный постоянный корреспондентъ, еврейскій казенный раввинъ Б. И. Заходеръ, посылавшій корреспонденціи въ нѣсколько газетъ. Это былъ человѣкъ довольно интеллигентный и доброжелательный, но писалъ онъ сухо и протокольно. Кромѣ того, какъ оффиціальному, а отчасти и неофиціальному посреднику между еврейскимъ населеніемъ и мѣстною администраціей—ему было неудобно возстановлять послѣднюю противъ себя, и потому многое, что совершалось подъ покровомъ „сильной власти" тогдашняго губернатора, Н. М. Баранова, — оставалось совсѣмъ безъ освѣщенія въ печати. Между тѣмъ, въ это глухое время особенно сильно чувствовалась потребность шевелить хоть ближайшую, окружающую среду, открывать форточки хотя бы въ томъ помѣщеніи, гдѣ приходится жить и работать.

Работы оказался непочатой уголъ, и я сталъ склонять Богдановича взяться за перо для провинціальной публицистики. Приглашеніе это онъ встрѣтилъ обычными саркастическими выходками. Что можетъ сдѣлать загнанная провинціальная печать и какую пользу принесетъ подцензурное обличеніе маленькихъ воришекъ и мелкихъ злоупотребленій?.. И такъ далѣе. Однако въ немъ сказалась очевидно несознанная внутреняя склонность. Да и дѣла болѣе крупнаго не видѣлось. Черезъ нѣсколько дней съ свойственной ему угрюмой застѣнчивостью, прикрытой обычными сарказмами, онъ принесъ мнѣ первую замѣтку для отсылки въ „Волжскій Вѣстникъ". Я теперь уже не помню, что это было и чего касалось. Помню только, что въ этомъ первомъ произведеніи сквозила еще большая неопытность и непривычка къ перу. Замѣтка появилась въ газетѣ, и черезъ нѣсколько дней, опять съ той-же небрежной насмѣшкой онъ принесъ мнѣ другую. За этой послѣдовала третья, четвертая и черезъ два-три мѣсяца Богдановичъ сталъ постояннымъ корреспондентомъ газеты изъ Нижняго. Очень быстро въ его стилѣ исчезли всѣ слѣды неопытности; онъ выработалъ себѣ сжатый,

точный языкъ образцоваго провинціальнаго корреспондента, въ то время по необходимости являвшагося не только репортеромъ текущихъ явленій, но и моралистомъ, проводникомъ въ застоявшуюся среду извѣстныхъ элементарныхъ общественно-политическихъ взглядовъ. При этомъ писанія Богдановича не страдали ни банальностью, ни многословіемъ. Необходимую дозу общественной морали онъ умѣлъ сводить на какое нибудь короткое обобщеніе, удачную сентенцію, счастливо подобранный афоризмъ любимаго писателя.

Вскорѣ послѣ этого подошло экстренное уѣздное земское собраніе. До какой степени глуха была тогда общественная жизнь даже въ большомъ провинціальномъ городѣ, какъ Нижній, показываетъ нашъ первый съ Богдановичемъ корреспондентскій дебютъ въ залѣ уѣзднаго земскаго собранія. О мѣстахъ для корреспондентовъ не было и рѣчи. Не было даже мѣстъ для публики, и Богдановичъ, пришедшій ранѣе, встрѣтилъ меня недоумѣвающимъ разсказомъ о томъ, что его сначала не пускали въ святилище, гдѣ господа дворяне съ небольшой кучкой покорныхъ волостныхъ писарей и старшинъ вершали дѣла уѣзда чисто келейнымъ образомъ. Въ концѣ концовъ насъ допустили въ залъ, посадивъ въ уголку на два свободныхъ стула, рядомъ со скамьей, гдѣ сидѣли самые робкіе изъ деревенскихъ гласныхъ, вскакивавшіе всякій разъ, когда въ ихъ сторону обращался строгій взглядъ предсѣдателя Андреева. Послѣдній, прежде чѣмъ открыть собраніе, подошелъ къ намъ и довольно строго спросилъ имя-отчество и фамилію. Тогда мужички гласные опасливо отодвинулись отъ насъ сколько можно было подальше... Было похоже, какъ будто мы проникали въ качествѣ развѣдчиковъ какого-то враждебнаго лагеря, и я видѣлъ, что въ Богдановичѣ уже это обстоятельство возбуждало особый интересъ. Послѣ этого онъ самымъ внимательнымъ образомъ прослѣдилъ всю сессію. Рѣчь шла между прочимъ о какомъ-то земскомъ постановленіи, опротестованномъ губернскимъ присутствіемъ. Богдановичъ написалъ отчетъ и замѣтку, въ которой поддерживалъ земство. Замѣтка произвела впечатлѣніе и, когда мѣсяца черезъ два

подошла обычная сессія очередного собранія, тотъ-же предсѣдатель Андреевъ встрѣтилъ Богдановича уже какъ знакомаго. Это былъ старый хищникъ, совмѣщавшій званіе предводителя дворянства съ предсѣдательствомъ въ управѣ, и еще въ нѣсколькихъ учрежденіяхъ (въ которыхъ впослѣдствіи оказались растраты)—умный ловкій, лицемѣрный, угодничавшій передъ губернаторомъ Барановымъ и державшій въ ежовыхъ рукавицахъ служащихъ; учителей онъ преслѣдовалъ съ безпощадной жестокостью мракобѣса. Къ появленію въ залѣ собранія корреспондентовъ онъ отнесся сначала съ явной недоброжелательностью. Это было дѣйствительно, вторженіе новаго или вѣрнѣе хорошо забытаго фактора мѣстной жизни: съ газетной гласностью тогда уже отвыкли считаться, и умный хищникъ не зналъ, какъ ее принять и какъ обойти въ своихъ видахъ. Быть можетъ, въ немъ шевелились уже мрачныя предчувствія, которымъ довольно скоро суждено было осуществиться. Какъ-бы то ни было,—пришлось мириться съ фактомъ и передъ началомъ очередной сессіи Андреевъ встрѣтилъ Богдановича уже какъ знакомаго.

— Да, заступайтесь за насъ, заступайтесь,—говорилъ онъ, пожимая руку „корреспондента". Богдановичъ, человѣкъ чрезвычайно прямой и довольно рѣзкій, никогда не отличавшійся „условной" любезностью,—довольно угрюмо и кисло отвѣтилъ на эти привѣтствія. Физіономія г-на предводителя въ то время для насъ уже выяснилась въ достаточной степени.

Между тѣмъ земская оппозиція, предводимая А. С. Гацискимъ и А. А. Савельевымъ, слабая и безсильная противъ Андреева, пользовавшагося могущественной поддержкой Баранова,—тоже замѣтила выступленіе „корреспондентовъ" и лучше Андреева оцѣнила это явленіе. Мы стали получать массу свѣдѣній, знакомившихъ насъ со всѣми закулисными пружинами мѣстной общественной жизни, и Богдановичъ изучилъ всѣ эти „соотношенія силъ" съ присущей ему дѣловой обстоятельностью. Цензура, конечно, ограждала отъ явныхъ нападеній и администрацію, и представителей первенствующаго сословья; выступать противъ нихъ значило явно становиться „неблагонадежнымъ". Но это, конечно, не пу-

гало „сосланнаго студента“, а никакая цензурная бдительность не можетъ предусмотрѣть всѣ хитрости настойчиваго и внимательнаго корреспондента, который, вдобавокъ, какъ это было въ данномъ случаѣ, вносилъ въ свое маленькое дѣло всю страсть, которую раньше надѣялся вложить въ дѣло болѣе широкое, и всю горечь недавнихъ пораженій.

Внимательный историкъ того глухого времени вообще и въ частности историкъ областной печати долженъ будетъ отмѣтить выдающееся значеніе для развитія провинціальной печати россійскаго „неблагонадежнаго“ скитальца. Уже въ недавнее время покойный кн. Н. В. Шаховской, объѣхавшій много провинціальныхъ городовъ для ознакомленія съ провинціальными органами печати, отмѣчалъ въ своемъ докладѣ (оглашенномъ отчасти въ газетахъ) то обстоятельство, что по составу сотрудниковъ областная печать состоитъ больше чѣмъ на половину изъ поднадзорныхъ и вообще, такъ называемыхъ, «неблагонадежныхъ элементовъ». И это повелось давно. Когда стремленія «въ народъ» и мечты семидесятниковъ о переустройствѣ общества наткнулись на некультурность и инертность массъ съ одной стороны и на ничѣмъ не сдержанный произволъ съ другой,—то явилось стремленіе, во-первыхъ, изучить народъ, что повлекло за собой необыкновенный расцвѣтъ земской статистики, а во-вторыхъ, воздѣйствовать все-таки на жизнь въ доступной степени и доступной формѣ. А это повлекло за собой расцвѣтъ провинціальной прессы. Несмотря на всѣ репрессіи и на систематическія преслѣдованія, провинціальная печать даже въ эти годы тяжелаго давленія, навалившагося на всѣ проявленія общественной жизни,—росла, ширилась, привлекая живыя силы и таланты, не находившіе другого исхода. Сквозь всѣ преграды, сквозь цензуру и административныя стѣсненія всякаго рода она прокладывала себѣ дорогу неудержимо и неуклонно, какъ не замерзшая вода подъ тяжелой ледяной корой. «Неблагонадежный» опальный скиталецъ вносилъ въ нее весь ядъ своего озлобленія и всю идеалогію своихъ задавленныхъ мечтаній. Загнанная и безсильная земская оппозиція находила въ немъ естественнаго, хотя порой строптиваго союзника, и сама крѣпла, а широкая го-

родская демократія получала наглядные уроки партизанской борьбы за право съ всевозможными угнетателями. И торжествующіе «господа положенія» нерѣдко ощущали на себѣ жестокіе удары этой задавленной и слабой печати. Какими косвенными порой путями приходилось дѣйствовать, какими рикошетами пускать выстрѣлы—видно, напримѣръ, изъ того, что скромная замѣтка того же Богдановича, касавшаяся балансовъ нижегородскаго дворянскаго банка, написанная такъ сухо, что никакой цензоръ не рѣшился бы ее задержать (особенно цензоръ газеты, выходившей въ другой губерніи)—была въ сущности первымъ выстрѣломъ систематической кампаніи, раскрывшей огромныя хищенія, произведенныя «цвѣтомъ нижегородскаго дворянства». Въ замѣткѣ, разсматривавшей только цифры, балансы и дивиденды, не было еще ни одного прямого указанія на сущность дѣла, котораго, конечно, не допустила бы даже иногородняя цензура. Но дворянскіе заправилы поняли, что кто-то проницательный и враждебный уже глядитъ въ самую глубь ихъ таинственныхъ операцій и уже улавливаетъ ихъ сущность. И они сдѣлали самое худшее, что можно было сдѣлать въ ихъ положеніи: въ ближайшемъ дворянскомъ собраніи, когда долженъ былъ разсматриваться банковскій отчетъ,—они удалили корреспондентовъ. Я помню, съ какимъ торжествомъ крамольная кучка корреспондентовъ встрѣтила эту мѣру. Изъ Нижняго полетѣли телеграммы въ нѣсколько газетъ, и черезъ два три дня сомнительное положеніе сословнаго нижегородскаго банка стало центромъ вниманія всей русской печати. Первая замѣтка Богдановича была лишь еле замѣтнымъ укусомъ. Телеграммы о закрытіи дверей передъ гласностію явились уже серьезнымъ ударомъ, пошатнувшимъ совершенно, казалось, прочное положеніе. Черезъ годъ или полтора банкъ нижегородскаго дворянства рухнулъ и изъ-подъ обломковъ обнаружилась милліонная растрата, совершавшаяся систематически торжествующими «хозяевами жизни», только что призванными спасать отечество...

Это было небольшое, частичное дѣло, но оно все-таки обладало всѣми свойствами «дѣла», оно давало конкретные, реальные результаты. Кончикъ остраго стального пера

являлся все-таки оружіемъ, способнымъ наносить и отражать удары въ этой мелкой, но широкой партизанской битвѣ. А за тѣмъ или другимъ прямымъ результатомъ слѣдовали косвенные: съ банкомъ потерпѣли крушеніе наиболѣе властные воротилы, въ томъ числѣ исчезъ съ нижегородскаго горизонта и Андреевъ. Соотношеніе силъ измѣнилось, либеральная оппозиція въ земствѣ смѣнила крѣпостниковъ; учителя и «третій элементъ» вздохнули свободнѣе...

Отъ Богдановича и теперь можно было порой слышать желчные парадоксы въ шопенгауэровскомъ вкусѣ; но они рѣже всего направлялись на роль и значеніе прессы. И это, конечно, объясняется не тѣмъ, чтобы это значеніе было дѣйствительно очень ужъ велико или, чтобы оно могло вполнѣ замѣнить жажду болѣе полнаго, прямого и широкаго дѣла... Конечно нѣтъ, и впослѣдствіи до конца жизни даже на болѣе обширной литературной аренѣ Богдановичъ ощущалъ неустанное недовольство своей работой. Но все-таки именно въ литературѣ онъ нашелъ себя, свое призваніе, дѣло своей жизни, куда можно было пристроить цѣликомъ его незаурядныя способности и силы...

Худо ли это или хорошо,—но постепенно онъ сталъ все меньше интересоваться медициной, мы рѣже получали отъ него „любительскіе“ рецепты и медицинскіе совѣты, и онъ все больше уходилъ въ роль обличителя и публициста. Одно время, въ нашемъ маленькомъ кружкѣ шутили, что Богдановичъ ходитъ точно весь заряженный обличеніями, и порой въ газетѣ появлялись совершенно неожиданные обличительные выстрѣлы, поражавшіе такъ сказать на лету какое-нибудь мелкое злоупотребленіе. Кромѣ корреспонденцій онъ сталъ вести въ той же газетѣ и нижегородскій фельетонъ, и я вспоминаю, какое волненіе поднималось иногда даже въ близкихъ Ангелу Ивановичу кружкахъ, такъ какъ порой онъ стрѣлялъ и по своимъ. Фельетоны эти были всегда ярки, остроумны, порой даже поэтичны; но въ нихъ сказывалась черта, оставшаяся отчасти и впослѣдствіи. А. И. былъ человѣкъ такъ сказать угловато-прямолинейный. Въ каждую данную минуту онъ весь отдавался настроенію, и за небольшой промахъ союзника онъ готовъ

былъ тотчасъ-же отвѣтить такъ стремительно и мѣтко, что потомъ самъ глубоко сожалѣлъ о нанесенной ранѣ. Тогда онъ бралъ свое перо въ другомъ настроеніи, и писалъ о томъ-же лицѣ такимъ тономъ, точно это былъ человѣкъ, совершенно чуждый всякихъ слабостей, стоящій выше малѣйшихъ подозрѣній въ способности ошибаться и дѣлать промахи. Такъ именно случилось однажды съ весьма почтеннымъ провинціальнымъ писателемъ и общественнымъ дѣятелемъ, извѣстнымъ А. С. Гацискимъ. Какъ у многихъ „историковъ", у него была страстишка къ хронологическимъ сопоставленіямъ, порой самаго удивительнаго свойства. По поводу одного изъ такихъ сопоставленій, имѣвшаго въ виду годовщину рожденія вліятельнаго купца, бывшаго въ то время городскимъ головой, — Богдановичъ написалъ замѣтку, справедливую по существу, но слишкомъ злую и не вполнѣ вѣрную въ перспективѣ. Когда Гацискій прочиталъ ее, у него на глазахъ явились слезы обиды... Ангелъ Ивановичъ былъ искренно удивленъ и опечаленъ эффектомъ своей вылазки. А такъ какъ сердце у него было очень доброе, то въ слѣдующемъ фельетонѣ онъ опять вернулся къ дѣятельности того-же Гацискаго, человѣка несомнѣнно хорошаго и много сдѣлавшаго для края. На этотъ разъ Гацискій имѣлъ полное основаніе считать себя удовлетвореннымъ. А такъ какъ въ томъ-же фельетонѣ Ангелу Ивановичу пришлось коснуться также и другихъ лицъ, то его благодушное настроеніе распространилось и на нихъ, и нѣкоторые нижегородцы совершенно неожиданно увидѣли себя красавцами въ зеркалѣ мѣстной прессы. Впослѣдствіи Богдановичу пришлось исправлять и эту ошибку только въ другую сторону...

Можно сказать, не боясь ошибиться, что въ эти глухіе годы только мѣстная печать шевелила, будила, раздражала, сердила и не давала слишкомъ ужъ зарываться тогдашнимъ хозяевамъ жизни. Мнѣ вспоминается одинъ случай, когда, выведенные изъ себя постояннымъ вмѣшательствомъ прессы, — мѣстные дворяне сдѣлали попытку удалить съ хоръ земскаго собранія всю публику, заявляя, что ихъ совѣсть стѣснена и они не могутъ говорить свободно. Произошло

бурное засѣданіе. „Оппозиція“ поднялась, какъ одинъ человѣкъ, и Гацискій, старый земецъ, говорившій всегда дѣльно, но довольно вяло, — на этотъ разъ произнесъ прекрасную рѣчь, полную истиннаго одушевленія. Богдановичъ, много волновавшійся по поводу этой исторіи, — написалъ одинъ изъ лучшихъ своихъ фельетоновъ; между прочимъ въ этомъ бурномъ собраніи произошло не совсѣмъ обычное происшествіе. Старый дворянинъ *Ликъ*, безсмѣнный съ давнихъ поръ губернскій гласный, никогда не открывавшій въ засѣданіяхъ рта, — на этотъ разъ поднялся со своего стула и заявилъ, что его совѣсть тоже стѣснена и онъ тоже не можетъ говорить свободно. Отмѣтивъ съ большимъ юморомъ этотъ небывалый эпизодъ, Богдановичъ прибавилъ: „Былъ мраченъ *ликъ* его печальный“. Этотъ каламбуръ сопровождалъ краснорѣчиваго дворянина Лика до самой могилы...

Въ 1890 году Богдановичъ вмѣстѣ съ другимъ товарищемъ, донынѣ работающимъ въ приволжской прессѣ А. А. Дробышъ-Дробышевскимъ, переѣхалъ въ Казань, гдѣ оба принимали сначала близкое участіе въ редактированіи „Волжскаго Вѣстника“ (издаваемаго тогда Н. В. Рейнгардтомъ), а затѣмъ перешли въ новооткрытыя „Казанскія Вѣсти“.

Это было время, когда работа въ провинціальной прессѣ являлась настоящимъ подвигомъ. Правда, голосъ печати уже имѣлъ большое значеніе,—относительно, можетъ быть, даже большее, чѣмъ теперь, такъ какъ газетная трибуна являлась единственной формой прямого обращенія къ обществу. Номера съ какой-нибудь удачной замѣткой, выбивавшейся на свѣтъ сквозь цензурныя ущелья,—ходили по рукамъ, замусливались и зачитывались въ клочки. Офиціальныя сферы провинціи были также воспріимчивы къ тому, что появлялось объ нихъ въ печати, а стѣсненія обходились до извѣстной степени тѣмъ, что о щекотливыхъ дѣлахъ напримѣръ Нижегородской губерніи—писалось въ газетѣ, выходящей въ Казани, а казанскія злобы находили освѣщеніе въ Саратовѣ. Однако, всѣ эти усердные читатели тогдашней провинціальной газеты подписывались на нее

туго: свѣжій газетный номеръ еще не вошелъ тогда въ обиходъ ежедневныхъ обывательскихъ потребностей, и тиражъ въ три тысячи экземпляровъ считался блестящимъ. Понятно поэтому, что и трудъ провинціальнаго публициста оплачивался очень плохо, требуя въ то же время огромнаго напряженія силъ. Богдановичъ и Дробышевскій составляли и выпускали номера, писали передовыя статьи, замѣтки, библіографическіе отзывы, Богдановичъ велъ еженедѣльный общественный фельетонъ. Его всевдонимъ „Зритель" скоро пріобрѣлъ извѣстность по всему среднему Поволожью, а порой нѣкоторыя блестки изъ его фельетоновъ стали залетать также на столбцы столичной печати. Вообще, изъ него вырабатывался незаурядный фельетонистъ, и даже въ послѣдніе годы, когда существованіе россійскихъ журналовъ становилось проблематическимъ и непрочнымъ,—онъ поговаривалъ часто и не безъ удовольствія о возможности вернуться къ газетному фельетону. За весь этотъ изумительный трудъ первое время, если не ошибаюсь, „редакторы" получали рублей по 50, впослѣдствіи что-то около 75-ти. Въ одномъ только эти непритязательные работники были требовательны и неуступчивы до прихотливости. Газета могла говорить не все, но то что въ ней появлялось, должно было точно и полно совпадать съ совершенно опредѣленной этической линіей. Исторія провинціальной печати того времени полна „протестами" и „коллективными выходами" сотрудниковъ при первыхъ-же попыткахъ со стороны издателей къ сдѣлкамъ съ совѣстью, съ вліятельными провинціальными воротилами, съ мѣстною властію. Тогда „неблагонадежные" сотрудники тотчасъ же отряхали прахъ отъ ногъ своихъ и искали новаго пристанища...

Въ 1893 году Богдановичъ оставилъ провинціальную прессу для столичной. Онъ переѣхалъ въ Петербургъ, привозя съ собой превосходное знаніе провинціальной жизни и огромную работоспособность, пріобрѣтенную на ежедневной газетной работѣ. Здѣсь въ теченіи почти года онъ велъ хронику внутренней жизни въ „Русскомъ Богатствѣ". Статьи его появлялись безъ подписи, и въ нихъ мало сказалась его своеобразная литературная физіономія. Рамки чисто хро-

никерской работы, казалось, связывали до извѣстной степени прихотливое воображеніе недавняго провинціальнаго фельетониста. Кромѣ того, подходила полоса марксизма,— которому Богдановичъ отдался съ присущей ему страстностью.

Съ 1894 года онъ перешелъ въ редакцію журнала „Міръ Божій", которому и отдавалъ до конца жизни всю свою поразительную работоспособность и свои незаурядныя силы. Работать ему приходилось вмѣстѣ съ Александрой Аркадьевной Давыдовой. Трудно представить двухъ человѣкъ съ болѣе противуположными темпераментами и вмѣстѣ—лучше приспособленныхъ для совмѣстнаго веденія журнальнаго дѣла. Дама петербургскаго большого свѣта, смѣнившая верхи артистическаго міра на редакціонную контору, и бывшій поднадзорный студентъ, рѣзкій, угловатый, часто нелюбезный и иногда слишкомъ прямой,—они скоро поняли и оцѣнили другъ въ другѣ то главное, что было нужно для дѣла: обоихъ соединяла глубокая, самоотверженная, трогательная любовь къ журналу, его росту, процвѣтанію и моральному значенію. Александра Аркадьевна внесла свою женственную мягкость, свѣтскій тактъ и замѣчательное умѣніе привлекать литературныя силы, группировать ихъ и улаживать неизбѣжныя во всякомъ коллективномъ дѣлѣ недоразумѣнія. Богдановичъ далъ огромную трудоспособность, знаніе литературныхъ направленій, умѣніе разобраться въ нихъ и свою нѣсколько суровую, но честную прямолинейность... Это было очень счастливое сочетаніе разнородныхъ качествъ, и если Александрѣ Аркадьевнѣ приходилось порой пускать въ ходъ всѣ рессурсы своего дамскаго такта, чтобы сгладить угловатую прямоту своего сотрудника, то все-же она чувствовала, что въ лицѣ этого нѣсколько шероховатаго человѣка судьба послала ей настоящій кладъ. Впослѣдствіи, съ ростомъ самаго дѣла разростались и редакціонныя силы, привлекались новые сотрудники, вносившіе свой трудъ и свои индивидуальныя черты въ общее дѣло. Но все-же можно сказать, не боясь преувеличенія, что въ основѣ журнала, какимъ мы его видимъ теперь,—легли

первымъ опредѣляющимъ моментомъ усилія этихъ двухъ, уже отошедшихъ отъ насъ людей...

Съ этихъ поръ чисто литературная дѣятельность Богдановича была уже на виду у широкой читающей публики, которая конечно помнитъ ежемѣсячные общественно-литературные очерки въ „Мірѣ Божіемъ", подписанные скромными иниціалами А. Б., летучіе, живые, порой порадоксальные, но всегда проникнутые живой любовью къ русской литературѣ, ея стремленіямъ и надеждамъ. Редакціи „Міра Божьяго" и вдовѣ покойнаго, Татьянѣ Александровнѣ Богдановичъ, пришла счастливая мысль выпустить хоть часть обозрѣній Богдановича отдѣльнымъ изданіемъ и эти статьи опять появляются передъ читателемъ, а съ ними оживаетъ въ памяти и своеобразный обликъ ихъ автора. Я не имѣлъ ввиду писать критическую статью, и это освобождаетъ меня отъ обязанности отмѣчать здѣсь пункты нашей общности и нашихъ разногласій, перемѣшанные въ изобиліи и въ этой книгѣ. Задачей моей настоящей замѣтки было только возстановить хотя-бы и неполно личныя черты человѣка написавшаго эту книгу въ томъ видѣ, какимъ я его встрѣтилъ въ глухое время русской жизни, какимъ мы, его друзья успѣли его полюбить и какимъ онъ дошелъ до своей слишкомъ ранней могилы...

27 марта 1907 года, въ сумрачный весенній день на Волковомъ кладбищѣ толпа русскихъ писателей и читателей присутствовало при не совсѣмъ обычномъ зрѣлищѣ: на русскомъ православномъ кладбищѣ у свѣжей могилы стоялъ католическій священникъ, и раздавались печальные звуки латинскаго заупокойнаго напѣва: „requie m aeternam da ei, Domine". Поляка-Богдановича хоронили у литераторскихъ мостковъ русскаго Волкова кладбища, такъ какъ именно русская литература была настоящей родиной его души. Она дала ему свои радости и напоила своею горечью. Изъ ея среды онъ получилъ также и семью, и короткое личное счастье, она же преждевременно подточила тяжкимъ трудомъ его силы и привела къ могилѣ... Вокругъ раскрытаго гроба, въ которомъ виднѣлось въ послѣдній разъ худое лицо съ

сурово-обострившимися чертами,—высились кресты, памятники и бюсты ранѣе пришедшихъ товарищей и учителей, русскихъ писателей, принимавшихъ въ свою среду новаго собрата. Онъ пришелъ сюда еще молодымъ, но уже успѣвшимъ много поработать на нивѣ русской мысли и русскаго слова, для свободы, солидарности и братства.

Вл. Короленко.

А. И. Богдановичъ, какъ писатель и редакторъ „Міра Божія“.

„Какъ можете вы съ этимъ жить?.. Въ окружающей жизни идетъ коренная, давно невиданная ломка; въ этой ломкѣ падаетъ и гибнетъ одно, незамѣтно нарождается другое... И вы стоите передъ этимъ хаосомъ, потеряли подъ ногами всякую почву“...

Выписавъ эти слова Наташи изъ повѣсти В. Вересаева „Повѣтріе“, А. И. Богдановичъ замѣчаетъ:

„Въ сущности это старая исторія отцовъ и дѣтей. Дѣти нѣсколько жестковаты и поглядываютъ на отцовъ съ снисходительной усмѣшкой сожалѣнія. Отцы горестно недоумѣваютъ“...

Читатель найдетъ эти строки на стр. 229 настоящаго сборника въ статьѣ: *„Моментъ перелома въ художественномъ отраженіи“* („Безъ дороги“ и „Повѣтріе“, разсказы Вересаева).

Написана статья въ 1898 году, но въ сущности характеризуетъ обликъ покойнаго писателя—съ самыхъ первыхъ его выступленій въ качествѣ автора „Критическихъ замѣтокъ“.

Доктора (народника эпохи *ликвидаціи* этого направленія) А. И. Богдановичъ опредѣляетъ такъ: „человѣкъ, который, не рѣшивъ *общаго вопроса*, весь отдался текущей жизни съ ея прямыми ежедневными задачами,—настроеніе будничной жизни, не дающей углубиться и разобраться въ ея хаосѣ“.

А объ молодой „марксисткѣ“ Наташѣ говоритъ: „Наташа

обращается къ жизни, ищетъ въ ней того отвѣта, котораго не могли ей дать ни кузенъ, ни старый другъ (народники: одинъ еще „вѣрующій“ *въ артели*, другой—уже окончательно разочарованный), и постепенно среди хаоса находитъ дорогу, на которой мы застаемъ ее въ „Повѣтріи“. Куда она приведетъ ее, авторъ не рѣшаетъ этого вопроса, и умно дѣлаетъ. Рѣшеніе его—дѣло будущаго“...

Эти цитаты какъ бы резюмируютъ и позицію, занятую А. И. въ томъ идейномъ спорѣ, который разгорѣлся въ *годы перелома*, въ средѣ нашей интеллигенціи, и сразу выдвигаютъ основную черту писателя, излюбленный имъ критерій для оцѣнки идей и фактовъ.

Симпатіи его безусловно съ самаго начала на сторонѣ „дѣтей“.

Не случайна, однако, въ его устахъ и похвала Вересаеву: „умно дѣлаетъ“, за осторожную постановку вопроса. Цѣликомъ и безоговорочно, А. И. не можетъ быть зачисленъ въ лагерь „дѣтей“: всю жизнь работая въ сферѣ болѣе общихъ, основныхъ, я бы сказалъ—элементарныхъ, и потому, въ ту эпоху и для его цѣлей особенно нужныхъ—вопросовъ общественности, А. И. какъ бы чуждался вполнѣ конкретныхъ программъ, и формально ни къ какому лагерю не принадлежалъ. Однако, всѣ его предпосылки, всѣ основы его мышленія, всѣ его вкусы и мотивы его настроеній,—какъ увидимъ ниже, интимно и по существу роднили его именно съ тѣмъ послѣдовательно-демократическимъ и *европейскимъ* строемъ мысли, который былъ выдвинутъ нашей соціалъ-демократіей въ 90-хъ годахъ, и именно на защиту этого направленія отъ народнической критики онъ ополчается съ самыхъ первыхъ своихъ статей...

Не менѣе характерно и подчеркнутое мною порицаніе доктору, эпигону народничества, за его отказъ отъ рѣшенія „*общаго вопроса*“, и горячая (онъ называетъ ея отвѣтъ „великолѣпнымъ“) похвала Наташѣ, и та формулировка, которую онъ придаетъ происходившей въ ней (т. е. въ „дѣтяхъ“ вообще) эволюціи: „Наташа *обращается къ жизни*“... Постоянное, неустанное напоминаніе о необходимости разрѣшенія *общаго вопроса*, постоянное указаніе на невозмож-

ность жить безъ такого разрѣшенія, вѣчная борьба съ обывательщиной, съ существованіемъ изо дня въ день, съ „будничными интересами текущей дѣйствительности“, — вотъ тема, красной нитью проходящая черезъ всѣ писанія А. И.; а рядомъ съ ней — настроеніе и проповѣдь глубочайшаго *реализма*, свѣтло-трезваго взгляда на жизнь, постояннаго обращенія именно къ ней, къ этой жизни...

Это сочетаніе, это двуединое стремленіе къ *общему* съ одной стороны, и къ трезвому *реализму* съ другой, можетъ быть, самая типичная черта А. И., и въ то же время типичная и отличительная черта „дѣтей“, ихъ основной лозунгъ „обращенія“ въ борьбѣ съ „отцами“.

„Въ томъ и заключается огромный шагъ впередъ, сдѣланный общественной мыслью за эти годы,—пишетъ А. И. въ статьѣ объ „ультра-народникѣ“ Златовратскомъ,—что пустопорожними, хотя и таинственно звучащими словами, теперь никого не удивишь и не уловишь, тѣмъ менѣе наставишь на истинный путь“. „Перечитывая и пересматривая это произведеніе („Золотыя сердца“), мы старались найти въ немъ какую-нибудь руководящую мысль, какое либо указаніе, что желалъ сказать авторъ, и, признаемся,—не нашли. Или въ наши дни секретъ пониманія ультранародническихъ шедевровъ утерянъ? Правду говоря, мы ни мало е скорбимъ объ этомъ“.

Такъ отзывается онъ о слащавомъ „лирическомъ“ народничествѣ. Но и къ представителямъ народничества позднѣйшаго, къ представителямъ той фазы его, теоретикомъ которой являлся Н. К. Михайловскій, а лучшимъ художественнымъ выразителемъ Глѣбъ Успенскій, А. И. относится очень критически. Онъ отдаетъ должное ихъ талантамъ, ихъ искренности и идеализму. Такъ напримѣръ, о Каронинѣ (стр. 218) онъ говоритъ: „Для Каронина его думы и убѣжденія—это дѣло всей жизни, слово—орудіе борьбы за счастье другихъ“, и примѣняетъ къ нему самому одно мѣсто изъ писаній этого автора: „слово имѣетъ свое сердце и это сердце есть стремленіе къ истинѣ и борьба за все человѣчное“... Но тутъ же отмѣчаетъ типичную черту лучшихъ беллетристовъ этой полосы, въ

художественныхъ и правдивыхъ произведеніяхъ своихъ разбивавшихъ собственныя теоріи:

«Сами народники накопили массу матеріала, которымъ злые марксисты только воспользовались для своихъ выводовъ. И странно было бы не воспользоваться, когда эти выводы торчатъ, какъ шесты, изъ всей народнической литературы. Если тѣмъ не менѣе сами народники приходили къ выводамъ какъ разъ обратнаго свойства, то въ этомъ повинна ихъ идеализація народной жизни»...

Любовнымъ и уважительнымъ тономъ проникнуты его статьи о Г. И. Успенскомъ и др. Но это не мѣшаетъ А. И., при случаѣ, очень рѣшительно напоминать объ «основномъ разногласіи во взглядахъ на ходъ и задачи общественной эволюціи», о «невозможности найти общую почву для взаимнаго пониманія и соглашенія»...

Борьба съ народничествомъ, и особенно съ выродившимся народничествомъ конца 80-хъ и начала 90-хъ годовъ, съ «эпигонами народничества», какъ онъ ихъ называлъ, являлась основной темой многихъ и многихъ его статей, содержаніемъ большинства его полемическихъ выпадовъ.

Созрѣвши духовно именно въ *годы перелома*, въ годы ликвидаціи недавно царившаго міросозерцанія, съ его признаніемъ особаго для Россіи пути историческаго развитія, съ элементами мессіанства, которое, со временъ славянофиловъ, накладывало печать на всю нашу общественную мысль, А. И. одинъ изъ первыхъ въ русской демократической журналистикѣ безповоротно и рѣшительно высказался за „капитуляцію“ передъ Европой, за необходимость переоцѣнки установившихся взглядовъ, одинъ изъ первыхъ открыто выступилъ, какъ антинародникъ и другъ нарождавшагося русскаго марксизма. Первый легальный марксистскій журналъ „Новое Слово“ появляется только въ 1898 г. А онъ уже съ 1895 года, въ первой своей „Критической замѣткѣ“, помѣщенной въ „Мірѣ Божіемъ“, начинаетъ переоцѣнивать смутное народническое понятіе „народъ“, и что дальше, то рѣзче высказывается за новое теченіе.

Созданный его трудами журналъ „Міръ Божій“ быстро завоевалъ очень многочисленную аудиторію. И стало быть,

А. И. по праву принадлежитъ заслуга широкой пропаганды новыхъ взглядовъ: онъ своимъ журналомъ не мало сдѣлалъ, въ смыслѣ пробужденія въ средѣ широкаго круга читателей стремленій къ пересмотру, къ провѣркѣ рутинныхъ и устарѣлыхъ понятій, въ смыслѣ пробужденія симпатій къ нарождавшемуся тогда направленію.

Но этимъ не исчерпывались ни задача, ни „дѣло жизни" покойнаго писателя.

Когда мы, товарищи его по редакціи „Міра Божія", надъ свѣжей его могилой пытались подвести итоги его преждевременно оборвавшемуся существованію, я не нашелъ лучшаго опредѣленія, какъ *удивительно логичная жизнь*. Въ статьѣ, помѣщаемой въ настоящемъ сборникѣ, В. Г. Короленко упоминаетъ о студенческихъ годахъ покойнаго и объ его арестѣ по дѣлу кіевскаго кружка народовольцевъ въ 1882 году. Народовольчество, можно сказать, имѣло своимъ легальнымъ литературнымъ выразителемъ направленіе *критическаго* народничества, направленіе Михайловскаго, Успенскаго,—„Отечественныхъ записокъ", словомъ... Стало быть, Ангелъ Ивановичъ, занимаясь возраженіями противъ этого направленія, критикой его, въ значительной степени, занимался и самокритикой, возраженіями противъ своихъ собственныхъ прежнихъ идей, переоцѣнкой собственныхъ воззрѣній. Уже въ 1887 году, судя по эпизоду, сообщаемому г. Бахомъ (въ „Быломъ" 1907 г., № 1) онъ совершенно отошелъ отъ прежнихъ взглядовъ, разочаровался въ нихъ. И если впослѣдствіи, анализируя „народничество" съ точки зрѣнія этической и психологической, онъ открывалъ въ немъ элементы чуждые истинному демократизму, то съ другой стороны, въ его объективныхъ оцѣнкахъ дѣйствительности и программныхъ построеніяхъ, А. И. уже давно усмотрѣлъ основной порокъ: народовольчество было движеніемъ чисто интеллигентскимъ, не опиравшимся на массу, и по тому самому, несмотря на весь героизмъ своихъ представителей, обреченнымъ на гибель. И вотъ этотъ порокъ народнической программы, сознанный А. И., какъ бы указываетъ ему основную линію всей дальнѣйшей его дѣятельности, всей его жизни. Разочаровавшись въ народничествѣ, онъ какъ бы

даетъ Анибалову клятву всю жизнь посвятить на исправленіе коренной ошибки, въ которой прежде и самъ былъ повиненъ. Отнынѣ вся его дѣятельность какъ бы имѣетъ цѣлью создать сочувствующую и дѣйственно настроенную среду для интеллигентныхъ борцовъ, оказавшихся одинокими. Онъ примыкаетъ въ 1894 году къ партіи „народоправцевъ", пытавшейся объединить широкіе круги демократіи. А затѣмъ, когда и эта вторая его попытка партійной работы потерпѣла неудачу (партія была, вскорѣ по возникновеніи, разбита и не возобновлялась) онъ впрягается въ ярмо редактора демократическаго журнала, и до конца, не зная ни отдыху, ни сроку, несетъ этотъ отвѣтственный, неблагодарный и тяжелый трудъ. Вошедши въ „Міръ Божій", въ качествѣ простого сотрудника, онъ вскорѣ превращается въ фактическаго его редактора и почти единолично руководитъ внутренней стороной журнала. Вопреки нѣкоторымъ сообщеніямъ въ прессѣ, въ которыхъ отчасти былъ повиненъ самъ чрезмѣрно-скромный А. И., журналъ „Міръ Божій" былъ безспорно созданіемъ его рукъ и почти ничьихъ больше [1]). Въ журналѣ онъ видѣлъ прежде всего средство для воспитанія—культурнаго вообще и политическаго въ частности—*широкихъ круговъ демократіи.*

Отношеніе А. И. къ своему дѣтищу очень удачно характеризовалъ Ѳ. Д. Батюшковъ въ замѣткѣ „Памяти А. И. Богдановича" („Соврем. Міръ" 1907 г., № 4):

„Перевороты совершаются лишь при общемъ подъемѣ сознанія въ массѣ народа. Отсюда выводъ, что главный дѣятель прогресса—средній человѣкъ, когда онъ станетъ сознательной единицей и будетъ ясно понимать свои права, стойко отстаивая и вытекающія изъ нихъ требованія. Журналъ — наилучшій проводникъ этихъ идей, наилучшее орудіе для осуществленія задуманной цѣли—воспитать „средняго человѣка". Какъ выполнить поставленную задачу—это искусство редактора, который долженъ сумѣть приноровиться къ психикѣ „средняго читателя", знать его вкусы, навыки, запросы... По шутливому выраженію Ангела Ив. нужно прежде всего, чтобы всѣ статьи журнала были „читабельны". Ангелъ Ив. почти не признавалъ „общеизвѣстнаго" у насъ и по своему онъ

---

[1]) Цѣнной и талантливой сотрудницей его, особенно въ практической сторонѣ дѣла, являлась основательница журнала—издательница его А. А. Давыдова † 1902 г.

былъ правъ. Другимъ критеріумомъ въ выборѣ матеріала являлось требованіе актуальности темъ и связи содержанія статей съ запросами современности, подъ освѣщеніемъ которой должны были быть представлены даже историческія изслѣдованія близкихъ и отдаленныхъ эпохъ. Въ вопросѣ, неоднократно возникавшемъ у насъ въ бесѣдахъ съ нимъ,— какъ же представить себѣ болѣе или менѣе конкретно этого „средняго читателя", котораго журналъ призванъ удовлетворять, Ангелъ Ив. предлагалъ упрощенное рѣшеніе: „Я самъ средній читатель, — говорилъ онъ. Я долго жилъ въ провинціи, оторванный отъ всякихъ центровъ просвѣщенія, не имѣя возможности ни выписывать много книгъ, ни пользоваться богатыми библіотеками. Я знаю, что значитъ жить въ глуши и чего ожидаетъ отъ ежемѣсячнаго изданія нашъ средній обыватель".

Незачѣмъ отмѣчать, конечно, что это приравниваніе себя къ „среднему читателю" было лишь проявленіемъ его вѣчной скромности. Но что онъ зналъ и понималъ средняго читателя, какъ мало кто иной,—это безусловно вѣрно.

На это дѣло культурнаго и политическаго воспитанія „средняго человѣка", — воспитанія въ духѣ отмѣченнаго мною европейскаго направленія мысли, на это дѣло *культуры и демократіи*, А. И. посвятилъ 12 лѣтъ упорной редакторской и писательской работы [1]).

Въ самые послѣдніе годы своего существованія журналъ нѣсколько измѣнилъ свою физіономію—нѣсколько отошелъ отъ первоначальнаго типа популярнаго органа „для самообразованія", какъ значилось въ его заголовкѣ. А. И. допустилъ это въ увѣренности, что къ этому времени уже значительно повысился уровень читательской среды.

Я лично состоялъ сотрудникомъ „Міра Божія" лишь въ эти послѣдніе годы, и потому могу совершенно безпристрастно, какъ бы со стороны, оцѣнивать роль и значеніе журнала за первый, десятилѣтній, періодъ его существованія. И врядъ ли я ошибусь, если скажу, что „Міръ Божій" сыгралъ въ эту пору очень замѣтную роль въ дѣлѣ нашей культуры, что огромный трудъ, потраченный на него А. И., не пропалъ даромъ.

Если не считать „Вѣстника Европы", имѣвшаго всегда

---

[1]) Послѣдній годъ онъ былъ уже не фактическимъ только, а и оффиціальнымъ редакторомъ „Современнаго Міра", который явился на смѣну „Міру Божьему", пріостановленному въ іюнѣ 1906 года.

свою специфическую—и притомъ далеко не демократическую по своему составу аудиторію,—да „Русской Мысли"—журнала совершенно тусклаго и неопредѣленнаго по своему направленію,—можно сказать, что вся наша журналистика того времени состояла лишь изъ „Русскаго Богатства" да „Міра Божія". „Сѣверный Вѣстникъ" уже въ 1897 г. закончилъ свое существованіе. И именно „Міръ Божій", былъ наиболѣе распространеннымъ, особенно въ провинціи, органомъ. Такимъ образомъ А. И. при помощи своего журнала продолжалъ то огромное дѣло, которое передъ тѣмъ выполнялось Чернышевскими, Добролюбовыми, Салтыковыми, съ тою разницей, что аудиторія А. И. была шире, демократичнѣе по составу, и онъ выполнялъ свою задачу въ примѣненіи къ ней. Прибавлю къ этому, что онъ началъ свою дѣятельность и продолжалъ ее еще въ такіе годы, когда общественная жизнь почти сводилась къ литературѣ, сосредоточивалась въ журналистикѣ и ею питалась.

Журналъ для „средняго читателя", созданный и руководимый имъ въ теченіе 12 лѣтъ,—вотъ главное *дѣло жизни* покойнаго писателя, вотъ несомнѣнная заслуга его передъ русской культурой.

Всю жизнь, съ самаго того момента, когда онъ разочаровался въ народовольческихъ теоріяхъ, онъ служилъ дѣлу *культуры и демократіи*. Это была линія всей его жизни, безъ единаго изгиба или уклона, линія прямая и чистая... Вотъ почему я назвалъ его жизнь „на рѣдкость *логичной* жизнью", вотъ почему на мой взглядъ, А. И. удалось занять такое мѣсто въ исторіи русской общественности, котораго не заняли и не займутъ многіе писатели, можетъ быть и одаренные болѣе яркою писательскою индивидуальностью...

Странною, какъ бы символичною, была преждевременная смерть этого упорно-логичнаго поклонника культуры и демократіи.

Послѣдними словами своими онъ какъ бы сформулировалъ девизъ всей своей жизни:

— „Я вижу въ васъ представителя *культуры* и *труда*..."

Это были послѣднія его слова, произнесенныя шепотомъ

на ухо къ наклонившемуся надъ нимъ хирургу, за нѣсколько секундъ до конца...

А. И. часто высказывалъ, что настоящее призваніе его публицистика, а не критика.

Началомъ его литературной дѣятельности была именно публицистика на столбцахъ поволжской прессы (читатель найдетъ нѣкоторыя подробности изъ этой эпохи его дѣятельности въ помѣщенной здѣсь статьѣ В. Г. Короленко). И кончилъ онъ тоже публицистикой. Какъ только, благодаря движенію октябрьскихъ дней 1905 года, журналистика временно освободилась отъ душившей ее цензурной петли, А. И. измѣнилъ заглавіе своихъ очерковъ: начиная съ ноябрьской книжки этого года, „Критическія замѣтки" превратились въ „Текущія". Это были горячія, нервно, съ подъемомъ написанныя статьи, сначала полныя энтузіазма и вѣры, а вскорѣ, ко времени Бѣлостокскаго и прочихъ погромовъ, звучащія гнѣвомъ и ожесточеніемъ... Къ сожалѣнію, нынѣшнія цензурныя условія дѣлаютъ невозможнымъ помѣщеніе ихъ въ настоящемъ сборникѣ.

Ихъ было всего четыре —этихъ статей, въ которыхъ онъ говорилъ своимъ настоящимъ голосомъ, не прибѣгая къ обинякамъ и намекамъ, какъ принужденъ былъ дѣлать всю жизнь.

Послѣдняя изъ нихъ написана въ іюлѣ 1906 года. А тутъ уже вступила въ свои права болѣзнь, скоро сведшая его въ могилу...

Но если А. И. и былъ прирожденнымъ публицистомъ, а критикомъ сталъ только поневолѣ, то при его страстной любви къ литературѣ и искусству онъ, ни на секунду не упуская изъ виду своихъ публицистическихъ цѣлей, успѣлъ дать цѣлый рядъ интересныхъ критическихъ этюдовъ почти о всѣхъ сколько нибудь выдающихся литературныхъ явленіяхъ за періодъ времени 1895—1905 года.

Укажу, напримѣръ, на рядъ его статей о Чеховѣ, на цитированныя мною замѣтки объ очеркахъ Вересаева и Каронина, на полемическія по тону очерки о г. Меньшиковѣ, Лѣсковѣ и Златовратскомъ...

Прирожденный публицистъ сказывается въ томъ, что въ

своихъ критическихъ статьяхъ онъ прежде всего занимается темами *жизни* и, конечно преимущественно общественной жизни, затронутыми въ разбираемомъ имъ художественномъ произведеніи.

Выше я отмѣтилъ основные мотивы его «критическихъ замѣтокъ»: постоянный призывъ къ *рѣшенію общаго вопроса*, къ выработкѣ міросозерцанія, охватывающаго всѣ мелочи текущей дѣйствительности и опредѣляющаго линію поведенія,—съ одной стороны, и непремѣнное *обращеніе къ дѣйствительности*, трезво *реалистическая* оцѣнка ея—съ другой.

Я приведу сейчасъ нѣсколько образчиковъ того, какъ онъ примѣнялъ свою основную точку зрѣнія къ конктретнымъ явленіямъ жизни и литературы.

Вотъ, напримѣръ, прекрасное опредѣленіе взаимоотношенія интеллигенціи и народа, разрѣшающее вопросъ какъ разъ въ томъ послѣдовательно-демократическомъ духѣ и тонѣ, въ какомъ рѣшало его марксистское теченіе, а за одно и опредѣленіе истиннаго демократизма вообще:

„Въ теченіе сорока лѣтъ, прошедшихъ со времени выступленія Добролюбова въ литературѣ, идеи, имъ внесенныя, не могли оставаться безъ движенія. Произошла естественная эволюція во взглядахъ и на литературу, и на интеллигенцію и ея отношеніе къ народу. Но проникающій Добролюбова демократическій принципъ остался въ литературѣ неизмѣннымъ. Скептицизмъ и отрицательное отношеніе къ интеллигенціи исчезли, интеллигенція сознала себя, какъ неразрывную часть народа, составляющую въ немъ все то, что стремится къ сознательной жизни, желаетъ жить, чтобы, — по слову Пушкина, — „мыслить и страдать". Исчезло и подчиненное отношеніе ея къ народу, вмѣстѣ съ понятіемъ „долга", которое теперь замѣняется понятіемъ *общности, тожественности интересовъ народа и интеллигенціи*. Словомъ, принципъ, впервые съ опредѣленностью, не допускающей сомнѣній и колебаній, уступокъ и сдѣлокъ, высказанный Добролюбовымъ, эволюціонировалъ въ направленіи глубоко демократическомъ—отъ подчиненія народу *къ равенству съ народомъ*" (см. стр. 32, статья объ Н. А. Добролюбовѣ).

Тѣмъ же демократизмомъ проникнуты его возраженія на мысли Л. Толстого „Объ искусствѣ" (стр. 152 и 153). Онъ горячо протестуетъ противъ идеи великаго „опростителя" о ненужности для народа нашего искусства и нашей науки, которыя по этому признаются Толстымъ „не настоящими". Въ противоположность народникамъ, которые, въ

полномъ согласіи съ Толстымъ, утверждали, что „нашей деревнѣ совершенно не нужны ни Пушкинъ, ни Карамзинъ“, А. И. горячо отстаиваетъ общечеловѣческое значеніе культуры:

„Не заходя далеко на Западъ, гдѣ литература высшаго класса, его газеты, его живопись, театръ, университетская наука стали въ значительной степени уже теперь доступны рабочему классу, и у насъ, по мѣрѣ роста грамотности, замѣтно такое же стремленіе народа пріобщиться къ тѣмъ умственнымъ сокровищамъ, какими пользуется высшая интеллигенція“...

...„Если теперь представимъ себѣ, что это движеніе только въ зародышѣ, что даже на Западѣ оно началось не далѣе 20—30 лѣтъ назадъ, что развитіе его впереди не ограничено предѣлами, то вполнѣ допустимо такое состояніе общества, при которомъ рабочій читатель явится главнымъ двигателемъ и вдохновителемъ искусства и наук Какъ отразится такой коренной переворотъ на искусствѣ, теперь даже предвидѣть невозможно. Можно одно сказать съ полной увѣренностью, что это будетъ *благодѣтельнымъ переворотомъ прежде всего для искусства*“.

А вотъ и болѣе детальное опредѣленіе отношенія народа къ культурѣ. Въ замѣткѣ о Чеховской повѣсти „Мужики“, которую онъ горячо отстаивалъ отъ нападокъ народнической критики, А. И. пишетъ:

„Какъ видимъ, запросы на нѣчто, хотя и смутное и крайне неопредѣленное, есть въ душѣ деревни, но, ничего не видя, не зная, не имѣя даже возможности знать, деревня не находитъ отвѣта. Ей надо принести его *извнѣ*, такъ какъ сама она не заключаетъ въ себѣ силы, которая распахнула бы двери въ міръ, — не деревенскій, а настоящій, божій, свѣтлый и широкій...“

А о городскомъ „народѣ“, въ концѣ уже цитированной мною статьи о Толстомъ, замѣчаетъ:

„Во всѣхъ представительныхъ правленіяхъ именно представители рабочаго класса стоятъ всегда за ассигновки на науку, такъ какъ они понимаютъ, что каждое новое завоеваніе ея приближаетъ ихъ къ измѣненію общественнаго строя въ выгодномъ для нихъ направленіи“.

По поводу народнической „тяги въ деревню“ и интеллигентскаго „покаянія передъ народомъ“ А. И. высказывается въ присущемъ ему трезво-реалистическомъ тонѣ. „Кажется ясно,—ждать спасенія надо именно въ стремленіяхъ „снизу

вверхъ!"—восклицаетъ онъ, разбирая очеркъ Каронина подъ этимъ заглавіемъ, и прибавляетъ:

„Что между народомъ и интеллигенціей нѣтъ той пропасти, на которую указываютъ гг. Меньшиковы, Энгельгардты и ихъ присные,—это несомнѣнно. Интеллигенція составляетъ неотъемлемую часть народа, плоть отъ плоти, кость отъ костей его, и для взаимнаго пониманія и сближенія вовсе не нужны маскарадные костюмы, опрощеніе, вовсе не требуется „онародниться", „расплыться" и тому подобное. Интеллигенція должна быть тѣмъ, что она есть,—представителемъ духовной жизни народа въ глубокомъ значеніи этого слова, его мыслью и духомъ. Только оставаясь сама собой, она становится ему понятной и близкой, и такъ должна смотрѣть на себя, никогда не выдѣляя себя и не противопоставляя себя народу. Величайшій грѣхъ, какой могла бы совершить интеллигенція, было бы отреченіе отъ своей роли и значенія, смиренное уничиженіе и самопреврѣніе. Именно тогда она и поступила бы, какъ „рабъ лукавый", расточившій свои таланты безъ всякой пользы и смысла. Къ счастью, это невозможно" (стр. 217).

Неизмѣнно, по поводу всевозможныхъ проявленій нашей политической отсталости, возвращается онъ къ *общему вопросу*, къ „насущному вопросу", какъ онъ назвалъ его въ брошюрѣ, изданной партіей „Народнаго Права" и написанной имъ въ сотрудничествѣ съ однимъ товарищемъ по партіи, и постоянно противополагаетъ въ этомъ смыслѣ европейское общество — нашему. Приведу характерное разсужденіе на эту тему по поводу аполитическихъ, истинно-обывательскихъ воззрѣній Энгельгардта (въ его „Письмахъ изъ деревни"):

„Неумѣніе оріентироваться среди явленій и вытекающее отсюда душевное смятеніе, постоянныя уклоненія мысли то вправо, то влѣво, и выводы, подчасъ поразительные по противорѣчіямъ съ тѣмъ, что самъ же художникъ создалъ. Намъ кажется, это зависитъ отъ зачаточнаго состоянія у насъ особаго общественнаго чувства, которое вырабатывается только общественною жизнью. Его можно сравнить съ тѣмъ мышечнымъ чувствомъ, которое на каждомъ шагу намъ помогаетъ, и вполнѣ для насъ нечувствительно, направляетъ и соразмѣряетъ наши движенія при всякой работѣ. Въ общественной жизни, гдѣ сталкивается, какъ въ водоворотѣ, масса самыхъ противоположныхъ интересовъ и явленій, необходимость оріентироваться среди нихъ вырабатываетъ нѣчто подобное этому мышечному чувству, что помогаетъ человѣку выбиться изъ противорѣчій, отвести каждому явленію свое мѣсто и найти надлежащій уголъ зрѣнія... Повидимому, мы еще не дошли до этой стадіи развитія и пока только хорошіе, иногда — несравненные наблюдатели, но

плохіе общественные дѣятели и мыслители. По крайней мѣрѣ, наша художественная литература по богатству и оригинальности не уступитъ никакой другой, а когда наши, иногда величайшіе художники, какъ, напр., Гоголь, пускаются въ область мысли, особенно общественной, тутъ начинается нѣчто уму непостижимое".

Или такое мѣсто въ статьѣ о Никитенкѣ, этомъ „трибунѣ по призванію", какъ онъ самъ себя опредѣлялъ, всю жизнь благополучно пребывавшемъ на цензорскомъ посту:

„Рѣзкіе, сильные типы, въ ту или иную сторону, требуютъ особой культуры, которая вырабатывается борьбой. Гдѣ тишь да гладь, тамъ не выживаютъ яркіе характеры, требующіе простора для проявленія своей энергіи. Гдѣ личность связана и вся дѣятельность сведена, какъ у Никитенки, къ „Дневнику", тамъ и характеры получаютъ особую закругленность, какъ рѣчные голыши, постоянно омываемые водой, которая исподволь, но неудержимо шлифуетъ всѣ ихъ неровности, сглаживаетъ шероховатости и полируетъ всѣхъ подъ одно".

А въ противоположность этимъ размышленіямъ надъ *родными* картинами, возвратившись изъ кратковременной поѣздки въ Германію въ 1908 г., онъ даетъ такой итогъ своихъ заграничныхъ впечатлѣній:

„Передъ вами вырисовывается собирательная „личность", не мужикъ, рабочій, интеллигентъ или чиновникъ, а *человѣкъ*, до мозга костей проникнутый сознаніемъ своихъ неотъемлемыхъ правъ, человѣческихъ и гражданскихъ, которыя онъ начинаетъ понимать и любить еще въ школѣ и затѣмъ всю жизнь отстаиваетъ и защищаетъ ихъ, видя въ этомъ свой первый и главный долгъ. Вся окружающая жизнь постоянно поддерживаетъ въ немъ это сознаніе себя, какъ личности прежде всего и на каждомъ шагу"...

Этими немногими образчиками я и ограничусь. Читатель по нимъ уже можетъ оцѣнить ту ясную трезвость взглядовъ, которою отличался покойный критикъ-публицистъ. И еще одну особенность его оцѣнитъ чуткій читатель: необыкновенную прямоту и простоту его стиля. „Каковъ стиль—таковъ человѣкъ", — А. И. не разъ цитируетъ это изреченіе Бюффона. Къ самому А. И. оно примѣнимо въ полной мѣрѣ. Немного могъ бы я указать среди нашихъ писателей людей до такой степени *чуждыхъ фразы*, какимъ былъ покойный. Его чистый, *честный* стиль являлся прямымъ выраженіемъ его необыкновенно чистой и прямой натуры.

Та статья его о Добролюбовѣ, изъ которой я привелъ его опредѣленіе интеллигенціи, — одна изъ лучшихъ статей А. И.—невольно наводитъ на сближеніе этихъ двухъ писательскихъ натуръ. Необыкновенно любовный тонъ, въ которомъ она написана, необыкновенно тонкое и вѣрное пониманіе самого „святая святыхъ“ автора „Лучъ свѣта въ темномъ царствѣ“ какъ бы свидѣтельствуютъ именно о духовномъ сродствѣ этихъ двухъ людей. И тамъ и тутъ — та же прямота и чистота, то же полное отсутствіе фразы, то-же беззавѣтное служеніе литературѣ и при посредствѣ литературы—общественности, общественности прежде всего и всегда. Я вовсе не думаю отождествлять этихъ двухъ писателей, приравнивать ихъ по писательскому темпераменту и размѣрамъ дарованій: одинъ былъ пламеннымъ трибуномъ, другой—скромнымъ и осторожнымъ аналитикомъ... Я хочу указать только на родство ихъ душъ, на нѣкоторыя общія обоимъ черты писательскаго облика и, пожалуй, — ихъ судьбы. Оба всю душу вложили въ дѣло общественности, оба подняли тяжкое бремя россійской публицистики на эзоповскомъ языкѣ и редактированія демократическаго русскаго журнала, оба сгорѣли въ непосильной работѣ...

И еще одна аналогія. Я убѣжденъ, что писанія А. И. Богдановича, собранныя въ настоящемъ сборникѣ, еще долго будутъ служить тому дѣлу, которому онъ служилъ всю свою жизнь—дѣлу *культуры* и *демократіи*. Еще много и много *начинающихъ читателей* будутъ почерпать изъ его статей общія основы своего общественнаго міросозерцанія, какъ почерпаютъ теперь и долго еще будутъ почерпать изъ сочиненій Добролюбова, этого перваго учебника общественности для подростающаго русскаго интеллигента. Въ примѣненіи къ инымъ, позднѣйшимъ явленіямъ русской, а отчасти и европейской, жизни и литературы, и конечно въ новомъ освѣщеніи, болѣе послѣдовательномъ, болѣе *европейскомъ*, эти читатели найдутъ въ книгѣ А. И. Богдановича цѣлый рядъ наведеній, цѣлый рядъ простыхъ и наглядныхъ уроковъ подлиннаго демократизма.

М. Невѣдомскій.

«Народъ» въ нашей «народнической» литературѣ [1]).

Что такое народъ?

Этотъ вопросъ, повидимому, столь простой и нехитрый, удивительно какъ запутался въ нашей литературѣ, хотя, въ отличіе отъ всѣхъ прочихъ европейскихъ литературъ, именно ему она посвящала больше всего вниманія. Въ теченіе 30-ти послѣднихъ лѣтъ создалась даже особая, такъ называемая „народническая" литература, исключительно работавшая надъ выясненіемъ тѣхъ отношеній, какія должны быть между народомъ и интеллигенціей, и до сихъ поръ не выяснившая, что же собственно понимать надлежитъ подъ ея таинственнымъ „народомъ".

Не рѣшивъ этого коренного вопроса, наше „народничество" запуталось въ массѣ противорѣчій, образчикомъ которыхъ можетъ служить и книга г. Пругавина „Запросы народа и обязанности интеллигенціи", вышедшая недавно вторымъ изданіемъ. Нѣкоторыя разсужденія автора отдаютъ теперь анахронизмомъ, производятъ впечатлѣніе чего-то отжившаго, своего рода „жалкихъ словъ", щедро расточаемыхъ г. Пругавинымъ по адресу нашей интеллигенціи.

Народничество досталось намъ, какъ законное наслѣдіе крѣпостного права. Съ отмѣной послѣдняго не могло исчезнуть сразу его глубокое вліяніе на всѣ стороны нашей жизни. Общественная совѣсть, удрученная сознаніемъ великой несправедливости этого права, не могла не остановиться надъ вопросомъ, какъ загладить ее. И литература тогдашняго времени выдвинула въ отвѣтъ идею „долга" и „расплаты", причемъ незамѣтно для всѣхъ совершена была другая несправедливость: „историческій грѣхъ" (если, вообще говоря, подобные грѣхи мыслимы) былъ взваленъ на интел-

---

[1]) Мартъ 1895 г.

лигенцію. Съ тѣхъ поръ извѣстная часть послѣдней (съ постоянствомъ, достойнымъ лучшаго назначенія) продолжаетъ бичевать себя за этотъ „историческій грѣхъ“.

Разбираться теперь, чей былъ „грѣхъ“, нѣтъ никакой надобности. „Кто виноватъ—у судьбы не допросишься, да и не все ли равно?“ Тѣмъ болѣе, что съ фактической отмѣной крѣпостного права народъ сравненъ съ интеллигенціей въ гражданскихъ правахъ, и, слѣдовательно, исчезла всякая почва для противопоставленій между „нами“ и „имъ“. Съ исчезновеніемъ привиллегій, когда то основанныхъ на крѣпостномъ правѣ, исчезло и отличіе народа отъ интеллигенціи; эти обѣ категоріи слились въ одно неразрывное цѣлое, въ томъ смыслѣ, какъ слово „народъ“ понимается вездѣ. Когда нѣмецъ, французъ или англичанинъ говорятъ „народъ“, то въ этомъ словѣ они объединяютъ все, что не составляетъ „правительство“, и никому не придетъ въ голову при этомъ выдѣлять изъ народа какого нибудь Вирхова, Пастера или Гладстона.

Народники же, настаивая на своемъ противоположеніи, впадаютъ иной разъ въ забавное высокомѣріе, не смотря на все свое преклоненіе предъ народомъ. Приведемъ, напр., одно мѣсто изъ книги г. Пругавина. Разсказывая о пристрастіи крестьянъ къ картинкамъ, онъ говоритъ:

„По этому поводу намъ невольно вспоминается слѣдующій, по нашему мнѣнію, глубоко трогательный (курсивъ нашъ) народный разсказъ, записанный однимъ изъ статистиковъ московскаго земства.

„Старикъ-крестьянинъ, возвращаясь откуда то домой, вмѣстѣ съ своей женой, нашелъ на дорогѣ исписанный листокъ писчей бумаги.

— „Крестись, старуха, — говоритъ онъ, обращаясь къ женѣ,—у насъ теперь дома грамотка завелась!

— „А ты, старикъ,—отвѣчаетъ жена,—прилѣпи грамотку-то на стѣну: все въ избѣ-то повеселѣе будетъ (курсивъ автора).

„Такъ скромны эстетическія требованія мужика, придавленнаго нуждой, но въ то же время и такъ живучи“ (стр. 284).

Г. Пругавинъ тронутъ такой живучестью въ мужикѣ потребностей высшаго порядка, не замѣчая, что въ сущности его умиленіе обидно для „народа“. Въ самомъ дѣлѣ, что тутъ особеннаго, чѣмъ можно бы и стоило „тронуться“? Вѣдь, не былъ бы онъ тронутъ, если бы кто-нибудь изъ его друзей — интеллигентовъ, пожелалъ украсить стѣны своей комнаты картинкой. Ему показалось бы такое желаніе вполнѣ простымъ и естественнымъ.

Для г. Пругавина потребовалась цѣлая книга, чтобы

убѣдить себя въ слѣдующихъ истинахъ: „1) народъ желаетъ учиться; 2) народъ желаетъ читать; 3) народъ жаждетъ духовныхъ, нравственныхъ впечатлѣній“. И только послѣ тщательнаго разсмотрѣнія всѣхъ „за“ и „противъ“, г. Пругавинъ заявляетъ: „Смѣемъ думать, что намъ удалось установить достаточно прочно эти три главныя положенія“.

Вопросъ не въ томъ, желаетъ ли народъ учиться и есть ли у него высшія потребности, а въ томъ, какъ и кто долженъ удовлетворить его „запросы“?

Врядъ ли кто отрицаетъ теперь необходимость бороться съ невѣжествомъ народа, какъ съ такимъ зломъ, которое подрываетъ всѣ „благія начинанія“, къ какой бы области они ни относились. Но нужно же разбираться въ вопросѣ. Г. Пыпинъ, возражая въ 1891 г. г. Пругавину, вполнѣ справедливо возмущался филантропической постановкой вопроса, какъ это дѣлаетъ г. Пругавинъ и во второмъ изданіи своей книги. „Мы должны бы, кажется, — говоритъ г. Пыпинъ, — весь вопросъ ставить иначе—развивать мысли не о томъ, что какая то „интеллигенція“ обязана за что-то расплатиться съ народомъ, устраивая для него филантропическія школы, а о томъ, чтобы народное образованіе, независимо отъ всякой личной философіи, поставлено было тѣмъ нормальнымъ образомъ, какимъ оно могло быть и было поставлено у другихъ народовъ; чтобы народъ пользовался извѣстною долею образованія не вслѣдствіе случайной благотворительности, а въ правильномъ законномъ порядкѣ вещей... Проповѣдь филантропіи питаетъ заблужденіе, отводитъ глаза отъ необходимости ставить вопросъ во всей его національной, государственной широтѣ“...

Въ предисловіи къ настоящему второму изданію г. Пругавинъ возражаетъ, что онъ и не имѣлъ въ виду возлагать на интеллигенцію дѣло народнаго просвѣщенія „во всемъ его объемѣ“, а только ту часть его, которая заключается „въ заботахъ о внѣшкольномъ образованіи народа: изданіе книгъ, картинъ, распространеніе ихъ въ народной средѣ, устройство библіотекъ, читаленъ и книжныхъ складовъ, организація народныхъ чтеній и т. п“. Но для выполненія этой программы „во всемъ ея объемѣ“ необходимы извѣстныя условія. Что можно, интеллигенція дѣлаетъ.

Французскій „пролетарій“ и русскій общинникъ [1]).

Когда люди старѣются, они пишутъ воспоминанія, въ которыхъ съ перваго слова заявляютъ, что прежде было все лучше. И солнце свѣтило тогда ярче, и люди были добрѣе, умнѣе, великодушнѣе, а, главное, жилось веселѣе, бодрѣе и легче. Отдалъ дань этой общечеловѣческой слабости и г. Мертваго въ своихъ, вообще, очень интересныхъ воспоминаніяхъ—„Не по торному пути“, посвященныхъ его блужденіямъ по свѣту, въ поискахъ за лучшимъ разрѣшеніемъ хозяйственныхъ вопросовъ. „Пятнадцать лѣтъ тому назадъ,—говоритъ онъ,—въ Россіи были еще всякіе вопросы, которые мучили, волновали; эти вопросы заставляли искать отвѣта и не нашли еще тогда себѣ разрѣшенія въ игрѣ въ винтъ и кутежахъ. „Было время, а теперь другое“, говоритъ поговорка. У всякаго былъ свой вопросъ, всякій искалъ своего raison d'être и всякій разрѣшалъ его по своему“. Въ его словахъ есть доля правды. Положимъ, и теперь всякихъ вопросовъ хоть отбавляй, но правъ авторъ, что теперь мы равнодушнѣе къ нимъ и не очень утруждаемъ себя исканіемъ отвѣтовъ, предпочитая плыть по теченію, которое куда-нибудь да вынесетъ...

Г-на Мертваго волновали и интересовали вопросы сельскохозяйственные. Тогда всѣхъ привлекали статьи покойнаго Энгельгардта, для многихъ явившіяся своего рода откровеніемъ. Перечитывая ихъ теперь, намъ уже трудно понять, что такъ увлекало читателей 70-хъ годовъ, которымъ эти статьи словно открывали новый міръ, куда, по обычаю русскихъ людей, немедленно началось паломничество. Въ Батищево, имѣніе Энгельгардта, одни шли съ вѣрою обрѣсти „спасеніе души“, какъ, спустя нѣсколько лѣтъ, другіе шли съ тою же цѣлью въ Ясную Поляну. Иные имѣли въ виду болѣе простыя и практическія задачи: они хотѣли поучиться, какъ вести хозяйство въ деревнѣ, откуда до сихъ поръ всѣ бѣжали, кромѣ кулака. Къ числу послѣднихъ принадлежалъ и г. Мертваго, рисующій нѣсколько любопытныхъ очерковъ изъ своего пребыванія въ Батищевѣ. Но насъ интересуютъ не они, а тѣ „тонконогіе“, — какъ ихъ прозвали крестьяне, — которые въ земледѣльческой химіи видѣли средство для „спасенія души“, а въ фосфоритѣ —

[1]) Іюль 1895 г.

рычагъ, съ помощью котораго они намѣревались вознести русскую деревню на небывалую высоту.

Подумаешь, съ какой простотой разрѣшались тогда вопросы. Но эта простота характерна не только для тогдашняго времени. Черезъ всю краткую исторію русской интеллигенціи проходитъ красною нитью общая черта „тонконогихъ"—необыкновенное легкомысліе, съ которымъ мы хватаемся за всякія средства для спасенія души. Начиная съ діалектики Гегеля, въ которой еще Бѣлинскій видѣлъ одну изъ панацей (положимъ, быстро отъ нея отказавшійся), и до самоновѣйшаго видоизмѣненія ея — „марксизма", — мы твердо уповаемъ, что можемъ изыскать средство, которое насъ „спасетъ". То и дѣло проявляются пророки, благодѣтельствующіе грѣшнаго обывателя новымъ средствомъ, и немедленно являются послѣдователи, съ восторгомъ хватающіе „новое слово", какъ принято у насъ называть открытія, до которыхъ русскій человѣкъ „своимъ умомъ дошелъ". Иногда это бываетъ трогательно, но въ огромномъ большинствѣ случаевъ — смѣшно, обнаруживая въ насъ отсутствіе того, что европейцы называютъ „убѣжденіями". Это тоже отличительная наша черта, — полная свобода отъ всякихъ убѣжденій, хотя и нѣтъ въ мірѣ другого общества, въ которомъ такъ горячо и много говорили бы насчетъ убѣжденій, какъ въ нашемъ.

Отчего это зависитъ? Причины такого печальнаго явленія, этой неустойчивости русской „души", скрыты глубоко въ условіяхъ нашего общественнаго быта и, прежде всего, въ слабости нашей культуры. Европеецъ, появляясь на свѣтъ Божій, уже несетъ въ себѣ зародышъ тѣхъ прочно-сложившихся взглядовъ и убѣжденій, которыя его дѣды и отцы завоевали въ свое время, выносили въ себѣ и кровью заплатили за нихъ. Въ путешествіяхъ нашихъ туристовъ часто встрѣчаются насмѣшки надъ нѣкоторыми особенностями европейцевъ. Больше всего достается англичанамъ, которые нигдѣ не измѣняютъ своимъ привычкамъ. Ничего подобнаго у насъ нѣтъ, откуда и проистекаетъ наша чрезвычайная воспріимчивость и неустойчивость. „Общій характеръ націй,—замѣчаетъ г. Мертваго,—опредѣляется не возможностью извѣстнаго направленія, но уже сложившимся направленіемъ въ данный историческій моментъ. Теперь пока мы еще можемъ называть себя націей чиновничьей—служебной". А взгляды, тѣмъ болѣе убѣжденія, вовсе не нужны чиновничьей средѣ, которая обязана выполнять и слѣдовать предписаніямъ начальства. То же самое происходитъ и въ интеллигенціи, гдѣ роль начальства сегодня изображаетъ Энгельгардтъ, завтра Толстой, послѣ завтра

Марксъ. Каждому изъ нихъ русскій интеллигентъ воздаетъ слѣдуемое, и такъ какъ, въ сущности, къ ихъ „предписаніямъ“ онъ относится также легко, какъ легко увлекается ими, то въ концѣ концовъ онъ оказывается въ той или иной канцеляріи, гдѣ вчерашній „марксистъ“ или „народникъ“ съ усердіемъ выводитъ отношенія и подшиваетъ „входящія“ и „исходящія“...

Г. Мертваго, послѣ своихъ батищевскихъ опытовъ — изображать работника изъ „тонконогихъ“, направился въ Европу и, между прочимъ, въ Парижъ, гдѣ поступилъ въ работники къ огороднику. Чему и какъ онъ тамъ учился,— интересующихся отсылаемъ къ его книгѣ, вполнѣ заслуживающей такого вниманія. Для насъ здѣсь любопытнѣе всего его сравненія тѣхъ условій, въ которыхъ живетъ европейскій „пролетарій“ и нашъ русскій общинникъ. Каждому изъ нашихъ читателей хорошо извѣстно, сколько безкорыстныхъ слезъ пролила русская литература надъ этимъ несчастнымъ „пролетаріемъ“, и какъ въ примѣръ ему и поученіе воспѣвала она нашего „общинника“. Побывавъ въ роли того и другого, г. Мертваго является довольно компетентнымъ судьей и въ вопросѣ, кому изъ нихъ живется лучше. Когда онъ заявилъ Энгельгардту о своемъ желаніи учиться у него, тотъ прислалъ свои условія, изъ которыхъ выписываемъ слѣдующія: „2) Помѣщаются и харчуются (желающіе работать) вмѣстѣ со всѣми рабочими. Помѣщеніе — сарай и изба. Харчи — черный хлѣбъ, щи со свинымъ саломъ, крупникъ или каша. Въ постные дни сало замѣняется коноплянымъ масломъ. По праздникамъ сотка водки. 3) Жалованье получаютъ полное или половинное, или ничего, смотря по работѣ. Полное жалованіе іюль, августъ—6 р., сентябрь—5 р., остальные мѣсяцы по 3 р.“.

Въ письмѣ къ Мертваго Энгельгардтъ пишетъ, что будетъ говорить „ты“, ибо „назвался груздемъ — полѣзай въ кузовъ“. Это „ты“ чрезвычайно характерно для насъ.

Г. Мертваго говоритъ дальше, что эти условія были лучшими для рабочихъ всей мѣстности, гдѣ находится Батищево, и крестьяне шли къ Энгельгардту особенно охотно, такъ какъ „харчъ былъ вполнѣ удовлетворительный“. Самъ онъ, впрочемъ, какъ и другіе „тонконогіе“, не могъ его ѣсть, и пропитывался молокомъ. Если любознательные читатели заглянутъ въ земскіе сборники по текущей статистикѣ, они увидятъ, что условія Энгельгардта, приблизительно, среднія для всей Россіи: вездѣ почти жалованье на хозяйскихъ харчахъ колеблется около 60 р. въ годъ, лѣтомъ около 6—8 р., зимой около 3—4. Рабочими являются вездѣ

крестьяне-общинники, и если охотно идутъ на такія условія, значитъ находятъ ихъ для себя выгодными, ибо ничего лучшаго не имѣютъ. Если бы „общинныя условія“ жизни были лучше, это повлекло бы за собой, какъ необходимое послѣдствіе, и повышеніе заработной платы, и улучшеніе содержанія. Связь между тѣми и другими условіями столь ясна, что нѣтъ надобности на ней дольше останавливаться.

Затѣмъ, спустя два года, г. Мертваго работалъ у хозяина-огородника въ Парижѣ. Жалованье „полнаго работника“ на хозяйскомъ содержаніи составляло въ его время 60—65 франковъ въ мѣсяцъ, что по курсу 1882 г. равнялось 25—30 р. А условія содержанія были слѣдующія. Онъ и другой работникъ Поль помѣщались въ особой комнатѣ; „въ ней стояло 2 кровати съ мягкими шерстяными тюфяками; подушка и постельное бѣлье были также отъ хозяевъ“. Какъ это напоминаетъ „сарай“, гдѣ помѣщались работники Эигельгардта! Работа начиналась въ четыре часа утра, но „прежде чѣмъ идти на работу полагалось выпить полъ-чайнаго стакана коньяку („по праздникамъ сотка водки!“) и закуситъ его хлѣбомъ— это называлось „prendre la goutte“ (капельку пропустить)“. Въ 7 часовъ возвращался другой работникъ съ поля, гдѣ онъ бралъ навозъ для огорода, „и мы, прежде чѣмъ разгружать возъ, принимались втроемъ (съ хозяиномъ) „casser la croute“, т.-е. закусывать хлѣбомъ, сыромъ бри съ холодными остатками ужина, запивая ѣду стаканомъ краснаго вина“ („по праздникамъ сотка водки!“). Работа, затѣмъ, продолжалась до 11 часовъ, когда наступало время завтрака. „Подавалось одно кушанье—какое-нибудь жареное съ соусомъ изъ овощей и, по обыкновенію, сыръ и вино („по праздникамъ сотка водки!“). Послѣ завтрака всѣ ложились спать, причемъ на ѣду и отдыхъ полагалось 2 часа, послѣ которыхъ мы принимались за прерванныя работы и продолжали ихъ до 4 часовъ, когда приходило время обѣда, состоявшаго изъ мясного супа, овощей (артишоки, цвѣтная капуста и т. п.), мяса (обыкновенно изъ супа, а иногда, если супъ былъ съ саломъ, то жаренаго мяса), салата, если во время ягодъ — земляника, или малина съ краснымъ виномъ („по праздникамъ сотка водка!“) и кофе. Такимъ образомъ, обѣдъ состоялъ всегда изъ 4 блюдъ и кофе“. Послѣ обѣда отдыха не было, въ виду особаго характера работы, которая и продолжалась до 10 часовъ вечера, когда „всѣ садятся ужинать и расходятся спать“. Итого, пять разъ въ день ѣда, и притомъ, такая, о которой не можетъ мечтать „властитель русскихъ думъ“—чиновникъ, хотя на его долю и приходится 18% изъ нашего милліарднаго бюджета.

Положимъ, такія условія работы не могутъ быть разсматриваемы, какъ общія для всей Франціи. Близость Парижа не можетъ не оказывать вліянія, о чемъ говоритъ и г. Мертваго. Но несомнѣнно, что „пролетарій", узнавъ объ условіяхъ „общинника", врядъ ли пожелалъ бы помѣняться съ нимъ, какъ бы ему ни захваливали эту пресловутую общину. Тѣмъ болѣе, что и у себя на родинѣ онъ имѣетъ общину. „Вѣдь и здѣсь, — говоритъ г. Мертваго, — деревня называется „la commune", т. е. община, и, благодаря этому, здѣсь мостовыя, шоссе, общественныя школы, — и люди не тратятъ времени безполезно на печеніе хлѣба каждый для себя, на заготовленіе запасовъ каждый для себя, а дѣлаютъ все это люди, которые спеціально этимъ занимаются. У насъ община стѣсняетъ способности человѣка (не стѣсняя, впрочемъ, кулака, который въ общинѣ чувствуетъ себя, какъ рыба въ водѣ): она приравниваетъ его къ одной сенькиной шапкѣ; здѣсь община помогаетъ ему легче жить, но ни въ чемъ не останавливаетъ хозяина въ его задачѣ".

Когда у насъ говорятъ объ „общинѣ", выставляя ее какъ бы въ укоръ Западу, у котораго одинъ „пролетаріатъ", — обыкновенно упускаютъ изъ виду, что на Западѣ общественныя стороны „общины" несравненно сильнѣе и лучше развиты, чѣмъ у насъ. Европеецъ, отбросивъ всѣ стороны общины, стѣснявшія его личность, сохранилъ и развилъ до недосягаемаго совершенства всѣ остальныя. Въ противоположность европейской общинѣ, которую личность подчинила себѣ, можно указать на китайскую общину, которая цѣликомъ подавила личность. Есть чрезвычайно поучительная книга Пирсона, англійскаго консула въ Шанхаѣ, въ которой онъ описываетъ могучее развитіе общины въ Китаѣ. Здѣсь община является всѣмъ: для китайца она служитъ альфой и омегой его существованія. Каждый китаецъ, обращаясь къ общинѣ, могъ бы повторить слова Андромахи къ Гектору: „ты мнѣ теперь — и отецъ, и любезная матерь, ты и братъ мой единственный, ты и супругъ мой прекрасный". Внѣ общины китаецъ немыслимъ. Она подавила въ немъ волю, желанія, умъ и безпощадно наказуетъ малѣйшее отступленіе отъ освященныхъ тысячелѣтіями традицій. Пирсонъ приводитъ поразительные факты власти общины надъ китайцемъ, который, куда бы ни бросила его судьба, несетъ съ собою и общину, что даетъ ему въ борьбѣ за существованіе среди другихъ народностей необычайную стойкость. По словамъ Пирсона, китайцы медленно, но неуклонно завоевываютъ Малайскій архипелагъ, вытѣсняя малайскую расу, и завоевали бы Америку, если бы не во время принятыя энергичныя мѣры, воспретившія китайскую

иммиграцію. Но въ общинѣ лежитъ и китайская слабость. За предѣлами ея для китайца кончается міръ, и понятія о государствѣ, въ нашемъ смыслѣ, онъ не имѣетъ. Этимъ объясняется легкость, съ которой манчжуры завоевали и управляютъ Китаемъ, хотя ихъ неизмѣримо меньше. Этимъ же объясняются и результаты японско-китайскаго столкновенія. Китайской націи нѣтъ, а есть китайская раса, которая охотно подчиняется кому угодно, только бы не мѣшали ей размножаться; китаецъ—не гражданинъ своего отечества, а членъ своей общины, подобно микробу, который является членомъ расплодившейся въ благопріятныхъ условіяхъ микробной общины.

Русская община занимаетъ какъ бы середину между указанными двумя полюсами, повидимому, все больше и больше склоняясь къ европейскому образцу. Съ паденіемъ крѣпостнаго права, бывшаго главнымъ оплотомъ нашей общины, она быстро пошла по той дорогѣ, по которой шла нѣкогда и европейская община, превратившаяся въ современную „la commune". Г. Мертваго, возвратившись изъ-заграничнаго странствованія, разсказываетъ о впечатлѣніи, какое произвела на него русская деревня.

„Когда я смотрѣлъ на заграничныя поля, они меня не радовали — я видѣлъ за ними безземельнаго кнехта, и мнѣ поэтому привлекательнѣе рисовались наши поля, созданныя положеніемъ 19 февраля. Теперь я былъ въ центрѣ Россіи, въ хозяйствѣ „свободнаго", работающаго на себя крестьянина, и былъ пораженъ этой необходимостью бѣжать ему отъ своей земли въ городъ на заработки. Это бѣгство необходимо, такъ какъ населеніе не можетъ прокормиться, такъ какъ въ его надѣлѣ нѣтъ выгона, нѣтъ покоса, нѣтъ лѣса и вдобавокъ оно прикрѣплено къ этому надѣлу, какъ къ позорному столбу; оно не можетъ оставить его, убѣжать куда-нибудь на сѣверъ или въ Сибирь, или въ степь, на свободныя земли, какъ дѣлали въ старину, гдѣ бы оно могло приложить свой трудъ, создать вдвое, втрое цѣнностей на пользу своего отечества..."

Въ послѣднемъ г. Мерваго ошибается. Если бы даже всѣ наши общинники разбрелись врозь, на разныя „теплыя воды", количество „цѣнностей на пользу отечества" оттого не возрасло бы. Цѣнности растутъ только съ возрастаніемъ потребностей, ростъ которыхъ зависитъ отъ условій общественной жизни и уровня развитія.

„Сто лѣтъ назадъ,—говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ,—жилось во Франціи точно у насъ въ Россіи теперь. Сто лѣтъ назадъ, французы ѣли ржаной хлѣбъ, который приходилось часто замѣнять овсянымъ, а иногда подбавлять въ него коры, пили не вино, а какой-то хлѣбный напитокъ, похожій на нашъ квасъ; голодовки и недоимки были ужасныя. Такъ жилось въ деревнѣ. Огородники, которые всюду стоятъ нѣсколько выше деревенскаго населенія, были безграмотны, школы въ плохихъ помѣщеніяхъ, плохо одѣвались и плохо ѣли... Овощей требовалось тогда немного, такъ какъ, конечно, отъ спроса зависѣлъ прогрессъ огородничества.

Какой же прогрессъ былъ возможенъ въ этомъ дѣлѣ, когда только высшіе классы покупали парниковыя овощи, да и ихъ вкусъ, подобно современному русскому, стоялъ еще только на огурцахъ?..“

Въ концѣ своихъ скитаній г. Мертваго убѣдился, что для „чиновничьей націи“ пока еще не наступило время французскихъ огородовъ, а для русскаго хозяйства нѣтъ пока торнаго пути. „Не торный путь будетъ только когда-нибудь менѣе тяжелъ, — заканчиваетъ авторъ свои воспоминанія, — когда создастся у насъ крѣпкая связь между наукой и жизнью, и когда сознаніе необходимости общей работы проникнетъ въ каждую усадьбу, въ каждую избу“, что можетъ быть достигнуто только путемъ, по которому шло развитіе этого сознанія въ западной Европѣ.

«Ганнеле» Гауптмана и «Притчи» Л. Н. Толстого [1]).

„Фантастическія сцены“ Гауптмана, постановкой которыхъ публика обязана „Литературно-артистическому кружку“, произвели давно уже не бывалый эффектъ и въ печати, и въ обществѣ. Явились, какъ водится, страстные поклонники и не менѣе ожесточенные враги, одни ничего не видѣли, кромѣ выдающихся достоинствъ, другіе, напротивъ, — указывали только недостатки. Общій отзывъ, однако, въ пользу „Ганнеле“, и большинство публики признало ее пьесой интересной и трогательной, хотя для многихъ и непонятной.

Между тѣмъ, „Ганнеле“ — крайне незамысловатая вещь, можно сказать, примитивная по мотиву и очень простая по обработкѣ, какъ и все истинно прекрасное. Тема ея далеко не нова, и можно указать много высоко-художественныхъ произведеній, одинаковыхъ съ ней по содержанію. Ее сравниваютъ съ прелестнымъ и трогательнымъ разсказомъ Достоевскаго „Мальчикъ у Христа на елкѣ“, и съ полнымъ правомъ можно отнести ее къ циклу такъ-называемыхъ „рождественскихъ разсказовъ“, въ которыхъ фигурируютъ обыкновенно бѣдныя дѣти, погибающія при самой трогательной обстановкѣ. Лучшіе изъ этихъ разсказовъ принадлежатъ Диккенсу и Андерсену.

Дѣло не въ темѣ „Ганнеле“, а въ ея обработкѣ, новой, оригинальной и несравненно болѣе глубокой, чѣмъ у Достоевскаго и у другихъ писателей.

---

[1]) Іюнь 1895 г.

На сценѣ умираетъ дѣвочка, преждевременно истерзанная жизнью, ничего ей не давшей, кромѣ мученій голода, холода, нищеты,—и смутныхъ, неясныхъ, туманныхъ и поэтическихъ представленій, что жизнь могла бы быть и иной. Только эта иная жизнь такъ далека отъ дѣйствительной, выпавшей на долю Ганнеле, что здѣсь, на землѣ, она и представить ее не можетъ. Такая жизнь ей представляется только на небѣ, куда и стремится ея душа съ страстнымъ желаніемъ уйти поскорѣе отсюда, гдѣ она ничего ни видѣла хорошаго. „Не тебя,—поютъ ей духи, — ласкало солнце, не для тебя росла трава въ долинѣ; ты никогда не была сыта; никогда не дышала чистымъ воздухомъ, не знала, что такое ароматъ цвѣтовъ". Чуткая, нервная и экзальтированная дѣвочка, доведенная истощеніемъ до галлюцинацій, бросается въ воду. Въ блаженномъ восторгѣ своихъ видѣній она не хочетъ возвращаться назадъ, къ прежней жизни, ужасается при воспоминаніи о своемъ вотчимѣ, который будетъ ее снова мучить, объ окружающихъ, которые ее дразнили „незаконнорожденной принцессой въ лохмотьяхъ", и думаетъ съ теплой благодарностью только объ учителѣ, отъ котораго одного она слышала слова любви и утѣшенія, „такіе прекрасные, чудесные гимны". Въ смерти она не видитъ ничего страшнаго, ее пугаетъ только ея безмолвье да холодъ могилы. За то похороны ей представляются моментомъ ея торжества, когда всѣ поймутъ и признаютъ, какая она, Ганнеле, прекрасная, милая дѣвушка, „съ самой маленькой ножкой", и всѣ будутъ жалѣть о ней, а ея вотчима всѣ осудятъ, и онъ съ горя повѣсится. Душа ея улетитъ въ рай, о которомъ ей говорила мать, и ее тамъ встрѣтитъ любимый учитель г. Готтвальдъ („Генрихомъ зовутъ его. Хорошее имя—Генрихъ, правда?"). — Она умираетъ, радостная, довольная, примиренная, безъ борьбы и сожалѣній.

Здѣсь нѣтъ никакой драмы,—драма разыгрывается не на сценѣ, а въ зрительномъ залѣ, въ сердцахъ зрителей, которые, съ начала и до конца, мучительно сознаютъ неизбѣжность этой смерти и свое безсиліе измѣнить жизнь такъ, чтобы и Ганнеле перестала мечтать о смерти, какъ о единственномъ и хорошемъ исходѣ для нея.

Поднимается занавѣсъ, предъ нами пріютъ для нищихъ, погибшихъ женщинъ и жалкихъ бродягъ. Они заняты своими ничтожными дѣлишками, ссорятся и мирятся, словомъ, живутъ, какъ могутъ жить отребья человѣчества. Вносятъ умирающую Ганнеле, и предъ нами возникаетъ вопросъ, если бы она не бросилась въ воду, что ее ожидало бы тогда? И тутъ же готовый отвѣтъ: то же, что случилось съ ея матерью, что было съ обитательницами пріюта, стару-

хой Тульпе и тридцатилѣтней дѣвушкой Гетой, у которой „на лицѣ печать распутства". Зритель сразу видитъ, что для такихъ, какъ Ганнеле, нѣтъ выбора. Ихъ ждетъ одно и то же, а если Ганнеле сломилась раньше, то это ея счастье,—но это „счастье"—случайность.

Почему же, однако, такъ? Почему нѣтъ для нихъ лучшей участи, о которой мечтаетъ въ своихъ видѣніяхъ Ганнеле? Всѣ мечты ея такъ реальны по существу. Она жаждетъ только теплой одежды, пищи, свѣта, воздуха—и немножко любви. Развѣ все это такъ недоступно, что только въ раю и можно встрѣтить? Конечно, нѣтъ. Наивный, даже грубый матеріализмъ ея мечтаній,—вотъ что трогаетъ больше всего и выжимаетъ слезы у зрителей. Пока Ганнеле живетъ и борется, ею никто не интересуется, а когда она гибнетъ въ борьбѣ, всѣ растерянно пожимаютъ плечами, какъ бургомистръ на сценѣ, или какъ докторъ, констатирующій фактъ смерти. Зритель, если не совсѣмъ очерствѣлъ душою, не можетъ не чувствовать горечи вины передъ Ганнеле, не можетъ и не сознавать безсилья передъ роковымъ вопросомъ,—такъ что же дѣлать? Чувство справедливости возмущается въ немъ, хочется излить на кого-либо негодованіе за участь Ганнеле. Въ пьесѣ отвѣтчикомъ за все, но только въ глазахъ самой Ганнеле, является ея вотчимъ, рабочій-каменьщикъ. Но ни авторъ, ни зритель не могутъ обвинить этого пьяницу, который самъ скорѣе жертва, чѣмъ палачъ. Положимъ, онъ грубъ, вѣчно пьянъ, жестокъ, золъ, словомъ, животное во всѣхъ отношеніяхъ. Но или всѣ окружащіе таковы же, какъ онъ, или же, если они не таковы то всѣ они несравненно болѣе виновны, чѣмъ онъ, допуская, при наличности всѣхъ своихъ добродѣтелей, гибель Ганнелле въ рукахъ такого негодяя.

Въ этомъ и заключается весь драматизмъ, этимъ объясняется и сила впечатлѣнія, какое „Ганнеле" производитъ на всѣхъ.

Въ пьесѣ нѣтъ ничего мистическаго. Она реальна до грубости, и если этотъ реализмъ не разрушаетъ художественной иллюзіи, то лишь благодаря фантастическому оттѣнку, лежащему на всемъ. Видѣнія Ганнеле такъ перемѣшаны съ дѣйствительностью, что зритель съ трудомъ различаетъ ихъ, поддаваясь иллюзіи вполнѣ. Ганнеле сливаетъ воедино и бредъ, и окружающихъ, и свое прошлое, что вполнѣ естественно и понятно. Гауптману принадлежитъ оригинальная мысль—вывести на сцену эти видѣнія, заставить ихъ жить, говорить, дѣйствовать, что многимъ кажется страннымъ и непонятнымъ. Они принимаютъ ихъ за какіе-то символы, тогда какъ ничего символическаго въ

нихъ нѣтъ. Ангелы, смерть, странникъ, учитель, дѣти, толпа,—причудливо перемѣшанныя фантазіей умирающей дѣвочки,—именно таковы, какими можетъ ихъ воображать невѣжественная, больная дѣвочка, для которой всѣ отвлеченныя понятія мыслимы только въ реальной, тѣлесной оболочкѣ. Для нея нѣтъ въ нихъ символическаго, а для автора—они представляютъ внутренній міръ ребенка. Онъ раскрываетъ его передъ зрителями, заставляя ихъ въ смущеніи опустить голову. Мясо, молоко, одежда, тепло, свѣтъ, воздухъ—вотъ идеалъ этого ребенка. А между тѣмъ, натура его—кроткая, впечатлительная, доступная всему возвышенному. Ганнеле любила школу, церковь, благодарна за всякую ласку и доброе слово, проникнута благоговѣйной любовью къ Христу, который любитъ всѣхъ такихъ, какъ она, бѣдныхъ, покинутыхъ дѣтей. Образъ Ганнеле въ высшей степени поэтиченъ, обрисованъ авторомъ нѣжными, тонкими, изящными чертами. Она такая хрупкая, граціозная, симпатичная, созданная для любви и нѣги, „для звуковъ сладкихъ и молитвъ",—и рядомъ, какъ олицетвореніе окружающей жизни, ея вотчимъ, несчастный, грубый, спившійся оборванецъ. Рай въ ея видѣніяхъ,—и тутъ же пріютъ для отбросовъ общества, гдѣ все гнусно и скверно. Такими контрастами художникъ намѣренно подчеркиваетъ свою основную мысль, чуждую всякаго мистицизма и декаденства. Въ послѣдней сценѣ, когда духи уносятъ радостную душу Ганнеле, занавѣсъ падаетъ и быстро вновь поднимается,—на сценѣ нѣтъ ни ангеловъ, ни добраго странника, ни восторженной Ганнеле. Въ убогомъ пріютѣ лежитъ на жалкой постели ея тѣло въ грязномъ оборванномъ платьѣ, и докторъ равнодушно заявляетъ на вопросъ сестры милосердія—„умерла"?—„Да, умерла". Нѣкоторымъ эта заключительная сцена кажется лишней, присочиненной, не вяжущейся съ общимъ ходомъ пьесы. Странное недоразумѣніе, чтобы несказать больше. Послѣдняя сцена, это—главный, необходимый штрихъ въ картинѣ, безъ чего она была бы неясной недодѣланной и, дѣйствительно, уподобилась бы мистическо-декадентскому бреду. Этой сценой авторъ говоритъ зрителю: вотъ мечты, а вотъ дѣйствительность. Выводъ сдѣлайте сами.

И выводъ получается безотрадный, но было бы несправедливо упрекать Гауптмана въ пессимизмѣ, какъ это дѣлаетъ одинъ критикъ, называя его убѣжденнымъ страстнымъ пессимистомъ, а его „Ганнеле"—апоѳеозомъ смерти. Ни то, ни другое несправедливо. Гауптманъ—реалистъ до глубины души, онъ беретъ жизнь такою, какова она есть, не отрицаетъ дурного, но и не отворачивается отъ хорошаго. Въ

томъ положеніи, которое выпало на долю Ганнеле, смерть спасеніе, но во всей пьесѣ ни однимъ словомъ не отрицается жизнь по существу. Его Ганнеле мечтаетъ о любви къ доброму учителю и выражаетъ въ наивной пѣсенкѣ, какъ она понимаетъ ее; въ своихъ мечтахъ о жизни въ раю она выражаетъ отрицаніе только жизни полной лишеній, и если стремится къ смерти, то какъ къ неизбѣжному переходу отъ ада, выпавшаго ей на долю, къ райскому житію.

Гауптманъ даже не все отрицаетъ и въ томъ, что составляетъ въ общемъ жизнь Ганнеле на землѣ. Кто далъ ей лучшія минуты здѣсь? Учитель и діаконисса, школа и церковь. Кто является, что-бы облегчить ея послѣднія минуты? Докторъ. Эти три лица, представители трехъ учрежденій,—три луча свѣта въ мрачномъ царствѣ нищеты и невѣжества. Выводя ихъ на сцену, художникъ какъ бы указываетъ путь, который можетъ привести общество къ разрѣшенію вопроса, поставленнаго имъ во всей неприглядной наготѣ. Путь этотъ—просвѣщеніе соединенное съ вѣрой въ добро, руководимое любовью къ человѣчеству. Вѣра и наука—прежде всего, а остальное все приложится.

Какъ ни общъ этотъ отвѣтъ, онъ все-таки далекъ отъ пессимизма, который и не въ натурѣ Гауптмана. Судя по его портрету, это—молодой человѣкъ съ энергичнымъ, нѣсколько грубоватымъ лицомъ, съ твердо очерченнымъ подбородкомъ,—настоящее лицо борца. Въ своихъ „Ткачахъ“ онъ и выступаетъ такимъ борцомъ, во имя лучшаго будущаго, въ которое онъ вѣритъ и стремится убѣдить другихъ. Въ „Ганнеле“ онъ не даетъ рѣшенія, потому что и не могъ бы дать, если бы и хотѣлъ. Какъ художникъ, онъ выполнилъ задачу, если заставилъ зрителей задуматься надъ поставленнымъ вопросомъ, рѣшеніе котораго — дѣло будущаго.

И ни одинъ человѣкъ не осмѣлится теперь сказать, что знаетъ это рѣшеніе, если онъ только не заблуждается, или не обладаетъ такимъ самомнѣіемъ, какъ Л. Н Толстой, выступившій, по-истинѣ, какимъ-то пророкомъ въ своихъ „Притчахъ“, съ которыми не лишне познакомить нашихъ читателей.

О чемъ же „вѣщаетъ“ графъ Толстой въ своихъ „Притчахъ“?

Въ первой говорится о томъ, какъ выросла сорная трава на хорошемъ лугу. Люди ее косили, отчего она только умножалась. Тогда добрый и мудрый хозяинъ посовѣтовалъ владѣльцамъ—не косить сорную траву, а вырывать ее съ корнемъ. Но люди не исполнили его совѣта, продолжая по

разнымъ причинамъ поступать по прежнему. Лугъ засорялся все больше и больше, и дѣло дошло до того, что остались однѣ сорныя травы. Тогда одинъ человѣкъ вспомнилъ предписаніе мудраго хозяина и напомнилъ его людямъ. Но вышло еще хуже,—люди обидѣлись на его напоминаніе, стали называть его безумнымъ гордецомъ, возмнившимъ, что онъ одинъ изъ всѣхъ понялъ совѣтъ хозяина, бранили и смѣялись надъ нимъ. Сколько ни разъяснялъ имъ этотъ человѣкъ, что онъ не выдумываетъ ничего новаго, что совѣтъ этотъ поданъ мудрымъ хозяиномъ, что у него одно лишь желаніе — помочь людямъ извести сорную траву, — его не слушали, и окончательно было рѣшено, что этотъ человѣкъ или превратно толкуетъ слова мудраго хозяина, или злодѣй, желающій только увеличить сорныя травы.

„То же самое случилось и со мной,—заключаетъ графъ,—когда я указалъ на предписаніе евангельскаго ученія о непротивленіи злу насиліемъ... Я говорилъ, что, по ученію Христа, вся жизнь человѣка есть борьба со зломъ, противленіе злу разумомъ и любовью, но что изъ всѣхъ средствъ противленія злу Христосъ исключаетъ одно неразумное средство противленія злу насиліемъ, состоящее въ томъ, чтобы бороться со зломъ зломъ же.—И эти слова мои были поняты такъ, что я говорю, будто Христосъ училъ тому, что не надо противиться злу. И всѣ тѣ, чья жизнь построена на насиліи и кому поэтому дорого насиліе, охотно приняли такое перетолкованіе моихъ словъ и вмѣстѣ съ нимъ словъ Христа, и было признано, что ученіе о непротивленіи злу есть ученіе невѣрное, нелѣпое, безбожное и зловредное. И люди спокойно продолжаютъ подъ видомъ уничтоженія зла производить и увеличивать его".

Во второй притчѣ рѣчь идетъ о фальсификаціи науки и искусства, которую графъ сравниваетъ съ фальсификаціей съѣстныхъ товаровъ. Когда опытная и хорошая хозяйка стала уличать торговцевъ, что они подмѣшиваютъ муку, замѣняютъ масло маргариномъ, и тому подобное,—торговцы, обозлившись на нее, говорили покупателямъ, что она помѣшанная. И всѣ ее ругали и нападали на нее, доказывая, что она хочетъ лишить ихъ пищи.

„Тоже случилось со мной по отношенію къ наукѣ и искусству нашего времени... Когда я сказалъ, что та наука и то искусство, которыми торгуютъ на умственномъ базарѣ, маргариновыя или, по крайней мѣрѣ, съ большими подмѣсями чуждыхъ истинной наукѣ и истинному искусству веществъ, и что я знаю это, потому что купленные мною на умственномъ базарѣ продукты оказались неудобосъѣдаемыми ни для меня, ни для близкихъ мнѣ людей, не только неудобосъѣдаемыми, но прямо вредными, то на меня стали кричать и ухать, и внушать мнѣ, что это происходитъ оттого, что я не ученъ и не умѣю обращаться съ такими высокими предметами. Когда же я сталъ доказывать то, что сами торговцы этимъ умственнымъ товаромъ обличаютъ безпрестанно другъ друга въ обманѣ; когда я напомнилъ то, что во всѣ времена, подъ именемъ науки и искусства предлагалось людямъ много вреднаго и плохого, и что потому и въ наше время предстоитъ та же опасность, что дѣло это не шуточное,

что отрава духовная во много разъ опаснѣе отравы тѣлесной, и что поэтому надо съ величайшимъ вниманіемъ изслѣдовать тѣ духовные продукты, которые предлагаются намъ въ видѣ пищи, и старательно откидывать все поддѣльное и вредное, когда я сталъ говорить это,—ни кто, никто, ни одинъ человѣкъ, ни въ одной статьѣ или книгѣ не возразилъ мнѣ на эти доводы, а изо всѣхъ лавокъ закричали, какъ на эту женщину: онъ безумецъ! Онъ хочетъ уничтожить науку и искусство, то, чѣмъ мы живемъ. Бойтесь его и не слушайтесь! Пожалуйте къ намъ, къ намъ! У насъ самый послѣдній заграничный товаръ".

Какой, однако, жаргонъ у проповѣдника непротивленія злу насиліемъ! Это языкъ—не любви и разума, а озлобленнаго, до болѣзненности развитого самолюбія.

Въ третьей фигурируетъ все человѣчество, въ образѣ путниковъ, сбившихся съ дороги, и графъ Толстой, подающій единственный разумный совѣтъ остановиться, подумать и выбрать новый путь послѣ зрѣлаго размышленія. Но „никто" не послушался, „ни одинъ человѣкъ" не призналъ ошибочности избранной дороги.

„А всѣ разсердились, обидѣлись и поспѣшили заглушить дружнымъ говоромъ мой одиночный голосъ. „Мы и такъ лѣнивы и отстали. А тутъ проповѣдь лѣни, праздности, недѣланія!" Нѣкоторые прибавили даже: ничего—недѣланія. Не слушайте его, впередъ за нами!.. Что думать? Что стоять? Скорѣе впередъ! Все само собой сдѣлается!—Люди сбились съ пути и страдаютъ отъ этого. Казалось бы, первое и главное усиліе энергіи, которое слѣдуетъ сдѣлать, должно бы быть направлено не на усиленіе того движенія, которое завлекло насъ въ то ложное положеніе, въ которомъ мы находимся, а на остановку его. Казалось бы, ясно то, что, только остановившись, мы можемъ хоть сколько-нибудь понять свое положеніе и найти то направленіе, въ которомъ мы должны идти для того, чтобы придти къ истинному благу не одного человѣка, не одного разряда людей, а истинному общему благу человѣчества, къ которому стремятся всѣ люди и отдѣльно каждое сердце человѣческое. И что же? Люди придумываютъ все возможное, но только не то одно, что можетъ спасти, а если и не спасти ихъ, то хотя облегчить ихъ положеніе, именно то, чтобы хоть на минуту остановиться и не продолжать усиливать своей ложной дѣятельностью свои бѣдствія. Люди чувствуютъ бѣдственность своего положенія и дѣлаютъ все возможное для избавленія себя отъ него, но только того одного, что навѣрное облегчитъ ихъ положеніе, они ни за что не хотятъ сдѣлать, и совѣтъ сдѣлать это больше всего раздражаетъ ихъ. Если бы можно было еще сомнѣваться въ томъ, что мы заблудились, то это отношеніе къ совѣту одуматься очевиднѣе всего доказываетъ, какъ безнадежно мы заблудились, и какъ велико наше отчаяніе".

Прежде графъ Толстой нападалъ на догматы во имя свободы критики. Теперь онъ каждое свое положеніе возводитъ въ догматъ, причемъ мы видимъ его чуть ли не нетерпимѣе папы, который все же дѣлаетъ уступки требованіямъ времени. Его „*я* сказалъ", „*я* утверждаю", „*я* думалъ"—сокрушаютъ все,—и науку, и опытъ, и жизнь...

А „ученики", превзошли „учителя", договорившись, по истинѣ, до герулесовыхъ столбовъ невозможнаго. Вотъ небольшая выдержка изъ статьи г. Меньшикова въ майской

книжкѣ „Недѣли“, по поводу послѣдняго разсказа Л. Н. Толстого „Хозяинъ и работникъ“.

„Таковъ историческій смыслъ притчи „Хозяинъ и работникъ“. Брехуновъ—отживающее язычество, Никита—растущее изъ стихіи народной истинное христіанство... Въ „Хозяинѣ и работникѣ“ отмѣченъ великій расколъ между хозяйничающими и рабочими классами, между такъ называемой интеллигенціей и народомъ. Жизнь интеллигенціи еще насквозь проникнута языческими началами: въ ея законахъ и уставахъ, которымъ долженъ подчиниться и народъ, все еще дѣйствуетъ жестокое римское право, и въ зародышевомъ представителѣ интеллигенціи—въ Брехуновѣ—живетъ духъ Цезаря, мечтавшаго о захватѣ міра. Какъ Цезарь, какъ все язычество, Брехуновъ только и мечтаетъ о захватѣ—зачѣмъ? Затѣмъ, чтобы возбуждать страхъ и зависть и имѣть возможность питать къ слабымъ презрѣніе. Зачѣмъ Брехунову столько денегъ, лавокъ, домовъ, рощъ и т. д.?. Вѣдь для его вполнѣ безпечнаго счастья довольно было бы одного дома, одного небольшого клочка земли. И всѣ Брехуновы, вся интеллигенція помѣшана на томъ же тщеславіи, на жаждѣ ненужныхъ жизни матеріальныхъ выгодъ, съ неизбѣжнымъ насиліемъ и обманомъ. Не то стихійный Никита, народъ: тамъ, гдѣ онъ не развращенъ, не втянутъ въ хищничество, тщеславіе уже не встрѣчается—по крайней мѣрѣ въ видѣ страшной душевной болѣзни, какъ среди интеллигенціи. Въ глубинахъ народныхъ замѣтны истинно христіанскіе обычаи братства, равенства и свободы—свободы мысли, и вѣры, и слова. Нѣтъ тщеславія—нѣтъ и алчности къ богатству. Большинство народа цѣлью труда ставитъ необходимое питаніе; для большинства интеллигенціи эта цѣль—какое-нибудь преимущество: господство политическое, экономическое, умственное, т. е. нѣчто по существу не христіанское. Цѣль Никиты—питаніе—легко удовлетворима, цѣль Брехунова—неудовлетворима вовсе; кругъ жизни народа замкнутъ, какъ геометрическій кругъ; интересы интеллигенціи подобны гиперболѣ, вѣтви которой идутъ въ безконечность, въ безсиліе захватить ее“, и т. д.

Что скажетъ Л. Н. Толстой, прочитавъ эту статью, трудно предвидѣть, но, по всей вѣроятности, ему станетъ не по себѣ. Врядъ ли ему приходило въ голову—видѣть въ Брехуновѣ интеллигенцію и даже „духъ Цезаря“, а въ грѣшномъ Никитѣ—олицетвореніе „стихійной правды“, народнаго духа, цѣль котораго—„питаніе“.

Дальше, повидимому, идти некуда. Остается, впрочемъ, еще одинъ шагъ къ „опрощенію“—признать, что третье дѣйствующее лицо разсказа Мухортый — недосягаемый идеалъ. Онъ такъ кротокъ, смиренъ, ласковъ и жизнерадостенъ, съ природой одною онъ жизнью дышитъ, и если не разумѣетъ „ручья лепетанія“, то ни мало не сомнѣвается, что трава существуетъ затѣмъ, чтобы ее ѣсть, и вода, чтобы пить, а что больше, то отъ лукаваго. Кромѣ „питанія“, никакихъ цѣлей онъ не преслѣдуетъ, къ „насильственной интеллигенціи“ вполнѣ равнодушенъ и насчетъ кнута превратныхъ толкованій не придерживается,—пріемлетъ и ничто же вопреки глаголетъ, а если и брыкнетъ иной разъ, такъ больше „любя“...

Мистическія настроенія въ литературѣ иностранной и у насъ [1]).

Одно изъ лучшихъ произведеній Ибсена, „Привидѣнія", заканчивается потрясающей сценой, написанной съ поразительной силой. Герой драмы, надломленный потомокъ цѣлаго поколѣнія много грѣшившихъ отцовъ, гибнетъ жертвой наслѣдственности. Подавленный медленно охватывавшей его болѣзнью, онъ сходитъ съ ума и монотонно повторяетъ одни и тѣ же слова, обращенныя къ матери:

„— Мама, дай мнѣ солнце... солнце... солнце..."

Этотъ несчастный больной намъ представляется символомъ души современнаго человѣка, какъ она отразилась въ литературѣ. Такое сравненіе невольно навертывается при чтеніи „Обзора иностранныхъ литературъ", помѣщеннаго въ декабрьской книгѣ нашего журнала. Тамъ есть одна черта, останавливающая вниманіе читателя,—черта, красной нитью проходящая черезъ весь „Обзоръ" не смотря на разнообразіе лицъ, въ немъ участвовавшихъ, различныхъ по національностямъ, возрастамъ, темпераментамъ и направленіямъ. Но всѣ они, одни больше, другіе меньше, подчеркиваютъ ее, и такое единодушіе—„безъ предварительнаго сговора"—само по себѣ представляется знаменательнымъ явленіемъ.

„Послѣ господства реализма, крайнія проявленія котораго никогда не встрѣчали симпатіи въ Швеціи, явилось въ видѣ реакціи стремленіе къ романтизму и символизму" пишетъ шведъ, перечисляя рядъ авторовъ, „по складу своего ума несклонныхъ къ этому направленію", но „слѣпо подчиняющихся господствующей модѣ". Бринхманнъ, обозрѣватель норвежской литературы, отличавшейся прежде простотой и реализмомъ, граничившимъ нерѣдко съ натурализмомъ довольно подозрительнаго свойства, отмѣчаетъ рѣзкую перемѣну къ направленіи Арне Гарборга, замѣчательнаго писателя, автора нѣсколькихъ натуралистическихъ романовъ, сдѣлавшагося внезапно пессимистомъ, затѣмъ піетистомъ и кончившаго „мрачнымъ мистицизмомъ". „Нѣсколько лѣтъ тому назадъ,—продолжаетъ Бринхманнъ,—въ Норвегіи почти никто не писалъ стиховъ, а теперь она насчитываетъ десятки поэтовъ самыхъ разнообразныхъ направленій", среди которыхъ онъ указываетъ нѣсколькихъ, „проникнутыхъ страннымъ романтизмомъ", силящихся передать читателю „свое мистическое настроеніе". Ибсенъ обозрѣвая литературу Даніи, почти буквально повторяетъ Бринхманна: „Нѣсколько лѣтъ

[1]) Январь 1896 г.

тому назадъ, стихи считались въ Данія болѣе низкой формой, чѣмъ проза, и неудобнымъ способомъ выраженія чувствъ; теперь это мнѣніе оставлено, и многіе молодые писатели съ успѣхомъ занимаются стихотворствомъ. Въ романѣ господствовалъ чистый реализмъ, идеи и все сколько-нибудь абстрактное строго отрицалось,—теперь мы замѣчаемъ въ немъ тенденцію къ символизму и неопредѣленному мистицизму."

Могутъ замѣтить, что Швеція, Норвегія и Данія—родственныя страны, чѣмъ отчасти и объясняется тожественность настроеній. Но вотъ обозрѣватель Италіи подчеркиваетъ „меланхоличное настроеніе у всѣхъ современныхъ поэтовъ", темноту и вычурность формы у двухъ наиболѣе прославленныхъ изъ нихъ—Пасколи и Кардучи—и болѣзненную манерность у самаго моднаго современнаго романиста д'Аннунціо. Про Францію мы не говоримъ: шумъ поднимаемый тамъ символистами, отдается даже у насъ на подмосткахъ столичной сцены, какъ было, напр., во время представленія „Тайны души" Метерлинка. Какъ одно изъ замѣчательнѣйшихъ произведеній, авторъ французскаго обзора отмѣчаетъ „Les pleureuses" (Плакальщицы) Генри Барбусса,—„рядъ стихотвореній, составляющихъ одну длинную поэму, воспѣвающую сладость траура и тѣни, уединенія и печали". Въ Германіи Робертъ Цимерманнъ приводитъ „образчики поэзіи въ новѣйшемъ вкусѣ", произведеніе „Садъ познанія" Леопольда Адріана, „несомнѣннаго импрессіониста", и жалуется на необузданность фантазіи нѣмецкихъ декадентовъ.

Если къ этому обзору прибавимъ кучу нелѣпоетей нашего доморощеннаго декадентства, рѣзко проявившагося въ русской литературѣ за истекшій годъ, то картина получится довольно полная и внушительная. Получается яркая черта въ настроеніи современнаго общества, какъ западнаго, такъ и нашего, хотя у насъ она слабѣе,—быть можетъ, потому, что и литература у насъ меньше отражаетъ въ себѣ настроенія вообще. Во всякомъ случаѣ, говорить о подражательности и позаимствованіи и только этимъ объяснять общность этого явленія—значило бы закрывать глаза, отказываясь отъ пониманія его. Какъ бы то ни было, его приходится признать, а тамъ ужъ дѣло личнаго настроенія—видѣть въ немъ шагъ впередъ или назадъ, радоваться или плакать.

Стремленіе къ символизму и мистицизму—вотъ то общее, что выдѣляется на сѣроватомъ фонѣ современныхъ литературъ, гдѣ истекшій годъ не выдвинулъ ни одного сильнаго таланта, ни одного произведенія, которому было бы суждено „прейти вѣковъ завистливую даль". Какъ въ биржевыхъ бюллетеняхъ мы читаемъ: „биржа прошла въ угнетенномъ

настроеніи", такъ литературный годъ начался и закончился въ угнетеніи. Сильно понизились фонды натурализма, что составляетъ, повидимому, фактъ неспоримый. Но въ этомъ пониженіи искать причинъ „возрожденія кикиморы",—какъ ѣдко охарактеризовалъ одинъ глубокоуважаемый философъ усиленіе танденцій къ мистикѣ и символизму,—едва ли возможно. Такое объясненіе односторонне и потому не совсѣмъ вѣрно.

На долю современнаго поколѣнія выпала тяжелая расплата за увлеченія, ошибки и несчастья отцовъ, и, что удивительнаго, если души мечтательныя и слабыя, неспособныя къ анализу и несклонныя къ борьбѣ, отвращаются отъ прежнихъ идеаловъ и ищутъ спасенія въ убаюкивающей тиши мистицизма? Тегнеръ лучше всего опредѣляетъ это настроеніе. „Сложить руки на груди, закрыть глаза на все окружающее и предать себя во власть высшей силѣ—вотъ что значитъ быть мистикомъ", говоритъ онъ. Такое дремотное состоянія души очень соблазнительно въ извѣстныя эпохи жизни какъ отдѣльной личности, такъ и цѣлыхъ обществъ, что и выразилъ Пушкинъ въ своемъ шутливо скорбномъ восклицаніи: „зачѣмъ какъ тульскій засѣдатель я не лежу въ параличѣ?" Даже самыя сильныя натуры, меньше всего склонные къ апатичному прозябанію, могутъ въ порывѣ отчаянія припасть на минуту къ ногамъ „кикиморы". Потому что жить безъ вѣры нельзя, безъ вѣры во что-либо столь большое, предъ чѣмъ личное, маленькое я умалялось бы до полнаго уничтоженія, что было бы тѣмъ большимъ кораблемъ, къ которому намъ, маленькимъ людямъ, можно было бы привязать и свой челнокъ. Если нѣтъ этого, жизнь представляется тогда темнымъ коридоромъ, въ которомъ бредешь ощупью, рискуя на каждомъ шагу разбить себѣ лобъ.

Но порывъ отчаянья, какъ и всякій порывъ, дѣло минутнаго настроенія, и съ исчезновеніемъ его разсѣевается и мистическій туманъ, въ которомъ нѣтъ и не можетъ быть здороваго зерна, какъ думаютъ иные. Всякій разъ, когда „душа вселенной тосковала о духѣ вѣры и любви", замѣчалась та же склонность къ мистическимъ бреднямъ. Мистицизмъ—это душевный заразный микробъ, который овладѣваетъ ослабленнымъ организмомъ и гибнетъ, разъ силы возстановляются. И какъ есть натуры, отъ рожденія особенно склонныя, напр., къ чахоткѣ (такъ назыв. status phtisicus), такъ есть другія заранѣе обреченныя пасть жертвой мистическаго микроба. Мы не можемъ указать ни одного великаго художника или мыслителя съ мистическими наклонностями, и, наоборотъ, можно привести рядъ великихъ именъ, людей, съ поразительной душевной ясностью, поч-

ти кристальной чистоты. Чтобы не ходить далеко за примѣрами припомнимъ Пушкина или Тургенева.

Мистицизмъ не имѣетъ въ себѣ ничего творческаго, и художественный талантъ съ оттѣнкомъ мистицизма отцвѣтаетъ безъ расцвѣта. Онъ можетъ дать нѣсколько незначительныхъ, хотя болѣе или менѣе яркихъ образовъ, но преходящихъ, почти неуловимыхъ, какъ смутныя тѣни сумерекъ. Все здоровое, сильное, гордое чуждо ему, почти непонятно. Такіе художники, выбираютъ сюжеты для своихъ созданій среди слабыхъ и больныхъ, они склонны рисовать жизнь болѣзненныхъ дѣтей,, преступниковъ, сбившихся съ пути людей или уродцевъ и несчастныхъ отъ рожденія. Положенія для своихъ героевъ они выбираютъ всегда экстравагантныя, странныя, почти неестественныя. Замѣчательно, между прочимъ, они никогда не описываютъ любви, потому что въ ихъ душѣ, омраченной мистицизмомъ, нѣтъ страсти. А любовь безъ страсти не бываетъ. Страсть—это признакъ силы, которой имъ недостаетъ. Это сказывается въ ихъ слогѣ, нерѣдко звучномъ, красивомъ, округленномъ, но отдающимъ какой-то нездоровой припухлостью, манерной мелочностью, туманностью, почти напыщенностью. Они щеголяютъ эпитетами, у нихъ всегда излюбленныя словечки. Вообще, ихъ словарь не богатъ, вслѣдствіе чего имъ постоянно приходится, во избѣжаніе повтореній, прибѣгать къ самымъ удивительнымъ сочетаніямъ словъ, что дѣлаетъ ихъ произведенія монотонными. Еще одна любопытная подробность,—они очень часто описываютъ смерть, силясь безплодно понять эту тайну, потому что мистицизмъ есть, въ сущности, скрытый страхъ смерти. Они чувствуютъ тайну и стараются облечь ее въ образы"—въ этомъ весь смыслъ мистицизма.

Но тайна не перестаетъ быть отъ этого тайной, пожалуй, она становится лишь еще глубже и непонятнѣе. Растетъ и страхъ передъ нею и усиливаются мучительныя попытки совладать съ нимъ посредствомъ новыхъ и новыхъ образовъ, въ созерцаніи которыхъ жертвы этого страха думаютъ забыться, подобно тому, какъ евреи передъ мѣднымъ змѣемъ Моисея въ пустынѣ. Въ концѣ концовъ обезсиленныя, онѣ складываютъ руки и отдаются всецѣло во власть торжествующей кикиморы.

Вотъ почему возрожденіе послѣдней знаменуетъ всегда ослабленіе жизненности общества. Когда оно живетъ полной жизнью, наслаждаясь всей полнотой бытія, нѣтъ тогда мѣста мистическимъ влеченіямъ, какъ, напр., въ радостную эпоху Возрожденія, на зарѣ современной цивилизаціи, или у насъ въ шестидесятые годы, въ первые дни гражданской жизни. Напротивъ, мистическія влеченія усиливаются во

времена общественной реакціи и душевной смуты, въ тѣ переходныя эпохи, когда старые боги повержены въ прахъ, а новые еще не успѣли занять ихъ опустѣвшіе пьедесталы.

Такое же явленіе мы наблюдаемъ теперь, и, повидимому, оно еще только въ началѣ. На Западѣ это настроеніе проявляется ярче, потому что и жизнь тамъ интенсивнѣе, разнообразнѣе, столкновеніе интересовъ сильнѣе, а, слѣдовательно, больше жертвъ, больше разбитыхъ надеждъ и неудовлетворенныхъ существованій. Что это настроеніе западныхъ литературъ коренится въ общественныхъ условіяхъ, видно изъ того, что тамъ, гдѣ эти условія лучше и жизнь нормальнѣе, замѣчается совершенно иное настроеніе. Мы имѣемъ въ виду литературу англійскую и американскую. Въ первой замѣтно усилился такъ-называемый соціальный романъ, въ которомъ обычная романтическая коллизія любви и любовная психологія отступаютъ на второй планъ, и выдвигаются картины общественной жизни, политическихъ кружковъ, промышленной сферы или рабочаго движенія. Очень яркимъ представителемъ этого направленія можетъ служить романъ Гемпфри Уордъ „Марчелла", печатавшійся въ прошломъ году въ „Русской Мысли", къ сожалѣнію, въ сильно сокращенномъ видѣ. Это исторія богато одаренной отъ природы дѣвушки изъ аристократической семьи. Въ противность героиямъ добраго стараго времени, романовъ Диккенса и Тэккерея, Марчелла не удовлетворяется личной жизнью, не отказывается отъ своего *я* ради любимаго человѣка и ищетъ примѣненія для своихъ недюжинныхъ силъ въ борьбѣ за обездоленныхъ. Чуждая кружковыхъ крайностей и партійной узости, она смягчаетъ неумолимыя доктрины своихъ духовныхъ вождей сердечностью высоко развитой и чуткой женской натуры, которой ничто человѣческое не чуждо, даже пониманіе порока. Марчелла — совершенно новый типъ въ англійской литературѣ, типъ удивительной красоты и духовнаго совершенства, для созданія и развитія котораго необходима и высокая культура Англіи. Такое же новое направленіе замѣчается и въ англійской драмѣ, гдѣ драматическія положенія вытекаютъ не изъ столкновенія личныхъ страстей, а политическихъ и общественныхъ интересовъ. Въ литературѣ Америки (Соединенныхъ Штатовъ, конечно), какъ можно судить по очеркамъ г. Тверского и разсказамъ Бойнейзена, печатавшимся въ „Вѣст. Европы", пробивается не менѣе живая струя, которую мы назвали бы „народническою", если бы этотъ эпитетъ не получилъ у насъ значеніе, далеко не всегда выражающее истину. Эту струю лучше охарактеризовать демократическою, тѣмъ болѣе, что она непосредственно вытекаетъ изъ того

широкаго народнаго движенія, которое охватило всѣ слои американской націи, движенія къ просвѣщенію и критическому пересмотру всѣхъ основъ соціальной и политической жизни.

Когда отъ этой картины здороваго, мощнаго, полной грудью дышащаго общественнаго организма, вернемся на континентъ Европы, первое, что привлекаетъ вниманіе, это французская „Камчатка"—зрѣлище, даже и не у олимпійцевъ способное вызвать лишь „смѣхъ несказанный". А на фонѣ ея вырисовывается печально-запуганный Метерлинкъ, этотъ выразитель „тайнъ души" современнаго французскаго буржуа, который живетъ въ постоянномъ трепетѣ смерти. Въ дни своей молодости этотъ буржуа отличался скептицизмомъ, жилъ шутя и умиралъ шутя, при случаѣ, даже съ большимъ достоинствомъ. Въ періодъ зрѣлости онъ ударился въ натурализмъ и пожилъ, что называется, въ полное свое удовольствіе. Теперь же старый грѣшникъ блѣднѣетъ при мысли о смерти, сталъ ханжей, проповѣдуетъ возвратъ къ католицизму и папскому престолу, у подножія котораго онъ не прочь пройтись слегка по части разныхъ liaison dangereuses. Въ литературѣ современной Франціи, какъ въ зеркалѣ, отразилось все ничтожество буржуазной, мѣщанской жизни, съ ея низменными стремленіями, ограниченнымъ самодовольствомъ и непрестаннымъ страхомъ за свое драгоцѣнное существованіе, которое въ глазахъ буржуа есть центръ міра. Можно сказать, что это—инивидуализмъ, дошедшій до своего отрицанія.

Въ Германіи струя мистицизма и символизма сталкивается съ яркимъ и свѣжимъ талантомъ Гергардта Гауптмана, самаго молодого и самаго талантливаго изъ писателей молодой Германіи. Онъ какъ бы является представителемъ новаго поколѣнія объединенной Германіи,—поколѣнія, выросшаго въ суровыхъ условіяхъ политики крови и желѣза, въ тискахъ милитаризма и усилившагося, послѣ войны, капитализма. Это поколѣніе прошло суровую школу, изъ которой вынесло сильную, закаленную душу борца, что отражается въ каждомъ произведеніи Гауптмана. Что такое его „Ганнеле",—съ которой наши читатели знакомы,—какъ не открытый вызовъ, брошенный современному общественному строю? Или его „Одинокіе люди" (см. іюль „Сѣв. Вѣст."), предпочитающіе смерть гнету семейнаго лицемѣрія? Наконецъ, въ „Ткачахъ" онъ ставитъ ребромъ рабочій вопросъ, такъ обострившійся въ Германіи за послѣднее двадцатипятилѣтіе. Гауптманъ ставитъ вопросы въ самой простой, до осязательности конкретной формѣ, какъ того и требуетъ современная жизнь. Въ сущности, мы меньше всего нуж-

даемся въ построеніи новыхъ идеологическихъ формъ, въ новыхъ общественныхъ и личныхъ идеалахъ. Ихъ болѣе, чѣмъ достаточно, и изслѣдованы они до послѣднихъ логическихъ выводовъ. Быть можетъ, наше время—скорѣе время осуществленія идей и мечтаній, вдохновлявшихъ великія сердца нашихъ отцовъ? И та смутная тревога, которая овладѣваетъ даже наиболѣе сильными умами и стойкими душами, а слабыхъ толкаетъ къ мистицизму и символизму,—не есть-ли она одно изъ тѣхъ знаменій, которыя предшествуютъ великимъ событіямъ, какъ говоритъ Ламмене? И, быть можетъ, наступающій годъ несетъ намъ, въ складкахъ своего таинственнаго покрывала, разгадку не одного изъ жгучихъ вопросовъ, завѣщанныхъ ему печально сходящимъ со сцены предшественникомъ?..

Переходя къ родной литературѣ, мы бы затруднились назвать особенно выдающіяся творенія. Истекшій годъ отличался большой плодовитостью, и книжный и журнальный рынокъ не оскудѣвалъ товаромъ. Разнаго качества былъ послѣдній, но есть одно, подавлявшее всѣ остальныя,—посредственность, шаблонъ, какъ у фабричныхъ издѣлій, вышедшихъ изъ-подъ одной и той же штампы. И если литература, какъ можно думать, служитъ выразительницей извѣстныхъ настроеній, то главная, характернѣйшая черта ихъ — неопредѣленность. Въ нѣкоторыхъ моряхъ довольно часто наблюдается явленіе, когда при полномъ безвѣтріи начинается странное волненіе, въ видѣ мелкихъ, короткихъ волнъ, бѣгущихъ безъ опредѣленнаго направленія, сталкивающихся и расходящихся въ суетливомъ безпорядкѣ. У моряковъ для этого явленія есть особое названіе — мертвая зыбь. Плохо кораблю, который, не обладая сильной машиной, попадетъ въ эту толчею, не дающую ему двигаться впередъ и въ то же время сильно расшатывающую его корпусъ. Такую же мертвую зыбь напоминаютъ литературныя теченія минувшаго года, своей безпорядочностью, неопредѣленностью, минорностью тона и мелочностью интересовъ. „Смѣшиця по Русѣ пошла“—говоритъ одно изъ дѣйствующихъ лицъ въ разсказѣ г. Короленко „Рѣка играетъ“. „Давно ужъ это, не со вчерашняго дня“, успокоительно отвѣчаетъ ему другой. Эти немудреныя замѣчанія вполнѣ примѣнимы и къ нашей литературѣ, въ которой „смѣшиця“ составляетъ наиболѣе характерное явленіе за прошлый годъ.

Добромъ помянуть его не за что, а лихомъ — не стоитъ того. „Vorbei und reines Nichts, volkommnes Einerlei“ *), говоритъ Мефистофель, и такъ какъ живемъ мы не ради прошлаго, а во имя будущаго, то хотя бы „трудъ и горе“ сулило намъ „грядущаго волнуемое море“,—будемъ продол-

жать нашу работу, утѣшаясь французской поговоркой: „дѣлай каждый свое дѣло, а что изъ сего воспослѣдуетъ — предоставимъ Богу“.

Плохое утѣшеніе, могутъ замѣтить. Кто знаетъ лучшее— пусть скажетъ.

«Сочиненія Н. А. Добролюбова»—Н. В. Шелгуновъ въ «Очеркахъ русской жизни».—«Современныя теченія» въ характеристикѣ г. Южакова [1]).

На зарѣ возрожденія русскаго общества, когда впервые оно приступило къ сознательной планомѣрной работѣ и отъ узко-личной перешло къ жизни общественной, встаетъ одинъ образъ, выдѣляющійся своей трагической красотой и нравственнымъ величіемъ среди окружающихъ его и не менѣе блестящихъ, и не менѣе талантливыхъ дѣятелей того времени. Юношески чистый, не запятнанный жизнью, чуждый низменныхъ стремленій обыденности, съ ея пошлостью и мелкими страстями, онъ возвышается надъ всѣми не силою ума, не громаднымъ талантомъ или знаніями. Его сила заключалась въ нравственной красотѣ, которую или надо признать и подчиниться ей, или отвергнуть и возненавидѣть, потому что она не допускаетъ никакихъ сдѣлокъ, колебаній, сомнѣній, на которыя такъ легко поддается толпа. Въ такой красотѣ есть всегда элементъ трагическаго, т.-е. того рокового, что неизбѣжно приводитъ въ столкновеніе съ жизнью, къ борьбѣ и смерти.

Когда Добролюбовъ, еще двадцатилѣтнимъ юношей, вступилъ въ литературу, онъ сразу занялъ то мѣсто, которое какъ бы для него было уготовано и ждало его. И онъ занималъ это мѣсто не только до смерти, но и послѣ оно осталось за нимъ, и, опустѣвшее, напоминало окружающимъ, что только другой, не уступающій Добролюбову въ нравственной высотѣ, можетъ замѣнить его. Но другого такого не было тогда, какъ не было послѣ, нѣтъ и теперь.

Вступивъ въ редакцію „Современника“, Добролюбовъ засталъ въ ней не пустоту, а рядъ силъ и талантовъ, какими ни одна редакція ни въ то время, ни потомъ не могла блеснуть. Довольно назвать двоихъ—Некрасова и Чернышев-

---

*) „Что прошло—все равно, какъ будто и не было“.

[1]) Мартъ 1896 г.

скаго: одинъ уже признанный всѣми поэтъ народной печали, другой—ученый и первый публицистъ. Около нихъ сгруппировались менѣе видные, изъ которыхъ каждый потомъ занялъ мѣсто въ литературѣ и запечатлѣлъ въ ней свое имя навсегда. Но и Некрасовъ, и Чернышевскій, безспорно превосходившіе Добролюбова талантомъ, опытомъ и знаніемъ, безпрекословно подчинились и отдали руководство журналомъ ему. Они почувствовали, что съ нимъ вошла въ журналъ новая сила, увѣнчавшая зданіе, сила, безъ которой ни талантъ, ни опытъ, ни знаніе не имѣютъ всей полноты совершенства, цѣльности и рѣшающаго значенія. Трогательно было видѣть, говоритъ г-жа Головачева, какъ относились къ нему его старшіе товарищи по журналу. Каждый день по утрамъ, разсказываетъ она, „къ чаю являлся Чернышевскій, чтобы пользуясь этимъ свободнымъ временемъ поговорить съ Добролюбовымъ. Ихъ отношенія удивляли меня тѣмъ, что не были ни въ чемъ рѣшительно схожи съ взаимными отношеніями другихъ, окружавшихъ меня лицъ. Чернышевскій былъ гораздо старѣе Добролюбова, но держалъ себя съ нимъ какъ товарищъ“. Некрасовъ въ своихъ отношеніяхъ шелъ еще дальше, и голосъ Добролюбова былъ для него рѣшающимъ, какъ, напр., въ исторіи разрыва съ Тургеневымъ, котораго Некрасовъ любилъ и какъ товарища, и какъ самаго талантливаго баллетриста въ журналѣ, занимавшаго тогда первое мѣсто въ литературѣ.

Въ чемъ же заключалась сила этого вліянія, почему вчера еще никому неизвѣстный юноша явился вдругъ рѣшителемъ судебъ одного изъ виднѣйшихъ журналовъ и повелъ за собой другихъ, превосходившихъ его во многихъ отношеніяхъ?

Сила эта заключалась въ обаяніи нравственной красоты, олицетворенной въ Добролюбовѣ съ такой полнотой, до которой послѣ него никто не возвысился, а до него могъ равняться съ нимъ въ этотъ отношеніи только Бѣлинскій, „неистовый Виссаріонъ“, тоже не знавшій никакихъ сдѣлокъ съ совѣстью, промодушный чистый, служившій только тому, что признавалъ истиною. „Идеальное прямодушіе во всѣхъ литературныхъ отношеніяхъ, отсутствіе поклоненія какимъ бы то ни было авторитетамъ и заискиваній передъ громкими именами и знаменитостями, наконецъ, полное отрицаніе какихъ бы то ни было компромиссовъ, подлаживаній и уступокъ ради практическихъ соображеній“,—такими словами опредѣляетъ г. Скабичевскій характеръ литературной дѣятельности Добролюбова. Въ выдержкахъ изъ писемъ его и изъ воспоминаній Головачевой, г. Скабичевскій въ біографіи, составленной имъ для новаго (5-го) изданія О. Н. По-

новой сочиненій Добролюбова, приводитъ массу крайне характерныхъ для послѣдняго признаній и отзывовъ. „Редакція,—говорилъ Добролюбовъ,—обязана дорожить мнѣніемъ читателя, а не литературными сплетнями. Если бояться всѣхъ сплетень и подлаживаться ко всѣмъ требованіямъ литераторовъ, то лучше вовсе не издавать журнала; достаточно и того, что редакціи нужно сообразоваться съ цензурой. Пусть господа литераторы сплетничаютъ, что хотятъ; неужели можно обращать на это вниманіе и жертвовать своими убѣжденіями? Рано или поздно, правда разоблачится, а клевета, распущенная изъ мелочнаго самолюбія, заклеймитъ презрѣніемъ самихъ же клеветниковъ". Добролюбовъ, говоритъ Головачева, никогда не позволялъ себѣ примѣшивать къ своимъ отзывамъ о чьихъ-либо литературныхъ произведеніяхъ своихъ личныхъ симпатій и антипатій.

Мы привели эти отзывы, чтобы показать, въ чемъ и какъ проявлялась въ личныхъ отношеніяхъ та нравственная высота, на которой стоялъ Добролюбовъ. Сущность же ея заключалась въ идеѣ *долга*, которая проникаетъ дѣятельность Добролюбова, съ перваго выхода его на публицистическую арену и до могилы. Съ трогательной простотой, задушевностью и сжатостью, столь характерной для Добролюбова, онъ самъ лучше всего выразилъ этотъ основной мотивъ своей жизни въ извѣстномъ стихотвореніи:

Милый другъ, я умираю,
Потому что былъ я честенъ,
Но за то родному краю
Вѣрно буду я извѣстенъ.
Милый другъ, я умираю,
Но спокоенъ я душою...
И тебя благословляю:
Шествуй тою же стезею,

Онъ былъ олицетвореніемъ этой идеи и въ жизни, и въ литературѣ, и это придаетъ его облику что-то антично-суровое и скорбное. Въ немъ нѣтъ ни одной черты веселья или радости. Такимъ представляется судья, спокойный и неподкупный, безстрастный и неумолимый. Это чувствовалъ каждый, подходя къ нему, и отсюда та ненависть, которую онъ возбуждалъ въ однихъ, и то безграничное уваженіе, которое питали къ нему окружающіе, и то вліяніе, которое онъ имѣлъ въ литературѣ. Можно было не соглашаться съ его приговоромъ, но нельзя было его заподозрить. Жизнь не выноситъ такихъ людей, и въ этомъ трагизмъ ихъ судьбы. Онъ долженъ былъ умереть на зарѣ своихъ дней, такъ какъ поднялъ тяжесть не по силамъ для смертнаго.

Роковой недугъ, уложившій его въ могилу двадцати пяти

лѣтъ, когда люди только-только вступаютъ въ жизнь, явился результатомъ не одной слабости организма, но и громаднаго, непосильнаго труда, который несъ Добролюбовъ, не уклоняясь ни на минуту отъ выполненія долга. „Надо было удивляться,—говоритъ Головачева,—когда Добролюбовъ успѣвалъ перечитывать всѣ русскіе и иностранные журналы, газеты, всѣ выходящія новыя книги, массы рукописей, которыя приносились и присылались въ редакцію. Авторамъ не нужно было по нѣскольку разъ являться въ редакцію, чтобы узнать объ участи своей рукописи. Добролюбовъ всегда прочитывалъ рукопись къ тому дню, который назначенъ автору. Много времени терялось у Добролюбова на бесѣды съ новичками-писателями, желавшими узнать его мнѣніе о недостаткахъ своихъ первыхъ опытовъ. Если Добролюбовъ видѣлъ какія-нибудь литературныя способности въ молодомъ авторѣ, то охотно давалъ совѣты и поощрялъ къ дальнѣйшимъ работамъ. Не мало времени и труда нужно было употребить также на исправленіе нѣкоторыхъ рукописей. Наконецъ, приходилось безпрестанно отрываться отъ дѣла для объясненій съ разными лицами и вѣдомствами. Оставалась затѣмъ своя работа—писаніе статей, за которой онъ часто засиживался до 4 часовъ ночи“. Почти пять лѣтъ такой гигантской работы изо дня въ день—и то очень много.

Къ этому необходимо присоединить недовѣріе къ себѣ, то мучительное „святое недовольство“, которое заставляетъ человѣка напрягать свои силы черезъ мѣру, чтобы хотя на мигъ приблизиться къ выношенному въ душѣ идеалу. По вѣрному замѣчанію г. Скабичевскаго, Добролюбову было свойственно истинное величіе души, заключающееся „въ отсутствіи кичливости умомъ, знаніемъ, положеніемъ, въ отсутствіи всякаго самодовольства и рисовки“. Уже стоя во главѣ литературы, направляя ее и давая ей тонъ, этотъ человѣкъ пишетъ къ своей пріятельницѣ: „Мнѣ горько признаться вамъ. что я чувствую постоянное недовольство самимъ собой и стыдъ своего безсилія и малодушія. Во мнѣ есть убѣжденіе (очень вѣроятно, что и несправедливое) въ томъ, что я по натурѣ своей не долженъ принадлежать къ числу людей дюжинныхъ и не могу пройти въ своей жизни незамѣченнымъ, не оставивъ никакого слѣда по себѣ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, я чувствую совершенное отсутствіе въ себѣ тѣхъ нравственныхъ силъ, которыя необходимы для поддержки нравственнаго превосходства. Тоска и негодованіе охватываетъ меня, когда я вспоминаю о своемъ воспитаніи и прохожу въ умѣ то, надъ чѣмъ я до сихъ поръ бился... Пора ученья прошла. А работа моя, къ несчастью, такая, что учить другихъ надобно... Иногда мнѣ приходится

встрѣчать людей тупыхъ и безполезныхъ, но громадными средствами обладающихъ для образованія и развитія себя. Тогда я думаю, если бы я такъ былъ воспитанъ, если бы я столько зналъ и имѣлъ средства—какой бы замѣчательный человѣкъ изъ меня вышелъ!.. Но за неимѣніемъ этого, я работаю—пишу кое-какъ;—и какъ же вы хотите, чтобы мое писаніе составляло для меня утѣшеніе и гордость? Я вижу самъ, что все, что я пишу, слабо, плохо, старо, безполезно, что тутъ виденъ только безплодный умъ, безъ знаній, безъ данныхъ, безъ опредѣленныхъ практическихъ взглядовъ. Поэтому, я и не дорожу своими трудами, не подписываю ихъ и очень радъ, что ихъ никто не читаетъ...“ Не правда ли, эта критика несравненно суровѣе всего, что было написано съ тѣхъ поръ разными врагами Добролюбова?

И въ этомъ не было никакой дѣланности или рисовки. Головачева приводитъ тяжелую сцену наканунѣ смерти Добролюбова. „Добролюбовъ схватился за голову и съ отчаяніемъ произнесъ: „Умирать съ сознаніемъ, что не успѣлъ ничего сдѣлать... Ничего! Какъ зло насмѣялась надо мной судьба!.. Пусть бы раньше послала мнѣ смерть! Хоть бы еще года два продлилась моя жизнь, я успѣлъ бы сдѣлать хоть что-нибудь полезное... теперь ничего, ничего!“ Онъ упалъ со стономъ на подушки, стиснулъ зубы, закрылъ глаза, и слезы потекли по его впалымъ щекамъ...“

Литературные гады, тщетно силящіеся доказать ничтожество Добролюбова, должны быть довольны этой сценой: ихъ мнѣніе сходится съ отзывомъ его самого о своей работѣ. Чего же лучше?...

Не такъ думали его окружающіе, и вся тогдашняя литература, прямо или косвенно, признала вліяніе этой удивительной личности. Судьба многихъ дѣятелей бываетъ довольно печальна. Одни изъ нихъ кажутся при жизни очень большими единицами, но чѣмъ дальше мы уходимъ отъ нихъ, тѣмъ болѣе мельчаетъ ихъ образъ, пока совершенно не сольется съ общимъ фономъ. Другіе переживаютъ себя еще при жизни, и стоятъ, какъ развалины, свидѣтельствуя о быломъ величьи. И только немногіе становятся лишь яснѣе, выше, глубже и величавѣе, по мѣрѣ того, какъ время очищаетъ ихъ память, сглаживаетъ шереховатости и устраняетъ будничный налетъ, не чуждый самымъ великимъ и сильнымъ душамъ. Добролюбовъ принадлежитъ, безпорно, къ послѣднему типу. Никто не подвергался такой ожесточенной критикѣ и при жизни, и долго спустя, вплоть до нашихъ дней, какъ онъ, и образъ его сталъ еще чище и обаятельнѣе, значеніе его еще болѣе всеобъемлющимъ, вліяніе возвышеннѣе. Теперь онъ представляется намъ вели-

чественной горой, вершина которой, озаренная солнцемъ возрожденія распространяетъ ослѣпительный блескъ, проникающій въ самые темные закоулки дореформенной жизни. Отраженіе этого свѣта доходитъ и до насъ, такъ какъ и мы, въ большей или меньшей степени, пользовались и пользуемся его лучами, руководясь въ своихъ исканіяхъ истины тѣмъ направленіемъ, которое они освѣщаютъ.

Это направленіе можетъ быть опредѣлено двумя словами: демократическій принципъ. Добролюбовъ первый ясно и опредѣленно формулировалъ его, положилъ въ основу всей своей дѣятельности и далъ тонъ, котораго неизмѣнно держалась литература съ тѣхъ поръ. Долгъ передъ народомъ— вотъ идея того долга, которому Добролюбовъ посвятилъ себя и отъ котораго не допускалъ отступленій, выступая безпощаднымъ критикомъ всего, что противорѣчило этому долгу или противилось ему. Отсюда вытекаетъ та служебная роль, которую онъ отводилъ и литературѣ, и интеллигенціи. „По существу своему, литература не имѣетъ дѣятельнаго значенія; она только или предлагаетъ то, что нужно сдѣлать, или изображаетъ то, что дѣлается и сдѣлано. Въ первомъ случаѣ она беретъ свои матеріалы и основанія изъ чистой науки, во второмъ — изъ самихъ фактовъ жизни. Такимъ образомъ, вообще говоря, литература представляетъ собою силу служебную, которой значеніе состоитъ въ пропагандѣ, а достоинство опредѣляется тѣмъ, что и какъ она пропагандируетъ“. Дальше онъ указываетъ и содержаніе этой проповѣди литературы, которая устами дѣятелей „должна проводить въ сознаніе массъ то, что скрыто передовыми дѣятелями человѣчества, раскрывать и пояснять людямъ то, что въ нихъ живетъ еще смутно и неопредѣленно“. Таково же значеніе и интеллигенціи, къ которой Добролюбовъ относился скептически и отрицательно, сравнивая ее съ Обломовымъ, у котораго всегда къ услугамъ „300 Захаровъ“.

Добролюбовъ ввелъ въ литературу народъ, въ которомъ онъ видѣлъ „воплощеніе всѣхъ своихъ высшихъ нравственныхъ идеаловъ“ и „единственную надежду на возрожденіе общества“ (г. Скабичевскій въ упомянутой біографіи). Но Добролюбовъ не былъ „народникомъ“ въ современномъ смыслѣ. Ему была совершенно чужда мысль о бюрократической опекѣ, которая лежитъ въ основѣ современнаго народничества. Для него народъ былъ могучей силой, которая нуждается только въ свободныхъ условіяхъ для полнаго развитія и расцвѣта. Роль интеллигенціи и заключается, по его мнѣнію, въ выясненіи этихъ условій, а отнюдь не въ руководительствѣ, тѣмъ болѣе опекѣ надъ народомъ, какъ

надъ какимъ-то несовершеннолѣтнимъ, котораго только предоставь самому себѣ, и онъ, Богъ знаетъ, что натворитъ.

Что касается различныхъ факторовъ, вліяющихъ на развитіе силъ народа, то Добролюбовъ стоялъ на той точкѣ зрѣнія, которая очень близка къ тому, что принято теперь называть доктриной экономическаго матеріализма. Въ замѣткѣ „Жизнь Магомета", „Первые годы царствованія Петра Великаго" и другихъ онъ проводитъ то положеніе, что личность всецѣло зависитъ отъ внѣшнихъ условій и обстоятельствъ, что историческіе дѣятели безсильны предъ общимъ ходомъ исторіи, если имъ не благопріятствуютъ обстоятельства и условія культуры. „Человѣкъ не творитъ ничего новаго, а только перерабатываетъ существующее". „Историческая личность, даже и великая, составляетъ не болѣе, какъ искру, которая можетъ взорвать порохъ, но не воспламенитъ камней и сама тотчасъ потухнетъ, если не встрѣтитъ матеріала, скоро загорающагося", а „этотъ матеріалъ всегда подготовляется обстоятельствами историческаго развитія народа, и, вслѣдствіе историческихъ-то обстоятельствъ, и являются личности, выражающія въ себѣ потребности общества и времени". То же повторяется имъ въ статьѣ „О степени участія народности въ развитіи русской литературы", въ замѣткѣ о Полежаевѣ, стихотвореніяхъ Плещеева и т. п. Чисто экономической стороны доктрины онъ не касался, предоставивъ ее вѣдѣнію болѣе свѣдущаго своего товарища, который и далъ ей въ общемъ обоснованіе, весьма близкое къ современному.

Въ теченіе сорока лѣтъ, прошедшихъ со времени выступленія Добролюбова въ литературѣ, идеи, имъ внесенныя, не могли оставаться безъ движенія. Произошла естественная эволюція во взглядахъ и на литературу, и на интеллигенцію и ея отношеніе къ народу. Но проникающій Добролюбова демократическій принципъ остался въ литературѣ неизмѣннымъ. Скептицизмъ и отрицательное отношеніе къ интеллигенціи исчезли, интеллигенція сознала себя, какъ неразрывную часть народа, составляющую въ немъ все то, что стремится къ сознательной жизни, желаетъ жить, чтобы,— по слову Пушкина,—„мыслить и страдать". Исчезло и подчиненное отношеніе ея къ народу, вмѣстѣ съ понятіемъ „долга", которое теперь замѣняется понятіемъ общности, тожественности интересовъ народа и интеллигенціи. Словомъ, принципъ, впервые съ опредѣленностью, не допускающей сомнѣній и колебаній, уступокъ и сдѣлокъ, высказанный Добролюбовымъ, эволюціонировалъ въ направленіи глубоко демократическомъ — отъ подчиненія народу къ равенству съ народомъ.

Свои взгляды Добролюбовъ проводилъ съ художественной ясностью и сосредоточенной силой выраженія. Слогъ его чистъ, силенъ, проникнутъ сдержанной страстью, что придаетъ ему почти классическую пластичность, какую мы встрѣчаемъ у Тацита. Его иронія убійственна, сарказмъ ядовитъ, а глубокая скорбь, которая постоянно чувствуется въ лучшихъ его статьяхъ, какъ отраженіе его скорбной натуры, — сжимаетъ сердце. Читая его, никогда не засмѣешься, много-много, если невеселая улыбка мелькнетъ на лицѣ и исчезнетъ, потому что изъ-за самыхъ остроумныхъ фразъ вамъ чудятся строгіе и грустные глаза. Вы постоянно чувствуете, что, „раздѣлывая" какого-нибудь Ведрова съ неподражаемымъ остроуміемъ, авторъ имѣетъ въ виду не злополучнаго Ведрова, который для него ничто, а васъ, читателя, котораго онъ учитъ критически мыслить и критически относиться къ себѣ. Добролюбовъ никогда не разбрасывается, не отвлекается въ сторону,—увлекая читателя, онъ самъ никогда не увлекается, что дѣлаетъ его логику неотразимой. Еще одна отличительная черта произведеній Добролюбова — ихъ удивительная свѣжесть. Не смотря на сорокалѣтній (почти) возрастъ, они производятъ такое впечатлѣніе, какъ будто написаны вчера. Въ вышедшемъ первомъ томѣ, напримѣръ, есть небольшая замѣтка о „библіотекѣ римскихъ писателей въ русскомъ переводѣ" Клеванова, — замѣтка, какихъ тысячи появляются въ текущей печати, чтобы мелькнуть передъ читателемъ и исчезнуть безслѣдно. Между тѣмъ, замѣтка Добролюбова и теперь производитъ сильное впечатлѣніе и врядъ ли забудется прочитавшимъ. Гдѣ же причина этой свѣжести и силы впечатлѣнія? Намъ кажется, что, кромѣ таланта, съ которымъ написаны всѣ эти замѣтки, яркости мысли и художественности выраженія, причина заключается въ общемъ ихъ направленіи, въ идейной связи съ тѣмъ демократическимъ принципомъ, который объединяетъ всѣ произведенія Добролюбова и связываетъ его съ современнымъ читателемъ. И пока не измѣнится кореннымъ образомъ общественная психологія, до тѣхъ поръ сочиненія Добролюбова не утратятъ своего значенія и вліянія, сколько бы ни старались ихъ пошатнуть разные литературные микробы.

Прямую противоположность Добролюбову по темпераменту мы видимъ въ Н. В. Шелгуновѣ, какимъ онъ вырисовывается въ своихъ „Очеркахъ русской жизни". Изъ-за каждой строчки выглядываетъ умное, добродушное лицо, съ чуть-чуть лукавой усмѣшкой посматривающее на своихъ противниковъ, когда, напр., г. Абрамовъ или какой-либо

„толстовецъ“ наскакиваетъ на него съ непремѣннымъ желаніемъ „разнести“ этого „шестидесятника“ во славу „восьмидесятниковъ“. Шелгуновъ парируетъ ударъ мягко, какъ-то стыдясь за тѣ удары, которые самъ наноситъ, желая усовѣстить, убѣдить своихъ оппонентовъ, пристыдить ихъ, доказавъ, что ихъ поведеніе недостойно. Въ немъ не чувствуется ни малѣйшей горечи и злости, самое большее, если у него прорвется иногда рѣзкое слово негодованія, и онъ снова впадаетъ въ обычный ему спокойно-убѣдительный тонъ.

Его „Очерки“, собранные заботливой и умѣлой рукой, даютъ превосходный матеріалъ для исторіи внутренней жизни нашего общества въ восьмидесятые годы. Въ нихъ можно прослѣдить тѣ незамѣтныя измѣненія въ общественномъ настроеніи, которыя повели въ общемъ къ существенной перегруппировкѣ силъ. Слѣдя изъ мѣсяца въ мѣсяцъ за фактами текущей жизни и ихъ отраженіемъ въ литературѣ, Шелгуновъ собралъ массу данныхъ, разсѣянныхъ въ многочисленныхъ статьяхъ, корреспонденціяхъ, бѣглыхъ замѣткахъ, и объединилъ ихъ рядомъ общихъ положеній и выводовъ, къ которымъ онъ самъ приходитъ или которые отмѣчаетъ у своихъ противниковъ.

Первое, что бросается въ глаза при бѣгломъ просмотрѣ „Очерковъ“, это большое мѣсто, отводимое въ нихъ вопросу о личности, ея идеалахъ, самоопредѣленіи, цѣляхъ жизни и ея безсиліи найти себѣ широкую и свободную дорогу къ прогрессу. Очень характеренъ въ этомъ отношеніи споръ Шелгунова съ г. Д. Ж., проводившимъ въ „Недѣлѣ“ ту мысль, что для интеллигенціи нѣтъ иного пути, какъ отказаться отъ умственной работы, которая всегда не свободна, и взяться за любой „свободный трудъ“. Въ видѣ примѣра, авторъ приводитъ трудъ лавочника въ деревнѣ. Шелгуновъ, съ тонкимъ юморомъ изложивъ аргументацію г. Д. Ж., заканчиваетъ свои возраженія общей характеристикой мысли этого „кающагося“ интеллигента:

„Это именно атавизмъ мысли, атавизмъ, понемногу и незамѣтно отравляющій насъ все болѣе и болѣе, до того, наконецъ, что люди перестаютъ различать черное отъ бѣлаго и съ самыми искренними намѣреніями тащутъ щипцы, чтобы погасить и послѣдній мерцающій огарокъ мысли. И это вовсе не знаменіе времени. Это обычный фактъ во времена, подобныя нынѣшнему, когда первыя скрипки въ оркестрѣ молчатъ, потому что для нихъ наступила пауза, и играть начинаютъ третьи скрипки да барабанщики. И г. Д. Ж. съ самыми благожелательными цѣлями открываетъ шествіе назадъ, не подозрѣвая, что по этому скользкому пути можно идти только подъ гору. Теперь, на первый разъ, г. Д. Ж. разулъ интеллигента и сдѣлалъ его лавочникомъ, но потомъ онъ уже заставитъ его идти и „въ кусочки“. И все это ради того, чтобы

создать „свободнаго человѣка", не продающаго никому своего труда и своей совѣсти. Еще не такъ давно никому бы не пришло въ голову выставлять для интеллигента деревенскаго лавочника цѣлью стремленій и идеаломъ гражданственности; тогда у насъ были въ оборотѣ все-таки кое-какія идеи общественнаго блага, имѣлся и нѣкоторый политическій смыслъ, и нѣкоторый политическій тактъ. Теперь все это закрылось какимъ-то пластомъ, очутилось подъ спудомъ и мы едва подаемъ признаки своего интеллектуальнаго существованія" (стр. 322—23).

Исканіе личнаго успокоенія, на почвѣ смутныхъ общихъ идеаловъ личной свободы и совѣсти, опять повторилось въ проповѣди „малыхъ дѣлъ", съ которою шумно выступила часть печати, и Шелгуновъ снова отмѣчаетъ шагъ назадъ, въ сторону отъ развитія общественности и истинно-народныхъ интересовъ. Проповѣдники мелкой культурной работы рѣзко заявили, что не имѣютъ ничего общаго съ предшествовавшимъ поколѣніемъ, признавая его задачи неосуществимыми и несущественными. Тогда (т. е. въ шестидесятые годы) общество увлекалось общими схемами, упуская изъ виду мелочи, изъ которыхъ и слагается жизнь. Теперь нѣтъ крупныхъ вопросовъ, нѣтъ того оживленія, какое замѣчалось вездѣ тогда, но за то дѣлается масса маленькихъ дѣлъ, вопросы разбились на отдѣльныя составныя части, и задача современности въ проведеніи ихъ въ жизнь. Отсюда, при видимомъ пониженіи тона, фактическое расширеніе жизни, что и замѣчается въ ростѣ печати, въ усиленіи земской дѣятельности и проч. Шелгунова изумляетъ прежде всего озлобленность проповѣдниковъ практичности противъ движенія мысли, какъ-будто „она и есть тотъ самый врагъ, который всему мѣшаетъ и котораго, поэтому, нужно унизить, смѣшать съ грязью, уничтожить". Что же такое случилось, спрашиваетъ онъ, чтобы естественный законъ преемственности мысли былъ объявленъ не существующимъ,—и даетъ прекрасный отвѣтъ о значеніи индиферентизма къ общественному движенію мысли. „Считая главною, первою своею задачею практическую дѣятельность на помощь народу, „фракція" эта соприкасается своею программою съ программой любого изданія, ибо „народъ", „помощь народу", „изученіе положенія народа" есть общая программа всей русской печати, слѣдовательно, писатели этой фракціи могутъ считать себя сотрудниками всей русской печати. Попятное движеніе этой фракціи объясняется весьма просто—ея практичностью и желаніемъ оказать народу существенную и ближайшую помощь; но существенная помощь не должна бы, казалось, вести къ той страстности, съ какой фракція относится къ недавнему движенію мысли, изъ котораго она сама вышла и въ которомъ она какъ бы видитъ себѣ помѣху". Такая непослѣдовательность кажется

Шелгунову проявленіемъ невѣрнаго пониманія роли и значенія интеллигенціи у насъ. Здѣсь онъ даетъ опредѣленіе интеллигенціи, близкое къ тому, которое мы привели выше, какъ эволюцію этого понятія со времени Добролюбова.

„Не все, что интеллигентно, даетъ прогрессивно-историческое направленіе и движеніе жизни Россіи, и только то, что дѣйствительно идейно-прогрессивно. Собственно интеллигенція есть та неуловимая лабораторія, не имѣющая ни мѣста, ни числа, которая вырабатываетъ извѣстную идейную руководящую властную силу, подчиняющую себѣ всѣ остальныя силы. Это умственная атмосфера, образующаяся изъ очень разнообразныхъ, но однородныхъ умственныхъ теченій, составляющихъ одно гармоническое направляющее цѣлое. Да, именно атмосфера, которой дышетъ всякій живой человѣкъ, подобно тому, какъ онъ дышетъ обыкновеннымъ воздухомъ. Онъ черпаетъ изъ этой атмосферы свою умственную силу, крѣпость и здоровье, также какъ изъ обыкновеннаго воздуха черпаетъ свое физическое здоровье и свою физическую силу. Интеллигенція не образуетъ собою никакой юридической единицы. Она не корпорація, не сословіе, ея права и обязанности не установлены и не опредѣлены закономъ и не регламентированы никакими правилами, инструкціями или формами. Это совершенно свободная сила, подчиняющаяся въ своемъ идейномъ творчествѣ только одному закону мысли и велѣніямъ той дѣйствительности, которой онъ служитъ. Это кормчій, стоящій у компаса, а не у руля, и указывающій, куда плыть, это лоцманъ, слѣдящій за фарватеромъ, выкрикивающій, гдѣ какая глубина и гдѣ лежатъ камни и мели. И эту роль интеллигенціи можно прослѣдить во всѣхъ нашихъ большихъ и малыхъ внутреннихъ дѣлахъ. Интеллигенція всегда стояла на стражѣ ихъ, всегда зорко слѣдила за всѣми движеніями общественной жизни и всегда являлась высшимъ разумомъ и источникомъ уравновѣшеннаго сужденія, стоящаго выше всего частнаго, случайнаго, временнаго и искавшаго справедливаго разрѣшенія только въ общемъ“ (стр. 853).

Съ этой точки зрѣнія относится Шелгуновъ и къ тому противо-культурному теченію, которое выразилось въ стремленіи части интеллигентовъ къ „опрощенію“. Корни его онъ видѣлъ въ томъ же пониженіи общественной мысли, что и для проповѣди малыхъ дѣлъ. Явись такое ученіе въ шестидесятые годы, оно прошло бы въ лучшемъ случаѣ незамѣченнымъ, или же вызвало бы общее негодованіе. Широкое, захватывающее всѣхъ движеніе общественной мысли не давало мѣста вопросамъ узкой личной морали, ставящей личность центромъ жизни. Но разница между обоими теченіями, противъ которыхъ боролся Шелгуновъ, очень велика. Первое, сводящее все къ практичности, держалось „исключительно гражданской почвы“ и не только старалось опредѣлить, „что можно и чего нельзя, но и пыталось установить новую общественно-гражданскую истину и такой новый теоретическій принципъ, который былъ бы осуществимъ на практикѣ. А такъ какъ подобнаго принципа въ предъидущихъ опытахъ послѣдователи его не усмотрѣли, а одни стремленія къ идеалу ихъ не удовлетворяли, то они и рѣшили, что слѣдуетъ предоставить жизни идти сама собой,

въ тѣхъ рамкахъ и при тѣхъ дѣятельныхъ силахъ, которыя даютъ ей движеніе, цвѣтъ, характеръ и направленіе теперь, и пока ограничиться лишь наблюденіемъ того, что совершается въ жизни, не относясь къ этому ни съ какой предвзятой теоріей". Толстовцы тоже не удовлетворялись предшествующими попытками рѣшенія общественныхъ вопросовъ, но пришли къ отрицанію всего, всей цивилизаціи, вычеркнувъ общественную и гражданскую жизнь цѣликомъ. Но какой же результатъ они предвидѣли и чего собственно могли ожидать?

„Предположите, — отвѣчаетъ Шелгуновъ, — что обскурантное ученіе проповѣдниковъ морали становится настолько сильнымъ, что увлекаетъ за собой хоть 100.000 интеллигентныхъ людей и преимущественно молодежи, и всѣ эти люди „садятся на землю". Да, вѣдь, это же такое общественное бѣдствіе и такой общественный минусъ, передъ которымъ должно поблекнуть нашествіе десяти Тамерлановъ и Аттилъ. Сто тысячъ, вынутые изъ нашего скуднаго запаса образованныхъ и интеллигентныхъ людей и омужиченные ради того лишь, что „интеллигентъ долженъ отдать свой долгъ народу и своими руками добывать себѣ насущный хлѣбъ",— это не только общественный абсурдъ, но и тягчайшее общественное преступленіе, которое должно бы вызвать проклятіе на главу проповѣдниковъ этого безбожнаго и бездушнаго избіенія людей, можетъ быть, даже лучшихъ нашихъ людей, ибо идутъ за нашими проповѣдниками только энтузіасты и люди, способные жертвовать собою ради нравственныхъ общественныхъ цѣлей" (стр. 1072).

Такимъ образомъ, изъ этихъ выписокъ мы видимъ, какимъ тонкимъ наблюдателемъ современныхъ ему теченій мысли является Шелгуновъ въ своихъ „Очеркахъ". Оставаясь вполнѣ человѣкомъ шестидесятыхъ годовъ, онъ прекрасно оріентируется среди нихъ, отводя каждому подобающее мѣсто, не смотря на ихъ противорѣчивость. Онъ не забываетъ также указать, гдѣ слѣдуетъ искать ихъ корни, и въ той же толстовской личной морали видитъ окончательную фазу идеи долга народу, явившагося какъ проявленіе потребности уплатить народу цѣну созданнаго народомъ прогресса, дворянской интеллигенціи и ея наслѣдственныхъ состояній. Но, добавляетъ онъ, „освобожденіе крестьянъ выдвинуло еще и другую группу, ничего общаго съ этой группой не имѣющую, группу иного, новаго происхожденія, вышедшую изъ того же народа и вмѣстѣ съ нимъ послужившую на созданіе нашей дворянской интеллигенціи,—эту новую общественную группу составилъ разночинецъ", которому „не въ чемъ каяться и отдавать долгъ некому".

Къ нашимъ днямъ эти теченія, только намѣчавшіяся въ восмидесятые годы, болѣе или менѣе оформились, и очень жаль, что Шелгунову не пришлось дожить до этого момента. Его мягкій темпераментъ и спокойный, объективный ана-

лизъ не мало содѣйствовалъ бы выясненію взаимныхъ отношеній, а вѣское, авторитетное слово послужило бы къ мирному дебатированію спорныхъ вопросовъ, которые, трактуются теперь не всегда въ духѣ „любви къ истинѣ“.

Далеко не съ такой мягкостью разбирается въ этихъ вопросахъ г. Южаковъ въ только что изданной имъ книгѣ „Соціологическіе Этюды“.

Во второй главѣ введенія—„Современныя теченія“, онъ указываетъ, что „съ одной стороны, откололись „народники“, съ другой,—шумно заявляютъ о своемъ существованіи и обособленіи экономическіе матеріалисты новѣйшей формаціи“. И тѣхъ, и другихъ авторъ не одобряетъ, видя въ обоихъ „теченіяхъ“ признакъ „безнадежности, недальновидности и малодушія“ извѣстной части общества. Въ особенности достается экономическому матеріализму, который „является однимъ изъ порожденій умственнаго шатанія и сомнѣнія“. Въ обоихъ теченіяхъ онъ находитъ много общаго, прежде всего то первенствующее значеніе, которое придается экономическимъ условіямъ.

„Современное народничество въ значительной степени соотвѣтственно современному экономическому матеріализму, хотя, повидимому и состоитъ съ нимъ въ самомъ крайнемъ противорѣчіи. Начать съ того, что и народники, и матеріалисты придаютъ исключительное значеніе экономикѣ національной жизни. Далѣе, и тѣ, и другіе впадаютъ въ исключительность, одни, рекомендуя исключительно самобытность, другіе—заимствованіе. Для однихъ традиціонные устои такъ же палладіумъ, какъ для другихъ капитализмъ. Тѣ и другіе страдаютъ своего рода историческимъ дальтонизмомъ, не видя или не желая видѣть цѣлыхъ сторонъ исторической дѣйствительности. Одни, укрываясь за малыми дѣлами и маленькими вопросами отъ крупныхъ явленій и широкихъ проблеммъ, не допускаютъ возможности капиталистическаго процесса у насъ. Другіе, ослѣпленные яркимъ маревомъ (?) западноевропейскаго быта, упорно закрываютъ глаза передъ невозможностью такого же процвѣтанія капитализма у насъ. Тѣ и другіе ищутъ выхода въ одностороннемъ исключительномъ рѣшеніи: погибай все, лишь бы спасти экономическіе устои самостоятельнаго народнаго хозяйства (курсивъ автора, какъ и далѣе), восклицаютъ одни, не понимая, что со всѣмъ другимъ непремѣнно погибнутъ и эти устои; пусть раззоряется народъ, но да торжествуетъ вмѣстѣ съ капитализмомъ высшая культура, возглашаютъ другіе, не понимая, что разорить народъ капитализмомъ возможно и у насъ, а насадить высшую культуру такой цѣной, пожалуй, и не удастся“ (стр. 36).

У г. Южакова есть одна faculté maitresse—выражаясь языкомъ Тэна—господствующая особенность, именно склонность къ схемѣ. Такая особенность дѣлаетъ его несправедливымъ, какъ къ народникамъ, такъ и къ экономическимъ матеріалистамъ. Мы не помнимъ ни одного представителя

народниковъ, который такъ странно формулировалъ бы свои желанія. Но еще болѣе несправедливымъ оказывается г. Южаковъ, приписывая экономическимъ матеріалистамъ приводимую имъ формулу. Откуда онъ ее позаимствовалъ, извѣстно ему самому, но врядъ ли можно повѣрить г. Южакову, при всемъ нашемъ уваженіи къ нему, что экономическіе матеріалисты, съ одной стороны, такъ жестокосердны, съ другой—такъ непроходимо глупы. Въ самомъ дѣлѣ, подумать только, что это за „статуй безчувственный", кто бы помыслилъ, не то что сказалъ, такую вещь! Иродъ избилъ младенцевъ, и за то проклятъ изъ рода въ родъ. А эти—весь народъ хотятъ раззорить во имя какой-то высшей культуры. Какъ будто они не знаютъ, что „не человѣкъ для субботы, а суббота для человѣка", слѣдовательно, и культура для народа, а не обратно. Но если ужъ они, эти „исчадья тьмы", рекомые экономическіе матеріалисты, такъ безсердечны, то какъ же они мечтаютъ обосновать высшую культуру на раззореніи народа? Раззореніе—это отрицаніе всякой культуры, не то что еще „высшей". Очевидно, здѣсь что-то не такъ. Защищая свою точку зрѣнія, не слѣдуетъ приписывать противникамъ того, что имъ не принадлежитъ, какъ не слѣдуетъ возлагать на ихъ отвѣтственность чужіе грѣхи. Г. Южаковъ, въ числѣ доводовъ противъ, указываетъ, что воззрѣнія экономическихъ матеріалистовъ эксплуатируются разными господами, которые „желаютъ сознательно служить" сильнымъ противъ слабыхъ. Доводъ немножко странный, и на него можно бы отвѣтить, что первые, воспользовавшіеся методомъ Сократа, были софисты. Но развѣ отъ этого Сократъ пересталъ быть „праведнѣйшимъ изъ людей", а его методъ потерялъ свое значеніе? Это старая исторія, хорошо знакомая и г. Южакову, которому, вѣроятно, и самому приходилось быть въ такомъ же положеніи и видѣть, какъ вѣрную и справедливую мысль его пускаютъ въ оборотъ нечистыя руки для нечистыхъ цѣлей.

Намъ кажется, что г. Южаковъ превратно толкуетъ воззрѣнія экономическихъ матеріалистовъ, отрицающихъ только возможность какихъ бы то ни было благожелательныхъ и неблагожелательныхъ экскурсій въ область хозяйственныхъ отношеній, признающихъ, что эти отношенія слагаются внѣ власти человѣка, который самъ является ихъ производной величиной. Они заявляютъ, что есть законы, управляющіе этими отношеніями, столь же незыблемые, какъ и прочіе естественные законы, но что они подлежатъ изученію,—и на ихъ „изслѣдуемъ" г. Южаковъ отвѣчаетъ ссылкой на современныхъ софистовъ. Далѣе, они осмѣливаются думать,

что если эти законы дѣйствительно существуютъ, то ихъ вліянію подчинена и наша страна, какъ и всѣ прочія, и предлагаютъ изученіе текущей дѣйствительности, не съ предвзятой точки зрѣнія, хотя бы самой возвышенной, а съ чисто-фактической. И когда анализъ существующихъ отношеній приводитъ ихъ къ выводу, что Россія идетъ по пути капитализма, г. Южаковъ возглашаетъ: „они хотятъ разорить народъ, ради торжества капитализма и высшей культуры".

Такимъ образомъ, экономическій матеріализмъ, какъ мы его понимаемъ, не отступаетъ, вообще, отъ той программы, которой „пользуется европейскій умъ для сужденія о настоящемъ". Послѣдователи этой доктрины являются прямыми продолжателями тѣхъ, которые, какъ справедливо отмѣчаетъ и г. Южаковъ, въ шестидесятые годы „исходили изъ доктрины преобладанія экономическаго матеріализма". Этимъ снимается съ нихъ обвиненіе въ отсутствіи „преемственности идей", хотя, конечно, современные экономическіе матеріалисты значительно дальше пошли въ развитіи этой доктрины, такъ какъ было бы странно и непонятно, если бы масса накопившихся за эти 40 лѣтъ фактовъ и изслѣдованій, всѣ измѣненія въ строѣ жизни не оказали на нихъ вліянія. Но они сохранили прямую связь съ старымъ міросозерцаніемъ, и прежде всего съ демократическимъ принципомъ, лежащимъ въ его основѣ.

Въ несправедливомъ упрекѣ по адресу экономическихъ матеріалистовъ намъ слышатся отголоски нападокъ, сыпавшихся въ свое время на критику Добролюбова и его товарищей. Такъ, г-жа Головачева приводитъ слѣдующій любопытный, съ исторической точки зрѣнія, отзывъ Тургенева о Добролюбовѣ: „Когда Тургеневъ убѣдился, что Добролюбовъ не поддается на его любезныя приглашенія, то оскорбился и началъ говорить, что въ статьяхъ Добролюбовъ видитъ инквизиторскій пріемъ осмѣять, загрязнить всякое увлеченіе, всѣ благородные порывы души писателя, что она возводитъ на пьедесталъ матеріализмъ, сердечную сухость и съ нахальствомъ глумится надъ поэзіей, что никогда русская литература, до вторженія въ нее семинаристовъ, не потворствовала мальчишкамъ изъ желанія пріобрѣсти этимъ популярность. Кто любитъ русскую литературу и дорожитъ ея достоинствомъ, тотъ долженъ употребить всѣ усилія, чтобы избавить ее отъ этихъ кутейниковъ-вандаловъ".

Какъ можно судить, это опять таки старая исторія, повтореніе которой никого не должно смущать. Но не лучше-ли, вмѣсто нея, вспомнить публицистическое credo, которое

мы позволяемъ себѣ позаимствовать у г. Лесевича, почтеннаго товарища и сотрудника г. Южакова по журналу, изъ его статьи „Лессингъ и его „Натанъ Мудрый“ („Этюды и очерки“, Спб. 1886 г.). Г. Лесевичъ, возражая противъ идиллическихъ взглядовъ на борьбу убѣжденій, говоритъ: „Изъ той истины, что не слѣдуетъ дѣлать своихъ убѣжденій послушниками страстей, вытекаетъ не фантастическое слѣдствіе—прекращеніе борьбы мнѣній или устраненіе изъ нея страстности, но весьма практическое и важное заключеніе—справедливость и самообладаніе въ борьбѣ, умѣніе различать средства борьбы, устранять изъ нея все недостойное человѣка, все безсмысленное, нечестное... Въ справедливости и выборѣ средствъ и заключается вся суть нравственной стороны борьбы за убѣжденіе“ (стр. 107).

Къ этому остается добавить еще мудрыя слова самого Лессинга, что „не та истина, которою обладаетъ или думаетъ обладать человѣкъ, опредѣляетъ его достоинство; достоинство это заключается въ непрестанномъ усиліи для овладѣнія ею, ибо не обладаніе истиною, но исканіе ея расширяетъ силы человѣка и служитъ принципомъ его совершенствованія“.

Итакъ, будемъ стремиться къ истинѣ...

Памяти Н. В. Водовозова *).

24-го мая умеръ въ Вѣнѣ, послѣ продолжительной болѣзни, одинъ изъ нашихъ сотрудниковъ, Николай Васильевичъ Водовозовъ, въ лицѣ котораго наша редакція понесла незамѣнимую потерю, а русская экономическая наука лишилась крупной силы. Не смотря на юношескій почти возрастъ покойнаго—ему едва исполнилось 25 лѣтъ—имя его было хорошо знакомо какъ спеціалистамъ по политической экономіи, такъ и широкой публикѣ, съ живымъ интересомъ встрѣчавшей каждую статью покойнаго.

Сынъ извѣстнаго педагога Василія Водовозова и не менѣе извѣстной писательницы Елизаветы Наколаевны Водовозовой, Николай Васильевичъ еще ребенкомъ обнаруживалъ выдающіяся способности, чѣмъ обращалъ на себя общее вниманіе еще въ гимназіи. Склонность къ литературѣ,

*) Іюль 1896 г.

полученная по наслѣдству и развитая тщательнымъ воспитаніемъ подъ руководствомъ такихъ родителей, проявилась въ немъ очень рано, и уже на школьной скамьѣ, по свидѣтельству одного изъ его учителей и наставниковъ, В. П. Острогорскаго, Н. В. поражалъ своими сочиненіями по русской словесности, чѣмъ доставлялъ не мало хлопотъ учителю. Время тогда было не изъ благопріятныхъ для стремленія юноши Водовозова къ самостоятельной мысли, къ исканію своихъ путей развитія. Сочиненія его рѣзко выдавались оригинальностью мысли и блестящей формой, начитанностью автора и умѣньемъ справляться съ имѣвшимся у него богатымъ запасомъ матеріаловъ. Прекрасное знакомство съ родной и иностранной литературой, знаніе нѣсколькихъ иностранныхъ языковъ, систематическія занятія общественными науками, къ которымъ всегда у него была особая склонность, вмѣстѣ съ живымъ характеромъ, сердечной отзывчивостью и искренностью, чѣмъ такъ дорожитъ и что умѣетъ лучше всего цѣнить молодежь, создали Н. В. первенствующее положеніе сначала въ гимназическихъ, потомъ студенческихъ кружкахъ. И товарищи, и профессора смотрѣли на него, какъ на будущую выдающуюся силу,—и не обманулись. Будучи еще студентомъ, сначала с.-петербургскаго университета, куда онъ поступилъ послѣ окончанія гимназіи, и откуда перебрался въ дерптскій, гдѣ и кончилъ курсъ по юридическому факультету, Н. В. дебютировалъ въ литературѣ рядомъ прекрасныхъ рецензій въ „Книжномъ Вѣстникѣ“, „Русской Старинѣ“, а затѣмъ въ „Русской Мысли“. Съ тѣхъ поръ литературная его дѣятельность шла непрерывно, возрастая съ каждымъ годомъ. За это время имъ были напечатаны статьи: „Экономическія идеи католическаго духовенства“, „Католическая школа въ политической экономіи“, „Біографія Мальтуса“, приготовленная къ печати и уже напечатанная, но еще не вышедшая въ свѣтъ книга „Писаревъ какъ экономистъ“. Кромѣ того, подъ его редакціей вышли „Англійскіе реформаторы“ Гиббинса, „Земледѣліе и землевладѣніе“, сдѣланъ переводъ Магайма „Рабочія коопераціи“; приготовленъ сборникъ статей, написанныхъ имъ въ разное время: „Зенгеръ и Оффнеръ“, „Очерки соціальной юриспруденціи“, „Право на трудъ“ и др.

Послѣдняя статья его „Съ чего начинать изученіе политической экономіи“ (по поводу книги Ш. Жида „Основы политической экономіи“) была напечатана въ нашемъ журналѣ, также какъ и его послѣднія рецензіи. Глубоко сочувствуя цѣлямъ самообразованія, преслѣдуемымъ журналомъ, онъ, почти наканунѣ смерти, въ письмѣ отъ 18-го мая намѣчаетъ рядъ статей историко-экономическаго содержанія,

указываетъ книги, о которыхъ желаетъ дать отзывы и проситъ нѣкоторыя выслать ему въ Крымъ, куда онъ направлялся изъ Белляджіо. Внезапная смерть остановила всѣ эти планы... Какъ показываетъ приведенный выше, далеко не полный списокъ работъ покойнаго, имъ сдѣлано много, очень много, если принять во вниманіе кратковременность его жизни и почти постоянное болѣзненное состояніе. Но все это лишь задатокъ того, что русская наука и общество имѣли право ожидать отъ Н. В., и вполнѣ понятны тѣ искреннія сожалѣнія, съ какими было встрѣчено всѣми извѣстіе о кончинѣ этого молодого, такъ много обѣщавшаго ученаго и талантливаго публициста.

Какъ человѣкъ, Николай Васильевичъ представлялъ замѣчательный, рѣдкій въ наши дни, примѣръ цѣльной, самостоятельной, свободной и гордой натуры. Къ нему никоимъ образомъ нельзя было отнести упрекъ, дѣлаемый г. Кони современному обществу, въ измельчаніи личности, въ нравственной дряблости и узкой спеціализаціи. Своего „я“ Николай Васильевичъ не скрывалъ за безличнымъ „мы“, и если покойный заслуживалъ укора, то въ обратномъ отношеніи—за ту рѣзкость, съ которой нигдѣ и никогда не стѣснялся сказать свое мнѣніе, защищая то, что считалъ своимъ убѣжденіемъ. Компромиссы, ни личные, ни общественные, для него не существовали, и во всемъ онъ требовалъ той же прямоты и искренности, которыя составляли основу его характера. Быть можетъ, въ житейскомъ обиходѣ такія прямыя, цѣльныя натуры не всегда удобны, но, право, если бы ихъ не существовало въ жизни, можно бы потерять вѣру въ человѣческую искренность. Такимъ же являлся Н. В. и въ литературѣ, гдѣ двухъ мнѣній, осторожныхъ обходовъ и двусмысленныхъ заявленій онъ не допускалъ. Съ нимъ можно было не соглашаться, но нельзя было не уважать, какъ противника, столько же открытаго и смѣлаго, сколько прямого и честнаго. Его „да“ было „да“ и „нѣтъ“—„нѣтъ“, что въ наше время несравненно большее достоинство, чѣмъ глубокомысленная ученость на почвѣ расплывчатыхъ общественныхъ и личныхъ идеаловъ.

Берне.—Близость его къ нашей современности.—Полное собраніе сочиненій Ибсена [1]).

Среди европейскихъ писателей трудно найти другого, который былъ бы такъ близокъ русской современной литературѣ, какъ Людвикъ Берне. Не смотря на шестьдесятъ лѣтъ, отдѣляющихъ насъ отъ того времени, когда Берне писалъ свои жгучія статьи противъ Менцеля и цѣлой плеяды нѣмецкихъ мракобѣсовъ, его произведенія сохраняютъ для насъ свѣжесть современности и жизненность, какъ будто они написаны только вчера. Его яркій талантъ и страстность, проникающая все имъ написанное, конечно, объясняютъ многое въ этой живучести, сближая читателя съ временемъ и людьми, о которыхъ идетъ рѣчь. Но среди современниковъ Берне были писатели не менѣе талантливые, которые, однако, далеко не такъ близки намъ, не говоря уже о вліяніи, оказываемомъ ими на читателей. Гейне, безспорно, и выше, и разностороннѣе по таланту, Гуцковъ глубже, но ни тотъ, ни другой не волнуютъ васъ, не вызываютъ любви или ненависти, не заставляютъ страдать, не заражаютъ своею страстью. Тайна такой исключительной жизненности Берне лежитъ въ его характерѣ, съ одной стороны, съ другой — въ общественныхъ условіяхъ времени, когда писалъ Берне, и общности вопросовъ, которымъ посвящалъ свое исключительное вниманіе великій нѣмецкій публицистъ.

Основная черта его характера — искренность, чарующая даже его враговъ и подкупающая читателя съ первой строчки. Чувствуется, что предъ нами не просто писатель, увлекающійся собственнымъ талантомъ, наслаждающійся процессомъ творчества, а человѣкъ, борющійся за дѣло жизни, выше и святѣе котораго для него не существуетъ. „Я никогда не стремился къ славѣ хорошаго писателя, — говоритъ онъ,—никогда не хотѣлъ считаться искуснымъ сочинителемъ. Моя природа возложила на меня священную обязанность, которую я исполняю, какъ могу. Мысли, слова—мои орудія, которыми я дорожу до тѣхъ поръ только, пока они мнѣ нужны, и которыя бросаю, какъ только употреблю ихъ. Мое самолюбіе никогда не радовалось и не оскорблялось, когда кто-нибудь хвалилъ или порицалъ мои орудія; только своему дѣлу я желалъ видѣть надлежащую оцѣнку“. Меньше всего онъ придавалъ значенія искусству

[1]) Октябрь 1907 г.

ради искусства: „Искреннія чувства не нуждаются ни въ какомъ искусственномъ украшеніи, и честныя мысли, подобно Минервѣ, выскакиваютъ уже въ полномъ вооруженіи изъ головы своего отца“. Въ статьѣ, посвященной книгѣ Гейне о Германіи, онъ подчеркиваетъ отрицательную сторону Гейне, объясняя, почему не считаетъ его настоящимъ писателемъ въ томъ смыслѣ, какъ выше говоритъ о себѣ: „Если бы Гейне, владѣя такимъ рѣдкимъ даромъ слова, отважился еще при этомъ сохранять въ себѣ способность заставлять другихъ уважать его независимость, способность имѣть свои свои собственныя мнѣнія, чувства и мысли, обладать какимъ бы то ни было убѣжденіемъ, но убѣжденіемъ твердымъ и несокрушимымъ, сопротивляющимся порывамъ сильнаго вѣтра точно такъ же, какъ еще болѣе опаснымъ капризамъ легкаго зефира; если бы Гейне интересовался одобреніемъ только честныхъ и просвѣщенныхъ людей и сочувствіемъ своей собственной совѣсти, а не увивался бы день и ночь около всѣхъ торговцевъ громкими репутаціями, онъ былъ бы превосходнымъ писателемъ въ полномъ смыслѣ этого слова“.

Самъ Берне вполнѣ свободенъ отъ такого упрека. Его убѣжденіе, то, что онъ называетъ своею вѣрою, составляетъ для него все, и того же требуетъ онъ отъ своихъ противниковъ. Отсюда его безпощадная критика всяческаго лицемѣрія и равнодушнаго отношенія къ тому, что проворѣчитъ нашимъ убѣжденіямъ. Въ особенности достается нѣмецкимъ ученымъ, которые, исповѣдуя въ теоріи самыя высокія идеи, мирно уживались на практикѣ со всякой мерзостью. „Нѣмецкій ученый имѣетъ очень дешевую и удобную мораль... Нѣмецкій ученый либераленъ, добродѣтеленъ, справедливъ, гуманенъ, снисходителенъ; но всему тому, чего могутъ требовать свобода, добродѣтель, справедливость и гуманность, онъ, по его мнѣнію, оказываетъ достаточную услугу, когда объявляетъ разъ навсегда, что именно хорошо, справедливо и гуманно; послѣ этого онъ считаетъ себя христіански приготовленнымъ къ блаженнѣйшей смерти и говоритъ: dixi et salvavi auimam meam. Но повторять это каждый день и каждый часъ, пока всѣ не услышатъ; но говорить это не только въ безмолвной, темной книгѣ, но и подъ открытымъ небомъ; но высказывать это на народномъ языкѣ и доказывать справедливость своихъ словъ не только на трупѣ теоріи, но и въ живомъ практическомъ примѣненіи, — нѣмецкому ученому не приходитъ и въ голову. Онъ говоритъ: dixi. Неужели вы, глупцы, надѣетесь обмануть Провидѣніе вашею лицемѣрною латынью? Оно будетъ судить васъ въ день нѣмецкаго суда, и тогда горе вамъ“.

Изъ этой страстной преданности убѣжденію вытекаетъ у Берне отрицаніе объективности въ публицистикѣ. Смѣясь, разсказываетъ онъ, какъ на вопросъ знаменитаго французскаго публициста Прюдона, что онъ намѣренъ проводить въ своей газетѣ, онъ, Берне, отвѣтилъ: „Я буду хвалить то, что достойно похвалы, и порицать то, что достойно порицанія". „Но отъ меня требовали, чтобы я хвалилъ нашихъ друзей и порицалъ нашихъ враговъ, какъ бы они ни поступали, и это требованіе было совершенно справедливо", заканчиваетъ онъ. Онъ не находитъ достаточно рѣзкихъ словъ, чтобы осмѣять нѣмецкое глубокомысліе, съ которымъ современные ему публицисты разсматривали политическія событія, разбирая и оцѣнивая ихъ, какъ ученое сочиненіе. По его мнѣнію, публицистъ не долженъ быть отвлеченнымъ, такъ какъ его задачи реальны, какъ сама жизнь, внѣ которой для него ничто не существуетъ. Интересы философіи, науки, искусства лишь постольку его захватываютъ, поскольку касаются текущей жизни, злобы дня, въ данную минуту выступающей на первый планъ. Можетъ быть, отъ этого точка зрѣнія его съуживается, за то мысль его сосредоточивается, какъ свѣтъ въ фокусѣ, и выигрываетъ въ силѣ, яркости и убѣдительности. Преслѣдуя опредѣленную задачу, публицистъ не долженъ уклоняться въ сторону, увлекаясь посторонними соображеніями добра, правды, справедливости. Для него добро лишь то, къ чему онъ стремится, правда то, во что онъ вѣритъ, справедливость то, что онъ защищаетъ. „Солдатъ въ сраженіи не можетъ удерживать свои выстрѣлы изъ опасенія, что въ рядахъ, въ которые онъ цѣлитъ, стоятъ благородные люди, его друзья, стоятъ многіе, нисколько не виноватые въ войнѣ. Пули этихъ людей также летятъ въ него. Таково печальное право и строгій законъ войны: только побѣжденнаго можно любить, только ему прощать". Таково credo публицистики, и души, преисполненныя кротости и невинности, для нея не годятся.

И это отнюдь не вина публициста, что инымъ онъ не можетъ и быть. Онъ стоитъ всегда на сторонѣ той или иной партіи, и безпартійный публицистъ, стремящійся объективно разсматривать всѣхъ, только абсурдъ, измышленіе нѣмецкаго глубокомыслія, изъ-за небесной отвлеченности упускающаго изъ виду землю, съ ея борьбой страстей и интересовъ. „Отъ писателя (журналиста, о которомъ, вообще, идетъ рѣчь въ данномъ мѣстѣ) нельзя требовать, чтобы онъ былъ безъ ненависти и безъ злобы, и, возносясь надъ всѣми тучами эгоизма, слышалъ грозу только подъ собой. Возможно ли, чтобы онъ одинъ изъ всѣхъ людей оставался совершенно свободнымъ отъ узъ любви къ самому себѣ и не усматри-

валъ хотя иногда въ законѣ своей личной выгоды — правило мірового порядка? Но во всякое время можно требовать отъ него, чтобы онъ постоянно сознавалъ возможность этого вліянія личнаго чувства и не имѣлъ дерзкаго притязанія на непогрѣшимость своихъ мнѣній. Что онъ старается защитить ихъ и доставить имъ побѣду въ борьбѣ со всѣми противниками,—это не бозславно, потому что свидѣтельствуетъ о серьезности его внутренняго убѣжденія". Партійность не исключаетъ терпимости, потому что „рабъ своихъ собственныхъ мнѣній тоже носитъ позорныя цѣпи; мы должны быть не слугами хорошаго дѣла, а друзьями его". Въ этомъ отношеніи Берне заходитъ дальше, чѣмъ можно ожидать отъ такой страстной души. По его словамъ, „презрѣннымъ мнѣніемъ должно считаться только одно—презирающее, которое не терпитъ ничего, противорѣчащаго ему". Онъ готовъ допустить въ своей газетѣ всѣ мнѣнія, даже завѣдомо вредныя, съ одной лишь оговоркой, что „пусть не считаютъ нарушеніемъ гостепріимства, когда хозяинъ будетъ или самъ свободно порицать вещи, несогласныя съ его воззрѣніями, или предоставлять свободу этого порицанія другимъ". Быть терпимымъ, значитъ быть свободнымъ. Къ свободѣ стремятся всѣ, но одни желаютъ ее для себя, другіе—для всѣхъ. Послѣдніе и являются истинными представителями терпимости, справедливости и правды.

Такимъ былъ и Берне, не отступавшій ни предъ чѣмъ, разъ этого требовала борьба за убѣжденія. Въ одномъ мѣстѣ онъ выражаетъ сожалѣніе, что можетъ бороться только словомъ, потому что „спящій нѣмецкій народъ" не даетъ возможности прибѣгнуть къ болѣе дѣйствительнымъ орудіямъ. Вѣра въ справедливость отстаиваемаго дѣла поддерживаетъ въ немъ надежду при самыхъ тяжелыхъ условіяхъ, утѣшаетъ въ минуту полнаго торжества противниковъ, не обладающихъ такою вѣрою. „Только мы вѣруемъ, другіе не вѣруютъ. Наши противники, когда они дѣйствуютъ безпристрастно, только мыслятъ не такъ, какъ мы,—когда же они лицемѣрятъ, они только говорятъ не такъ, какъ мы; но у нихъ нѣтъ вѣрованія, которое они могли бы противопоставить нашему. И оттого-то мы побѣдимъ, а наши противники покроются позоромъ".

Будущее вполнѣ оправдало это гордое заключеніе, но въ то время, когда оно было высказано, нужно было обладать великой вѣрой, чтобы не пасть духомъ при видѣ полнаго торжества темныхъ силъ, владѣвшихъ тогда Германіей. Раздѣленная на сотню мелкихъ владѣній, руководимыхъ и опекаемыхъ двумя „полицейскими, Австріей и Пруссіей", Германія была отдана во власть грубѣйшей реакціи, какую

когда-либо знала исторія. Реакція шла не только со стороны правящихъ сферъ, но и въ самомъ обществѣ находила дѣятельную поддержку. Наука, философія, журналистика, все стремилось оправдать существующій порядокъ, подыскать любой формѣ насилія нравственное обоснованіе. Свобода признавалась французскимъ изобрѣтеніемъ, а все французское искони было чуждо нѣмецкому духу, пути развитія котораго совсѣмъ особые,—говорили нѣмецкіе патріоты. „Явленія, по которымъ у другихъ народовъ можно заключить о глубочайшемъ паденіи націи, у насъ никоимъ образомъ не могутъ приводить къ такимъ заключеніямъ. Поверхность нашего существованія можетъ вынести много, но зерно остается при этомъ неприкосновеннымъ. Нашъ великій народъ созданъ очень прочно... Нѣмцы народъ молодой. У нихъ нѣтъ прошедшаго, у другихъ народовъ нѣтъ будущаго... Только нѣмцы вполнѣ люди. Англичанинъ — только англичанинъ; испанецъ—только испанецъ; французъ—только французъ,—человѣкомъ же можетъ назваться только нѣмецъ... Строеніе нѣмецкой земли будетъ когда-нибудь окончено, и тогда оно, возведенное на тысячелѣтіяхъ, переживетъ всѣ государства. Нѣкогда нѣмцы разрушили всемірное римское царство; когда-нибудь они построютъ царство болѣе прекрасное. Они создадутъ вѣчный миръ, эту мечту другихъ народовъ, которую осуществить предназначено нѣмецкому народу... Народъ, который, не смотря на цензуру, развилъ въ себѣ такую силу духа и свободу духа, какихъ не пріобрѣлъ ни одинъ народъ безъ цензуры,—явленіе совершенно особенное, и т. д., и т. д.“. Въ такихъ дифирамбахъ, безчисленные образчики которыхъ разсѣяны въ произведеніяхъ Берне, особенно отличались нѣмецкіе народники, страшно возмущавшіеся всѣмъ, что разрушало, по ихъ мнѣнію, истинныя основы нѣмецкаго народнаго духа, его патріархальныя черты, бытовыя и экономическія. На нихъ-то обрушивалась безпощадная критика Берне, раскрывавшая всю ложь этихъ основъ, подъ которой скрывалось невѣжество, умственная и нравственная дикость и нищета, ничѣмъ не прикрытая.

Его критика нѣмецкаго шовинизма по истинѣ безсмертна. Такъ она глубока и остроумна. Въ европейской литературѣ она единственная въ своемъ родѣ, что признали не только друзья, но и враги Берне. Такъ, Гейне, сильно не любившій его за справедливую оцѣнку своей книги о Германіи, говоритъ о лучшей статьѣ Берне, направленной противъ нѣмецкихъ шовинистовъ: „Менцель французоѣдъ“ есть защита космополитизма противъ націонализма; послѣ этой защиты видно, что у Берне космополитизмъ былъ только въ головѣ, а патріотизмъ пустилъ глубокіе корни въ сердцѣ, тогда

какъ у его противника патріотизмъ засѣлъ только въ головѣ, а въ сердцѣ зѣвало самое холодное равнодушіе... Изъ сердца Берне вылетаютъ тутъ трогательнѣйшіе, безыскусственные звуки патріотическаго чувства—вылетаютъ точно стыдливыя признанія, которыхъ человѣкъ уже не можетъ удержать въ послѣднюю минуту своей жизни и которыя скорѣе рыданія, чѣмъ слова. Смерть стоитъ тутъ же и киваетъ головой, какъ неопровержимый свидѣтель правды этихъ признаній... Да, онъ былъ не только хорошій писатель, но и великій патріотъ".

Патріотизмъ, въ истинномъ, высокомъ значеніи, составлялъ сущность Берне, былъ убѣжденіемъ его жизни, ея содержаніемъ и двигателемъ. Поэтому-то его такъ возмущало лицемѣріе продажныхъ писакъ, въ родѣ Менцеля, и глупая восторженность народниковъ, такъ какъ и въ тѣхъ, и въ другихъ онъ не видѣлъ патріотизма. „Я боленъ моимъ отечествомъ; пусть оно освободится, и я выздоровѣю", говоритъ онъ, а Менцели и народники, напротивъ, изо всѣхъ силъ старались затянуть потуже петлю, мѣшавшую отечеству дышать свободно. Менцели дѣлали это изъ-за выгодъ. „Льстить тиранніи изъ-за своего комфорта, своего постыднаго спокойствія, изъ-за того, чтобы ненарушимо наслаждаться тѣмъ, что имѣешь—развѣ не такъ же скверно, какъ льстить ей для того, чтобы добиться, чего не имѣешь и что желалъ бы пріобрѣсти?" Въ то время еще не было въ Германіи фонда для газетныхъ рептилій, но рептиліи уже были. Онѣ не были еще тогда такъ беззастѣнчивы, какъ ихъ наслѣдники въ наше время, и свою лесть абсолютизму облекали въ яркое платье негодованія на „непатріотичныя выходки" еврея Берне, уже самымъ происхожденіемъ своимъ обреченнаго на жертву космополитизму. Современныя рептиліи и въ этомъ случаѣ остались вѣрны своимъ отцамъ, и упрекъ въ различіи національности остается до сихъ поръ ихъ главнымъ оружіемъ. Да и не только ихъ. Здѣсь сходятся они съ народниками, объяснявшими, что Берне, какъ еврей, не *могъ* понять сущности нѣмецкой души, открытой только нѣмцу. Его насмѣшки надъ гимнами Арминію, нѣмецкимъ общиннымъ духомъ, надъ превосходствомъ нѣмецкаго языка и нѣмецкимъ „всечеловѣкомъ", надъ „нѣмецкой душой", совсѣмъ особой, исключительной, не поддающейся описанію, вытекаютъ изъ еврейскаго происхожденія Берне, не позволяющаго ему прочувствовать все величіе нѣмецкой души, выражающееся въ Арминіи, общинѣ и „всечеловѣкѣ". На такія нападки Берне отвѣчалъ только презрительнымъ смѣхомъ: „Каждый разъ, когда мои противники видятъ, что они могутъ разбиться о *Берне* и потерпѣть умственное ко-

раблекрушеніе, они хватаются за *Баруха*, какъ за свой спасительный якорь".

Точка зрѣнія, съ которой Берне разсматриваетъ теоріи своихъ противниковъ, исключительно общественная, или, какъ онъ выражается — „гражданская". Ихъ отвлеченныя мудрствованія о „духѣ" и „всечеловѣкѣ" онъ разлагаетъ на составные житейскіе элементы и показываетъ, къ чему приводитъ этотъ „духъ". „Народъ, который, не смотря на свою силу духа и свободу духа, не умѣлъ освободиться отъ своей цензуры, постоянно издѣвавшейся надъ всякою силою, постоянно разрушавшей всякую свободу, который подчиняется людямъ слабоумнымъ, людямъ, позволявшимъ заключить свой духъ въ оковы,—который, не смотря на свою здоровую натуру и чистоту нравовъ, никогда не могъ добиться того, что другіе народы сумѣли пріобрѣсти безъ силы духа, безъ свободы духа, безъ добродѣтели и безъ благосостоянія,—наконецъ, народъ, который не можетъ выйти изъ позорнѣйшаго несовершеннолѣтія и похожъ на идіота, боящагося привидѣній, или ребенка, дрожащаго при видѣ розги, — такой народъ, дѣйствительно, явленіе совершенно особенное... Праведный Боже! Что это за сила духа, когда она боится показать свое значеніе, и при видѣ каждаго полицейскаго солдата складывается, какъ перочинный ножикъ и прячетъ свой клинокъ въ роговой черенокъ? И что это за похвальба свободою духа? Кто не свободенъ духомъ? Всѣ, вездѣ и всегда; свободны въ темницѣ, на кострѣ, въ пустынѣ, въ толпѣ дураковъ и даже за столомъ подозрительнаго, кровожаднаго и пьянаго тирана. Даже г. Менцель свободенъ духомъ и его мысли могутъ насмѣхаться надъ его словами". Прекрасенъ нѣмецкій „всечеловѣкъ", неспособный ни воодушевляться, ни быть самимъ собой. „Если полиція прикажетъ намъ воодушевиться и объявить печатно, что въ четыре часа пополудни мы должны ликовать, то мы исполнимъ это и въ четыре часа будемъ ликовать". Нѣмецкій народъ называютъ набожнымъ, скромнымъ, свободомыслящимъ. „Но развѣ человѣкъ набоженъ, когда онъ разбиваетъ на куски человѣка, лучшее созданіе Божіе? Развѣ онъ скроменъ, когда обнаруживаетъ высокомѣріе? Развѣ онъ свободенъ, когда думаетъ о томъ, какъ бы выслужиться? У французовъ тоже есть высокомѣріе, но это высокомѣріе *личное*, то самое, которое навлекло проклятіе на праотца Адама, а не *общинное*, какъ у насъ: оно не организовано". Нѣмецкій народъ дѣйствительно свободенъ: онъ самъ наблюдаетъ за собой, не только за страхъ, но и за совѣсть. „Нѣмецкое правительство раздѣлило весь народъ на два класса: шпіоновъ и шпіонствующихъ. Кромѣ нихъ, нѣтъ

никого. Будьте вы хорошій или дурной человѣкъ, человѣкъ или чортъ, до этого никому нѣтъ дѣла; каждый нѣмецъ — или полицейская собака, или полицейская дичь, или молотокъ, или наковальня".

Самая тяжкая мука изъ тѣхъ, какими страдаютъ люди,— многое понимать и быть не въ состояніи что-либо сдѣлать,— говоритъ Геродотъ, и этою мукою всю жизнь страдалъ Берне. Онъ ясно понималъ, какія бѣдствія подготовляетъ нѣмецкое правительство своимъ упорнымъ сопротивленіемъ требованіямъ духа времени. Берне не могъ обольщаться, подобно многимъ недомыслящимъ патріотамъ, „спокойнымъ развитіемъ внутреннихъ силъ", совершавшимся гдѣ-то, въ глубинѣ народной жизни, когда на поверхности видѣлъ лишь проявленія подлости, невѣжества и нищеты. „Нынѣшнее спокойствіе совершенно сообразно съ нѣмецкою натурою, нѣмцы вполнѣ довольствуются имъ", пишетъ Менцель въ отвѣтъ на ядовитыя насмѣшки Берне надъ нѣмецкой спячкой. „Берне называетъ это состояніе сномъ; пусть такъ, но это сонъ здоровый, и благо тому, кто спитъ спокойно. Я готовъ назвать его даже сномъ растеній, тихимъ благословеннымъ ростомъ. Эти слова могутъ быть одинаково примѣнены къ нашему физическому и нравственному положенію. Въ цѣломъ наше внѣшнее благосостояніе увеличилось и несмѣтное множество злоупотребленій стараго времени уничтожилось. Литература также доказываетъ, что мы сдѣлали умственные успѣхи, и послѣднее десятилѣтіе, какъ ни незначительно оно кажется въ сравненіи съ предпослѣднимъ, въ сущности, гораздо богаче его зародышами силы и развитія. Человѣческое положеніе никогда нельзя измѣрять высшимъ масштабомъ идеала". Притязательная глупость подобныхъ фразъ, которыми не только продажныя душонки Менцелей, но и люди болѣе благонамѣренные старались оправдать позорное настоящее нѣмецкаго народа, вызываетъ горькій отвѣтъ Берне: „О небо! требовать для нѣмцевъ, этого образованнѣйшаго, умнѣйшаго здоровѣйшаго и добродѣтельнѣйшаго народа въ свѣтѣ, того, что имѣютъ Португалія и Испанія, Франція и Англія, Бельгія, Голландія и Швейцарія,—того, что умѣла удержать за собой силою мужества и благородства маленькая, слабая, опутанная безчисленными сѣтями европейской дипломатіи, Греція, — того, чѣмъ владѣютъ даже негры въ колоніяхъ Сіерра-Леоны и Либеріи—негры, которыхъ многіе естествоиспытатели признаютъ совершенно неспособными къ полному человѣческому образованію, именно: свободы печати, гласнаго суда и присяжныхъ и всѣхъ тѣхъ остальныхъ учрежденій, которыя должны существовать у совершеннолѣтнихъ народовъ и отсутствіе которыхъ низ-

водитъ народъ на степень презрѣнныхъ рабовъ и смѣшныхъ школьниковъ,—требовать всего этого для нашего отечества значитъ, по мнѣнію г. Менцеля, мѣрить великимъ масштабомъ идеала!"

Обыкновенно, никто не злоупотребляетъ такъ ссылками на идеалы, какъ беззастѣнчивые противники всего идеальнаго. Все, что не укладывается въ рамки ихъ будничныхъ требованій, признается недостижимымъ и преступнымъ, какъ нарушающее правильный ходъ прогресса. Въ то же время они сами отнюдь не прочь отъ ссылокъ на идеалы, но видятъ и указываютъ ихъ въ прошломъ и всѣхъ несогласно мыслящихъ считаютъ мечтателями, на что Берне остроумно замѣчаетъ: „Смѣются надъ политическими мечтателями, ихъ книжною доктриною, и не подозрѣваютъ, что они сами такіе же мечтатели и идеологи, съ тою только разницею, что одни увлекаются новыми идеями, другіе же—старыми. Но какое изъ этихъ увлеченій самое опасное, какое вводитъ въ болѣе горькое заблужденіе? Какъ будущее, такъ и прошедшее не могутъ быть названы существованіемъ; но то, что еще *не есть*, можетъ быть, а то, что *было*, больше никогда не будетъ. Человѣка, который еще не живетъ, можно создать; но человѣка, который уже отжилъ, не вызоветъ изъ гроба никакое искусство, не вытащитъ никакая сила. Впрочемъ, если бы наши государственные люди и узнали когда-либо, чего хочетъ время, и убѣдились, что оно можетъ сдѣлать все, что хочетъ, то и это не заставило бы ихъ поступить умнѣе. Неизбѣжнаго они стараются избѣгать какъ можно дольше, думая, что выиграть время значитъ все выиграть. Но развѣ вашъ врагъ теряетъ время, которое все выигрываетъ? Молодой левъ растетъ въ клѣткѣ точно такъ же, какъ на свободѣ, а когда придетъ день, въ который вы должны будете отворить ему двери этой клѣтки, онъ бѣшено и мощно выскочитъ изъ нея и, конечно, не поблагодаритъ васъ за то, что вы были стражами его молодости".

Одиннадцать лѣтъ послѣ смерти Берне мартовская революція 48-го года подтвердила это заключеніе, но при жизни ему все время пришлось играть роль Кассандры. Его страстная любовь къ отечеству получаетъ вслѣдствіе этого оттѣнокъ глубокаго трагизма, и его опредѣленія патріотизма, свободы, любви къ родинѣ теряютъ совершенно національную окраску. Въ этихъ характеристикахъ Берне выступаетъ не только какъ политическій писатель, публицистъ своего времени, но какъ поэтъ и идеальный гражданинъ, что обезпечиваетъ за нимъ навсегда право на безсмертіе. Нѣкоторые изъ его политическихъ взглядовъ теперь потеряли значеніе, и современному читателю уже нельзя читать безъ улыбки

его прославленіе Франціи и французскаго народа, въ которомъ Берне видѣлъ вождя цивилизаціи, постоянно противопоставляя дѣятельную любовь къ свободѣ французовъ—платоническому къ ней отношенію нѣмцевъ. Освободившись отъ бюрократической опеки, такъ возмущавшей Берне, нѣмцы осуществили и даже превзошли его ожиданія, развивъ всѣ тѣ прекрасныя качества, которыя выставлялись противниками Берне и которыхъ онъ не отрицалъ, указывая только, что при разъединенности Германіи, при беззаконномъ режимѣ они не даютъ такихъ результатовъ, какихъ нѣмцы въ правѣ были ожидать. „Только свобода,—говоритъ Берне,—можетъ развить въ народѣ всѣ силы и этимъ помочь ему достигнуть цѣли, указанной ему на человѣческомъ пути. Только она можетъ вывести наружу скрытыя, зрѣющія добродѣтели народа, объяснить, какіе изъ его недостатковъ и пороковъ слѣдуетъ приписать испорченности, а какіе—природѣ, наконецъ, отдѣлить его здоровыя достоинства отъ тѣхъ, которыя, подъ личиною силы, скрываютъ только слабость и суть нечто иное, какъ болѣзненные приливы, противозаконныя посягательства одного органа на другіе, каковы, напр., патріархальность и трансцендентализмъ нѣмцевъ“. Мѣсто патріархальности заняла общественность, явился интересъ къ общественной жизни, развитой въ Германіи несравненно болѣе, чѣмъ въ современной намъ Франціи. Политическая жизнь, такъ возбуждавшая Берне въ Парижѣ и на отсутствіе которой въ Германіи онъ такъ горько сѣтовалъ, постепенно передвигалась изъ Парижа въ Берлинъ, гдѣ въ настоящее время, безспорно, центръ прогрессивныхъ движеній, какъ въ наукѣ, такъ и въ политикѣ. Трансцендентализмъ исчезъ безслѣдно, по крайней мѣрѣ въ политикѣ нѣмцевъ, которые съ рѣдкой ясностью и самообладаніемъ рѣшаютъ вопросы экономическіе и соціальные въ томъ самомъ Берлинѣ, гдѣ во времена Берне Гегель доказывалъ „разумность всего дѣйствительнаго“, чѣмъ такъ возмущалось патріотическое сердце Берне. Шовинизмъ, столь ненавистный ему, исчезъ совершенно изъ общественной жизни Германіи, сохранившись только на столбцахъ продажныхъ газетъ, руководимыхъ рептиліями—прежде Бисмарка, теперь Вильгельма. Одного не могъ предвидѣть Берне—антисемитизма, въ которомъ наиболѣе невѣжественная часть народной массы ищетъ выхода изъ бѣдственнаго положенія, подъ лицемѣрнымъ руководствомъ новѣйшихъ Менцелей. Но антисемитизмъ не страшенъ самъ по себѣ, такъ какъ свобода является лучшимъ оружіемъ противъ него, предоставляя полную возможность выясненію истинныхъ интересовъ массъ.

Если, однако, въ современной Германіи и не все обстоитъ благополучно, если многое, о чемъ мечталъ Берне, и не получило осуществленія,—приписывать это свободѣ, видѣть ея послѣдствіе хотя бы въ томъ же антисемитизмѣ, было бы неправильно, такъ такъ, говоритъ Берне, „свобода отнюдь не есть нѣчто положительное, она — только отрицательное именно отсутствіе неволи. Свобода не можетъ и не хочетъ основать ничего, кромѣ самой себя, и не можетъ и не хочетъ разрушить ничего, кромѣ насилія. Свобода не можетъ преобразовать народъ, она не можетъ поселить въ немъ тѣ добродѣтели и достоинства, въ которыхъ отказала ему природа, она не можетъ отнять у него тѣ недостатки и пороки, которыми онъ обязанъ своему климату, своему воспитанію, своей исторіи или несчастной звѣздѣ, подъ которой онъ родился. Свобода—ничто и, не смотря на это—все, потому что она—*здоровіе народовъ*... Какъ здоровый нищій, грызущій черствую корку хлѣба, счастливѣе больного богача, сидящаго за роскошнымъ столомъ, такъ свободный народъ, живи онъ даже у сѣвернаго полюса, безъ художествъ, безъ науки, безъ вѣры, безъ всѣхъ житейскихъ радостей, въ постоянной войнѣ изъ-за пищи съ медвѣдями,—все-таки счастливѣе народа, наслаждающагося жизнью подъ райскимъ небомъ, среди тысячи плодовъ и цвѣтовъ, даруемыхъ ему почвою, искусствомъ и наукой, но при этомъ лишеннаго свободы“. Отъ здоровья она отличается лишь тѣмъ, что здоровье, разъ потерянное, не возстановляется, тогда какъ „свобода не умираетъ и въ гробу, и ростетъ до тѣхъ поръ, пока не проломитъ гробовой доски“. Здоровье, впрочемъ, дается природой, тогда какъ „свободу берутъ, а не получаютъ,—и тотъ, кто взялъ ее и потомъ возвратилъ безъ боя, былъ обыкновенный воришка, а не завоеватель, и повѣсить его слѣдуетъ“...

Этими многочисленными выдержками достаточно характеризуется личность Берне, какъ публициста и борца за свободу. Что касается его достоинствъ, какъ писателя, то въ ряду европейскихъ прозаиковъ ему принадлежитъ безспорно одно изъ первыхъ мѣстъ по силѣ и красотѣ слога, и въ этомъ отношеніи для публицистовъ всѣхъ странъ онъ также служитъ недосягаемымъ образцомъ.

„Свобода и правда—вотъ столпы общества“, говоритъ другой писатель, болѣе намъ близкій по времени, хотя едва ли болѣе близкій по духу, чѣмъ Берне. Это—Ибсенъ, „великій норвежскій викингъ духа“, съ дикой энергіей срывающій покровъ съ общественной лжи, которой такъ глубоко

проникнуты наши взаимныя отношенія. Берне ставитъ на первомъ мѣстѣ свободу въ политической жизни общества, Ибсенъ—въ соціальной. Въ рядѣ драмъ, посвященныхъ различнымъ сторонамъ жизни семейной и общественной, Ибсенъ—съ поразительной смѣлостью раскрываетъ послѣдствія лжи, являющейся результатомъ общественнаго рабства, въ которомъ живетъ большинство, и боязни каждаго изъ насъ быть самимъ собой, искренно относиться къ себѣ и другимъ.

На каждомъ шагу мы окружили себя сѣтью обязанностей, изъ которой не въ силахъ выбиться то, что составляетъ сущность каждаго, его духовное „я". Въ огромномъ большинствѣ случаевъ, оно такъ и остается въ зачаточномъ состояніи, и послѣ безсильныхъ порываній въ молодости, навсегда складываетъ крылья. А между тѣмъ, мы меньше всего слышимъ и думаемъ о главной обязанности—быть тѣмъ, чѣмъ насъ создала природа, не поступаясь ничѣмъ, что такъ или иначе связано съ нашимъ человѣческимъ достоинствомъ. Въ драмѣ „Нора" героиня отвѣчаетъ мужу, что у нея есть только одинъ священный долгъ, о которомъ никогда и никто ей не говорилъ: „Прежде чѣмъ быть женою и матерью, я—человѣкъ, по крайней мѣрѣ, хочу попытаться быть имъ". Но чтобы дойти до этой, повидимому, простой истины, ей приходится поплатиться любовью, семейною жизнью, словомъ, всѣмъ, что составляло суть ея жизни. И зависитъ это не отъ особыхъ условій, въ которыя поставлена Нора, такъ какъ ея жизнь ничѣмъ не отличается отъ массы женщинъ, женъ и матерей, остающихся всю жизнь въ блаженномъ ослѣпленіи. „Когда я была еще дѣвушкой отецъ дѣлился со мной своими взглядами и понятіями, и я должна была соглашаться съ нимъ, потому что всякое самостоятельное мое мнѣніе было бы для него непріятно. Онъ называлъ меня своею куколкою и игралъ со мной точно такъ же, какъ я играла со своими куклами. Затѣмъ я перешла къ тебѣ въ домъ,—обращается она къ мужу,—ты устраивалъ все по своему вкусу, и такимъ образомъ, ко мнѣ привились твои вкусы, или, быть можетъ, я принаравливалась къ нимъ; кажется, и то, и другое. Нашъ домъ былъ нечто иное, какъ дѣтская съ игрушками. Дома, у отца со мной обращались какъ съ маленькой, здѣсь—какъ съ большой куклой. А наши дѣти были, въ свою очередь, моими куклами"...

Ложь была въ основѣ этой семьи, ложь обаятельная и красивая, будто суть семейной жизни заключается въ подчиненіи слабѣйшаго болѣе сильному, при взаимномъ стремленіи жить возможно веселѣе, изящнѣе, беззаботнѣе. Когда на эту счастливую семью обрушивается внезапно несчастье, не оказывается въ наличности ни одного элемента, необхо-

димаго для борьбы, требующей сильныхъ и стойкихъ характеровъ, гордости и пониманія своей чести и достоинства. Нора рѣшаетъ вопросъ рѣзко и рѣшительно. Это натура не заурядная, въ ней есть характеръ, только неразвитый воспитаніемъ. Придя къ заключенію, что бракъ, не основанный на взаимномъ уваженіи личности, есть „простое сожительство", она разрываетъ его. Огромное большинство поступаетъ иначе. Къ старой лжи оно прибавляетъ цѣлый рядъ новыхъ самообмановъ, подъ вліяніемъ которыхъ примиряется со своей участью и тянетъ скучную канитель, утѣшая себя тѣмъ, что это необходимо для семьи, для дѣтей, для общества, наконецъ. И ложь, такимъ образомъ, накопляется, растетъ, какъ комъ снѣга, пока, наконецъ, люди не перестаютъ различать ея и свято увѣруютъ, что это и есть самая настоящая истина. Потому что ложь необходима для средняго человѣка. „Отнимая у него ложь жизни, вы вмѣстѣ съ тѣмъ отнимаете у него счастье", говоритъ одинъ изъ персонажей другой драмы Ибсена „Дикая утка".

Такъ и поступаетъ героиня другой драмы „Привидѣнія", г-жа Альвингъ. Когда предъ ней раскрывается жестокая правда ея жизни, она пытается порвать съ ней, начать новую жизнь, но подъ вліяніемъ человѣка, дорогого для нея, болѣе дорогого, чѣмъ всѣ другіе,—смиряется и мужественно несетъ всѣ послѣдствія. Г-жа Альвингъ—это смирившаяся Нора, представительница огромной массы женщинъ. Что же она выигрываетъ? Жестокій талантъ Ибсена, пожалуй, ни въ одной пьесѣ не выказывается съ такой силой, какъ въ этой. Усвоивъ великую „истину", что „мы прежде всего живемъ для долга, а не для счастія", она мучится съ развратнымъ и жалкимъ мужемъ, охраняя будущность сына. Для него оберегаетъ она репутацію отца, для него отказывается отъ высшаго наслажденія самой воспитывать сына въ своемъ домѣ, подъ личнымъ наблюденіемъ. Но правда, которой она не знала и о которой ей ничего не говорили мудрые совѣтники, твердившіе о долгѣ, даетъ себя знать, какъ всегда, слишкомъ поздно. „Мнѣ иногда кажется,—говоритъ г-жа Альвингъ,—что мы всѣ подобны привидѣніямъ, подобны выходцамъ изъ могилъ. Въ насъ живетъ и прячется все, что мы наслѣдуемъ отъ родителей, всѣ старыя, повидимому, умершія воззрѣнія и вѣрованія. Когда я беру въ руки газету, мнѣ кажется, будто привидѣнія скользятъ между строкъ. Вездѣ кругомъ эти выходцы изъ могилъ, неисчислимые, какъ песокъ морской". Сынъ наслѣдуетъ отъ отца неизлѣчимую болѣзнь, ведущую къ сумасшествію. Къ чему привелъ ее долгъ, которому она пожертвовала жизнью? И что это за „велѣнія долга", результатомъ котораго является нравственная смерть?

Отвѣтъ ясенъ: долгъ, основанный на лжи, ложенъ, а таково большинство „долговъ“, тяготѣющихъ надъ современнымъ обществомъ.

Въ пьесѣ „Столпы общества“ Ибсенъ выводитъ на сцену семью, занимающую первенствующее положеніе въ городѣ, гдѣ въ полномъ смыслѣ слова идетъ круговая порука во лжи. Лгутъ всѣ, прикрывая весьма низменныя цѣли громкими словами о нравственности, общей пользѣ и тому подобныхъ высокихъ матеріахъ. Какъ и во всѣхъ своихъ драмахъ, Ибсенъ доводитъ дѣло до корня этой лжи, показывая, что причина ея лежитъ не въ отдѣльной личности, не въ томъ или другомъ проступкѣ, а въ основахъ общества. „Въ чемъ я себя обвиняю,—говоритъ герой пьесы,—такъ это въ своей слабости, заставлявшей меня выбирать окольные пути: я зналъ и боялся привычки нашего общества видѣть нечистые мотивы во всемъ, что кто-нибудь предпринимаетъ“. Но кто же привилъ обществу эту привычку, какъ не тѣ, кто стоитъ во главѣ его? Имъ мало пользоваться выгодами своего положенія, они желаютъ еще освятить его возвышенностью стремленій, внушая на каждомъ шагу, что лишь общіе интересы руководятъ ихъ поступками. Постепенно они входятъ въ свою роль до того, что и сами начинаютъ вѣрить въ правоту своихъ дѣйствій и смотрятъ, какъ на святотатство, на критику ихъ цѣлей и средствъ. И кто выдерживаетъ до конца на этомъ пути лжи и обмана, тотъ всегда достигаетъ успѣха, такъ какъ всегда найдетъ достаточно помощниковъ, готовыхъ поддержать его, конечно, ради своихъ интересовъ. Такъ создается замкнутая цѣпь взаимнаго обмана, въ которой безсильно бьется бѣдное человѣчество.

Пьеса, однако, заканчивается торжествомъ правды, что какъ-то не вяжется съ общимъ настроеніемъ Ибсена, который мало, пожалуй, и вовсе не вѣритъ въ возможность утвердить общество на этихъ столпахъ—правдѣ и свободѣ, при современномъ противорѣчіи классовыхъ интересовъ. Въ драмѣ „Врагъ народа“ общество отвѣчаетъ каменьями на воззваніе героя къ правдѣ, которая не теряетъ оттого значенія въ глазахъ автора, но приводитъ его къ безотрадному заключенію, что „сильнымъ можетъ быть только тотъ, кто—одинъ“. Сильнымъ быть, значитъ не поддаваться никакимъ побочнымъ соображеніямъ, не искать „окольныхъ путей“, но быть такимъ, значитъ стать внѣ общества. Тѣмъ не менѣе, лучше быть одинокимъ, чѣмъ строить союзы, гдѣ въ основѣ покоится ложь. Въ концѣ концовъ она породитъ только тысячу новыхъ обмановъ, цѣлую сѣть лжи, изъ которой нѣтъ выхода. „Кто посѣетъ ложь, тотъ посѣетъ слезы“, говоритъ

Свангильда въ пьесѣ „Комедія любви“, въ которой безотрадный пессимизмъ Ибсена проникнутъ глубокой поэзіей, придающей ему глубокій и возвышенный характеръ. Счастье—мечта юности, а „наша юность—вѣтеръ въ полѣ: пролетѣла, не вернешь“, и не погоня за счастьемъ составляетъ суть жизни. Міръ вездѣ „трагикомедія, гдѣ каждый вѣритъ тому, что солгали всѣ другіе, и принимаетъ на себя личину любви съ ложь въ сердцѣ и словами правды на языкѣ... Люди лгутъ передъ самими собою и предъ другими, и никто не смѣетъ обнаружить лжи, потому что они потерпѣли кораблекрушеніе, а считаютъ себя Крезами въ счастьи“... Единственная сила, которая можетъ удержать человѣка отъ этого пути,—„Божья правда“, дающая мощь и мужество тому, кто не ждетъ себѣ и не требуетъ никакой награды за служеніе ей. „Надо бороться и жертвовать собой съ мужествомъ истины“, жить безъ жалобъ и умирать безъ страха.

Для огромной массы человѣчества этотъ путь, одинокій и безотрадный, не по силамъ. Ей необходимы „дикія утки“, въ которыхъ она видитъ отраженіе своихъ несбывшихся желаній, нужны „спокойные, уютные дома“, въ которыхъ хозяйничаютъ привидѣнія. Каждый зараженъ „лихорадочной болѣзнью вѣка—желаніемъ награды за побѣду безъ борьбы, жаждой праздника безъ будничныхъ трудовыхъ дней“. Ради утоленія этой жажды люди гонятся за призраками, которые ихъ заводятъ въ болото житейской пошлости, откуда нѣтъ возврата. А когда приходитъ осень жизни, они съ горечью нападаютъ на тѣхъ, кто еще не погрязъ въ засосавшей ихъ тинѣ. И только поэтъ смѣло и свободно проходитъ надъ трясиной, но поэтомъ можетъ быть „всякій и въ школѣ, и въ судѣ, и въ церкви, сильный и слабый,—у кого всегда передъ глазами витаетъ идеалъ“. Такова благородная цѣль, къ которой должно стремиться. Тогда не приблизится къ намъ осень никогда, и „птица пѣсни не замолкаетъ въ груди и не стремится изъ нея туда, откуда пришла“. Тогда „покровъ зимы не опускается на наши погибшія грёзы“, и „наша радосная, смѣлая любовь не можетъ быть сломлена болѣзнью, ослабѣть отъ лѣтъ“, и умираетъ, „какой жила—великою, молодою“.

Этотъ восторженный гимнъ идеалу Ибсенъ влагаетъ въ уста женщины, которая, вообще, въ его произведеніяхъ играетъ главную роль. Она всегда выше и благороднѣе мужчинъ, и рядъ имъ созданныхъ женскихъ характеровъ производитъ чарующее впечатлѣніе поэзіи и красоты. Такова Нора, цѣною разрушеннаго личнаго счастья покупающая себѣ право на свободу и правду. Такова г-жа Альвингъ, ея сестра по судьбѣ, встающая предъ нами какъ mater dolo-

гоза, которая слишкомъ поздно убѣждается, что путь ложнаго долга не ведетъ ко благу. Рядомъ съ ними идутъ Свангильда изъ „Комедіи любви", геройски отказывающаяся отъ любви ради болѣе возвышенной цѣли—стремленія къ идеалу,—Дина, въ „Столпахъ обществахъ", которая, не колеблясь, идетъ за человѣкомъ, смѣло отстаивающимъ то, что онъ считаетъ свободою и правдой. Еще граціознѣе Гильда въ „Архитекторѣ Сольнессѣ", истинное олицетвореніе „младыхъ надеждъ сердечной тишины", торжествующая, не смотря на гибель любимаго человѣка, „потому что онъ достигнулъ вершины". Пришлось бы перечислить почти всѣ женскіе типы его драмъ, такъ какъ каждая женская фигура очерчена имъ поразительно тонкими, нѣжными, почти неуловимыми штрихами, что, при всей ихъ реальности, придаетъ имъ глубоко поэтическій отпечатокъ. Онѣ проносятся предъ нами, какъ легкія облака, скользящія по лунѣ, прозрачныя и сверкающія, или какъ олицетвореніе юношескихъ грезъ, витающихъ высоко, уносящихся туда, „надъ звѣзды, въ области вѣчнаго безмолвія".

Въ сравненіи съ женскими мужскіе характеры у Ибсена не производятъ художественнаго впечатлѣнія, по крайней мѣрѣ, его положительные типы всѣ не художественны. Хороши только отрицательные, въ родѣ мелкихъ, слабыхъ душонокъ, какъ Хіяльмаръ въ „Дикой уткѣ", или мелкихъ обыденныхъ плутовъ, въ родѣ адвоката въ „Союзѣ молодежи". Его Сольнессъ, напр., рядомъ съ Гильдой даже не образъ, а тенденціозная фигура, изъ-за которой постоянно виденъ авторъ. Такое же впечатлѣніе производитъ поэтъ въ „Комедіи любви" или въ „Маленькомъ Эйольфѣ". Какъ будто Ибсенъ исчерпалъ всю свою фантазію на созданіе женскихъ образовъ, или, можетъ быть, выставляя женщинъ главными дѣятельницами на пути стремленія къ правдѣ и свободѣ, онъ раздѣляетъ убѣжденіе, что именно женщинѣ предстоитъ повести человѣчество къ свѣтлому будущему, гдѣ свобода и правда перестанутъ быть только мечтой благородныхъ сердецъ? Въ этомъ безсознательномъ представленіи скрывается одно изъ очарованій, такъ привлекающихъ къ Ибсену современнаго читателя, смущеннаго хаосомъ противорѣчій въ жизни, какъ политической, такъ и соціальной.

«Въ мірѣ отверженныхъ» г. Мельшина[1]).

Больше тридцати лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ появленіе „Записокъ изъ Мертваго дома“ вызвало небывалую сенсацію въ литературѣ и среди читателей. Это было своего рода откровеніе, новый міръ, казалось, раскрылся предъ изумленной интеллигенціей, міръ, совсѣмъ особенный, странный въ своей таинственности, полный ужаса, но не лишенный своеобразной обаятельности. Жизнь „Мертваго дома“ и типы его населенія, какъ живые выступали подъ перомъ геніальнаго писателя, увѣковѣчившаго ихъ въ русской литературѣ. Авторъ съ подкупающей художественностью нарисовалъ картины жизни „несчастненькихъ“, какъ прозвалъ народъ арестанта, и заставилъ всѣхъ почти согласиться съ собой, когда онъ въ заключеніи говоритъ: „вѣдь, надо ужъ все сказать; вѣдь, этотъ народъ необыкновенный былъ народъ. Вѣдь, это, можетъ быть, и есть самый даровитый, самый сильный изъ всего народа нашего“. Правда, авторъ отмѣтилъ несимпатичныя черты своихъ героевъ, съ удивительной правдивостью, обрисовалъ ихъ дикость, невѣжество, отсутствіе товарищескихъ чувствъ, но во всемъ оказывается виноватъ „Мертвый домъ“ съ его мертвящими условіями. Даже, напротивъ, отрицательныя черты только усиливаютъ эффектъ общей красоты типа того русскаго преступника, какимъ онъ изображенъ въ „Мертвомъ домѣ“.

Болѣе сильной и художественной идеализаціи арестанта и его внутренняго быта не знаетъ русская литература. Громадный талантъ автора надолго покрылъ розовымъ флеромъ „преступную душу“, заставивъ всѣхъ преклониться предъ нею, потому что и для автора, и для его читателей она, дѣйствительно, выступаетъ, какъ лучшая представительница народной души. И зло, и добро въ ней проявляются въ грандіозныхъ размѣрахъ, получаютъ особую яркость, если можно такъ выразиться — жгучесть, благодаря окружающему аду, кладущему на все особый отпечатокъ мрачнаго отчаянія, сжимающаго сердце. Кто не помнитъ, напримѣръ, поразительной сцены въ церкви, когда вся эта преступная толпа въ неудержимомъ порывѣ покаянія падаетъ на землю, гремя цѣпями, при возгласѣ священника: „но яко разбойника прими мя“. Или описаніе тюремнаго театра, отношенія арестантовъ къ тюремнымъ животнымъ,

[1]) Ноябрь 1896 г.

описанія, въ которыхъ трудно усмотрѣть что-либо специфически-арестантское. Такъ оно заслонено общечеловѣческимъ. Въ этомъ и состояла, быть можетъ, великая заслуга автора, заставившаго общество смотрѣть на арестанта, преступника, прежде всего какъ на человѣка.

Но вотъ прошло сорокъ лѣтъ, предъ нами снова „Міръ отверженныхъ", и какая глубокая разница между нимъ и „Мертвымъ домомъ!" Новый авторъ, г. Мельшинъ, обладаетъ огромнымъ талантомъ, не столь глубокимъ, какъ у Достоевскаго, но яркимъ и сильнымъ. Его „Міръ отверженныхъ" безспорно художественное произведеніе, мѣстами написанное съ поразительной силой, отъ которой мы уже отвыкли въ современной художественной литературѣ. Горячій тонъ, проникающій эти страницы, придаетъ всѣмъ характеристикамъ и описаніямъ автора отпечатокъ непреложной искренности и правдивости, подъ обаяніемъ которой вы остаетесь съ начала и до конца. Рисуемые г. Мельшинымъ сцены, типы, картины природы отнюдь не фотографически вѣрныя изображенія, а вполнѣ художественные образы, по яркости и смѣлости мало въ чемъ уступающіе типамъ „Мертваго дома". Они живутъ, движутся, охватываютъ васъ толпою какихъ-то безобразныхъ фантомовъ, сливаясь въ удручающій кошмаръ, и вы начинаете вполнѣ понимать смертную тоску, вырвавшую изъ груди автора невольный крикъ боли и отчаянія: „О, проклятый, безчеловѣчный міръ труда и неволи!"

Авторъ вступаетъ въ него настроенный весьма идиллически. „Помню, долгое время,—говоритъ онъ, — я страшно идеализировалъ арестантовъ, ихъ артельные нравы и обычаи. Они всѣ рисовались моему воображенію какими-то Стеньками Разинами, людьми беззавѣтной удали и какого-то веселаго отчаянія... Среди маленькой кучки интеллигентовъ кандальный звонъ раздавался какъ-то жидко и прозаично; но тамъ, за парусиннымъ брезентомъ, гдѣ двигались сотни ногъ, звонъ этотъ имѣлъ въ себѣ что-то музыкальное, властное, чарующее... Цѣлые вѣка слышала этотъ звонъ матушка-Волга: въ немъ была передающаяся изъ рода въ родъ поэзія стихійная, безыскусственная... Тамъ страдаютъ безъ гнѣва, безъ жалобы и надежды, страдаютъ, потому, что такъ и нужно, что иначе и невозможно: „не взяла моя—значитъ, меня бей, а коли я опять сорвусь, такъ ужъ вы не прогнѣвайтесь!.." Словомъ, народническая романтика, до виртуозности разработавшая вышеприведенный мотивъ Достоевскаго, что „самый лучшій, самый талантливый народъ изъ народа нашего" попадаетъ въ тюрьму,—всецѣло охватываетъ автора при его первыхъ попыткахъ знакомства съ этимъ

„необыкновеннымъ“ народомъ. Но, — замѣчаетъ авторъ не безъ юмора,—„первая моя попытка подойти ближе къ этому поэтическому міру едва не стоила мнѣ, однако, — чего бы вы думали, читатель?—глаза!.. Это было мое первое разочарованіе въ этихъ людяхъ, среди которыхъ предстояло мнѣ столько лѣтъ жить, первое свидѣтельство того, какой кромѣшный адъ тьмы и ненужной злости, безсмысленной жестокости представляетъ этотъ таинственный міръ, какъ онъ чуждъ мнѣ, и какъ много я долженъ буду выстрадать, живя съ ними одной жизнью“ (стр. 9—10).

Не слѣдуетъ думать, однако, что авторъ далѣе впадаетъ въ обратную крайность и, бросивъ народническія очки съ ихъ лживо-розовымъ свѣтомъ, видитъ все лишь въ темномъ освѣщеніи. Художественное чутье, отличающее его талантъ, спасаетъ его отъ подобной крайности. Тѣмъ болѣе, что въ отношеніяхъ арестантской массы къ себѣ лично онъ, въ противоположность Достоевскому, встрѣчалъ лишь проявленія хорошихъ чувствъ, какъ результатъ извѣстнаго уваженія къ нему, „особому преступнику“, а „не мошеннику, какъ мы, всѣ прочіе“. Когда однажды сожитель по камерѣ, въ пылу раздраженія началъ укорять автора, смѣшавъ его со всѣми, вся камера возмутилась и жестоко обрушилась на ругавшаго, который и самъ „на другой день просилъ прощенія наединѣ, съ чрезвычайной наивностью умоляя нѣсколько разъ ударить его по щекѣ“ (стр. 149 — 150). И въ аду, — говоритъ Мильтонъ,—таится извѣстное уваженіе къ добродѣтели.

Стоитъ остановиться на этой разницѣ въ личныхъ отношеніяхъ, какъ они рисуются у Достоевскаго и у г. Мельшина. Первый постоянно, иногда съ чувствомъ жгучей, хотя и непонятной радости, подчеркиваетъ, что сѣрая арестантская масса относилась къ нему чуть не съ ненавистью, смѣшивая его съ остальными преступниками изъ дворянъ. „Желѣзные носы, вы насъ заклевали!“—такими обращеніями встрѣчали его товарищи по несчастью. Онъ описываетъ многократно проявленія глупой злобы къ нему на работѣ, при попыткѣ къ сближенію, при заявленіи претензіи начальству, и, кажется, встрѣть онъ иное къ себѣ отношеніе, положимъ, какъ тотъ же г. Мельшинъ, ему было бы даже досадно. Въ томъ высокомѣріи, презрительности, съ которыми глядѣла на него сѣрая масса, Достоевскій видитъ даже нѣкое величіе, принижающее его въ собственныхъ глазахъ, за то возвышающее народъ. Онъ со смиреніемъ подчеркиваетъ свое одиночество среди товарищей, и хотя, по чистой совѣсти, не считаетъ себя достойнымъ такого отчужденія, тѣмъ не менѣе восторженно заявляетъ въ од-

номъ мѣстѣ „Записокъ“: „Высшая и самая рѣзкая характеристическая черта нашего народа — это чувство справедливости и жажда ея. Пѣтушиной же замашки быть впереди во всѣхъ мѣстахъ и во что бы то ни стало, стоитъ ли, нѣтъ ли того человѣкъ — этого въ народѣ нѣтъ. Стоитъ только снять наружную, наносную кору и посмотрѣть на самое зерно повнимательнѣе, поближе, безъ предразсудковъ — и иной увидитъ въ народѣ такія вещи, о которыхъ и не предъугадывалъ. Немногому могутъ научить народъ мудрецы наши. Даже утвердительно скажу — напротивъ: сами они еще должны у него поучиться“. Много было причинъ, обусловившихъ во времена Достоевскаго такое къ нему отношеніе арестантовъ крестьянъ,—довольно и одного крѣпостного права,—но не послѣднее мѣсто слѣдуетъ отвести и этому, въ основѣ своей вздорному, взгляду самого Достоевскаго на народъ. Иначе смотритъ на него г. Мельшинъ, иначе былъ встрѣченъ онъ и народомъ, если только примѣнимо это слово къ „Міру отверженныхъ“.

Первое, что поразило автора при вступленіи въ этотъ міръ былъ полный упадокъ прославленныхъ артельныхъ началъ. „Новый духъ, проникающій въ тюремный міръ, производилъ общее разложеніе и паденіе старинныхъ арестантскихъ обычаевъ и нравовъ. Много исчезаетъ симпатичныхъ, но еще болѣе безобразныхъ сторонъ“. Грубая сила и кулакъ господствуютъ въ теченіе всего времени пути.

Описаніе этой дороги, сдѣланное г. Мельшинымъ, единственное въ русской литературѣ. Предъ нимъ блѣднѣетъ все, что можетъ быть извѣстно читателямъ изъ труда Максимова „Сибирь и каторга“, хотя и у него этапный путь, ожидающій каждаго русскаго поселенца, достаточно ужасенъ. Путь этотъ длится нѣсколько мѣсяцевъ и совершается пѣшкомъ при любой погодѣ, и самъ по себѣ представляетъ жесточайшее наказаніе, какое могло только создаться при вѣковыхъ условіяхъ тюремнаго режима, до послѣднихъ дней существовавшаго у насъ. Авторъ надѣется, что съ проведеніемъ желѣзной дороги этотъ путь отойдетъ въ область преданій, а пока онъ все тотъ же, какъ и сто лѣтъ назадъ. Холодъ, дождь, слякоть въ дорогѣ на протяженіи нѣсколькихъ тысячъ верстъ. Ужъ какія тутъ артельныя начала, когда жизнь идетъ вотъ при какихъ условіяхъ:

„Вотъ остановились въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ этапа или полуэтапа, выстроились въ двѣ шеренги, въ ожиданіи повѣрки. Фельдфебель перечитываетъ арестантовъ, и тотчасъ же, съ дикимъ крикомъ „ура“, они летятъ въ растворенныя ворота занимать мѣста на нарахъ. Происходитъ страшная свалка и давка. Болѣе слабые падаютъ и топчутся бѣгущей толпой, получая иногда серьезныя увѣчья; болѣе дюжіе и про-

ворные, усердно работая локтями и даже кулаками, проталкиваются впередъ и растягиваются во весь ростъ поперекъ наръ, стараясь занять какъ можно больше мѣста, успѣвая еще кинуть при этомъ халатъ, кушакъ и шапку. Такимъ образомъ случается, что подобный ловкачъ займетъ нѣсколько саженъ мѣста; разъ брошена на нары хоть маленькая веревочка, мѣсто это считается неприкосновеннымъ. Тутъ прекращается всякая борьба — таково обычное право. Непривычный и слабонервный человѣкъ не могъ бы, я думаю, испытать большаго ужаса, какъ, стоя гдѣ-нибудь въ углу корридора, въ сторонкѣ отъ дверей, ведущихъ въ общія камеры, слышать постепенно приближающійся гулъ неистовыхъ голосовъ, рева, брани и драки, бѣшеный звонъ кандаловъ, топотъ несущихся ногъ! Точно громадная орда варваровъ идетъ на приступъ идетъ растерзать васъ, разорвать въ клочки, все разгромить и уничтожить! Вотъ все ближе и ближе... Вотъ ворвалась, наконецъ, въ корридоры эта ужасная лавина: дикія лица, искаженныя страстью и послѣднимъ напряженіемъ силъ, сверкающіе бѣлки глазъ, сжатые кулаки, оглушительное бряцанье цѣпей, яростная брань, — все это кажется, мчится прямо на васъ... Зажмурьте глаза въ страхѣ... Но вотъ бѣшеный потокъ толпы повернулъ направо въ дверь камеры и слился въ одинъ глухой ревъ, въ которомъ ничего нельзя разобрать. За первой волной несется вторая, третья и, наконецъ, почти уже шагомъ плетутся, съ проклятіями и бранью, самые отсталые, отчаявшіяся захватить мѣсто наверху и принужденные лѣзть подъ нары" (21—22).

По истинѣ, картина, достойная дантовскаго ада, но это лишь путь къ нему. И такія сцены повторяются изо дня въ день на протяженіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ. А что творится затѣмъ на этихъ этапахъ, гдѣ въ грязныхъ и тѣсныхъ помѣщеніяхъ, сырыхъ, холодныхъ, почти открытыхъ для всѣхъ перемѣнъ погоды, набитыхъ сотнями мужчинъ, женщинъ и дѣтей,—не поддается описанію. Г. Мельшинъ чуть-чуть только приподымаетъ завѣсу и тотчасъ задергиваетъ ее, охваченный чувствомъ жгучаго стыда, не позволяющаго даже говорить о томъ, что дѣлается на виду у всѣхъ. „Главное, о невыразимо безстыдныхъ условіяхъ, всей своей тяжестью падающихъ прежде всего, разумѣется, на женщинъ... Оставляя въ сторонѣ каторжанокъ, вспомнимъ сколько идетъ въ каторгу добровольныхъ женъ, сестеръ, матерей, дочерей... И всѣ онѣ должны жить въ тѣхъ же омерзительныхъ условіяхъ... все это должны видѣть и слушать и молодыя дѣвушки, образованныя, съ тонкимъ вкусомъ, съ нервной организаціей, чуткой и нѣжной душой... О, неужели найдется кто-нибудь, кто не пойметъ меня, кто посмѣется надъ моими словами?" — восклицаетъ авторъ, пораженный своимъ описаніемъ. На это можно отвѣтить только его же словами, которыми онъ желаетъ объяснить жестокость тюремныхъ нравовъ: „Огрубѣло у каждаго сердце, окаменѣло"...

Такъ проходятъ преступники подготовительный путь къ исправленію, ожидающему ихъ въ „Мертвомъ домѣ", и нужно обладать поразительно стойкой нравственной организаціей, чтобы не растерять въ дорогѣ послѣднія чер-

точки человѣчности и общественности. Большинство, вступая на эту дорогу дѣйствительно только „несчастненькими“, оканчиваютъ ее ожесточенными преступниками, „Богъ!— отвѣчаетъ одинъ на замѣчаніе автора: — какой Богъ? Гдѣ только мы ни были, нигдѣ не видѣли ни Бога, ни дьявола“. Какая безконечная масса страданій, „ни для кого не нужныхъ“, должна была обрушиться на человѣка, давшаго подобный отвѣтъ! „Если бы у меня,—говоритъ авторъ,—былъ какой-нибудь заклятый врагъ, и я непремѣнно долженъ былъ бы осудить его на величайшую, по моему мнѣнію, кару, я избралъ бы путешествіе въ теченіе 3—4 лѣтъ по этапамъ. Осудить на большій срокъ у меня, право, не хватило бы духу... Да! для интеллигентнаго человѣка нельзя придумать высшаго на землѣ наказанія... Когда я оглянулся на послѣдній этапъ, на это неуклюжее зданіе, одиноко торчавшее въ открытомъ полѣ, длинное, сырое, угрюмое, безучастно видѣвшее столько поколѣній людей, изувѣченныхъ, безумныхъ людей, столько напрасныхъ мукъ, слезъ и смертей, я невольно содрогнулся“..

И сколько другихъ содрогались также, а угрюмое зданіе этапа стоитъ и теперь, какъ стояло сотни лѣтъ, и, можетъ быть, простоитъ еще столько же. Эти потрясающія картины этапной жизни въ самомъ равнодушномъ читателѣ должны возбудить одинъ неотвязный вопросъ, неужели это все такъ необходимо, неизбѣжно, неустранимо? Вѣдь, незначительныя даже улучшенія, самыя хотя бы простыя и естественныя, въ родѣ раздѣленія арестантовъ по полу, уже облегчили бы жизнь, подняли бы самочувствіе массы, спасли бы не одну тысячу жизней отъ полнаго нравственнаго и физическаго паденія.

Пройденъ, наконецъ, и послѣдній этапъ, предъ авторомъ раскрылись молчаливыя двери каторги, гдѣ онъ вступилъ въ „міръ отверженныхъ“, сталъ его полноправнымъ членомъ... Какъ можно жить, т. е. существовать при такихъ условіяхъ? спрашиваетъ авторъ, которому на первыхъ порахъ особенно бросились въ глаза условія жизни этого міра. Отвѣтъ, имъ найденный при ближайшемъ знакомствѣ съ товарищами, совершенно совпадаетъ съ наблюденіями Достоевскаго: надо не думать. „О завтрашнемъ днѣ стараются не думать. Этимъ-то свойствомъ и держится темный человѣкъ, особенно арестантъ. Не обладай онъ счастливой способностью, не заглядывать въ будущее—жизнь стала бы не въ моготу“.

Не всѣ, однако, счастливцы обладаютъ этой способностью, и мысль, величайшее благо, данное человѣку, превращается въ его величайшее несчастіе въ мірѣ отвержен-

ныхъ. Среди безсмысленнаго существованія остальныхъ она выдѣляетъ своего обладателя и ставитъ его въ положеніе невыносимаго одиночества, съ которымъ не могутъ сравняться всѣ физическія мученія. Обладаніе способностью думать удваиваетъ, удесятеряетъ наказаніе для человѣка, доводя его до сумасшествія.

„... Что за странная галлюцинація? Гдѣ я? Какіе это трупы лежатъ возлѣ меня—и справа, и слѣва, и тамъ внизу, подъ ногами? Неужели я одинъ, живой среди мертвыхъ? О, радость, кто-то изъ нихъ пошевелился... Значитъ, я не одинъ живой... Да, да, припоминаю... Стоитъ мнѣ крикнуть, не совладавъ съ своимъ ужаснымъ кошмаромъ, и эти трупы вскочатъ на ноги, зазвенятъ оковами, заговорятъ, задвигаются, и улетятъ всѣ призраки ночи... Но зачѣмъ? Они вѣдь и живые мертвы для меня. Къ чему закрывать глаза на горькую правду? Я—одинъ. Одинъ, какъ челнокъ въ океанѣ, какъ былинка въ пустынѣ, одинъ, одинъ! Мнѣ нѣтъ здѣсь товарищей, какъ бы я ни жалѣлъ этихъ бѣдныхъ людей, какъ бы ни хотѣлъ перелить въ нихъ часть своего духа; нѣтъ сердца, которое билось бы въ тактъ моему сердцу, нѣтъ руки, на которую я довѣрчиво могъ бы опереться „въ минуту душевной невзгоды". Съ кѣмъ я? Какъ попалъ я въ эту смрадную яму, надъ которой носится дыханіе разврата и преступленія? Что общаго между мною, который порывался къ свѣтлымъ небеснымъ высямъ, и міромъ низкихъ невѣждъ и корыстныхъ убійцъ? Кровь кругомъ, разбитые вдребезги черепа, перерѣзанныя горла, удавленныя шеи, прострѣленныя груди... И надо всѣмъ встаютъ тѣни погибшихъ, отыскивая своихъ убійцъ, отравляя ихъ сны черными видѣніями..." (стр. 376—77).

Однихъ такое полное одиночество доводитъ до ненависти къ окружающимъ, какъ того товарища Достоевскаго, который на всѣ примиряющія разъясненія послѣдняго отвѣчалъ неизмѣнно одной фразой: „je hais ces brigands" (я ненавижу этихъ разбойниковъ). Натуры болѣе великодушныя ищутъ утѣшенія въ мысли такъ или иначе служить этому мрачному міру, хотя бы и безъ надежды на его подъемъ и улучшеніе. Одну изъ лучшихъ страницъ въ очеркахъ г. Мельшина составляетъ описаніе его каторжной школы, на почвѣ которой онъ все же хотя нѣсколько сближался съ своими отпѣтыми товарищами. Мракъ, изъ котораго они вышли и въ который были погружены на каторгѣ, словно лучемъ свѣта прорѣзывается когда, мы присутствуемъ при трагикомическихъ сценахъ ученія. Начинаешь примиряться съ самыми, повидимому, закоренѣлыми злодѣями, когда видишь, что „душа ихъ, въ сущности, то же, что трава, растущая въ полѣ, облако, плывущее въ небѣ и повинующееся дуновенію перваго вѣтра".

Каторга оказалась поголовно безграмотной и, что замѣчательнѣе всего, лишенной какого бы то ни было знакомства съ евангельскимъ ученіемъ. „Богородицу смѣшивали съ Пресвятой Троицей, Христа съ Николаемъ угодникомъ".

Самое евангеліе не было одобрено каторгой, нашедшей, „что не для нонѣшняго народа это писано". „Прямо въ ужасъ приводила меня эта непроглядная темнота, царившая въ большинствѣ этихъ первобытныхъ умовъ, и я часто спрашивалъ себя: неужели тамъ, „въ глубинѣ Россіи", еще больше темноты и всякой умственной дичи? Неужели эти люди тѣ же русскіе люди, только уже затронутые лоскомъ городской культуры, просвѣщенные и развращенные ею?" Послѣдняя оговорка звучитъ нѣсколько странно, такъ какъ самые видные герои изъ товарищей г. Мельшина вышли прямо изъ деревни, гдѣ, какъ оно и понятно, складываются условія для самыхъ ужасающихъ преступленій. Рядъ выводимыхъ авторомъ типовъ тѣмъ и интересенъ, что, разрушая легенду, созданную болѣзненнымъ воображеніемъ Достоевскаго о преступникѣ — лучшемъ представителѣ народной души, указываетъ на несомнѣнную, реальную причину огромнаго большинства преступленій—глубокое, трудно понимаемое интеллигентнымъ человѣкомъ невѣжество на почвѣ грубѣйшихъ матеріальныхъ лишеній.

Типы преступниковъ у г. Мельшина крайне разнообразны, но одна черта, общая почти всѣмъ, особенно поражаетъ его. Это ихъ нечувствительность, почти равнодушіе къ тому, что было ими сдѣлано. Его пугаетъ мысль, что чувство раскаянія въ томъ высшемъ смыслѣ, въ какомъ мы его понимаемъ, чуждо этимъ примитивнымъ душамъ. Каждый, даже наименѣе испорченный изъ нихъ, оправдывалъ себя, считая виновной свою жертву, а себя безвинно пострадавшимъ. Обсуждая свои преступленія, большинство рѣшало, что будь они на мѣстѣ правительства, они немедленно бы всѣхъ выпустили на волю. И только одинъ изъ самыхъ сильныхъ и опасныхъ преступниковъ рѣшилъ вопросъ иначе. „А я,— вскочилъ и закричалъ Семеновъ, прослушавъ всѣ мнѣнія,— я собралъ бы всѣхъ васъ въ одну тюрьму, со всего свѣта собралъ бы и запалилъ бы со всѣхъ концовъ! Изъ порченнаго человѣка не выйдетъ честнаго, а волкамъ съ овцами не жить, какъ братьямъ"! Но и этотъ Семеновъ считалъ себя правымъ передъ своими односельцами и во что бы то ни стало жаждалъ выбраться на волю, чтобы отомстить имъ.

Отсутствіе нравственнаго чувства было полное и безнадежное. Никогда автору не приходилось наблюдать того, о чемъ часто упоминаетъ Достоевскій,—нежеланія вспоминать, говорить о своихъ преступленіяхъ, потому что это „не принято" въ ихъ своеобразномъ міркѣ. Напротивъ, разсказы о прошломъ, часто всячески пріукрашенные, до чудовищности циничные, составляли любимѣйшія темы вечернихъ собесѣдованій. Были ли эти люди тѣмъ, что при-

нято называть преступнымъ типомъ? Авторъ не рѣшается дать такое опредѣленіе и совершенно правильно ищетъ отвѣта въ общихъ условіяхъ.

„Не подлежитъ никакому сомнѣнію,—говоритъ онъ,—что сорокъ лѣтъ назадъ, во времена Достоевскаго, когда Россія была „глубоко-несчастной страной, подавленной, рабски-безсудной"; когда, кромѣ крѣпостного права, существовала еще 25-лѣтняя солдатчина, и, по выраженію поэта, „ужасъ народа при словѣ наборъ подобенъ былъ ужасу казни",—несомнѣнно, что въ тѣ времена въ каторгу долженъ былъ попадать огромный процентъ совершенно невинныхъ людей и еще больше осужденныхъ не въ мѣру строго. Самыя ужасныя преступленія могли совершаться въ то время людьми, вполнѣ нормальными и нравственно неиспорченными, выведенными лишь изъ границъ терпѣнія несправедливымъ и анормальнымъ строемъ самой жизни... За сорокалѣтній періодъ русское законодательство и русскій судъ, такъ же какъ и самая жизнь и нравы, сдѣлали огромные шаги впередъ по пути гуманизма и справедливости. A priori можно думать, что въ современную каторгу попадаютъ гораздо болѣе по заслугамъ, чѣмъ въ былыя времена; и что населеніе нынѣшней каторги, въ главнѣйшихъ частяхъ, представляетъ подонки народнаго моря, а отнюдь не самый русскій народъ. И дѣйствительно, не смотря на то, что добрая половина видѣнныхъ мною арестантовъ утверждала, что пришла въ каторгу за чужой грѣхъ, и почти всѣ безъ исключенія жаловались на суровость осудившаго ихъ шемякинскаго суда",—при ближайшемъ ознакомленіи съ ихъ характеромъ, съ ихъ прошлымъ и тяготѣвшими надъ ними обвиненіями, мнѣ рѣдко приходилось отыскивать совершенно безъ вины осужденнаго человѣка" (стр. 261).

Такое суровое заключеніе не кажется несправедливымъ послѣ знакомства съ разными героями, выводимыми авторомъ. Было бы, однако, невѣрно думать, что разъ они подонки, то ничего лучшаго и не заслуживаютъ, какъ-то, что имѣютъ. „Развѣ на днѣ моря нѣтъ перловъ? — замѣчаетъ авторъ.—Развѣ, говоря, что сверху сосуда вода отличается лучшими качествами, утверждаютъ тѣмъ самымъ, что на днѣ она совершенно негодна для питья? И развѣ главная задача моихъ очерковъ не заключается именно въ томъ, чтобы показать, какъ обитататели и этого ужаснаго міра, эти искалѣченные, темные и порой безумные люди, подобно всѣмъ намъ, способны любить и ненавидѣть, падать и подниматься, жаждать свѣта, правды, свободы и жизни и не меньше насъ страдать отъ всего, что стоитъ преградой на пути къ человѣческому счастью?"

Вся книга автора является полнымъ осужденіемъ современной системы каторги. Безпристрастный и художественный очеркъ этой системы у г. Мельшина, представленной въ лицѣ начальника Лучезарова, тѣмъ и поучителенъ, что авторъ изображаетъ этого администратора не въ видѣ нравственнаго урода, какимъ былъ знаменитый майоръ Достоевскаго. Предъ нами не „фатальное существо", доводившее арестантовъ до трепета, озлоблявшее „людей уже озлоблен-

ныхъ своими бѣшенными, злыми поступками". Лучезаровъ г. Мельшина тоже не представляетъ ничего симпатичнаго, но совсѣмъ въ иномъ родѣ. Это фанатикъ формализма, буквы, показного порядка, при которомъ мыслимъ самый неприглядный безпорядокъ. Страхъ и дисциплина—таковы его орудія исправленія, примѣняемыя имъ безъ разбора. Самъ по себѣ, пожалуй, человѣкъ недурной, во всякомъ случаѣ не злой, онъ доходитъ въ концѣ концовъ до величайшаго безобразія, когда плоды системы оказываются совсѣмъ не таковы, какъ онъ надѣялся. „Конечно,—разсуждаетъ онъ,—исправить арестантовъ вещь хорошая. Я и самъ задаюсь этой цѣлью, но въ первый разъ слышу, чтобы на этотъ народъ могло что-нибудь другое дѣйствовать, кромѣ страха и наказаній всякаго рода... Повторяю, я по натурѣ вовсе не жестокій человѣкъ. Я держусь только во всемъ строгой законности, закона. И потому не вижу иныхъ средствъ исправленія, кромѣ тѣхъ, какія указаны въ инструкціи. Современные тюремные дѣятели признаютъ одно только средство—страхъ, и я вполнѣ съ ними согласенъ". Потерпѣвъ крушеніе, бравый капитанъ теряетъ всякую мѣру и начинаетъ „бросаться на людей", по выраженію арестантовъ, и затѣмъ въ разговорѣ съ авторомъ откровенно сознается въ пораженіи: „Я дѣйствовалъ въ порывѣ отчаянія. Всѣ мои добрыя намѣренія терпѣли одно за другимъ крушенія, я видѣлъ кругомъ одну черную неблагодарность и низость. Самъ Богъ вышелъ бы на моемъ мѣстѣ изъ терпѣнія!" Бѣдный капитанъ и не понимаетъ, что этимъ признаніемъ онъ уничтожаетъ всю силу системы устрашенія, а кромѣ страха, у него нѣтъ ничего въ рукахъ, и самъ онъ ничего больше не понимаетъ.

И такимъ-то людямъ, можетъ быть и добросовѣстнымъ, но болѣе чѣмъ ограниченнымъ, ввѣряется почти безконтрольное право жизни и смерти надъ тысячами уже надломленныхъ, искалѣченныхъ судьбою людей, болѣе чѣмъ кто-либо нуждающихся въ человѣчномъ и внимательномъ отношеніи. Сколько погибло ихъ, погибло зря, напрасно, среди этой ужасающей обстановки лучезаровскихъ „добрыхъ намѣреній". А между тѣмъ, у каждаго изъ нихъ „тоже вѣдь мать была!"—какъ выражается одинъ арестантъ у Достоевскаго, указывая на закованный трупъ своего товарища.

Правда, какъ ни тяжела картина каторги, рисуемая г. Мельшинымъ, она все же неизмѣримо свѣтлѣе того, что сорокъ лѣтъ назадъ видѣлъ Достоевскій. „Теперь остается уже блѣдная тѣнь того, что было,—говоритъ г. Мельшинъ,—

и можно надѣяться, что и эта послѣдняя тѣнь исчезнетъ съ первыми лучами солнца"...

Вмѣстѣ съ г. Мельшинымъ, мы охотно раздѣляемъ эту надежду. Во всякомъ случаѣ несомнѣнно, что въ исторіи русской каторги не пройдетъ безслѣдно книга г. Мельшина.

Историческія драмы Ибсена [1]).

Вышедшій недавно третій томъ произведеній Ибсена заключаетъ его историческія драмы, въ которыхъ Ибсенъ выступаетъ преимущественно какъ національный поэтъ. Древній духъ нормановъ проникаетъ эти драмы, оживаетъ въ нихъ и увлекаетъ читателя, изумленнаго красотою и возвышенностью народнаго духа, способнаго создать такіе образы. Ихъ могъ создать только сильный и гордый народъ, съ богатымъ прошлымъ и много обѣщающимъ будущимъ. Тѣсно такому народу въ маленькой Норвегіи, какъ было тѣсно духу Эллады въ еще меньшей Греціи. Теперь прошли давно времена дикихъ викинговъ, завоевывавшихъ мечомъ невѣдомые края, и не мечъ рѣшаетъ теперь дѣла, нанося пораженія и одерживая побѣды. Норманская сила духа, выражавшаяся прежде въ стремительности нападенія, котораго не могли выдерживать ни саксы, ни франки, теперь увлекаетъ за собой человѣчество отъ житейской пошлости, дрязгъ, мелочной борьбы личныхъ интересовъ на вершины идеала, гдѣ холодъ сковываетъ души, но дѣлаетъ ихъ неуязвимыми тлѣнью.

Есть два міровоззрѣнія. Одно изъ нихъ завѣщано Элладой, полное радости, свѣта, тепла и любви. У Достоевскаго, въ „Подросткѣ", есть чудное мѣсто, картина этого міровоззрѣнія. „Мнѣ снилось—уголокъ Архипелага, причемъ и время какъ бы перешло за три тысячи лѣтъ назадъ; голубыя, ласковыя волны, острова и скалы, цвѣтущее прибрежье, волшебная панорама вдали, заходящее зовущее солнце—словами не передашь. Тутъ запомнило свою колыбель европейское человѣчество... здѣсь былъ земной рай человѣчества: боги сходили съ небесъ и роднились съ людьми... О, тутъ жили прекрасные люди! Они вставали и засыпали счастливые и невинные, луга и рощи наполнялись ихъ пѣснями и веселыми криками; великій избытокъ непочатыхъ

---

[1]) Декабрь 1896 г.

силъ уходилъ въ любовь и въ простодушную радость. Солнце обливало ихъ тепломъ и свѣтомъ, радуясь на своихъ дѣтей... Чудный сонъ, высокое заблужденіе человѣчества! Золотой вѣкъ—мечта самая невѣроятная изъ всѣхъ, какія были, но за которую люди отдавали всю жизнь и всѣ свои силы, для которой умирали и убивались пророки, безъ которой народы не хотятъ жить и не могутъ даже умереть!"

Это былъ сонъ, хотя и чудный, но все же сонъ, и кто разъ проснулся, уже не могъ бы вернуться, не захотѣлъ бы вернуться къ нему. Есть нѣчто высшее, болѣе обаятельное, чѣмъ самые чудные сны,—это борьба. Упоенье борьбы—таково второе міровоззрѣніе, возникшее на сѣверѣ, гдѣ „каждая зима подобна длинной, темной ночи", какъ говоритъ Іордисъ, героиня лучшей исторической драмы Ибсена „Сѣверные богатыри". Въ ея уста Ибсенъ вкладываетъ опредѣленіе этого упоенья борьбой, борьбой не во имя той или иной цѣли, а ради именно одного упоенія. Іордисъ сильная, гордая женщина, жена слабаго, добродушнаго Гуннара, типичнаго представителя золотой середины, одного изъ тѣхъ вѣковѣчныхъ типовъ, которые и добры въ мѣру, и злы въ мѣру. Онъ получилъ ее обманомъ. Его другъ герой Сигурдъ, храбрѣйшій изъ храбрыхъ, великодушный, какъ истинно сильный человѣкъ, отдаетъ ее другу, зная его любовь къ ней и самъ любя ее, и дѣлаетъ грубую, но неизбѣжную фатальную ошибку. Его любовь къ ней велика и безгранична, какъ и его сердце, а любовь Гуннара онъ измѣряетъ своею любовью. Такъ всегда поступаютъ великодушные люди, слишкомъ простые, чтобы употреблять иную мѣрку, кромѣ своего сердца. Подъ видомъ Гуннара пробирается онъ къ Іордисъ и убиваетъ сторожившаго ея медвѣдя. Іордисъ думаетъ, что Гуннаръ совершилъ этотъ подвигъ, передъ которымъ отступали самые сильные и смѣлые, и въ восторгѣ выходитъ за него замужъ, думая, что Гуннаръ и есть самый гордый и смѣлый викингъ, съ которымъ ей предстоитъ жизнь морской царицы, жизнь полная борьбы, неудержимаго стремленія впередъ. А вмѣсто того, ей выпадаетъ на долю жизнь скромная и тихая, „быть женой и только женой, сидѣть дома, прясть и ткать для мужа, и рожать дѣтей... Какой позоръ!"—восклицаетъ Іордисъ. И это ей? „Скажи мнѣ,—спрашиваетъ она жену Сигурда, кроткую и тихую Дагни,—когда ты странствовала съ Сигурдомъ и слышала звонъ мечей во время боя и когда кровь лилась потоками,—не чувствовала ты неодолимаго желанья броситься въ бой? Не надѣвала броню, не брала оружія въ руки?"—Она томится и мучится. „Мнѣ должна была выпасть на долю веселая жизнь викинга; было бы лучше для меня и, быть можетъ,

для насъ всѣхъ. То жизнь, полная, счастливая!.. Не странно ли тебѣ видѣть меня живущею здѣсь? Не страшно ли тебѣ одной со мною здѣсь, въ этомъ мракѣ? Не кажется ли тебѣ, что я умерла и что мой призракъ стоитъ предъ тобою?" Безконечная скорбь слышится въ этихъ словахъ, скорбь глубоко оскорбленной души, рожденной для подвиговъ и осужденной на жалкое прозябаніе. „Какое счастье быть волшебницей, нестись по бурному морю, нестись быстрѣе корабля, и вызывать бурю, и пѣснями заманивать людей въ волшебную пучину! О, Дагни, подумай, какъ хорошо сидѣть здѣсь у окна, когда смеркается, и слушать, какъ мертвецы несутся въ Валгаллу, ихъ путь лежитъ мимо насъ на сѣверъ. Это храбрые воины, павшіе въ битвѣ, и смѣлыя женщины; онѣ не влачили безцвѣтно свою жизнь, какъ ты да я. Онѣ несутся въ бурную ночь на черныхъ коняхъ, со звономъ и свистомъ... Совершить свой послѣдній путь на такомъ конѣ, подумай, какое счастье!.."

Драмы Ибсена вообще отличаются простотой, но въ „Сѣверныхъ богатыряхъ" она доведена до классическаго совершенства. Въ этомъ отношеніи ее можно сравнить только съ произведеніями Эврипида, героини котораго имѣютъ много общаго съ таинственными образами сѣвера. Съ перваго момента появленія на сценѣ Сигурда и Дагни, Гуннара и Іордисъ, драма выясняется вся, и развязка ея фатально неизбѣжна. Сильные Сигурдъ и Іордисъ должны погибнуть, для счастья слабыхъ Гуннара и Дагни. Они слишкомъ великодушны, чтобы пользоваться преимуществомъ силы, и слишкомъ горды, чтобы входить въ сдѣлку съ жизнью, вымаливать жалкія подачки, которыя жизнь даетъ слабымъ, нѣжнымъ душамъ, въ основѣ всегда трусливымъ и подлымъ, неспособнымъ ни на подвигъ, ни на самопожертвованіе. Одну минуту только Іордисъ мечтаетъ, ей представляется возможность иного исхода борьбы. „Сигурдъ! одинъ лишь смѣлый шагъ, и мы свободны, побѣда за нами. Что Дагни для тебя? чѣмъ она можетъ быть тебѣ? Не болѣе, чѣмъ мнѣ Гуннаръ. И много ли значитъ, если погибнутъ двѣ ничтожныя жизни?" Но тутъ же она разрушаетъ свою мечту, когда на вопросъ колеблющагося Сигурда, что сдѣлаетъ она, если онъ убьетъ Гуннара?—она отвѣчаетъ: „Тогда я хранила бы молчаніе и не нашла бы покоя, пока не увидѣла бы тебя сраженнымъ". Ея сердце слишкомъ гордо, чтобы унизиться до преступленія, а любовь такъ велика, что этотъ міръ ея не выноситъ. „Въ тотъ день, когда ты избралъ другую, я лишилась родины. Напрасно ты сдѣлалъ это. Все воленъ человѣкъ отдать другу, все, кромѣ любимой женщины. Тогда онъ разрываетъ скрытую нить судьбы и сокрушаетъ

двѣ жизни. Да, вѣрный голосъ говорилъ мнѣ: я создана была, чтобы въ дни невзгоды сильнымъ духомъ ободрять и укрѣплять тебя, а ты былъ рожденъ для того, чтобы я все великое и славное нашла въ одномъ мужѣ. О, Сигурдъ, знай, когда бы насъ соединила судьба, ты сталъ бы славнѣе, я счастливѣе всѣхъ людей на свѣтѣ!" Въ порывѣ священнаго безумія, охватившаго ея изстрадавшуюся душу, Іордисъ убиваетъ Сигурда и сама бросается въ море.

Мрачный колоритъ сѣверной природы усиливаетъ суровость драмы. Холодомъ вѣетъ отъ этихъ характеровъ, сильныхъ, не знающихъ смиренія, уступчивости, еще не тронутыхъ духомъ „Свѣтлаго Бога", какъ называетъ Сигурдъ христіанство. Въ минуту смерти онъ признается, что сталъ христіаниномъ, но въ развитіи дѣйствія его христіанство не играетъ никакой роли. Только въ послѣдній моментъ выступаетъ оно на сцену, чтобы раздѣлить и по смерти, по мнѣнію Сигурда, его душу отъ души язычницы Іордисъ. Ибсенъ, до страсти любящій символы, какъ бы желаетъ отмѣтить, что съ принятіемъ христіанства норманны утратили исконную доблесть, свой неудержимый порывъ въ невѣдомую даль. Іордисъ—олицетвореніе этого духа, и когда между нею и Сигурдомъ становится „Свѣтлый Богъ", она оставляетъ своего возлюбленнаго теперь уже навсегда и уносится съ своей обидой въ бездонный мракъ, увлекаемая валькиріями.

Въ своихъ драмахъ онъ отводитъ оффиціальнымъ представителямъ „Свѣтлаго Бога" довольно странную, двусмысленную роль, какъ, напр., въ „Привидѣніяхъ" добродушному пастору, постоянно мятущемуся между велѣніями религіи и требованіями жизни. Въ драмѣ „Претенденты на корону" епископъ является представителемъ скептицизма, раздувающимъ раздоры. Онъ постоянно возбуждаетъ сомнѣнія въ душѣ мятежнаго Ярла Скуле въ правильности избранія короля Гакона. Какъ въ большей части произведеній Ибсена, этотъ епископъ только символъ врожденной человѣку двойственности, но для Ибсена характерно, что онъ олицетворилъ ее въ представителѣ религіи, которая, напротивъ, умиротворяетъ вѣчную борьбу духа.

Послѣ „Сѣверныхъ богатырей", въ циклѣ историческихъ драмъ „Претенденты на корону" самая значительная по содержанію, хотя въ художественномъ отношеніи она далеко уступаетъ первой. Прежде всего она страшно растянута, съ массою вводныхъ лицъ, имѣющихъ лишь побочное значеніе, что усложняетъ дѣйствіе и запутываетъ читателя. Разница между обѣими драмами до того велика, что ихъ было бы трудно приписать одному автору, если бы не отдѣльныя

сцены и характеры, которые сдѣлали бы честь Шекспиру. Въ общемъ, однако, это по художественности слабая вещь, какъ, впрочемъ, и всѣ тѣ произведенія Ибсена, въ которыхъ тенденція заслоняетъ все, сковывая автора и лишая его необходимой для художника свободы. По слабости съ „Претендентами“ можетъ сравняться только „Брандъ“, мистическая драма, странная и двусмысленная, въ которой художникъ цѣликомъ отсутствуетъ, вытѣсненный проповѣдникомъ. Для поклонниковъ теоріи чистаго искусства эти слабыя вещи Ибсена могутъ служить превосходнымъ аргументомъ въ доказательство того, что даже такой сильный художественный талантъ, какъ Ибсена, измѣняетъ, когда его сковываютъ тенденціей.

Тѣмъ не менѣе, по содержанію „Претенденты“ глубоко задуманная вещь. Если въ ней нѣтъ такого проникновенія въ сокровенныя глубины человѣческаго духа, какъ въ „Сѣверныхъ богатыряхъ“,—въ ней есть обычная для Ибсена простота мысли и яркій, блестящій умъ. Мысль драмы проста—необходимо вѣрить въ правду, проникнуться этой вѣрой, безъ чего никакая сила, какъ бы велика она ни была, не дастъ плода. Король Гаконъ, въ сущности, заурядный человѣкъ, но онъ побѣждаетъ сильнаго характеромъ, блестящаго Ярла Скуле потому, что вѣритъ непоколебимо въ свое право быть королемъ и въ свое призваніе—объединить враждующія племена Норвегіи въ одинъ народъ. Во всѣхъ несчастіяхъ жизни, въ удачѣ и неудачѣ онъ вѣритъ въ себя, вѣритъ, что ему суждено осуществить эту великую мысль, ему, законному королю. Этою вѣрою онъ воодушевляетъ всѣхъ и въ концѣ концовъ достигаетъ цѣли. Совершенную противоположность ему представляетъ Ярло Скуле, его соперникъ. Въ числѣ различныхъ характеровъ, созданныхъ Ибсеномъ, Скуле занимаетъ одно изъ видныхъ мѣстъ, по типичности и вѣрности изображенія. Огромное самолюбіе, которое можетъ удовлетворить только корона, великія силы, данныя ему отъ природы, и въ то же время слабость воли, не опирающейся на непоколебимую вѣру въ правду своей цѣли. Онъ великъ въ своихъ замыслахъ и слабъ въ дѣйствіи. Обдумавъ рѣшеніе, со всѣхъ сторонъ обсудивъ планъ дѣйствія, взвѣсивъ всѣ за и противъ, онъ теряется въ моментъ выполненія. Онъ, какъ лисица въ баснѣ, думающая тысячу думушекъ и все-таки пропадающая, потому что ни на одной не остановилась и не выполнила. Ярлу доступны великія мысли и благородные порывы, но нѣтъ въ немъ творческой силы, проистекающей изъ вѣры въ правду своего дѣла. Онъ постоянно колеблется въ выборѣ средствъ, отмѣняетъ сегодня то, что рѣшилъ вчера и опять

возвращается къ старому рѣшенію, когда уже поздно, и то, что могло его спасти вчера, губитъ сегодня. Онъ сомнѣвается въ себѣ и потому никому не вѣритъ. Онъ—„пасынокъ Божій“, какъ его называетъ Гаконъ. Не таковъ послѣдній. Разъ увѣровавъ въ законность своего права на королевскій престолъ, онъ идетъ къ нему твердо, непоколебимо, жертвуя всѣмъ, какъ бы дорого оно ни было ему, и этимъ увлекаетъ всѣхъ. „Я чувствую глубоко и горячо въ своемъ сердцѣ и—я не боюсь высказать это громко—я одинъ въ настоящее время могу повести страну къ лучшей будущности“, говоритъ онъ при выборахъ, и эта вѣра въ свое призваніе руководитъ всѣми его поступками. Избранный королемъ, онъ удаляетъ мать, „потому что она мнѣ слишкомъ дорога, а возлѣ короля не должно быть никого, кто ему слишкомъ дорогъ; у короля руки должны быть свободны, онъ долженъ стоять одинъ, чуждый стѣсненій и соблазновъ“. Такъ же онъ поступаетъ съ женщиной, „которая дороже ему всего на свѣтѣ“. Его мысли и намѣренія просты и благородны, истинно королевскія, потому что онъ знаетъ одну цѣль — благо страны. Въ разговорѣ съ нимъ Скуле заявляетъ, что управлять Норвегіей можно, только пользуясь раздорами ея племенъ. „Дружина должна стоять противъ дружины, одно притязаніе встрѣчать другое, провинція враждовать съ провинціей, иначе король не будетъ могучъ. Каждый долженъ нуждаться въ немъ или бояться его. Уничтожьте вражду — и вы вмѣстѣ съ тѣмъ уничтожите собственную силу“. Такія мысли вполнѣ въ духѣ такого сорта людей, какъ Скуле, у которыхъ всѣ разсчеты строются на низменныхъ интересахъ и страстяхъ другихъ. Лишенные сами величія идеи, проникающей и объединяющей всѣ помыслы, они и въ другихъ не допускаютъ ничего, кромѣ себялюбивыхъ разсчетовъ. Великолѣпный отвѣтъ даетъ ему Гаконъ: „И вы хотите быть королемъ— при такихъ мысляхъ? Вы могли бы быть доблестнымъ полководцемъ, но время опередило васъ, и вы его не понимаете. Развѣ вы не видите, что Норвегію можно сравнить съ церковью, до сихъ поръ не освященной. Крѣпкія стѣны высоко поднимаются вверхъ, своды широки, колокольня стройно возвышается надо всѣмъ, — но нѣтъ тутъ еще жизни, бьющагося сердца, свѣжей струи крови; Господь не вдохнулъ еще своего духа жива; освященіе еще не было совершено. Я хочу совершить его! Норвегія должна быть однимъ королевствомъ, она должна стать единымъ народомъ... впредь всѣ должны чувствовать и сознавать себя единымъ народомъ! Вотъ подвигъ, который возложилъ на меня Господь, вотъ теперь задача короля Норвегіи!“ Скуле

уходитъ, смущенный и растерянный, его волнуетъ не величіе замысловъ Гакона, а зависть, что другой, а не онъ могъ додуматься до такой глубокой и вѣрной мысли. Онъ подымаетъ возстаніе и, только объявивъ себя королемъ, догадывается, что у него нѣтъ руководящей мысли, вокругъ которой онъ могъ бы группировать союзниковъ. Въ отчаяніи онъ самъ хватается за идею Гакона, но для него она лишь орудіе, а не цѣль, и сила ея обращается на него же. Въ моментъ полнаго торжества его мучатъ сомнѣнія, лишающія его силы дѣйствія.

И онъ погибаетъ, бѣдный „пасынокъ божій", одаренный богатыми силами, но лишенный „духа жива", вѣры въ правду своего призванія.

Третья драма въ томъ же циклѣ „Ингэръ изъ Эстрота" слабѣе прочихъ по сценичности и художественности, но тема ея развивается, какъ всегда у Ибсена, ярко и сильно. Это все та же излюбленная авторомъ тема о раздвоенности воли, ведущей къ гибели. Ингэръ сильная, могущественная вліяніемъ женщина, къ которой съ довѣріемъ относится народъ, ожидающій лишь знака ея, чтобы возстать противъ датчанъ. Еще въ молодости Ингэръ дала обѣтъ сдѣлать все для свободы Норвегіи, но у нея отняли сына, который остается заложникомъ въ рукахъ враговъ. И въ сердцѣ Ингэръ все время идетъ борьба между долгомъ гражданина и любовью матери. Отсюда постоянныя колебанья, сдѣлки съ врагами, робкое ухаживаніе то за ними, то за народомъ, и вѣчный страхъ за сына. Въ концѣ концовъ ея двойная игра приводитъ къ гибели сына, и Ингэръ видитъ, какъ все, что было ей дорого въ жизни, падаетъ жертвой разлада ея воли. При всѣхъ недостаткахъ, въ драмѣ проявляются всѣ достоинства Ибсена, какъ психолога. Характеръ Ингэръ очерченъ мастерски, и она занимаетъ видное мѣсто въ ряду женскихъ типовъ Ибсена, какъ мать, готовая всѣмъ пожертвовать счастью сына.

Самая слабая и незначительная изъ историческихъ драмъ—это „Праздникъ въ Сольгаутѣ", пожалуй, самое незначительное изъ всѣхъ произведеній Ибсена, безъ обычной философской или общественной складки. Художественная сторона также слабо разработана, и вся драма производитъ впечатлѣніе „пробы пера". Правда, есть нѣсколько сильныхъ, красивыхъ сценъ, въ которыхъ видна рука мастера, но общій замыселъ и выполненіе лишь въ отдаленной степени напоминаютъ Ибсена, творца „Сѣверныхъ богатырей", этого величественнаго произведенія, словно изваяннаго изъ мрамора.

Всѣ историческія драмы представляютъ своего рода

дань, которую Ибсенъ принесъ національнымъ преданіямъ. Въ нихъ онъ больше всего норманъ. Мрачный колоритъ дикой природы Сѣвера служитъ превосходнымъ фономъ на которомъ разыгрывается борьба неукротимыхъ характеровъ, служащихъ укоромъ современной робкой уступчивости, слабости воли, нравственной дряблости. Онѣ служатъ прекрасной иллюстраціей къ исторіи этого маленькаго народа, не знавшаго предѣла своей дерзости. Не менѣе важны онѣ для пониманія характера самого Ибсена, его чисто норманской безудержности, съ которой онъ опрокидываетъ, вполнѣ, казалось, установившіяся понятія о долгѣ, любви, счастіи, красотѣ, общественномъ благѣ и обязанностяхъ. Подобно своимъ предкамъ-норманамъ, онъ достигаетъ предѣловъ доступнаго для современнаго человѣка въ области духа и увлекаетъ туда за собой читателя, на котораго вѣетъ оттуда свѣжестью. Предъ нами словно раскрывается необозримый горизонтъ, окаймленный вдали горами, достигающими неба. Солнце подымается за ними и уже позолотило ихъ вершины, но у подножья еще тьма...

Лѣсковъ—писатель-анекдотистъ [1]).

Два года тому назадъ умеръ Лѣсковъ, и смерть его прошла почти незамѣченной. Нѣсколько обычныхъ некрологовъ, двѣ-три широковѣщательныхъ статьи, написанныхъ друзьями покойника, — вотъ и все, въ чемъ выразилось вниманіе общества къ писателю, въ свое время дѣлавшему большой шумъ. И въ этой холодности общественнаго мнѣнія сказался тотъ общественный судъ, приговоры котораго всегда справедливы, потому что ни подкупить его, ни запугать нельзя. Это былъ приговоръ надъ человѣкомъ, дарованія котораго были растрачены какъ-то зря, безъ пользы для кого бы то ни было. Еще при жизни Лѣсковъ былъ уже мертвымъ писателемъ, мало привлекавшимъ вниманіе своими послѣдними произведеніями, хотя они были ни хуже, ни лучше всего, что онъ писалъ раньше. Тотъ же анекдотическій характеръ содержанія, та же грубоватая манера въ отдѣлкѣ, та же вычурность, дѣланность языка, излюбленныя словечки, кривлянье и ломанье. Что-то мертвое было всегда въ Лѣсковѣ, но раньше около его имени виталъ нѣ-

---

[1]) Январь 1897 г.

кій специфическій запахъ, затхлый запахъ клеветническихъ извѣтовъ доносительнаго характера и лицемѣрнаго благочестія. Постепенно онъ выдыхался, и по мѣрѣ того, какъ жизнь шла впередъ, въ Лѣсковѣ сильнѣе сказывались его двѣ основныя черты, какъ писателя — анекдотъ и вычурность. Было любопытно читать его анекдоты, но они тутъ же и забывались. Теперь одолѣть двѣнадцать томовъ анекдотовъ, заключенныхъ въ тяжелую, неудоваримую форму, это трудъ тяжкій и неблагодарный.

Писатель-анекдотистъ, такимъ выступилъ Лѣсковъ въ литературѣ и такимъ же закончилъ свою писательскую дѣятельность. Все, что проходило передъ нимъ, интересовало его лишь съ точки зрѣнія курьезнаго сюжетца. Уловить болѣе глубокое содержаніе жизни, разобраться среди многочисленныхъ теченій ея, уяснить себѣ ихъ смыслъ — на это у Лѣскова никогда не хватало ни ума, ни таланта. Его захватывала только внѣшность явленія, суть же его ускользала всецѣло. Періодъ общественной жизни, наиболѣе богатой содержаніемъ, каковы были шестидесятые годы, отразился въ произведеніяхъ Лѣскова въ видѣ ряда курьезныхъ анекдотовъ, тщательно нанизанныхъ имъ и подобранныхъ такъ, чтобы все грязное, весь хвостъ, существующій въ каждомъ движеніи, получилъ въ глазахъ читателя значеніе главнаго содержанія. Если бы представить себѣ такой невозможный случай, что вся богатѣйшая литература того времени исчезла, и сохранился бы одинъ Лѣсковъ съ его „Соборянами“, „Некуда“, „На ножахъ“, „Загадочною личностью“ и прочимъ,—получилась бы прекурьезная для читателя, незнакомаго съ тѣмъ временемъ, картина: собраніе невозможныхъ уродцевъ, не только духовныхъ, но физическихъ уродцевъ, какими нехитрая публика заманивается въ разные музеи рѣдкостей. Какъ образчикъ, приведемъ описаніе наглаго нигилиста Термосесова изъ „Соборянъ“: „Термосесовъ былъ нѣчто, напоминающее кентавра. При огромномъ мужскомъ ростѣ у него было сложеніе здоровое, но чисто женское: въ плечахъ онъ узокъ, въ тазу непомѣрно широкъ; ляшки какъ лошадиные окорока, колѣни мясистыя и круглыя; руки сухія и жилистыя; шея длинная, но не съ кадыкомъ, какъ у большинства рослыхъ людей, а лошадиная—съ зарѣзомъ; голова съ гривой вразметъ на всѣ стороны; лицомъ смуглъ, съ длиннымъ, будто армянскимъ носомъ, и съ непомѣрною верхнею губой, которая тяжело садилась на нижнюю; глаза у Термосесова коричневаго цвѣта; съ рѣзкими черными пятнами въ зрачкѣ; взглядъ его присталенъ и смышленъ“. Соотвѣтственно этому изображаются и духовныя качества. Персонажи Лѣскова всѣ уголов-

ные преступники, которые воруютъ, насильничаютъ, жгутъ, убиваютъ, лгутъ, поддѣлываютъ подписи и пишутъ фальшивые векселя.

Читая теперь эти увѣсистыя произведенія, диву даешься, гдѣ авторъ бралъ для нихъ матеріалъ, и какъ-то стыдно дѣлается за литературу, въ которой подобная нелѣпица выдавалась за настоящую жизнь. Но, познакомившись со всѣми произведеніями Лѣскова, видишь, что Лѣсковъ, собственно говоря, ничего не сочиняетъ. Онъ всегда вѣренъ себѣ и описываетъ то, что видитъ, но видитъ онъ по своему. У него особый недостатокъ зрѣнія, благодаря которому ему все представляется шиворотъ на выворотъ. Такъ, въ послѣдній періодъ своей писательской дѣятельности, Лѣсковъ увлекся толстовскимъ ученіемъ и началъ подражать Л. Н. Толстому, сочиняя разныя сказанія на моральныя темы. Содержаніе своихъ сказаній онъ заимствовалъ изъ „Прологовъ", но что онъ сдѣлалъ съ героями „Прологовъ", — это уму непостижимо! Наивную простоту, съ которой старинный бытописатель описываетъ житейскія явленія, Лѣсковъ превратилъ въ такую ничѣмъ не прикрытую наготу, такъ расписалъ, исказилъ, извратилъ и загрязнилъ, что моральный смыслъ преданій и высокое значеніе ихъ потонули въ морѣ разведенной Лѣсковымъ грязи. Читая его сказанія, вы чувствуете, что авторъ наслаждается нескромностью разсказа, не можетъ оторваться отъ нѣкоторыхъ сценъ, любуется ими, всецѣло забывая моральную цѣль, имѣвшуюся въ виду, когда онъ задумалъ сказаніе.

Эта извращенность, присущая Лѣскову, сказывается во всемъ, чего бы онъ ни коснулся. Есть у него рядъ разсказовъ изъ крѣпостной старины, въ которыхъ онъ выступаетъ, конечно, заклятымъ врагомъ крѣпостничества, но и въ нихъ онъ ухитрился выдвинуть на первый планъ особую сторону крѣпостничества. Очень характеренъ въ этомъ отношеніи небольшой очеркъ „Тупейный художникъ", въ которомъ разсказанъ, ужасный случай, но такъ разсказанъ, что эта особая сторона заслоняетъ въ глазахъ автора весь ужасъ содержанія. Въ концѣ-концовъ читателемъ начинаетъ овладѣвать подозрѣніе, въ самомъ-ли дѣлѣ авторъ такъ ужъ ненавидитъ крѣпостничество? И какъ сказанія Лѣскова подрываютъ вѣру въ искренность его благочестія, такъ его очерки изъ крѣпостного быта заставляютъ заподозрить его взгляды на крѣпостную зависимость. „Памва-лицемѣръ", плотоядно скалящій зубъ въ сказаніяхъ, такъ и чудится изъ-за негодующаго автора, сурово осуждающаго старину, отъ нѣкоторыхъ сторонъ которой онъ не можетъ оторваться.

Это двоедушіе Лѣскова лишаетъ художественной цѣль-

ности всѣ его большія вещи и маленькіе разсказы. Онъ постоянно колеблется и жмется, наконецъ, размахнувшись, дѣлаетъ скачетъ и всегда попадаетъ въ лужу грязи, брызги которой пятнаютъ его лучшія вещи, какъ, напр., очеркъ „Соборяне". Описаніе быта духовенства, фигуры дьякона Ахилла и отца Захаріи очерчены очень живо, но лукавый бѣсъ, копошащійся въ душѣ Лѣскова, и тутъ подтолкнулъ его руку, которая, вырисовывая идеальнаго священника Туберозова, сдѣлала нѣсколько скверныхъ кляксовъ, исказившихъ лицо этого главнаго представителя высокаго духовнаго сана, какъ онъ представляется Лѣскову. Фигура получается дѣйствительно внушительная и для автора очень характерная, тѣмъ болѣе, что устами Туберозова говоритъ постоянно самъ Лѣсковъ. Туберозовъ, по идеѣ, является представителемъ воинствующаго духовенства. Для этого у него всѣ данныя—умъ, энергія, стойкость духа и непреклонная вѣра. Чего бы, казалось, больше? Нѣтъ, Лѣсковъ не выдерживаетъ и прибавляетъ къ этимъ высокимъ качествамъ нѣчто, ужъ совсѣмъ гаденькое и низменное, заставляя Туберозова писать доносъ и еще превозноситься этимъ,—„ибо я русскій, и деликатность съ такими людьми долженъ считать за неумѣстное" (рѣчь идетъ о полякахъ). Такое непониманіе и неразборчивость въ самыхъ простыхъ вещахъ встрѣчаются у Лѣскова на каждомъ шагу. Лѣсковъ даже не догадывается, что человѣку, столь высокому по нравственному типу, какъ его Туберозовъ, никоимъ образомъ не придетъ въ голову доносъ. Но если сопоставить „Памву-лицемѣра", проявившагося въ сказаніяхъ Лѣскова, и скрытаго крѣпостника, притаившагося въ преданіяхъ о „Старыхъ годахъ села Плодомасова", съ этимъ доносомъ, то не получится никакого противорѣчія, не въ художественномъ образѣ Туберозова, а въ Лѣсковѣ, выглядывающемъ изъ-за Туберозова.

Нравственная нечистоплотность автора, разсѣянная въ этихъ двѣнадцати томахъ, на каждомъ шагу дающая себя чувствовать, дѣлаетъ чтеніе его произведеній очень тягостнымъ. Получается такое впечатлѣніе, какъ отъ затхлой, давно не провѣтриваемой комнаты, гдѣ накопилась масса грязи и сору, въ которомъ попадаются вещи интересныя и заслуживающія вниманія. Но докопаться до нихъ—нелегкій трудъ, и когда на нихъ натыкаешься, настроеніе оказывается уже до того испорченнымъ, что вмѣсто художественнаго впечатлѣнія испытываешь досаду, зачѣмъ эти хорошія вещи сюда попали? Таковы, напр., его произведенія „Овцебыкъ" и „Запечатлѣнный ангелъ". Первое принадлежитъ къ числу раннихъ произведеній Лѣскова. Оно предшество-

вало его „Некуда“, послѣ котораго Лѣсковъ словно съ горы покатился. Второе явилось какъ бы въ одинъ изъ свѣтлыхъ моментовъ, бывающихъ у каждаго человѣка. Какъ художественное произведеніе, „Запечатлѣнный ангелъ“ выше по формѣ, замѣчательно выдержанной, обнаруживающей талантъ, если не крупный по размѣрамъ, за то оригинальный. „Овцебыкъ“ глубже по содержанію. Его портитъ только обычная манера Лѣскова говоритъ кривляясь, съ ужимочкой, приглядкой, оглядкой и присядкой.

На этой манерѣ стоитъ остановиться. Г. Сементковскій, которому принадлежитъ критико-біографическая статья о Лѣсковѣ, приложенная къ изданію его полнаго собранія сочиненій, причисляетъ Лѣскова къ первоклассным нашимъ писателямъ. „Если мы назовемъ, — говоритъ г. Сементковскій, — Гончарова, Тургенева, Островскаго, Достоевскаго, Писемскаго, Салтыкова, Л. Н. Толстого, то Лѣсковъ присоединяется къ этой блестящей плеядѣ, какъ талантъ не во всемъ имъ равный, но въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ имъ не уступающій и превосходящій ихъ въ другихъ“. Чувствуя, должно быть, что хватилъ нѣсколько грѣха на душу, г. Сементковскій привлекаетъ къ отвѣту г. Венгерова, заимствуя у него опредѣленіе особыхъ достоинствъ Лѣскова: „Подходя нѣкоторыми сторонами таланта къ Островскому, Писемскому и Достоевскому, онъ ни одному изъ этихъ великихъ мастеровъ русскаго слова не уступаетъ по чисто-художественнымъ силамъ... Ни у одного русскаго писателя нѣтъ такого неисчерпаемаго богатства фабулы... Въ тѣсной связи съ богатствомъ фабулы находится сконцентрированность беллетристической манеры Лѣскова... Наконецъ, не много знаетъ Лѣсковъ соперниковъ въ русской литературѣ по колоритности и оригинальности своего языка“. Далѣе г. Сементковскій жалѣетъ, что Лѣскова до сихъ поръ не понимали. „Къ нему прикидывали лишь мѣрку собственныхъ воззрѣній и симпатій тѣ или другіе критики, и такъ такъ Лѣсковъ подъ эту мѣрку не подходилъ, оцѣнка его не могла быть ни справедлива, ни убѣдительна. Надъ Лѣсковымъ до сихъ поръ произносила судъ не русская литературная критика, а та или другая партія“.

Мы привели этотъ отзывъ, чтобы выяснить лучше нашу точку зрѣнія на Лѣскова. Не станемъ отрицать, что Лѣскову въ свое время доставалось отъ литературныхъ противниковъ. Съ тѣхъ поръ страсти утихли и говорить теперь о партійности, конечно, никто не станетъ. И вотъ теперь мы смѣемъ утверждать, что съ художественной точки зрѣнія Лѣсковъ не только не можетъ быть сравниваемъ съ „блестящей плеядой“ приведенныхъ г. Сементковскимъ писателей,

но и съ писателями второклассными, потому что онъ не художникъ. Какъ мы выше сказали, онъ—анекдотистъ, а всѣ эти 12 томовъ его сочиненій въ большей части просто собраніе грубыхъ, часто пошлыхъ анекдотовъ. Если выдѣлить изъ этой груды такія произведенія, какъ „Соборяне", „На краю свѣта", „Запечатлѣнный ангелъ", „Овцебыкъ", въ общемъ не болѣе одного тома, все остальное—если можно такъ выразиться,—ничто иное, какъ „скверный анекдотъ" въ русской литературѣ, на половину уже забытый теперь, а еще одно-два поколѣнія, и его забудутъ такъ же основательно, какъ забыли барона Брамбеуса, многотомное собраніе сочиненій котораго выдержало въ свое время не одно изданіе, а теперь мирно покоится на полкахъ библіотекъ. А между тѣмъ, и Брамбеусъ былъ писатель не безъ таланта, и у него найдутся страницы, которыя и теперь можно прочесть не безъ удовольствія. Но художественной критикѣ съ нимъ дѣлать нечего.

То же самое и Лѣсковъ. Онъ не художникъ, и чувство красоты, мѣры и художественной правды ему совершенно чуждо. Его большія произведенія, въ которыхъ нѣтъ свойственнаго другимъ его вещамъ специфическаго запаха клеветы, именно „Обойденные" и „Островитяне", такъ мертвенно-скучны, что читать ихъ нѣтъ возможности. Мы увѣрены, что огромному большинству читателей эти вещи, составляющія въ отдѣльномъ изданіи цѣлый томъ, вполнѣ неизвѣстны. И нельзя сказать, чтобы онѣ были хуже другихъ произведеній Лѣскова. Онѣ нисколько не уступаютъ по литературнымъ достоинствамъ его знаменитымъ романамъ „Некуда" и „На ножахъ". Тотъ же тягучій слогъ, болтливый тонъ въ передачѣ подробностей, та же смута въ головѣ автора, тѣ же безплодныя потуги на глубину, и жалкое остроуміе, заставляющіе читателя краснѣть за автора. Отсутствіе мѣры здѣсь сказывается въ необычайныхъ достоинствахъ героевъ и героинь. Но это качество Лѣскова лучше прослѣдить на вещахъ, болѣе извѣстныхъ читателямъ, хотя бы по наслышкѣ.

Самое крупное произведеніе Лѣскова по размѣрамъ — романъ „На ножахъ", занимающій въ полномъ собраніи два тома, почти 1.000 страницъ. На ряду съ романомъ „Некуда", это произведеніе является кульминаціоннымъ пунктомъ творчества Лѣскова. Въ нихъ онъ высказался весь, съ откровенностью, близкой къ цинизму. Теперь намъ трудно уже прочувствовать весь эффектъ этихъ романовъ. Настроеніе, съ которымъ они должны были бороться, прошло давно, и мы можемъ оцѣнивать ихъ только съ точки зрѣнія исторической правды, потому что, какъ художественныя вещи,

они ниже самой непритязательной критики. Въ этомъ отношеніи обличительные романы Маркевича, не смотря на всю бездарность его, много выше. У Маркевича больше литературности, чувствуется рука болѣе опытная въ обработкѣ деталей, и подчасъ встрѣчаются прямо-таки умныя вещи, какъ, напр., характеристика Гамлета въ романѣ „Четверть вѣка назадъ“ (кажется, такъ, если не ошибаемся). У Лѣскова на 1.000 страницъ въ романѣ „На ножахъ“ нѣтъ ни одной, на которой читатель, утомленный безконечнымъ пустословіемъ и клеветничествомъ автора, передохнулъ бы и запасся новыми силами для дальнѣйшаго странствія по этой пустынѣ. Не думаемъ, чтобы для этого романа нашлись теперь читатели-добровольцы, чтеніе же его по обязанности рецензента наводитъ примирительный сонъ. „Некуда“ много лучше, такъ какъ въ немъ собрана цѣлая куча пикантныхъ анекдотовъ увеселительнаго свойства, развлекающихъ читателя, хотя и не окупающихъ потери времени.

Прилагая къ этимъ романамъ историческую мѣрку, приходится сказать, что Лѣсковъ, благодаря отмѣченному выше недостатку зрѣнія, не осмыслилъ явленія, происходившаго на его глазахъ. Если не обращать вниманія на личное озлобленіе, чувствующееся на каждомъ шагу, то собранные имъ факты или ничтожно мелки, или завѣдомо лживы. Невозможно допустить à priori, чтобы среди передовой части тогдашняго общества, молодежи въ особенности, были исключительно мерзавцы, шуты и сумасшедшіе. Напр., герой романа „На ножахъ“ совершаетъ слѣдующія преступленія: обманомъ устраиваетъ обыскъ и арестъ своего пріятеля, продаетъ (буквально—за 9.500 р.) его въ мужья одной нуждавшейся въ мужѣ дамѣ, держитъ негласно кассу ссудъ, воруетъ письма и поддѣлываетъ рядъ векселей, соблазняетъ трехъ дѣвицъ, наконецъ, чтобы увѣнчать зданіе, убиваетъ мужа своей любовницы. Остальные герои соревнуютъ съ нимъ, и въ общемъ получается картина какой-то „черной ямы“, кишащей извергами естества, съ которыми мужественно, но безуспѣшно борются идеальные герои консервативнаго типа. Насколько прогрессисты чернѣе чернилъ, насколько ихъ противники прикрашены всѣми совершенствами. Суздальская манера письма, преобладающая у Лѣскова вообще, развертывается здѣсь во всю ширь. Современный вкусъ этого уже не выноситъ, и что бы ни говорили панегиристы, гг. Сементковскіе и Венгеровы, такое художество неприлично сопоставлять съ произведеніями „великихъ мастеровъ русскаго слова“. Стыдно тревожить великія тѣни Тургенева, Достоевскаго и Салтыкова по поводу лѣсковскаго шутовства.

Потому что Лѣсковъ—шутъ въ душѣ. „Ни слова въ простотѣ, а все съ ужимкой“—такова его характерная особенность, какъ колоритнаго писателя. Въ большихъ его вещахъ, благодаря чрезвычайной водянистости, эта особенность не такъ замѣтна. Ее здѣсь подавляетъ болтливость. Но небольшіе его разсказы, начиная съ вычурныхъ заглавій, сплошное ломанье и кривлянье. Даже въ лучшихъ вещахъ онъ не можетъ удержаться, чтобы не выкинуть веселенькаго колѣнца, въ большинствѣ случаевъ пошловатаго. Напр., въ „Запечатлѣнномъ ангелѣ“, безспорно самомъ лучшемъ, по выдержанности, разсказѣ Лѣскова, и тутъ онъ совсѣмъ зря, безъ всякой нужды, взялъ да и отмочилъ такое колѣнцо насчетъ „русской красоты“. „У насъ, — говоритъ разсказчикъ,—въ русскомъ настоящемъ понятіи насчетъ женскаго сложенія соблюдается свой типъ, который, по нашему, гораздо нынѣшняго легкомыслія соотвѣтственнѣе, а совсѣмъ не то, что кочка. Мы длинныхъ цыбовъ точно не уважаемъ, а любимъ, чтобы женщина стояла не на долгихъ ножкахъ, да на крѣпонькихъ, чтобъ она не путалась, а какъ шарокъ всюду каталась и поспѣвала, а цыбастенькая побѣжитъ да споткнется. Зміевидная тонина у насъ тоже не уважается, а требуется, чтобы женщина была понѣдристѣе и съ пазушкой, потому оно хоть и не такъ фигурно, да зато материнство въ ней обозначается, лобочки въ нашей настоящей чисто-русской женской породѣ хоть потѣльнѣе, помясистѣе, а за то въ этомъ мягкомъ лобочкѣ веселости и привѣта больше. То же и насчетъ носика: у нашихъ носики не горбылемъ, а все будто пипочкой, но этакая пипочка, она, какъ вамъ угодно, въ семейномъ быту гораздо благоувѣтливѣе, чѣмъ сухой гордый носъ. А особливо бровь; бровь въ лицѣ видъ открываетъ, и потому надо, чтобы бровочки у женщинъ не супились, а были пооткрытнѣе, дужкою, ибо къ таковой женщинѣ и заговорить человѣку повадливѣе и совсѣмъ она иное на всякаго, къ дому располагающее впечатлѣніе имѣетъ. Но нынѣшній вкусъ, разумѣется, отъ этого добраго типа отсталъ и одобряетъ въ женскомъ полѣ воздушную эфемерность“. Не правда ли, смѣшно? Но это еще лучшее колѣнцо, иного значенія, кромѣ смѣхотворнаго, и не имѣющее. Иное дѣло, когда Лѣсковъ ихъ откалываетъ и по поводу, и безъ повода, такъ ради зубоскальства, какъ напр., въ разсказѣ „Полунощники“, въ которомъ его невозможный, по опредѣленію г. Венгерова—„колоритный“, языкъ доведенъ до виртуозной искаженности. Приводимъ нѣсколько образчиковъ этой „колоритности“ изъ упомянутыхъ „Полунощниковъ“: „Ажидація“, „долбица умноженія“, „пять изъ семьи—сколько въ отставкѣ“, „женихъ весь огурцомъ а-ля-

пузе", „одѣть а-ля морда", „мимоноски строилъ съ морскими голованерами", „въ подземельномъ банкѣ портежъ сдѣланъ", „инпузорія въ пространствѣ", „мать-Переносица", „постановъ вопроса", „красоты видъ въ родѣ англичанскаго фасона, но съ буланцемъ", и все прочее въ томъ же родѣ на протяженіи семи слишкомъ листовъ. Въ смыслѣ коверканья русскаго языка Лѣсковъ не имѣетъ соперниковъ, — это совершенная правда. Даже г. Лейкинъ передъ нимъ долженъ спасовать. Вычурность и кривлянье видны изъ самыхъ заглавій, въ родѣ: „Несмертельный Голованъ", „Овцебыкъ", „Однодумъ", „Очарованный странникъ", Чертогонъ", „Котинъ доилецъ", „Пустоплясы", „О квакереяхъ" и т. п. Благодаря этой ломкѣ языка, Лѣскова крайне тяжело читать. Словно по грудѣ ѣдешь, и тебя постоянно кидаетъ изъ стороны въ сторону. Къ этому надо прибавить постоянныя попытки на остроуміе, замѣняемое острословіемъ, отчего, въ концѣ концовъ невыносимо тошно становится. Такъ и хочется прикрикнуть на автора: „да брось ты ломаться, говори попросту!" Но Лѣсковъ не въ силахъ остановиться. Болтливый пустословъ, онъ размазываетъ до безконечности свои анекдотики, въ которыхъ и заключается его „богатство фабулы".

Попробуемъ теперь свести наши замѣчанія о произведеніяхъ Лѣскова и нарисовать въ общихъ чертахъ его литературную физіономію. Писатель, одаренный талантомъ и наблюдательностью, но безъ Бога въ душѣ. Циникъ по складу ума и сластолюбецъ по темпераменту, онъ лицемѣръ, прикрывающійся высокими словами, въ святость которыхъ не вѣритъ. Онъ многое видѣлъ, многое наблюдалъ, но не осмыслилъ видѣннаго и слышаннаго, и потому далъ рядъ искаженныхъ, затѣйливыхъ узоровъ и ничего правдиваго. Онъ не каррикатуристъ, но и не сатирикъ. Для каррикатуры у него недоставало веселья и остроумія, для сатиры—ума и гражданской доблести. Онъ просто острословъ и суесловъ. Перефразируя характеристику, которую устами дьякона Ахилла онъ дѣлаетъ излюбленному своему герою Туберозову, можно сказать о Лѣсковѣ: „въ мірѣ бѣ и міра не позна",—и потому эти двѣнадцать томовъ его сочиненій—храмина разсыпанная. Въ безобразной грудѣ ея обломковъ, среди кучи ненужнаго хлама и сора попадаются удивительныя вещи—и ничего цѣльнаго, ничего запечатлѣннаго печатью высшаго дара, одухотвореннаго высшей правдой, согрѣтаго добротой и вѣрой, — словомъ, ничего, чему было бы суждено „пройти вѣковъ завистливую даль".

Requiescat in pace! *).

*) Миръ праху его!

Письма изъ деревни А. Н. Энгельгардта [1]).

Въ русской литературѣ о деревнѣ „Письма“ Энгельгардта стоятъ наравнѣ съ произведеніями Гл. Успенскаго, и въ 70-е годы, когда они печатались въ „Отечественныхъ Запискахъ“, вліяніе ихъ, пожалуй, было даже больше. Ими не только зачитывались, — ихъ изучали и вели по поводу ихъ безконечные дебаты, на какіе способна только русская бездѣятельная интеллигенція. Они вызвали въ концѣ концовъ особое, правда, слабое движеніе въ деревню „тонконогихъ“, какъ прозвалъ самъ Энгельгардтъ являвшихся къ нему учиться интеллигентныхъ работниковъ.

Чѣмъ же былъ вызванъ этотъ огромный эффектъ писемъ? Помимо условій времени, сильно способствовавшихъ всякимъ народническимъ ученіямъ, объясненія надо искать въ самихъ „Письмахъ“. И теперь они производятъ удивительно свѣжее, обаятельное впечатлѣніе непосредственной художественностью описанія деревенскаго быта, правдой и искренностью, которыми проникнуты картины природы, жизни, типы работниковъ, характеристики животныхъ. Можно представить, какое впечатлѣніе должны были производить такія письма, переносившія читателя въ деревню, въ то время, когда мятущаяся душа этого читателя искала откровеній въ произведеніяхъ гг. Златоврацкаго или Засодимскаго. Казалось, сама деревня раскрывалась на страницахъ „Отеч. Записокъ“, ничѣмъ не прикрашенная и подкупающая этой правдивостью. Письма подготовили появленіе „Власти земли“ Успенскаго, и затѣмъ, вмѣстѣ съ этимъ наиболѣе выдержаннымъ и законченнымъ произведеніемъ послѣдняго, создали народническое настроеніе, придали ему стойкую, опредѣленную форму и дали надолго пищу и содержаніе.

Энгельгардтъ прежде всего большой художникъ, и деревня влечетъ его оригинальностью своего уклада жизни, самобытностью и неподдѣльностью. Какова она есть, такова и есть. Она не рядится въ чужое, не лжетъ, не представляется. Вся ея первобытная правда наружу, что и захватываетъ цѣликомъ душу художника Энгельгардта. Онъ ничего не критикуетъ и все воспринимаетъ такимъ, каково въ дѣйствительности, воспринимаетъ и радуется каждому новому открытію, какъ своего рода Колумбъ, еще далекій отъ мысли о важности этихъ открытій. Онъ самъ становится простъ сердцемъ и

[1]) Апрѣль 1897 г.

наивенъ, какъ и міръ, куда онъ вступаетъ, что и придаетъ его первымъ письмамъ такую чарующую прелесть. Отъ нихъ и теперь, спустя двадцать лѣтъ, вѣетъ свѣжестью полей, запахомъ березы, курящагося овина, скотнаго двора, свѣжераспаханной нивы. Когда онъ описываетъ почти животное ощущеніе весенней теплоты, испытываемое имъ послѣ долгой, суровой зимы, вы вмѣстѣ съ нимъ, съ его коровами и телятами, переживаете тоже ощущеніе довольства и вновь возрождающейся жизни („Письмо" первое). Тутъ же, рядомъ, онъ рисуетъ единственную въ своемъ родѣ картину хожденія „въ кусочки", и вы, какъ и авторъ, воспринимаете эту бытовую черту безъ возмущенія, какъ нѣчто вполнѣ умѣстное и столь же присущее деревнѣ, какъ и эта весна со всей ея жизнерадостностью. Міръ животныхъ у него цѣликомъ сливается съ міромъ людей, и васъ, какъ и автора, нисколько не поражаетъ такое сліяніе. Такъ оно есть, такъ надо и быть. По художественности изображенія животныя у него даже лучше и ярче выходятъ. Напр., удивительно написанная исторія собаки Лыски и ея плачевный конецъ.

Постепенно авторъ все больше и больше вникаетъ въ этотъ міръ зоологическихъ существованій, и тутъ-то въ немъ происходитъ перемѣна. Изъ художника-бытописателя онъ превращается въ проповѣдника. Прежде всего онъ раздражается всякимъ отголоскомъ иной жизни, долетающимъ до него. „Политика?—но позвольте спросить, какое намъ здѣсь дѣло до того, кто имераторъ во Франціи: Тьеръ, Наполеонъ или Бисмаркъ?" Это замѣчаніе онъ бросаетъ мимоходомъ во второмъ письмѣ и немедленно погружается въ хозяйственные разсчеты и соображенія. Такая отчужденность все усиливается, и даже русско-турецкая война интересуетъ его съ точки зрѣнія потери нужныхъ работниковъ. Правда, онъ отмѣчаетъ съ презрѣніемъ неурядицу, царившую во время войны, хвастливо повторяетъ вмѣстѣ съ крестьянами фразы насчетъ „Костиполя", мощности русскаго народа и т. п. Въ письмахъ этого времени, какъ и всегда, много вѣрныхъ замѣчаній, художественныхъ наблюденій, но читателя уже начинаетъ поражать отчужденность Энгельгардта отъ міра культурнаго и его интересовъ, нарочитое забвеніе связей, между ними существующихъ. Деревня, хозяйство—тутъ все, а остальное хотя бы и не существовало. Но вотъ въ слѣдующемъ письмѣ мы находимъ и разгадку. Здѣсь Энгельгардтъ уже „прозрѣлъ", и проповѣдь его загремѣла во всю. Правда жизни только „въ землѣ", и къ ней онъ зоветъ „имѣющихъ уши, чтобы слышать, и глаза, чтобы видѣть". „Моему сыну,—властно заявляетъ онъ въ письмѣ VIII-мъ,—когда онъ войдетъ въ силу, окончитъ ученіе и спроситъ меня: что дѣлать?—Я

укажу на пашущаго мужика и скажу: „вотъ что — иди и паши землю, зарабатывай собственными руками хлѣбъ свой. Если найдешь другого, который пришелъ къ тѣмъ же убѣжденіямъ, соединись съ нимъ, потому что двое, работая вмѣстѣ сообща, сдѣлаютъ больше, чѣмъ работая каждый въ одиночку, найдешь третьяго—еще того лучше“ (стр. 361).

Съ этого момента, письмо написано въ 1879 году, Энгельгардтъ-проповѣдникъ вытѣсняетъ художника, и если изрѣдка послѣдній и показывается, то лишь вноситъ диссонансъ своими картинами, о чемъ скажемъ ниже. Основная мысль Энгельгардта — „повинность труда“, мозольнаго мужицкаго труда для всѣхъ. „Нужна медицинская помощь народу. Такая, какую устраиваетъ земство, недостаточна. Доктора-баре не могутъ удовлетворить и стоятъ дорого. Народъ обращается къ своимъ знахарямъ, которые тѣ же мужики-земледѣльцы. Я желалъ бы, чтобы на мѣсто мужика-знахаря былъ мужикъ-докторъ, занимающійся земледѣліемъ и въ то же время подающій медицинскую помощь въ округѣ, т. е. чтобы былъ знахарь интеллигентный, учившійся и въ то же время земледѣлецъ. Нужны ветеринары. Есть мужики коновалы-земледѣльцы. Желаю, чтобы эти коновалы были интеллигентные, учившіеся люди, а не сидящіе по городамъ чиновники-ветеринары. Нужны учителя. Желаю, чтобы были учителя-земледѣльцы, которые работали бы свою землю, и зимою, когда свободно, учили ребятъ своей деревни. Мы видимъ и теперь, что попы, напр., исполняютъ требы и въ то же время занимаются земледѣліемъ—пашутъ, сѣютъ, косятъ. Послѣднее время попы стали барствовать, менѣе занимаются земледѣліемъ, молодые попы часто вовсе не умѣютъ работать, дѣти ихъ держатъ себя паничами. Это худо, по-моему. Лучше было, когда попъ былъ, какъ прежде, земледѣльцемъ и пріучалъ къ тому же дѣтей. Я хочу, чтобы въ массѣ земледѣльцевъ были работающіе лично интеллигентные люди, научно развитые, которые прилагали бы науку къ практикѣ, изыскивали бы способы увеличить производительность земли, т. е. чтобы были интеллигентные мужики, земледѣльцы-агрономы. Нужно, чтобы были мужики-техники, мужики-инженеры, мужики-архитекторы, т. е. интеллигентные дѣятели, умѣющіе работать, какъ мужики“. Словомъ, ни болѣе, ни менѣе, какъ мужицкое царство.

И такъ велико было обаяніе Энгельгардта, что, не смотря на всю дикую наивность этихъ плановъ, явились „тонконогіе“, пожелавшіе осуществить ихъ въ дѣйствительности. Незнаніе послѣдней, полное непониманіе условій жизни и дѣвственная вѣра въ силу „критически-мыслящей лично

сти"—таковы причины, сдѣлавшія возможнымъ возникновеніе колоній „тонконогихъ", какъ прозвали заправскіе мужики интеллигентовъ - пахарей. Жизнь, конечно, не замедлила опрокинуть, какъ карточный домикъ, всѣ попытки устройства подобныхъ колоній. Въ приложенной къ третьему изданію „Писемъ" біографіи Энгельгардта разсказана трогательная исторія нѣкоего Зота и гибель его пріятеля Виктора, которые на практикѣ провели идею Энгельгардта. Но, хотя все это и поучительно и интересно, здѣсь мы не станемъ останавливаться на этомъ вводномъ эпизодѣ въ дѣятельности автора.

Вторая половина писемъ проникнута этимъ проповѣдничествомъ, призывомъ „къ землѣ", и потому не имѣетъ значенія въ глазахъ современнаго читателя, для котораго все это „старина и преданіе". Но нѣкоторыя положенія Энгельгардта, выработанныя имъ подъ вліяніемъ тогдашняго настроенія, неожиданно получили интересъ теперь, благодаря совершенно особому обстоятельству. Ихъ мы встрѣчаемъ теперь въ новѣйшемъ ученомъ трудѣ „Вліяніе урожаевъ и хлѣбныхъ цѣнъ на нѣкоторыя стороны русскаго народнаго хозяйства".

Въ письмѣ IX, писанномъ въ 1880 году, Энгельгардтъ предвосхитилъ выводы, къ которымъ пришли совокупными усиліями статистики, подъ руководствомъ проф. Чупрова и Посникова. Рѣчь здѣсь идетъ о цѣнахъ на хлѣбъ, и то, что говоритъ Энгельгардтъ, вполнѣ совпадаетъ съ тѣмъ, къ чему пришли упомянутые ученые. „Мы-то, интеллигентные люди, радуемся, что хлѣбъ дорогъ. Посмотрите, что было послѣдніе годы. Третьяго года урожай былъ у насъ хорошій, въ степи хлѣбъ родился хорошо, хлѣба было много и цѣна на него, была невысокая, даже весною прошлаго года хлѣбъ былъ еще дешевъ. Былъ дешевъ хлѣбъ, скотъ былъ дорогъ, дорогъ былъ мужикъ, дорогъ былъ его лѣтній трудъ. Урожай—хлѣбъ дешевъ, говядина дорога, мужикъ дорогъ, благоденствуетъ... Всѣ радовались, что у нѣмца неурожай, что требованіе на хлѣбъ большое, что цѣны на хлѣбъ растутъ, что хлѣбъ дорогъ. Да, радовались, что хлѣбъ дорогъ, радовались, что дорогъ такой продуктъ, который потребляется всѣми, безъ котораго никому жить нельзя. Но какъ только поднялась цѣна на мясо, на чиновничій харчъ, посмотрите, какъ всѣ возопили. Оно и понятно, своя рубашка къ тѣлу ближе. Радуются, когда дорогъ хлѣбъ, продуктъ, потребляемый всѣми, печалуются, когда дорого мясо, продуктъ, потребляемый лишь немногими. А между тѣмъ, дешевъ хлѣбъ — дорого мясо, дорогъ трудъ — мужикъ благоденствуетъ. Напротивъ, дорогъ

хлѣбъ — дешево мясо, дешевъ трудъ — мужикъ бѣдствуетъ" (стр. 492, 502).

Въ трудѣ ученыхъ авторовъ упомянутаго выше труда тѣ же положенія выражены не въ такой энергичной формѣ, но почти тѣми же словами. Въ „Введеніи" проф. Чупровъ и Посниковъ говорятъ:

„Изученіе комбинированнаго вліянія урожаевъ и цѣнъ хлѣба приводятъ къ заключенію:

„1. Что повышеніе урожаевъ отражается благопріятно на крестьянскихъ бюджетахъ при всякомъ уровнѣ хлѣбныхъ цѣнъ, такъ какъ, при увеличеніи урожая, бюджеты будутъ сведены съ остатками.

„2. При пониженіи урожаевъ получаются въ бюджетахъ безусловно неблагопріятные результаты. Понижается ли урожайность при неизмѣняемости цѣнъ на хлѣбъ, или параллельно съ послѣдними, или же при увеличеніи ихъ, — въ результатѣ бюджетнаго баланса одинаково оказывается недочетъ, однако, при паденіи цѣнъ на хлѣбъ дифицитъ получается въ меньшемъ размѣрѣ, чѣмъ при неизмѣняемости ихъ, а въ этомъ послѣднемъ случаѣ — въ меньшемъ, чѣмъ при повышеніи цѣнъ. Стало быть, при пониженныхъ урожаяхъ низкія цѣны на хлѣбъ оказываются благопріятнѣе, чѣмъ цѣны высокія.

„3. Измѣненія цѣнъ на хлѣбъ, при неизмѣнности урожаевъ, отражаются на бюджетахъ гораздо слабѣе, при чемъ на бюджеты съ остатками высокія цѣны дѣйствуютъ выгодно, а низкіе невыгодно; на бюджеты же съ дефицитами, наоборотъ, высокія хлѣбныя цѣны вліяютъ въ неблагопріятномъ, а низкія въ благопріятномъ смыслѣ. Такъ какъ при обычныхъ среднихъ условіяхъ крестьянскіе бюджеты характеризуются самымъ незначительнымъ остаткомъ и такъ какъ сѣверная часть Россіи, преимущественно сѣверныя, сѣверозападныя и западныя губерніи, потребляютъ немалую долю покупного хлѣба, то наиболѣе выгодною комбинаціею для крестьянскихъ бюджетовъ вообще оказываются высокіе урожаи и низкія цѣны на хлѣбъ. Годы съ такимъ сочетаніемъ урожаевъ и хлѣбныхъ цѣнъ извѣстны подъ именемъ „крестьянскихъ" годовъ и характеризуются широкимъ удовлетвореніемъ семейныхъ потребностей и хозяйственныхъ нуждъ сельскаго населенія" (стр. XIII—XIV).

Это удивительное совпаденіе положеній Энгельгардта и ученыхъ финансистовъ показываетъ, какъ прочно вошли въ обиходъ мысли народническаго направленія нѣкоторые выводы Энгельгартда. Еще при своемъ появленіи эти выводы встрѣчали возраженія противъ слишкомъ общей постановки, хотя въ его время не было хроническаго паденія цѣнъ, и

во всякомъ случаѣ онѣ не спускались до такого низкаго уровня, какъ теперь. Прошло съ тѣхъ поръ 15 лѣтъ, въ теченіе которыхъ перемѣны въ хозяйствѣ и на рынкѣ произошли очень крупныя, и политика, которой съ такимъ презрѣніемъ чуждается Энгельгардтъ, властнымъ образомъ отразилась на хозяйствѣ самыхъ отдаленныхъ уголковъ. Только въ области народническихъ упованій ничто не измѣнилось, и русская дѣйствительность современнымъ союзникамъ Энгельгардта представляется все тою же, что и ему. Мы не раздѣляемъ, поэтому, тѣхъ ожесточенныхъ нападокъ, которымъ подверглись нѣкоторые изъ участниковъ труда о вліяніи урожаевъ и низкихъ цѣнъ на народное хозяйство. Они ничему не измѣнили и говорятъ лишь то, что говорили въ продолженіе всей жизни. Они только одного не замѣтили,—но въ этомъ они не виноваты,—что жизнь отъ нихъ ушла, какъ ушла отъ Энгельгардта, и развѣяла его мечты объ интеллигентныхъ пахаряхъ, а его совѣтъ сыну „иди и паши“ превратила въ горькую насмѣшку...

Энгельгардтовской теоріи дешеваго хлѣба, при которомъ мужикъ благоденствуетъ, смертельный ударъ наносятъ его же письма. Въ слѣдующемъ письмѣ, озаглавленномъ „Счастливый уголокъ“, онъ рисуетъ это благоденствіе, подкупившее и ученыхъ экономистовъ. Вотъ какимъ представлено житье-бытье благоденствующаго мужика, счастливаго обладаніемъ дешеваго хлѣба. „Если кто-нибудь, незнакомый съ мужикомъ и деревней, вдругъ будетъ перенесенъ изъ Петербурга въ избу крестьянина „Счастливаго уголка“, и не то, чтобы въ избу средственнаго крестьянина, а даже въ избу „богача“, то онъ будетъ пораженъ всей обстановкой и придетъ въ ужасъ отъ бѣдственнаго положенія этого „богача“. Темная, съ закоптѣлыми стѣнами (потому что свѣтится лучиной) изба. Тяжелый воздухъ, потому что печь закрыта рано и въ ней стоитъ варево, сѣрыя щи съ саломъ и крупникъ, либо картошка. Подъ нарами у печки теленокъ, ягнята, поросенокъ, отъ которыхъ идетъ духъ. Дѣти въ грязныхъ рубашонкахъ, босикомъ, безъ штановъ, смрадная люлька на зыбкѣ, полное отсутствіе комфорта, характеризующаго даже самаго бѣднаго интеллигентнаго человѣка“. Таково благоденствіе, къ которому авторъ считаетъ необходимымъ добавить, что „въ нашихъ мѣстахъ крестьянинъ считается богачомъ, когда у него хватаетъ своего хлѣба до нови“, а такъ какъ, поясняетъ онъ ниже, такихъ счастливцевъ немного, то большинству, для поддержанія своего „благоденствія“, приходится уже около Рождества покупать хлѣбъ подъ работу по любой

цѣнѣ. Мало того, осенью приходится продавать свой хлѣбъ тоже по любой цѣнѣ, чтобы сколотить нужную сумму денегъ на уплату податей и домашнія потребности. Въ концѣ концовъ вопросъ о цѣнахъ для „Счастливаго уголка“ поворачивается все одной лишь темной стороной: осенью продать дешево, чтобы весною купить дорого. Упомянутые экономисты вводятъ въ формулу Энгельгардта, какъ компенсацію, хорошій урожай, противъ чего нельзя возражать, ибо,—какъ говоритъ проф. Исаевъ въ статьѣ въ „Хозяинѣ“, „По поводу новаго ученаго труда минист. финанс.“,—„доказывать желательность для страны хорошаго урожая столь же нужно, какъ доказывать желательность здоровья или добрыхъ нравовъ. При обильномъ урожаѣ, независимо отъ цѣнъ, отдѣльныя группы сельскихъ хозяевъ могутъ испытывать неудобства, вся же экономія народа выигрываетъ“ („Хозяинъ“ № 10, стр. 338). Самъ Энгельгардтъ, въ одномъ изъ первыхъ писемъ, гдѣ онъ еще выступаетъ въ роли художника, заявляетъ отъ имени „Счастливаго уголка“ по поводу хорошаго урожая: „Плохо. И урожай, а все-таки поправиться бѣдняку врядъ ли. Работа подешевѣла, особенно сдѣльная, напр., пилка дровъ, потому что нечѣмъ платить—заставляйся въ работу. На скотъ никакой цѣны нѣтъ, за говядину полтора рубля за пудъ не даютъ. Весною (т.-е. послѣ хорошаго урожая и низкихъ цѣнъ) бились, бились, чтобы какъ-нибудь прокормить скотину, а теперь за нее менѣе даютъ, сколько чѣмъ ее стоило прокормить прошедшей весной. Плохо. Неурожай — плохо, урожай — тоже плохо“ (стр. 164, писано въ 1872 г.).

Письма Энгельгардта доведены до 1887 г., и послѣднее заканчивается замѣчаніемъ, имѣющимъ непосредственное отношеніе къ современному вопросу о значеніи цѣнъ: „Урожай ржи великолѣпный. Ячмень, овесъ, конопля, ленъ, кто сѣялъ, уродились на славу—урожай небывалый. Ликуй, земледѣлецъ! Одно только плохо — заработковъ никакихъ опять нынче нѣтъ! Нѣтъ заработковъ, нѣтъ денегъ, а деньги требуютъ во всѣ концы, благо начальство знаетъ, что годъ нынче урожайный. А денегъ нѣтъ“. (стр. 652). Оказывается,—что, впрочемъ, можно было и напередъ сказать, — деньги составляли жгучую потребность и въ 1872 г., и въ 1887, хотя въ 1897 г. ученые экономисты народническаго толка и продолжаютъ утверждать, что „отличительныя особенности (нашего) отечественнаго хозяйства и быта, сравнительно съ западно-европейскими странами, заключаются, между прочимъ, въ господствѣ строя натуральнаго хозяйства, въ преобладаніи, какъ по числу, такъ и по общей площади владѣемой земли, того крестьянскаго населенія, которое не

можетъ отчуждать на рынокъ производимаго имъ хлѣба, но само же является его потребителемъ". Въ приведенномъ заключительномъ замѣчаньи Энгельгардта чувствуется уже смутное пониманіе того незыблемаго нынѣ факта, что хлѣбъ въ Россіи давно уже пересталъ быть только „продуктомъ", радующимъ своимъ изобиліемъ сердце земледѣльца, который его посѣялъ, собралъ и самъ съѣлъ, а сталъ товаромъ, обиліе котораго мало радуетъ производителя, если нѣтъ на этотъ товаръ спроса и цѣны такъ низки, что не окупаютъ стоимости производства.

Подъ конецъ своей плодотворной жизни Энгельгардтъ вполнѣ понялъ и усвоилъ эту мысль. Онъ уже не мечталъ объ общинѣ земледѣльцевъ-интеллигентовъ, которыхъ онъ спалъ и видѣлъ въ концѣ 70-ыхъ годовъ. Въ Энгельгардтѣ крѣпко сидѣлъ, въ сущности, человѣкъ практикъ, дѣлецъ, чувствующій потребности минуты. Онъ могъ на время увлечься общимъ настроеніемъ, отчасти имъ же созданнымъ, могъ возмечтать о возможности творить въ своей земледѣльческой лабораторіи особыхъ гомункуловъ—интеллигентовъ-пахарей, какъ нѣкогда въ своей химической лабораторіи создавалъ новыя вещества. Но къ жизни онъ относился чутко и осторожно, и первый изъ хозяевъ теоретиковъ понялъ, что хлѣбъ—товаръ и подлежитъ всѣмъ законамъ рынка. Отсюда его дѣйствительно страстное, практическое увлеченіе фосфоритами, на что онъ убилъ всю энергію послѣднихъ годовъ. Удешевить производство хлѣба, усилить его и такимъ путемъ компенсировать паденіе цѣнъ, начавшееся при жизни его, такова задача „фосфоритнаго движенія", созданнаго Энгельгардтомъ въ концѣ его жизни. Этимъ движеніемъ онъ увлекался десять лѣтъ, и здѣсь создалъ нѣчто существенное и положительное, что пережило его, какъ и всякое живое дѣло, выдвинутое жизнью, а не сладкими мечтами сердца.

„Письма изъ деревни" тоже надолго переживутъ автора, какъ художественное произведеніе, рисующее жизнь деревни ярко и правдиво. Изъ народнической литературы, пожалуй, только и останутся они да произведенія Гл. Успенскаго. Оба они, Успенскій и Энгельгардтъ, художники-публицисты, представляющіе блестящій примѣръ раздвоенія личности. Художникъ въ каждомъ изъ нихъ побѣдоносно ниспровергаетъ публициста, хотя послѣдній какъ бы руководитъ первымъ. Публицистъ-Энгельгардтъ шумитъ и съ пѣной у рта доказываетъ, что „дешевъ хлѣбъ—дорогъ трудъ и мужикъ благоденствуетъ". Художникъ, молча и спокойно, рисуетъ такія картины этого „дешеваго благоденствія", что у читателя сердце сжимается отъ презрѣнія и жалости. Публи-

цистъ проповѣдуетъ—„иди и паши“, а художникъ изображаетъ идиллію деревенской жизни на уровнѣ зоологическаго существованія. Публицистъ съ насмѣшкой отворачивается отъ „политики“,—„Наполеонъ, Тьеръ, Бисмаркъ, намъ-то до нихъ что за дѣло?“ Художникъ даетъ живую иллюстрацію политики,—положеніе деревни во время войны, вызванной этими столь презираемыми Тьерами и Бисмарками.

Этотъ разладъ между наблюденіями художника и выводами публициста составляетъ особливую, чисто русскую черту, свойственную нашимъ лучшимъ писателямъ. При блестящихъ художественныхъ дарованіяхъ, неумѣніе оріентироваться среди явленій и вытекающее отсюда душевное смятеніе, постоянныя уклоненія мысли то вправо, то влѣво, и выводы, подчасъ поразительные по противорѣчіямъ съ тѣмъ, что самъ же художникъ создалъ. Намъ кажется, это зависитъ отъ зачаточнаго состоянія у насъ особаго общественнаго чувства, которое вырабатывается только общественною жизнью. Его можно сравнить съ тѣмъ мышечнымъ чувствомъ, которое на каждомъ шагу намъ помогаетъ, и вполнѣ для насъ нечувствительно, направляетъ и соразмѣряетъ наши движенія при всякой работѣ. Въ общественной жизни, гдѣ сталкивается, какъ въ водоворотѣ, масса самыхъ противоположныхъ интересовъ и явленій, необходимость оріентироваться среди нихъ вырабатываетъ нѣчто подобное этому мышечному чувству, что помогаетъ человѣку выбиться изъ противорѣчій, отвести каждому явленію свое мѣсто и найти надлежащій уголъ зрѣнія. Аристотель опредѣляетъ человѣка, какъ животное „политическое“, т. е. общественное, направляющее и руководящее жизнью въ извѣстныхъ предѣлахъ. Повидимому, мы еще не дошли до этой стадіи развитія и пока только хорошіе, иногда—несравненные наблюдатели, но плохіе общественные дѣятели и мыслители. По крайней мѣрѣ, наша художественная литература по богатству и оригинальности не уступитъ никакой другой, а когда наши, иногда величайшіе художники, какъ напр., Гоголь, пускаются въ область мысли, особенно общественной, тутъ начинается нѣчто уму непостижимое.

Такая же участь постигла Энгельгардта, который, сидя въ деревнѣ и изображая ее такъ, какъ никто, могъ, тѣмъ не менѣе, мечтать о колоніяхъ „тонконогихъ“ и создавать цѣлыя теоріи мужицкаго царства, не сознавая всей нелѣпости подобной химеры.

Никитенко какъ представитель обывательской философіи приспособляемости [1]).

Въ августѣ исполнилось двадцать лѣтъ со дня смерти Александра Васильевича Никитенки, имя котораго если и извѣстно современному читателю, то лишь какъ автора единственной въ своемъ родѣ книги—„Дневника", озаглавленнаго авторомъ такъ: „Моя повѣсть о самомъ себѣ и о томъ, чему свидѣтель въ жизни былъ". При жизни, однако, онъ пользовался почтенной и вполнѣ заслуженной извѣстностью, какъ хорошій профессоръ, добросовѣстный критикъ, академикъ и администраторъ. Но всѣ эти, такъ сказать, оффиціальныя стороны его дѣятельности пошли на смарку, затерлись и забылись послѣ появленія въ 80-хъ годахъ [2]) его „Дневника", въ которомъ Никитенко выступаетъ въ роли несравненнаго лѣтописца своего времени. Въ немъ изумленному обществу явился новый человѣкъ. Сбросивъ вицмундиръ и отложивъ въ сторону всякое мірское попеченіе, Никитенко перерождается и такъ основательно, какъ только можетъ русскій обыватель, который при исполненіи обязанностей—одно, а затѣмъ, „вымывъ руки", становится прямою противоположностью именно этимъ обязанностямъ.

Разсматриваемый и оцѣниваемый съ этой точки зрѣнія, Никитенко представляетъ характернѣйшій образецъ обывательской приспособляемости. Бюрократъ до мозга костей, цензоръ, выслужившій въ цензурѣ полный пенсіонъ, и консерваторъ чистой крови, онъ въ тиши кабинета написалъ удивительную книгу, ужаснѣйшій доносъ потомству на бюрократію, цензуру и консерватизмъ. Родился онъ въ царствованіе Александра I, пережилъ всю николаевскую эпоху, шестидесятые годы и умеръ въ концѣ 70-хъ. Кажется, довольно смѣнъ и направленій. и настроеній. Кажется, могъ человѣкъ хоть разъ высказаться, открыто стать „ошуйю" или „одесную", могъ, что называется, прорваться. Съ нимъ этого не случилось, онъ ко всему примѣнялся легко и свободно, съ поразительной гибкостью и даже не безъ своеобразнаго изящества. По крайней мѣрѣ, читая его „Дневникъ", эту глубокомысленную и остроумную характеристику его времени и современниковъ—и какихъ современниковъ!—читатель ни разу не испытываетъ чувства жгучей боли или

[1]) Сентябрь 1897 г.

[2]) Въ „Русск. Старинѣ", а затѣмъ отдѣльнымъ изданіемъ. Далѣе вездѣ цитируется это трехтомное изданіе.

стыда за автора, скорѣе, напротивъ — восхищается неуловимой дипломатіей и ловкостью, съ которою Никитенко, проскользнувъ между Сциллой и Харибдой, достигаетъ чина тайнаго совѣтника, званія академика и многихъ другихъ благъ и успокаивается на лаврахъ, правда дешевыхъ, но все же лаврахъ. „Я не принадлежу никакой партіи", замѣчаетъ Никитенко по поводу академическихъ раздоровъ, гдѣ боролись „нѣмцы" и „русскіе". „Я прежде всего принадлежу моему убѣжденію, и только", гордо заявляетъ онъ въ другомъ мѣстѣ. И всѣ партіи ухаживали за нимъ и считали его въ своихъ рядахъ. Быть внѣ партій значитъ служить самому себѣ—и только, и въ этомъ искусствѣ Никитенко не знаетъ соперниковъ.

Удивительна выдержка, съ которою онъ ведетъ свою лѣтопись, систематически, ежедневно, съ глазу на глазъ съ самимъ собой изливая накопившіяся въ немъ горечь и желчь неудовольствія и раздраженія противъ тѣхъ, предъ кѣмъ приходилось ему сгибаться, кому служить, чьи молча выносить обиды, глупости и капризы. Его „Дневникъ", это—кладезь приспособляемости и мудрой житейской опытности. Онъ въ равной мѣрѣ ладитъ съ Клейнмихелемъ, Уваровымъ и Ростовцевымъ, и отъ каждаго пріемлетъ малую толику. Онъ не скрываетъ, что это ему доставалось не дешево. Онъ вѣчно заваленъ кучею дѣлъ, служитъ въ десяти разныхъ учрежденіяхъ, пишетъ десятки докладныхъ записокъ, сознавая ясно все ничтожество этихъ занятій, все ихъ безплодіе и ненужность. Эта работа уподобляетъ его „каторжнику", какъ онъ съ горечью жалуется неоднократно. Въ то же время его влечетъ совсѣмъ въ иную сторону. „У всякаго общественнаго дѣятеля, — пишетъ онъ, — свои элементы силы, посредствомъ которыхъ онъ достигаетъ желаемыхъ результатовъ. Элементами моей силы я считаю: мысль и слово, а не эрудицію. Мое естественное влеченіе обратить каѳедру въ трибуну" (Т. I, 418). А между тѣмъ, этотъ „трибунъ"—цензоръ. Трудно придумать болѣе роковое „стеченіе обстоятельствъ".

Его выручаетъ дневникъ, на страницахъ котораго его огорченная душа ищетъ утѣшенія и примиренія съ идеалами. Ибо и послѣдніе ему далеко не чужды. Онъ никогда не забываетъ ихъ, они неустанно грызутъ его сердце и волнуютъ его умъ. Только ихъ онъ держитъ про себя, не давая имъ проявиться въ дѣйствіи. Какъ русскій обыватель, онъ вѣчно пребываетъ въ надеждѣ славы и добра, что и способствуетъ ему выносить всяческія казни безтрепетно и безропотно. Никитенко вовсе не лицемѣръ, не Тартюфъ или іезуитъ. Въ немъ много благожелательности, природнаго

добродушія и тонкаго юмора, позволяющаго человѣку и въ самомъ ужасѣ подмѣчать смѣшное и тѣмъ смягчающаго его. Съ первой и до послѣдней страницы его „Дневникъ“ ни разу не вызываетъ негодованія, брезгливости или отвращенія, хотя авторъ никогда не рисуется и ничего, повидимому, не скрываетъ. Предъ нами все время благодушный россіянинъ, милый человѣкъ и не безъ достоинствъ. Въ немъ есть и благородство, и прямая честь. Вы ни разу не заподозрите его во взяточничествѣ, напр., хотя его окружали взяточники, взятка носилась въ воздухѣ, а въ „Дневникѣ“ то и дѣло попадаются записи: „слышно, такой-то (имярекъ) своровалъ столько-то“.

Рѣзкіе, сильные типы, въ ту или иную сторону, требуютъ особой культуры, которая вырабатывается борьбой. Гдѣ тишь да гладь, тамъ не выживаютъ яркіе характеры, требующіе простора для проявленія своей энергіи. Гдѣ личность связана и вся дѣятельность сведена, какъ у Никитенки, къ „Дневнику“, тамъ и характеры получаютъ особую закругленность, какъ рѣчные голыши, постоянно омываемые водой, которая исподволь, но неудержимо шлифуетъ всѣ ихъ неровности, сглаживаетъ шероховатости и полируетъ всѣхъ подъ одно.

То же случилось и съ Никитенко, который въ самомъ началѣ выступаетъ предъ нами, какъ личность очень оригинальная, незаурядная, безспорно выдающаяся, хотя и безъ яркой окраски. Сынъ крѣпостного, безъ всякой поддержки и внѣшняго руководства онъ выбивается изъ низинъ тогдашняго общества къ свѣту, поступаетъ въ университетъ и сразу попадаетъ въ кругъ лучшихъ людей своего времени. Что онъ—бывшій крѣпостной, не препятствуетъ ему въ этомъ кругу, даже придаетъ ему извѣстный ореолъ въ глазахъ общества, которое служило тогда центромъ прогрессивнаго движенія. Это было наканунѣ роковыхъ декабрьскихъ дней, во время которыхъ Никитенко уцѣлѣлъ „какимъ-то чудомъ“, какъ говоритъ одинъ изъ его оффиціальныхъ біографовъ. Но его спасло знакомство съ Я. И. Ростовцевымъ, которому пришлось сыграть довольно опредѣленную роль въ этомъ дѣлѣ, за что онъ и былъ награжденъ флигель-адъютантствомъ и быстро пошелъ вверхъ по лѣстницѣ наградъ и отличій. Повидимому, тяжелыя событія этого времени произвели сильное, подавляющее впечатлѣніе на молодого Никитенко. Въ „Дневникѣ“ 26 г. есть уже намеки на будущаго благополучнаго россіянина. Никитенко еще растерянъ, не знаетъ, какъ быть и какъ держаться. Осторожно, но цѣпко хватается онъ за разныя благопріятныя обстоятельства и полегоньку, потихоньку, но увѣренной поступью

идетъ къ благополучному устроенію своихъ дѣлишекъ. Любопытно и назидательно видѣть, какъ уже въ студентѣ развивается его будущая способность сходиться со всякими людьми и изъ каждаго извлекать посильную пользу. Въ „Дневникѣ“ этого періода нѣтъ, конечно, ничего, что слишкомъ строгій моралистъ поставилъ бы на счетъ Никитенки въ дурную сторону. Какъ до конца, такъ и въ началѣ предъ нами умный, тонко понимающій человѣкъ, кующій свою судьбу, не брезгая никакимъ матеріаломъ, но слишкомъ умный, чтобы подмѣшивать сюда завѣдомую гадость ради минутныхъ выгодъ. Вотъ, напр., какъ онъ объясняетъ мотивы дѣйствій Ростовцева, котораго онъ не въ силахъ ни осудить, ни оправдать. Надо помнить, что это пишется въ глубочайшей тайнѣ, наединѣ съ самимъ собой, слѣдовательно, ни хитрить, ни умалчивать нѣтъ нужды. „Поступокъ Ростовцева, во всякомъ случаѣ, заключаетъ въ себѣ много твердой воли и присутствія духа, чему я самъ былъ свидѣтелемъ, но онъ, мнѣ кажется, слишкомъ хотѣлъ показаться благороднымъ, а это въ соединеніи съ тѣмъ сомнительнымъ положеніемъ, въ коемъ онъ находился, можетъ показаться многимъ только хитрой стратегемой, посредствомъ которой онъ хотѣлъ въ одно время и выпутаться изъ бѣды, и явиться человѣкомъ доблестнымъ. Весьма естественно, что и государь такъ думаетъ. Это мнѣніе могло быть сильно подкрѣплено еще тѣмъ, что Ростовцевъ объявилъ заговорщикамъ о разговорѣ своемъ съ государемъ наканунѣ бунта и даже далъ имъ копію съ письма своего къ нему, что объявили сами заговорщики при допросахъ. Сей поступокъ могъ быть сдѣланъ и съ хорошимъ намѣреніемъ, то-есть, чтобы остановить заговорщиковъ, показавъ имъ, что правительству уже извѣстны ихъ замыслы, и оно, слѣдовательно, готово принять мѣры. Но, съ другой стороны, это могло быть и простой несостоятельностью, которая являлась какъ бы неизбѣжнымъ послѣдствіемъ первыхъ его связей съ княземъ Оболенскимъ и Рылѣевымъ, то-есть, онъ хотѣлъ показать, что онъ дѣйствуетъ не какъ предатель. Но для сего уже было достаточно того, что онъ не назвалъ заговорщиковъ предъ государемъ, а предоставилъ имъ самимъ объявиться или скрыться. Но въ такихъ обстоятельствахъ, въ какихъ находился Ростовцевъ, трудно не сдѣлать ошибки“ (т. I, стр. 207—208).

Нельзя отказать въ тонкости этому сужденію, особенно, если вспомнимъ, что нашему мудрецу только 23 года. Ужъ если наединѣ съ самимъ собой онъ такъ остороженъ, можно представить, какъ тонко поведетъ онъ свою политику въ жизни, „въ такихъ трудныхъ обстоятельствахъ“, въ какихъ

находился Никитенко, бѣдный студентъ, безъ средствъ, безъ особо выдающихся талантовъ и той нравственной силы, которая въ сознаніи своей мощи, въ сознаніи, хотя бы и смутномъ на первыхъ порахъ, ищетъ и находитъ для себя опору in rebus adversis (въ трудную минуту жизни). Никитенко ищетъ опоры во внѣ, сближаясь съ литераторами въ родѣ Булгарина и Греча, въ канцеляріи попечителя, къ которому проникаетъ черезъ Языкова, и т. д. И не думайте, что это окупается какими-либо нравственными жертвами, компромиссами съ совѣстью. Ничего подобнаго. Онъ скользитъ между подводными камнями моря житейскаго съ инстинктомъ, который не оставитъ его никогда и впослѣдствіи, когда ему придется сочинять уставъ о цензурѣ и засѣдать во всякихъ коммиссіяхъ.

Въ этомъ инстинктѣ мы видимъ опять черту, крайне характерную для Никитенки. Именно люди этого типа выступаютъ всегда самыми ярыми противниками компромиссовъ и защитниками убѣжденій. Нигдѣ не приходится слышать столько рѣчей на эти темы и такихъ горячихъ споровъ, возбуждающихъ въ противникахъ ненависть, чуть не „до кровавого мщенія", по выраженію Достоевскаго („Бѣсы"), какъ въ нашемъ, русскомъ, обществѣ. И въ то же время нигдѣ не встрѣчается столько покладистыхъ натуръ, какъ у насъ, натуръ въ родѣ Никитенки. И было бы несправедливо ставить имъ это въ укоръ и осужденіе. Убѣжденія не вычитываются изъ книгъ и не получаются готовыми изъ рукъ учителя. Ихъ вырабатываетъ только жизнь, а разъ она требуетъ прежде всего приспособленности, чтобы только существовать могъ человѣкъ, то у послѣдняго, помимо его воли и желанія, и слагается особая философія безсознательной приспособляемости. Въ спорахъ, въ одну изъ тѣхъ минутъ, когда душа паритъ въ надзвѣздныхъ высотахъ, иной и возмнитъ себя героемъ, даже „трибуномъ", но когда „стеченіе обстоятельствъ" совлекаетъ его на землю, нашъ трибунъ поступаетъ à la Никитенко.

Весь „Дневникъ" его за 27, 28, 29, 30, 31 и 32 года переполненъ любопытными фактами изъ дѣятельности тогдашней цензуры. Напр., въ октябрѣ 1827 г. онъ заноситъ въ „Дневникъ": „Сочиненіе мое о политической экономіи (диссертація) во многихъ мѣстахъ урѣзано цензурою. Между прочимъ, въ одномъ мѣстѣ у меня сказано: „Адамъ Смитъ, полагая свободу промышленности краеугольнымъ камнемъ обогащенія народовъ" и прочее... Слово „краеугольный" вычеркнуто потому, какъ глубокомысленно замѣчаетъ цензоръ, что краеугольный камень есть Христосъ, слѣдовательно, сего эпитета нельзя ни къ чему другому прилагать"

(стр. 239, т. I). Или еще, 4 апрѣля 1833 г.: „Было время, что нельзя было говорить объ удобреніи земли, не сославшись на тексты изъ св. писанія. Тогда Магницкіе и Руничи требовали, чтобы философія преподавалась по программѣ, сочиненной въ министерствѣ народнаго просвѣщенія; чтобы, преподавая логику, старались бы въ то же время увѣрить слушателей, что законы разума не существуютъ, а преподавая исторію, говорили бы, что Греція и Римъ вовсе не были республиками, а такъ чѣмъ-то похожимъ на государство съ неограниченною властью, въ родѣ турецкой или монгольской. Могла ли наука приносить плоды, будучи такъ извращаема? А теперь? О, теперь совсѣмъ другое дѣло! Теперь требуютъ, чтобы литература процвѣтала, но никто бы ничего не писалъ ни въ прозѣ, ни въ стихахъ; требуютъ, чтобы учили какъ можно лучше, но чтобы учащіе не размышляли, потому что учащіе—что такое? Офицеры, которые сурово управляются съ истиной и заставляетъ ее вертѣться во всѣ стороны передъ своими слушателями. Требуютъ отъ юношества, чтобы оно училось много и, при томъ не механически, но чтобы оно не читало книгъ и никакъ не смѣло думать, что для государства полезнѣе, если его граждане будутъ имѣть свѣтлую голову, вмѣсто свѣтлыхъ пуговицъ“ (стр. 319, т. I). А 16 числа того же мѣсяца Никитенко дѣлается цензоромъ, замѣчая по этому поводу въ дневникѣ: „Я дѣлаю опасный шагъ. Сегодня министръ очень долго говорилъ со мною о духѣ, въ какомъ я долженъ дѣйствовать. Онъ произвелъ на меня впечатлѣніе человѣка государственнаго и просвѣщеннаго (рѣчь идетъ объ Уваровѣ). „Дѣйствуйте,—между прочимъ, сказалъ онъ мнѣ,—по системѣ, которую вы должны постигнуть не изъ одного цензурнаго устава, но изъ самыхъ обстоятельствъ и хода вещей. Но при томъ дѣйствуйте такъ, чтобы публика не имѣла повода заключить, будто правительство угнетаетъ просвѣщеніе“ (стр. 313—314, т. I). И Никитенко „дѣйствуетъ“ безъ колебаній, безъ „думы роковой“, словно ему только вицъ-мундиръ перемѣнить пришлось. Впрочемъ, и мѣнять не надо было, потому что въ то время цензурное вѣдомство было подчинено министерству народнаго просвѣщенія, въ которомъ Никитенко служилъ профессоромъ словесности петербургскаго университета.

Съ этого времени и до 1862 года Никитенко безсмѣнно цензируетъ днемъ, а ночью, въ тиши кабинета, изливаетъ душу. „Цензоръ считается естественнымъ врагомъ писателя,—меланхолически заноситъ онъ 8-го января 1834 г. и со вздохомъ заканчиваетъ,—въ сущности это и не ошибка“ (стр. 316). Это не мѣшаетъ ему съ горечью жаловаться на

Пушкина, поэму котораго „Анджело“ онъ окарналъ по приказанію министра, имѣвшаго зубъ противъ поэта. Пушкинъ „взбѣсился“, а Никитенко пренаивно оправдывается: „Напрасно Александръ Сергѣевичъ на меня сердится. Я долженъ исполнять свою обязанность, а въ настоящемъ случаѣ ему причинилъ непріятность (какъ нѣжно!) не я, а самъ министръ“. И долго не можетъ Никитенко простить Пушкину его гнѣва. Въ отзывахъ о великомъ поэтѣ постоянно слышится нотка горечи несправедливо обиженнаго человѣка. „Съ Пушкинымъ слишкомъ тяжело имѣть дѣло“, замѣчаетъ онъ вскользь.

Почти 30 лѣтъ несетъ Никитенко свой цензорскій крестъ, твердо и неуклонно исполняя обязанности, и только въ „Дневникѣ“ отмѣчаетъ тернія, въ видѣ удивительныхъ казусовъ по цензурѣ, то и дѣло заносимыхъ имъ въ лѣтопись. Такъ, напр., ему дважды пришлось посидѣть на гауптвахтѣ за цензурные огрѣхи. Въ первый разъ по слѣдующему курьезному случаю. Въ „Библіотекѣ для чтенія“, которую онъ цензировалъ, были напечатаны стихи Виктора Гюго:

КРАСАВИЦѢ.

Когда-бъ я былъ царемъ всему земному міру,
Волшебница! тогда-бъ повергъ я предъ тобой
Все, все, что власть даетъ народному кумиру:
Державу, скипетръ, тронъ, корону и порфиру,
За взглядъ, за взглядъ единый твой!
И если-бъ богомъ былъ—селеньями святыми
Клянусь—я отдалъ бы прохладу райскихъ струй,
И сонмы ангеловъ съ ихъ пѣснями живыми,
Гармонію міровъ и власть мою надъ ними
За твой единый поцѣлуй!

„Болѣе двухъ недѣль прошло, какъ эти стихи были напечатаны, меня не тревожили. Но вотъ, дня за два до моего ареста, Сенковскій нарочно пріѣхалъ увѣдомить меня, что эти стихи привели въ волненіе монаховъ, и что митрополитъ собирается принести на меня жалобу. Я приготовился вынести бурю“. Дѣйствительно: приказано цензора, пропустившаго стихи, посадить на 8 дней на гауптвахту.

Другой случай еще болѣе комиченъ. Въ повѣсти „Гувернантки“ обратили на себя вниманіе Клейнмихеля два мѣста: „Я васъ спрашиваю, чѣмъ дурна фигура вотъ хоть бы этого фельдъегеря, съ блестящими, совсѣмъ новыми эксельбантами? Считая себя военнымъ и, что еще лучше, кавалеристомъ, господинъ фельдъегерь имѣетъ полное право думать, что онъ интересенъ, когда побрякиваетъ шпорами и крутитъ усы, намазанные фиксатуаромъ, кото-

раго розовый запахъ пріятно обдаетъ и его самого, и танцующую съ нимъ даму... Затѣмъ, прапорщикъ строительнаго отряда путей сообщенія, съ огромными эполетами, высокимъ воротникомъ и еще высшимъ галстукомъ". По жалобѣ Клейнмихеля, увидѣвшаго въ этихъ строкахъ оскорбленіе для фельдъегерьскаго корпуса и вѣдомства путей сообщенія, Никитенко попалъ на одну ночь на гауптвахту.

Какъ ни комичны эти „случаи" для читателя, но не такъ было для литературы. „Былъ у меня Погодинъ, профессоръ московскаго университета. Онъ пріѣзжалъ сюда, между прочимъ, съ жалобою къ министру на московскую цензуру, которая ничего не позволяетъ печатать. Послѣ моего ареста, она превратилась въ настоящую литературную инквизицію. Погодинъ говоритъ, что въ Москвѣ удивляются здѣшней свободѣ печати. Можно себѣ представить, каково же тамъ!" (стр. 356—57, т. 1).

Прекрасно понимая все значеніе своей роли, какъ цензора, Никитенко тѣмъ не менѣе ни разу не задается вопросомъ, да зачѣмъ же служить въ цензурѣ ему, профессору, личному секретарю министра и человѣку вполнѣ обезпеченному? „Утопаю въ дѣлахъ", „заваленъ дѣлами", „ни минуты собраться съ мыслями"—постоянно записываетъ Никитенко въ дневникѣ, но цензуры не бросаетъ. Наконецъ, его, что называется, взорвало. Какой-то Машковъ избралъ себѣ псевдонимъ „Кукуреку", за что министръ сдѣлалъ Никитенкѣ выговоръ. Никитенко огорчился. „Былъ сегодня у князя Волконскаго (начальника цензурнаго комитета), горячо объяснялся съ нимъ и просилъ уволить меня отъ цензуры. Что остается дѣлать въ этомъ званіи честному человѣку? Цензора теперь хуже квартальныхъ надзирателей. Князь во всемъ согласенъ со мной, но крайне огорченъ моимъ намѣреніемъ подать въ отставку", и отставка не подана. „На прощаніе мы горячо обнялись" (стр. 444—5, т. I).

Все-таки Никитенко испытываетъ по временамъ нѣкій зудъ въ душѣ. Онъ оправдывается и хватается за особую теорію, придуманную нарочито на случай дѣйствій „примѣнительно къ подлости", по выраженію Щедрина. „Составленныя мною постановленія о публичныхъ лекціяхъ напечатаны уже въ журналѣ „Министерства Народнаго Просвѣщенія" и въ другихъ журналахъ. Многіе недовольны, не столько сутью постановленій, сколько появленіемъ ихъ на свѣтъ, и даже не оставляютъ безъ укора и меня. Но притомъ забываютъ или не хотятъ помнить, что идея закона не моя, а я, призванный осуществить ее, какъ всегда въ такихъ случаяхъ, руководствовался однимъ, а именно: сдѣлать законъ наименѣе обременительнымъ, полагая, что если

онъ попадетъ въ другія руки, то будетъ хуже для всѣхъ. Пусть упрекаютъ меня въ самонадѣянности, но, во всякомъ случаѣ, я дѣйствовалъ одушевленный благими намѣреніями и правиломъ: не отказываться ни отъ какого дѣла, если это обѣщаетъ хотя отрицательную, если не положительную, пользу просвѣщенію" (стр. 420, т. I).

Тотъ же мотивъ звучитъ у него постоянно, когда ему приходится принимать участіе въ дѣлахъ, плохо примиряющихся съ его „направленіемъ", если только это слово примѣнимо къ людямъ этого типа. Такъ, когда въ 1857 г. былъ образованъ знаменитый „негласный комитетъ" надъ печатью и надъ самой цензурой, Никитенко сначала страшно возмущается. Но вотъ его самого приглашаютъ въ члены комитета, и Никитенко моментально воодушевляется „примирительными соображеніями". „Жребій брошенъ,—восклицаетъ торжественно новый Юлій Цезарь отъ цензуры.—Я на новомъ поприщѣ общественной дѣятельности. Трудности тутъ будутъ—и трудности значительныя. Но нехорошо, нечестно было бы, избѣгая ихъ, отказываться дѣйствовать. Много будетъ толковъ. Возможно, что многіе станутъ меня упрекать за то, что я рѣшился съ моимъ чистымъ именемъ засѣдать въ трибуналѣ, который признается гасительнымъ, но въ томъ-то и дѣло, господа, что я хочу парализовать его гасительныя вожделѣнія". Впрочемъ, когда „гасительныя" свойства комитета оказались неугасимыми, Никитенко ушелъ. Тѣми же соображеніями руководствуется Никитенко, принимая на себя порученіе выработать новый цензурный уставъ, стать во главѣ оффиціальной газеты Валуева, словомъ, принимая всякія порученія, отъ которыхъ его нѣсколько мутитъ. Въ концѣ концовъ, получается общее неудовольствіе. Изъ примирительныхъ намѣреній Никитенки ничего не выходитъ въ комитетѣ, его цензурный уставъ такъ передѣлывается „умѣлой рукой бюрократа, посѣдѣвшаго въ канцелярскихъ бояхъ", что самъ Никитенко въ уныломъ недоумѣніи вопрошаетъ: „Мой уставъ... Да развѣ отъ него что осталось?" Увы, какъ оказывается дальше—осталось, именно всѣ мѣры „строгости и пресѣченія", которыя въ первой редакціи умѣрялись и уравновѣшивались „правами и вольностями". Никитенко, такимъ образомъ, только сыгралъ въ руку „посѣдѣлому бюрократу", уяснивъ ему первое и внушивъ понятное отвращеніе къ послѣднему.

Но обыватель никогда не унываетъ и не теряетъ надежды. Въ этомъ его сила и слабость. Безъ надежды онъ бы зачахъ и увялъ, тина жизни засосала бы его окончательно. Благодаря надеждамъ, онъ какъ ни какъ, все же барахтается, и хотя ничего, кромѣ пузырей, не появляется на

поверхности, тѣмъ не менѣе, онъ снова и снова, съ видомъ все того же Юлія Цезаря, стремящагося за Рубиконъ, восклицаетъ въ концѣ 1861 года: „Итакъ, жребій брошенъ. Я становлюсь редакторомъ этой („Сѣверной Почты", оффиціальное изданіе Валуева) газеты и, наконецъ, попытаюсь осуществить мою завѣтную мысль о проведеніи въ обществѣ примирительныхъ началъ" (стр. 290, т. II). А въ іюнѣ 1862 г., т. е. спустя полгода, Никитенко не безъ юмора философствуетъ: „Ну, право же, главный редакторъ оффиціальной газеты сильно смахиваетъ на каторжника. Онъ отвѣчаетъ за каждую букву, за каждую запятую, которыя поставлены или выпущены. Пока не вышелъ номеръ, онъ въ тревогѣ; вышелъ номеръ—онъ еще въ большей тревогѣ. Тамъ можетъ быть сдѣлана ошибка, здѣсь она уже сдѣлана и поправить ее нельзя. Публика недовольна тѣмъ, что номеръ не весь по ея вкусу; начальство тѣмъ, что вы литераторъ, а не чиновникъ. Словомъ, надо имѣть большой запасъ мужества и еще большій той философіи, которая учитъ многое презирать" (стр. 333, т. II),—и 30 іюня слагаетъ съ себя обязанности редактора, ибо „министръ желаетъ дать такой оборотъ газетѣ, что мнѣ рѣшительно въ ней нечего дѣлать".

Такой неглубокой обывательской философіей проникнута вся оффиціальная и оффиціозная дѣятельности Никитенки. Ее же онъ разводитъ и въ своемъ дневникѣ, какъ только рѣчь заходитъ объ обществѣ, государствѣ, администраціи. Ему ни разу не приходитъ въ голову, что самостоятельность, которую онъ лелѣетъ въ душѣ, какъ чудный идеалъ, не есть нѣчто, лежащее въ душѣ человѣка, а всецѣло зависитъ отъ внѣшнихъ условій его жизни. Цѣлыя страницы онъ посвящаетъ глубокомысленнымъ разсужденіямъ о такомъ строѣ администраціи, при которомъ чиновникъ былъ бы самостоятеленъ, не замѣчая, что этимъ въ корень подрывается основной принципъ бюрократіи — исполнительность. И когда другіе начинаютъ разсуждать именно самостоятельно, онъ злится, брюзжитъ и разноситъ и литературу, и молодежь, даже книги, „которыя пріучаютъ человѣка думать по готовымъ образцамъ". Онъ упрекаетъ либераловъ шестидесятыхъ годовъ въ недальновидности, въ излишней требовательности, поспѣшности, въ отсутствіи „государственныхъ способностей". Каковъ его „государственный умъ", показываетъ его отношеніе къ переходу цензурнаго комитета изъ министерства народнаго просвѣщенія въ вѣдѣніе министерства внутреннихъ дѣлъ. Онъ возмущается и пишетъ: „Дѣло въ томъ, что оторванная отъ министерства народнаго просвѣщенія цензура сдѣлается добычею

всякаго искателя власти и вліянія... Тогда, что добраго, цензура, пожалуй, угодитъ и въ III-е отдѣленіе" (стр. 170, т. II). Онъ совершенно забываетъ, что самъ, въ теченіе 30 лѣтъ, испыталъ и на себѣ, и на примѣрѣ другихъ видѣлъ, какъ та же цензура при министерствѣ народнаго просвѣщенія была постоянно „добычею" не только „всякаго искателя власти и вліянія", а рѣшительно всѣхъ, начиная съ Уварова и до какой-то пѣвицы Ассандри, которая „настолько же худо пѣла, насколько была прекрасна" (стр. 456, т. I), что „съ цензорами обращались тогда, какъ съ мальчишками или безбородыми прапорщиками, и сажали подъ арестъ за пустяки, не стоющіе вниманія" (стр. 437, т. I).

А между тѣмъ, нельзя придумать болѣе злой критики на бюрократію, чѣмъ критика Никитенки. Насколько всѣ его положительныя мысли слабы и наивны, настолько отрицательная критика его „Дневника" остра, обильна фактами и уничтожающа. Достается всѣмъ въ равной мѣрѣ—и либераламъ, и консерваторамъ, и начальству, и подчиненнымъ. Самый слогъ „Дневника" рѣзко мѣняется. Изъ напыщеннаго и восклицательно-торжественнаго, образчики котораго мы приводили выше, онъ дѣлается мѣткимъ, афористически-рѣзкимъ, смѣлымъ и острымъ. Въ немъ чувствуется нѣчто лапидарное, словно на камнѣ высѣкаетъ авторъ свои характеристики, скупясь на слова, избѣгая каждаго лишняго штриха. Иногда такъ и кажется, что это строфы изъ Ювенала или характеристики Тацита. Отъ нихъ вѣетъ холодомъ отчаянія извѣрившагося въ добро и правду человѣка, и жгучая скорбь оскорбленнаго до глубины души гражданина проникаетъ до сердца читателя. Тутъ Никитенко уменъ, блестящъ и ярокъ и дѣйствительно проявляетъ государственный умъ. „Отчего у насъ мало способныхъ государственныхъ людей? — задается вопросомъ Никитенко вскорѣ послѣ севастопольскаго погрома, и отвѣчаетъ съ злой ироніей:—оттого, что отъ каждаго изъ нихъ требовалось одно—не искусство въ исполненіи дѣлъ, а повиновеніе и, такъ называемыя, энергическія мѣры, чтобы всѣ прочіе повиновались... Теперь только открывается,—замѣчаетъ онъ въ другомъ мѣстѣ,—какъ ужасны были для Россіи прошедшія 29 лѣтъ. Администрація въ хаосѣ; нравственное чувство подавлено; умственное развитіе остановилось; злоупотребленія и воровство возрасли до чудовищныхъ размѣровъ. Все это плодъ презрѣнія къ истинѣ и слѣпой вѣры въ одну матеріальную силу"... Тутъ же онъ даетъ мимоходомъ характеристики нѣкоторыхъ особенно видныхъ представителей этой силы. „Всѣ радуются сверженію Бибикова. Это былъ тоже одинъ изъ нашихъ вели-

кихъ государственныхъ мужей школы прошедшаго. Это умъ, по силѣ и образованію своему, способный управлять пожарною командою и, пожалуй, возвыситься до начальника управы благочинія. Никто, кромѣ развѣ графа Клейнмихеля, не понималъ лучше него системы рѣшительныхъ мѣръ, сущность которой превосходно опредѣлена словами одной сказки: „а нашъ богатырь, что медвѣдь въ лѣсу—гнетъ дуги не паритъ, сломитъ—не тужитъ“ (стр. 19, т. II). По поводу паденія, или, какъ говоритъ Никитенко, „политической смерти“, этого Клейнмихеля, не менѣе яркая замѣтка: „Продолженіе всеобщей радости, по случаю паденія Клейнмихеля. Всѣ поздравляютъ другъ друга съ побѣдою, которая, за недостаткомъ настоящихъ побѣдъ, составляетъ истинное общественное торжество. Въ самомъ ли дѣлѣ онъ такъ виноватъ? Онъ ограниченъ. Ума у него настолько, чтобы быть надзирателемъ тюремнаго замка, но онъ не золъ отъ природы. Зло заключалось не въ немъ, а въ его положеніи, положеніе же его устроила судьба, сдѣлавъ изъ него всевластнаго вельможу въ насмѣшку русскому обществу“ (стр. 21, т. II). Мѣтко опредѣляетъ Никитенко склонность русскаго обывателя къ нетерпимости. Одинъ литераторъ, по поводу уличныхъ листковъ, предшественниковъ нашей современной уличной прессы, выразилъ мнѣніе, что ихъ надо бы запретить. „Зачѣмъ?—отвѣчалъ я.—Конечно, это вздоръ, но онъ пріучаетъ грамотныхъ людей къ чтенію. Да и что это за система—все запрещать. Къ чему только протянетъ руку русскій человѣкъ самымъ невиннымъ образомъ, тотчасъ и бить его по рукамъ. Но наши великіе администраторы во всемъ видятъ опасность“ (стр. 97, т. II).

Горечь ли личнаго положенія, или близкое знакомство съ бюрократической средой своего времени, только послѣдней сугубо достается отъ Никитенки. Въ сущности, весь его огромный (три тома) „Дневникъ“ есть одна сплошная критика бюрократіи. То и дѣло натыкаешься на такіе, напр., отзывы: „Всякій чиновникъ есть рабъ своего начальства, и, право, нѣтъ рабства болѣе жестокаго, чѣмъ это рабство. Чиновникъ еще счастливъ, если онъ глупъ: онъ тогда, пожалуй, даже можетъ гордиться своимъ рабствомъ. Но если онъ уменъ, положеніе его ужасно. Кто въ состояніи эмансипировать этихъ рабовъ въ такомъ бюрократическомъ государствѣ, какъ Россія, гдѣ, кромѣ того, произволъ начальника не находитъ нигдѣ обузданія; и общественное мнѣніе, и печать ему ни почемъ (стр. 47, т. III)... Наши чиновники консервативны, потому что всякое новое движеніе угрожаетъ имъ паденіемъ, какъ неспособнымъ сочувствовать и содѣйствовать никакому общественному преуспѣянію. Закоснѣлые

въ эгоизмѣ, они знаютъ, что ихъ не одобряютъ благомыслящіе люди, и чтобы хоть сколько-нибудь оправдаться въ ихъ глазахъ, они дѣлаютъ видъ, будто слѣдуютъ какой-нибудь доктринѣ, надѣваютъ личину какого-нибудь принципа, признаннаго въ исторіи человѣческихъ обществъ и въ цивилизаціи. Но кого они этимъ обманываютъ?" (стр. 168, т. III). Не приводимъ другихъ отзывовъ, еще болѣе рѣзкихъ и характерныхъ, — пришлось бы перебрать добрую половину „Дневника", а наши выдержки и безъ того заняли слишкомъ много мѣста.

Но таково достоинство этой замѣчательной лѣтописи, что, разъ начавъ ее, не хочется оторваться. Личность автора въ концѣ концовъ стушевывается за фактами и лицами, которыя безконечной вереницей проходятъ предъ нами, ничѣмъ не прикрашенныя, во всемъ ореолѣ правды. Незамѣтно, одна за другой таютъ и исчезаютъ легенды, связываемыя съ добрымъ, старымъ временемъ, и холодный ужасъ закрадывается въ душу, когда читаешь эти вылившіяся изъ сердца строки Никитенки: „Я долженъ преподавать русскую литературу,— а гдѣ она? Развѣ литература у насъ пользуется правомъ гражданства? Остается одно убѣжище — мертвая область теоріи. Я обманываю и обманываюсь, произнося слова: развитіе, направленіе мыслей, основныя идеи искусства. Все это что-нибудь, и даже много, значитъ тамъ, гдѣ существуютъ общественное мнѣніе, интересы умственные и эстетическіе, а здѣсь просто швырянье словъ въ воздухъ... О, кровью сердца написалъ бы я исторію моей внутренней жизни! Проклятое время, гдѣ существуетъ выдуманная, оффиціальная необходимость моральной дѣятельности, безъ дѣйствительной въ ней нужды,—гдѣ общество возлагаетъ на васъ обязанности, которыя само презираетъ" (стр. 424, т. I).

„Повѣритъ ли потомство"?—сомнѣвается Никитенко, записывая одинъ изъ чудовищныхъ фактовъ, изъ которыхъ слагалась тогдашняя дѣйствительность (стр. 456, т. I).

Хотѣлось бы не вѣрить, но нельзя не вѣрить.

Пройти такую суровую школу и сохранить „душу живу" тамъ, гдѣ столькіе, какъ Погодинъ, Шевыревъ, Давидовъ и масса другихъ превратились въ „живыхъ мертвецовъ", промѣнявшихъ науку на взаимное шпіонство и подсиживаніе,—уже подвигъ и заслуга предъ тѣмъ обществомъ, которому „моральная дѣятельность не нужна". При всѣхъ задаткахъ недюжиннаго характера, изъ автора „Дневника" не выработался „философъ" и даже „умѣренный прогрессистъ", какимъ онъ себя неоднократно называетъ. Но не выработался и сторонникъ „рѣшительныхъ мѣръ", врагъ всего живого, который бы, какъ Уваровъ, стремился „пре-

кратить самое существованіе русской литературы", мѣшающей ему „спокойно спать". „Если мнѣ удастся отодвинуть Россію на 50 лѣтъ отъ того, что готовятъ ей теоріи, то я исполню мой долгъ и умру спокойно", говорилъ Уваровъ, этотъ „государственный и просвѣщенный мужъ" (стр. 360, т. I), и все окружающее согласнымъ хоромъ подпѣвало ему. Никитенко не принималъ участія въ этомъ хорѣ, и если въ моментъ расцвѣта русской жизни онъ не оказался на высотѣ положенія, многаго не понялъ и закончилъ прогрессирующей умѣренностью, которая чувствуется все сильнѣе и сильнѣе къ концу „Дневника", то отвѣтственность ложится на это тяжкое прошлое. „Конечно,—пишетъ онъ въ самомъ началѣ 30-хъ годовъ, — эта эпоха пройдетъ, какъ и все проходитъ на землѣ, но она можетъ затянуться на долго, на пятьдесятъ, на шестьдесятъ лѣтъ. Тѣмъ временемъ успѣешь умереть въ этой глухой, дикой, каменистой Аравіи, вдали отъ Земли Святой, отъ Сіона, гдѣ можно жить и пѣть высокія пѣсни. Увы!

Рабы, влачащіе оковы,
Высокихъ пѣсней не поютъ".
(Стр. 328, Т. I).

Эти слова для него оказались пророческими, и, „высокія пѣсни" возрожденія русской жизни уже не встрѣтили отголоска въ его душѣ, изсушенной долгимъ странствіемъ въ глухой пустынѣ эпохи, такъ поразительно и ярко имъ описанной.

„Мужики" г. Чехова. — „Въ голодный годъ" Вл. Короленко [1]).

Много воды протекло съ того времени, какъ надъ „Антономъ Горемыкой" г-на Григоровича проливались потоки слезъ, и много эта вода унесла съ собой и еще больше всякихъ наносовъ оставила послѣ себя. Одного только она не могла унести и разрушить—интереса къ деревнѣ. Теперь, какъ и прежде, всякое живое изображеніе деревни и ея быта вызываетъ глубокое вниманіе, является центромъ, вокругъ котораго закипаютъ словесные и журнальные споры. Это доказали еще разъ „Мужики" г. Чехова.

За послѣднее время мы не помнимъ, чтобы какое-либо другое произведеніе вызвало такой общій интересъ, какъ

[1]) Іюнь 1897 г.

это. Успѣхъ его отчасти напоминаетъ вниманіе, съ какимъ былъ встрѣченъ послѣдній разсказъ Л. Н. Толстого „Хозяинъ и работникъ“, хотя сущность этого вниманія глубоко различна. Широкая и безотрадная картина деревенской жизни, нарисованная г. Чеховымъ, далека отъ всѣхъ вопросовъ личной морали. Художникъ какъ бы говоритъ намъ этой картиной, что пока мы занимаемся ими, углубляясь въ дебри личнаго самоусовершенствованія, мистики и т. п. милліоны людей бредутъ въ безспросвѣтной ночи, живутъ безъ утѣшенія въ настоящемъ, не имѣя никакихъ надеждъ на лучшее будущее. Въ этомъ и заключается огромное общественное значеніе чеховскаго разсказа. Онъ снова и снова напоминаетъ читателю незабвенныя слова Щедрина о „бѣдной пошехонской сторонѣ“, которую „надо любить“...

Сущность разсказа чрезвычайно проста, до примитивности, какъ и жизнь, которую изображаетъ авторъ. Больной лакей изъ ~~изъ~~ московскаго трактира „Славянскій Базаръ“, Николай Чикильдѣевъ возвращается на родину, къ себѣ въ деревню, вмѣстѣ съ женой и маленькой дочкой. Всю жизнь онъ прожилъ въ половыхъ, еще мальчикомъ будучи посланъ въ Москву, „добывать“ хлѣбъ. Ихъ вся деревня занимается этимъ промысломъ, съ легкой руки ихъ однодеревенца Лонгина Иваныча, ставшаго легендарнымъ, который первый вышелъ на эту дорогу и, ставъ буфетчикомъ, началъ выписывать своихъ земляковъ. Не сладка была эта жизнь, давшая въ концѣ разбитыя ноги и неизлѣчимую болѣзнь. Но то, что на первыхъ же порахъ встрѣчаетъ бывшій лакей у себя дома, еще хуже. „Въ воспоминаніяхъ дѣтства родное гнѣздо представлялось ему свѣтлымъ, уютнымъ, удобнымъ, теперь же, войдя въ избу, онъ даже испугался: такъ было темно, тѣсно и нечисто... Печь покосилась, бревна въ стѣнахъ лежали криво, и казалось, что изба сію минуту развалится. Въ переднемъ углу возлѣ иконъ были наклеены бутылочные ярлыки и обрывки газетной бумаги—это вмѣсто артинъ. Бѣдность, бѣдность“!

И чѣмъ дальше, тѣмъ болѣе удручающее впечатлѣніе производитъ эта бѣдность и ея неизмѣнные спутники — невѣжество, дикіе семейные нравы, взаимное самопоѣданіе, попреки, брань, ссоры. Въ первый же день московскіе гости посвящаются въ суть этой жизни. „По случаю гостей поставили самоваръ. Отъ чая пахло рыбой, сахаръ былъ огрызанный и сѣрый, по хлѣбу и посудѣ сновали тараканы; было противно пить, и разговоръ былъ противный—все о нуждѣ да о болѣзняхъ“. Возвращается братъ лакея, Кирьякъ, пьяный, и слѣдуетъ семейная сцена, написанная, какъ и весь разсказъ, просто, безъ желанія что-либо прикрасить, съ тою

особенною тонкою наблюдательностью, которая отличаетъ вообще манеру г. Чехова. Приводить ее мы не станемъ, отчасти за недостаткомъ мѣста, а главнымъ образомъ потому, что слишкомъ она обычна для деревенской семейной жизни, для „народнаго уклада". Пьяный мужъ бьетъ зря жену, при общемъ молчаніи присутствующихъ, и никто не только не считаетъ себя въ правѣ вступиться и унять буяна, но вѣроятно, очень удивился бы, если бы ему со стороны сказали, что это его обязанность. „Народный укладъ" еще не дошелъ до понятія о необходимости вступаться за женъ, которыхъ колотятъ мужья.

Противъ г. Чехова раздаются голоса, что онъ утрируетъ мракъ деревни, что его сцены намѣренно подобраны такъ, чтобы сгустить краски. Можетъ быть, но намъ вспоминается книга бывшаго мирового судьи г. Вудмера „Бабьи стоны", въ которой авторъ, подводя итоги своей судейской дѣятельности, приводитъ своеобразную статистику „бабьяго боя",—и мы не помнимъ, чтобы его книгу находили „утрированной". А безчисленныя сообщенія провинціальныхъ газетъ, повѣствующихъ о томъ же, судебные отчеты, раскрывающіе такія семейныя картинки „народнаго уклада", что при чтеніи ихъ волосы на головѣ шевелятся отъ страха!

Братъ Кирьякъ и Марья—одна семья; Ѳекла—жена другого брата, отслуживающаго повинность въ солдатахъ,—дополняетъ картину ихъ семейной жизни. Марья—баба забитая, слезливая, Ѳекла—бойкая, „гульливая, озорная", красивая и смѣлая, она ищетъ удовольствія на сторонѣ, погуливая съ прикащиками. И опять приходится отмѣтить, что художникъ ничего не прибавляетъ отъ себя. Явленіе хорошо знакомое, давно изслѣдованное, отмѣченное, занесенное въ медицинскіе отчеты о санитарномъ состояніи деревни...

Могутъ замѣтить, что эти двѣ семьи — продуктъ новѣйшаго времени, а старый укладъ давалъ и лучшіе семейные устои. Авторъ приводитъ и представителей старой семьи—отца и мать этихъ новыхъ семей. „Старуха, которую и мужъ, и невѣстки, и дѣти, и внуки, всѣ одинаково звали бабкой, старалась все дѣлать сама, сама топила печь и ставила самоваръ, сама даже ходила наполдень и потомъ роптала, что ее измучили работой. И все она безпокоилась, какъ бы кто не съѣлъ лишняго куска, какъ бы старикъ и невѣстки не сидѣли безъ работы... Сердилась и ворчала она съ утра до ночи и часто поднимала такой крикъ, что на улицѣ останавливались прохожіе. Съ своимъ старикомъ она обращалась неласково, обзывала его то лежебокомъ, то холерой. Это былъ неосновательный, ненадежный мужикъ и, быть можетъ, если бы она не понукала его постоянно, то онъ не

работалъ бы вовсе, а только сидѣлъ на печи да разговаривалъ". Старики ни въ чемъ не уступали молодымъ, ни въ чемъ не могли служить для нихъ примѣромъ. Тоже пьянство, ругань, отупѣлое, животное отношеніе другъ къ другу, къ дѣтямъ, къ жизни. Ольгу, жену больного Николая, „удивляло, что брань слышалась непрерывно и что громче и дольше всѣхъ бранились старики, которымъ пора уже умирать. А дѣти и дѣвушки слушали эту брань и нисколько не смущались, и видно было, что они привыкли къ ней съ колыбели".

Неудивительно, если, сравнивая безсознательно эту жизнь съ прежней, московскій лакей мечтаетъ о своемъ старомъ трактирѣ, какъ о раѣ. Въ разсказѣ есть одна удивительно тонкая психологическая черта, когда въ безсонную ночь, послѣ разговоровъ о бѣдности и нуждѣ, да о старыхъ временахъ, отъ которыхъ остались въ воспоминаніи одни ужасающіе разсказы о крѣпостной жизни, больной Николай слѣзаетъ съ печи и надѣваетъ свой старый, захваченный имъ изъ города фракъ,—остатокъ былой жизни. „Онъ досталъ изъ зеленаго сундучка свой фракъ, надѣлъ его и, подойдя къ окну, погладилъ рукавъ, подержался за фалдочки и улыбнулся. Потомъ осторожно снялъ фракъ, спряталъ въ сундукъ и опять легъ". Для него этотъ смѣшной съ нашей точки зрѣнія костюмъ былъ символомъ всего хорошаго, что вставало въ его памяти при видѣ окружающей бѣдности и дикости. Онъ говорилъ ему, что есть и иная жизнь, гдѣ не только съ утра брань, попреки, ссоры, подсчеты кусковъ, пьянство, недоимки. Пусть и въ той, иной жизни онъ занималъ самое маленькое, послѣднее мѣсто,—онъ видѣлъ, зналъ, что есть она, эта иная жизнь, и это одно уже служило ему утѣшеніемъ.

А его родные, всѣ жители Халуевки, всѣ, которые не отсылались въ Москву „добывать", даже въ уѣздный городъ не знали дороги, не бывали тамъ, не видѣли ничего, кромѣ своей деревни. „Марья считала себя несчастной и говорила, что ей очень хочется умереть; Ѳеклѣ же, наоборотъ, была по вкусу вся эта жизнь: и бѣдность, и нечистота, и неугомонная брань. Она ѣла, что давали, не разбирая; спала, гдѣ и на чемъ придется; помои выливала у самаго крыльца: выплеснетъ съ порога, да еще пройдется босыми ногами по лужѣ. И она съ перваго же дня бранила Ольгу и Николая именно за то, что имъ не нравилась эта жизнь.

— Погляжу, что вы тутъ будете ѣсть, дворяне московскіе!—говорила она съ злорадствомъ.—Погляжу-у?

„Однажды утромъ,—это было уже въ началѣ сентября,—

Ѳекла принесла снизу два ведра воды, розовая отъ холода, здоровая, красивая; въ это время Марья и Ольга сидѣли за столомъ и пили чай.

— Чай да сахаръ! — проговорила Ѳекла насмѣшливо. — Барыни какія,—добавила она, ставя ведра,—моду себѣ взяли каждый день чай пить. Гляди-кось, не раздуло бы васъ съ чаю-то!—продолжала она, съ ненавистью глядя на Ольгу,— Нагуляла въ Москвѣ пухлую морду, толстомясая!

„Она замахнулась коромысломъ и ударила Ольгу по плечу, такъ что обѣ невѣстки только всплеснули руками и проговорили: „Ахъ, батюшки!“

„Потомъ Ѳекла пошла на рѣку мыть бѣлье и всю дорогу бранилась такъ громко, что было слышно въ избѣ“.

Весь ужасъ картины деревенской жизни въ томъ и заключается, что не видно выхода, нѣтъ надежды на то, что это должно измѣниться.

Вы не видите силы, указывая на которую могли бы сказать: здѣсь спасеніе! Общинные порядки, пресловутый міръ? Представителемъ его является староста Антонъ Сидельниковъ. „Не смотря на молодость,—ему было только 30 лѣтъ съ небольшимъ,—онъ былъ строгъ и всегда держалъ сторону начальства, хотя самъ былъ бѣденъ и платилъ подати неисправно. Видимо, его забавляло, что онъ староста, и нравилось сознаніе власти, которую онъ иначе не умѣлъ проявлять, какъ строгостью“,—онъ глупъ, невѣжественъ, смѣшонъ и такъ же жалокъ, какъ его избиратели. Внѣшнее начальство представляетъ становой, пріѣзжающій для сбора недоимки. За недоимки у семьи Чикильдѣевыхъ староста уноситъ самоваръ. „Безъ самовара въ избѣ Чикильдѣевыхъ стало совсѣмъ скучно. Было что-то унизительное въ этомъ лишеніи, оскорбительное, точно у избы вдругъ отняли ея честь“. Это, вѣдь, была единственная связь съ чѣмъ-то не отъ „міра“, говорившая о какой-то иной невѣдомой обстановкѣ,—и она описывается, какъ вещь, не представляющая предмета „первой необходимости въ хозяйствѣ“. Власть оберегаетъ лишь то, что непосредственно необходимо для выполненія обязанностей хозяйства предъ нею... Далѣе, идетъ земство, о которомъ мужики знаютъ одно, что во всемъ виновато оно.

Можетъ быть, есть высшіе запросы, смутно назрѣвающіе въ душѣ, запросы, на которые такъ или иначе деревня ищетъ отвѣта? Прежде всего, конечно, религіозное чувство, которое не можетъ оставаться безъ удовлетворенія, обязательно должно искать его. И оно есть, и вотъ какъ описываетъ его художникъ.

„Старикъ не вѣрилъ въ Бога, потому что почти никогда

не думалъ о Богѣ: онъ признавалъ сверхъестественное, но думалъ, что это можетъ касаться однѣхъ лишь бабъ, и когда говорили при немъ о религіи или о чудесномъ и задавали ему какой-нибудь вопросъ, то онъ говорилъ нехотя, почесываясь:

„— А кто-жъ его знаетъ!

„Бабка вѣрила, но какъ-то тускло; все перемѣшалось въ ея памяти, и едва она начинала думать о грѣхахъ, о смерти, о спасеніи души, какъ нужда и заботы перехватывали ея мысли, и она тотчасъ же забывала, о чемъ думала. Молитвъ она не помнила и обыкновенно по вечерамъ, когда ложилась спать, становилась передъ образами и шептала:

„— Казанской Божьей Матери, Смаленской Божьей Матери, Троеручицы Божьей Матери...

„Марья и Ѳекла крестились, говѣли каждый годъ, но ничего не понимали. Дѣтей не учили молиться, ничего не говорили о Богѣ, не внушали никакихъ правилъ и только запрещали въ постъ ѣсть скоромное. Въ прочихъ семьяхъ было почти тоже. Мало кто вѣрилъ, мало кто понималъ; въ тоже время всѣ любили священное писаніе, любили нѣжно, благоговѣйно, но не было книгъ, некому было читать и объяснять, и за то, что Ольга иногда читала Евангеліе, ее уважали, и всѣ говорили ей и Сашѣ „вы“...

Какъ видимъ, запросы на нѣчто, хотя и смутное и крайне неопредѣленное, есть въ душѣ деревни, но, ничего не видя, не зная, не имѣя даже возможности знать, деревня не ищетъ отвѣта. Ей надо принести его извнѣ, такъ какъ сама она не заключаетъ въ себѣ силы, которая распахнула бы двери въ міръ, — не деревенскій, а настоящій, божій, свѣтлый и широкій.

Въ концѣ концовъ, Николай умираетъ, залѣченный по-деревенски, а его жена и дочь возвращаются въ городъ.

„Въ полдень Ольга и Саша пришли въ большое село... Остановившись около избы, которая казалась побогаче и новѣе, передъ открытыми окнами, Ольга поклонилась и сказала громко, тонкимъ пѣвучимъ голосомъ:

„— Православные христіане, подайте милостыню Христа ради, что милость ваша, родителямъ вашимъ царство небесное, вѣчный покой.

„— Православные христіане, — запѣла Саша, — подайте Христа ради, что милость ваша, царство небесное“...

Этотъ конецъ подчеркиваетъ своимъ припѣвомъ еще одну особенность деревни, которая за тысячи лѣтъ существованія не додумалась до формъ общественной помощи. „Хожденіе въ кусочки“—единственное, что знаетъ деревня, какъ помощь своему брату. Общинный бытъ съ круговой

порукой, и не могъ додуматься до иной формы, такъ какъ примитивность ея ему вполнѣ по плечу.

Итакъ, деревня не приняла „московскихъ гостей“, думавшихъ найти здѣсь отдыхъ и покой. Художникъ какъ будто желаетъ дать отвѣтъ на прежніе призывы въ деревню, въ которой одной спасеніе отъ золъ современнаго „капиталистическаго строя“, развращающаго нравственно, губящаго физически народную массу. Правду жизни можно найти только въ деревнѣ; добрые нравы — только въ деревнѣ, сколько разъ мы это слышали, сколько бумаги истрачено на краснорѣчивыя доказательства деревенскаго превосходства предъ городской распущенностью, нищетой и всяческой скверной!

„Бѣдная это страна, ее надо любить“. Но любить не значитъ—закрывать глаза на всѣ недостатки и видѣть достоинства тамъ, гдѣ ихъ нѣтъ. Картину г. Чехова мы ни въ чемъ не находимъ утрированной, такъ какъ все, что онъ собралъ въ небольшомъ разсказѣ, можетъ быть подтверждено самыми точными изслѣдованіями и наблюденіями. Правда, онъ слишкомъ все сконцентрировалъ, вслѣдствіе чего получился букетъ необычайной яркости и крѣпости, но въ этомъ мы видимъ достоинство, а не недостатокъ. Онъ облегчаетъ этимъ выводы, заставляетъ даже невнимательнаго и непривыкшаго самостоятельно думать читателя—понять простую, но глубокую истину, до сихъ поръ признаваемую за ересь въ русской литературѣ, — что городская жизнь, при всѣхъ своихъ недостаткахъ, все-таки культурнѣе, выше, человѣчнѣе, чѣмъ деревенскій пресловутый „укладъ“.

Пожившій въ городѣ мужикъ, обжившійся и свыкшійся съ условіями работы и городской обстановки, уже рѣдко мирится съ деревенской жизнью. Она поражаетъ его на каждомъ шагу и во всемъ — въ семейныхъ отношеніяхъ, личныхъ и общественныхъ. Онъ не находитъ въ деревнѣ, того разнообразія жизни, которое давало бы ему возможность сравненія, служило бы ему объектомъ для работы мысли, будило бы послѣднюю, толкало впередъ. Деревня не развиваетъ своихъ дѣтей, она притупляетъ ихъ своимъ однообразіемъ. Фабричный, мастеровой, дворникъ, кухарка, лакей и прочій рабочій людъ города живетъ куда не сладко, но онъ видитъ кругомъ себя иную жизнь, онъ въ одинъ часъ, проведенный внѣ круга своихъ обычныхъ занятій, увидитъ и узнаетъ больше, чѣмъ мужикъ въ деревнѣ за день. Сталкиваясь въ городѣ съ массой новыхъ людей, онъ невольно воспринимаетъ что-нибудь, чего въ немъ не было ранѣе и что уже составляетъ нѣкоторый плюсъ. Онъ начинаетъ замѣчать такія вещи, которыхъ раньше не видѣлъ

даже, до того онѣ казались ему естественны. Такъ, Николая и его семью поражаетъ нечистоплотность, грязь, которую остальные члены семьи не замѣчаютъ, а Ѳеклѣ, никогда не выходившей за предѣлы деревни, эта грязь даже нравится, какъ нѣчто свое, родное. Жену Николая удивляетъ неугомонная безстыдная брань, которая никого — ни дѣтей, ни дѣвушекъ не смущаетъ. Николай заступается за свою дѣвочку, когда бабка бьетъ ее, его это возмущаетъ, когда чужой, хотя бы и бабка, бьетъ его дочь, и т. д.

На это развивающее, культурное вліяніе города наша литература не обращала до сихъ поръ вниманія, съ избыткомъ рисуя дурныя стороны городской жизни. Изслѣдователи и беллетристы какъ-то стороной проходили городъ, видя только его зады, и, возмущенные ихъ неприглядностью, съ отрадой и упованіемъ устремляли взоры въ деревню, гдѣ съ ними происходило обратное: они видѣли все хорошее деревни и сквозь розовые очки смотрѣли на дурное. Будучи слишкомъ правдивы, чтобы умолчать о послѣднемъ, они сейчасъ же находили или подыскивали „смягчающія вину обстоятельства", и въ результатѣ сложилось ходячее мнѣніе, что городъ губитъ, деревня — спасаетъ. О „трактирной цивилизаціи" написаны цѣлые трактаты, и въ публицистической, и въ беллетристической формѣ, но изнанка деревенской жизни если и фигурировала въ народнической литературѣ, то лишь какъ нѣчто наносное, временно привитое деревнѣ, которая сама по себѣ чиста и прекрасна. А между тѣмъ, деревня въ ея современномъ видѣ обладаетъ всѣми недостатками трактирной цивилизаціи, ея грязью, невѣжествомъ, развратомъ, и ни однимъ изъ ея достоинствъ. Да, достоинствъ, такъ какъ деревенская дичь и некультурность въ сравненіи даже съ трактирной цивилизаціей—поразительны. Главное, въ деревенской жизни не видно никакихъ культурныхъ зачатковъ. Здѣсь—одна борьба за существованіе, поставленная въ примитивныя условія, мало чѣмъ отличающіяся отъ условій животной жизни.

Нѣтъ, къ сожалѣнію, ничего не преувеличилъ г. Чеховъ. Онъ только какъ художникъ собралъ отдѣльныя, разсѣянныя черты, изобразивъ ихъ въ видѣ общей картины житья-бытья Халуевки. Такой конкретной Халуевки, можетъ быть, вы и не найдете. Но въ десяткахъ тысячъ „Халуевокъ", разсѣянныхъ по обширному лицу „пошехонской стороны", вы встрѣтите все то, что имъ описано, а во многихъ— многое и похуже...

Мало книгъ можно указать настолько поучительныхъ,

какъ „Въ голодный годъ“ В. Г. Короленко, вышедшая недавно третьимъ изданіемъ. Изъ всей литературы голоднаго года уцѣлѣла только она одна, но и ея довольно, чтобы составить себѣ ясное представленіе какъ о самомъ голодномъ годѣ, такъ и о томъ, какое огромное значеніе долженъ былъ онъ получить въ развитіи общественнаго самосознанія. Въ исторіи народнаго хозяйства онъ послужилъ гранью, годомъ перелома, когда давно назрѣвавшія внутри деревни явленія „разлада“ и „антагонизма“ прорвались и выступили наружу. Одновременно съ этимъ въ сознаніи общества тоже насталъ переломъ, обнаружившійся рѣзко и громко въ литературѣ. Разочарованіе въ народнической доктринѣ, недовѣріе къ упованіямъ, возлагавшимся на общину, и все болѣе и болѣе выяснявшаяся иллюзорность ея, получила въ этотъ годъ полное подтвержденіе.

Что же обнаружилъ голодный годъ?

На этотъ вопросъ пусть отвѣчаетъ талантливый лѣтописецъ, вдумчивый наблюдатель и несравненный художникъ по образной передачѣ своихъ наблюденій.

Онъ обнаружилъ „опасность“, говоритъ онъ на стр. 218—219.

„Опасность, во-первыхъ, въ народномъ невѣжествѣ, которое по объему равно народному долготерпѣнію. Опасность, во-вторыхъ, въ огромной бреши, которую послѣдніе годы сдѣлали въ народномъ хозяйствѣ. „Крестьянство рушится“,— эта фраза слышится теперь слишкомъ часто... Рушится крестьянство, какъ рушится дорога, подтопленная снизу весенней ростепелью. Опасность въ этихъ четвертяхъ мельницъ, въ этихъ тысячахъ мельничныхъ крыльевъ, быстро переходящихъ въ кулацкія руки изъ-за нѣсколькихъ мѣръ хлѣба, не выданнаго своевременно; въ этихъ тысячахъ головъ скота, безсильно падающихъ отъ безкормицы или тоже переходящихъ къ кулакамъ за безцѣнокъ... Годъ за годомъ оставлялъ свою рытвину, точно слѣдъ рѣки на отлогомъ берегу. Два послѣдніе года произвели уже настоящій обрывъ, точно послѣ наводненія... Рѣка народной жизни опять войдетъ въ русло, но теченіе уже будетъ не то“.

И далѣе авторъ рисуетъ цѣлую деревню, все населеніе которой такъ аттестуетъ себя:

„—Нѣшто мы жители, поглядите на насъ.

„—Какіе мы жители, что ужъ...

„Житель—это крестьянинъ, хозяинъ, человѣкъ самостоятельный, въ противоположность бездомному, безхозяйному, нищему. Трудно себѣ представить впечатлѣніе этихъ словъ „какіе мы жители“, когда цѣлая деревня говоритъ это о себѣ. Уничиженіе, уныніе, потупленные глаза, стыдъ соб-

ственнаго существованія... И невольно, какъ посмотришь, соглашаешься съ ними: какіе ужъ это жители!“ (стр. 231).

И такими „жителями“ оказался населеннымъ цѣлый уголъ уѣзда, который авторъ окрестилъ именемъ „Камчатки“. Читателю, которому стали извѣстны, одновременно съ сообщеніями г. Короленко, десятки другихъ такихъ же Камчатокъ, становилось жутко, и невольно напрашивались недобрыя мысли объ „укладѣ“, при которомъ живутъ эти „жители“. А наблюдатели, одинъ за другимъ, торопились докладывать, что „антагонизмъ“ интересовъ въ „Камчаткахъ“ ничѣмъ не уступаетъ такому же антагонизму въ городѣ. „Въ томъ и дѣло,—говоритъ г. Короленко,—что „мужика“, единаго и нераздѣльнаго, просто мужика—совсѣмъ нѣтъ; есть Ѳедоты, Иваны, бѣдняки, богачи, нищіе и кулаки, добродѣтельные и порочные, заботливые и пьяницы, живущіе на полномъ надѣлѣ и дарственники, съ надѣлами въ одинъ лапоть, хозяева и работники“ (стр. 106 — 107)... Словомъ, въ общинѣ все обстоитъ совершенно такъ, какъ у насъ.

Причемъ же, спрашивается, община, на которую намъ указывали, какъ на базисъ „благополучія“, какъ на спасительницу, ограждающую насъ отъ всѣхъ золъ?

„Міръ въ цѣломъ, со своимъ „равненіемъ по душамъ“, становится между голытьбой и помощью. Первую партію муки, присланной въ началѣ осени въ деревню, крестьяне тотчасъ же раздробили на микроскопическія доли. Досталось каждому по 5 фунтовъ! „Пошло на распылъ“,—острили по этому поводу. Въ одномъ уѣздѣ исправникъ, получивъ 100 р. отъ благотворительнаго комитета, сдалъ ихъ на руки властямъ большого села для помощи наиболѣе нуждающимся. „Міръ“ съ быстротою паровой машины раздѣлилъ деньги опять „по душамъ“: пришлось на душу по 7 к.“ И авторъ, а вмѣстѣ съ нимъ и читатели, находятъ такое отношеніе вполнѣ правильнымъ: стоитъ только отдѣлаться отъ навязаннаго, фиктивнаго „міра“ и взглянуть на дѣло просто, какъ оно есть. „Представьте только, что въ городѣ, гдѣ вы живете, ввели бы принудительныя и притомъ довольно крупныя пожертвованія, и скажите, какъ бы вы отнеслись къ этому. Деревня жертвуетъ не мало, по своему и добровольно: посмотрите на эти массы нищихъ, у каждаго окна получающихъ кусокъ дорогого хлѣба... Но принудительнаго пожертвованія, хотя бы и въ пользу своихъ односельцевъ, она избѣгаетъ тѣми средствами, какія у нея подъ руками. Въ этомъ отношеніи средній деревенскій мужикъ похожъ на средняго горожанина: онъ хочетъ платить только за себя. А такъ какъ ссуду потребуютъ со всего міра, т.-е.

съ плательщика, то и взять ее считаетъ себя въ правѣ плательщикъ".

Такимъ образомъ, „гармонія интересовъ въ средѣ крестьянскаго міра оказывается фикціей", по выраженію автора.

Потерявъ вѣру въ общину, убѣдившись наглядно въ голодный годъ въ фикціи особеннаго русскаго народнаго уклада, общественная мысль не могла успокоиться, не искать выхода изъ современнаго положенія. Прежде всего она отказалась отъ иллюзіи относительно общины, и это былъ огромный шагъ впередъ, за которымъ не замедлилъ второй. Понятія „капитализмъ", „капиталистическій строй хозяйства" перестали быть пугаломъ, отъ котораго всякій правовѣрный интеллигентъ долженъ былъ открещиваться, какъ отъ сатаны и дѣлъ его.

Выяснились всѣ темныя стороны общиннаго быта. Мы увидѣли „сельскій пролетаріатъ", въ сравненіи съ которымъ городской, лучше сказать, фабричный пролетаріатъ можетъ считаться обезпеченнымъ. Увидѣли невѣжество, болѣзни, пьянство и нищенство, процвѣтающія у насъ въ деревнѣ подъ покровомъ общины. Конечно, не одна она ихъ создала, но она ничего не выдвинула для борьбы съ ними, ни одного учрежденія, которое выросло бы въ ея нѣдрахъ и, глядя на которое, можно было бы сказать, что община обладаетъ внутренней созидательной силой. Что невѣжество, пьянство, болѣзни, нищенство являются непосредственнымъ отраженіемъ экономическаго строя, съ этимъ едва ли кто станетъ спорить теперь. Но если такъ, то стоитъ ли такъ усиленно цѣпляться за хозяйственный строй, создавшій перечисленныя прелести?

А. П. Чеховъ—талантъ мертвой полосы [1]).

Бываютъ таланты двоякаго рода—дѣйственные и созерцательные. Первые задаютъ тонъ жизни, такъ или иначе руководятъ ею, создаютъ направленія въ литературѣ, вызываютъ послѣдователей и подражателей. Они ищутъ новыхъ путей, если жизнь вдругъ замкнулась, ушла въ глубь, въ которую они вдумываются и проникаютъ. Если ихъ даже захватитъ мертвая полоса общественной жизни, когда надъ всѣми преобладаетъ сумеречное настроеніе и ни одного яркаго пятна не выдѣляется на общей сѣрой картинѣ,—дѣйственные таланты сами выступаютъ особенно ярко и вну-

[1]) Декабрь 1897 г.

шительно, неотразимо привлекая къ себѣ всѣ сердца, какъ одинокіе яркіе свѣточи, разгоняющіе тьму и ободрительно дѣйствующіе на усталыхъ, потерявшихъ надежду путниковъ.

Но есть таланты и иного рода, пожалуй, не уступающіе по внѣшней силѣ и блеску, только какіе-то мертвые. Въ нихъ нѣтъ творческаго начала, которое въ себѣ самомъ находитъ источникъ жизни и дѣлится имъ съ окружающими. Таланты такого рода, какъ превосходно отшлифованныя зеркала, великолѣпно отражаютъ жизнь, но лишь въ одной плоскости. Лучъ свѣта, упавшій на такое зеркало, отразится правильнымъ и ослѣпительнымъ пучкомъ, такъ что глазамъ больно. Только въ немъ нѣтъ игры, разнообразія,— онъ одноцвѣтенъ, и при самыхъ различныхъ положеніяхъ остается все тотъ же.

Талантъ г-на Чехова до извѣстной степени напоминаетъ намъ такое же зеркало, въ которомъ съ удивительной правдой отразилась преобладающая сторона общественной жизни послѣднихъ годовъ. Сумеречное, хмурое настроеніе этой жизни нашло въ немъ лучшаго своего выразителя. Какъ художникъ, г. Чеховъ несравненно умѣетъ живописать все, что видитъ, и эта его особенность, подкупающе дѣйствующая еще въ раннихъ его произведеніяхъ, какъ „Пестрые разсказы“, остается неизмѣнной. Но онъ напоминаетъ близорукаго художника, который не можетъ охватить всей картины, и потому центра въ ней нѣтъ, перспектива не вѣрна, и въ общемъ, при всей сложности, его большія произведенія всегда страдаютъ однообразіемъ. Масса деталей, превосходно выписанныхъ, и нѣтъ чего-то объединяющаго, что придавало бы всему опредѣленность и ясность. Очень характерной въ этомъ отношеніи является его „Степь“, первое большое произведеніе, съ которымъ выступилъ г. Чеховъ послѣ ряда превосходныхъ миніатюръ. „Степь“, въ сущности, не что иное, какъ рядъ такихъ же отдѣльныхъ маленькихъ картинокъ, своего рода шедевровъ по яркости красокъ и тщательности отдѣлки, но всѣ онѣ не слагаются въ одно стройное цѣлое, которое художникъ осмыслилъ бы идеей, обобщилъ, представилъ бы зрителю подъ опредѣленнымъ угломъ зрѣнія. Читая подъ-рядъ произведенія г. Чехова, выносишь такое впечатлѣніе, что для автора вся жизнь представляется какой-то степью, въ которой живутъ люди безъ цѣли, безъ желаній, безъ страстей. На всемъ лежитъ отпечатокъ великой тоски существованія, не согрѣтаго ни любовью, ни ненавистью, не возбужденнаго борьбой, хотя бы и ничтожной по существу. Тоска и усталость томятъ его виднѣйшихъ героевъ, какъ, напримѣръ, стараго знаменитаго ученаго профессора, или его Иванова (въ драмѣ того

же названія). Къ полному собранію своихъ произведеній г. Чеховъ могъ бы взять эпиграфомъ безотрадное четверостишье Пушкина:

Цѣли нѣтъ передо мною,
Пусто сердце, празденъ умъ,
И томитъ меня тоскою
Однозвучный жизни шумъ.

Это не та „великая грусть“, на которую иностранная критика указываетъ, какъ на отличительную черту въ душѣ русскихъ писателей. А именно тоска жизни, taedium vitae римлянъ временъ имперіи, потерявшихъ смыслъ существованія.

Преобладавшее въ 80-тые годы унылое настроеніе отравило г. Чехова, который не совладалъ съ нимъ, отдался ему всецѣло во власть и замеръ въ немъ. Въ самыхъ послѣднихъ его произведеніяхъ это настроеніе, повидимому, даже усилилось. Его „Печенѣгъ“, разсказъ, появившійся въ одномъ изъ октябрьскихъ номеровъ „Рус. Вѣдомостей“, производитъ впечатлѣніе безысходнаго мрака. Герой разсказа, уѣзжая со станціи, гдѣ въ ожиданіи лошадей его удручали и хозяинъ, и его жена, и вся окружающая обстановка, бросаетъ имъ на прощаніе: „Вы всѣ мнѣ надоѣли“. Этотъ небольшой, превосходно написанный очеркъ, производитъ впечатлѣніе именно такого вырвавшагося изъ души вопля замученнаго жизнью человѣка, котораго ничто-ничто уже не можетъ заинтересовать, увлечь, возбудить. Все и всѣ надоѣли своей мелочностью, низостью, безсознательной жестокостью и, главное, ненужностью своего существованія.

То же самое, хотя не столь сконцентрированное, чувствуется въ большой повѣсти „Моя жизнь“, разсказъ провинціала. Повѣсть издана въ одномъ томикѣ съ „Мужиками“, и критики, накинувшіеся на г. Чехова за сугубо-мрачный взглядъ его на деревню, могутъ утѣшиться, такъ какъ взгляды автора на городъ, выраженные въ „Моей жизни“, еще безотраднѣе. Въ деревнѣ г. Чеховъ указалъ на ея некультурность, невѣжество, дикость нравовъ, но ни однимъ словомъ не попрекнулъ мужиковъ, что они заѣдаютъ чужую жизнь, высасываютъ соки у другихъ. Не то въ городѣ, какъ онъ представляется его герою, молодому человѣку, одному изъ тѣхъ неудачниковъ, которыхъ такъ много можно встрѣтить въ любомъ провинціальномъ городкѣ. Его образованіе жалкое, обрывочное. Систематическаго курса онъ не могъ одолѣть, такъ какъ всѣмъ существомъ понималъ ненужность, непригодность мертвящей схоластики, составляющей по нынѣ суть нашей средней школы. Канцелярская работа, къ которой его принуждаютъ ради добы-

ванія куска хлѣба, еще болѣе противна, такъ какъ ея безсмысленная сторона только и открыта ему. „Въ гимназіи у меня было непобѣдимое отвращеніе къ греческому языку, такъ что меня должны были взять изъ четвертаго класса. Долго ходили репетиторы и приготовляли въ пятый классъ, потомъ я служилъ по различнымъ вѣдомствамъ, проводя большую часть дня совершенно праздно, и мнѣ говорили, что это — умственный трудъ; моя дѣятельность въ сферѣ учебной и служебной не требовала ни напряженія ума, ни таланта, ни личныхъ способностей, ни творческаго подъема духа: она была машиной“. Оглядываясь на жизнь другихъ, онъ видитъ ту же машинную работу, съ нехорошей подкладкой эксплуатаціи чужого труда. „Я не любилъ и не понималъ этихъ людей“, говоритъ онъ. Они были ему скучны, чужды и даже гадки.

„Я не понималъ, для чего и чѣмъ живутъ всѣ эти шестьдесятъ пять тысячъ людей. Я зналъ, что Кимры добываютъ себѣ пропитаніе сапогами, что Тула дѣлаетъ самовары и ружья, что Одесса портовый городъ, но что такое нашъ городъ и что онъ дѣлаетъ — я не зналъ. Большая Дворянская и еще двѣ улицы почище жили на готовые капиталы и на жалованье, получаемое чиновниками изъ казны; но чѣмъ жили остальныя восемь улицъ, которыя тянулись параллельно версты на три и исчезали за холмомъ,—это для меня было всегда непостижимой загадкой. И какъ жили эти люди, стыдно сказать! Ни сада, ни театра, ни порядочнаго оркестра; городская и клубная библіотеки посѣщались только евреями подростками, такъ что журналы и новыя книги по мѣсяцамъ лежали неразрѣзанными; богатые и интеллигентные спали въ душныхъ, тѣсныхъ спальняхъ, на деревянныхъ кроватяхъ съ клопами, дѣтей держали въ отвратительно грязныхъ помѣщеніяхъ, называемыхъ дѣтскими, а слуги, даже старые и почтенные, спали въ кухнѣ на полу и укрывались лохмотьями“.

Такова внѣшность „города“, и приходится признать, что въ ней собрано много вѣрныхъ черточекъ, хорошо знакомыхъ всякому, кому случалось подолгу жить въ провинціи. Огромное большинство русскихъ городовъ возникло и существуетъ неизвѣстно какъ и неизвѣстно для чего. Когда-то просто административные центры, они и теперь держатся только этимъ, жизнь ихъ обходитъ, выбирая русло для себя по условіямъ, ничего общаго не имѣющимъ съ административными требованіями. Внѣшняя культура этихъ городовъ только жалкій покровъ, подъ которымъ скрыта примитивность нравовъ русскаго городского обывателя, развѣ на одну ступень стоящаго выше мужика. Не лучше обстоитъ дѣло

и съ сущностью этой жизни, какъ ее рисуетъ герой, устами котораго, очевидно, говоритъ авторъ.

„Во всемъ городѣ я не зналъ ни одного честнаго человѣка. Мой отецъ бралъ взятки и воображалъ, что это ему даютъ изъ уваженія къ его душевнымъ качествамъ; гимназисты, чтобы переходить изъ класса въ классъ, поступали на хлѣба къ своимъ учителямъ, и эти брали съ нихъ большія деньги; жена воинскаго начальника во время набора брала съ рекрутовъ; во время набора брали и врачи, а городовой врачъ и ветеринаръ обложили налогомъ мясныя лавки и трактиры; въ уѣздномъ училищѣ торговали свидѣтельствами, дававшими льготу по третьему разряду; благочинные брали съ подчиненныхъ причтовъ и церковныхъ старостъ; въ городской, мѣщанской, во врачебной и во всѣхъ прочихъ управахъ каждому просителю кричали во слѣдъ: „благодарить надо!“—и проситель возвращался, чтобы дать 30—40 к. А тѣ, которые взятокъ не брали, какъ чины судебнаго вѣдомства, были надменны, подавали два пальца, отличались холодностью и узостью сужденій, играли много въ карты, много пили, женились на богатыхъ и, несомнѣнно, имѣли на среду вредное, развращающее вліяніе. Лишь отъ однѣхъ дѣвушекъ вѣяло нравственною чистотой; у большинства изъ нихъ были высокія стремленія, честныя, чистыя души; но онѣ не понимали жизни и вѣрили, что взятки даются изъ уваженія къ душевнымъ качествамъ, и, выйдя замужъ, скоро старились, опускались и безнадежно тонули въ тинѣ пошлаго, мѣщанскаго существованія“.

И опять вѣрная, старая знакомая картина, которую мы столько разъ уже видѣли въ произведеніяхъ лучшихъ писателей. Мрачное, унылое настроеніе автора находитъ себѣ богатую пищу въ городѣ, какъ нашло ее и въ деревнѣ. Народникамъ нечего жаловаться на односторонности г. Чехова, который не щадитъ города, но, какъ увидимъ дальше, также бѣжитъ изъ города, гдѣ не видитъ ничего, что примирило бы его съ нимъ, дало бы надежду на возможность лучшей жизни, лучшей будущности для этихъ тысячъ ничтожествъ, скопившихся въ восьми улицахъ, „теряющихся за холмомъ“.

Герой разсказа бросаетъ „интеллигентную“ жизнь, т. е. отказывается праздно сидѣть въ канцеляріяхъ и этимъ путемъ добывать хлѣбъ. А „хлѣбъ“ въ его жизни, какъ и въ жизни остальныхъ, лишенныхъ капитала и взятокъ, играетъ первое мѣсто. Около него, по наивному признанію героя, сосредоточиваются всѣ его мечты. Онъ постоянно чувствуетъ себя недостаточно сытымъ. Его постоянно тяготитъ физическое ощущеніе голода, что сближаетъ его съ массою людей,

которая „работаетъ только для куска хлѣба и можетъ говорить только о харчахъ“. Разсказчикъ становится маляромъ, благодаря знакомству съ мастеровымъ Рѣдькой, который фигурируетъ въ повѣсти, какъ представитель физическаго труда. И здѣсь мрачный тонъ разсказа не мѣняется. Тоска автора скорѣе усиливается, когда онъ разсматриваетъ этого тщедушнаго труженика, жалкаго, вѣчно больного, съ порывами къ лучшей жизни, выразившимися въ комичной философіи что „тля ѣстъ траву, ржа ѣстъ желѣзо, а лжа—душу“. Въ немъ копошатся безсознательные инстинкты, которые не находятъ исхода. Онъ, въ сущности своего рода художникъ и философъ. Любитъ театръ, для котораго расписываетъ декораціи, любитъ размышленія о бренности жизни, иногда разражается глубокомысленными замѣчаніями въ родѣ слѣдующаго: „Я такъ понимаю, ежели какой простой человѣкъ или господинъ беретъ даже самый малый процентъ, тотъ уже есть злодѣй. Въ такомъ человѣкѣ не можетъ правда существовать“.

Въ обществѣ Рѣдьки и его мастеровъ герой лучше себя чувствуетъ, не видя, по крайней мѣрѣ, праздной жизни, взятокъ, поѣданія другихъ для собственнаго существованія. „Я жилъ теперь среди людей, для которыхъ трудъ былъ обязателенъ и неизбѣженъ и которые работали, какъ ломовыя лошади, часто не сознавая нравственнаго значенія труда и даже никогда не употребляя въ разговорѣ самаго слова трудъ. Около нихъ и я тоже чувствовалъ себя ломовикомъ, все болѣе проникаясь обязанностью того, что я дѣлалъ, и это облегчало мнѣ жизнь, избавляя отъ всякихъ сомнѣній. Въ первое время все занимало меня, все было ново, точно я вновь родился. Я могъ спать на землѣ, могъ ходить босикомъ, а это чрезвычайно пріятно; могъ стоять въ толпѣ простого народа, никого не стѣсняя, и когда на улицѣ падала извозчичья лошадь, то я бѣжалъ и помогалъ поднять ее, не боясь запачкать свое платье. А, главное, я жилъ на свой собственный счетъ и никому не былъ въ тягость“. Но тутъ и все удовлетворенье, которое онъ получаетъ отъ подобной жизни. Въ своихъ товарищахъ онъ замѣчаетъ и ложь, и надувательство заказчиковъ, и кражу матеріаловъ, и затаенную злобу ко всѣмъ, кто лучше живетъ. Поражаетъ его также безсмысленная злость окружающихъ, которые никакъ не могутъ примириться съ мыслью, что человѣкъ ушелъ отъ сравнительно праздной и обезпеченной жизни въ простые рабочіе, опустился, по ихъ мнѣнію. Очень комичное впечатлѣніе производитъ сцена съ губернаторомъ, который по просьбѣ отца героя уговариваетъ его бросить „предосудительный образъ жизни“. Въ спорахъ съ пріяте-

лемъ-докторомъ, который на глазахъ опростившагося героя ухаживаетъ за его сестрой и соблазняетъ ее въ концѣ концовъ, выясняется основной мотивъ жизни героя, вначалѣ неясный для него самого.

Здѣсь опять слышится голосъ автора, который говоритъ за героя, потому что мысли, излагаемыя послѣднимъ, какъ-то плохо вяжутся съ его общей смутной и неясной фигурой. „Нужно, — говоритъ онъ, — чтобы сильные не порабощали слабыхъ, чтобы меньшинство не было для большинства паразитомъ или насосомъ, высасывающимъ изъ него хронически лучшіе соки, т. е. нужно, чтобы всѣ, безъ исключенія—и сильные, и слабые, богатые и бѣдные, равномѣрно участвовали въ борьбѣ за существованіе, каждый самъ за себя, а въ этомъ отношеніи нѣтъ лучшаго нивеллирующаго средства, какъ физическій трудъ, въ качествѣ общей, для всѣхъ обязательной повинности“. Послѣдняя фраза какъ бы взята у Беллами, а общая постановка вопроса напоминаетъ толстовскія доктрины. Но мы жестоко разочаровались бы, если бы причислили г. Чехова къ сонму проповѣдниковъ опрощенія. Скорѣе, напротивъ, вся повѣсть является, какъ бы доказательствомъ непригодности этой философіи къ жизни. Печальный тонъ разсказа все усиливается, переходя къ концу въ мрачный. Полная безнадежность, ничего, кромѣ жалкаго существованія ради „хлѣба“. Дѣвушка, которая, увлекшись оригинальной жизнью героя-маляра, становится его женой, уходитъ отъ него, справедливо негодуя на такое почти животное существованіе. Счастье его сестры, которую онъ не сумѣлъ и не могъ поддержать во-время, разбито. Она, какъ и онъ, уходитъ изъ этого „города“, въ которомъ ложь и взаимная ненависть служатъ единственными связующими узами. Послѣдняя картина, когда братъ и сестра уходятъ ночью изъ „интеллигентнаго“ общества на окраину города, гдѣ ютится герой, наводитъ удручающую тоску.

Гдѣ же выходъ? Куда же идти бѣдному изможденному герою? Авторъ не даетъ отвѣта, оставляя героя въ средѣ маляровъ, гдѣ онъ находитъ одно утѣшеніе, что онъ никому не въ тягость, не высасываетъ, не заѣдаетъ чужую жизнь. Плохое утѣшеніе, отъ котораго отвернулась его жена. „Мы много работали,—говоритъ она,—много думали, мы стали лучше отъ этого, — честь намъ и слава,—мы преуспѣли въ личномъ совершенствѣ; но эти наши успѣхи имѣли-ли замѣтное вліяніе на окружающую жизнь, принесли ли пользу хоть кому нибудь? Нѣтъ. Невѣжество, физическая грязь, пьянство, поразительно высокая дѣтская смертность,—все осталось, какъ и было, и оттого, что ты

пахалъ и сѣялъ, а я тратила деньги и читала книжки, никому не стало лучше. Очевидно, мы работали только для себя и широко мыслили только для себя". И герой ничего не находитъ въ отвѣтъ, ничѣмъ не въ силахъ удержать страстно и нѣжно любимую женщину. Онъ чувствуетъ, что съ ней уходитъ изъ его жизни свѣтъ и тепло, что впереди все сведется только къ добыванію хлѣба, къ жалкому прозябанію, на манеръ его пріятеля Рѣдьки съ его примитивной философіей. Авторъ оставляетъ его примирившимся съ жизнью, но читатель разстается неудовлетвореннымъ, подъ смутнымъ впечатлѣніемъ, что и эта „Моя жизнь" такая же ненужная, безцѣльная, какъ и жизнь тѣхъ шестидесяти тысячъ, отъ которыхъ герой хотѣлъ уйти и все-таки не ушелъ, потому что безъ нихъ и его малярный трудъ потерялъ бы всякое значеніе.

Какъ и всѣ большія вещи г. Чехова „Моя жизнь" не даетъ цѣльной картины, а рядъ прекрасно выписанныхъ отдѣльныхъ моментовъ. Лучше всего выходятъ у автора не главныя лица, а тѣ, которыхъ онъ затрагиваетъ мимоходомъ, какъ, напр., мельникъ въ деревнѣ, гдѣ герой проводитъ лѣто съ женою, Рѣдька, инженеръ, отецъ жены и другіе. Нѣкоторыя картины природы удивительно живы, захватываютъ своей яркостью, но къ нимъ мы уже привыкли у такого мастера внѣшней живописи, какъ, г. Чеховъ, и не на нихъ, конечно, сосредоточивается вниманіе. Въ общемъ „Моя жизнь"—произведеніе, любопытное лишь какъ попытка въ художественной формѣ рѣшить одинъ изъ жгучихъ вопросовъ. Попытка неудачна, потому что авторъ самъ не вѣритъ въ исключительную правду физическаго труда. Къ тому же, г. Чеховъ слишкомъ художникъ, чтобы быть проповѣдникомъ, и не можетъ, если бы даже хотѣлъ, „сочинять" то, чего жизнь ему не дала и не даетъ.

Н. И. Златовратскій [1]).

„Я рѣшительно не вѣрилъ глазамъ: мнѣ казалось, что кругомъ меня декораціи, и въ эти декораціи волшебною рукою загнаны заколдованные принцы, спящія царевны, золотокудрые пейзане и пейзанки"...

Такими словами характеризуетъ свое впечатлѣніе отъ разговора съ ямщикомъ одно лицо у г. Златовратскаго въ

[1]) Январь 1898 г.

разсказѣ „Барская дочь“. И мы не находимъ лучшей характеристики для всѣхъ произведеній этого автора собранныхъ имъ въ трехъ увѣсистыхъ томахъ двухстолбцовой печати. Предъ нами не жизнь, не деревня, не городъ, не люди, а декораціи расписанные самоучкой живописцемъ, припущено въ нихъ, сколько влѣзло, сусальнаго золота, яри-мѣдянки и киновари, и въ нихъ „загнаны“ всякія рѣдкостныя дива. Тутъ „золотокудрые пейзане и пейзанки“, благочестивые Пиманы, сладкоглаголивые Минаи и Мины; рядомъ косноязычные Башкировы, „золотыя сердца“, восторженныя дѣвицы, малорѣчивыя, прерывающія свою не мудрую рѣчь многочисленными многоточіями; „мечтатели“ всѣхъ сортовъ и видовъ, „заводскіе хлопцы“, „вольные старцы“ и прочій людъ безподобный, и среди нихъ сладко улыбающаяся, добродушная физіономія почтеннаго автора, сразу подкупающая своимъ благодушіемъ, мягкостью тона разсказа и мечтательностью.

Открывая первый томъ, вы сразу натыкаетесь на премилые очерки „Разсказы заводскаго хлопца“,—замѣтьте—„хлопца“, а не просто мальчика или парня. Слово хлопецъ настраиваетъ читателя на мечтательный ладъ, оно отдаетъ Малороссіей, дидами, дивчинами, галушками и прочимъ аксесуаромъ хохлацкаго обихода. Васъ изумляетъ нѣсколько, что далѣе нѣтъ ни мати Украины, ни галушекъ, а рѣчь все время идетъ о стекляномъ заводѣ, затерявшемся въ глуши исконно русскихъ муромскихъ лѣсовъ. Но ваше недоумѣніе богато вознаграждено декоративнымъ искусствомъ разсказчика. Фигурируютъ тутъ все крохотные, но такія очаровательныя фарфоровыя куколки, которыя умильно лепечутъ, сладко поютъ, пьютъ еще умильнѣе и еще слаще льютъ токи блаженныхъ слезъ.

„И пошелъ я, братики, вольный человѣкъ, по заводамъ и много-много я исходилъ ихъ, много люда разнаго видѣлъ, и вездѣ люди заводскіе любили меня, потому приходилъ я къ нимъ съ добрымъ словомъ, съ утѣшеніемъ и весельемъ. Пришелъ я къ вамъ, братики, въ ваши дремучіе лѣса, привѣтъ вамъ принесъ отъ всего мірского люда, что живетъ за вашими лѣсами... Примите меня—будемъ въ дружбѣ жить, и умирать здѣсь останусь, потому что некуда мнѣ идти, старъ сталъ... Немного мнѣ, милые, надыть: хлѣбушка да водки, да добраго слова отъ добрыхъ вашихъ душъ—и умирай старикъ... И запой, старче, пока живъ, пѣсню въ усладу заводскому люду“.

И запѣлъ старецъ, и заигралъ на гармоникѣ, а заводскій людъ дивуется-радуется: „И что это у насъ за человѣкъ проявился, старецъ Божій“?

Эти разсказы были написаны въ 1868—1870 гг., какъ значится на стр. 27 перваго тома, и съ тѣхъ поръ, вплоть до юбилея, который съ такимъ трогательнымъ единодушіемъ былъ отпразднованъ въ Москвѣ въ концѣ прошлаго года, г. Златовратскій не мѣнялъ своей манеры „вольнаго старца", поющаго въ усладу русскому интеллигенту дива разныя о декоративномъ мужичкѣ. Вначалѣ пѣсни его льются, какъ тихій ручеекъ, катятся, какъ струйки по чистому песочку, журча по свѣтлымъ камушкамъ, шелестя по травушкѣ-муравушкѣ. Но чѣмъ далѣе, чѣмъ болѣе приходитъ въ возрастъ г. Златовратскій, тѣмъ громче становится пѣсня добрая, раскатистѣе, и начинаетъ, наконецъ, въ „Устояхъ" литься каскадомъ, широко шумящимъ и бурнымъ, переходя въ мѣрный гекзаметръ эпическаго разсказа:

„Спитъ счастливый Пименъ и снится ему: какъ, чѣмъ и за что онъ сподобился этого счастья. То было давно, лѣтъ больше полсотни назадъ. Ни мать, ни отца онъ съ сестрою не помнитъ, и первое, что прежде коснулось сознанія его, былъ „міръ" деревенскій. Страшное было въ немъ что-то, и вмѣстѣ въ немъ было все—и защита, и сила, и правда".

Такъ начинается въ „Устояхъ" глава „Сонъ счастливаго мужика". Пѣвецъ русской общины, міра, мужичка созрѣлъ окончательно и пѣлъ—себѣ въ усладу, читателямъ въ поученіе, киритикѣ на радость, русской литературѣ въ честь и утѣшеніе. Въ пѣсняхъ г. Златовратскаго есть что-то гипнотизирующее, нужно нѣкоторое усиліе, чтобы стряхнуть навѣянныя ими сладкія грёзы и увидѣть, что все это вымыселъ доброй души. А въ свое время, когда этотъ гипнозъ поддерживался дружно всей народнической литературой—и совсѣмъ было невозможно оторваться отъ декоративныхъ очерковъ г. Златовратскаго со всѣмъ антуражемъ народническаго жанра. Въ свою очередь, современному читателю совершенно невозможно войти теперь въ настроеніе сладкоголосаго пѣвца деревенскаго міра, и на каждомъ шагу, даже въ лучшихъ его произведеніяхъ вы чувствуете дѣланность, искусственность построенія, сочинительство и отсутствіе здоровой, жизненной правды. Остановимся на нѣкоторыхъ его разсказахъ подробнѣе, чтобы подтвердить наше положеніе.

Вслѣдъ за хлопцами идутъ „Крестьяне присяжные", написанные въ началѣ семидесятыхъ годовъ, когда суды съ присяжными только что еще начали дѣйствовать. Выбранные изъ крестьянъ присяжные идутъ въ городъ, и здѣсь начинается сочинительство, которое идетъ, все возрастая. На первомъ же ночлегѣ они слышатъ изъ устъ

крестьянина извозчика благословеніе и напутствіе: „за благодушнаго-то судью молитва въ народѣ не пропадетъ“. Далѣе они встрѣчаютъ суроваго деревенскаго „статистика“, учитывающаго деревенскіе грѣхи. Плохо, братцы, дико въ нашей палестинѣ! Судите строго-праведно, други мои! можетъ, и поослабнетъ грѣхъ-то! Подъ вліяніемъ этого моралиста, крестьяне задумываются, а вмѣстѣ съ нимъ и авторъ: „Такъ называемые культурные люди“ не могутъ имѣть даже смутнаго ощущенія этой близости (къ народу и къ его несчастью). Для нихъ народный „грѣхъ“, „несчастіе“ есть не болѣе, какъ „абстрактная идея“ права (выражаясь ихъ словами); для народа—это „боль человѣка съ плотью и кровью“. Ѳомушка (одинъ изъ присяжныхъ), вспоминая Архипа (втрѣченнаго моралиста), думалъ, ежели осудить человѣка „грѣха и несчастія“, то какъ бы не превысить мѣру Господня наказанія, и какъ бы тому человѣку больнѣе не стало, чѣмъ по совѣсти слѣдуетъ. Въ то время, какъ, по понятіямъ однихъ „грѣхъ“ начинается съ момента преступнаго акта и требуетъ наказанія,—для крестьянина онъ уже самъ по себѣ есть часть „кары и несчастья“, начало взысканія карающаго Бога за одному ему вѣдомые, когда-то совершенные поступки“. Такими поясняющими отступленіями и далѣе руководитъ авторъ неопытнаго читателя въ уразумѣніи всей глубины крестьянскаго міровоззрѣнія, въ то же время устраивая на пути своихъ присяжныхъ рядъ сценъ, гдѣ они какъ бы испытуютъ свое призваніе предварительно. Такъ, они судятъ лѣсрика и лѣсовора, устраивая сцену суда, отрывокъ изъ которой позволимъ себѣ привести для характеристики декоративной живописи г. Златовратскаго. Тотъ самый Ѳомушка, размышленія котораго мы привели выше и который, по автору, въ группѣ присяжныхъ олицетворяетъ „мірскую совѣсть“, вступается за злополучнаго мужика, пойманнаго на мѣстѣ кражи лѣсникомъ.

„ — А ты вотъ что подумай, — заговорилъ Ѳомушка, — добро-то тебѣ здѣсь, по лѣсной жизни, не часто, чай, дѣлать приходится? А намъ на старости нашихъ лѣтъ съ тобою, на гробъ смотрючи, добро то бы не слѣдъ упускать... И такъ отъ него, отъ лѣсу-то, душа черствѣетъ, такъ не дѣло бы тебѣ еще на себя звѣрское то обличіе напущать...

„ — Поблажники и есть... Свой братъ!

„ — Ну, скажи-ка ты намъ, судьямъ, какъ мы его осудимъ, обличіе твое вспоминаючи, строгій воинъ? Ну? — наступалъ на него Ѳомушка.

„ — Мы въ это не входимъ.

„ — Ежели ты въ это не входишь, такъ ты хоть образъ-то звѣрскій сокрой... Да сходи ты въ Божью церковь,—все

грознѣе говорилъ Ѳомушка,—да возьми ты къ себѣ въ хижину-то ребячью душу, какихъ много по нашимъ мѣстамъ сиротливыми бродитъ. Она-то, душа ребячья, сведетъ съ тебя узоры-то звѣрскіе, что мягкій воскъ растаетъ сердце твое отъ нея... Вѣрь, по себѣ знаю! Былъ и я лѣсникомъ. Обнялъ меня лѣсъ, охватилъ, не вынесла душа, руки хотѣлъ на себя наложить... И случись тутъ старуха странная; говоритъ: возьми, Ѳома, младенца на вскормленье,—лѣсъ надъ тобою силу потеряетъ, тоска у тебя съ души сойдетъ, отъ ребячьяго лика рукой тугу сниметъ... Сиротинка у насъ на селѣ былъ,—взялъ".

Умиленный лѣсникъ отпускаетъ мужичка, а присяжные шествуютъ дальше, подготовляясь по дорогѣ къ ожидающему ихъ дѣлу на „наглядныхъ" примѣрахъ, которые имъ устраиваютъ услужливый авторъ. Въ городѣ происходитъ столкновеніе мірской правды съ городскимъ зломъ, подкупомъ и обольщеніемъ, отчего одинъ изъ присяжныхъ сбѣгаетъ, а Ѳомушка, разнемогшись еще въ дорогѣ, умираетъ.

Не менѣе искусственно построенъ разсказъ „Въ артели". Разсказъ ведется отъ перваго лица,—это излюбленная форма г. Златовратскаго, кладущая еще болѣе субъективный отпечатокъ на все, что онъ рисуетъ. И въ артели нѣтъ живыхъ лицъ, а созданья благодушной фантазіи автора, выдумывающей какую-то сладостную идиллію въ петербургскихъ углахъ, гдѣ артельщики водовозы ведутъ душевнѣйшіе разговоры, а авторъ ихъ подхватываетъ и заноситъ въ поученіе интеллигенціи.

Эти два очерка „Крестьяне присяжные" и „Въ артели" лучше другихъ Въ нихъ не такъ сильно отдаетъ елейностью г. Златовратскаго, они написаны хорошимъ языкомъ, безъ слащавости и приторнаго умиленія. Но и въ нихъ фигурируютъ не люди, а скорѣе абстракціи, хотя эта особенность г. Златовратскаго еще не проявилась здѣсь съ такой силой, какъ въ главныхъ его произведеніяхъ—„Устои", „Деревенскія будни" и „Золотыя сердца". Что г. Златовратскій не чуждъ пониманія художественной правды и не всегда рисовалъ фарфоровыхъ мальчиковъ и мужичковъ, видно какъ въ упомянутыхъ разсказахъ, такъ и въ нѣкоторыхъ другихъ, напр., „Предводитель золотой роты", начало котораго сдѣлало бы честь Гл. Успенскому. Къ сожалѣнію, и этотъ разсказъ испорченъ дѣланнымъ концомъ, въ которомъ проглядываетъ никогда не покидающее автора желаніе не столько рисовать, сколько морализировать и поучать, крайне затрудняющее чтеніе произведеній г. Златовратскаго, Художественный талантъ, отпущенный ему отъ природы, онъ окончательно потопилъ въ фантастическихъ предста-

вленіяхъ о какой-то невѣдомой правдѣ, которую надо искать вп деревнѣ, для чего предварительно требуется—„отрѣшеніе“, а затѣмъ „вѣра сердца“.

„Золотыя сердца“ должны иллюстрировать эти двѣ особенности истиннаго человѣка, какимъ онъ представляется г. Златовратскому. Его излюбленный герой Башкировъ „отрѣшается“ отъ города и уходитъ въ деревню, гдѣ лѣчитъ мужиковъ. Онъ не то цыганъ, не то башкиръ по рожденью, не русскій во всякомъ случаѣ. Почему понадобилась это чисто внѣшняя черта непонятно. Имѣй мы дѣло съ авторомъ французомъ, было бы ясно, что авторъ желаетъ показать вліяніе наслѣдственности, напр., и ужъ, конечно, ни въ чемъ подобномъ нельзя заподозрить нашего автора. Башкировъ физически уродъ, но тѣмъ совершеннѣе его душевныя качества. Онъ—„двухъ-этажная башка“, все ему дается съ полуслова, память, способности—все первый сортъ, и онъ, что самое главное, понимаетъ и знаетъ народъ. У него есть „устои“, а каковы они, авторъ особенно не распространяется, но пытается въ одной сценкѣ выяснить, въ чемъ дѣло, почему Башкирову доступенъ народъ. Приводится слѣдующій знаменательный діалогъ.

„ — Скажи, Башкировъ, — заговорилъ пріятель, — ты хорошо, вѣдь, знаешь простой народъ?

„ — Чаво я знаю? знаю я Петра да Сидора. Вотъ чаво я знаю! (Нужно замѣтить, что Башкировъ говорилъ почти невозможнымъ для порядочнаго общества языкомъ: это была смѣсь семинарскаго жаргона съ мужицкимъ; да кромѣ того, онъ говорилъ протяжно, лѣниво ворочая языкомъ).

„ — Ну, да хоть этого Петра да Сидора изучилъ же ты? Вотъ они съ тобой сходятся, тебѣ довѣряютъ. Ты, значитъ, знаешь, чѣмъ разрушить ту стѣну недовѣрія, которая существуетъ между нами и ими?

„ — Знаю,—протянулъ Ванюша, хитро улыбнувшись.

„ — Въ чемъ же, въ чемъ же штука-то? — вскрикнулъ обрадовавшійся юноша:—трудно?

„ — Нѣтъ, ничего... легко!

„ — Легко?

„ — Не сумлѣвайся... легко...

„ — Ну такъ въ чемъ же штука-то?

„ — Штука-то?.. Былъ нещщастнымъ!

„Пріятель отчего-то переконфузился...“

Отчего переконфузился пріятель, дѣйствительно, трудно понять, и авторъ этого не объясняетъ.

Вотъ этотъ-то „нещщастный“ Башкировъ и есть соль земли, отрѣшившійся отъ всего и ушедшій въ себя. Можно думать, что для отрѣшенія надо уйти въ народъ, но это

невѣрно, такъ какъ и въ народѣ соль земли составляютъ двѣ бабы-начетчицы, которыя тоже отрѣшаются и поясняютъ это такъ:

„— Какъ же вы рѣшили?—спросилъ я.

„— А такое наше рѣшеніе: все сдать на міръ и отрѣшиться... Будетъ ужъ, Миколаичъ, пожили для міру...

„— И уйти?

„— И уйти.

„— Куда же?

— Нигдѣ путь не заказанъ тому, кто отрѣшился,—сказала Павла.

„— И это не тяжело вамъ, тридцать лѣтъ проживши здѣсь?

„— Возьми крестъ свой, сказано... Чѣмъ тяжелѣе, тѣмъ и богоугоднѣе. Въ томъ-то, милушка, и сила, что умѣй отъ куска, отъ жилища, отъ живота отрѣшиться, и будетъ вѣра твоя велика. А безъ этого—все тлѣнъ и слабость...“

Къ нимъ присоединяется Катя, майорская дочь, которая открываетъ еще одинъ элементъ — „вѣру сердца“. Въ чемъ заключается вѣра сердца, авторъ не поясняетъ. Онъ, впрочемъ, ничего не поясняетъ, полагаясь на читателя, который въ то время, когда писалось это апокалипсическое произведеніе, можетъ быть, и понималъ, но намъ теперь все это „темна вода во облацѣхъ“. Не думаемъ, чтобы и самъ г. Златовратскій понималъ теперь, что онъ написалъ тогда, въ 1878 г. Если понимать его „золотыя сердца“ какъ символъ заблудшей интеллигенціи, которая должна отрѣшиться отъ культуры и уйти въ деревню, то здѣсь мы наталкиваемся на начетчицъ, которыя жалуются на ослабленіе міра, не умѣющаго отрѣшаться.

А вѣдь когда-то этимъ зачитывались, жизнь свою ломали по рецептамъ Башкирова и Кати, не задумываясь, не видя всей вздорности этихъ рецептовъ, мало чѣмъ отличныхъ отъ знахарскихъ наговоровъ отъ „лихой болѣсти“, „трясовицы“ и т. п. Это одинъ изъ любопытнѣйшихъ вопросовъ общественной психологіи—вліяніе такихъ произведеній, какъ „золотыя сердца“, представляющихъ сплошной бредъ, наборъ недосказанныхъ, оборванныхъ фразъ, непонятныхъ словъ и смутныхъ образовъ. Перечитывая и пересматривая это произведеніе, мы старались найти въ немъ какую-либо руководящую мысль, какое-либо указаніе, что желалъ сказать авторъ, и, признаемся,—не нашли. Или въ наши дни секретъ пониманія ультранародническихъ шедевровъ утерянъ? Правду говоря, мы ни мало не скорбимъ объ этомъ.

„Вѣра сердца“, какъ опредѣляетъ Катя, нѣчто такое,

чему „еще нѣтъ названія“. Думала ли бѣдная героиня г. Златовратскаго, что двадцать лѣтъ спустя никто и не поинтересуется подъискать ему названіе? Въ томъ и заключается огромный шагъ впередъ, сдѣланный общественной мыслью за эти годы, что пустопорожними, хотя и таинственно звучащими словами теперь никого не удивишь и не уловишь, тѣмъ менѣе наставишь на истинный путь. „Вѣра сердца“, просто выражаясь, это вѣра въ слова, и чѣмъ они были мудренѣе, тѣмъ казались глубже. „Правда народной жизни“, „міръ“,—беремъ первыя, подвернувшіяся подъ перо,—все это были спасительныя словечки, которыя должны были заблудшему интеллигенту уготовить путь въ душу народа, гдѣ ждетъ его спасеніе отъ золъ себялюбія, индивидуализма, капитализма и прочихъ культурныхъ бѣдъ, несущихся къ намъ съ гнилого Запада. Охранить не только себя, но и народъ отъ тлетворнаго вліянія послѣдняго, вотъ задача интеллигенціи.

Въ „Устояхъ“ развивается борьба общиннаго и личнаго начала. „Устои„—самое крупное произведеніе г. Златовратскаго и, надо сказать, самое неудачное дѣтище его. Читать ихъ теперь нѣтъ возможности, до того въ нихъ все схематично, придумано, сочинено и наворочено одно на другое. Написаны они гекзаметромъ, вѣроятно, съ цѣлью придать имъ нарочитую важность. Разбираться въ нихъ мы отнюдь не намѣрены, такъ какъ это трудъ и неблагодарный, и несвоевременный. Думаемъ, что теперь доказывать ложность взглядовъ автора на спасительность „деревенскихъ устоевъ“ совершенно лишнее. Тѣмъ болѣе, что и самъ авторъ въ силу этихъ устоевъ не вѣритъ. Расписавъ ихъ самыми радужными красками, онъ заставляетъ ихъ рухнуть отъ вторженія одного „умственнаго“ члена, побывавшаго въ городѣ Петра, который заразился тамъ духомъ индивидулизма. Что же могло остаться отъ бѣдной „Вальковщины“, когда городъ сталъ напирать на нее со всѣхъ сторонъ, когда каждая линія желѣзной дороги приноситъ туда новый духъ, каждая книга—новые запросы, новыя требованія и желанія, какія и не снились отцамъ „Вальковщины“?

Декоративная манера автора получила въ „Устояхъ“ самое широкое развитіе. Тутъ „пейзане и золотокудрыя пейзанки“ разыгрываютъ роли крестьянъ и крестьянокъ, повторяя до извѣстной степени то, что было въ модѣ въ литературѣ временъ Карамзина. Только тамъ они говорили о чувствахъ, здѣсь—объ общинѣ, мірѣ, правдѣ, но въ обоихъ случаяхъ одинаково естественно и правдиво.

Г. Златовратскій является въ „Устояхъ“ романтикомъ

общины и міра. Въ „Деревенскихъ будняхъ“ онъ выступаетъ изслѣдователемъ деревни, заявляя въ предисловіи, что „настала эпоха новой деревни—деревни крестьянскаго самоуправленія, вольнаго труда, деревни-общины, какъ самостоятельно активнаго элемента русскаго государственнаго строя. Мало того, наступило время, когда эта деревня „свободнаго труда“ оказалась носительницей идеаловъ и обратила на себя сугубое вниманіе интеллигенціи“. Онъ, находитъ, что никто „не вникъ“, не вдумался въ эту деревню, что всѣ „программы“ изученія ея были неправильно составлены, потому что и составители, и исполнители не такъ брались за дѣло. Можно подумать, что самъ г. Златовратскій проявитъ необычайное вниманіе, безпристрастіе, глубину и пониманіе народной жизни. „Пора, наконецъ, убѣдиться,—восклицаетъ онъ съ паѳосомъ,—что свѣтскій человѣкъ—плохой наблюдатель, что наблюденіе деревенской жизни безъ предварительной подготовки—недобросовѣстно, что, въ противномъ случаѣ, наши выводы, какъ бы ни были они остроумны, ложь, что, наконецъ, сами художники, вышедшіе изъ среды интеллигенціи и берущіеся за сюжеты изъ народной жизни, должны, во имя добросовѣстности, измѣнить методъ своихъ отношеній къ деревнѣ, основывая ихъ до сихъ поръ только на непосредственныхъ впечатлѣніяхъ: они должны заняться такой же предварительной солидной подготовкой, какую имѣютъ солидный этнографъ и историкъ народной жизни“. Можно думать, что самъ авторъ вполнѣ обладаетъ такой подготовкой. Ничуть не бывало. Выбравъ небольшой удаленный уголокъ, онъ заноситъ личныя наблюденія, которыя и обобщаетъ, строя въ самомъ началѣ „схему народно-бытовыхъ основъ“ и исходя затѣмъ изъ имъ же самимъ созданной системы. Такая замѣна „непосредственныхъ наблюденій“ едва-ли убѣдительна, какъ не убѣдительна и „вѣра въ сознаніе народа“, которою онъ заканчиваетъ свои „Будни“. Можетъ быть, въ то время, когда сочинялись эти „Будни“, въ 1878—1897 гг., они имѣли извѣстное значеніе для изслѣдованія деревни, но въ настоящее время они не имѣютъ никакого для насъ интереса, что едва ли станутъ отрицать даже самые ярые поклонники г. Златовратскаго.

Добросовѣстно ознакомившись съ произведеніями г. Златовратскаго, приходишь въ нѣкоторое изумленіе, что собственно создало то вліяніе, какое онъ имѣлъ въ 70-хъ и въ началѣ 80-хъ годовъ? Мы думаемъ, что причины этого вліянія лежали внѣ этихъ произведеній. Туманно-идеалистическое настроеніе, проникающее ихъ, отвѣчало неясному представленію о народѣ, тому мистическому „нѣчто“, что

каждый хотѣлъ найти въ немъ. Именно неопредѣленность, смута воззрѣній и взглядовъ г. Златовратскаго какъ нельзя лучше отвѣчала такой же смутѣ въ умахъ читателей. Таинственныя слова — „отрѣшиться“, „быть несчастнымъ“, „вѣра сердца“—возбуждали извѣстнымъ образомъ настроенное воображеніе, которое въ каждомъ работало по-своему и создавало разнообразные фантомы на общую тему „народъ“, „міръ“, „община“. По мѣрѣ того, какъ этотъ туманъ таялъ, умалялось и значеніе г. Златовратскаго, какъ выразителя общественнаго настроенія. Его мѣсто постепенно занялъ другой писатель, который сначала далеко не имѣлъ такого значенія. Гл. Успенскій писалъ одновременно съ г. Златовратскимъ, его читали, но не увлекались имъ, не создавали себѣ понятій и представленій „по Успенскому“. Онъ былъ слишкомъ ярокъ и ясенъ, какъ художникъ, его нельзя было понимать въ „разныхъ смыслахъ“, въ немъ нѣтъ ничего мистическаго. Значеніе его стало выясняться именно тогда, когда началось знакомство съ народной жизнью, какъ она есть, безъ декоративныхъ украшеній, мистическихъ представленій о какихъ-то народныхъ глубинахъ, тайникахъ народной души и т. п. Значеніе Успенскаго, какъ великаго художника, растетъ еще и будетъ расти, чѣмъ дальше мы уходимъ отъ его времени. Все наносное, временное постепенно умаляется и исчезаетъ для насъ въ его произведеніяхъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ, все ярче выступаетъ на первый планъ художественная правда. Словомъ, съ нимъ происходитъ совершенно обратное тому, что мы наблюдаемъ по отношенію къ г. Златовратскому. Уже теперь послѣдняго трудно читать, ключъ къ пониманію его героевъ потерянъ, и еще одно-два поколѣнія, и онъ станетъ вполнѣ историческимъ явленіемъ, важнымъ и многозначительнымъ для оцѣнки настроеній 70-хъ годовъ, но мало привлекающимъ вниманіе читателя. Развѣ нѣкоторые только изъ его небольшихъ разсказовъ уцѣлѣютъ отъ забвенія и, на ряду, съ разсказами Слѣпцова, Рѣшетникова, Левитова, займутъ въ библіотекахъ опредѣленное мѣсто въ отдѣлѣ народнической беллетристики.

„Спирька“ г. Елпатьевскаго.—Народническая схема капитализма [1]).

Въ беллетристикѣ послѣдняго времени видное мѣсто должно быть отведено разсказу г. Елпатьевскаго „Спирька“, который живо напомнилъ намъ беллетристику прежняго времени, когда „Чумазый“ во всѣхъ видахъ и положеніяхъ не сходилъ со страницъ толстыхъ журналовъ, наводя на читателей великое уныніе. Тогда онъ изображался, какъ угрожающій фантомъ, который можетъ превратиться въ жестокую дѣйствительность, если своевременно не будутъ приняты мѣры къ его обузданію и къ укрѣпленію добродѣтели въ деревнѣ, разлагающейся подъ вліяніемъ „Чумазаго“. Г. Елпатьевскій, взявъ старый мотивъ, попробовалъ его развить на болѣе современный ладъ и представить какъ генезисъ „Чумазаго“, такъ его развитіе въ настоящемъ. Такая попытка, безспорно, интересна и заслуживаетъ вниманія, хотя бы она была не удачна и не приводила къ цѣли. Въ современной народнической беллетристикѣ такое стремленіе подойти къ текущей жизни представляетъ нѣчто новое и очень желательное.

Къ сожалѣнію, съ первыхъ же страницъ разсказа, написаннаго вообще очень живо и прекраснымъ языкомъ, такъ и вѣетъ на читателя добрымъ старымъ временемъ, когда „еще намъ были новы всѣ впечатлѣнія бытія“, и только-что явившіеся въ литературѣ образы Деруновыхъ, Колупаевыхъ и Разуваевыхъ производили подавляющій эффектъ въ геніальныхъ очеркахъ Щедрина и Гл. Успенскаго, посвятившихъ имъ столько вниманія. Разные dii minores съ тѣхъ поръ сумѣли въ достаточной степени ихъ опошлить, не придавъ имъ ни одной новой живой черты, не подмѣтивъ въ нихъ современнаго отпечатка. По этой проторенной безчисленными предшественниками дорожкѣ идетъ и „Спирька“ г. Елпатьевскаго.

Спирька, конечно, кровопивецъ, а отецъ его разбойникъ и всѣ его присные воры, тати и душегубы. „Первая деревня по тракту называлась Татинцы, страшная деревня,—въ темномъ лѣсу, къ дорогѣ спиной обернулась, а окнами въ лѣсъ глядѣла, — про которую изстари шла дурная слава. Изъ этихъ Татинцевъ, этого темнаго разбойнаго мѣста и Спирька вышелъ“. Яблочко отъ яблони недалеко откатится, и Спирька съ дѣтства уже проявляетъ разбойническія наклонности, въ родѣ какъ герои народныхъ рыцарскихъ романовъ: хва-

[1]) Мартъ 1898 г.

титъ за руку—рука прочь, хватитъ за голову—голова прочь. „Не сильный онъ былъ, а ловкій и все штуки разныя устраивалъ, за которыя мы и не любили его. То гирьку чугунную въ кулакъ зажметъ, то въ бокъ, либо подъ ребро ударитъ, когда положеніе было бить только по скулѣ, а бороться станетъ — все норовитъ подъ ножку, чему положенія тоже не было. И въ орлянку перестали его принимать, послѣ того какъ съ двухорловымъ пятакомъ разъ накрыли его". Таковъ ужъ Спирька въ юности, и по этимъ признакамъ напередъ можно бы предсказать, что не миновать ему острога. Но вмѣсто того изъ Спирьки вышелъ представитель русскаго капитализма. Такое происхожденіе послѣдняго само по себѣ знаменательно и чревато будущимъ.

Спирька не просто дошлый парень, плутъ и мошенникъ. Какъ увидимъ дальше, онъ представитель капитала, и его исторія есть лишь иносказаніе, „откуда есть-пошла" та язва, капитализмомъ называемая, которая разрушила „кринъ сельный", какимъ цвѣла русская земля до пришествія Спирьки изъ Татинцевъ. Кстати, маленькое географическое поясненіе. Въ Нижегородской губерніи, не доѣзжая села Юрина на Волгѣ, есть два села — Татинецъ и Слапинецъ, жители которыхъ во времена досюльныя занимались грабежомъ и молодечествовали на Волгѣ, грабя купцовъ, откуда и поговорка о нихъ сложена: „Татинецъ и Слапинецъ — всѣмъ ворамъ гостинецъ" (т. е. гостиница для воровъ). Въ качествѣ бытописателя, авторъ даже мѣстный элементъ вполнѣ соблюлъ.

Бывшій разбойникъ превращается постепенно въ кулака, изъ кулака въ мелкаго торгаша, пріемы котораго на первое время мало чѣмъ отличаются отъ разбойничьихъ. Спирька сталъ скупать хлѣбъ у мужиковъ, везущихъ его на базаръ. Въ очень живой, списанной, повидимому, съ натуры, картинкѣ описываются его ранніе подвиги, по которымъ мы уже можемъ судить о его будущихъ дѣяніяхъ.

„Какъ выѣдутъ мужики на гору и остановятся дать лошадямъ вздохнуть, такъ и налетитъ на нихъ стая. Лошадей подъ уздцы схватятъ и начнется тутъ торгъ, и уже мужику не отбиться, не дадутъ ему въ городъ проѣхать, по вольной цѣнѣ продать. Изругаютъ его ругательски, затолкаютъ, задергаютъ, и сдѣлается мужикъ, какъ шальной, и везетъ по цѣнѣ, которую дадутъ ему на горѣ. А Спирька впереди всѣхъ. Голосъ у него былъ звонкій, никто не могъ перекричать его, а мужика прямо за горло хваталъ.

„—Да ты чего, дура полоротая? Тебѣ цѣну даютъ, а ты рыло воротишь? Въ городу два цѣлковыхъ на колѣняхъ напросишься, а я тебѣ, идолу два съ гривной даю. Да что

мнѣ съ тобой, дуракомъ разговаривать что-ли? ну, ну, — рѣшаетъ Спирька,—поворачивай!

„Мужикъ поворачиваетъ и покорно ѣдетъ за Спирькой на его широкій дворъ.. И тамъ мужикъ, какъ шальной, словно въ туманѣ смотритъ, какъ Спирька ссыпаетъ его хлѣбъ, и то и дѣло дивится, да руками разводитъ — какъ аккуратно дома мѣрялъ, а у Спирьки двухъ мѣръ не хватаетъ. На вѣсахъ прикинетъ,—все недохватка“.

Таковъ героическій періодъ Спирькиной дѣятельности, когда онъ и боками, и зубами отвѣчалъ за свои подвиги, то совершая обманы, то торгуя гнилымъ судакомъ, то участвуя въ бояхъ, тѣшась молодецкой потѣхой. Мало-ли, много-ли времени прошло, — изъ Спирьки вырабатывается, наконецъ, настоящій капиталистъ, во вкусѣ и образѣ народническихъ представленій о капиталѣ. Жену убилъ, опоивъ въ своемъ трактирѣ, женился на богатой разорившейся фабрикантшѣ, сталъ коммерсантомъ, гласнымъ думы и представителемъ сословія. Въ думѣ у него своя партія, онъ говоритъ рѣчи, взываетъ къ отечеству, стоитъ за протекціонизмъ, словомъ, капиталистъ созрѣлъ. „И не узнать теперь Спирьку въ солидномъ и важномъ коммерсантѣ и кавалерѣ, въ самоувѣренномъ и рѣшительномъ петербургскомъ дѣльцѣ. Только въ одномъ не измѣнился, — у него осталась та же разбойничья душа, тѣ же разбойныя мысли, та же душегубская ухватка. Онъ не подстерегаетъ въ темномъ лѣсу съ топоромъ въ осеннія ночи, не хватаетъ за горло мужиковъ на горѣ,—онъ понялъ, что такое отечество, и орудуетъ на большой дорогѣ отечества. Это отечество представлялось ему въ видѣ окруженнаго высокимъ, убитымъ гвоздями, заборомъ своего загорскаго постоялаго двора, оберегаемаго и запираемаго на замокъ, ключъ отъ котораго у него, Спирьки, въ карманѣ... А проѣзжающій будто бы медленно ползетъ по глинистой горѣ и не миновать ему Спирькина двора. Поэтому, если вздумаютъ раскрыть Спирькинъ заборъ или объѣхать мимо его двора, онъ начинаетъ орать — Спирька обнаглѣлъ и оретъ еще громче—„отечество въ опасности!“ Спирька попробовалъ зубомъ отечество и уже не оторвется отъ него... И власти захотѣлъ... Его уже не удовлетворяетъ стоящая на вытяжку фигура стараго квартальнаго, и ему уже мало назначать и смѣнять въ городѣ торговыхъ депутатовъ и смотрителей за вывозными парками“...

Какъ видимъ, „Спирька“ выдержанъ весь въ одномъ тонѣ, сначала и до конца—передъ нами разбойникъ, наглецъ и насильникъ, только и понимающій грубую силу, только съ нею считающійся. Сравнивая своего героя съ его предшественникомъ — старозавѣтнымъ купцомъ, который хотя

тоже „охулки на руку не клалъ“, все же Бога боялся и подчасъ проявлялъ искру Божью, — авторъ отдаетъ ему предпочтеніе передъ Спирькой. Этотъ ничего и никого не боится. Изрѣдка онъ вспоминаетъ про Столпника, увѣщевавшаго татинцевъ, и при этомъ онъ думаетъ объ интеллигенціи, ратующей не за свои интересы и борющейся съ нимъ на общественной аренѣ и въ печати. Но эти мысли возбуждаютъ въ немъ только сугубую ненависть къ непонятной ему силѣ и желаніе согнуть ее въ бараній рогъ.

Словомъ, отъ колыбельки до могилы Спирька однообразенъ. Эта его несложность, упрощенность и представляетъ въ нашихъ глазахъ слабѣйшую сторону разсказа, въ которомъ охвачено слишкомъ сложное и большое явленіе и уложено въ слишкомъ простыя несложныя рамки.

Читая эту исторію возникновенія и роста русскаго капитала, испытываешь неловкость, какъ при игрѣ актера, взявшаго невѣрный тонъ, отъ котораго онъ не можетъ отдѣлаться во время всего спектакля. Такой же невѣрный тонъ былъ взятъ народниками съ самаго начала при ихъ столкновеніи съ капитализмомъ. Вмѣсто его изученія, они сразу рѣшили, что это нѣкое чужеядное, наросшее на здоровомъ древѣ русской жизни, или, какъ его въ данномъ случаѣ представляетъ г. Елпатьевскій,—тать и разбойникъ, ставшій на дорогѣ нормальнаго развитія народной жизни и мѣшающій и тормозящій это развитіе. Тутъ ужъ спорить и доказывать ничего не приходится,—остается только удивляться, какъ до сихъ поръ народники не могутъ отдѣлаться отъ подобныхъ представленій, которыя въ существѣ ничего не разъясняютъ и только мѣшаютъ видѣть вещи такими, каковы онѣ есть. Поистинѣ, народники уподобились тому столпнику, о которомъ идетъ рѣчь въ началѣ разсказа г. Елпатьевскаго.

„Легенда была про нашъ Загорскъ. Старая соборная просвирня часто мнѣ, бывало, разсказывала. Въ давнія-давнія времена, когда народу русскаго было еще совсѣмъ мало и кругомъ шли лѣса да болота, на нашей горѣ поселился святой человѣкъ,—столпъ себѣ выстроилъ и никуда изъ столпа не выходилъ, все Богу молился. А трактъ и тогда былъ, изъ низовыхъ мѣстъ все мимо насъ ѣхали. Странній человѣкъ проѣдетъ, поговоритъ со столпникомъ, благословенія на дальній путь спроситъ, что изъ запасовъ оставитъ; коегдѣ людишки по лѣсамъ жили, прослышали про столпника, ѣду носить стали. А въ чортовомъ болотѣ разбойники жили... по ночамъ на добычу выѣзжали на трактъ, купцовъ поджидали, проѣзжающихъ людей,—пожитки отнимутъ, а кто волей не отдастъ, зарѣжутъ. Вотъ, бывало, раннимъ утречкомъ и ѣдетъ ватага въ свое воровское гнѣздо, добро ве-

зетъ, полонъ ведетъ, а столпникъ въ столпѣ стоитъ и Бога славитъ. Не трогали его разбойники... Въ ину пору измываться станетъ атаманъ... Разгнѣвается тутъ угодникъ божій, укорныя слова почнетъ говорить, бѣсомъ-мучителемъ, судомъ страшнымъ, адомъ кромѣшнымъ стращать примется. А атаманъ все смѣется.—Погоди, скажетъ, дѣдушка, дай намъ молодцамъ по бѣлу свѣту полетать, съ бабами-дѣвками поиграть... Натѣшится, утихнетъ сердце молодецкое, ту пору къ тебѣ придемъ.—И точно... слѣзъ атаманъ съ коня, спѣшилась ватага его и пали столпнику въ ноги. Съ той поры и монастырь почался... Такъ мнѣ просвирня соборная разсказывала"...

Народники, уединившись если не на столпъ, то въ ни на чемъ не основанную теорію о самобытности русской жизни,—также пугаютъ читателя разсказами про подлеца-капитала, стращаютъ послѣдняго „судомъ страшнымъ, адомъ кромѣшнымъ", въ затаенной надеждѣ, что разбойникъ-капиталъ одумается, падетъ въ ноги и удалится въ монастырь грѣхи свои замаливать. Если же не капиталъ, то одумается читатель и, убѣдившись въ грѣховныхъ подвигахъ капитала, исполнится къ капитализму сугубой ненавистью и вернется въ лоно народничества.

Они никакъ не желаютъ замѣтить, что прошло уже время, когда легенды соборной просвирни производили впечатлѣніе, а сама просвирня считалась вполнѣ компетентнымъ источникомъ для изученія народной жизни. Разсказъ г. Елпатьевскаго,—не станемъ отрицать,—не лишенъ литературныхъ достоинствъ, хотя фигура „Спирьки" и отдаетъ сочинительствомъ, мало жизненна и вырѣзана по народническому трафарету, а разсужденія автора напоминаютъ передовицы и внутреннія обозрѣнія народническихъ журналовъ и газетъ стараго времени. Но представленная имъ въ лицахъ исторія русскаго капитализма въ корнѣ невѣрна и даетъ совершенно ложное освѣщеніе вопросу о происхожденіи капитализма у насъ. Меньше всего можно искать „корня и нити" его въ Татинцахъ и Слапинцахъ, все процвѣтаніе которыхъ зиждилось въ основахъ натуральнаго хозяйства, когда разбойничьи пріемы мѣновой торговли, и до сихъ поръ процвѣтающіе въ иныхъ глухихъ уголкахъ Россіи, были единственными, примѣнявшимися въ торговлѣ и производствѣ. Эти пріемы теряютъ весь свой raison d'être съ момента возникновенія крупной промышленности, основанной на совершенно иныхъ началахъ, сущность которыхъ—научное знаніе, дальновидный разсчетъ и крупные рынки. Татинцы и Слапинцы, съ ихъ героическими Спирьками, были убиты съ того момента, когда Россія была вовлечена

въ міровой потокъ капиталистическаго производства и въ ней возникла крупная индустрія, о чемъ наглядно свидѣтельствуютъ на той же Волгѣ такіе нѣкогда промышленные центры, какъ, напр., знаменитое с. Лысково, гдѣ сотни вѣтряныхъ мельницъ или пошли на сломъ, или грустно стоятъ, не помахивая крыльями, потому что ихъ убили паровыя крупчатки, перемалывающія милліоны пудовъ.

Ничего этого знать не хотятъ гг. народники, для которыхъ капитализмъ — все тотъ же чумазый, какимъ его изобразилъ Щедринъ, мѣтко схватившій отличительныя черты современнаго ему деревенскаго кулака, народившагося на разлагавшейся почвѣ пореформеннаго помѣщичьяго хозяйства. Со времени щедринской сатиры Россія успѣла покрыться новой огромной сѣтью желѣзныхъ дорогъ, развила цѣлыя новыя отрасли производства, возникшія среди нѣкогда голыхъ степей, и полнымъ ходомъ двинулась по пути капиталистическаго развитія, — кажется, этого достаточно, чтобы увидѣть въ капитализмѣ болѣе сложное явленіе, чѣмъ примитивная фигура Чумазаго съ его примитивными пріемами и аппетитами.

Уже напередъ можно предположить, что художникъ, пожелавшій представить въ образахъ эту выдающуюся нынѣ и главенствующую сторону общественной жизни, найдетъ массу самыхъ разнообразныхъ типовъ, со всевозможными оттѣнками, которыхъ не уложишь въ одну общую схему. Подъ перомъ г. Елпатьевскаго фигура „Спирьки“ выросла до гомерическихъ размѣровъ, которыми „Спирька“ по справедливости могъ бы гордиться, но, къ сожалѣнію, эти размѣры заслонили для автора жизнь и вмѣсто живого образа предъ нами мертвая и односторонняя схема. Мы вообще противъ такого схематическаго художества, въ особенности, когда его объектомъ служитъ явленіе, далеко еще не сложившееся, пребывающее „на ходу“ и крайне измѣнчивое поэтому. А русскій капитализмъ, — при всѣхъ своихъ успѣхахъ,—еще не опредѣлился настолько, чтобы дать такія цѣльныя и оконченныя фигуры, какъ западноевропейскій буржуа. Онъ перешагнулъ за стадію Чумазаго, но еще не отлился въ болѣе опредѣленную форму, которую бы могъ схватить и изобразить вдумчивый художникъ...

Графъ Толстой объ искусствѣ и наукѣ [1]).

Современное искусство переживаетъ свою переходную стадію, какъ наша литература и наша общественная жизнь. Сумерки ли это, или заря новой жизни въ искусствѣ, кто рѣшится сказать? А голоса, раздающіеся за и противъ современнаго искусства, скорѣе усиливаютъ, чѣмъ разгоняютъ тьму, мѣшающую провидѣть будущее.

Къ такимъ голосамъ, усиливающимъ тьму, несомнѣнно, принадлежитъ и голосъ графа Л. Н. Толстого, посвятившаго этому вопросу статью въ январьской книжкѣ „Вопросовъ философіи и психологіи"—„Что такое искусство?"

Какъ и всѣ произведенія графа, заключающія его философскіе взгляды, статья написана хаотично, разбросанно, велерѣчиво, съ массой отступленій, до того запутывающихъ вопросъ, что вначалѣ кажется, будто авторъ противъ искусства. Онъ начинаетъ съ неожиданнаго нападенія на излишнія затраты на искусство, пропадающія зря, тогда какъ силы, занятыя искусствомъ, могли бы утилизироваться лучше и съ большей пользой.

„На поддержаніе искусства,—пишетъ графъ,—тамъ, гдѣ на народное образованіе тратится только одна сотая того, что нужно для доставленія всему народу средствъ обученія, даются милліонныя субсидіи отъ правительства на академіи, консерваторіи, театры. Въ каждомъ большомъ городѣ строятся огромныя зданія, для музеевъ, академій, консерваторій, драматическихъ школъ, для концертовъ и представленій. Сотни тысячъ рабочихъ—плотники, каменьщики, красильщики, столяры, обойщики, портные, парикмахеры, ювелиры, бронзовщики, наборщики — цѣлыя жизни проводятъ въ тяжеломъ трудѣ для удовлетворенія требованій искусства, такъ что едва ли есть какая-нибудь другая дѣятельность человѣческая, кромѣ военной, которая поглощала бы столько силъ, сколько эта. Но мало того, что такіе огромные труды тратятся на эту дѣятельность, — на нее, также какъ на войну, тратятся прямо жизни человѣческія: сотни тысячъ людей съ молодыхъ лѣтъ посвящаютъ всѣ свои жизни на то, чтобы выучиться очень быстро вертѣть ногами (танцоры), другіе (музыканты) на то, чтобы вы-

---

[1]) Апрѣль 1898 г.

учиться очень быстро перебирать клавиши или струны; третьи (живописцы) на то, чтобы умѣть рисовать красками и писать все, что они увидятъ; четвертые на то, чтобы умѣть перевернуть всякую фразу на всякіе лады и ко всякому слову подобрать риѳму. И такіе люди, часто очень добрые и умные, способные на всякій полезный трудъ, дичаютъ въ этихъ исключительныхъ, одуряющихъ занятіяхъ и становятся тупыми ко всѣмъ серьезнымъ явленіямъ жизни, односторонними и довольными собой спеціалистами, умѣющими только вертѣть ногами, языкомъ или пальцами", Затѣмъ, описавъ репетицію какой-то оперы, авторъ негодуетъ: „Невольно приходитъ въ голову вопросъ,—для кого это дѣлается? Кому это можетъ нравиться? Если и есть въ этой оперѣ изрѣдка хорошенькіе мотивы, которые было бы пріятно послушать, то ихъ можно бы было спѣть просто безъ этихъ глупыхъ костюмовъ и шествій, и речитативовъ, и маханій руками. Балетъ же, въ которомъ полуобнаженныя женщины дѣлаютъ сладострастныя движенія, переплетаются въ разныя чувственныя гирлянды, есть прямо развратное представленіе. Такъ что никакъ не поймешь, на кого это разсчитано. Образованному человѣку это несносно, надоѣло, настоящему рабочему человѣку это совершенно непонятно. Нравиться это можетъ, и то едва-ли, набравшимся господскаго духа, но не пресыщеннымъ еще господскими удовольствіями, развращеннымъ мастеровымъ, желающимъ засвидѣтельствовать свою цивилизацію, да молодымъ лакеямъ".

Авторъ негодуетъ, съ нимъ начинаетъ негодовать и читатель. Но стоитъ нѣсколько разобраться въ этомъ негодованіи, чтобы увидѣть, что искусство рѣшительно тутъ не причемъ. Въ наше время нѣтъ такой отрасли самаго „полезнаго труда", въ которой милліоны людей не эксплуатировались бы и не страдали, что зависитъ отъ тѣхъ общественныхъ условій, при которыхъ намъ приходится жить и работать. Намъ припоминается одно изъ лучшихъ произведеній Некрасова „Желѣзная дорога", въ которомъ поэтъ описываетъ жертвы, павшія на ея постройкѣ. Но ни у него, ни у читателя и мысли нѣтъ, что виновата желѣзная дорога и что она не нужна или что ее надо замѣнить чѣмъ-то менѣе стоющимъ, болѣе легкимъ и т. п. Если мы станемъ оцѣнивать ту или иную отрасль труда съ точки зрѣнія ея тяготъ, то работа для искусства окажется и легче, и лучше оплачиваемой. Да, отвѣтятъ намъ, но здѣсь работникъ понимаетъ пользу желѣзной дороги, и это сознаніе скрашиваетъ до извѣстной степени тяжесть его труда, тогда какъ, работая для искусства, онъ не видитъ, въ чемъ польза и

смыслъ его труда. Но и каменьщикъ, строющій театръ, и плотникъ, строющій кулисы и подмостки, знаютъ превосходно, что для какой бы цѣли ни предназначались этотъ домъ и эти подмостки, имъ отъ этого ни мало не легче: будетъ тутъ школа или театръ, онъ не станетъ работать отъ этого меньше часовъ и не получитъ большей заработной платы. Авторъ тогда былъ бы правъ, если бы доказалъ, что всякій трудъ и легче, и лучше оплачивается, чѣмъ трудъ для искусства, а такъ какъ это нелѣпость, то и его нападеніе на искусство съ точки зрѣнія трудовой не имѣетъ никакого значенія въ вопросѣ, что такое искусство. Не правъ, конечно, авторъ и въ своихъ вычисленіяхъ затратъ на искусство, потому что всѣ театры, музеи, консерваторіи и все, что съ ними связано, занимаютъ въ бюджетѣ государства и общества ничтожное по денежной стоимости мѣсто, а количество людей, непосредственно занятыхъ искусствомъ, исчисляется нѣсколькими тысячами, и то, если взять въ разсчетъ всѣхъ, прикосновенныхъ къ искусствамъ. Творцовъ же искусства, конечно, такъ мало, что при общемъ подсчетѣ трудящагося человѣчества ихъ и усчитать трудно. Жалобы автора на тягости, которыя несетъ это бѣдное человѣчество, благодаря искусству, напоминаютъ гнѣвъ мельника противъ курицъ, пьющихъ у него воду, когда прорвало плотину.

Въ этой вылазкѣ графа Л. Н. Толстого противъ искусства видна его обычная ошибка,—отсутствіе соціологической точки зрѣнія на данное явленіе. Всегда и все онъ разсматриваетъ внѣ времени и пространства, съ абсолютной точки зрѣнія, ни съ чѣмъ не считающейся. Критика такого рода чрезвычайно проста и легка, но и безплодна въ то же время, потому что, ничего не выясняя, она только запутываетъ вопросы.

Такъ и въ данномъ случаѣ, что авторъ, конечно, понимаетъ, почему и не останавливается на упрекахъ трудового, такъ сказать, порядка и дѣлаетъ скачекъ въ сторону критики искусства. Вы служите искусству, — говоритъ онъ, а между тѣмъ не опредѣлили до сихъ поръ, что оно такое,— и начинаетъ съ утомительной подробностью приводить разнорѣчивыя мнѣнія всѣхъ временъ и народовъ по этому предмету. „Какъ богословы разныхъ толковъ, такъ художники разныхъ толковъ исключаютъ и уничтожаютъ сами себя. Послушайте художниковъ теперешнихъ школъ, и вы увидите во всѣхъ отрасляхъ однихъ художниковъ, отрицающихъ другихъ: въ поэзіи — старыхъ романтиковъ, отрицающихъ парнасцевъ и декадентовъ, парнасцевъ, отрицающихъ романтиковъ и декадентовъ; декадентовъ, отрицающихъ

всѣхъ предшественниковъ и символистовъ; символистовъ, отрицающихъ всѣхъ предшественниковъ и маговъ, и маговъ, отрицающихъ всѣхъ своихъ предшественниковъ; въ романѣ—натуралистовъ, психологовъ, натуристовъ, отрицающихъ другъ друга. То же въ драмѣ, живописи и музыкѣ. Такъ что искусство, поглощающее огромные труды народа и жизней человѣческихъ и нарушающее любовь между ними, не только не есть нѣчто ясно и твердо опредѣленное, но понимается такъ разнорѣчиво своими любителями, что трудно сказать, что вообще разумѣется подъ искусствомъ и въ особенности хорошимъ, полезнымъ искусствомъ, такимъ, во имя котораго могутъ быть принесены тѣ жертвы, которыя ему приносятся".

Слѣдуетъ отрицательный, до крайности запутанный отвѣтъ, что, такъ какъ всѣ опредѣленія искусства, дѣланныя до сихъ поръ, неточны, невѣрны, сбивчивы, противорѣчивы, то и искусства настоящаго, ради котораго стоило бы приносить „жертвы", нѣтъ. Вся вина эстетиковъ въ томъ, что они вводятъ въ опредѣленіе искусствъ понятіе красоты, которая сама по себѣ тоже не опредѣлима, и каждый понимаетъ ее по своему. Выходъ изъ столь затруднительнаго положенія представляется графу одинъ — изгнать красоту изъ искусства. „Надо перестать смотрѣть на него, какъ на средство наслажденія, а разсматривать искусство, какъ одно изъ условій человѣческой жизни. Разсматривая же такъ искусство, мы не можемъ не увидѣть, что искусство есть одно изъ средствъ общенія людей между собою".

Можно сказать, что графъ открылъ Америку, до него мы и не подозрѣвали, что одно изъ свойствъ искусства есть „общеніе людей между собой" и что одной красоты для искусства мало... Словами люди выражаютъ мысли, продолжаетъ авторъ, „искусствомъ же люди передаютъ другъ другу свои чувства... Чувства, самыя разнообразныя, очень сильныя и очень слабыя, очень значительныя и очень ничтожныя, очень дурныя и очень хорошія, если только они заражаютъ читателя, зрителя, слушателя, составляютъ предметъ искусства. Чувство самоотреченія и покорности судьбѣ или Богу, передаваемое драмой; или восторга влюбленныхъ, описываемое въ романѣ; или чувство сладострастія, изображенное на картинѣ, или бодрости, передаваемой торжественнымъ маршемъ въ музыкѣ; или веселья, вызываемаго пляской; или комизма, вызываемаго смѣшнымъ анекдотомъ; или чувство тишины, передаваемое вечернимъ пейзажемъ или убаюкивающей пѣснью,—все это искусство. Когда зрители-слушатели заражаются тѣмъ же чувствомъ, которое испытывалъ сочинитель, это и есть искусство. Вызвать въ

себѣ разъ испытанное чувство и, вызвавъ его въ себѣ, посредствомъ движеній, линій, красокъ, звуковъ, образовъ, выраженныхъ словами, передать это чувство такъ, чтобы другіе испытывали тоже чувство,—въ этомъ состоитъ дѣятельность искусства. Искусство есть дѣятельность человѣческая, состоящая въ томъ, что одинъ человѣкъ сознательно, извѣстными внѣшними знаками передаетъ другимъ испытываемыя имъ чувства, а другіе люди заражаются этими чувствами и переживаютъ ихъ".

Таково опредѣленіе графа. Но, какъ и столь презираемое имъ опредѣленіе чистыхъ эстетиковъ, оно съ одной стороны—безпредѣльно, съ другой — односторонне. Въ свое опредѣленіе графъ впихнулъ все—до анекдота включительно, и не далъ самаго существеннаго признака искусства, который заключается въ *творческомъ* началѣ. Безъ *творчества* нѣтъ искусства. Художникъ творитъ, т. е. изъ матеріала жизни, добытаго наблюденіемъ, онъ создаетъ нѣчто новое, чего до него не было. Стремясь въ звукахъ, краскахъ, образахъ передать это новое такъ, чтобы оно стало достояніемъ и другихъ, художникъ занятъ только *своимъ* чувствомъ, своимъ настроеніемъ. Возможно полнѣе и ярче выразить его—такова его цѣль, которая тѣмъ полнѣе достигается, чѣмъ сильнѣе въ немъ эта способность къ творчеству, которую называютъ талантомъ. Графъ Толстой ни однимъ словомъ не обмолвился о талантѣ, онъ даже не упоминаетъ о немъ, какъ будто талантъ въ искусствѣ не при чемъ. Между тѣмъ, присутствіе таланта составляетъ главный признакъ произведенія искусства. Мы всѣ передаемъ другимъ свои чувства или стремимся передать ихъ въ тѣхъ или иныхъ формахъ, но никто не рѣшится подвести всю эту многообразную дѣятельность подъ понятіе искусства. Только то мы называемъ произведеніемъ искусства, въ чемъ есть *типичное*, что воспроизводитъ типичное въ жизни. Величайшія произведенія даютъ общечеловѣческіе универсальные типы, другія произведенія—типы мѣстные, своего народа и своего времени.

Затѣмъ, отрицая необходимость элемента красоты въ искусствѣ, графъ лишаетъ его души. Мы никогда не были поклонниками теоріи „искусства для искусства", такъ какъ подобное искусство по существу представляется намъ немыслимымъ. По обыкновенію, графъ ни словомъ не обмолвился о русскихъ критикахъ, которые давнымъ давно указали на недостаточность одной красоты. Приводя массу опредѣленій искусствъ, основанныхъ на понятіи о красотѣ, онъ умолчалъ о Бѣлинскомъ и всей послѣдующей русской критикѣ, въ которой получили дальнѣйшее развитіе

высказанныя Бѣлинскимъ мысли о цѣляхъ и сущности искусства. Эта критика давно уже установила, что *идея, направленіе* всегда присутствуетъ въ истинномъ произведеніи искусства, и всѣ величайшія произведенія отличаются полной гармоніей красоты и идеи, которыя такъ слиты въ нихъ, что ихъ нельзя отдалить безъ уничтоженія самого произведенія. Какъ намъ кажется, въ этомъ и заключается идеалъ искусства, и поскольку то или иное произведеніе къ нему приближается, постольку оно и безсмертно. Можно ли отдѣлить эти два начала въ „Сикстинской Мадоннѣ", Венерѣ Милосской, въ стихахъ Пушкина, въ „Иліадѣ" и „Одиссеѣ", въ „Фаустѣ" Гёте и въ немногихъ другихъ, стоящихъ на одномъ уровнѣ съ ними, произведеніяхъ, признаваемыхъ величайшими образцами человѣческаго творчества? Красота неотдѣлима отъ искусства, и въ нашей оцѣнкѣ произведеній искусства мы сознательно или безсознательно всегда руководствуемся присутствіемъ красоты, которую, конечно, нельзя представлять въ видѣ лишь внѣшней формы, хотя и послѣдняя есть тоже существеннѣйшая часть въ искусствѣ.

Исключительная погоня за внѣшней красотой, формой, безъ сомнѣнія, является величайшимъ грѣхомъ противъ искусства, и нападки графа на декадентовъ и неудачныхъ символистовъ—вполнѣ справедливы. Но и обратно—пренебреженіе къ формѣ, намѣренное или вслѣдствіе неумѣнія, т. е. отсутствія того, что составляетъ главную черту таланта,—приводитъ къ уродливостямъ, грубости, и какъ бы ни были похвальны намѣренія творца такого урода, онъ не можетъ быть причисленъ къ области искусства и никогда не будетъ имѣть ни успѣха, ни вліянія. Лучшимъ примѣромъ могутъ служить „произведенія", подражающія послѣднимъ „народнымъ" разсказамъ графа, разныя повѣстушки гг. Семеновыхъ и Захарьиныхъ. Ихъ грубая и нелѣпая стряпня, несмотря на рекомендацію самого графа и усердное распространеніе „Посредникомъ", не имѣетъ никакого значенія и врядъ ли кому нужна. Самъ графъ—тоже блестящій примѣръ паденія таланта, разъ онъ намѣренно отдѣлывается отъ художественной красоты въ погонѣ за проповѣдью. Всѣ его произведенія послѣдняго времени не имѣютъ и сотой доли того значенія, какъ его „Война и миръ" или „Анна Каренина", и ужъ, конечно, не они увѣковѣчатъ имя и значеніе графа въ исторіи русской литературы.

Графъ не отрицаетъ искусства, онъ только недоволенъ тѣмъ искусствомъ, какое мы знаемъ, и желалъ бы вернуть искусство къ тому времени, когда оно еще не отдѣлилось отъ религіи. Въ первое время, говоритъ онъ, искусствомъ въ тѣсномъ смыслѣ слова называлась не всякая дѣятель-

ность людская, передающая чувства, а лишь та часть ея, „которая передавала чувства, вытекающія изъ религіознаго сознанія людей“. Продолженіе статьи должно выяснить, какимъ образомъ былъ бы возможенъ возвратъ къ первоначальному искусству и въ какія формы могло бы оно отлиться въ наши дни. Такая постановка вопроса показываетъ то же отсутствіе соціологической точки зрѣнія. Если искусство дѣйствительно было нѣкогда только дополненіемъ религіознаго культа, то затѣмъ оно, по мѣрѣ усложненія общественныхъ отношеній и развитія новыхъ сторонъ общественной жизни, выдѣлилось, заняло самостоятельное мѣсто въ жизни общества и теперь настолько отдалилось отъ первоначальнаго источника, что прослѣдить самую связь съ нимъ трудно. Чтобы вернуть искусство къ его чисто-служебной роли религіознаго культа, надо вернуть общественную жизнь къ первымъ временамъ исторической жизни. Искусства,—какъ и все, впрочемъ,—нельзя брать отдѣльно отъ того, что его окружаетъ, внѣ времени и пространства. Каждая эпоха, каждый общественный строй имѣетъ такое искусство, какое возможно и необходимо при данныхъ условіяхъ, и роль критики выяснять эти соотношенія, а не предписывать искусству задачи и цѣли, не отвѣчающія данному времени и обществу. Искусство все равно пойдетъ своей дорогой, опредѣляемой тысячами неуловимыхъ нитей, сплетенныхъ изъ человѣческихъ потребностей, страстей, взглядовъ, условій труда и прочаго, что мы называемъ культурой данной эпохи.

Эти строки уже были написаны, когда появилась вторая статья графа, въ которой онъ доказываетъ, что искусство должно стать христіанскимъ, чтобы выполнить свою задачу, которая, по его словамъ, заключается въ слѣдующемъ:

„Задача искусства огромна: настоящее искусство, съ помощью науки, руководимое религіей, должно сдѣлать то, чтобы то мирное сожительство людей, которое соблюдается теперь внѣшними мѣрами,—судами, полиціей, благотворительными учрежденіями, инспекціями работъ и т. п.,—достигалось бы свободной и радостной дѣятельностью людей. Искусство должно устранять насиліе. И только искусство можетъ сдѣлать это... Искусство должно сдѣлать то, чтобы чувства братства и любви къ ближнимъ, доступныя теперь только лучшимъ людямъ общества, стали привычными чувствами, инстинктомъ всѣхъ людей. Вызывая въ людяхъ, при воображаемыхъ условіяхъ, чувства братства и любви, религіозное искусство пріучитъ людей въ дѣйствительности, при тѣхъ же условіяхъ, испытывать тѣ же чувства, проложитъ въ душахъ людей тѣ рельсы, по которымъ, естественно

пойдутъ поступки жизни людей, воспитанныхъ искусствомъ. Соединяя же всѣхъ самыхъ различныхъ людей въ одномъ чувствѣ и уничтожая раздѣленіе, всенародное искусство воспитаетъ людей къ единенію, покажетъ имъ не разсужденіемъ, но самою жизнью радость всеобщаго единенія внѣ преградъ, поставленныхъ жизнью. Назначеніе искусства въ наше время—въ томъ, чтобы перевести изъ области разсудка въ область чувства истину о томъ, что благо людей въ ихъ единеніи между собою, и установить на мѣсто царствующаго теперь насилія то царство Божіе, т. е. любви, которое представляется всѣмъ намъ высшею цѣлью жизни человѣчества. Можетъ быть, въ будущемъ наука откроетъ искусству еще новые, высшіе идеалы, и искусство будетъ осуществлять ихъ; но въ наше время назначеніе искусства ясно и опредѣленно. Задача христіанскаго искусства—осуществленіе братскаго единенія людей".

Мы думаемъ, что и столь презираемое графомъ современное искусство служитъ той же цѣли и тѣмъ скорѣе поможетъ намъ осуществить ее, чѣмъ оно будетъ свободнѣе, противъ чего такъ возстаетъ графъ.

Вторая статья графа Толстого объ искусствѣ много содержательнѣе и интереснѣе первой. Слѣдить за его мыслью, какъ и въ первой статьѣ, крайне трудно среди массы противорѣчій, путаницы, велерѣчія и многоглаголанія, то напыщеннаго, то искусственно упрощеннаго. Много общихъ замѣчаній очень вѣрныхъ, но далеко не новыхъ, и не менѣе парадоксовъ и злобныхъ выходокъ, которыя непростительны и въ устахъ пророка... Все это такъ запутываетъ читателя, что уловить основную мысль автора становится подчасъ почти невозможнымъ. Притомъ является сильное сомнѣніе въ его искренности, какъ увидимъ ниже, когда графъ прилагаетъ открытое имъ мѣрило искусства къ собственнымъ произведеніямъ.

Въ первое время своего возникновенія искусство было всенароднымъ и религіознымъ, затѣмъ оно стало достояніемъ богатыхъ классовъ, которымъ служитъ для услажденія жизни. Совершилось такое отдѣленіе искусства отъ религіи и народа подъ вліяніемъ католичества въ средніе вѣка, когда католичество стало церковью, „обличавшею свою ложь". Не будучи въ состояніи вѣрить въ нее, высшій, богатый и просвѣщенный классъ вернулся къ языческому, не христіанскому пониманію жизни, которое полагаетъ смыслъ жизни въ наслажденіи личности. „Совершилось въ высшихъ классахъ то, что называется „возрожденіемъ наукъ и искусствъ" и что въ сущности есть ничто иное, какъ не только отрицаніе всякой религіи, но и признаніе ненужности ея". По-

терявъ вѣру въ религію, воодушевлявшую прежде искусство, люди создали особую теорію объ искусствѣ (Баумгартена), какъ объединяющемъ Истину, Добро и Красоту, и эта теорія вытѣснила прежнее пониманіе искусства, какъ проводникъ религіозныхъ идей въ образахъ. Оставляя въ сторонѣ произвольность утвержденій графа о значеніи переворота, извѣстнаго подъ именемъ возрожденія, нельзя не указать на удивительные хронологическіе скачки отъ этой эпохи къ теоріи Баумгартена, возникшей въ 1750 г. Весь періодъ въ 400 лѣтъ отъ Данте до Баумгартена укладывается въ одно опредѣленіе—„возрожденіе наукъ и искусствъ". Съ хронологіей графъ также легко раздѣлывается, какъ и со всѣмъ остальнымъ.

Баумгартенъ погубилъ истинное искусство, которое и пошло съ тѣхъ поръ по ложному пути, стало преслѣдовать цѣли наслажденія и служить однимъ богатымъ. Народное искусство исчезло. „Можно было говорить о народномъ искусствѣ—еврейскомъ, греческомъ, египетскомъ, и теперь можно говорить о китайскомъ, японскомъ, индійскомъ искусствѣ, общемъ всему народу. Такое общее всему народу искусство было въ Россіи до Петра и было въ европейскомъ обществѣ до XIII, XIV вѣковъ; но съ тѣхъ поръ, какъ люди высшихъ классовъ европейскаго общества, потерявъ вѣру въ церковное ученіе, не приняли истиннаго христіанства и остались безъ всякой вѣры,—нельзя уже говорить объ искусствѣ высшихъ классовъ христіанскихъ народовъ, подразумѣвая подъ этимъ все искусство. Съ тѣхъ поръ, какъ высшія сословія христіанскихъ народовъ потеряли вѣру въ церковное христіанство, искусство высшихъ классовъ отдѣлилось отъ искусства всего народа и стало два искусства: искусство народное и искусство господское". Но если эти высшіе классы и обходятся безъ истиннаго искусства, то народныя массы до сихъ поръ его имѣютъ. Такъ слѣдуетъ по графу, къ сожалѣнію, не указывающему примѣровъ такого народнаго искусства. Было бы особенно важно доказать, что „народъ", сохранившій религіозность, сохранилъ и истинное искусство, народное—въ отличіе отъ искусства „господскаго", не-истиннаго и не-христіанскаго. Такихъ доказательствъ графъ не даетъ, отдѣлываясь голыми утвержденіями, что современное искусство, сбитое съ толку Баумгартеномъ, непонятно народу, недоступно ему и потому не нужно.

„Для огромнаго большинства всего рабочаго народа наше искусство, недоступное ему по своей дороговизнѣ, чуждо ему еще и по самому содержанію, передавая чувства людей, удаленныхъ отъ свойственныхъ всему большому человѣчеству условій трудовой жизни. То, что составляетъ насла-

жденіе для человѣка богатыхъ классовъ, непонятно, какъ наслажденіе, для рабочаго человѣка и не вызываетъ въ немъ никакого чувства или вызываетъ чувства, совершенно обратныя тѣмъ, которыя оно вызываетъ у человѣка празднаго и пресыщеннаго. Такъ, напр., чувства чести, патріотизма, влюбленія, составляющія главное содержаніе теперешняго искусства, вызываютъ въ человѣкѣ трудовомъ только недоумѣніе, презрѣніе или негодованіе. Такъ что, если бы даже въ свободное отъ трудовъ время большинству рабочаго народа дали бы возможность увидать, прочесть, услыхать, какъ это дѣлается отчасти въ городахъ, въ картинныхъ галлереяхъ, народныхъ концертахъ, книгахъ, все то, что составляетъ цвѣтъ теперешняго искусства, то рабочій народъ въ той мѣрѣ, въ которой онъ рабочій, а не перешелъ уже отчасти въ разрядъ извращенныхъ праздностью людей, ничего не понялъ бы изъ нашего утонченнаго искусства, а если и понялъ бы, то большая часть того, что онъ понялъ бы, не только не возвысила бы его душу, но развратила бы ее".

Это одно изъ самыхъ характерныхъ мѣстъ въ разсужденіи графа, который даже и не замѣчаетъ, какую онъ услугу оказываетъ всѣмъ возстающимъ противъ просвѣтительныхъ мѣръ, предпринимаемыхъ для просвѣщенія народа. Именно главнымъ и постояннымъ аргументомъ противъ просвѣщенія является непонятность, чуждость и вредъ нашей науки и искусства для „народа", который только „развращается" всѣми этими чтеніями, театрами, популяризаціей литературы и искусства. Какъ и противники просвѣщенія, графъ Толстой не желаетъ ничего знать, ни на что не обращаетъ вниманія, разъ это расходится съ его взглядомъ, что современное искусство, отдѣлившись отъ религіи, перестало быть истиннымъ искусствомъ. Онъ, конечно, знаетъ, съ какой жадностью народъ слушаетъ чтенія, стремится въ театръ, поглощаетъ народную литературу, въ которую понемногу переходятъ лучшія произведенія нашихъ великихъ писателей. Онъ даже признаетъ это, но дѣлаетъ маленькое замѣчаніе: „въ той мѣрѣ, въ которой онъ—рабочій, а не перешелъ уже отчасти въ разрядъ извращенныхъ праздностью людей". Масса деревенскаго и городского рабочаго люда, собирающаяся на чтенія и посѣщающая библіотеки, уже „извратилась праздностью",—иначе они, конечно, не проявили бы того жаднаго стремленія къ свѣту, какое констатируется буквально всѣми наблюдателями.

Но онѣ, эти массы „извращенныхъ праздностью людей", несомнѣнно стремятся, несомнѣнно увлекаются „господскимъ" искусствомъ, литературой, театромъ, музыкой, кар-

тинами. Значитъ—развращаются, какъ утверждаетъ графъ. Чувства чести, патріотизма, влюбленія ихъ восхищаютъ, тогда какъ для настоящаго рабочаго человѣка они или не существуютъ, или прямо ему противны. На чемъ основано такое категорическое утвержденіе, что эти чувства „противны“ не извращенному праздностью народу, — вотъ вопросъ, на который графъ даже не потрудился отвѣтить хотя бы намеками. Мало того, онъ ниже дѣлаетъ еще болѣе удивительное открытіе, что народъ и дѣти уважаютъ и восхищаются только „силой физической и силой нравственной“, потому что „сила физическая заставляетъ увлекать себя“. И опять никакихъ поясненій,—сказано, какъ отрѣзано.

Откуда почерпалъ графъ свои свѣдѣнія о чувствѣ народа? Конечно, не отъ народа. Онъ приводитъ глупый анекдотъ о какомъ-то мѣщанинѣ изъ Саратова, который шелъ въ Москву, чтобы обличать духовенство за то, что оно содѣйствовало постановкѣ „монамента“ Пушкину. И графъ понимаетъ, что этотъ оригинальный обличитель по своему правъ. „Въ самомъ дѣлѣ,—говоритъ графъ, — надо только представить себѣ положеніе такого человѣка изъ народа, когда онъ по доходящимъ до него газетамъ и слухамъ узнаетъ, что въ Россіи духовенство, начальство, всѣ лучшіе люди Россіи съ торжествомъ открываютъ памятникъ великому человѣку, благодѣтелю, славѣ Россіи—Пушкину, про котораго онъ до сихъ поръ не слышалъ. Со всѣхъ сторонъ онъ читаетъ или слышитъ объ этомъ и полагаетъ, что если воздаются такія почести человѣку, то, вѣроятно, онъ сдѣлалъ что нибудь необыкновенное, или сильное, или доброе“. Онъ старается узнать, кто былъ Пушкинъ, „но каково же должно быть его недоумѣніе, когда онъ узнаетъ, что Пушкинъ былъ человѣкъ больше чѣмъ легкихъ нравовъ, что умеръ онъ на дуэли, т. е. при покушеніи на убійство другого человѣка, что вся заслуга его только въ томъ, что онъ писалъ стихи о любви, часто очень неприличные“. Такія сужденія въ устахъ саратовскаго мѣщанина вполнѣ умѣстны, но дико звучатъ со стороны графа, который въ той же статьѣ называетъ нѣсколько выше произведенія Пушкина, за исключеніемъ, впрочемъ, „Бориса Годунова“, „истиннымъ искусствомъ“, т.-е., по его опредѣленію способнымъ заражать читателя добрыми чувствами (въ чемъ, кстати сказать, и самъ Пушкинъ видѣлъ свою главную заслугу: и долго буду тѣмъ любезенъ я народу, что чувства добрыя я лирой пробуждалъ)...

Знаетъ, конечно, все это графъ Толстой и мнѣніе мѣщанина изъ Саратова приводитъ для вящаго удрученія господъ художниковъ и критиковъ, особенно послѣднихъ,

которымъ онъ просто-на-просто заявляетъ, что они—глупы. Одинъ его „пріятель“ такъ опредѣлилъ, что такое критики: „критики—это глупые, разсуждающіе объ умныхъ“. Авторитетъ пріятеля ему кажется выше и глубже, чѣмъ, напр., авторитетъ Бѣлинскаго, о которомъ во всемъ разсужденіи объ искусствѣ нѣтъ ни единаго слова. Критика повинна въ извращеніи искусства и заниматься ею могутъ только глупцы, и въ подтвержденіе истины этого утвержденія самъ графъ пишетъ длиннѣйшее разсужденіе, которое переполнено критикой современныхъ декадентскихъ произведеній, критикой Вагнера, Бетховена, Пушкина и цѣлаго ряда другихъ произведеній великихъ художниковъ.

Отмѣтивъ рядъ курьезовъ, до того очевидныхъ, что надъ разборомъ ихъ нельзя и останавливаться, укажемъ на вѣрныя и мѣткія сужденія графа, хотя всѣ они не новы. Искусство, говоритъ онъ, какъ и все, подчинено закону эволюціи. И наше искусство не есть послѣдняя его стадія, и ему предстоитъ дальнѣйшее измѣненіе. Еслибъ эту вполнѣ вѣрную мысль графъ примѣнилъ въ своемъ разсужденіи, онъ увидалъ бы, что отдѣленіе искусства отъ религіи было одной изъ стадій развитія, совершившейся подъ вліяніемъ чрезвычайно сложныхъ условій, дѣйствіе которыхъ не пріостанавливается и теперь. То „всенародное“ искусство, которое онъ признаетъ въ Греціи, было возможно при условіи рабства, которое снимало заботу о насущныхъ нуждахъ жизни съ народа. Съ уничтоженіемъ рабства, искусство, достигшее высокихъ формъ и значительнаго разнообразія, должно было обособиться, явилось, по выраженію графа, искусство богатыхъ классовъ. „Уничтожьте рабовъ капитала,—замѣчаетъ графъ,—и нельзя будетъ производить такого утонченнаго искусства“, какъ современное искусство богатыхъ.

Это совершенно вѣрно, только ничто не совершается внезапно и никакая подобная катастрофа не угрожаетъ современному обществу. Созданное имъ искусство вырабатывалось вѣками и не подъ вліяніемъ той или иной теоріи, въ родѣ Баумгартеновской, а явилось созданіемъ всѣхъ условій, при которыхъ жило и развивалось человѣческое общество. Эти условія тоже мѣняются, происходитъ медленная, но неудержимая и не предотвратимая эволюція общественнаго строя, подъ вліяніемъ которой мѣняются взгляды, вкусы, желанія, самыя, повидимому, прочно установившіяся понятія, и эта перемѣна, неуловимая и незамѣтная для современниковъ, отражается на искусствѣ, какъ отражается и на наукѣ, и на религіи. Вернуть искусство къ тому времени, когда оно еще было нераздѣльно слито съ религіей,

какъ часть цѣлаго, немыслимо также, какъ немыслимо вернуть современный строй, опирающійся на крупную промышленность, къ временамъ патріархальнаго быта, съ его замкнутой общиной, мелкими потребностями и враждебностью ко всему, что не принадлежало къ общинѣ. Такое „всенародное" искусство, какое представляется графу въ Греціи, а теперь въ Японіи и Китаѣ, только и возможно при однообразіи общества, еще не разчлененнаго на классы подъ давленіемъ экономической и политической борьбы.

Что современное искусство есть искусство высшихъ классовъ, эта банальная истина, изъ которой, однако, вовсе не слѣдуетъ, что оно недоступно народу теперь и никогда не будетъ ему доступно. Насколько такое утвержденіе фактически невѣрно, извѣстно всякому, кто слѣдилъ за развитіемъ того движенія, которое на Западѣ приняло такіе широкіе размѣры подъ именемъ народныхъ университетовъ. Цѣль его—сближеніе народныхъ массъ съ высшимъ искусствомъ и наукой, бывшихъ до сихъ поръ достояніемъ исключительно высшаго класса. Это стремленіе явилось въ странахъ демократическихъ естественнымъ завершеніемъ демократизаціи просвѣщенія. Послѣднее, въ свою очередь, выросло на почвѣ тѣхъ измѣненій, которыя возникли подъ давленіемъ новаго промышленнаго строя. Но не заходя далеко на Западъ, гдѣ литература высшаго класса, его газеты, его живопись, театръ, университетская наука стали въ значительной степени уже теперь доступны рабочему классу, и у насъ, по мѣрѣ роста грамотности, замѣтно такое же стремленіе народа пріобщиться къ тѣмъ умственнымъ сокровищамъ, какими пользуется высшая интеллигенція. И всѣ, пока еще незначительныя, попытки въ этомъ направленіи дали положительные результаты. Народъ не только понимаетъ лучшихъ нашихъ писателей, композиторовъ, драматурговъ, живописцевъ, но и любитъ ихъ, хотя и не можетъ еще пользоваться ими въ полной мѣрѣ. Читатель изъ народа поражаетъ необыкновенной чуткостью, съ которой онъ воспринимаетъ все лучшее изъ любимыхъ нашихъ художниковъ. Ему, оказывается, вполнѣ доступны и чувство чести, и патріотизмъ, и даже „влюбленія" *), какъ и чувство свободы, жажда знанія и чувство борьбы за то, что мы называемъ идеаломъ „Монаментъ" Пушкину вовсе не представляется ему такимъ чудовищно-нелѣпымъ, какъ саратовскому мѣщанину, столь восхитившему графу. Тѣ милліоны экземпляровъ изданій Пушкина, которые расходятся теперь

*) Относительно „влюбленія", впрочемъ лучше всего свидѣтельствуютъ народныя пѣсни, въ которыхъ „влюбленіе" занимаетъ главное мѣсто.

по всей Россіи, покупаются, конечно, не однимъ богатымъ классомъ, не господами, а именно рабочимъ людомъ.

Если теперь представимъ себѣ, что это движеніе только въ зародышѣ, что даже на Западѣ оно началось не далѣе 20—30 лѣтъ назадъ, что развитіе его впереди не ограничено предѣлами, то вполнѣ допустимо такое состояніе общества, при которомъ рабочій читатель явится главнымъ двигателемъ и вдохновителемъ искусства и науки. Какъ отразится такой коренной переворотъ на искусствѣ, теперь даже предвидѣть невозможно. Можно одно сказать съ полной увѣренностью, что это будетъ благодѣтельнымъ переворотомъ прежде всего для искусства. Такъ было всегда, лишь только искусство становилось болѣе демократично, въ смыслѣ большей доступности большему кругу читателей. Ложно-классическая литература была мало доступна кому-либо, кромѣ узкаго круга высшаго общества. Романтическая захватила несравненно болѣе широкіе круги читателей, еще болѣе расширила эти круги реалистическая. Новое искусство, вѣроятно, будетъ дѣйствительно всеобщимъ: но какъ и въ чемъ оно проявится, говорить теперь невозможно и нелѣпо.

Во всякомъ случаѣ, то, что есть лучшаго въ нашемъ теперешнемъ искусствѣ, не будетъ выброшено за бортъ, и врядъ ли кто послѣдуетъ примѣру графа, когда онъ однимъ почеркомъ пера сокрушаетъ все, что не подходитъ подъ его критическую мѣрку. „Только благодаря критикамъ, восхваляющимъ въ наше время грубыя, дикія и часто безмысленныя произведенія древнихъ грековъ: Софокла, Эврипида, Эсхила, въ особенности Аристофана, или новыхъ Данте, Тассо, Мильтона, Шекспира; въ живописи—всего Рафаэля, всего Микель-Анджело съ его нелѣпымъ „Страшнымъ судомъ“; въ музыкѣ—всего Баха, всего Бетховена съ его послѣднимъ періодомъ,—стали возможны въ наше время Ибсены, Метерлинки, Верлены, Малларме, Пювисъ-де-Шованны, Клингеры, Бёклины, Шнейдеры; въ музыкѣ—Вагнеры, Листы, Берліозы, Брамсы, Рихарды Штраусы и т. п.“. Сваливать все и вся въ одну кучу, „не разбираючи лица“, можно только руководствуясь правиломъ „своя рука владыка“, и такой критическій пріемъ вполнѣ напоминаетъ тѣхъ критиковъ, о которыхъ говорилъ пріятель графа. Насъ беретъ сильное сомнѣніе, видѣлъ ли графъ хоть одно произведеніе, напр., Клингера или Бёклина? Дѣло въ томъ, что къ нѣкоторымъ изъ лучшихъ произведеній перваго вполнѣ примѣнимо требованіе графа религіозности въ искусствѣ: они въ вполнѣ отвѣчаютъ ему, хотя, конечно, Клингеръ совершенно иначе, чѣмъ графъ Толстой, понимаетъ ралигіозность. То же и относительно, напр., пейзажей Бёклина, хотя и его религіоз-

ность не толстовская. Чувства, которыми заражаютъ оба художника, глубоки и возвышенны и ужъ никакъ нельзя причислить обоихъ художниковъ къ числу тѣхъ, кто пишетъ для „потѣхи праздныхъ людей“.

Не меньшее сомнѣніе въ искренности графа является, когда онъ начинаетъ перечислять образцы истиннаго искусства, достойные быть сохраненными. Въ истинномъ искусствѣ графъ различаетъ „религіозное и житейское“ искусство. Первое распадается на „высшее религіозное искусство, которое прямо и непосредственно передаетъ чувства, вытекающія изъ любви къ Богу и ближнему“, и „низшее, которое передаетъ чувства отвращенія, негодованія, презрѣнія явленіямъ, противнымъ любви къ Богу и ближнему“. Житейское искусство передаетъ „такія чувства, которыя доступны всѣмъ людямъ“, и распадается на „высшее житейское искусство, которое доступно и понятно людямъ всего міра всегда и вездѣ: всемірное искусство, и на доступное и понятное всѣмъ людямъ только одного мѣста и времени, всенародное искусство“. Къ образцамъ перваго онъ причисляетъ въ области литературы Виктора Гюго—его „Отверженные“ и „Les pauvres gens“, почти всѣ повѣсти и разсказы Диккенса, „Хижина дяди Тома“, Достоевскаго, преимущественно его „Мертвый домъ“. Въ живописи онъ указываетъ на жанры Милле, Лермита, Ланглуа. Ко второму роду житейскаго искусства онъ относитъ, какъ лучшія, еще меньше произведеній, причемъ смиренно замѣчаетъ: „Представляя образцы искусства, которое я считаю лучшимъ, я не придаю особеннаго вѣса своему выбору, такъ какъ я, кромѣ того, что недостаточно свѣдущъ во всѣхъ родахъ искусствъ, принадлежу къ сословію людей съ извращеннымъ ложнымъ воспитаніемъ вкусомъ. И потому могу, по старымъ усвоеннымъ привычкамъ, ошибаться, принимая за абсолютное достоинство то впечатлѣніе, которое произвела на меня вещь въ моей молодости. Называю же я образцы произведеній того и другого рода только для того, чтобы больше уяснить свою мысль, показать, какъ я при теперешнемъ моемъ взглядѣ понимаю достоинство искусства по его содержанію. При этомъ еще долженъ замѣтить, что свои художественныя произведенія я причисляю къ области дурного искусства, за исключеніемъ разсказа „Богъ правду видитъ“, желающаго принадлежать къ первому роду, и „Кавказскаго плѣнника“, принадлежащаго ко второму“. Сопоставляя это скромное замѣчаніе съ рѣшительнымъ приговоромъ для Шекспира и Данта, сомнѣваемся, чтобы все это было сказано съ полной вѣрой въ правду своихъ словъ.

Тѣмъ болѣе, что графъ не приводитъ никакихъ доказа-

тельствъ, и потому нисколько не поясняетъ своей мысли. Напр., „Иліаду“ и „Одисею“ онъ считаетъ произведеніями истиннаго всенароднаго искусства (съ чѣмъ и мы согласны), но какъ оба эти произведенія подходятъ къ установляемому симъ требованію христіанской религіозности—непонятно. Еще менѣе понятно утвержденіе, что исторію Іосифа Прекраснаго съ женой Пентефрія понимаютъ одинаково всѣ народы и дѣти, тогда какъ дѣти ее совсѣмъ не понимаютъ, а разные народы взглянутъ на это весьма различно, смотря по установившимся у нихъ взглядамъ на нравственность.

Но, повторяемъ, невозможно разобраться въ путаницѣ мнѣній графа. Хотя, по его словамъ, онъ 15 лѣтъ думалъ надъ вопросомъ объ искусствѣ, однако, ему не мѣшало-бы и еще подумать. Мало кого убѣдятъ его вѣщанія, многословныя и неосновательныя, его уничтожающіе приговоры, широко расточаемые направо и налѣво. „Я кончилъ эту работу,—говоритъ онъ въ заключеніе,—и какъ ни плохо я ее сдѣлалъ, я надѣюсь, что основная мысль моя о томъ ложномъ пути, на которомъ стало и по которому идетъ искусство нашего общества, и о причинѣ этого, и о томъ, въ чемъ состоитъ истинное назначеніе искусства, вѣрна, и что поэтому трудъ мой не пропадетъ даромъ“. Не думаемъ, чтобы надежды графа оправдались. Основная мысль его о необходимости повернуть жизнь назадъ не вѣрна и не осуществима, и искусство будетъ совершать свою медленную эволюцію вмѣстѣ со всѣмъ строемъ нашей соціальной жизни, а этимъ строемъ нельзя вертѣть во всѣ стороны по тѣмъ или инымъ указаніямъ, хотя бы и графа Толстого.

Признавъ современное искусство сбившимся съ истиннаго пути, графъ въ другой небольшой статейкѣ, въ мартовской книгѣ „Сѣвернаго Вѣстника“, обрушивается на науку, находя, что и она занимается пустяками для удовлетворенія празднаго любопытства праздныхъ людей. Для людей, говоритъ онъ, нужна одна только наука, которая учитъ, „какъ надо жить, какъ обходиться съ семейными, какъ съ ближними, какъ съ иноплеменниками, какъ боротъся съ своими страстями, во что надо, во что не надо вѣрить“. Но современная наука вовсе не занимается этими вопросами, предоставивъ ихъ всецѣло религіи. „Люди же науки нашего времени, не признавая никакой религіи и потому не имѣя никакого основанія, по которому они могли бы отбирать, по степени ихъ важности, предметы изученія и отдѣлять ихъ отъ предметовъ менѣе важныхъ и, наконецъ, отъ того без-

конечнаго количества предметовъ, которые всегда останутся, по ограниченности человѣческаго ума и по безконечности количества этихъ предметовъ, не изученными, составили себѣ теорію—„наука для науки", по которой наука изучаетъ не то, что нужно людямъ, а *все*"...

Далѣе графъ нападаетъ на науку за то, что она служитъ немногимъ сильнымъ, помогая имъ угнетать остальныхъ. Больше всего достается политической экономіи. „Не говоря уже о богословіи, философіи и юриспруденціи, поразительна въ этомъ отношеніи самая модная изъ этого рода наукъ—политическая экономія. Политическая экономія наиболѣе распространенная (Марксъ), признавая существующій строй жизни такимъ, какимъ онъ долженъ быть, не только не требуетъ отъ людей перемѣны этого строя, т. е. не указываетъ имъ на то, какъ они должны жить, чтобы ихъ положеніе улучшилось, но, напротивъ, требуетъ продолженія жестокости существующаго порядка для того, чтобы совершились тѣ—болѣе, чѣмъ сомнительныя—предсказанія о томъ, что должно случиться, если люди будутъ продолжать жить такъ же дурно, какъ они живутъ теперь". Всѣ усовершенствованія и открытія техники, гигіена и медицина только усиливаютъ существующее зло. И такъ будетъ продолжаться, пока наука не измѣнитъ своей цѣли и своего метода. „Наша наука для того, чтобы сдѣлаться наукой и дѣйствительно быть полезной, а не вредной человѣчеству, должна прежде всего отречься отъ своего опытнаго метода, по которому она считаетъ своимъ дѣломъ только изученіе того, что есть, а вернуться къ тому единственному разумному и полезному пониманію науки, по которому предметъ ея есть изученіе того, какъ должны жить люди. Въ этомъ цѣль и смыслъ науки".

Уже не первый разъ графъ дѣлаетъ вылазки противъ науки, и приведенныя здѣсь мысли его можно найти разсѣянными во всѣхъ его сочиненіяхъ послѣдняго періода. Ставъ проповѣдникомъ, графъ сначала отрицалъ совсѣмъ науку, теперь онъ желаетъ, чтобы она вернулась вспять, къ эпохѣ среднихъ вѣковъ, когда дѣйствительно наука была нераздѣльна съ религіей, и теологія была наукой всѣхъ наукъ. Не мѣшало бы только вспомнить, каковы были результаты средневѣковой науки, о чемъ можно прочесть въ любомъ учебникѣ. Жилось ли людямъ тогда легче, едва ли усомнится и графъ Толстой, хотя именно тогда его идеалъ науки былъ осуществленъ въ полной мѣрѣ. Наука занималась не тѣмъ, что есть, а лишь искала поученій, какъ надо жить, а жизнь людей съ первой минуты появленія на свѣтъ и до могилы была опутана правилами поведенія, разъ

навсегда предписанными. Всякое нарушеніе ихъ уже было преступленіемъ, потому что предписывались они именно наукой, основанной и истекающей изъ религіи, слѣдовательно, явились освященными божествомъ. Всякая попытка изслѣдованія того, что есть, разсматривалась, какъ бунтъ именно противъ божества и соотвѣтственно каралась. И долгимъ, тяжкимъ путемъ завоевало человѣчество свою свободу отъ такой науки, отмѣчая каждый шагъ на этомъ пути кровавыми слѣдами. Темницы Галилея, костры Сервета и Джордано Бруно—вотъ этапы на томъ пути, на который графъ желалъ бы повернуть науку, въ добромъ, конечно, намѣреніи облегчить жизнь человѣчеству. Но не затѣмъ завоевало это послѣднее право на свободное изслѣдованіе—и завоевало именно „опытнымъ методомъ",—чтобы теперь отказаться отъ этого права и, по „щучьему велѣнью", по графскому хотѣнью, добровольно наложить на себя ярмо. Мало того, оно и не могло бы этого сдѣлать: „на поприщѣ ума нельзя намъ отступать", и разъ пройденная ступень культуры уже не повторяется. А если такъ, то всѣ разсужденія графа не суть ли „пустыя слова"?

Наука, утверждаетъ графъ, служитъ меньшинству для угнетенія большинства. Во-первыхъ, это невѣрно фактически. Современное угнетеніе, въ вѣкъ пара и электричества, неизмѣримо меньше, чѣмъ во времена Торквемады и „Домостроя". А во-вторыхъ, не наука сама по себѣ служитъ къ угнетенію, какъ не виноватъ ножъ, которымъ Равальякъ поразилъ Генриха IV. Мы опять и опять видимъ въ разсужденіяхъ графа полное пренебреженіе къ соціологической точкѣ зрѣнія. Если бы, какъ то полагаетъ графъ, можно было словомъ убѣдить всѣхъ измѣнить существующія общественныя отношенія, тѣ же паръ и электричество служили бы непосредственно всѣмъ, какъ, впрочемъ, и теперь служатъ, хотя косвенно. Какъ несправедливо обвиняетъ графъ служителей искусства, что они увеличиваютъ тяготу народа, такъ еще болѣе несправедливъ онъ въ этихъ обвиненіяхъ противъ людей науки. Ихъ еще меньше, чѣмъ дѣятелей искусствъ, и затраты общества на ихъ содержаніе прямо ничтожны, а по сравненію съ приносимой ими пользой и говорить о нихъ нельзя, даже съ классовой точки зрѣнія. Во всѣхъ представительныхъ правленіяхъ именно представители рабочаго класса стоятъ всегда за ассигновки на науку, такъ какъ они понимаютъ, что каждое новое завоеваніе ея приближаетъ ихъ къ измѣненію общественнаго строя въ выгодномъ для нихъ направленіи.

Наука для науки въ томъ смыслѣ, какъ понимаетъ это

графъ, есть его измышленіе, но если понимать подъ этимъ свободу въ выборѣ предметовъ изслѣдованія, то это главный базисъ научнаго прогресса. Лишить ученыхъ этой свободы значило бы убить науку. „Духъ идѣ же хощеть — дышетъ“, и только при этомъ условіи онъ можетъ дѣйствовать и дѣло его будетъ плодотворно. Всегда и вездѣ попытки къ ограниченію свободы научнаго изслѣдованія вели къ упадку общества, правда, лишь временному, потому что сковать духъ науки нельзя. Это вѣковѣчная борьба Прометея съ Зевсомъ, въ которой послѣдній всякій разъ со стыдомъ уступаетъ.

„Пустыя слова“ графа не новы и не интересны. Не разъ и не два приходилось человѣчеству считаться съ нападками на науку, и всегда наука выходила побѣдительницей, въ новомъ блескѣ всесокрушающей правды, торжеству которой она только и служитъ, только его и имѣетъ въ виду. Не сладко жилось людямъ прежде, не сладко имъ живется и теперь, но если впереди мы все же видимъ просвѣтъ, можемъ надѣяться на лучшее будущее, то лишь благодаря наукѣ, которая за краткій сравнительно періодъ исторической жизни человѣчества сдѣлала много и, безъ сомнѣнія, сдѣлаетъ въ будущемъ неизмѣримо больше.

Памяти В. Г. Бѣлинскаго [1]).

„Что бы ни случилось съ русской литературой, какъ бы пышно ни развивалась она, Бѣлинскій всегда будетъ ея гордостью, ея славой, ея украшеніемъ. До сихъ поръ его вліяніе ясно чувствуется на всемъ, что только появляется у насъ прекраснаго и благороднаго; до сихъ поръ каждый изъ лучшихъ нашихъ литературныхъ дѣятелей сознается, что значительной частью своего развитія обязанъ, непосредственно или посредственно, Бѣлинскому. Въ литературныхъ кружкахъ всѣхъ оттѣнковъ едва ли найдется пять-шесть грязныхъ и пошлыхъ личностей, которыя осмѣлятся безъ уваженія произнести его имя“.

Такъ сорокъ лѣтъ тому назадъ писалъ Добролюбовъ о Бѣлинскомъ по поводу выхода перваго собранія его сочине-

---

[1]) Май 1898 г.

ній, и эти слова не теряютъ своего значенія и теперь, когда прошло полстолѣтія со дня кончины великаго русскаго писателя. Даже болѣе,—если Добролюбовъ все же счелъ нужнымъ отмѣтить „пять-шесть грязныхъ и пошлыхъ личностей“, то нынѣ едва ли найдется хоть одинъ человѣкъ въ „литературныхъ кружкахъ“, который сталъ бы отрицать значеніе Бѣлинскаго или отказалъ бы ему въ уваженіи. Имя Бѣлинскаго играетъ въ литературѣ такую же роль теперь, какъ имя Пушкина, соединившее на празднествѣ 80 года всѣхъ около себя, примирившее всѣ направленія. Нѣтъ теперь двухъ мнѣній о немъ, и въ этомъ мы видимъ великое торжество тѣхъ началъ, провозвѣстникомъ которыхъ выступилъ въ литературѣ Бѣлинскій, которыя онъ выстрадалъ и за нихъ пострадалъ не мало.

Виссаріонъ Григорьевичъ Бѣлинскій былъ сыномъ флотскаго врача и родился въ маѣ или февралѣ 1810 г. въ Свеаборгѣ, во время стоянки тамъ флотскаго экипажа, въ которомъ служилъ его отецъ, происходившій изъ духовнаго сословія. Дѣдъ Бѣлинскаго былъ священникомъ въ селѣ Бѣлыни, Пензенской губерніи, Нижнеломовскаго уѣзда, откуда и фамилія Бѣлынскій, передѣланная затѣмъ въ „Бѣлинскій“. Дѣтство его протекло въ родной губерніи, въ уѣздномъ городѣ Чембарѣ, гдѣ продолжалъ службу его отецъ въ качествѣ уѣзднаго „штабсъ-лекаря“. Насколько можно судить по скуднымъ воспоминаніямъ, дѣтство Бѣлинскаго протекло въ родной семьѣ довольно сносно. Отецъ былъ для своего времени человѣкомъ развитымъ и понималъ даровитую натуру ребенка, отличалъ его остроуміе, поощрялъ раннюю пытливость его и вскорѣ научился уважать его голосъ. По словамъ г. Пыпина, „между ними была симпатія, благодѣтельно дѣйствовавшая на обоихъ въ рѣзкихъ случаяхъ. Виссаріонъ еще юноша, въ виду домашнихъ несогласій, сталъ заявлять свой голосъ, высказывать отцу свои укоры, и отецъ выслушивалъ ихъ, не негодовалъ, не оправдывался: очевидно, голосъ сына онъ принималъ съ уваженіемъ“. Мать была женщина простая и необразованная; всѣ заботы ея ограничивались тѣмъ, чтобы прилично одѣть и накормить дѣтей.

Вообще, семья не могла дать особаго поощренія талантливому мальчику, но главное — не стѣсняла и не мѣшала развитію его даровитости, что было уже большимъ счастіемъ въ то время, если принять во вниманіе обстановку глухой провинціи съ ея дикими взглядами на воспитаніе и не менѣе дикими нравами. Пензенская губернія и теперь самый глухой уголокъ Россіи, — можно представить, чѣмъ былъ какой-

нибудь Чембаръ сто лѣтъ тому назадъ. Большимъ счастіемъ для Бѣлинскаго была эта мягкая семейная атмосфера, въ которой онъ могъ чувствовать себя свободнымъ, гдѣ его не гнули въ бараній рогъ, слѣдуя домостроевскимъ традиціямъ патріархальной семьи, и теперь еще процвѣтающимъ у насъ въ разныхъ Чембарахъ, Зашиверскахъ и Тмутараканяхъ.

Бѣлинскій очень рано научился читать и страстно отдавался чтенію и дома, и въ уѣздномъ училищѣ Чембара, гдѣ продолжалось его обученіе. И здѣсь онъ попалъ въ сравнительно хорошія условія, благодаря мягкому и доброму смотрителю училища. Изъ времени пребыванія его въ училищѣ сохранился любопытный разсказъ Лажечникова о школьникѣ Бѣлинскомъ. „Въ 1823 г., — разсказываетъ Лажечниковъ, бывшій тогда директоромъ училищъ Пензенской губерніи, — ревизовалъ я Чембарское училище. Во время дѣлаемаго мною экзамена выступилъ передо мною, между прочими учениками, мальчикъ лѣтъ 12-ти, котораго наружность съ перваго взгляда привлекла мое вниманіе. Лобъ его былъ прекрасно развитъ, въ глазахъ свѣтился разумъ не по лѣтамъ; худенькій и маленькій, онъ между тѣмъ на лицо казался старше, чѣмъ показывалъ его ростъ. Смотрѣлъ онъ очень серьезно. На всѣ дѣлаемые ему вопросы онъ отвѣчалъ такъ легко, скоро, съ такою увѣренностью, будто налеталъ на нихъ, какъ ястребъ на свою добычу (отчего я тутъ же прозвалъ его ястребкомъ), и отвѣчалъ, большею частью, своими словами, прибавляя то, чего не было даже въ казенномъ руководствѣ. Доказательство, что онъ читалъ и книги, не положенныя въ классахъ. Я особенно занялся имъ, бросался съ нимъ отъ одного предмета къ другому, связывая ихъ непрерывною цѣпью, и, признаюсь, старался сбить его. Мальчикъ вышелъ изъ труднаго испытанія съ торжествомъ“.

Талантливость маленькаго Бѣлинскаго сказывалась, какъ видно, очень рано, а его начитанность давала ей обильную пищу. „Еще будучи мальчикомъ,—пишетъ Бѣлинскій одному изъ своихъ друзей,—я, въ огромныя кипы тетрадей, неутомимо, денно и нощно безъ всякаго разбору списывалъ стихотворенія Карамзина, Дмитріева, Державина и проч.; я плакалъ, читая „Бѣдную Лизу“ и „Марьину рощу“, писалъ баллады и думалъ, что онѣ не хуже балладъ Жуковскаго, не хуже „Раисы“ Карамзина, отъ которой я сходилъ тогда съ ума“.

Какъ въ училищѣ, такъ затѣмъ и въ пензенской гимназіи, куда Бѣлинскій поступилъ въ 1825 г., онъ настолько своимъ развитіемъ опережалъ образованіе, даваемое школой,

что по существу ему здѣсь нечего было дѣлать. Понятно, что и гимназія не увлекала его ни мало, и онъ продолжалъ учиться по своему, съ еще большей, чѣмъ раньше, жадностью накидывался на чтеніе и страшно увлекался уже тогда театромъ. Одинъ изъ его тогдашнихъ учителей, Поповъ, сохранилъ о немъ воспоминаніе, какъ о плохомъ гимназистѣ, но чрезвычайно даровитомъ мальчикѣ. „Многое мимоходомъ запало въ его крѣпкую память, многое онъ понималъ самъ, своимъ пылкимъ умомъ, еще больше набиралось въ немъ свѣдѣній изъ книгъ, которыя онъ читалъ внѣ гимназіи... Онъ бралъ у меня книги и журналы, пересказывалъ мнѣ прочитанное, судилъ и рядилъ обо всемъ, задавалъ мнѣ вопросъ за вопросомъ... По лѣтамъ и тогдашнимъ отношеніямъ нашимъ, онъ былъ неровный мнѣ, но не помню, чтобы въ Пензѣ съ кѣмъ-нибудь другимъ я такъ душевно разговаривалъ, какъ съ нимъ, о наукахъ и литературѣ". Но Бѣлинскій не только глоталъ книги, какъ многіе даровитые и любознательные юноши,—онъ очень критически и вдумчиво относился къ книгѣ и чужому мнѣнію. Какъ впослѣдствіи онъ ничего не бралъ на вѣру и, страшно увлекаясь, въ то же время выхватывалъ изъ предмета его сущность, такъ и въ своихъ юношескихъ отношеніяхъ сохранялъ самостоятельность и самодѣятельность. Тотъ же Поповъ говоритъ, что „Бѣлинскій не поддавался на чужое мнѣніе. Когда я объяснялъ ему высокую прелесть въ простотѣ, поворотъ къ самобытности и возрастаніе таланта Пушкина, онъ качалъ головой, отмалчивался или говорилъ: „дайте подумаю, дайте еще прочту". Если же съ чѣмъ соглашался, то, бывало, отвѣчалъ съ страшной силой: „совершенно справедливо".

Въ юности, мы видимъ, уже складывались будущія черты Бѣлинскаго—искателя истинныхъ путей, піонера свободной мысли и критическаго отношенія къ дѣйствительности, упорнаго и страстнаго борца за свои убѣжденія, за то, что онъ считаетъ святымъ. Тогда же зародилась страсть къ театру, отличавшая Бѣлинскаго впослѣдствіи и которой литература обязана единственными по глубинѣ и силѣ статьями объ игрѣ Мочалова. Бѣлинскій-гимназистъ тратилъ всѣ свои скудныя средства на театръ, дѣлалъ займы для той же цѣли, для удовлетворенія своей исключительной по силѣ и страстности любви къ театру, о которомъ онъ впослѣдствіи пишетъ въ „Литературныхъ мечтаніяхъ": „Театръ! Любили ли вы театръ такъ, какъ я люблю его, т. е. всѣми силами души вашей, со всѣмъ энтузіазмомъ, со всѣмъ изступленіемъ, къ которому только способна пылкая молодость, жадная и страстная до впечатлѣній изящнаго? Или, лучше сказать, можете

ли вы не любить театра больше всего на свѣтѣ, кромѣ блага и истины? О, ступайте въ театръ, живите и умрите въ немъ, если можете!"

При такомъ направленіи ума, способностей, склонностей, понятно, Бѣлинскій мало удовлетворенія находилъ въ гимназіи, откуда и былъ исключенъ черезъ три года „за нехожденіе въ классъ". Такъ же мало далъ ему и университетъ, куда Бѣлинскій поступилъ въ концѣ лѣта 1829 г. На первое время онъ увлекался обстановкой, товариществомъ, но уже къ концу перваго года пустота и ничтожество тогдашней университетской науки отшатнули Бѣлинскаго отъ профессорскихъ лекцій, и онъ снова вернулся къ прежнему источнику, утолявшему его духовную жажду, — къ самостоятельному чтенію, размышленію и спорамъ въ небольшомъ, тѣсномъ кругѣ избранныхъ товарищей, и къ театру, гдѣ въ то время на московской сценѣ подвизались такіе таланты, какъ Щепкинъ и Мочаловъ. Во время студенческой жизни умъ его насыщался и работалъ неутомимо, мужалъ и крѣпчалъ. Складывались основныя черты будущаго критика, намѣчались тенденціи, руководившія имъ потомъ всю жизнь. Читая „Бориса Годунова", Бѣлинскій приходитъ въ неистовый восторгъ отъ сцены въ корчмѣ, онъ вскакиваетъ, бросаетъ книгу, опрокидываетъ стулъ и восторженно восклицаетъ: „да это живые; я видѣлъ, я вижу, какъ онъ бросился въ окно?" Это—та же до болѣзненности доходящая впечатлительность, которая отличала Бѣлинскаго всегда, заслуживъ ему прозвище „неистоваго Виссаріона". Краткое пребываніе въ университетѣ было полезно ему въ одномъ лишь отношеніи, давъ ему почти два года свободнаго времени, которые были цѣликомъ посвящены работѣ надъ своимъ развитіемъ, самообразованію въ истинномъ и широкомъ значеніи этого слова. Но университетъ самъ по себѣ ничего не далъ ему, кромѣ лекцій Надеждина, котораго онъ, впрочемъ, слушалъ очень недолго, но лекціи его не прошли для Бѣлинскаго безслѣдно, хотя и не имѣли такого рѣшительнаго вліянія, какъ полагали раньше.

Бѣлинскій былъ типичный самоучка, обязанный исключительно своей энергіи, своей страстной любви къ знанію и литературѣ и особой, творческой способности по одному обрывку, по кончику нитки добраться до цѣлаго, охватить его разомъ и претворить въ цѣльное и ясное представленіе. Его упрекали иногда, что у него нѣтъ систематическихъ знаній ни по одному предмету, о которыхъ онъ писалъ, и это вѣрно. Но у него было нѣчто большее: была энергія мысли и чувства, которая не позволяла остановиться и успокоиться на чемъ-либо, постоянно толкала къ новой ра-

ботѣ, къ новымъ исканіямъ. „Упорствуя, волнуясь и спѣша“, геніальный самоучка поглощалъ все, что отвѣчало этому стремленію, безъ системы, безъ разбора, и среди этого хаоса проложилъ вѣрную дорогу для бѣдной русской мысли, не потерялся тамъ, гдѣ несравненно болѣе образованные, съ самыми систематическими знаніями, застряли въ трясинѣ, либо пришли къ рѣшительному выводу о спасительности старины, кнута и татарской мурмолки. Нѣтъ ничего несправедливѣе этихъ упрековъ по адресу такихъ натуръ, какъ Бѣлинскій, въ отсутствіи системы, въ недостаточной дисциплинѣ ума. Тогда какъ вся сила ихъ заключается именно въ томъ, что ихъ нельзя уложить ни въ какую систему, потому что система всегда ограничена, всегда узка и одностороння. Такіе умы безпредѣльны; они вбираютъ въ себя все окружающее и претворяютъ невѣдомымъ, непостижимымъ образомъ въ идеи, которыя, какъ откровенія, освѣщаютъ хаосъ смутныхъ и неясныхъ образовъ и служатъ маяками въ жизни. Они создаютъ новую науку, новое искусство, новую религію, смотря по тому, куда влечетъ ихъ геній, неспособный примириться съ существующимъ, которое его не удовлетворяетъ. Они истинная соль земли, въ нихъ, какъ лучи въ фокусѣ, сосредоточивается высшее напряженіе духовныхъ силъ данной эпохи даннаго общества.

Университетъ не далъ ничего Бѣлинскому, и послѣднему скоро пришлось и совсѣмъ оставить его. Поводомъ послужила драма „Дмитрій Калининъ“, сущность которой составляетъ протестъ противъ крѣпостного права. Какъ литературное произведеніе, драма была крайне неудачной, ходульной, напыщенной и риторической вещью, хотя самъ авторъ былъ о ней весьма высокаго мнѣнія и на ея успѣхѣ строилъ весь планъ будущей жизни. Мечты его разлетѣлись прахомъ очень быстро, и дальше цензурнаго комитета драма не пошла. Но, по словамъ г. Пыпина, „цензурныя власти совпадали тогда съ университетскимъ начальствомъ, и неблагопріятное мнѣніе, составленное объ авторѣ пьесы, отразилось на студентѣ. Цензурная власть и въ то же время ректоръ университета Двигубскій пригрозилъ студенту за дерзкія мысли. Хотя Бѣлинскій написалъ послѣ домой, что положеніе его улаживается, но впечатлѣніе его „дерзости“ сохранилось, и по всѣмъ отзывамъ, какіе намъ приходилось читать и слышать, трагедія имѣла положительную роль въ исключеніи его изъ университета“. По вѣрному заключенію г. Протопопова, трагедія, если и не была поводомъ, то явилась „серьезной причиной“ исключенія, которое и состоялось въ половинѣ 1832 г.

Бѣлинскій былъ слишкомъ опредѣлененъ, слишкомъ неспособенъ къ тому режиму, который прежде всего требовалъ приспособленія отъ студентовъ, а Бѣлинскій никогда не могъ приспособиться къ жизни. Въ гимназіи онъ не ужился и былъ исключенъ „за нехожденіе въ классъ", въ университетѣ тоже, и опять исключеніе „за неспособностью". Шестнадцать лѣтъ спустя то же неумѣніе приспособляться свело его преждевременно въ могилу въ такіе годы, когда большинство испытываетъ расцвѣтъ силъ. „Бѣлинскій, — говоритъ г. Протопоповъ,—былъ „не ко двору" въ своемъ уѣздномъ городишкѣ, „не ко двору" въ гимназіи, „не ко двору" въ университетѣ, да не ко двору и въ русской дѣйствительности: его настоящее мѣсто было въ храмѣ идеала, у подножія богини Истины, и онъ бывалъ страненъ, нелѣпъ и смѣшонъ, выходя оттуда, въ своемъ молитвенномъ, благоговѣйно-страстномъ настроеніи, на нашъ житейскій базаръ. Причина всѣхъ причинъ и всѣхъ поводовъ къ его исключенію лежала именно здѣсь, въ несоединимыхъ свойствахъ нашей жизни и его нравственной природы".

На самого Бѣлинскаго исключеніе, въ связи съ погибшими надеждами на успѣхъ драмы, подѣйствовало удручающимъ образомъ, но не надолго. Матеріальное положеніе его было болѣе чѣмъ бѣдственное; и какъ существовалъ Бѣлинскій по выходѣ изъ университета, можно представить по нѣкоторымъ отрывкамъ изъ его писемъ. Вообще, Бѣлинскій рѣдко жаловался на матеріальныя стѣсненія, хотя и любилъ иногда мечтать объ обезпеченномъ положеніи. Уже черезъ годъ онъ пишетъ съ увѣренностью, что никогда и нигдѣ не пропадетъ, „не смотря на всѣ жестокія гоненія судьбы... Не только не жалуюсь на мои несчастія, но еще радуюсь имъ: собственнымъ опытомъ узналъ я, что школа несчастія есть самая лучшая школа. Будущее не страшитъ меня".

Съ этой вѣрой въ себя Бѣлинскій началъ самостоятельную жизнь, не стѣсненную рамками оффиціальныхъ обязанностей къ университету или другому начальству, и уже въ 1834 г. выступилъ въ литературѣ съ блестящей статьей „Литературныя мечтанія", выдвинувшей его сразу на первое мѣсто въ журналистикѣ. Впечатлѣніе этой статьи лучше всего передаетъ Панаевъ. „Начало этой статьи,—говоритъ онъ, — привело меня въ такой восторгъ, что я охотно бы тотчасъ поскакалъ въ Москву познакомиться съ авторомъ ея. Новый, смѣлый, свѣжій духъ ея такъ и охватилъ меня. Не оно ли, подумалѣ я, это новое слово, котораго я жаждалъ, не это ли тотъ самый голосъ правды, который я такъ давно хотѣлъ услышать?" Съ этого момента Бѣлинскій уже

является признаннымъ цѣнителемъ въ литературѣ, къ голосу котораго прислушиваются и съ которымъ считаются. Литература всецѣло завладѣваетъ Бѣлинскимъ, вся жизнь котораго проходитъ среди интересовъ исключительно умственныхъ, въ страстномъ увлеченіи философіей, театромъ и журналистикой.

Еще въ университетѣ онъ сблизился съ кружкомъ лучшихъ студентовъ, группировавшихся около Станкевича. Съ другимъ кружкомъ, центромъ котораго былъ Герценъ, Бѣлинскій тогда не былъ такъ близокъ. Оба кружка въ то время нѣсколько враждовали, что особенно проявилось впослѣдствіи. Кружокъ Станкевича, говоритъ г. Пыпинъ, „первоначально воспитывался прямо по философіи, выслушанной у Павлова и Надеждина, и, увлекаемый заманчивой перспективой рѣшеній для глубочайшихъ вопросовъ человѣческой мысли, отдался исканію этихъ рѣшеній, пренебрегая всѣмъ остальнымъ, какъ ничтожнымъ въ сравненіи съ этими всеобъемлющими вопросами... Бѣлинскій, съ самаго начала увлекшійся поэтическими и отвлеченно-моральными интересами, рано присоединился къ кругу Станкевича; онъ встрѣчалъ здѣсь тѣ же стремленія. и вмѣстѣ съ тѣмъ личность Станкевича произвела на него то привлекательное дѣйствіе, вліяніе котораго уцѣлѣло въ Бѣлинскомъ на многіе годы, и которое Станкевичъ производилъ вообще на всѣхъ, съ кѣмъ онъ сближался“.

Мы не будемъ распространяться въ настоящей біографической справкѣ о вліяніи Станкевича и его кружка на Бѣлинскаго. Вопросъ этотъ и слишкомъ большой, и слишкомъ сложный, чтобы уложить его на нѣсколькихъ строкахъ. Бѣлинскій былъ настолько богатая ис ложная натура, что подчинить ее тому или иному вліянію было трудно. Въ сущности, онъ, какъ инструментъ, настроенный въ извѣстный тонъ, давалъ только отзвуки тому, что отвѣчало по высотѣ и настроенію его собственному душевному укладу въ данную эпоху его жизни. Въ этомъ отношеніи вліяніе кружка было дѣйствительно велико. Въ немъ онъ встрѣчалъ людей, стоявшихъ на одномъ съ нимъ уровнѣ по развитію, по стремленіямъ, по общему направленію мысли,—людей, хотя и уступавшихъ ему по творческой силѣ таланта, но превосходившихъ его знаніями и во всякомъ случаѣ не уступавшихъ ему въ пониманіи литературы, театра, философіи, такъ увлекавшихъ его тогда.

Кромѣ Станкевича, самыми видными были Константинъ Аксаковъ, Бакунинъ, Василій Боткинъ и Грановскій. Каждый былъ оригиналенъ, съ яркой индивидуальностью и особымъ темпераментомъ. Всѣхъ объединяло идеальное стре-

мленіе къ свѣту, къ истинѣ, къ правдѣ. Понятно, въ этой атмосферѣ чистѣйшихъ помысловъ и чистѣйшихъ страстей Бѣлинскій не могъ не чувствовать себя, какъ рыба въ водѣ, жадно вбирая изъ каждаго то, что было роднымъ его душѣ. Больше всего онъ увлекался тогда философіей, въ которой, по свидѣтельству Тургенева, „мы всѣ искали тогда всего на свѣтѣ, кромѣ чистаго мышленія". А для изученія философіи въ кружкѣ были два компетентныхъ знатока—Бакунинъ и самъ Станкевичъ. Бѣлинскій, обладавшій замѣчательнѣйшей философской организаціей, способной по основнымъ началамъ вывести самостоятельно всѣ логическія послѣдствія, превосходно воспользовался уроками этихъ вполнѣ свѣдущихъ лицъ.

Въ кружкѣ Бѣлинскій хотя и не занималъ перваго мѣста, но и не уступалъ никому. Прежде всего огромный литературный талантъ выдвигалъ его на первое мѣсто въ литературѣ изъ среды его болѣе свѣдущихъ товарищей. Затѣмъ онъ превосходилъ всѣхъ энергіей чувствъ, искренностью убѣжденій и порывомъ, заставлявшимъ его въ каждый данный моментъ всецѣло отдаваться охватившему его настроенію и этимъ увлекать за собой всѣхъ. Все это вмѣстѣ и сдѣлало то, что изъ всѣхъ членовъ кружка именно Бѣлинскій явился въ литературѣ представителемъ богатаго содержанія кружка.

Этотъ періодъ въ жизни Бѣлинскаго былъ, пожалуй, самымъ свѣтлымъ. Молодость, богатство надеждъ, свѣжесть таланта создавали то настроеніе, которое Пушкинъ называетъ „минутами умиленія, младыхъ надеждъ, сердечной тишины и нѣгой вдохновенія", — и не давали чувствовать тяготъ бѣдности и скуднаго матеріальнаго положенія. Бѣлинскій работалъ все время, со всѣмъ пыломъ истиннаго вдохновеннаго журналиста, сначала въ „Молвѣ", потомъ въ „Телескопѣ" Надеждина, редактировалъ „Московскій Наблюдатель".

И матеріалъ для его критической работы русская литература того времени представляла превосходный. Огонь, сжигавшій критика, находилъ для себя богатую пищу. Пушкинъ блисталъ въ полномъ расцвѣтѣ силъ, Грибоѣдовъ только что сошелъ со сцены, выступили Гоголь, Лермонтовъ, Кольцовъ, Полежаевъ и цѣлая плеяда меньшихъ боговъ. Бѣлинскій словно вводилъ ихъ въ русское общество, разъясняя сущность ихъ поэзіи, прививая любовь къ истинной художественности, выясняя физіономію каждаго изъ этихъ талантовъ. Критикъ былъ достоенъ художниковъ, но и самъ учился у нихъ истинному пониманію красоты и правды.

Борьба съ бѣдностью, однако, давала себя чувствовать, и

безъ того не крѣпкій организмъ пошатнулся именно въ тотъ періодъ. Бѣлинскій захворалъ роковымъ недугомъ, сведшимъ его впослѣдствіи въ могилу, и ѣздилъ на Кавказъ, гдѣ и оправился на время. Въ концѣ тридцатыхъ годовъ, именно въ 1839 г., Бѣлинскій переселился въ Петербургъ, гдѣ и начался второй, самый значительный періодъ его дѣятельности. Черезъ Панаева онъ вошелъ въ соглашеніе съ Краевскимъ, который купилъ тогда у Свиньина „Отечественныя Записки" и организовалъ редакцію для нихъ. И здѣсь, блогодаря наивной и дѣтской непрактичности Бѣлинскаго, матеріальное положеніе его было далеко не блестящее. За тысячу рублей въ годъ онъ взялъ на себя весь критическій и библіографическій отдѣлъ журнала. Работа была, по словамъ Бѣлинскаго, „каторжная". Въ одномъ изъ писемъ къ невѣстѣ онъ заканчиваетъ слѣдующей припиской: „вчера только отдѣлался отъ 10-ой книжки „Отеч. Записокъ". Мочи нѣтъ, какъ усталъ душой и тѣломъ: правая рука одервенѣла и ломитъ". На обязанности Бѣлинскаго лежалъ разборъ массы глупѣйшихъ книжекъ, которыми онъ долженъ былъ заниматься для ежемѣсячнаго обозрѣнія. Бѣлинскій сильно жаловался на эту скучную и неблагодарную работу. „Положительно тупѣю, — говорилъ онъ— строчишь, строчишь о всякой пошлости и одурѣешь".

Жизнь шла довольно однообразно, въ гости онъ не любилъ ходить, попрежнему часто бывалъ въ театрѣ, сильно волнуясь, если шла хорошая пьеса. До обѣда онъ писалъ, по вечерамъ собирался кружокъ близкихъ, шли безконечные споры или играли въ преферансъ, которымъ, какъ и всѣмъ, Бѣлинскій увлекался до страсти, причемъ страшно волновался и кипятился. Объ этой его безобидной страсти есть нѣсколько показаній друзей. Вотъ что, напримѣръ, разсказывалъ Кавелинъ объ игрѣ Бѣлинскаго: „Повѣритъ ли читатель, что въ нашу игру, невиннѣйшую изъ невинныхъ, которая въ худшемъ случаѣ оплачивалась рублемъ-двумя, Бѣлинскій вносилъ всѣ перипетіи страсти, отчаянія и радости, точно участвовалъ въ великихъ историческихъ событіяхъ? Садился онъ играть съ большимъ увлеченіемъ, и если ему везло, былъ веселъ и доволенъ; поставивъ нѣсколько ремизовъ, Бѣлинскій становился мраченъ, жаловался на судьбу, которая его преслѣдуетъ, и, наконецъ, съ отчаяніемъ бросалъ карты и уходилъ въ темную комнату". Видя его волненіе за картами, друзья удерживали его, опасаясь за его здоровье, но Бѣлинскій сердился и отвѣчалъ на эти опасенія: „Что карты! Мое волненіе за картами пустяки; вотъ вредное для меня волненіе, какъ, напримѣръ, сегодня я волновался, когда мнѣ принесли листъ моей

статьи, окровавленной цензоромъ; изволь печатать изуродованную статью! Отъ такихъ волненій грудь ноетъ, дышать трудно".

Въ Петербургѣ Бѣлинскій сдѣлался центромъ, къ которому стремилось все, что было лучшаго въ тогдашней литературѣ. Нравственный его авторитетъ былъ всѣмъ признанъ. Кромѣ Панаева, очень близкаго къ Бѣлинскому въ то время, въ кружкѣ были Тургеневъ, тогда только начинающій писатель, Некрасовъ, Одоевскій, Соллогубъ, впослѣдствіи Достоевскій, Анненковъ, Григоровичъ. Всѣ были молоды, увлекались, много спорили и часто зарывались. Бѣлинскій являлся среди нихъ самымъ зрѣлымъ, вполнѣ сложившимся человѣкомъ, признаннымъ борцомъ за высшіе идеалы литературы. Подходя къ нему, всѣ „подтягивались", въ лучшемъ значеніи этого слова. Для нихъ онъ былъ „учителемъ", что прекрасно выразилъ Некрасовъ въ одномъ изъ задушевнѣйшихъ воспоминаній объ этомъ времени:

Бѣлинскій былъ особенно любимъ...
Молясь твоей многострадальной тѣни,
Учитель! передъ именемъ твоимъ
Позволь смиренно преклонить колѣни!

Въ тѣ дни, какъ все коснѣло на Руси,
Дремля и раболѣпствуя позорно,
Твой умъ кипѣлъ—и новыя стези
Прокладывалъ, работая упорно.

Ты не гнушался никакимъ трудомъ:
„Чернорабочій я—не бѣлоручка!"
Говаривалъ ты намъ—и на проломъ
Шелъ къ истинѣ, великій самоучка!

Ты насъ гуманно мыслить научилъ,
Едва-ль не первый вспомнилъ о народѣ,
Едва-ль не первый ты заговорилъ
О равенствѣ, о братствѣ, о свободѣ...

Не даромъ ты, мужая по часамъ,
На взглядъ глупцовъ казался перемѣнчивъ;
Но предъ врагомъ заносчивъ и упрямъ,
Съ друзьями былъ ты кротокъ и застѣнчивъ.

Не думалъ ты, что стоишь ты вѣнца,
И разумъ твой горѣлъ, не угасая,
Самимъ собою и жизнью до конца
Святое недовольство сохраняя,—

То недовольство, при которомъ нѣтъ
Ни самообольщенья, ни застоя,
Съ которымъ и на склонѣ нашихъ лѣтъ
Постыдно мы не убѣжимъ изъ строя—

То недовольство, что душѣ живой
Не дастъ возстать противу новой силы
За то, что заслоняетъ насъ собой
И старцамъ говоритъ: „пора въ могилы!“

Въ 1843 году Бѣлинскій женился на Марьѣ Васильевнѣ Орловой, съ которой познакомился еще въ Москвѣ въ 1835 г. М. В. Орлова кончила курсъ въ одномъ изъ московскихъ институтовъ, нѣкоторое время была гувернанткой въ частномъ домѣ и затѣмъ поступила въ институтъ классной дамой. Ей было уже 31 годъ, когда она вышла замужъ. Сохранилась его переписка съ невѣстой, въ которой обрисовывается любящая и нѣжная душа Бѣлинскаго *). Жена его была, по скуднымъ отзывамъ друзей, женщина добрая и любящая, но, повидимому, въ жизни великаго писателя не играла замѣтной роли. Черезъ годъ у нихъ родилась дочь (жива и теперь). Явилась новая забота, новые расходы, а матеріальное положеніе не улучшалось. Тяжесть необезпеченной жизни въ это время его жизни была ужасна. Въ запискахъ г-жи Головачевой есть много указаній на удручающую обстановку, при которой долженъ былъ работать Бѣлинскій. Удивительно и прискорбно, что друзья его, по большей части люди болѣе, чѣмъ обезпеченные, такъ мало заботились о немъ. Равнодушіе, съ какимъ окружающіе относились къ тяжкой нуждѣ Бѣлинскаго, просто поразительно. Послѣ его смерти, вдова его съ трехлѣтней дочерью осталась буквально въ нищетѣ...

Въ 1845 году Бѣлинскій разошелся съ „Отеч. Зап.“. Онъ радовался полученной свободѣ и задумалъ рядъ „затѣй и предпріятій“, въ числѣ которыхъ на первомъ мѣстѣ стояло изданіе сборника въ родѣ „Петербургскаго Сборника“ Некрасова. Но эта затѣя по цензурнымъ причинамъ не осуществилась. Зато другое предпріятіе, которое задумалъ Некрасовъ съ Панаевымъ, новый журналъ „Современникъ“— удалось, и съ 1847 г. Бѣлинскій снова принялся за журнальную работу съ обычной силой и страстью. „Современникъ“ въ умѣлыхъ рукахъ Некрасова сразу пошелъ прекрасно, и вмѣстѣ съ тѣмъ измѣнилось къ лучшему и положеніе Бѣлинскаго. Но силы его уже были надорваны въ конецъ. По настоянію друзей онъ уѣхалъ заграницу лѣчиться. Здѣсь онъ написалъ, между прочимъ, знаменитое письмо Гоголю изъ Зальцбрунна, излагающее какъ бы „исповѣданіе вѣры“ Бѣлинскаго,—письмо, въ которомъ съ страшной

*) Выдержки изъ этой переписки помѣщены въ „М. Б.“ за 1895 г., іюль, „На родинѣ“.

силой выражены основныя воззрѣнія его на Россію, на жизнь общества и народа, на задачи и цѣли общественной борьбы *). Оно явилось и его завѣщаніемъ: менѣе чѣмъ черезъ годъ Бѣлинскаго не стало.

Изъ-за границы онъ вернулся осенью 1847 года, мало поправившись, и усиленно принялся за работу. Тутъ подоспѣлъ роковой 48-й годъ, надъ литературой стали сгущаться все болѣе и болѣе грозныя тучи, и Бѣлинскій, больной, задыхающійся, которому и раньше было душно,—не выдержалъ; нравственныя страданія успѣшно помогли физическому недугу, и 26 мая 1848 года Бѣлинскаго не стало. Смерть для него явилась во время. Только по удостовѣренію врачей, что дни Бѣлинскаго сочтены, его оставили въ покоѣ. Уже въ то время, когда онъ не могъ ходить, его три раза „приглашали" въ одно учрежденіе „познакомиться". Смерть избавила его отъ „знакомства" и отъ худшей для писателя участи: носились слухи, что Бѣлинскому предстояла высылка съ воспрещеніемъ писать, а это было бы, несомнѣнно, хуже смерти для того, кто не понималъ для себя жизни безъ литературы. „Умру на журналѣ и въ гробъ велю положить подъ голову книжку „От. Записокъ". Я — литераторъ, говорю это съ болѣзненнымъ и вмѣстѣ радостнымъ и гордымъ убѣжденіемъ. Литературѣ рассейской моя жизнь и моя кровь", писалъ онъ въ частномъ письмѣ изъ Петербурга, и сдержалъ слово.

Прошло 50 лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ закончилась эта жизнь, такая бѣдная внѣшними событіями, такая богатая внутреннимъ содержаніемъ и безпримѣрно плодотворная по результатамъ. Въ русской литературѣ не было болѣе чистаго образа, болѣе вдохновеннаго и страстнаго, неподкупнаго и искренняго борца за истину. Развѣ одинъ Добролюбовъ можетъ стать съ нимъ въ одинъ уровень по красотѣ духовнаго склада, но онъ жилъ такъ мало и во всякомъ случаѣ уступаетъ ему по силѣ литературнаго таланта. Читая Бѣлинскаго, забываешь время, отдѣляющее насъ отъ него, до того подчиняетъ его страстная, художественная и порывистая рѣчь, волнующаяся, неудержимо стремительная и пылкая. Тайна чарующей прелести стиля Бѣлинскаго заключается въ подкупающей, проникающей до сердца искренности его. Такъ можетъ говорить только человѣкъ, свято вѣрующій въ правду того, что проповѣдуетъ. Панаевъ приводитъ одну сцену, въ высшей степени характерную для

*) Письмо цѣликомъ напечатано въ книгѣ г. Барсукова „Жизнь Погодина", т. IX. Въ значительныхъ выдержкахъ, составляющихъ почти все письмо, оно помѣщено въ „М. Б." 1897 г., май, „Осужденная книга".

Бѣлинскаго. Рѣчь идетъ о статьѣ, относящейся еще къ тому періоду, когда Бѣлинскій стоялъ на почвѣ тезиса „дѣйствительность разумна“ и въ то же время буквально почти умиралъ съ голоду.

„Лихорадочное увлеченіе, съ которымъ читалъ Бѣлинскій,—говоритъ Панаевъ,—языкъ этой статьи, исполненной страстной торжественности и напряженнаго паѳоса, произвелъ во мнѣ нервное раздраженіе. Бѣлинскій самъ былъ раздраженъ нервически. — Удивительно! превосходно! — повторялъ я во время чтенія и по окончаніи его:—но я вамъ замѣчу одно... — Я знаю что, — не договаривайте, — перебилъ меня съ жаромъ Бѣлинскій, — меня назовутъ льстецомъ, подлецомъ, скажутъ, что я кувыркаюсь предъ властью... Пусть ихъ! Я не боюсь открыто и прямо высказывать свои убѣжденія, что бы обо мнѣ ни подумали... — Онъ началъ ходить по комнатѣ въ волненіи.—Да! это мои убѣжденія, — продолжалъ онъ, разгорячаясь болѣе и болѣе.—Я не стыжусь, а горжусь ими... И что мнѣ дорожить мнѣніемъ и толками чортъ знаетъ кого? Я только дорожу мнѣніемъ людей развитыхъ и друзей моихъ. Они не заподозрятъ меня въ лести и подлости... Противъ убѣжденій никакая сила не заставитъ меня написать ни одной строчки... они знаютъ это... Подкупить меня нельзя... Клянусь вамъ, Панаевъ, — вѣдь вы меня еще мало знаете... — Онъ подошелъ ко мнѣ и остановился передо мною. Блѣдное лицо его вспыхнуло, вся кровь прилила къ головѣ, глаза его горѣли. — Клянусь вамъ, что меня нельзя подкупить ничѣмъ... Мнѣ легче умереть съ голоду — я и безъ того рискую эдакъ умереть каждый день (и онъ улыбнулся при этомъ съ горькой ироніей),—чѣмъ потоптать свое человѣческое достоинство, унизивши себя передъ кѣмъ бы то ни было или продать себя“...

Правда этихъ словъ, подтверждаемая всей его жизнью, кристально-чистой, почти аскетической, только усиливала впечатлѣніе его статей. Первый признакъ неискренности это—измѣна таланта. Когда человѣкъ, не вѣря въ истину своего дѣла, распинается тѣмъ не менѣе за него, ему измѣняетъ его талантъ, если онъ былъ у него прежде, — чего никогда не бывало съ Бѣлинскимъ. Правда, его статьи второго періода лучше, полнѣе, слогъ опредѣленнѣе и глубже, что зависѣло отъ большей зрѣлости таланта, но по силѣ и горячности тона онѣ не выше. Въ обоихъ случаяхъ предъ нами все та же „наивная и страстная душа“. И если теперь сильно впечатлѣніе, какое выносишь изъ чтенія Бѣлинскаго, можно представить, какое вліяніе должно было имѣть его слово тогда, — по свидѣтельству Салтыкова, — „волнуя и

утѣшая насъ и наполняя сердце наше скорбью и негодованіемъ и вмѣстѣ указывая цѣль нашихъ стремленій". Благоговѣйное чувство, какимъ проникнуты воспоминанія о немъ знавшихъ его лично, напр., Панаева и Тургенева отражаетъ это впечатлѣніе недосягаемой нравственной высоты и непоколебимой силы убѣжденія, какое производилъ Бѣлинскій, какъ человѣкъ и писатель.

„Сколько счастливыхъ чистыхъ минутъ снова напомнятъ его статьи,—тѣхъ минутъ, когда мы полны были юношескихъ беззавѣтныхъ порывовъ, когда энергическія слова Бѣлинскаго открывали намъ совершенно новый міръ знанія, размышленія и дѣятельности! Читая его, мы забывали мелочность и пошлость всего окружающаго, мы мечтали объ иныхъ людяхъ, объ иной дѣятельности и искренно надѣялись встрѣтить когда-нибудь такихъ людей и восторженно обѣщали посвятить себя самихъ такой дѣятельности", — говоритъ Добролюбовъ, почти современникъ его и самый достойный замѣститель. „Да,—заканчиваетъ онъ,—въ Бѣлинскомъ наши лучшіе идеалы, въ Бѣлинскомъ же исторія нашего общественнаго развитія, въ немъ же тяжкій, горькій, неизгладимый упрекъ нашему обществу"...

Наивная и страстная душа.
Въ комъ помыслы прекрасные кипѣли,
Упорствуя, волнуясь и спѣша,
Ты честно шелъ къ одной высокой цѣли;
Кипѣлъ, горѣлъ—и быстро ты угасъ!
Ты насъ любилъ, ты дружеству былъ вѣренъ—
И мы тебя почтили въ добрый часъ!
Ты по судьбѣ печальной безпримѣренъ:
Твой трудъ живетъ и долго не умретъ,
А ты погибъ, несчастливъ и незнаемъ!
И съ дерева невѣдомаго плодъ
Безпечные безпечно мы вкушаемъ.
Намъ дѣла нѣтъ, кто возрастилъ его,
Кто посвящалъ ему и трудъ, и время,
И о тебѣ не скажетъ ничего
Своимъ потомкамъ сдержанное племя...
И съ каждымъ днемъ окружена тѣснѣй,
Затеряна давно твоя могила,
И память благодарная друзей
Дороги къ ней не проторила...

Въ послѣднихъ словахъ поэта, какъ и въ заключительныхъ словахъ Добролюбова, слышится горькій упрекъ по адресу русскаго общества, и много правды въ этомъ упрекѣ. Правда эта не въ томъ, что и до сихъ поръ нѣтъ памятника, достойнаго великаго писателя,—лучшій памятникъ ему—это вся послѣдующая литература, которая и до сихъ поръ вѣрно держится намѣченнаго имъ пути. Эта правда лежитъ несра-

вненно глубже, она заключается въ равнодушіи общества къ тѣмъ завѣтамъ, которыми дышалъ Бѣлинскій, ради которыхъ жилъ, какъ страстотерпецъ, и которыя завѣщалъ потомству,—она лежитъ въ равнодушіи къ принципамъ гуманности, свободы, просвѣщенія и борьбы во имя ихъ. Бѣлинскій самъ никогда не зналъ минутъ слабости и паденія, равнодушія къ жизни и разочарованія. Его вѣра двигала горами, воодушевляя въ мертвые дни той эпохи самыхъ равнодушныхъ и поддерживая готовыхъ упасть,

Многое, о чемъ мечталъ онъ, осуществилось, но еще больше осталось мечтою и до сихъ поръ. Дальнѣйшая работа въ томъ же направленіи, съ вѣрою въ непобѣдимую силу любви и свѣта и въ конечную побѣду ихъ надъ насиліемъ и мракомъ,—вотъ что завѣщалъ онъ потомству, вотъ къ чему призываетъ насъ воспоминаніе о немъ. И теперь въ дни, посвященные памяти великаго мученика русской мысли, лишь одного можемъ мы пожелать, чтобы неумирающій духъ его ожилъ въ насъ, поднялъ надъ пошлостью современности, вдохновилъ своей вѣрой и любовью, объединилъ враждующихъ и направилъ къ общей дружной работѣ на благо народа, любить и жертвовать собой для котораго Бѣлинскій училъ и словомъ, и примѣромъ всей жизни.

Философія приволья.—«Очерки и разсказы» Максима Горькаго [1]).

Въ изящной литературѣ послѣднихъ двухъ-трехъ лѣтъ очерки и разсказы г. Максима Горькаго представляютъ едва ли не самое видное явленіе, по свѣжести и оригинальности таланта, яркаго и сильнаго, и по новизнѣ содержанія, всегда интереснаго и глубоко захватывающаго читателя. Рисуетъ ли авторъ картины природы, которую онъ страстно любитъ и тонко понимаетъ, въ особенности безбрежную ширь моря и приволье нашихъ южныхъ степей, или глухіе углы большихъ городовъ, гдѣ ютится бѣднѣйшій слой городского населенія,—онъ умѣетъ вложить въ свои очерки столько новаго и неожиданнаго, что

[1]) Іюль 1898 г.

предъ нами встаетъ цѣлый міръ, совершенно обособленный, чрезвычайно разнообразный по типамъ и характерамъ, не укладывающійся въ рамки обычнаго представленія о бродягахъ и золоторотцахъ, какихъ мы привыкли встрѣчать въ разсказахъ другихъ писателей. Бродяга, босякъ. то злобный и ожесточенный, потерпѣвшій рядъ крушеній и отчаявшійся, то безпокойный и нервный искатель справедливости, привлекаетъ все вниманіе г. Горькаго, занимаетъ главное мѣсто въ его очеркахъ, въ которыхъ все остальное составляетъ только фонъ, лучше обрисовывающій этотъ, на первый взглядъ, такой чуждый намъ міръ бродячаго и безпокойнаго городского пролетаріата, насмѣшливо окрестившаго себя „босой командой".

Босая команда—созданіе исключительно большихъ городовъ, явленіе сравнительно новое у насъ и быстро растущее вмѣстѣ съ ростомъ и развитіемъ промышленной жизни. Городъ поглощаетъ ежегодно массу пришлаго рабочаго люда, волны котораго приливаютъ изъ глубины деревни, выброшенныя оттуда измѣнившимися условіями хозяйственной жизни. Всѣ, не удержавшіеся въ деревнѣ, стремятся въ городъ, какъ къ центру, гдѣ можно найти примѣненіе силамъ, для которыхъ не оказалось мѣста въ новомъ деревенскомъ укладѣ. Нерѣдко это лучшіе, наиболѣе воспріимчивые элементы деревни, не мирящіеся съ ея безвыходнымъ положеніемъ, съ ея вѣчными голодовками, необезпеченностью личности, полудремотнымъ существованіемъ для котораго не видно лучшаго, болѣе человѣчнаго выхода, чѣмъ постоянная безрезультатная борьба изъ-за куска хлѣба,—борьба, обезличивающая, ведущая къ полному равнодушію къ жизни. Та же борьба, но на болѣе широкой аренѣ, встрѣчаетъ ихъ и въ городѣ, гдѣ болѣе сложныя условія вырабатываютъ изъ этихъ примитивныхъ борцовъ за существованіе и болѣе сложные типы, какими полна босая команда. Главный контингентъ ея и составляютъ бывшіе деревенскіе люди, не съумѣвшіе пристроиться въ городѣ и поглощенные его подонками. Къ нимъ осѣдаютъ сверху „бывшіе люди" всевозможныхъ званій, профессій и положеній, составляющіе своего рода аристократію глухихъ угловъ, наиболѣе типичные и характерные, которымъ въ очеркахъ г. Горькаго отведено выдающееся мѣсто.

Г. Максимъ Горькій не первый бытописатель этого своеобразнаго міра. Левитовъ, которому пришлось тоже, какъ и г. Горькому, не мало пошататься по темнымъ закоулкамъ большихъ городовъ, съ особой любовью описывалъ ихъ обитателей. Но у Левитова слишкомъ мягкій и нѣж-

ный колоритъ лежитъ на всемъ, что онъ писалъ, и его босая команда такъ опоэтизирована, что реальная жизнь почти отсутствуетъ. Его герои—это развинченные люди, тѣ же интеллигентные „взыскатели града", какимъ былъ самъ Левитовъ. Въ нихъ слишкомъ мало плоти и крови, уличной городской жизни. Они скорѣе напоминаютъ переряженныхъ людей, а не настоящихъ босяковъ съ ихъ жестокими, подъчасъ звѣрскими привычками, злобой, грубостью, пьянствомъ и безсознательнымъ стремленіемъ къ свободѣ, скрашивающей ихъ тягостное существованіе. Читая Левитова, испытываешь попеременно приливъ жалости и досады,—жалости къ изображаемой имъ жизни и досады на автора, который, повидимому, такъ много зная и такъ много испытавъ, не смогъ дать вѣрной картины, изобразить вѣрные типы и характеры, настолько рѣзко отличные и интересные сами по себѣ, чтобы не нуждаться ни въ какихъ постороннихъ украшеніяхъ. Сентиментализмъ Левитова, составляющій основный фонъ его описаній глухихъ улицъ, портитъ все, оставляя въ концѣ концовъ привкусъ слащавости и манерности, дѣланности чувства и приподнятости тона, что сильно портитъ лучшіе изъ его очерковъ.

Очерки г. Горькаго даютъ не менѣе жестокую правду, но авторъ съ истинно художественнымъ тактомъ съумѣлъ вездѣ удержаться отъ преувеличеній, предоставляя самимъ героямъ говорить за себя. Отсутствіе лирическихъ изліяній и полный объективизмъ его разсказа углубляютъ содержаніе, а непосредственная поэтическая жилка, чувствующаяся вездѣ въ описаніяхъ природы, дѣлаетъ его картины художественно-законченными.

Безконечную галлерею выводимыхъ имъ типовъ открываетъ одинъ изъ лучшихъ представителей этого міра отверженныхъ „Челкашъ", фигура почти трагическая по силѣ чувства и суровости тона, въ которомъ она выписана. Босякъ южнаго портоваго города, прошедшій всѣ мытарства, сильный и гордый своей удалью, Челкашъ случайно сталкивается съ примитивнымъ существомъ деревенскаго міра, выброшеннымъ изъ деревни въ поискахъ за хлѣбомъ. Гаврила истый представитель деревни, не понимающій и не признающій иной связи, кромѣ связи съ землей, иныхъ отношеній, кромѣ созданныхъ землею. Весь міръ существуетъ для него только какъ „подсобіе" для этой земли, въ которой всѣ его думы, надежды, мечты. Земля—основа его жизни, при ней онъ можетъ быть „совсѣмъ свободенъ, самъ по себѣ", она все содержаніе его, устой, на которомъ зиждется весь его душевный міръ, устой прочный и непо-

колебимый, что даетъ ему извѣстное превосходство передъ его случайнымъ товарищемъ, въ его глазахъ человѣкомъ потерянномъ, никому не нужнымъ. И Челкашъ это чувствуетъ.

Весь трагизмъ его положенія въ томъ и заключается, что, сознавая свое превосходство по уму, характеру, душевной силѣ надъ бѣднымъ и простоватымъ Гаврилой, онъ въ то же время не можетъ не видѣть всей правды его словъ, что онъ, Челкашъ, человѣкъ „не нужный на землѣ", о которомъ никто не станетъ допытываться, если онъ вдругъ исчезнетъ. Онъ, гордый, сильный, способный на великодушные и чистые порывы, непонятные и чуждые Гаврилѣ,— не имѣетъ мѣста въ обществѣ, стоитъ внѣ его. Для него нѣтъ будущаго, настоящее неопредѣленно, жестоко и полно обиды и горечи, а въ прошедшемъ жуткія воспоминанія о той же спасительной связи съ землей, связи, которую онъ порвалъ и уже не возстановитъ никогда. Единственное, что скрашиваетъ его безцѣльное существованіе, это свобода, независимость, неподчиненность чужой волѣ. Но въ то же время какая это свобода, когда первый сторожъ въ гавани, первый таможенный надсмотрщикъ можетъ взять его за шиворотъ и препроводить въ кутузку. То ли дѣло та свобода, о которой мечтаетъ глуповатый парень Гаврила и мечтаетъ на основаніи фактовъ, хорошо ему знакомыхъ, реальныхъ и для него возможныхъ?

Послѣ ловко совершенной кражи при помощи ничего не понимающаго Гаврилы, Челкашъ невольно задумывается надъ разницей между этими двумя „свободами". Сначала онъ какъ бы превозносится надъ Гаврилой, которому во всю жизнь не „сцапать" полтысячи, заработанной имъ, ловкимъ Челкашомъ, въ одну ночь. Но потомъ, подъ наплывомъ воспоминаній, навѣянныхъ разговоромъ съ Гаврилой, самъ увлекается картиной свободной деревенской жизни.

„— Главное, — вспоминается ему, — въ крестьянской жизни, братъ, это свобода! Хозяинъ ты есть самъ себѣ! У тебя твой домъ, — грошъ ему цѣна — да онъ твой. У тебя земля есть своя,—всего ея итого горсть—да она твоя! Курица у тебя своя, яйцо свое, яблоко свое! Король ты на своей землѣ!.. И потомъ порядокъ... Утромъ всталъ,—работа, весной одна, лѣтомъ другая, осенью, зимой — опять иная. Куда ни пойди, воротишься въ свой домъ. Тепло!.. Покой!.. Король вѣдь? Такъ ли?—воодушевленно закончилъ Челкашъ длинный перечень крестьянскихъ преимуществъ и правъ и почему-то запамятовавъ объ обязанностяхъ.

„Гаврило глядѣлъ на него съ любопытствомъ и тоже воодушевился. Онъ во время этого разговора успѣлъ уже

забыть, съ кѣмъ имѣетъ дѣло, и видѣлъ передъ собой такого же крестьянина, какъ и самъ онъ, прилѣпленнаго навѣки къ землѣ потомъ многихъ поколѣній, связаннаго съ нею воспоминаніями дѣтства, самовольно отлучившагося отъ нея и отъ заботъ о ней и понесшаго за эту отлучку должное наказаніе.

„— Это, братъ родимый, вѣрно! Ахъ, какъ вѣрно! Вотъ, гляди-ка на себя, что ты теперь такое безъ земли? ого!.. Землю, братъ, какъ мать, не забудешь надолго...

Челкашъ одумался... Онъ почувствовалъ раздражающее жженіе въ груди, являвшееся всегда, чуть только его самолюбіе, самолюбіе безшабашнаго удальца, бывало задѣто кѣмъ-либо, и особенно тѣмъ, кто не имѣлъ цѣны въ его глазахъ.

„— Замололъ!..—сказалъ онъ свирѣпо,—ты, можетъ, думалъ, что я все это въ серьезъ... Держи карманъ шире!

„—Да, чудакъ-человѣкъ!.. — снова оробѣлъ Гаврило. — Развѣ я про тебя говорю? Чай, такихъ-то, сколь ты, много! Эхъ, сколько несчастнаго народу на свѣтѣ!.. Шатающихъ“...

Челкашъ злится, тѣмъ болѣе, что не можетъ не понимать, насколько правды въ нехитрыхъ словахъ его товарища. Онъ уже не вернется назадъ, не можетъ, хотя бы и желалъ стать „королемъ“ на своей землѣ. Непонятная, непреодолимая сила оторвала его отъ нея. Для него нѣтъ возврата назадъ, какъ нѣтъ и впереди ничего. Случайная удача дѣлаетъ его обладателемъ значительныхъ денегъ, „полтысячи рублей“—хвастливо показываетъ онъ Гаврилѣ. У послѣдняго моментально является цѣлый планъ, что и какъ онъ могъ бы сдѣлать на эти деньги. У Челкаша—ничего, кромѣ мысли о безшабашномъ кутежѣ. Гаврила, воодушевленный своими мечтами, пробуетъ сначала вымолить у него эти деньги, а когда это не удается, пытается отнять ихъ силой, ошеломивъ Челкаша камнемъ. И тутъ между этими представителями двухъ разныхъ міровъ разыгрывается глубоко характерная сцена.

Увидѣвъ Челкаша, лежащаго неподвижно, съ окровавленной головой, Гаврило растерялся отъ страха и убѣжалъ, но потомъ лучшіе инстинкты просыпаются въ человѣкѣ земли. Онъ возвращается и старается привести босяка въ чувство.

„Освѣженный водою, Челкашъ очнулся и толкнулъ Гаврилу отъ себя, хрипло сказавъ:

„— Поди... прочь!..

„— Братъ! прости... дьяволъ это меня...—дрожа шепталъ Гаврило, цѣлуя руку Челкаша.

„— Иди... ступай...—хрипѣлъ тотъ.

„— Сними грѣхъ съ души!.. Родной! прости!..

„— Трусъ!.. и блудить-то не умѣешь!.. — презрительно крикнулъ Челкашъ.—Деньги взялъ? — сквозь зубы процѣдилъ онъ.

„— Не бралъ я ихъ, не бралъ! Не надо мнѣ, бѣда отъ нихъ!..

„Челкашъ сунулъ руку въ карманъ своей куртки, вытащилъ пачку денегъ, одну радужную положилъ обратно въ карманъ, а все остальное кинулъ Гаврилѣ:—возьми и ступай!..

„— Не возьму, братъ... Не могу, прости!..

„— Бери, бери!.. Не стыдись, что человѣка чуть не убилъ! За такихъ людей, какъ я, никто не взыщетъ. Еще спасибо скажутъ, какъ узнаютъ“.

Гаврило беретъ деньги и они расходятся, — одинъ въ деревню, чтобы на своей землѣ быть „королемъ“, другой въ свой глухой уголъ, откуда нѣтъ выхода.

И не только потому нѣтъ выхода, что Челкашъ порвалъ съ землею. Онъ человѣкъ иного склада; онъ только въ мечтахъ можетъ представить себя „королемъ на своей землѣ“, такъ какъ въ дѣйствительности онъ слишкомъ свободенъ для такой роли. Это и составляетъ отличительную черту героевъ г. Горькаго—любовь къ свободѣ ради нея самой. Сами они не въ силахъ объяснить этого стремленія, увлекающаго ихъ отъ сытой, спокойной жизни, о которой они не прочь помечтать потомъ, но съ которой ни одинъ изъ нихъ не мирится. Это стремленіе дѣлаетъ Челкаша выше въ его собственныхъ глазахъ, подымаетъ его надъ Гаврилой, который ради земли и связанныхъ съ нею благъ готовъ на все, — и на униженіе передъ презираемымъ имъ босякомъ, и на преступленіе. Тогда какъ Челкашъ, воръ и пьяница, „шатающійся человѣкъ“, не отдастъ этой свободы ни за какія блага. Зачѣмъ она ему, онъ и самъ не понимаетъ. Но онъ не можетъ представить себѣ жизни безъ нея. Онъ любитъ море за его ширь и просторъ, за дыханіе свободы, которымъ вѣетъ отъ него и котораго ничѣмъ нельзя укротить и связать, какъ и его, Челкаша, что и въ глазахъ читателя дѣлаетъ личность Челкаша значительнѣе и симпатичнѣе, чѣмъ Гаврилы съ его мечтами о своей курицѣ, о своемъ яалокѣ, о своемъ гнѣздѣ, изъ-за котораго онъ уже ничего неспособенъ видѣть. Чувство безграничной свободы дѣлаетъ Челкаша болѣе человѣкомъ и сближаетъ его съ нами. Пусть оно теперь стихійно и безсознательно, но въ немъ несравненно больше задатковъ для развитія въ будущемъ, чѣмъ въ неразрывной связи Гаврилы съ землею, — связи, тоже стихійной и безсознательной, но неподвижной и мертвой, безъ развитія и движенія.

Челкашъ сильная натура, человѣкъ съ рѣзко выдающейся индивидуальностью, не сумѣвшій примѣниться къ жизни, не нашедшій „своей точки“, какъ говоритъ про себя другой герой того же типа Коноваловъ. Болѣе вдумчивый и мягкій, не ожесточенный, какъ Челкашъ, Коноваловъ сокрушается своей кажущейся ему ненужностью, неумѣніемъ найти свою „точку“, которая указала бы ему „порядокъ жизни“. Онъ живетъ больше чувствомъ, которое не мирится съ окружающей его неправдой, но не можетъ вывести его на дорогу болѣе правильной жизни,—и пьетъ запоемъ, „отъ тоски“, какъ онъ говоритъ. „Такая, скажу я тебѣ, братецъ мой, тоска, что невозможно мнѣ въ ту пору жить, совсѣмъ нельзя. Какъ будто я одинъ человѣкъ на всемъ свѣтѣ, и кромѣ меня, нигдѣ ничего живого нѣтъ. И все мнѣ въ ту пору противѣетъ, все, какъ есть; и самъ я себѣ становлюсь въ тягость, и всѣ люди хоть помирай они— не охну! Болѣзнь это у меня, должно быть“, грустно поясняетъ онъ. „Что я такое?—спрашиваетъ онъ: — Босякъ, галахъ... пьяница и тронутый человѣкъ. Жизнь у меня безъ всякаго оправданія. Зачѣмъ я живу на землѣ и кому я на ней нуженъ, ежели посмотрѣть? Ни угла своего, ни жены, ни дѣтей... и ни до чего до этого даже охоты нѣтъ... Живу и тоскую... Про что, — неизвѣстно. Въ родѣ того со мной, какъ бы меня мать на свѣтъ родила безъ чего-то такого, что у всѣхъ прочихъ людей есть и что человѣку прежде всего нужно. Внутренняго пути у меня нѣтъ... Понимаешь? Какъ бы это сказать? Этакой искорки въ душѣ нѣтъ... силы, что ли? Ну, нѣтъ во мнѣ одной штуки, и все тутъ! Вотъ я и живу и эту штуку ищу, и тоскую по ней, а что она такое есть—это мнѣ неизвѣстно“... — „Это ты къ чему“? спрашиваетъ его разсказчикъ — „Къ чему... А... къ безпорядку жизни. То-есть, вотъ я живу, молъ, и дѣться мнѣ некуда... ни къ чему я не могу присунуться... и это есть безпорядокъ, такая жизнь“...

Когда разказчикъ, съ пыломъ и вѣрой молодого проповѣдника, хочетъ увѣрить его, что онъ, Коноваловъ, жертва соціальныхъ условій, не давшихъ ему возможности развить его внутреннюю жизнь, Коноваловъ не соглашается. „Каждый человѣкъ самъ себѣ хозяинъ, и никто въ томъ не повиненъ, ежели я подлецъ есть“, отвѣчаетъ онъ на доводы товарища.

Еще болѣе смущаютъ его „поступки“, которые кажутся ему несомнѣнно хорошими,—и дѣйствительно таковы, — но въ результатѣ ведутъ только къ худшему положенію. Встрѣтивъ „милое, но погибшее созданіе“, онъ изъ жалости освобождаетъ ее изъ „заведенія“, въ разсчетѣ, что дѣвушка

начнетъ лучшую жизнь. Разсчетъ не оправдывается: его Капа желаетъ быть его женой, къ чему у него нѣтъ желанія. Разочарованная въ немъ, дѣвушка спивается съ кругу и кончаетъ тѣмъ же заведеніемъ. Этотъ случай окончательно выбиваетъ Коновалова изъ колеи. „Нѣтъ ли въ книгахъ,— спрашиваетъ онъ съ отчаяніемъ разсказчика, — насчетъ порядковъ жизни? Т. е. поученія, какъ жить? Поступки бы мнѣ нужно разъяснить, которые вредные и которые ничего себѣ... Я, видишь ты, поступками смущаюсь своими. Который вначалѣ мнѣ кажется хорошимъ, въ концѣ выходитъ плохимъ... Какъ такъ? Желалъ я человѣку оказать добро— и вдругъ... совсѣмъ несообразно? Да, братъ, очень нуженъ для жизни порядокъ поступковъ... И неужто ужъ такъ и нельзя выдумать этакій законъ, чтобы всѣ люди дѣйствовали какъ одинъ и всѣ другъ друга понимать могли? Вѣдь совсѣмъ нельзя жить на такомъ разстояніи одинъ отъ другого! Неужто умные люди не понимаютъ, что нужно на землѣ устроить порядокъ и въ ясность людей привести?.. Эхма!“

Эти мучительные вопросы въ концѣ концовъ убиваютъ бѣднаго Коновалова, который кончаетъ самоубійствомъ, такъ и не найдя порядка жизни. „Сколько исходилъ я земли, сколько всякой всячины видѣлъ, нѣтъ для меня на землѣ ничего удобнаго! Не нашелъ я себѣ мѣста“!

И всѣ босяки кончаютъ этими словами свою эпопею, одни ожесточенные и злобно-презрительные, какъ Челкашъ, другіе съ грустью и удивленіемъ, какъ мягкій и вдумчивый Коноваловъ.

Оба они выведены въ разсказѣ г. Горькаго, какъ вполнѣ сложившіеся типы. Въ очеркѣ „Супруги Орловы“ авторъ раскрываетъ передъ читателями путь, какимъ постепенно доходитъ такой босякъ до своего печальнаго конца. Орловъ сапожникъ, женатъ и сравнительно не хуже, хотя и не лучше, другихъ обставленъ въ смыслѣ матеріальномъ. По своему онъ даже благополученъ и жилось бы ему недурно, если бы и его не смущали тѣ же проклятые вопросы, которые изводятъ Коновалова. Зачѣмъ жизнь, въ чемъ ея сущность, гдѣ искать утоленія отъ этихъ вопросовъ? Онъ любитъ жену, не сомнѣвается въ ея любви, но этого мало для жизни, какъ онъ чувствуетъ все сильнѣе и сильнѣе. Нужно еще что-то, но что именно — этого онъ не знаетъ, озлобляется, пьянствуетъ и колотитъ жену, хотя и чувствуетъ себя отъ этого еще хуже.

Натуры апатичныя, уравновѣшенныя или неспособныя къ противодѣйствію, легко подчиняются такому порядку. Но Орловы, мужъ и жена, не принадлежали къ нимъ. Обоимъ недоставало дѣятельности и разнообразія, что скрашивало

бы это монотонное существованіе. Оживленіе въ ихъ жизнь вноситъ нагрянувшая внезапно холера. Въ то время, какъ окружающіе поддаются общей паникѣ и еще болѣе тупѣютъ подъ ея вліяніемъ, супруги Орловы воскресаютъ духомъ. Жажда новизны и дѣятельности, живой и разнообразной, результаты которой говорили бы сами за себя, охватываетъ сначала мужа, а потомъ съ еще большей силой и жену. Оба поступаютъ въ холерный баракъ, гдѣ природная смѣтливость и недюжинныя способности Орлова сразу выдвигаютъ его среди другихъ служителей, что еще болѣе возбуждаетъ его. Невѣдомое ему до тѣхъ поръ чувство гордости и довольства собой охватываетъ его съ необыкновенной силой. Онъ мечтаетъ о подвигѣ, о такомъ дѣлѣ, чтобы сразу всѣхъ спасти, всѣхъ поразить необычнымъ геройскимъ поступкомъ. „Онъ чувствовалъ себя человѣкомъ особыхъ свойствъ. И въ немъ забилось желаніе сдѣлать что-то такое, что обратило бы на него вниманіе всѣхъ, всѣхъ поразило бы и заставило убѣдиться въ его правѣ на самочувствіе, такъ поднявшее его въ своихъ глазахъ. Это было своеобразное честолюбіе человѣка, который вдругъ созналъ себя таковымъ и, какъ бы еще неувѣренный въ этомъ новомъ для него фактѣ, хотѣлъ подвердить его чѣмъ-либо для себя и другихъ; это было честолюбіе, постепенно перерождавшееся въ жажду безкорыстнаго подвига“.

Такое бодрое и дѣятельное настроеніе продолжается, однако, недолго. Мысль, разбуженная и начавшая работать, уже не можетъ остановиться на вопросахъ только текущаго дня и неотвязно требуетъ отвѣта о будущемъ, которое представляется все въ томъ же видѣ, что и опостылѣвшее прошлое. Орловъ смутно видитъ, что не для него эта дѣятельность, такъ увлекающая его,—дѣятельность, полная заботы и любви къ людямъ. Кончится спѣшная лихорадочная дѣятельность въ баракѣ, и его опять ждетъ однообразная, безрадостная жизнь „въ ямѣ“, какъ онъ называетъ свою житейскую обстановку. Какъ соединить работу съ человѣческими стремленіями, какъ стать выше, подняться надъ этой ямой, одухотворить, осмыслить свою жизнь, бѣдняга Орловъ не можетъ. Эти мысли его удручаютъ, отравляя настоящее, не давая ему душевнаго покоя, какимъ пользуются врачи, работающіе до упаду, и его собственная жена. Онъ не можетъ понять ихъ радости при выздоровленіи какого-нибудь Мишки-вора, потому что знаетъ, насколько некрасна жизнь этого Мишки и что лучше и для окружающихъ, если Мишка умретъ. Масса противорѣчій общественной жизни всплываетъ предъ Орловымъ, который не въ силахъ ихъ разъяснить себѣ и въ концѣ концовъ возвращается къ водкѣ,

старой спасительницѣ отъ жгучихъ думъ. Послѣ дикаго скандала въ баракѣ, его выгоняютъ и Орловъ, осѣдаетъ въ рядахъ босяковъ, этомъ прибѣжищѣ неудачниковъ и безпокойныхъ душъ.

Другой типъ такой безпокойной души представленъ въ разсказѣ „Озорникъ". Николка Гвоздевъ, озорникъ, какъ его прозвали товарищи за безпокойный и неуживчивый нравъ, работаетъ въ типографіи газеты, въ которой производитъ большой переполохъ, вставивъ въ передовую статью редактора собственную фразу, весьма ѣдкую и критическую для газеты. Редакторъ пишетъ: „Наше фабричное законодательство всегда служило для прессы предметомъ горячаго обсужденія", а Николка сдѣлалъ отъ себя поясненіе: „т. е. говоренія глупой ерунды и чепухи". Свою неожиданную выходку Николка объясняетъ слѣдующимъ образомъ, когда изумленный редакторъ требуетъ у него отвѣта, почему онъ это сдѣлалъ.

„— Вотъ, стало быть, въ чемъ дѣло. Вы пишете разныя статьи, человѣколюбіе всѣмъ совѣтуете и прочее такое... Не умѣю я сказать вамъ это все подробно—грамоту плохо знаю... Вы, чай, сами знаете, про что рѣчи ведете каждый день... Ну, вотъ я и читаю эти ваши статьи. Вы про нашего брата рабочаго толкуете, а я все читаю. И противно мнѣ читать, потому что все это пустяки одни. Одни слова безстыжія. Потому что вы пишете—не грабь, а въ типографіи то у васъ что? Кирьяковъ на прошлой недѣлѣ работалъ три съ половиной дня, выработалъ три восемь гривенъ и захворалъ. Жена приходитъ въ контору за деньгами, а управляющій ей говоритъ, что не ей дать, а съ нея нужно рубль двадцать получить—штрафу. Вотъ-те и не грабь!

Обвиненіе Николки не отличаются глубиной, и редактору легко дать отвѣтъ на каждое. Но дѣло не въ томъ. Николка и самъ понимаетъ, что газета меньше всѣхъ виновата въ злоключеніяхъ рабочихъ вообще и его товарищей по типографіи въ частности. Ему нуженъ былъ поводъ излить накопившуюся желчь противъ всѣхъ, кто, по его мнѣнію, понимаетъ лучше другихъ, а самъ дѣлаетъ не то, что думаетъ. Гвоздевъ по натурѣ протестантъ, онъ „чувствуетъ обиду въ своемъ положеніи", какъ онъ поясняетъ потомъ редактору, противъ котораго лично ничего не имѣетъ, даже сочувствуетъ ему. „Знаю я... газета! Уѣстъ она вамъ половину жизни, все здоровье на нее просадите. Я вѣдь понимаю! Онъ, издатель-то, что? У него въ газетѣ деньги, а у васъ—кровь!" Гвоздевъ ищетъ справедливости въ человѣческихъ отношеніяхъ и возстаетъ противъ „раз-

ныхъ точекъ зрѣнія", съ которыхъ люди на себя смотрятъ.

„— Зачѣмъ точка зрѣнія? Не съ точки зрѣнія человѣкъ человѣку вниманіе долженъ оказывать, а по движенію сердца! Что такое точка зрѣнія? Я говорю про несправедливости жизни. Развѣ можно меня съ какой-нибудь точки зрѣнія забраковать? А я забракованъ въ жизни: нѣтъ мнѣ въ ней хода... Почему-съ? Потому что не ученъ? Такъ вѣдь ежели бы вы, ученые, не съ точекъ зрѣнія разсуждали, а какъ-нибудь иначе—должны вы меня, вашего поля ягоду, не забыть и извлечь наверхъ къ вамъ снизу, гдѣ я гнію въ невѣжествѣ и озлобленіи моихъ чувствъ? Или съ точки зрѣнія не должны?"

Отъ смущеннаго редактора онъ требуетъ чего-нибудь такого, „что сразу по недугу мнѣ пришлось", какъ Коноваловъ требовалъ отъ своего собесѣдника такого слова, которое сразу указало бы ему „порядокъ жизни", какъ Орловъ ищетъ такого подвига, чтобы сразу всѣхъ спасти. Они всѣ родственныя натуры, безпокойныя души, которыя не могутъ примириться съ установленнымъ порядкомъ вещей. Они чувствуютъ несправедливость и, не видя выхода, думаютъ, что есть какой-то талисманъ, который стоитъ только найти, чтобы все уладить, всѣхъ умиротворить и все привести въ ясность. Имъ и въ голову не приходитъ, что все это вѣковѣчные вопросы, надъ разрѣшеніемъ которыхъ бьется человѣчество уже тысячелѣтія, не находя отвѣта, да и врядъ ли когда найдетъ его. Для насъ интересны не эти вопросы, а сами вопрошающіе, какъ замѣчаетъ редакторъ, для котораго рѣчи Гвоздева „являются новостью въ томъ смыслѣ, что раньше ихъ говорили люди иного сорта".

Новые люди сильно отличаются отъ прежнихъ хотя бы уже тѣмъ, что несправедливость жизни они испытываютъ гораздо чувствительнѣе. Для нихъ эти вопросы представляютъ не теоретическій интересъ, для нихъ это не идейные вопросы, а сама жизнь во всемъ ея жестокомъ значеніи. Гвоздевъ, напр., былъ когда-то товарищемъ дѣтскихъ игръ своего редактора. Вмѣстѣ съ кучей такихъ же дѣтей городской бѣдноты, онъ, сынъ мѣщанина, ходилъ въ одно и то же училище, игралъ, дрался съ ними, а теперь онъ—простой рабочій, „озорникъ", тогда какъ его товарищи теперь командуютъ имъ. „Почему?—страстно вопрошаетъ онъ редактора.—И я, и вы люди изъ одной улицы и одного происхожденія... Вы не настоящіе господа жизни, не дворяне... Съ тѣхъ нашему брату взятки гладки. Тѣ скажутъ: „пшолъ къ чорту!"—и пойдешь. Потому они издревле ари-

стократы, а вы потому аристократы, что грамматку знаете и прочее... Но вы—свой братъ, и я могу требовать съ васъ указанія пути моей жизни. Я мѣщанинъ, и Хрулевъ тоже, и вы—дьяконовъ сынъ... Какъ вы думаете, легко мнѣ теперь работать на моихъ товарищей, которымъ я въ старину носы расквашивалъ? Легко мнѣ съ господина судебнаго слѣдователя Хрулева, у котораго я съ годъ тому назадъ работу дѣлалъ, сорокъ копѣекъ на чай получать? Вѣдь онъ человѣкъ одного со мной ранга... И было ему имя Мишка Сахарница... у него зубы гнилые и по сейчасъ, какъ тогда были"...

Ни Гвоздевъ, ни Коноваловъ, ни Орловъ не могутъ удовлетвориться теоретическимъ отвѣтомъ, „точка зрѣнія", вѣская и значительная для человѣка идеи, не имѣетъ смысла въ глазахъ ихъ, людей жизни. Это и дѣлаетъ ихъ исканіе такимъ страстнымъ, безпокойнымъ, жуткимъ, а самое положеніе трагическимъ. Жизнь не даетъ отвѣта на эти запросы, а выносить эту жизнь они не могутъ. И они уходятъ въ босую команду, унося туда свое озлобленіе и жгучую боль неудовлетворенныхъ желаній и неразрѣшимыхъ думъ. Человѣкъ теоріи, идеи можетъ найти утѣшеніе, безкорыстно жертвуя собой, своимъ знаніемъ, трудомъ, жизнью, вырывая у смерти Мишку-вора и тысячи такихъ же товарищей Орлова. Но Орловъ не можетъ, потому что онъ и есть та масса, ради которой приносятся эти жертвы, и знаетъ, что въ концѣ концовъ даже и лучше, чтобы Мишка отправился къ праотцамъ. Редакторъ, идеалистъ и защитникъ обездоленныхъ, находитъ для себя стимулъ къ жизни въ борьбѣ за фабричное законодательство, а Гвоздевъ по своему правъ, когда всю эту защиту называетъ „говореньемъ ерунды и чепухи".

На ряду съ безпокойными душами, ищущими справедливости и гибнущими отъ противорѣчій мысли и дѣйствительности, босая команда даетъ прибѣжище и другимъ несчастливцамъ, потерпѣвшимъ крушеніе на разныхъ поприщахъ жизни. Это „бывшіе люди", занимавшіе то или иное привилегированное положеніе и постепенно опустившіеся. Въ одномъ изъ лучшихъ своихъ очерковъ „Бывшіе люди" авторъ выводитъ нѣсколько представителей этого типа. Во главѣ ихъ идетъ ротмистръ Кувалда, содержатель ночлежки въ полуразрушенномъ домѣ купца Петунникова, философъ циникъ и большой оптимистъ въ то же время. Его ночлежка является центромъ, гдѣ ютится всякая голь перекатная, когда рѣшительно ужъ некуда идти. Среди своихъ кліентовъ Кувалда играетъ роль признаннаго вождя, главы и руководителя, въ которомъ золоторотцы цѣнятъ

прежде всего умственность и философское отношеніе къ земнымъ радостямъ и горестямъ. Подъ грубой оболочкой ротмистра скрывается бездна добродушія и чисто человѣческаго отношенія ко всѣмъ потерпѣвшимъ крушеніе, которыхъ онъ умѣетъ не только пріютить, но и поддержать въ минуту жизни трудную. Самъ горькій пьяница и почти нищій, онъ съ любовью заботится объ единственномъ изъ своихъ жильцовъ, бывшемъ учителѣ, въ которомъ сохранилась еще искра божія. Кувалда чувствуетъ себя сносно въ своемъ положеніи и если подчасъ разражается противъ общества, изъ котораго онъ вынужденъ былъ уйти навсегда, то больше съ общей точки зрѣнія. Глубоко ненавидитъ онъ только купца Петунникова, олицетворяющаго въ его глазахъ насилье и грубую эксплуатацію капитала.

Самымъ виднымъ членомъ ночлежки послѣ Кувалды является учитель, тоже спившійся и глубоко несчастный человѣкъ, яснѣе другихъ понимающій ту бездну, въ которой ему приходится кончать свое существованіе. Перебиваясь репортерствомъ и мелкимъ хожденіемъ по дѣламъ, онъ могъ бы выйти изъ этой ямы, если бы не общая надломленность, отсутствіе воли и той силы, которая необходима для жизни и заключается въ вѣрѣ въ себя, въ плодотворность борьбы, хотя бы и незначительной. Учитель—глубокій пессимистъ, потерявшій вѣру въ общество, въ людей, въ возможность перемѣны. Онъ любитъ только дѣтей, которыхъ жизнь еще не изломана, и водку, цѣлительницу отъ всѣхъ недуговъ.

Около этихъ двухъ центральныхъ фигуръ группируются остальные члены союза „бывшихъ людей“, совершенно погибшіе люди, опустившіеся до той ступени, когда человѣкъ уже перестаетъ различать добро и зло и становится равнодушенъ ко всему окружающему. Ничто не связывало этихъ людей, не объединяло, не давало смысла ихъ существованію, что и выражалъ философъ Кувалда въ афоризмѣ: „мы всѣ живемъ безъ достаточнаго къ тому основанія“. Такая жизнь безъ смысла и цѣли не можетъ не ожесточать людей, и въ ихъ разсужденіяхъ слышится подчасъ глухая угроза тѣмъ счастливцамъ, которые сумѣли занять болѣе удобныя мѣста на жизненномъ пиру. Сквозь мракъ и холодъ, которымъ вѣетъ отъ общества этихъ „бывшихъ людей“, проблескиваютъ искры огня, таящагося подъ пепломъ въ ихъ сожженныхъ сердцахъ. Они страшны, имъ терять нечего, и въ глазахъ остальныхъ жильцовъ ночлежки являются естественными вождями, какъ болѣе опытные и понимающіе.

Относясь съ симпатіей и жалостью къ этимъ отвержен-

цамъ, авторъ не скрываетъ ихъ дурныхъ сторонъ, замѣчая, что по испорченности и глубинѣ паденія они далеко превосходили тотъ деревенскій людъ, который, не найдя успѣха въ городѣ, опускался до „босой команды". Въ то же время онъ вполнѣ правдиво отличаетъ и особое значеніе „бывшихъ людей" въ средѣ мелкаго обездоленнаго люда глухихъ закоулковъ. „Они вносили,—говоритъ онъ, — въ среду забитыхъ бѣдностью и горемъ обывателей улицы свой духъ, въ которомъ было что-то, облегчавшее жизнь людей истомленныхъ и растерявшихся въ погонѣ за кускомъ хлѣба, такихъ же пьяницъ, какъ обитатели убѣжища Кувалды, и также сброшенныхъ съ города, какъ и они. Умѣнье обо всемъ говорить и все осмѣивать, безбоязненность мнѣній, рѣзкость рѣчи, отсутствіе страха передъ тѣмъ, чего вся улица боялась, безшабашная, бравирующая удаль этихъ людей, не могли не нравиться улицѣ. Затѣмъ, почти всѣ они знали законы, могли дать любой совѣтъ, написать прошеніе, помочь немножко безнаказанно смошенничать. За все это имъ платили водкой и лестнымъ удивленіемъ предъ ихъ талантами".

Слѣдить за измѣненіями судебъ команды „бывшихъ людей" мы не станемъ,—слишкомъ эта судьба обыкновенна. Постепенно растущій городъ выбрасываетъ ихъ еще дальше, когда столь ненавистный Кувалдѣ купецъ Петунниковъ воздвигаетъ новую фабрику и изгоняетъ Кувалду и его присныхъ съ насиженнаго мѣста. Команда разбредается въ поискахъ болѣе удаленныхъ угловъ, гдѣ бы можно было сложить усталыя кости.

Сопоставляя эти два типа—„бывшихъ людей" и безпокойныхъ душъ, какъ Коноваловъ, Орловъ и Гвоздевъ,—ясно видно, на чьей сторонѣ симпатіи автора. „Бывшіе люди" — это отбросъ, къ которому онъ такъ и относится, хотя и жалѣетъ ихъ. Безпокойныя души—это родственныя ему натуры, которыя онъ вырисовываетъ съ нескрываемымъ интересомъ, муки которыхъ ему близки и понятны. Лучшіе очерки посвящены имъ, и несомнѣнный крупный талантъ г. Горькаго развертывается въ нихъ съ особымъ блескомъ и оригинальностью. „Коноваловъ" и „Супруги Орловы" написаны превосходно и за послѣдній годъ представляютъ лучшія художественныя произведенія въ текущей литературѣ. Языкъ г. Горькаго необыкновенно гармонируетъ съ описываемыми имъ типами, по своей простотѣ и безыскусственности, а превосходное знаніе среды дѣлаетъ эти очерки своего рода шедеврами. Жизнь героевъ, ихъ характеры, самыя сложныя душевныя движенія развертываются предъ читателями естественно, живо безъ всякихъ преуве-

личеній и прикрасъ, безъ неудачныхъ попытокъ на нарочитую глубину, что въ общемъ производитъ впечатлѣніе полнѣйшей искренности и правдивости. Авторъ много видѣлъ, много думалъ, много и самъ перенесъ тяжелаго и безотраднаго, но, какъ истинный художникъ, нигдѣ не выдвигаетъ себя, и только въ образахъ, очерченныхъ смѣло и ярко, можно прочесть безпокоющія его мысли, волненія и желанія. Глухіе и мрачные закоулки большихъ городовъ, куда онъ вводитъ читателя, оживаютъ, встаютъ въ этихъ очеркахъ, какъ живой укоръ обществу, мало обращающему на нихъ вниманія, а жизнь, кипящая тамъ, своеобразная и мало изслѣдуемая до сихъ поръ, раскрывается съ такихъ сторонъ, которыя открываютъ новыя перспективы. Вопросы, теоретически волнующіе многихъ читателей, здѣсь волнуютъ какъ жестокая дѣйствительность, требующая практическихъ отвѣтовъ.

Кромѣ этихъ очерковъ, лучшихъ и наиболѣе содержательныхъ, очень характерны для пониманія таланта г. Горькаго разсказъ „Тоска“ и двѣ поэтическія картинки „Максимъ Чудра“ и „Старуха Изергиль“. Несмотря на совершенно разную обстановку дѣйствія, совершенно различные типы, во всѣхъ трехъ очеркахъ звучитъ одна основная нота. Въ первомъ старый мельникъ, повидимому, вполнѣ благополучный, не находитъ себѣ мѣста отъ охватившей его тоски и глубоко завидуетъ своему работнику, который въ жизни выше всего ставитъ „приволье“, т. е. независимость и полную свободу воли. „Нѣтъ! — говоритъ работникъ,—я уйду. Въ степь надо,—приволье тамъ... эхъ ты! И мнѣ тоже васъ жалко будетъ—привыкъ. А уйду, потому тянетъ. Самому противъ себя не надо спорить. Коли кто противъ себя заспоритъ—пиши пропалъ человѣкъ“. Мельника поражаетъ эта способность Кузьмы—„не спорить противъ себя“, онъ хотѣлъ бы отдаться тоже какому-либо сильному чувству, которое всецѣло охватило бы его и не можетъ: его душа, размѣнявшаяся на мелочи въ погонѣ за благополучіемъ, не способна къ сильнымъ порывамъ, не можетъ жить по своей волѣ, не подчиняясь разъ навсегда установленнымъ правиламъ. Онъ не въ силахъ „дать себѣ просторъ“, и его тоска разрѣшается дикимъ разгуломъ, отъ котораго на душѣ мельника становится еще тяжелѣе.

„Приволье“, свобода, возможность подчиняться только своей волѣ, идти за нею, отдаваясь своимъ порывамъ—вотъ цѣль жизни, сущность ея. Эта мысль еще яснѣе проведена въ поэтическомъ очеркѣ „Максимъ Чудра“. Ночью среди необъятной степи, лежа у костра и любуясь бездоннымъ

темносинимъ небомъ, старый цыганъ Чудра излагаетъ свою житейскую философію автору.

„—Такъ ты ходишь? Это хорошо! Ты славную долю себѣ выбралъ, соколъ. Такъ и надо,—ходи и смотри, насмотрѣлся, лягъ и умирай... Жизнь, иные люди?—продолжалъ онъ, скептически выслушавъ мои возраженія на его „такъ и надо“.—Эге! А тебѣ что до того? Развѣ ты самъ не жизнь? А другіе люди живутъ безъ тебя и проживутъ безъ тебя. Развѣ ты думаешь, что ты кому-то нуженъ? Ты не хлѣбъ и не палка, ну и не нужно тебя тамъ... Смѣшные они, тѣ твои люди. Сбились въ кучу и давятъ другъ друга, а мѣста на землѣ вонъ сколько,—онъ широко повелъ рукой на степь.—И все работаютъ. Зачѣмъ, кому? Никто не знаетъ. Видишь, какъ человѣкъ пашетъ, и думаешь: вотъ онъ по каплѣ съ потомъ силы свои источитъ на землю, а потомъ ляжетъ въ нее и сгніетъ. Ничего по немъ не останется, ничего онъ не увидитъ съ своего поля и умираетъ, какъ родился, дуракомъ... А я, вотъ смотри, въ 58 лѣтъ столько видѣлъ, что коли написать все это на бумагѣ, такъ въ тысячу такихъ торбъ, какъ у тебя, не уложишь. А ну-ка, скажи, въ какихъ краяхъ я былъ? И не скажешь! Ты и не знаешь такихъ краевъ, въ какихъ я бывалъ. Такъ нужно жить,—иди, иди и все тутъ. Долго не стой на одномъ мѣстѣ,—чего въ немъ? Вонъ какъ день и ночь вѣчно бѣгаютъ, гоняясь другъ за другомъ, вокругъ земли, такъ и ты бѣгай отъ думъ про жизнь, чтобъ не разлюбить ее. А задумаешься, разлюбишь жизнь, это всегда такъ бываетъ“...

И старуха Изергиль проводитъ ту же философію свободной жизни, не связанной обычаями и условностями, отданной всецѣло жизни ради самой жизни. Эта философія, увлекательная и жизнерадостная, составляетъ фонъ большинства очерковъ г. Горькаго. Всѣ его герои такъ или иначе увлечены ею, живутъ то стремленіемъ къ свободѣ, то исканіемъ такой жизни, гдѣ свобода составляетъ все содержаніе. Лучшіе типы въ его разсказахъ тѣ же цыгане, которые бредутъ туда, куда ихъ влечетъ свободное сердце, тоскующее за привольемъ. Такова Мальва въ разсказѣ подъ тѣмъ же заглавіемъ, и босякъ Сережка, который ей высказываетъ такое же пониманіе жизни, какъ и цыганъ Максимъ Чудра. Таковъ и Емельянъ Пиляй, голодный, оборванный, восхищающійся широкимъ просторомъ степи. И самый типъ босяка, съ различныхъ сторонъ вырисовывающійся въ разсказахъ г. Горькаго, тоже искатель приволья, вѣчнаго движенія, жизни, свободной отъ разныхъ условностей и тягости, стѣсняющихъ проявленіе воли, что придаетъ этому типу

жизнерадостный и бодрый характеръ, несмотря на удручающія условія его жизни.

Отъ большинства очерковъ г. Горькаго вѣетъ этимъ свободнымъ дыханіемъ степи и моря, чувствуется бодрое настроеніе, что-то независимое и гордое, чѣмъ они рѣзко отличаются отъ очерковъ другихъ авторовъ, касавшихся того же міра нищеты и отверженности. Это настроеніе передается и читателю, что придаетъ очеркамъ г. Горькаго особую прелесть свѣжести, новизны и жизненной правды.

Послѣднія произведенія г. Чехова: «Человѣкъ въ футлярѣ», «Крыжовникъ», «Любовь» [1]).

Каждое новое произведеніе г. Чехова вызываетъ живѣйшій интересъ, и не потому, чтобы изящная литература послѣдняго времени оскудѣла талантами, перестала привлекать читателя однообразіемъ или скудостью содержанія, измельчала или ударилась въ исключительныя крайности декадентства или символистики. Ничуть не бывало. Если сравнивать нашу родную беллетристику съ иностранной, право, мы вовсе не такъ ужъ обижены судьбой. На Западѣ выступаютъ двѣ-три крупныя звѣзды, въ родѣ Зола во Франціи, Гауптмана въ Германіи, Ибсена въ норвежской литературѣ, около которыхъ группируются нѣсколько меньшихъ свѣтилъ, а затѣмъ разстилается обширное поле дарованій, приближающихся къ посредственности, мелкихъ метеоровъ, блистающихъ на мгновеніе, чтобы исчезнуть безслѣдно. У насъ, при всей ограниченности предѣловъ доступнаго литературѣ, при всей затрудненности проникновенія новыхъ вѣяній жизни въ журналистику, при всей минорности тона, въ которомъ—хочешь не хочешь—приходится говорить и живописать, что въ общемъ не можетъ не отражаться самымъ тяжкимъ образомъ на содержаніи и жизненности беллетристики,—не теряютъ силы старшіе по времени таланты, каковы гг. Потапенко, Станюковичъ, Маминъ-Сибирякъ, Боборыкинъ, Короленко, и на ряду съ ними каждый день выдвигаетъ все новыхъ и новыхъ, о чемъ ярко свидѣтельствуютъ наши серьезные журналы, въ каждой книжкѣ которыхъ вы встрѣчаете новое имя. Въ этомъ отношеніи особенно велики заслуги „Русскаго Богатства“, на страни-

[1]) Октябрь 1898 г.

цахъ котораго, если даже взять двѣ-три послѣднихъ книжки журнала, можно найти рядъ новыхъ писателей, отличающихся несомнѣнно искрой таланта, вдумчивостью и оригинальностью. Таковы, напр., за послѣднее время напечатанныя въ этомъ журналѣ произведенія — г. Булыгина „Ночныя тѣни", г. Александровскаго превосходные очерки, полные юмора и теплоты, г. Кузьменка „Жизнь". Отдѣльныя изданія разсказовъ нашихъ несомнѣнно яркихъ писателей, какъ г. Горькій, или затрогивающихъ серьезнѣйшіе вопросы современности, какъ „Очерки и разсказы" г. Вересаева, новые якутскіе разсказы г. Сѣрошевскаго („Въ сѣтяхъ"),— развѣ все это взятое въ цѣломъ не говоритъ о кипучей жизни, о неумолчномъ біеніи „живой" силы въ беллетристикѣ,—силы, далекой отъ оскудѣнія и слабости, отъ декадентскихъ кривляній и жалкихъ попытокъ къ символизму, вымученной манерности и ломанія, въ значительной степени характеризующихъ литературу Запада за послѣднее время?

И, тѣмъ не менѣе, интересъ къ произведеніямъ г. Чехова нельзя даже сравнить съ тѣмъ отношеніемъ, какое выказывается къ другимъ авторамъ. Причина этого лежитъ не только въ томъ, что предъ нами первоклассный новеллистъ, не имѣющій себѣ равнаго, пожалуй даже и на Западѣ, гдѣ за смертью Гюи-де-Мопассана это мѣсто осталось вакантнымъ. Есть что-то въ послѣднихъ произведеніяхъ г. Чехова, что углубляетъ ихъ содержаніе, быть можетъ, помимо воли самого автора, придаетъ имъ какую-то терпкость и остроту, волнуетъ и причиняетъ острую боль читателю. Читатели, конечно, помнятъ его „Мужиковъ" и „Моя жизнь", изъ-за которыхъ столько копій ломалось въ свое время, что одно уже указываетъ на ихъ выдающееся общественное значеніе. Но его послѣдніе три разсказа, появившіеся въ лѣтнихъ книжкахъ „Русской Мысли", не менѣе глубоки, жгучи и значительны.

„Человѣкъ въ футлярѣ" лучшій изъ нихъ и самый значительный по содержательности темы и типичности выхваченнаго изъ жизни явленія. Кому не знакомъ этотъ жалкій, ничтожный, плюгавенькій и въ то же время страшный „человѣкъ въ футлярѣ", для котораго жизнь свелась къ отрицанію жизни? Онъ, какъ кошмаръ, давитъ все живое, сдерживаетъ проявленіе всякаго общественнаго, альтруистическаго движенія своимъ мертвящимъ припѣвомъ— „какъ бы чего не вышло". Эта ходячая пародія на человѣка изображена авторомъ съ поразительнымъ совершенствомъ, что при необычайной естественности и простотѣ, съ какою написанъ весь разсказъ, дѣлаетъ эту фигуру почти трагическою. Разсказъ ведется отъ перваго лица. Учитель

гимназіи Буркинъ разсказываетъ про своего товарища, недавно умершаго учителя греческаго языка Бѣликова.

„Онъ былъ замѣчателенъ тѣмъ,—говоритъ Буркинъ,—что всегда, даже въ очень хорошую погоду, выходилъ въ калошахъ и съ зонтикомъ, и непремѣнно въ тепломъ пальто на ватѣ. И зонтикъ у него былъ въ чехлѣ, и часы въ чехлѣ изъ сѣрой замши, и когда онъ вынималъ перочинный ножикъ, чтобы очинить карандашъ, то и ножъ былъ въ чехольчикѣ; и лицо, казалось, тоже было въ чехлѣ, такъ какъ онъ все время пряталъ его въ поднятый воротникъ. Онъ носилъ темныя очки, фуфайку, уши закладывалъ ватой и, когда садился на извозчика, то приказывалъ поднимать верхъ. Однимъ словомъ, у этого человѣка наблюдалось постоянное и непреодолимое стремленіе окружить себя оболочкой, создать себѣ, такъ сказать, футляръ, который уединилъ бы его, защитилъ отъ внѣшнихъ вліяній...

„И мысль свою Бѣликовъ также старался запрятать въ футляръ. Для него были ясны, только циркуляры и газетныя статьи, въ которыхъ запрещалось что-нибудь. Когда въ циркулярѣ запрещалось ученикамъ выходить на улицу послѣ девяти часовъ вечера, или въ какой-нибудь статьѣ запрещалась плотская любовь, то это было для него ясно, опредѣленно; запрещено—и баста. Въ разрѣшеніи и позволеніи скрывался для него всегда элементъ сомнительный, что-то недосказанное и смутное. Когда въ городѣ разрѣшали драматическій кружокъ, или читальню, или чайную, то онъ покачивалъ головой и говорилъ тихо:

„—Оно конечно, такъ-то такъ, все это прекрасно, да какъ бы чего не вышло.

„Всякія нарушенія, уклоненія, отступленія отъ правилъ приводили его въ уныніе, хотя, казалось бы, какое ему дѣло? Если кто изъ товарищей опаздывалъ на молебенъ, или доходили слухи о какой-нибудь проказѣ гимназистовъ, или видѣли классную даму поздно вечеромъ съ офицеромъ, то онъ очень волновался и все говорилъ, „какъ бы чего не вышло“. А на педагогическихъ совѣтахъ онъ просто угнеталъ насъ своею осторожностью, мнительностью и своими чисто-футлярными соображеніями насчетъ того, что вотъ-де въ мужской и женской гимназіяхъ молодежь ведетъ себя дурно, очень шумитъ въ классахъ,—ахъ, какъ бы не дошло до начальства, ахъ, какъ бы чего не вышло...“

Таковъ этотъ мастерски написанный портретъ, вдумываясь въ который, чувствуешь, какая глубокая правда лежитъ въ его основѣ. Бѣликовъ — это сама жизнь, та житейская тина, болото, съ которымъ приходится имѣть дѣло на каждомъ шагу, которое все затягиваетъ, все грязнитъ и

душитъ въ своей вонючей грязи. Бѣликовъ—это общественная сила, страшная своей неуязвимостью, потому что она нечувствительна, недоступна человѣческимъ интересамъ, страстямъ и желаніямъ. Закованный въ броню циркуляровъ, все воспрещающихъ и все „упорядочивающихъ", Бѣликовъ попираетъ на законномъ основаніи самыя естественныя требованія сердца, самыя простыя проявленія человѣческихъ отношеній. И что ужаснѣе всего, онъ дѣйствуетъ, какъ ядовитый микробъ —не насиліемъ, не грубыми, жестокими пріемами, самая жестокость которыхъ могла бы возмутить людей, а незамѣтно, медленно, постепенно растлѣвая все окружающее, доводя до отупѣнія и безвольнаго согласія всѣхъ на самыя дикія и по существу безчеловѣчныя мѣры. Этотъ пріемъ его — „какъ бы чего не вышло" — исходитъ какъ будто изъ чувства заботливости, желанія добра, стремленія оградить отъ возможныхъ золъ и бѣдствій. Онъ подкупаетъ, съ одной стороны, не привыкшую къ критикѣ среду, съ другой — запугиваетъ, и въ концѣ концовъ все покоряетъ.

Кромѣ того, онъ — сила еще и потому, что онъ—единственное лицо, которое твердо знаетъ, чего хочетъ. А знаніе это ему дается легко: онъ *ничего* не хочетъ, *ничего* не желаетъ, *ни къ чему* не стремится. Его идеалъ—отрицаніе жизни. Онъ сила потому, что онъ идеальнѣйшій *нигилистъ*. Понятно, въ борьбѣ противъ него его товарищи, учителя, „народъ все мыслящій, глубоко порядочный, воспитанный на Тургеневѣ и Щедринѣ", должны пассовать. Ихъ желанія, мысли, стремленія, все это—живыя, измѣнчивыя движенія души, колеблемыя, яко тростникъ. А противъ стоитъ одно неизмѣнное отрицаніе, неуязвимый футляръ, внутри пустой, гордый этой пустой и побѣдоносный въ сознаніи своей правоты, не встрѣчающій единственнаго дѣйствительнаго протеста—простой, житейской силы, которая, не мудрствуя лукаво, взяла бы его зашиворотъ и вышвырнула бы за окно.

Такъ поступаетъ съ нимъ свѣжій человѣкъ, и этотъ пріемъ оказывается самымъ дѣйствительнымъ. Бѣликовъ вздумалъ нѣсколько приподнять футляръ, заняться дѣломъ, которое разрѣшается даже циркулярами: онъ задумалъ жениться. Какъ и слѣдовало ожидать, такое жизненное дѣло, въ которомъ циркуляры и запрещенія плохая помощь, оканчивается для Бѣликова трагикомически. Какъ-то, въ періодъ ухаживанія, онъ встрѣчаетъ свой „предметъ" катающимся на велосипедѣ въ сопровожденіи брата, тоже учителя. Велосипедъ не воспрещенъ циркуляромъ, но и прямого разрѣшенія на него тоже не имѣется. И вотъ человѣкъ въ футлярѣ отправляется къ брату „предмета" съ

предостереженіемъ — „какъ бы чего не вышло“, но встрѣчаетъ неожиданный отпоръ. Опѣшившій Бѣликовъ начинаетъ благоразумно ссылаться на то, что вообще... Нѣтъ! Здѣсь! авторъ такъ неподражаемо живописуетъ своего героя, что никакая передача не можетъ дать хоть тѣни понятія о характерѣ человѣка въ футлярѣ.

„—Что же собственно вамъ угодно?“ — спрашиваетъ его Коваленко, братъ „предмета“.

„— Мнѣ угодно только одно предостеречь васъ,—отвѣчаетъ Бѣликовъ.—Вы—человѣкъ молодой, у васъ впереди будущее, надо вести себя очень, очень осторожно, вы же такъ манкируете, охъ, какъ вы манкируете! Вы ходите въ вышитой сорочкѣ, постоянно на улицѣ съ какими-то книгами, а теперь вотъ еще велосипедъ. О томъ, что вы и ваша сестрица катаетесь на велосипедѣ, узнаетъ директоръ, дойдетъ до попечителя... Что же хорошаго?

„—Что я и сестра катаемся на велосипедѣ, никому до этого дѣла нѣтъ! — сказалъ Коваленко и побагровѣлъ.—А кто будетъ вмѣшиваться въ мои домашнія и семейныя дѣла, того я пошлю къ чертямъ собачьимъ.

„Бѣликовъ поблѣднѣлъ и всталъ.

„— Если вы говорите со мной такимъ тономъ, то я не могу продолжать,—сказалъ онъ. — И прошу васъ никогда такъ не выражаться въ моемъ присутствіи о начальникахъ. Вы должны съ уваженіемъ относиться къ властямъ.

„—А развѣ я говорилъ, что дурное про властей?—спросилъ Коваленко, глядя на него со злобой. — Пожалуйста, оставьте меня въ покоѣ. Я человѣкъ честный и съ такимъ господиномъ, какъ вы, не желаю разговаривать. Я не люблю фискаловъ.

„Бѣликовъ нервно засуетился и сталъ одѣваться быстро, съ выраженіемъ ужаса на лицѣ. Вѣдь это первый разъ въ жизни онъ слышалъ такія грубости.

„— Можете говорить, что вамъ угодно, — сказалъ онъ, выходя изъ передней на верхнюю площадку лѣстницы.—Я долженъ только предупредить васъ: быть можетъ, насъ слышалъ кто-нибудь, и чтобы не перетолковали нашего разговора и чего-нибудь не вышло, я долженъ буду доложить господину директору содержаніе нашего разговора... въ главныхъ чертахъ. Я обязанъ это сдѣлать.

„— Доложить? Ступай, докладывай!

„Коваленко схватилъ его сзади за воротникъ и пихнулъ, тотъ покатился внизъ по лѣстницѣ, гремя своими калошами“.

Первый, рѣзкій и рѣшительный отпоръ, встрѣченный имъ такъ неожиданно, произвелъ на человѣка въ футлярѣ потрясающее дѣйствіе. Онъ захворалъ и умеръ. Могутъ за-

мѣтить, что для такого человѣка недостаточно такого ничтожнаго повода, чтобы умереть отъ простой обиды. Шпіоны, предатели и доносчики обладаютъ одной, имъ только присущей особенностью—крайне легко выносить всякія обиды дѣйствіемъ. Они, что называется, въ огнѣ не горятъ и въ водѣ не тонутъ, и то, что сгубило бы въ десять разъ сильнѣйшаго, служитъ имъ только къ вящшему украшенію. Это совѣршенно вѣрно, но лишь по отношенію къ профессіональнымъ лицамъ этого непочтеннаго цеха. Бѣликовъ же вовсе не профессіоналистъ-доносчикъ, не простой фискалъ, какъ его грубо назвалъ Коваленко, — фискалъ, работающій изъ-за мзды. Бѣликовъ искренно вѣритъ въ доносъ и необходимость доложить начальству, разъ, по его мнѣнію, потрясены основы власти хотя бы и велосипедомъ. Для него доносъ, столь непріятно дѣйствующій на Коваленко, есть актъ священный, обязательный, выполненіе коего заключаетъ въ себѣ такую же сладостную пріятность, какъ и всякое выполненіе долга. Въ теченіе пятнадцати лѣтъ подвизаясь на этомъ поприщѣ и не встрѣчая противодѣйствія, Бѣликовъ могъ съ полнымъ правомъ думать, что и всѣ такъ же относятся къ доносу, такъ же видятъ въ немъ одинъ изъ устоевъ той системы, олицетвореніемъ которой выступалъ онъ, побѣдоносный Бѣликовъ, подчинявшій себѣ воспитанныхъ на Тургеневѣ и Щедринѣ, „глубоко порядочныхъ“ товарищей. И вдругъ зашиворотъ и внизъ по лѣстницѣ! Вся трусливая, жалкая душонка этого плюгавца, все значеніе котораго опиралось на страхѣ, наводимомъ имъ на другихъ, должна была перевернуться, когда испытанное оружіе оказалось безсильно. Сегодня одинъ спустилъ его съ лѣстницы, завтра другой можетъ сдѣлать то же, и „какъ бы чего не вышло“!

Вся сила Бѣликова именно въ окружающей средѣ, въ слабости ея, въ расплывчатости нравственныхъ и всякихъ другихъ устоевъ, въ безсознательной подлости, составляющей общественную основу той жизни, гдѣ процвѣтаютъ Бѣликовы. Какіе принципы могутъ выставить въ свою защиту эти „воспитанные на Тургеневѣ и Щедринѣ“ товарищи? Если бы они у нихъ имѣлись, развѣ получило бы такое значеніе его „какъ бы чего не вышло“? Воспитаніе на Тургеневѣ и Щедринѣ не имѣетъ никакого значенія тамъ, гдѣ вся окружающая жизнь есть сплошное отрицаніе принциповъ этихъ великихъ воспитателей, гдѣ самое упоминаніе этихъ именъ является чуть не преступленіемъ. Для всякой борьбы, хотя бы и съ ничтожными Бѣликовыми, нужна внѣшняя сила, на которую можно бы опереться, а разъ ея нѣтъ—Бѣликовы непобѣдимы и неистребимы, что

и почувствовали немедленно послѣ его смерти оставшіеся. „Хоронить такихъ людей, какъ Бѣликовы, — говоритъ разсказчикъ,—это большое удовольствіе. Когда мы возвращались съ кладбища, то у насъ были скромныя, постныя физіономіи; никому не хотѣлось обнаружить этого чувства удовольствія,—чувства, похожаго на то, какое мы испытывали давно-давно, еще въ дѣтствѣ, когда старшіе уѣзжали изъ дому, и мы бѣгали по саду часъ-другой, наслаждаясь полною свободой. Ахъ, свобода, свобода! Даже намекъ, даже слабая надежда на ея возможность даетъ душѣ крылья... Вернулись мы съ кладбища въ добромъ расположеніи. Но прошло не больше недѣли, и жизнь, потекла по прежнему, такая же суровая, утомительная, безтолковая, жизнь не запрещенная циркулярно, но и не разрѣшенная вполнѣ; не стало лучше. И въ самомъ дѣлѣ, Бѣликова похоронили; а сколько еще такихъ человѣковъ въ футлярѣ осталось, сколько еще ихъ будетъ!“ — заканчиваетъ разсказчикъ со вздохомъ, на что его слушатель, ветеринарный врачъ Иванъ Ивановичъ, отвѣчаетъ: „То-то вотъ оно и есть“.

Жуткое чувство безнадежности и безысходной тоски охватываетъ читателя отъ этого безотраднаго „то-то вотъ оно и есть!“ И авторъ, чтобы усилить это давящее чувство безвыходности положенія, заставляетъ Ивана Ивановича разразиться подъ конецъ такой репликой:

„— То-то вотъ оно и есть, — повторилъ Иванъ Ивановичъ. — А развѣ то, что мы живемъ въ городѣ въ духотѣ, въ тѣснотѣ, пишемъ ненужныя бумаги, играемъ въ винтъ,— развѣ это не футляръ? А то, что мы проводимъ всю жизнь среди бездѣльниковъ, сутягъ, глупыхъ, праздныхъ женщинъ, говоримъ и слушаемъ разный вздоръ—развѣ это не футляръ!.. Видѣть и слышать, какъ лгутъ и тебя же называютъ дуракомъ за то, что ты терпишь эту ложь, сносить обиды, униженія, не смѣть открыто заявить, что ты на сторонѣ честныхъ, свободныхъ людей, и самому лгать, улыбаться, и все это изъ-за куска хлѣба, изъ-за теплаго угла, изъ-за какого-нибудь чинишка, которому грошъ цѣна,— нѣтъ, больше жить такъ невозможно!“

И читателю представляются изъ-за блѣдной фигуры Ивана Ивановича тысячи, десятки тысячъ такихъ же измученныхъ людей, которые ежедневно со стономъ повторяютъ: „такъ жить невозможно!“ и продолжаютъ жить, плодиться, воспитывать такихъ же футлярныхъ людей. Г. Чеховъ не даетъ ни малѣйшаго утѣшенія, не открываетъ ни щелочки просвѣта въ этомъ футлярѣ, каторый покрываетъ нашу жизнь, „не запрещенную циркулярно, но и не вполнѣ разрѣшенную“. Созданная имъ картина получаетъ характеръ траги-

ческой неизбѣжности. Фигура Бѣликова разростается, если не въ общечеловѣческую, то въ общерусскую, получаетъ значеніе не временного, наноснаго явленія, которое должно исчезнуть вмѣстѣ съ вызвавшими его причинами, а постояннаго, въ насъ самихъ коренящагося.

Въ этомъ художественномъ преувеличеніи, въ безмѣрности авторскаго пессимизма, какъ бы онъ ни оправдывался дѣйствительностью, все же чувствуется натяжка. Слишкомъ мрачное, до болѣзненности безотрадное настроеніе автора не позволяетъ ему разобраться въ массѣ условій, создающихъ футлярное существованіе для русскаго обывателя. Духота и тѣснота этой жизни не оттого, напр., зависятъ, что мы живемъ въ городахъ. Изъ неподражаемаго по силѣ разсказа того же г. Чехова мы знаемъ, что и въ деревняхъ не меньше духоты, тѣсноты и несравненно больше темноты. Значитъ, не въ условіяхъ только города или деревни надо искать причинъ, создающихъ футляръ. Они гораздо шире и равнымъ образомъ давятъ и городъ, и деревню. Они заключаются отнюдь не въ насъ самихъ, а лежатъ внѣ насъ, и сущность ихъ сводится къ отсутствію общественной жизни. Гдѣ нѣтъ хода для личности, для развитія иниціативы, проявленія своего „я", гдѣ каждый ничтожный по существу актъ личной воли наталкивается на рядъ препятствій, требующихъ крайняго напряженія всѣхъ силъ, гдѣ даже такой пустякъ, какъ ѣзда на велосипедѣ, допускается лишь съ особаго разрѣшенія, послѣ предварительныхъ испытаній, тамъ простой средній человѣкъ, составляющій массу, поневолѣ опускается, теряетъ интересъ къ жизни, къ своимъ обязанностямъ, ко всему, что непосредственно не затрогиваетъ его шкурнаго существованія. Вѣчный страхъ за кусокъ хлѣба, винтъ, чинишка, которому цѣна грошъ—это не составляетъ футляра, а лишь результаты общаго футляра, въ которомъ жизнь замираетъ и вмѣсто нея являются ея суррогаты...

Г. Чеховъ сумѣлъ съ безпощадной силой раскрыть все ничтожество футлярной жизни, и въ этомъ заключается жгучая особенность его послѣднихъ произведеній. Онъ выбираетъ, можетъ быть, безсознательно самыя больныя мѣста нашей жизни и заставляетъ насъ „вложить перстъ въ рану", и такъ какъ у каждаго она такъ или иначе болитъ, то и получается та особая острота ощущеній горечи, недовольства и тоски жизни, которую испытываешь при чтеніи г. Чехова.

Въ слѣдующемъ, напр., разсказѣ той же лѣтней серіи, „Крыжовникъ", ветеринарный врачъ разсказываетъ про своего брата, въ лицѣ котораго г. Чеховъ сумѣлъ пред-

ставить одинъ изъ самыхъ распространенныхъ типовъ обывательской пошлости, человѣческаго ничтожества, самодовольнаго и безцѣльнаго прозябанія. Хотя этотъ разсказъ и не имѣетъ непосредственной связи съ предыдущимъ, но въ немъ какъ бы обрисовывается среда, гдѣ властвуетъ человѣкъ въ футлярѣ. Николай Ивановичъ, герой разсказа, это живой представитель того мірка, гдѣ человѣкъ въ футлярѣ въ теченіе послѣднихъ пятнадцати лѣтъ вытравлялъ все человѣческое, все сколько-нибудь возвышающееся надъ низменнымъ уровнемъ будничной жизни. Съ дѣтства въ немъ подавлялся всякій живой порывъ, благородное, сочувственное движеніе души, свободная мысль, не укладывающаяся въ рамки ограничительныхъ циркуляровъ. Юношескія мечты, горячія стремленія, мысли о борьбѣ, о благѣ людей, все было подавлено всепоглощающей мыслью о личномъ существованіи, страхомъ за эту жалкую жизнь, боязнью предъ невидимымъ—„какъ бы чего не вышло". Единственной мечтой этого забитаго существа являлся собственный уголокъ земли, маленькая усадьба, гдѣ бы онъ могъ чувствовать себя спокойно. Это чисто-звѣриное стремленіе къ своей берлогѣ, подальше отъ другихъ, куда страхъ загоняетъ звѣря, гдѣ послѣдній можетъ, наконецъ, безъ опасенія протянуть усталыя лапы. Страстное стремленіе къ такому уголку мало-по-малу оформилось, развилось въ цѣльную картину своей усадьбы на берегу небольшой рѣчки, съ садикомъ, въ которомъ непремѣнно есть крыжовникъ. Этотъ крыжовникъ является въ мечтахъ Николая Ивановича кульминаціоннымъ пунктомъ благополучія, недосягаемымъ счастьемъ, которому онъ жертвуетъ всю жизнь. Онъ живетъ, не доѣдая и не досыпая, копитъ гроши, отказываетъ себѣ во всемъ. Ради него женится на старухѣ съ деньгами, которую своею скупостью доводитъ до преждевременной смерти. Наконецъ, уже сѣдой, старый, безъ силъ и желаній, онъ послѣ смерти жены осуществляетъ свою мечту молодости. Разсказчикъ пріѣзжаетъ къ нему и видитъ его на вершинѣ блаженства, когда Николай Ивановичъ угощаетъ гостя *своимъ* крыжовникомъ, кислымъ, недозрѣлымъ, и въ восторгѣ отъ каждой ягодки восклицаетъ: „какъ вкусно!" Печаль и тоска овладѣваютъ разсказчикомъ при видѣ этой пошлости, самодовольной, ограниченной, не желающей ничего знать, видѣть, понимать, кромѣ *своего* крыжовника, и онъ обращается къ одному изъ слушателей, молодому помѣщику Алехину, съ воззваніемъ.

„— Павелъ Константиновичъ! Не успокоивайтесь, не усыпляйте себя, дѣлайте добро! Пока молоды, сильны, бодры, не уставайте дѣлать добро! Счастья нѣтъ и не

должно его быть, а есть жизнь, и если она имѣетъ смыслъ и цѣль, то смыслъ этотъ и цѣль вовсе не въ нашемъ счастьѣ, а въ чемъ-то болѣе разумномъ и великомъ. Есть жизнь, есть нравственный законъ, высшій для насъ законъ... Дѣлайте добро!"

И тутъ же, чтобы подчеркнуть все безсиліе такихъ воззваній, авторъ описываетъ богатую, изящную обстановку дома Алехина, гдѣ шелъ разговоръ. „Когда изъ золотыхъ рамъ глядѣли генералы и дамы, которые въ сумеркахъ казались живыми, слушать разсказъ про бѣднягу чиновника, который ѣлъ крыжовникъ, было скучно. Хотѣлось почему-то говорить и слушать про изящныхъ людей, про женщинъ. И то, что они сидѣли въ гостиной, гдѣ все—и люстра въ чехлѣ, и кресла, и ковры подъ ногами, говорили, что здѣсь когда-то ходили, сидѣли, пили чай, вотъ эти самые люди, которые глядѣли теперь изъ рамъ, и то, что здѣсь теперь безшумно ходила красивая Пелагея,—это было лучше всякихъ разсказовъ"...

Послѣдній разсказъ „Любовь" проникнутъ той же грустной, щемящей сердце нотой, какъ и оба предыдущіе. Этотъ разсказъ усиливаетъ впечатлѣніе ненормальности окружающей жизни, спутанности въ ней самыхъ простыхъ отношеній, безжалостности людей другъ къ другу, ихъ неумѣнья жить по-человѣчески. Алехинъ разсказываетъ о своей любви къ замужней женщинѣ, которая тоже любила его; какъ они оба таили эту любовь, старались исполнить свои обязанности, страдали, томились, и только въ минуту разставанья оба поняли, что они потеряли и какъ пропустили самое главное въ своей жизни. „Когда тутъ, въ купэ, взгляды наши встрѣтились, душевныя силы оставили насъ обоихъ, я обнялъ ее, она прижалась лицомъ къ моей груди, и слезы потекли изъ глазъ; цѣлуя ея лицо, плечи, руки, мокрыя отъ слезъ,—о, какъ мы были съ ней несчастны!—я признался ей въ своей любви, и со жгучей болью въ сердцѣ я понялъ, какъ ненужно, мелко и обманчиво было все то, что намъ мѣшало любить. Я понялъ, что когда любишь, то въ своихъ разсужденіяхъ объ этой любви нужно исходить съ высшаго, съ болѣе важнаго, чѣмъ счастье или несчастье, грѣхъ или добродѣтель въ ихъ ходячемъ смыслѣ, или не нужно разсуждать вовсе".

Алехинъ — умный и хорошій человѣкъ, чувствующій призваніе къ наукѣ, къ общественной дѣятельности, а занимается сельскомъ хозяйствомъ, котораго не любитъ и не знаетъ, во имя взятаго на себя призрачнаго долга поднять состояніе, расшатанное отцомъ. Такъ упустилъ онъ свое истинное призваніе, какъ упустилъ любовь, разбилъ и

свою, и другую жизнь, потому что не было въ немъ гордости, твердой воли и энергіи. Все это выѣла въ немъ футлярная жизнь, оставивъ горечь воспоминаній и сознаніе ненужности своей жизни.

Всѣ три разсказа, при разнообразіи сюжета и малой связи, проникнуты и объединены общей печалью и тоской, лежащими въ ихъ основѣ. Исторія человѣка въ футлярѣ мѣстами глубоко комична, напр., его ухаживаніе; также смѣшна и фигура любителя крыжовника, но улыбка ни разу не освѣщаетъ лица читателя. Сквозь внѣшній комизмъ просвѣчиваетъ такое тяжелое, грустное настроеніе автора, что самый комизмъ персонажей только углубляетъ безотрадные выводы, которые сами собой вытекаютъ изъ рисуемыхъ авторомъ картинъ пошлости и житейской неурядицы. Автора мучаютъ темныя стороны жизни, къ которымъ г. Чеховъ сталъ какъ-то особенно чутокъ въ своихъ послѣднихъ произведеніяхъ. Правда, и прежде одной изъ основныхъ нотъ въ его настроеніи была меланхолическая струнка, напр., въ его „Хмурыхъ людяхъ", въ „Сумеркахъ", но теперь она стала преобладающею. Вспомнимъ его „Мужиковъ" или „Моя жизнь", гдѣ траурный фонъ застилаетъ сплошь всю картину. Жизнерадостное, бодрящее чувство какъ бы совсѣмъ покинуло автора, и жизнь рисуется ему, какъ облачный день, въ туманѣ печали и тоски, разстилается предъ нимъ, какъ необозримая ровная степь, съ низко нависшими облаками, гдѣ ни одинъ лучъ солнца не проглянетъ, не согрѣетъ, не освѣтитъ печально и безъ цѣли бредущихъ путниковъ.

Помимо разныхъ причинъ, могшихъ усилить въ авторѣ его песимизмъ, намъ кажется, эта особенность коренится въ общихъ свойствахъ таланта г-на Чехова. Художественное творчество его напоминаетъ превосходное, но разбитое зеркало, въ каждомъ обломкѣ котораго отражается съ удивительной рельефностью и правдивостью тотъ или иной уголокъ жизни. Но соединить всѣ эти уголки въ общую цѣльную картину онъ не можетъ, откуда и происходитъ чрезмѣрность темной окраски каждой отдѣльной картинки, усиливаемая, сверхъ того, личнымъ настроеніемъ. Жизнь въ цѣломъ отнюдь не такъ ужъ мрачна и безысходно тосклива, какою она кажется, если разсматривать ее по частямъ, въ деталяхъ. Но для болѣе свѣжаго и радостнаго настроенія необходимо нѣсколько подняться надъ нею, чтобы схватить ее шире, взглянуть на нее во времени и пространствѣ и уловить общую гармонію частей, гдѣ не всегда и не вездѣ одни человѣки въ футлярѣ диктуютъ законы, не только *свой* крыжовникъ является центромъ,

около котораго вращаются всѣ помышленія. Какъ ни сперта и душна атмосфера туманнаго облачнаго дня, живое вѣяніе жизни то здѣсь, то тамъ даетъ себя чувствовать, если только нарочно не запирать всѣ окна, отгораживаясь отъ всего живого, вольнаго, всего, не мирящагося съ низменными интересами текущаго дня. Если бы было иначе, не стоило бы и жить. Есть великое утѣшеніе въ мысли, что всему бываетъ конецъ на свѣтѣ,—будетъ конецъ и футлярному прозябанію...

Замѣчается и еще одна особенность, совершенно новая для г. Чехова, который отличался всегда поразительной объективностью въ своихъ произведеніяхъ, за что нерѣдко его упрекали въ равнодушіи и безпринципности. Теперь же, какъ навѣрное уже замѣтили читатели въ приведенныхъ выдержкахъ, г. Чеховъ не можетъ удержаться, чтобы мѣстами не высказаться, вкладывая въ реплики героевъ задушевныя свои мысли и взгляды, какъ, напр., заключеніе разсказа „Человѣкъ въ футлярѣ", тирада Ивана Ивановича о невозможности жить такъ дольше или патетическое воззваніе къ добру въ разсказѣ „Крыжовникъ". Можно сказать, что мракъ и отвратительная пошлость изображаемыхъ имъ картинъ вырываютъ изъ груди художника невольный стонъ. Онъ не можетъ оставаться только художникомъ и помимо воли становится моралистомъ и обличителемъ. Такая новая черта крайне знаменательна для настроенія автора. Въ немъ какъ бы назрѣваетъ какой-то переломъ, прорывается нѣчто, сближающее его съ другими нашими великими художниками, которые никогда не могли удержаться на чисто-объективномъ творчествѣ и кончали проповѣдью, одни, какъ Левъ Толстой, жертвуя ей всѣмъ своимъ художественнымъ талантомъ, другіе, какъ Гаршинъ, своимъ субъективизмомъ, окрашивая свои произведенія почти до тенденціозности (напр., „Художники" Гаршина). Мы вполнѣ увѣрены, что огромный талантъ г. Чехова удержитъ его въ должныхъ границахъ, и нѣкоторая доля субъективности только углубитъ содержаніе его творчества.

Эпигоны народничества:—Г. Меньшиковъ, самый яркій представитель ихъ.—Народникъ стараго типа:—Н. Е. Петропавловскій-Каронинъ [1]).

Идеи, какъ и люди, не умираютъ, не оставивъ послѣ себя наслѣдниковъ. Онѣ раздробляются и развѣтвляются, и изъ одного, вначалѣ сильнаго и широкаго, теченія получается нѣсколько мелкихъ струекъ, которыя журчатъ себѣ потихоньку, пока не вольются въ новый сильный потокъ. То же было и съ народничествомъ, которое не осталось безъ эпигоновъ, хотя и извратившихъ идею стараго народничества до неузнаваемости, но сохранившихъ прямую и явную связь съ нимъ. Эту связь можно назвать „народолюбіемъ", понятіемъ еще болѣе туманнымъ и расплывчатымъ, чѣмъ само народничество. Народолюбіе эпигоновъ представляетъ нѣчто смутное и неопредѣленное, слащавое до приторности и сентиментальное, напоминающее времена „Бѣдной Лизы", когда жизнь на лонѣ природы, въ восхитительной обстановкѣ ничѣмъ не испорченной „натуры" представлялась идеаломъ счастья и благополучія. Теперь лоно природы замѣняется просто деревней, которой противопоставляется городъ, вмѣсто пейзане, говорятъ просто крестьяне, но, какъ увидимъ ниже, сущность осталась та же.

Однимъ изъ самыхъ яркихъ представителей этихъ эпигоновъ народничества является г. Меньшиковъ, собравшій во-едино разсѣянныя на пространствѣ нѣсколькихъ лѣтъ свои сладкогласованія о деревнѣ и выпустившій ихъ подъ громкимъ и заманчивымъ титломъ „Думы о счастьѣ". Г. Меньшиковъ не громкій писатель, и большинство нашихъ читателей, можетъ, о немъ и не много слыхали. Тѣмъ любопытнѣе имъ познакомиться съ писателемъ, тихоструйныя рѣчи котораго касаются предмета, столь для всякаго близкаго и дорогого, какъ счастье.

Мы не можемъ подобрать для характеристики г. Меньшикова, какъ писателя, лучшаго эпитета. Именно — тихоструйный. Рѣчь его льется тихо и плавно, обходя камни и препоны, не задѣвая выступовъ и отроговъ, не опускаясь въ омуты и не возносясь до вершинъ. Гладкія фразы, закругленные періоды, мягкія выраженія мало-по-малу закутываютъ читателя, какъ теплое пуховое одѣяло, нѣжатъ слухъ, какъ мѣрный шепотъ разсказывающей сказку няни, подъ говоръ которой вы такъ сладко засыпали въ дѣтствѣ. Нѣчто

---

[1]) Ноябрь 1898 г.

подобное вы испытываете, читая „Думы о счастьѣ“ г. Меньшикова, и отъ времени до времени надо сдѣлать усиліе, стряхнуть съ себя ту дрему, которую навѣваетъ мѣрная плавность его стиля. Какъ писатель, г. Меньшиковъ лишенъ темперамента. Его ничто не взволнуетъ, ничто не выведетъ изъ себя, не заставитъ крикнуть отъ боли или возликовать отъ радости. Неизмѣнно спокойный и размѣренный, онъ цѣдитъ словцо за словцомъ, выписываетъ не дрогнувшей рукой фразу за фразой, страничку за страничкой, пока самодовольно и съ пріятнымъ сознаніемъ благополучно доведеннаго до конца дѣла не поставитъ послѣднюю точку.

Пишетъ онъ много и пространно, но всегда съ кротостью и незлобіемъ, съ спокойствіемъ души, обрѣтшей миръ въ сознаніи достигнутой истины. И только склонный къ критикѣ и анализу читатель усмотритъ мѣстами въ этой кротости нѣкое вѣяніе лицемѣрія, присутствіе тонкаго яда хорошо скрытой злости и далеко не братолюбивыхъ чувствъ. Разъ уловивъ этотъ тонъ дѣланности и неискренности, вы уже не можете отдѣлаться отъ впечатлѣнія натяжки и непріятной поддѣлки. Въ концѣ концовъ получается странный результатъ. Чѣмъ болѣе вы читаете этого писателя, тѣмъ меньше онъ становится для васъ убѣдительнымъ. Повидимому, онъ говоритъ трюизмы, ходячія аксіомы, высказываетъ мысли, которыя каждому по сту разъ на день приходится говорить не замѣчая, а между тѣмъ въ устахъ г. Меньшикова онѣ получаютъ какой-то вызывающій на противорѣчіе оттѣнокъ. Зависитъ это отъ того, что г. Меньшиковъ, взявъ ходячую истину, заявляетъ сразу: „а я говорю совсѣмъ напротивъ“, какъ поступаетъ у Гл. Успенскаго сельскій писарь, поучающій своего пріятеля ухаживать за барышнями. По увѣренію писаря, пріемъ побѣдоносный и непреодолимый, но въ данномъ случаѣ мало убѣдительный, тѣмъ болѣе, что г. Меньшиковъ постоянно впадаетъ въ противорѣчія и самъ себя побиваетъ на каждомъ шагу.

Происходитъ это отъ непреодолимой страсти г. Меньшикова къ оригинальничанью. Какъ мыслитель, онъ меньше всего оригиналенъ, и, сознавая за собой эту слабость, г. Меньшиковъ нарочно выбираетъ самыя простыя темы, но стремится разработать ихъ возможно чуднѣй. Отсюда и происходитъ удивительная смѣсь трюизмовъ и банальностей съ самыми невѣроятными, рискованными и противорѣчивыми положеніями. Изъ самаго простого обыденнаго житейскаго вопроса нашъ философъ стремится создать нѣчто уму непостижимое по глубинѣ и наворочаетъ кучу фразъ, витіевыхъ, запутанныхъ, яко бы глубокомысленныхъ,

а въ сущности пустыхъ и безсодержательныхъ. Въ концѣ концовъ получается несноснѣйшая скука, которою вѣетъ отъ этихъ „думъ о счастьѣ“.

Начинаетъ онъ, какъ всегда, издалека. „Чтобы понять, въ чемъ счастье, нужно заглянуть въ сердце несчастныхъ, самыхъ несчастныхъ, какіе есть на свѣтѣ“. Совѣтъ не дуренъ, хотя, правду говоря, неосуществимъ и открываетъ широкое поле для всякихъ мудрствованій, чѣмъ авторъ и пользуется беззастѣнчиво. Во-первыхъ, кто самый несчастный? Понятія „счастливый“. „несчастный“ такъ индивидуальны, что подыскать общую мѣрку немыслимо. А во-вторыхъ, почему сердце несчастнаго болѣе доступно для наблюденій, „заглядыванія“, чѣмъ сердце счастливаго. Только въ участкѣ, по словамъ Щедрина, умѣютъ читать въ сердцахъ и выдавать соотвѣтственные аттестаты, да и то главнымъ образомъ по части благонадежности и неблагонадежности. Чтобы еще больше запутать вопросъ, г. Меньшиковъ беретъ представителями сугубаго несчастія самоубійцъ, — нѣкоего неудачника-поэта и удачнаго генерала, который взялъ да и застрѣлился наканунѣ назначенія на высокій постъ. Г. Меньшиковъ пытливо вопрошаетъ сердца самоубійцъ, которыя уже не бьются и ни на какіе вопросы не могутъ дать ни прямыхъ, ни косвенныхъ отвѣтовъ. Начинается тягучее воркованіе, переливчатая рѣчь на тему—жилъ человѣкъ и нѣтъ человѣка. А почему его нѣтъ, никому неизвѣстно, въ томъ числѣ и г. Меньшикову, который скромно, но съ достоинствомъ самъ сознается въ этомъ. „Сколько я помню молодежи, сверстниковъ моихъ, покончившихъ съ собой безъ всякихъ, сколько-нибудь уловимыхъ причинъ: нельзя же, напр., считать „причиною“ то, что человѣкъ проигралъ деньги, не получилъ обѣщаннаго отпуска, не дождался свиданія съ женщиной, которою увлекся“. Правильно, никто противъ этого спорить не станетъ, ибо причины, перечисленныя г. Меньшиковымъ, дѣйствительно пустыя, и самоубійцы, лишающіе себя жизни отъ такихъ пустыхъ причинъ, сами, надо полагать, столь пусты, что ихъ сердца едва ли намъ многое сказали бы, если бы могли говорить. И скорбно поматывая главою, г. Меньшиковъ заканчиваетъ о самоубійцахъ: „самоубійства растутъ, растутъ въ ужасающемъ числѣ, захватывая всѣ возрасты и состоянія, все—даже высшіе предѣлы „счастья“ и даже высшіе—по преимуществу“.

Что же такое счастье?—вопрошаетъ онъ далѣе. Поломавшись не мало, источивъ достаточно словесъ о разныхъ предметахъ, онъ рѣшаетъ,—основа счастья любовь къ людямъ, взаимная любовь.. Для укрѣпленія столь новаго и глубоко-

мысленнаго рѣшенія, ради чего пришлось г. Меньшикову покопаться въ сердцахъ самоубійцъ, на днѣ каковыхъ сердецъ оно, это рѣшеніе, было имъ обрѣтено, слѣдуютъ высокомудрыя ссылки на Достоевскаго, Цицерона, Сенеку, на мудрость древнихъ и новыхъ народовъ. Вообще, такова ужъ манера г. Меньшикова, чѣмъ банальнѣе, ходячѣе, общепризнаннѣе мысль, тѣмъ болѣе авторитетовъ онъ привлекаетъ къ отвѣту для вящшаго удрученія читателя.

Итакъ, основа счастья—любовь. Но, если дѣло такъ просто, то „кто же мѣшаетъ каждому любить людей“? „Вѣдь даже какой-нибудь бѣднякъ-сапожникъ любитъ свою грязную и изнуренную жену-прачку, имѣетъ пріятелей, такихъ же оборванцевъ, и насыщаетъ же онъ какъ-нибудь свои потребности любви и дружбы“, утверждаетъ г. Меньшиковъ. И опять правъ: кто можетъ возражать противъ столь безспорнаго положенія, что и сапожнику доступны любовь и дружба? Правильно разсуждаетъ г. Меньшиковъ, такъ правильно, что отъ этой правильности даже одурь беретъ. Васъ забираетъ сомнѣніе, ужъ, чего добраго, не смѣется ли надъ нами авторъ? Ужъ слишкомъ серьезно онъ говоритъ пустяки. Но, оказывается, это только прелюдія, а пьеса еще впереди.

Любовь, а слѣдовательно и счастье, доступны всѣмъ, даже и сапожнику. Далѣе авторъ дѣлаетъ внезапный скачекъ и прямо набрасывается на культуру:“ Не легче ли это въ средѣ культурныхъ, изнѣженныхъ классовъ съ ихъ утонченнымъ умственнымъ и эстетическимъ развитіемъ и проч...?“—и отвѣчаетъ—„нѣтъ, не легче“. Съ этого момента начинается настоящая музыка, сущность которой прославленіе деревни съ ея простотой и прочими прелестями и сугубое приниженіе города съ его культурой.

Вы думаете, культура сближаетъ людей, дѣлая ихъ болѣе чуткими къ общественнымъ дѣламъ, болѣе отзывчивыми на запросы жизни, болѣе склонными къ совмѣстной работѣ? „А я говорю совсѣмъ напротивъ“; слѣдуетъ пространное разсужденіе о томъ, что въ городѣ люди живутъ болѣе обособленно, чѣмъ въ деревнѣ, и самый убѣдительный аргументъ тотъ, что въ Петербургѣ можно жить на одной лѣстницѣ и не знать другъ друга, а въ деревнѣ каждая сосѣдка знаетъ, что у другой въ горшкѣ варится. Это ли еще не „соціабильность“, какъ выражается Лѣсковъ? Вы думаете, что „науки юношей питаютъ, отраду старцамъ подаютъ“, а г. Меньшиковъ говоритъ „совсѣмъ напротивъ“. Науки людей очерствляютъ, дѣлаютъ ихъ спеціалистами, а каждая спеціальность людей суживаетъ, черствитъ душу и сушитъ мозгъ. По вашему мнѣнію, искусства процвѣтаютъ въ городахъ и были созданы ими. „А я говорю напротивъ“,—

истинное искусство возможно только въ деревнѣ, гдѣ масса свѣжихъ образовъ, зелени, воздуха. А въ городѣ школа убиваетъ оригинальность, притупляетъ художественное чувство ребенка, изъ котораго вырабатываютъ техника, заставляя его барабанить экзерциціи да вырисовывать линіи. И такъ до безконечности споритъ и торжествуетъ г. Меньшиковъ, побивая на голову противника, который у него олицетворяется то въ образѣ злополучнаго петербургскаго чиновника, то городского заморыша, то въ обществѣ, собравшемся на журфиксъ и т. п.

Слѣдовать за авторомъ шагъ за шагомъ мы не станемъ. Все это до того уже жевано и пережевано, что перечитывать въ жвачкѣ г. Меньшикова, при всей его тихоструйности, плавности, кротости и беззлобіи, адски тоскливо и убійственно скучно. Деревенскія прелести расписаны авторомъ елейнымъ и слащавымъ языкомъ, тутъ и зеленая травка, и божья птичка, и единеніе душъ, и община, и церковь въ древне-христіанскомъ смыслѣ. Городъ губитъ и душу, и тѣло, въ немъ невозможно счастье, его надо искать въ деревнѣ, въ единеніи съ природой и народомъ. А для этого интеллигенція должна „онародиться", „раствориться въ народномъ тѣлѣ", и сдѣлать это надо такъ, чтобы и народу была польза, и интеллигенціи и добыть малую толику „дѣтишкамъ на молочишко". Слѣдуетъ длинное, нравоучительное и чинное размышленіе о судьбахъ интеллигенціи, потерянной, разбросанной, не имѣющей ни значенія, ни удачи въ жизни, какъ личной, такъ и общественной, и смиренное мудрованіе насчетъ народа, который великъ, могучъ, проникнутъ идеей божественной миссіи.

Тутъ мы входимъ всецѣло въ область народнической аргументаціи о превосходствѣ народныхъ устоевъ, незыблемыхъ и крѣпкихъ, надъ легковѣсной интеллигентностью горожанина. Г. Меньшиковъ въ одномъ лишь рѣзко отличается отъ стараго народничества. Послѣднее призывало интеллигенцію въ деревню на службу народу во имя д о л г а, онъ же—во имя счастья, которымъ желаетъ заманить интеллигенцію подъ сѣнь струй. Разница, какъ можно судить, весьма существенная.

Въ главѣ „Народъ" авторъ отмѣчаетъ разобщенность интеллигенціи и народа и задается вопросомъ, „какъ найти потерянное родство съ народомъ"? Рѣшеніе дается весьма простое. „Для этого нужно поступать такъ, какъ вы дѣлали бы гдѣ-нибудь въ Германіи, если бы хотѣли натурализоваться. Вы вышли бы изъ русской колоніи, гдѣ жили, поселились бы среди нѣмцевъ, приняли бы ихъ языкъ, вѣру, нравы, привычки, политическія обязанности и права. Только

тогда нѣмцы признали бы васъ за своего. То же самое нужно сдѣлать, если мы хотимъ породниться съ своимъ народомъ: нужно возвратиться въ его среду, переѣхать въ деревню, войти въ нормы ея быта, труда, настроенія, идеаловъ. Нужно онародиться, стать въ условія жизненнаго равенства съ мужикомъ. Я убѣжденъ, что для этого вовсе не нужно терять своей образованности, а необходимо сохранить ее, и вовсе не нужно погружаться въ мракъ и грязь: нужно только свое хорошее приложить къ народному хорошему. Вѣдь и для того, чтобы сдѣлаться нѣмцемъ, нѣтъ нужды пріобрѣтать дурныя нѣмецкія привычки, заражаться шовинизмомъ, пить до одури пиво и т. п. Только хорошее истинно національно, и его достаточно во всякомъ народѣ, и въ нашемъ. Образованные люди думаютъ, будто ихъ отдѣляетъ отъ простонародія образованіе, такъ что слиться съ народомъ нельзя, не потерявъ человѣческаго образа. Это грубое заблужденіе. Если образованіе истинное (а не новое суевѣріе), оно можетъ только соединять людей, а не раздѣлять; приблизившись къ народу, вы увидите, что и онъ кромѣ невѣжества, обладаетъ истиннымъ образованіемъ, и въ степени иногда удивительной! Вы встрѣтите здѣсь утонченную культуру души, характеровъ, ума, воображенія, богатую неписанную литературу, богатую музыку, прекрасно разработанный языкъ, который не могъ бы быть у необразованнаго народа, въ родѣ дикарей, довольствующихся тремя десятками словъ. Вы встрѣтите массу точнѣйшихъ знаній, заимствованныхъ изъ наблюденій природы, знаній иногда древнихъ, облеченныхъ въ іероглифы суевѣрій, ключъ къ которымъ утерянъ. Конечно, вы встрѣтите въ народѣ и совершенное незнакомство съ вашей европейской культурой, но вѣдь и вы—крупный невѣжда въ его народной культурѣ, вѣдь и вы богаты своими суевѣріями и іероглифами знаній. Въ общеніи съ народомъ, однако, вы сейчасъ же увидите, что ваши самыя дорогія безспорныя истины, истины нравственныя, народу понятны и даже суть какъ бы его безспорныя истины; вы увидите, что все великое, благородное, святое, вѣчное народъ только слегка какъ бы запамятовалъ, но сейчасъ же, при малѣйшемъ намекѣ, припоминаетъ во всей ясности и часто яснѣе васъ самихъ", стр. 47—48).

Въ этой длинной выдержкѣ лежитъ центръ тяжести взглядовъ г. Меньшикова, и какъ напоминаютъ они творенія приснoблаженной памяти Юзова или г. В. В.! Эти оба столпа народничества могли бы подписаться обѣими руками подъ тирадой г. Меньшикова. И аргументація его точь-въ-точь такая же, вмѣсто фактовъ увѣренія, вмѣсто доказательствъ—

аналогіи. Никто, напримѣръ, не станетъ говорить, что народъ—дикарь, что у него нѣтъ своей культуры, что разобщенность съ народомъ полезна или желательна. Г. Меньшиковъ, какъ и покойный Юзовъ, беретъ именно такія абсурдныя положенія и ихъ побѣдоносно разбиваетъ, ни на минуту не желая замѣтить, что стучится въ открытую дверь. Зажмуривъ глаза, загипнотизированный мѣрнымъ токомъ гладко льющихся словъ, онъ монотонно твердитъ: „все безсиліе интеллигенціи въ отчужденіи... чѣмъ дальше сословіе отъ народа, тѣмъ ближе его физическая и психическая гибель... исторія Запада и Востока доказала, что...“ и т. д., и т. д.

Народники стараго типа были люди прямолинейные. Онародиться такъ онародиться. Надѣвай зипунъ, берись за соху, учись пахать, косить, не бояться ни голода, ни холода. Но г. Меньшиковъ не даромъ взлелѣянъ городской культурой и разстаться съ нею не желаетъ. Городъ, вообще говоря, скверенъ, но и въ немъ есть кое-что хорошее. Есть наука, есть искусства, народу тоже нужныя. Ему нужны врачи, техники, книги и прочій антуражъ культурной жизни. Необходимо все это пересадить въ деревню. а для этого надо... строить города въ деревнѣ. Мы вовсе не думаемъ смѣяться надъ читателями, выписывая этотъ курьезный выводъ, вытекающій изъ разсужденій г. Меньшикова. Таково его разсужденіе о наукѣ и искусствѣ, которыя теперь никому не нужны въ городахъ, лежатъ безцѣльно въ сокровищницахъ музеевъ, и „если бы злой волшебникъ перенесъ потихоньку всѣ эти ученыя хранилища въ Камчатку, петербургская интеллигенція не хватилась бы ихъ цѣлые годы“ (стр. 109). Кому они нужны? Никому. Взять, наприм., нашу журналистику. „Толстые журналы, серьезныя книги — ихъ обыкновенно только перелистываютъ, или читаютъ ужъ очень излюбленныхъ авторовъ: прочесть журналъ или книгу отъ доски до доски, какъ бываетъ часто въ провинціи,—цѣлое событіе для петербуржца. Настоящіе заправскіе читатели и теперь деревенскіе читатели: это вамъ скажутъ въ любой редакціи или книжномъ складѣ“. Одинъ лишь предразсудокъ, будто городъ культурнѣе и образованнѣе, и только злонравіе и человѣконенавистническіе инстинкты заставляютъ людей скопляться въ города. Увлекшись, г. Меньшиковъ забылъ, что какъ разъ, напримѣръ, именно теперь строится новое помѣщеніе для читателей въ публичной библіотекѣ, потому что старое не вмѣщаетъ желающихъ заниматься въ ней. И въ любой редакціи ему могли бы дать свѣдѣнія, что деревня, въ смыслѣ подписки, пока не играетъ никакой роли. Каждый годъ контора нашего журнала по-

мѣщаетъ любопытную табличку распредѣленія журнала по Россіи; оказывается что девять десятыхъ общаго числа поглощаютъ губернскіе и уѣздные города, почти одну десятую Петербургъ, а въ деревню уходятъ десятки экземпляровъ. То же самое, конечно, и съ другими журналами, а также и массою ежегодно выходящихъ книгъ.

Знаетъ это, не хуже насъ, и г. Меньшиковъ, но ему непремѣнно хочется доказать, что строить города въ деревнѣ много раціональнѣе. Напримѣръ, художественные музеи получили бы тогда большее распространеніе, потому что вмѣсто нѣсколькихъ большихъ явилась бы масса маленькихъ. Въ каждомъ „деревенскомъ" городѣ явился бы свой музейчикъ, своя библіотечка, свой университетикъ, своя газетка. Представимъ себѣ только всю Россію, гдѣ нѣтъ „городскихъ" городовъ, а все „деревенскіе",—развѣ это не было бы удивительнымъ культурнымъ торжествомъ? Конечно, всякій скажетъ, что лучшаго и желать нельзя. И вы думаете, это невозможно. Напрасно! „Поглядите, какъ зажиточны и опрятны нѣмецкія, голландскія, швейцарскія деревни—или хотя бы наши сибирскія села, до которыхъ городъ еще не дошелъ, или селенія колонистовъ, которыя онъ обошелъ... Мѣстами вы встрѣтите тамъ (заграницей) и телеграфъ, и телефонъ, и электрическое освѣщеніе, и почтовую контору, и магазины. Есть въ Америкѣ деревни даже съ своей газетой". Наивный читатель, пожалуй, замѣтитъ, что это Америка, ей и книги въ руки, а у насъ-то, гдѣ видѣлъ эти чудеса г. Меньшиковъ? Или онъ насъ приглашаетъ вообще въ деревню, а не въ русскую спеціально? Но тогда къ чему всѣ эти пустыя рѣчи? Про разныя заморскія чудеса и диковинки мы слышали и отъ болѣе компетентныхъ свидѣтелей, чѣмъ нашъ философъ, и выводы, къ которымъ они приходятъ, тоже не чета оригинальной идеѣ г. Меньшикова.

Только пустота нашей общественной жизни, отсутствіе здоровой и правильной общественной дѣятельности можетъ породить такую философію праздномыслія и пустословія. Въ ней одно только для насъ и любопытно, въ какую преобразованную форму отлилось старое народничество. Въ обработкѣ г. Меньшикова оно преобразилось въ чисто мѣщанскую идеализацію своего уголка на лонѣ природы, съ своей коровкой, зеленой травкой, тихой уютной жизнью въ кружкѣ своихъ, гдѣ всего понемножку: и любви, и науки, и искусства, и даже мужичка. И все это въ маленькой, скромной дозѣ, ибо счастіе,—„мѣщанское счастіе",—должно быть прежде всего достижимымъ. „Идеалъ хоть на мгновеніе долженъ быть достижимымъ", трогательно поясняетъ г. Меньшиковъ. „Если идеалъ недостижимъ, то человѣкъ всегда

немного недоволенъ, сколько бы ни совершенствовался, и жизнь его всегда немного отравлена... Совершенная недостижимость парализуетъ всякое желаніе стремиться къ цѣли: каждый нагнется поднять красивый цвѣтокъ, но никто не протягиваетъ руки къ звѣздамъ, не менѣе прекраснымъ, чѣмъ цвѣты. И я думаю, идеалами нужно считать цвѣты, а не звѣзды". Этотъ цвѣточный идеалъ удивительно какъ характеренъ для мѣщанской философіи г. Меньшикова. Срывать цвѣты удовольствія есть тьма охотниковъ, и возведеніе этого занятія въ идеалъ — имъ, несомнѣнно, придется по вкусу.

Примѣшалась къ этой философіи и нѣкоторая доза толстовства, хотя тоже въ преображенномъ видѣ, болѣе доступномъ и легкомъ для г. Меньшикова. Онъ тоже твердитъ за графомъ—„царство Божіе внутри насъ", но, какъ рабъ лукавый, тихонько желаетъ пріобщить нѣчто и изъ внѣшняго царства. Ему хотѣлось бы совмѣстить всѣ удобства культуры съ свободою независимаго отъ этой культуры человѣка. Пространно и многообразно онъ силится доказать, что, онародившись и растворившись въ народѣ, интеллигенція можетъ сохранить и науку, и искусство, и комфортъ цивилизованной жизни до музеевъ включительно. Только все это надо сдѣлать маленькимъ-маленькимъ, для большаго удобства при передвиженіи и переноскѣ. Музеи онъ проектируетъ передвижными, а науку совѣтуетъ заводить у себя дома въ видѣ отборнаго собранія лучшихъ авторовъ. Тутъ же приводится и заявленіе Эмерсона, который при видѣ всѣхъ сокровищъ британскаго музея, сказалъ, что у него все это есть въ его библіотекѣ. Ну, а если Эмерсонъ могъ имѣть, то почему не имѣть того же и любому изъ онародившихся русскихъ интеллигентовъ? Ясно, просто и убѣдительно. Впрочемъ, если вы человѣкъ неуступчивый и настаиваете на невозможности пересадить науку и все прочее въ деревню въ томъ видѣ, какъ это существуетъ въ городѣ, г. Меньшиковъ готовъ уступить вамъ. Зачѣмъ человѣку, живущему на лонѣ природы, всѣ ухищренія цивилизаціи, весь научный балластъ книгъ, инструментовъ и армія жрецовъ, ими управляющихъ? „Какъ младенецъ у сосцовъ матери, онъ подмѣчаетъ тайны, скрытыя для постороннихъ". Предъ такимъ яснымъ и простымъ доводомъ умолкнетъ, конечно, всякій скептицизмъ. А относительно чудесъ и диковинокъ цивилизаціи и говорить нечего: чудеса божьяго міра превышаютъ ихъ неизмѣримо, на каждомъ шагу ихъ не оберешься, и только привычка къ нимъ заставляетъ насъ проходить мимо, не замѣчая ихъ. „Когда движется паровозъ— это удивляетъ, какъ чудо, а когда движется лошадь или

птица, это кажется совершенно простымъ. Солнечное освѣщеніе въ деревнѣ вещь естественная и не возбуждаетъ вниманія. Другое дѣло электрическій фонарь: въ городѣ фонарю изумляются, имъ гордятся... Возьмите другое явленіе деревни—развитіе растенія изъ сѣмени. Оно поразительно и безпредѣльно по глубинѣ, но оно кажется „неразумнымъ". Удивляются голубой матеріи, зеленому цвѣту крыши, тогда какъ голубая лазурь неба или зелень луговъ просты", и т. д. Словомъ, что самъ царь Соломонъ во всей славѣ своей при сравненіи съ полевой лиліей? Вспомнивъ это, г. Меньшиковъ охотно уступаетъ культуру городу, лишь бы счастье осталось въ деревнѣ, съ чѣмъ, конечно, согласится всякій.

Правда, желая быть справедливымъ, г. Меньшиковъ съ грустью отмѣчаетъ, что современная русская деревня далека отъ типа истинной живой культуры. „Нынѣшняя деревня уже не та старинная деревня, которая напоминала библейскія времена по простотѣ и строгости жизни (напр., снохачество—замѣтимъ отъ себя,—и барская конюшня съ дѣвичьей). Развѣ только въ глуши, гдѣ-нибудь въ раскольничьихъ селахъ, въ далекихъ лѣсныхъ поселкахъ или степныхъ станціяхъ можно еще встрѣтить первобытную чистоту нравовъ, глубокую религіозность, нравственную дисциплину и поэзію, неизмѣнно сопутствующія цѣломудренной жизни". Можно бы спросить, гдѣ г. Меньшиковъ нашелъ эти сокровища въ прежней деревнѣ? Всѣ изслѣдователи доброй старины говорятъ совершенно иное, и только публицисты извѣстнаго сорта утверждаютъ, что прежняя деревня была идеаломъ цѣломудрія, невинности и прочаго добра. Но спорить съ г. Меньшиковымъ трудъ, по меньшей мѣрѣ, неблагодарный, и мы готовы допустить, что прежде было лучше. Теперь деревня „развратилась". Какъ же ее наставить на путь истинный? „Все лучшее идетъ изъ деревни, — плачетъ новый Іеремія,—и назадъ не возвращается. Это истощеніе деревни долго длиться не можетъ. Пора установиться обратному теченію — изъ городовъ въ деревни, пора нашей лучшей интеллигенціи, если она не „рабъ лукавый", возвратить ввѣренные ей народомъ таланты". И когда ему приходитъ въ голову сомнѣніе, возможно ли повернуть жизнь, онъ патетически вопіетъ: „Есть же добрые, есть честные, есть чистые среди интеллигенціи, которые тоскуютъ о народѣ и, какъ олень у потока воды, жаждутъ освѣженія жизни. Вотъ для нихъ этотъ исходъ возможенъ: вѣдь онъ такъ легокъ"!

Противъ такого довода возражать нечего. Развѣ одно,— врачу исцѣлися самъ! Брось источать елейныя рѣчи, перекуй перо на орало и упейся водой изъ источника жизни.

Примѣръ заразительнѣе словъ, и, можетъ быть, начнется великое переселеніе народовъ. Къ сожалѣнію, и это уже было, и это мы уже видѣли, а жизнь все идетъ по своему, меньше всего слагаясь по рецептамъ г.г. Меньшиковыхъ, съ ихъ запоздалыми откровеніями.

Такова послѣдняя метаморфоза народничества, которую можно назвать народничествомъ на буржуйной подкладкѣ.

Намъ милѣе и пріятнѣе народничество прежняго типа. При всемъ основномъ разногласіи во взглядахъ на ходъ и задачи общественной эволюціи, при полной невозможности найти общую почву для взаимнаго пониманія и соглашенія, есть нѣчто въ народникахъ стараго типа, что дѣлаетъ ихъ произведенія до сихъ поръ интересными, а ихъ самихъ ставитъ неизмѣримо выше самодовольныхъ, тихоструйныхъ гг. Меньшиковыхъ. Это „нѣчто“ заключается прежде всего въ ихъ подкупающей искренности, въ страстной жаждѣ правды, которую они искали съ такой душевной болью, съ такимъ не знающимъ предѣловъ самоотверженіемъ. Къ народу, въ деревню они стремились не ради прелестей деревенской обстановки, красотъ пейзажа и тайнъ натуры, которыхъ лишены городскіе обитатели. Они искали правды человѣческихъ отношеній, основанныхъ на истинѣ и любви, и думали, что въ деревенскомъ укладѣ найдутъ ее. Если намъ видна ихъ ошибка, то этимъ мы обязаны имъ же, ихъ произведеніямъ, въ которыхъ съ художественной правдивостью они раскрывали свои заблужденія, хотя и заблуждались сами, потому что и заблужденія эти были вполнѣ искренни. Когда г. Меньшиковъ расписываетъ вылощеннымъ стилемъ красоты деревенской уютной жизни, въ кругу семьи, въ единеніи съ природой, мы не можемъ отдѣлаться отъ злой насмѣшки надъ новымъ витіей изъ „Недѣли“: слишкомъ ясна дѣланность его паѳоса и оригинальничанія своими—„я говорю совсѣмъ напротивъ“. Но когда герой разсказа г. Каронина „Борская колонія“ говоритъ, что цѣль его жизни „приносить пользу народу“, мы чувствуемъ, что это не пустыя слова, что для автора, какъ и для его героя, въ нихъ смыслъ жизни. Они оба доказали это именно жизнью, а не словами.

Только-что вышедшіе два тома произведеній Каронина,— второе изданіе, — въ которые вошло все написанное этимъ виднымъ представителемъ народнической литературы, даютъ богатый матеріалъ для характеристики лучшихъ сторонъ этого направленія. Николай Елпидифоровичъ Петропавловскій, извѣстный преимущественно подъ псевдонимомъ „Ка-

ронинъ", представлялъ рѣдкій даже въ то время типъ по цѣльности личности. Его жизнь, убѣжденія и произведенія такъ слиты воедино, что ихъ нельзя разсматривать въ отдѣльности. Сынъ священника, онъ пережилъ всѣ деревенскія невзгоды, выносилъ въ душѣ деревенскія впечатлѣнія, которыя потомъ въ періодъ умственнаго роста, когда слагаются у человѣка взгляды и убѣжденія, связалъ въ цѣльную систему служенія народу.

Долгіе годы заключенія, потомъ ссылки, затѣмъ необезпеченнаго житія провинціальнаго литератора—были постоянной провѣркой выстраданныхъ убѣжденій, вѣчно-мучительнымъ исканіемъ истины, тревожной борьбой сомнѣній и вѣры въ народную правду. Приспособляться къ жизни и обстоятельствамъ, сообразно имъ усѣкать во взглядахъ слишкомъ колючіе углы—онъ органически не умѣлъ и не могъ. Чрезвычайно добрый по натурѣ, истинно „золотое сердце", онъ былъ упрямъ и суровъ во всемъ, что касалось его святая святыхъ—безпредѣльной, доходящей до трогательной нѣжности, любви къ деревнѣ, къ мужику, котораго онъ хорошо зналъ и умѣлъ изображать, когда художникъ не заглушался въ немъ проповѣдникомъ. Кто зналъ его лично, никогда не забудетъ его оригинальной, торопливой, подчасъ не совсѣмъ складной, но проникнутой страстностью рѣчи, когда дѣло касалось крестьянскаго міра, крестьянской души и всего мірского уклада. Все, что онъ писалъ, это дѣйствительно вѣра сердца, выношенная и выстраданная, какъ мать вынашиваетъ дитя, которое любитъ съ слѣпой страстью, каковы бы ни были его недостатки, и, пожалуй, тѣмъ сильнѣе, чѣмъ этихъ недостатковъ больше. Лично до поразительности незлобивый и кроткій, онъ отстаивалъ своего мужика съ свирѣпой горячностью, хотя никогда не закрывалъ глазъ на его отрицательныя стороны, умѣя подмѣчать ихъ и изобразить съ рѣдкимъ юморомъ.

Это чувство вѣчнаго тяготѣнія къ мужику, къ деревнѣ не было въ немъ чѣмъ-то надуманнымъ, головнымъ, изъ книги вычитаннымъ, — оно органически проникало его. Въ самой грубоватости, съ которой онъ часто выражаетъ его, чувствуется глубина этой любви, которую Каронинъ какъ бы стыдится выносить наружу, на показъ другимъ.

Въ народнической литературѣ онъ занимаетъ по праву мѣсто между Успенскимъ и г. Златовратскимъ. По изображенію деревенской жизни Каронинъ приближается къ первому, уступая ему въ яркости и глубинѣ художественнаго творчества. Отъ г. Златовратскаго его выгодно отличаетъ простота языка, отсутствіе сладкой елейности и напыщенности. Прекрасный народный языкъ его деревенскихъ очерковъ доста-

вляетъ истинное художественное удовольствіе своей чистотой и образностью, и въ этомъ отношеніи только Успенскій выше Каронина. Конечно, мы далеки отъ того, чтобы сравнивать его съ Успенскимъ вообще, такъ какъ ему недостаетъ широты наблюденій послѣдняго, его захватывающихъ обобщеній, которыя чужды Каронину. Рамки его очерковъ всегда опредѣленны и узки, что дѣлаетъ его наблюденія и характеристики отрывочными.

У Каронина вы не найдете такой эпической фигуры, какъ Иванъ Босыхъ, но на каждомъ шагу попадаются такіе типичные представители мужицкой среды, какъ, напр., Василій Чилигинъ въ одномъ изъ лучшихъ очерковъ „Праздничныя размышленія", на которомъ мы и остановимся. Этотъ очеркъ очень характеренъ для манеры Каронина-художника. Въ то же время въ немъ затронуты и тѣ патріархальныя стороны деревенской жизни, которыя будто бы такъ выгодно отличали ее прежде, какъ думаютъ гг. Меньшиковы, врядъ ли заглядывавшіе когда-либо въ деревню, насколько можно судить по ихъ писаніямъ, сочиняемымъ больше отъ ума, чѣмъ на основаніи реальныхъ знаній.

Описавъ сцену между Васильемъ Чилигинымъ и его отцомъ, въ которой сынъ побилъ отца, а отецъ прокусилъ ему икру, Каронинъ тутъ же поясняетъ ее, чтобы у читателя не осталось никакихъ сомнѣній насчетъ возможности подобныхъ родственныхъ чувствъ и отношеній. „Въ описываемомъ округѣ семейная жизнь вообще устраивалась по этому образцу: братъ корилъ сестру за ея безполезность и старался ее спихнуть, мужъ сживалъ со свѣта больную жену. Это была страшная, но неизбѣжная логика, и другой не можетъ быть тамъ, гдѣ египетская работа доставляетъ лишь сухую корку и медленно вгоняетъ работника въ гробъ. Тотъ идеалъ, который мы привыкли пріурочивать къ деревнѣ, обладаетъ свойствомъ внушать нервную дрожь всякому, кто никогда не видалъ ея. Законъ, право, справедливость принимаютъ здѣсь до того поразительную форму, что съ перваго раза ничего не понимаешь. Законъ представляется въ видѣ здоровеннаго Васьки; право переходитъ въ формулу: „долженъ честь знать"; справедливость вдругъ превращается въ похлебку, а орудіями осуществленія этихъ понятій являются—чугунъ, кулакъ, зубы и ногти".

Читатели, конечно, помнятъ еще тѣ негодующіе вопли и тьму ругательствъ, которыми народники встрѣтили разсказъ г. Чехова „Мужики". Чехова укоряли въ нарочитомъ оклеветаніи деревни, въ грубомъ непониманіи народной жизни, въ злобномъ отношеніи къ народу, даже въ „марксизмѣ". Всѣхъ „несогласно мыслящихъ", кто осмѣливался признать

разсказъ г. Чехова произведеніемъ художественнымъ и выдающимся по силѣ и яркости, народническая критика величала „обнаженными (?), глупцами“ и т. п. Словомъ, мы не помнимъ ни одного произведенія, которое вызвало бы со стороны народнической критики, — такую кучу грязи по адресу Чехова и его злополучныхъ поклонниковъ. А между тѣмъ, въ его разсказѣ не было ничего новаго, ничего, что еще задолго до него не было бы сказано именно народниками-беллетристами, въ родѣ Каронина. Въ двухъ огромныхъ томахъ его очерковъ вы найдете такіе перлы изъ народной жизни, предъ которыми разсказъ Чехова просто блѣдная картинка.

Взятый нами очеркъ вовсе не исключеніе, онъ только лучше другихъ написанъ, почему мы его и выбрали. Далѣе Каронинъ описываетъ отношеніе Чилигина къ женѣ, которую въ деревнѣ называли „безживотной“ отъ вѣчныхъ побоевъ мужа. За остальными подвигами героя мы слѣдить не станемъ, пришлось бы перепечатать весь разсказъ, что намъ представляется лишнимъ.

Въ цѣлой серіи разсказовъ про парашкинцевъ представленъ съ поразительнымъ реализмомъ необъятный міръ тьмы, невѣжества, животнаго прозябанія. Чувство жалости, охватывающее васъ вначалѣ, смѣняется ужасомъ при мысли, какъ могутъ существовать эти милліоны безъ просвѣта и радости? Авторъ не даетъ пощады читателю и на каждомъ шагу подчеркиваетъ рисуемыя имъ картинки, обобщая ихъ замѣчаніями, что такъ оно есть, такъ было и нечего ждать лучшаго. Въ разсказѣ „Братья“, напр., онъ описываетъ, какъ „міръ“ за нѣсколько ведеръ водки сноситъ избу безногаго солдата, потому что мѣсто понадобилось кулаку для своей постройки.

И опять авторъ, чтобы не оставить въ читателѣ сомнѣній насчетъ поведенія „міра“, дѣлаетъ общее замѣчаніе, безотрадное по своей ясности: „Ни одинъ изъ березовцевъ не подумалъ въ этотъ день, зачѣмъ у нихъ существовалъ міръ. Чтобы притѣснять безпомощныхъ? Но въ то же время никто не сомнѣвался въ его дѣйствительномъ существованіи. О немъ и его порядкахъ не думали, но чувствовали его. Какимъ онъ былъ раньше, этотъ пресловутый міръ, такимъ и остался. Служили ему и жили въ немъ безъ разсужденій, только эта служба походила на ту, которую исполняютъ бонзы. Объ обновленіи и перестройкѣ этого древняго храма никому и въ голову не приходило. Не придетъ ли день, когда его снесутъ такъ же, какъ снесли избу солдата съ деревянной ногой, Лапина?“

Неужели эти архиеретическія мысли высказываетъ народникъ, а не заядлый марксистъ? Въ томъ-то и дѣло, что

сами народники накопили массу матеріала, которымъ злые марксисты только воспользовались для выводовъ. И странно было бы не воспользоваться, когда эти выводы торчатъ, какъ шесты, изъ всей народнической литературы. Если, тѣмъ не менѣе, сами народники приходили къ выводамъ какъ разъ обратнаго свойства, то въ этомъ повинна ихъ идеализація народной жизни. „Знаете ли,—спрашиваетъ Грубовъ въ „Борской колоніи",—какая разница между нами и ими (мужиками)? Это то, что мы живемъ чувствомъ пріятнаго и прекраснаго, мужикъ же—чувствомъ должнаго и неизбѣжнаго. Мы дѣлаемъ то, что намъ нравится, мужикъ—то, что должно дѣлать... Когда жизнь не даетъ намъ того, чего мы желаемъ, мы считаемъ ее неудавшеюся; мужикъ же считаетъ скверною ту жизнь, которая дала ему одни только грѣхи. Мы страдаемъ отъ того, что не удовлетворили своихъ желаній, мужикъ же отъ того, что не исполнилъ какой-то высшей воли, нагрѣшилъ" (Т. II, стр. 98). Такая идеализація мужика заставляла смотрѣть на его недостатки, какъ на нѣчто наносное, временное, подъ чѣмъ слѣдуетъ искать вѣчно чистаго и прекраснаго.

То же самое происходитъ и съ Каронинымъ. Какъ бытописатель деревни, онъ удивляетъ безстрашіемъ, съ какимъ раскрываетъ ея язвы, смѣлостью, съ какою дѣлаетъ заключенія и высказываетъ мрачныя предсказанія, безотраднымъ скептицизмомъ, съ какимъ относится къ „пресловутому міру". Онъ ясно видитъ, почему все лучшее и сильное уходитъ изъ деревни, понимаетъ, что здѣсь этимъ сильнымъ только одинъ исходъ—стать кулакомъ и при помощи міра душить безпомощныхъ, если не хочешь, чтобы тебя задушили. Въ длинномъ разсказѣ „Снизу вверхъ" крестьянскій парень Михайло уходитъ изъ деревни, откуда его выпираетъ общій гнетъ, голодъ, страхъ за свою шкуру и прочія прелести патріархальной жизни на лонѣ природы. Михайло является въ разсказѣ представителемъ новаго поколѣнія, которое не такъ уже привержено традиціямъ, для котораго міръ не есть уже всепокоряющее божество. Молодежь эта *разсуждаетъ*, она пытливо ищетъ, въ чемъ же сила міра, въ чемъ его благодѣтельное вліяніе, ради чего должно смиряться и подставлять спину, если ни защиты, ни пользы отъ міра она не видитъ. Они пристаютъ къ древнимъ старцамъ съ вопросами, какъ же прежде было? Но ничего, кромѣ непонятныхъ словъ „по-божески! стой! крѣпись! Согласіе было! Коли притѣсненіе—мы молчимъ!"—не получаютъ. Михайло претерпѣваетъ въ городѣ тысячи мытарствъ, которыми онъ обязанъ своей непроходимой темнотѣ и дикости, вынесенными имъ „съ лона природы". Наконецъ, онъ выбивается въ люди, стано-

Будучи народникомъ въ лучшемъ значеніи этого слова, онъ былъ далекъ отъ сектантства, чуждъ тѣхъ метаморфозъ, которыя начали совершаться въ народничествѣ эпигоновъ еще при немъ, и меньше всего могъ проникнуться ихъ буржуазными мечтаніями о сладости существованія на лонѣ природы въ своемъ уголкѣ. Столь кажущаяся высокой идея „жить трудами рукъ своихъ" ни мало его не соблазняла, и въ „Борской колоніи" онъ очень вѣрно и сильно вскрываетъ ея низменное содержаніе. „Разумѣется,—говоритъ тотъ же Грубовъ,—очень хорошо жить трудами рукъ своихъ, благородно добывать хлѣбъ прямо изъ земли. Притомъ, это очень здорово и не лишено поэзіи. Только на первыхъ порахъ немного скучно. Отчего бы это? Можетъ быть, оттого, что въ этомъ раю всѣ мысли сосредоточены на себѣ: на своемъ тѣлѣ, на своей душѣ, на своемъ благородствѣ, на своемъ спасеніи,—все только на своемъ вертится мысль... Увлечь человѣка можно всѣмъ, даже безумной мечтой, лишь бы въ ней заключалось величіе, самопожертвованіе, новизна, подвигъ ради людей, но увлечь его обыденнымъ соромъ—никогда! И поднять также нельзя" (т. II, стр. 76).

Сравнивая этотъ высокій идеалъ Каронина съ цвѣточнымъ идеаломъ г. Меньшикова, лучше всего уясняешь, какая пропасть раздѣляетъ эпигоновъ народничества отъ ихъ предшественниковъ. Для г. Меньшикова всѣ его „думы о счастьѣ" просто игра словами и понятіями, въ безрезультатности которой онъ и самъ вполнѣ увѣренъ,—и во всякомъ случаѣ не увлечь ему другихъ этимъ „копаніемъ въ сору". Для Каронина его думы и убѣжденія—это дѣло всей жизни, слово—орудіе борьбы за счастье другихъ. Потому что для него „слово имѣетъ свое сердце и это сердце есть стремленіе къ истинѣ и борьба за все человѣчное" (т. II, „На границѣ человѣка"),—и этому слову онъ не измѣнялъ никогда, всею жизнью запечатлѣвъ свою преданность и любовь ко „всему человѣчному".

Моментъ перелома въ художественномъ отраженіи.—„Безъ дороги" и „Повѣтріе", разсказы Вересаева [1]).

Разсказы г. Вересаева, появившіеся сначала въ „Рус. Богатствѣ" и другихъ журналахъ, сразу выдѣлили автора изъ сѣроватой толпы многочисленныхъ сочинителей очерковъ и разсказовъ, судьба которыхъ довольно однообразна—

[1]) Декабрь 1898 г.

появиться на мигъ и кануть въ лету, не возбудивъ ни въ комъ ожиданій и не оставивъ по себѣ особыхъ сожалѣній. Иначе было съ разсказами г. Вересаева. Каждый изъ нихъ рѣзко выдѣлялся и особымъ настроеніемъ автора, и содержаніемъ, и манерой обработки сюжета. Словомъ, оригинальность автора выступала несомнѣнно, давая право надѣяться, что въ лицѣ г. Вересаева литература получитъ новую незаурядную силу. Теперь, собранные вмѣстѣ, эти очерки и разсказы не только не ослабляютъ прежняго впечатлѣнія, но въ значительной степени усиливаютъ его. То, что въ каждомъ изъ нихъ было отрывочно и лишь намѣчалось отдѣльными чертами, выступаетъ въ сборникѣ въ совокупности, дополняясь взаимно и создавая въ общемъ вполнѣ опредѣленное настроеніе, которое, начиная съ первыхъ страницъ, все усиливается, оставляя читателя подъ впечатлѣніемъ чего-то сильнаго и новаго.

Главное содержаніе сборника составляютъ собственно двѣ вещи—повѣсть „Безъ дороги" и непосредственно дополняющій ее очеркъ „Повѣтріе", появляющійся въ печати первый разъ. Небольшіе разсказы—„На мертвой дорогѣ", „Товарищи", „Прекрасная Елена", „Порывъ" „Загадка", помѣщенные въ началѣ сборника, служатъ какъ бы введеніемъ, въ которомъ намѣчены „лейтъ-мотивы", употребляя терминъ вагнеровской музыки, — руководящія начала, развертывающіяся затѣмъ въ цѣлую картину душевнаго настроенія въ повѣсти „Безъ дороги".

Въ первомъ очеркѣ, „На мертвой дорогѣ", по выдержанности, пожалуй, лучшемъ во всей книгѣ, читателя съ первыхъ строкъ охватываетъ впечатлѣніе мертвой неподвижности, которою вѣетъ отъ прекрасно набросанной картины выжженой солнцемъ степи и убѣгающей вдаль заброшенной линіи желѣзной дороги. Эта линія когда-то кипѣла жизнью, центромъ которой былъ нынѣ выработанный рудникъ, угольная шахта, гдѣ сотни рабочихъ бодро стучали кайлой, выбрасывая на поверхность живительный уголь. Теперь здѣсь тишина и опустошеніе: бурьяномъ поросли рельсы и шпалы, жизнь идетъ мимо, мимо тянутся скрипучіе обозы, мимо снуютъ толпы рабочихъ, а сторожъ, неподвижно покуривающій трубку и тоскливо посматривающій на свою мертвую линію, убѣгающую въ глухой уголъ, гдѣ зіяетъ глубокая шахта, еще усиливаетъ впечатлѣніе пустоты и мертвенности. Изрѣдка забредаетъ въ сторожку унылый путникъ укрыться отъ палящаго солнца, какъ, напр., мечтатель Никитинъ, шахтеръ, задавшійся цѣлью своими „плантами" въ самое сердце поразить тѣхъ, кто небрежетъ о здоровьи и жизни шахтеровъ, либо загнанная дождемъ богомолка, повѣствую-

щая о чудесахъ богоспасаемаго града Іерусалима. „И степь, безсильно выгорѣвшая подъ солнцемъ, и лѣнивый, душный воздухъ, и негодующія сѣтованія сторожа, все дышало чѣмъ-то такимъ тоскливымъ, разслабляющимъ и безнадежнымъ... Странно было думать, что гдѣ-нибудь теперь свѣжо и прохладно, что есть на свѣтѣ добрые, дѣятельные, неунывающіе люди...“

Въ слѣдующемъ разсказѣ, „Товарищи“, та же мертвая тишь и безотрадная тоска, только вѣетъ ею не отъ мертвой дороги, а отъ мертвыхъ людей. Когда-то бодрые и радостные, они составляли живую дружную семью молодежи, кипѣвшую мечтами, надеждами и планами, теперь, заброшенные службою въ одинъ изъ безчисленныхъ русскихъ городишекъ, они тянутъ лямку, кто по акцизу, кто учителемъ, словомъ, всѣ чиновники, либо добываютъ себѣ средства мало привлекающимъ ихъ трудомъ. „Еще работы въ жизни много, работы честной и святой“, припоминается одному изъ нихъ слова юношеской пѣсни. Гдѣ же она, эта „честная и святая работа“? „Онъ думалъ о томъ, что уже цѣлыхъ два года прожилъ въ Инсарскѣ, эти два года пролетѣли страшно быстро, какъ одна недѣля, а между тѣмъ воспоминанью не на чѣмъ остановиться: дни вяло тянулись за днями, скучные, безсмысленные; опротивѣвшая служба, безконечныя прогулки, выпивки и тупая тоска, изъ которой нѣтъ выхода, которая стала его обычнымъ состояніемъ...“ То же испытываетъ каждый изъ его товарищей, и, собираясь вмѣстѣ, они въ глазахъ другъ у друга читаютъ ту же тоску, то же сознаніе безцѣльности жизни, такой далекой отъ юношеской радости бытія. Что же привело ихъ всѣхъ къ такому безотрадному существованію? Почему мечты разбились при первомъ столкновеніи съ дѣйствительностью, въ которую наши герои не сумѣли внести ни искры изъ прежняго огня, горѣвшаго въ сердцахъ огня свободы, чести и высокихъ душевныхъ порывовъ? „Въ семьѣ, въ школѣ, — уныло размышляетъ одинъ изъ нихъ,—намъ никто никогда не говорилъ о нашихъ обязанностяхъ... Не воруй, не лги. не обижай другихъ, не, не, не... вотъ была мораль... Мы думали спокойно прожить съ этой моралью, какъ жили наши отцы. И вдругъ приходитъ книга и обращается къ намъ съ неслыханно-громаднымъ запросомъ: она требуетъ, чтобы вся жизнь была однимъ сплошнымъ подвигомъ. Но гдѣ взять для этого силъ? Книга этихъ силъ дать не могла, она ихъ предполагала уже существующими... И вотъ результатъ: она только искалѣчила насъ и пустила гулять по свѣту съ больною совѣстью...“

Минуя слѣдующіе разсказы — „Порывъ“, „Прекрасная

Елена", „Загадка", какъ бы иллюстрирующіе это мертвое настроеніе неподвижной жизни, перейдемъ къ центральной повѣсти сборника „Безъ дороги", гдѣ отрывочныя настроенія предыдущихъ разсказовъ слагаются въ опредѣленную и выдержанную картину опустошенной души. Предъ нами два типа—вѣковѣчные, старые типы русской интеллигенціи: онъ—уже истрепанный жизнью, извѣрившійся въ „великія слова" и „имена" и сознающій себя въ этой жизни „безъ дороги"; она—вся трепетъ и ожиданіе, уже воспріявшая въ себя отраву „книжной проповѣди" о подвигѣ и готовая ринуться по первому указанію. Ей нуженъ „вождь" и „пророкъ", за которымъ она могла бы слѣпо пойти, а онъ, умудренный опытомъ жизни, прежде всего не вѣритъ всякимъ вождямъ и всему, что отдаетъ пророческими упованіями. Можно бы подумать, что изъ столкновенія этихъ двухъ типовъ разыграется обычная любовная драма, какихъ тысячи заполняютъ русскую литературу, и тогда въ повѣсти г. Вересаева мы бы имѣли тысяча-первую, можетъ быть и хорошо написанную, но не вносящую ничего новаго. Авторъ гораздо самостоятельнѣе и оригинальнѣе.

Драма разыгрывается и гораздо ужаснѣе всякихъ любовныхъ перипетій. Предъ нами драма одного изъ русской интеллигенціи, захваченнаго жизнью врасплохъ въ тягостную минуту переходной эпохи, когда старое изжито, истрепано въ конецъ, а новое еще даже не мелькнуло вдали.

Повѣсть написана въ видѣ дневника, и герой самъ раскрываетъ „корни и нити" душевнаго разлада, который неминуемо долженъ былъ привести къ тому или иному трагическому концу. Больной и усталый онъ попадаетъ въ деревню, въ родственную ему дружную семью, жизнерадостная молодежь которой, еще не оперившаяся и не испробовшая себя въ жизни, но кипящая всѣми силами нетронутой молодой души, вызываетъ невольное сравненіе, заставляетъ оглянуться назадъ и подвести итоги его собственному прошлому. Эти итоги неутѣшительны.

„...Да, мало хорошаго вспомнишь за эти прожитые три года. Сидѣть въ своей раковинѣ, со страхомъ озираться кругомъ, видѣть опасность и сознавать, что единственное спасеніе для тебя — уничтожиться, уничтожиться тѣломъ, душою, всѣмъ, чтобы ничего отъ тебя не осталось... Можно ли съ этимъ жить? Невесело сознаваться, но я именно въ такомъ настроеніи прожилъ всѣ эти три года. „Зачѣмъ я отъ времени зависѣть буду? Пускай же лучше оно зависитъ отъ меня". Мнѣ часто вспоминаются эти гордыя слова Базарова. Вотъ были люди! Какъ они вѣрили въ себя! А я, кажется, настоящимъ образомъ въ одно только и вѣрю, это

именно въ неодолимую силу времени. „Зачѣмъ я отъ времени зависѣть буду“! Зачѣмъ? Оно не отвѣчаетъ; оно незамѣтно захватываетъ тебя и поведетъ, куда хочетъ; хорошо, если твой путь лежитъ туда же, а если нѣтъ? Сознавай тогда, что идешь не по своей волѣ, протестуй всѣмъ своимъ существомъ, оно все-таки дѣлаетъ по своему. Я въ такомъ положеніи и находился. Время тяжелое, глухое и сумрачное со всѣхъ сторонъ охватываетъ меня, и я со страхомъ видѣлъ, что оно посягаетъ на самое для меня дорогое, посягаетъ на мое міросозерцаніе, на всю душевную жизнь... Гартманъ говоритъ, что убѣжденія наши — плодъ „безсознательнаго“, а умомъ мы лишь подыскиваемъ къ нимъ болѣе или менѣе подходящія основанія; я чувствовалъ, что тамъ гдѣ-то, въ этомъ неуловимомъ „безсознательномъ“, шла тайная, предательская, невѣдомая мнѣ работа, и что въ одинъ прекрасный день я вдругъ окажусь во власти этого „безсознательнаго“. Мысль эта наполняла меня ужасомъ: я слишкомъ ясно видѣлъ, что правда, жизнь—все въ моемъ міросозерцаніи, что если я его потеряю, я потеряю все.

„То, что происходило кругомъ, лишь укрѣпило меня въ убѣжденіи, что страхъ мой не напрасенъ, что сила времени—сила страшная и не по плечу человѣку. Какимъ чудомъ могло случиться, что въ такой короткій срокъ все такъ измѣнилось? Самыя свѣтлыя имена вдругъ потускнѣли, слова самыя великія стали пошлыми и смѣшными; на смѣну вчерашнему поколѣнію явилось новое, и не вѣрилось, неужели эти—всего только младшіе братья вчерашнихъ? Въ литературѣ медленно, но непрерывно шло какое-то общее заворачиваніе фронта, и шло вовсе не во имя какихъ-либо новыхъ началъ,—о нѣтъ! Дѣло было очень ясно: это было лишь ренегатство,—ренегатство общее, массовое и, что всего ужаснѣе, безсознательное. Литература тщательно оплевывала въ прошломъ все свѣтлое, хорошее, но оплевывала наивно, сама того не замѣчая, воображая, что поддерживаетъ какіе-то „завѣты“; прежнее чистое знамя въ ея рукахъ давно уже обратилось въ грязную тряпку, а она съ гордостью несла эту опозоренную ею святыню и звала къ ней читателя; съ мертвымъ сердцемъ, безъ огня и вѣры, говорила она что-то, чему никто не вѣрилъ“...

Въ этой сжатой и сильной характеристикѣ обрисовано унылое настроеніе лучшей части интеллигенціи 80-хъ годовъ, которая подъ давленіемъ времени дѣйствительно сжалась до полнаго почти самоуничтоженія, какъ герой повѣсти. Его спасала работа, которой ему, земскому врачу, было по горло, но эта работа ему была нужна затѣмъ, чтобы „наркотизироваться“ ею до совершеннаго самозабвенія. И когда

эта работа въ его жизни внезапно оборвалась, предъ нимъ всталъ съ удвоенною силой старый вопросъ, что дѣлать?— вопросъ, получающій еще большую остроту, когда съ нимъ обращается къ герою его молоденькая кузина Наташа.

Для нея этотъ вопросъ еще настоятельнѣе требуетъ разрѣшенія. Она только-что начинаетъ жить и увлекаться тѣми высокими словами, великими именами, которыя сыграли свою роль въ жизни героя и въ силу которыхъ онъ уже извѣрился. Онъ, какъ истый идолопоклонникъ, бросилъ своихъ боговъ, когда увидалъ, что они не сумѣли защитить сами себя. Что же онъ можетъ сказать ей, этой разцвѣтающей жизни, жадно раскрывающейся ему навстрѣчу, ждущей съ страстнымъ нетерпѣніемъ, что онъ, старшій по возрасту и развитію, преданный самымъ высокимъ началамъ, ради которыхъ бросилъ университетъ и ушелъ „служить народу“ въ земство, сумѣетъ освѣтить ей грядущій путь жизни свѣтомъ своего идеала, свѣтомъ, испробованнымъ на дѣлѣ, на пути собственной жизни. „Преемственности“ идей и дѣла—вотъ чего она ждетъ отъ старшаго поколѣнія.

Казалось-бы, чего же лучше? „Отъ ея разговоровъ вѣетъ такимъ старымъ-старымъ, но такимъ хорошимъ; она хочетъ знать, какъ я смотрю на общину, какое значеніе придаю сектантству, считаю-ли возможнымъ и желательнымъ развитіе въ Россіи капитализма. И въ разспросахъ ея сказывается предположеніе, что я непремѣнно долженъ интересоваться всѣмъ этимъ... Она разспрашиваетъ меня о моей дѣятельности, объ отношеніяхъ къ мужикамъ, усматривая во всемъ этомъ глубокую идейную подкладку; въ разговорѣ ея проскальзываютъ слова: „долгъ народу“, „дѣло“, „идея“. Мнѣ же эти слова рѣжутъ ухо, какъ визгъ стекла подъ тупымъ шиломъ“.

О „преемственности“, какъ видно изъ подчеркнутыхъ словъ, не можетъ быть и рѣчи. Герой слишкомъ правдивъ, чтобы вводить въ обманъ наивную кузину. Съ гибелью міросозерцанія, разрушеннаго силою времени, для него потеряли вѣсъ и значеніе слова „долгъ народу“, „дѣло“, „идея“, для которыхъ въ жизни не нашлось реальнаго осуществленія. Да, онъ бросилъ университетъ, чтобы служить въ земствѣ, но эта служба убѣдила его въ ничтожности этой работы для народа и въ непрочности ея. „Я разсказывалъ о голодѣ, о тифѣ, о томъ, какъ жалко было при этомъ положеніе насъ, врачей, требовалось лишь одно — кормите, получше кормите здоровыхъ, чтобъ сдѣлать ихъ болѣе устойчивыми, но пособій едва хватало на то, чтобы не дать имъ умереть съ голоду. И вотъ одного за другимъ валила страшная болѣзнь, и мы безпомощно стояли передъ нею съ сво-

ими ненужными лекарствами"... А прочность?—первый самодуръ, съ которымъ довелось столкнуться герою, уничтожилъ его земскую службу, лишивъ возможности „отдать долгъ народу".

Тѣмъ не менѣе на категорически поставленный вопросъ—что дѣлать?—герой ничего не находитъ лучшаго, какъ пѣть ей старую пѣсенку о призваніи интеллигенціи идти въ деревню, стать ближе народу, хотя и корчится въ душѣ отъ лжи и фальши своихъ словъ, которыхъ не можетъ не чувствовать и не сознавать.

„—Помнишь, Митя,—заговорила Наташа, — помнишь, ты говорилъ недавно о сознаніи, что живешь не напрасно, что это самое главное въ жизни... Я и прежде, до тебя, много думала объ этомъ... Вѣдь это сознаніе, о которомъ ты говорилъ, вѣдь это самое большое счастье!..

„Я молча шелъ, кусая губы. Въ душѣ у меня поднималось злобное враждебное чувство къ Наташѣ: вѣдь она должна же бы, наконецъ, понять, что для меня этотъ разговоръ тяжелъ и непріятенъ, что его безполезно затѣвать; должна бы она хоть немного пожалѣть меня; и меня еще больше настраивало противъ нея именно то, что мнѣ приходится ждать сожалѣнія и пощады отъ этого почти ребенка.

„ — Я слышалъ, что ты прошлую зиму занималась здѣсь съ деревенскими ребятами,—проговорился я.—Ну, какъ ты, съ охотой занималась, нравится тебѣ это дѣло?

„ — Д-да,—сказала Наташа запнувшись.

„ — Ну, вотъ тебѣ и дѣло. Если хочешь совершенно отдаться ему, поступи въ сельскія учительницы. Тогда ты будешь близко стоять къ народу, можешь сойтись съ нимъ, вліять на него.

„Я говорилъ это, какъ плохой актеръ говоритъ заученный монологъ, и мерзко было на душѣ... Мнѣ вдругъ пришла въ голову мысль: а что-бы я сказалъ ей, если бы не было этой спасительной сельской учительницы, альфы и омеги „настоящаго" дѣла?..

„Наташа шла, опустивъ голову.

„ —Голубушка, это дѣло мелко, что говорить,—сказалъ я, помолчавъ·—Но, гдѣ теперь блестящія, великія дѣла? Да не по нимъ и узнается человѣкъ. Это дѣло мелко, но оно даетъ великіе результаты...

„Я почти физически страдалъ: какъ все фальшиво и фразисто! Мнѣ казалось, что теперь Наташа видитъ меня насквозь; и казалось мнѣ еще, что и самъ я только теперь увидѣлъ себя въ настоящемъ свѣтѣ, увидѣлъ, какая безнадежная пустота во мнѣ"...

Понятны жгучія муки, испытываемыя бѣднымъ героемъ.

И скромная дѣтельность сельской учительницы, и неменѣе скромная работа земскаго врача могутъ увлечь людей лишь въ томъ единственномъ случаѣ, когда онѣ являются частью болѣе широкой и высокой программы, которая подымала бы человѣка надъ жизнью, открывая ему широкую и далекую перспективу. У Глѣба Успенскаго есть премилый разсказъ про одного сапожника, который, желая возвысить въ глазахъ сына свое ремесло, говоритъ ему, что весь міръ ходитъ въ сапогахъ, а потому нѣтъ почетнѣе занятія, какъ шить сапоги. Но герой повѣсти, потерявъ цѣльность своего міросозерцанія, которое одно могло бы объединить всякую невидную работу на пользу народа съ широкой общей идеей,—необходимымъ образомъ долженъ сознавать что его совѣтъ юной душѣ рвущейся къ „смыслу жизни", стать сельской учительницей—хуже, чѣмъ камень вмѣсто хлѣба голодному. Въ немъ нѣтъ воодушевленія, какое руководитъ упомянутымъ бѣднымъ сапожникомъ, а безъ него нельзя воодушевить другихъ, хотя бы и проповѣдывались очевиднѣйшія истины. Истину самую высокую не передать другому въ видѣ сухой формулы. Только, давая почувствовать неизъяснимое, живительное наслажденіе, какое испытываешь самъ отъ чувства воспринятой истины, только зажигая въ другомъ тотъ огонь, которымъ пылаешь самъ, можно внушить убѣжденіе въ непреложности истины и готовность посвятить ей всю жизнь Если же вмѣсто всеохватывающаго чувства есть только разумная разсудочность, нельзя привлечь другихъ къ служенію дѣлу, которое, можетъ быть, и очень полезно, и очень своевременно, но которое не захватываетъ всего человѣка.

А именно этихъ-то началъ и нѣтъ въ злополучномъ героѣ, истомъ представителѣ растерянной интеллигенціи восьмидесятыхъ годовъ. Онъ говоритъ высокія слова—и самъ ихъ стыдится, потому что самъ не вѣритъ въ ихъ силу и значеніе. Вѣра, придававшая имъ внутренній смыслъ, улетучилась, и герой повѣсти, несомнѣнно искренній, честный и потому неспособный играть словами ради одной игры, спасовалъ предъ довѣрчивой юной душой, „почти ребенкомъ". Когда Наташа, возвращаясь къ вышеприведенному разговору, спрашиваетъ его,—„вѣрилъ ли ты въ то, что говорилъ"—онъ окончательно кладетъ оружіе и заявляетъ: „Ты хочешь идеи, которая бы наполнила всю жизнь, которая бы захватила тебя цѣликомъ и упорно вела къ опредѣленной цѣли; ты хочешь, чтобъ я вручилъ тебѣ знамя и сказалъ: „вотъ тебѣ знамя,—борись и умирай за него"... Я больше тебя читалъ, больше видалъ жизнь, но со мною то же, что съ тобой: я не знаю!—и въ этомъ вся мука".

Эта честная прямота подкупаетъ насъ въ пользу героя, который дѣйствительно обладаетъ всѣми задатками для героическихъ подвиговъ. Когда началась холера, и всѣ разбѣжались изъ одного болѣе другихъ опаснаго пункта, онъ смѣло идетъ туда, какъ солдатъ на приступъ, хотя и не вѣритъ въ побѣду. Смерть его подъ ударами стихійной остервенѣлой силы не только примиряетъ читателя съ нимъ, но вызываетъ глубокую жгучую скорбь за великую нравственную силу, которая погибла такъ безплодно. Чего не могла бы создать она, если бы условія благопріятствовали ей! Предъ нами истинный герой, потому что и умирая онъ также прямо смотритъ въ лицо судьбѣ и не скрываетъ отъ себя, что его жертва безцѣльна. „За что ты боролся, во имя чего умеръ?—говоритъ онъ, умирая.—Чего ты достигъ своею смертью? Ты только жертва, жертва безсмысленная, никому ненужная“... И вы невольно склоняете голову передъ величіемъ этой смерти: кто могъ такъ умереть, могъ бы достичь великихъ результатовъ въ жизни.

Къ людямъ переходныхъ эпохъ принято относиться нѣсколько свысока. То, молъ, были герои, а это—жалкіе люди, къ добру и злу постыдно равнодушные. Положимъ, бываетъ много такихъ, но какъ и въ яркія, кипящія жизнью и одушевленіемъ эпохи не всѣ сплошь герои, такъ и во времена унылаго застоя, когда жизнь словно толчется на мѣстѣ, а на поверхность этой мертвой зыби выносится всякая муть и дрянь,—есть тоже свои герои, которые, не имѣя собственнаго знамени, не преклоняются предъ „грязными тряпками“, честно сознаются въ своемъ незнаніи, гдѣ искать это „знамя“, и находятъ въ себѣ достаточно силъ принести себя въ жертву, хотя и не вѣря въ спасительность ея. Имъ не дано счастья оставить послѣ себя преемниковъ, которымъ они могутъ передать дорогое дѣло, потому что такого дѣла нѣтъ у нихъ. Самое большее, что они могутъ, это передать остающимся свою неизмѣнную вѣру въ людей и лучшее будущее, какъ умирающій герой повѣсти — Наташѣ: „и я говорю ей, чтобъ она любила людей, любила народъ; что не нужно отчаиваться, нужно много и упорно работать, нужно искать дорогу... И теперь мнѣ не стыдно говорить эти „высокія“ слова“.

Повѣсть этимъ кончается. Написана вся вещь очень хорошо, а сцена въ холерномъ баракѣ и особенно сцена дикой расправы съ докторомъ превосходны по яркости изображенія и силѣ впечатлѣнія, какое они производятъ на читателя. Это лучшее, а, пожалуй, и единственное художественное произведеніе, въ которомъ описано смутное время

холеры, какъ-то удивительно безслѣдно промелькнувшее въ нашей литературѣ.

Драма героя безъ знамени, безъ опредѣленной цѣли и дороги закончилась, какъ мы видѣли, прекраснѣйшей и поучительнѣйшей, хотя на его взглядъ и бессмысленной жертвой. Драма Наташи только начинается. Въ разсказѣ „Повѣтріе“ мы снова встрѣчаемся съ нею. Она выполнила до извѣстной части совѣтъ своего злополучнаго кузена,— она искала и нашла дорогу, на которой мы ее и застаемъ въ разсказѣ. Смерть кузена и ея обстановка произвели на нее ужасное впечатлѣніе. „Всѣми помыслами, всѣмъ своимъ существомъ она какъ бы ушла тогда въ одно желаніе—желаніе страданія и жертвы... Она настойчиво разспрашивала, что теперь всего нужнѣе дѣлать, на что отдать свои силы. Вскорѣ Наташа уѣхала на югъ сестрою милосердія, затѣмъ, по окончаніи холеры, за границу... И вотъ что теперь стало изъ нея!“—горестно восклицаетъ ея старый другъ и руководитель, пожилой земскій врачъ, весь ушедшій въ свою практику, старый, убѣжденный народникъ, въ которомъ жизнь не убила прежняго идеалиста,

Что же стало съ Наташей, отчего докторъ приходитъ въ такой ужасъ?

Мы застаемъ ее въ числѣ дѣйствующихъ, или лучше сказать, разговаривающихъ лицъ за столомъ у нашего почтеннаго земца-народника. Къ нему завернулъ по дорогѣ прежній его товарищъ, такой же убѣжденный народникъ, какъ и онъ, Киселевъ, устраивающій артели кустарей. Докторъ страшно радъ, что можетъ провести съ нимъ вечеръ, забывъ обычныя заботы и горести. Радость еще усиливается при мысли, что обѣщала пріѣхать и Наташа, которую ему смертельно хочется познакомить съ Киселевымъ, чтобы наивно похвастать предъ нею, какіе дѣятели вышли изъ среды народниковъ. Возвратившись изъ больницы, докторъ застаетъ Киселева въ жаркомъ спорѣ съ студентомъ-технологомъ Даевымъ, сыномъ мѣстнаго деревенскаго дьячка. Даевъ стоитъ на совершенно противоположной Киселеву и доктору точкѣ зрѣнія. Споръ разгорается, пріѣзжаетъ Наташа, сначала только слушаетъ, но когда докторъ обращается къ ней за сочувствіемъ, въ полной увѣренности найти въ ней союзницу, она спокойно, но рѣшительно становится на сторону Даева.

Она очень заинтересовывается артелями Киселева, съ любопытствомъ просматриваетъ ихъ уставъ, Киселевъ увлекается описаніемъ того, что уже сдѣлано, и еще болѣе перспективами будущаго, хотя и скорбитъ, что „г. Даевъ не согласенъ съ этимъ“. Наташа замѣчаетъ, что и она не со-

гласна. Оба народника такъ и вскидываются—„почему“? Начинается рѣшительный, хотя и сдержанный съ обѣихъ сторонъ споръ, въ которомъ все больше и больше уясняется невозможность найти общую почву для спорящихъ.

Это одинъ изъ тѣхъ споровъ, какіе приходится теперь слышать на каждомъ шагу между сторонниками двухъ теченій, народниками и „марксистами“, или, какъ ядовито замѣчаетъ Даевъ, „марксятами“ по остроумной терминологіи г. г. народниковъ. Приводить его здѣсь не станемъ, хотя онъ вполнѣ заслуживаетъ вниманья по замѣчательно выдержанному тону, который авторъ сумѣлъ сохранить до конца, ни разу не становясь самъ ни на ту, ни на другую сторону. Благодаря этой объективности, обѣ спорящія стороны выступаютъ рельефно, и невозможность примиренья между ними становится очевидной. Киселевъ и докторъ—оба почтенные, достойные полнаго уваженія люди, идеалисты-народники въ лучшемъ значеніи слова, доказавшіе всею жизнью искренность своей вѣры. Противники ихъ Наташа и Даевъ—не менѣе искренни и стойки, но, воздавая полную дань уваженья добрымъ намѣреніямъ народниковъ, они съ тѣмъ большей неумолимостью разрушаютъ ихъ идеалистическія построенія, съ холодной логикой разбивая всѣ ихъ положенія. Авторъ ничего не подчеркиваетъ, но для самого предубѣжденнаго читателя становится ясно, на чьей сторонѣ логика жизни.

Присутствуя въ качествѣ постороннихъ свидѣтелей при этомъ спорѣ, вы испытываете вначалѣ сожалѣніе, что вотъ такіе хорошіе люди, а не могутъ столковаться, понять другъ друга. Но вскорѣ это чувство исчезаетъ, такъ какъ дѣло тутъ не только въ непониманіи, а въ разницѣ настроеній, всего душевнаго облика противниковъ. Имъ нужно было бы переродиться, чтобы понять и сблизиться. Киселевъ фанатикъ народничества, слѣпо вѣрующій въ жизненность артели, общины, міра. Для него факты не существуютъ. Онъ исключительная личность, для которой вся жизнь свелась къ одной единственной мечтѣ, въ ней же „весь законъ и пророки“. По словамъ Даева, „онъ настолько вѣритъ въ свое дѣло и настолько тупъ, что его никто не переубѣдитъ“. Докторъ, напротивъ, вполнѣ средній человѣкъ, представитель той интеллигенціи, которая очутилась „безъ дороги“, какъ герой только что разобранной нами повѣсти. Потерявъ вѣру въ прошлое, измученный настоящимъ, онъ хватается за обрывки народнической программы, видя въ артеляхъ, общинѣ—дѣло текущаго дня, дѣло помощи тѣмъ, кто въ ней сейчасъ, немедленно нуждается. И потому, сталкиваясь съ взглядами, которые принципіально отрицаютъ спасатель-

ность этихъ средствъ, онъ чувствуетъ себя въ положеніи человѣка, у котораго выбиваютъ послѣднюю доску изъ подъ ногъ. Отсюда его раздраженіе и негодованіе противъ людей, которые нашли „дорогу". Повернуться къ нимъ и стать на ихъ дорогу, онъ не въ силахъ: это значило бы поставить крестъ надъ всей своей, дѣятельностью, какъ сдѣлалъ его болѣе рѣшительный товарищъ, герой повѣсти „Безъ дороги".

Разница въ настроеніяхъ особенно рѣзко сказывается въ докторѣ и Наташѣ. Послѣдняя, раздраженная его упреками въ „звѣрствѣ" ея выводовъ, въ „безчеловѣчномъ" отношеніи къ тѣмъ, кого жизнь безжалостно стираетъ со своей дороги,—ставитъ ему снова тѣ же вопросы, съ какими обращалась когда-то: „Но вѣдь выдвигаетъ же эта жизнь какія-нибудь историческія задачи? Во что же вѣрить, какимъ путемъ идти? Что нужно дѣлать?" И докторъ, который раньше и самъ задавалъ такіе вопросы и обсуждалъ ихъ съ Наташей, когда она вмѣстѣ съ нимъ искала на нихъ отвѣта, негодуетъ и раздражается теперь, когда робкая ученица сбрасываетъ его руководство и самостоятельно ищетъ пути. Его „приводила въ негодованіе самая возможность тѣхъ вопросовъ, которые она ему задавала". „Волнуясь и раздражаясь, онъ сталъ доказывать, что жизнь предъявляетъ много разнообразныхъ запросовъ, и удовлетвореніе всѣхъ ихъ одинаково необходимо, а что будущее само ужъ должно рѣшить, „историческою" ли была данная задача или нѣтъ; что нельзя гоняться за какими-то отвлеченными историческими задачами, когда кругомъ такъ много насущнаго дѣла и такъ мало работниковъ". Это отвѣтъ человѣка, который, не рѣшивъ общаго вопроса, весь отдался текущей жизни съ ея прямыми ежедневными задачами,—настроеніе будничной жизни, не дающей углубиться и разобраться въ ея хаосѣ. И великолѣпную оцѣнку этого настроенія дѣлаетъ Наташа.

— „Ну да, то же самое я слышала отъ васъ и четыре года назадъ:—„не знаю", и потому всякое дѣло одинаково хорошо и важно; только тогда вы не думали, что иначе и быть не можетъ... Какъ можете вы съ этимъ жить?—произнесла она, съ дрожью поведши плечами.—Киселевъ наивенъ и живетъ внѣ времени, но онъ, по крайней мѣрѣ, вѣритъ въ свое дѣло; а во что вѣрите вы? Въ окружающей жизни идетъ коренная, давно невиданная ломка; въ этой ломкѣ падаетъ и гибнетъ одно, незамѣтно нарождается другое, жизнь перестраивается на совершенно новый ладъ, выдвигаются совершенно новыя задачи. И вы стоите передъ этимъ хаосомъ, потерявъ подъ ногами всякую почву; старое вы бы рады удержать, но понимаете, что оно гибнетъ без-

поворотно; къ нарождающемуся новому не испытываете ничего, кромѣ недовѣрія и ненависти. Гдѣ же для васъ выходъ? На все вы можете дать только одинъ отвѣтъ: „не знаю“! Вѣдь предъ вами такая пустота, такой кромѣшный мракъ, что подумать жутко!.. И во имя этой-то пустоты вы вооружаетесь противъ насъ, и готовы обвинить чуть не въ ренегатствѣ всѣхъ, кто покидаетъ вашъ лагерь! Да оставаться въ вашемъ лагерѣ невозможно уже по одному тому, что это значитъ прямо обречь себя на духовную смерть“.

Обѣ стороны разстаются, ни до чего не договорившись, потому что „говорятъ на разныхъ языкахъ“.

Въ сущности, это старая исторія отцовъ и дѣтей. Дѣти нѣсколько жестковаты и поглядываютъ на отцовъ съ снисходительной усмѣшкой сожалѣнія. Отцы горестно недоумѣваютъ, „что стало съ ихъ дѣтьми“, какъ могли они выростить у себя подъ крылышкомъ такое странное потомство? „Да, что-то они сдѣлаютъ?“—говоритъ докторъ, проводивъ своихъ гостей.

Такимъ вопросомъ заканчиваетъ г. Вересаевъ свой интересный очеркъ, написанный съ большимъ знаніемъ современныхъ отношеній между двумя борющимися теченіями, съ большой выдержкой и рѣдкой въ наше время объективностью.

Помимо этихъ существенныхъ достоинствъ, любопытна попытка г. Вересаева намѣтить слагающійся новый типъ въ лицѣ Наташи. Путь ея развитія, который она проходитъ въ повѣсти „Безъ дороги“, и то направленіе, какое принимаетъ она въ „Повѣтріи“,—обозначены ясно и рѣзко. Сначала предъ нами наивная дѣвочка, инстинктивно поворачивающая въ сторону свѣта, какимъ ей представляется ея злополучный кузенъ съ своимъ несомнѣнно благороднымъ прошлымъ. Она ищетъ у него отвѣта на естественные запросы проснувшагося сознанія, вполнѣ увѣренная, что человѣкъ, всѣмъ жертвовавшій для другихъ, сумѣетъ указать и цѣль, и путь къ ней. Жестокое разочарованіе, испытываемое ею при его честномъ и благородномъ отвѣтѣ „не знаю“, повергаетъ ее въ горькое недоумѣніе передъ сложной загадкой жизни. Трагическій конецъ ея кузена вызываетъ цѣлую бурю смѣшанныхъ чувствъ. Тутъ и ужасъ передъ безцѣльностью жертвы, и безконечная жалость къ темной стихійной силѣ, и страстная готовность себя самое принести въ жертву этимъ безвиннымъ убійцамъ. Но „благодатна всякая буря душѣ молодой“. Крѣпкая натура находитъ въ себѣ источникъ исцѣленія. Наташа обращается къ жизни, ищетъ въ ней того отвѣта, котораго не могли ей дать ни ея кузенъ, ни старый другъ,—и постепенно среди

хаоса находитъ дорогу, на которой мы ее застаемъ въ „Повѣтріи“.

Куда она приведетъ ее, авторъ не рѣшаетъ этого вопроса, и умно дѣлаетъ. Рѣшеніе его—дѣло будущаго. Какъ художникъ, онъ выполнилъ свою задачу, отмѣтивъ новое направленіе въ развитіи нашей интеллигенціи, причины, вызвавшія его, и ту стадію, на которой оно остановилось теперь.

Три разсказа Ан. Чехова: «Случай изъ практики», «Новая дача», «По дѣламъ службы». [1])

Въ новыхъ произведеніяхъ Ан. Чехова, появившихся въ теченіе послѣдняго мѣсяца въ „Рус. Мысли“, „Рус. Вѣдомостяхъ“ и „Недѣлѣ“, опять тревожно стучатся въ душу читателя неразрѣшимые вопросы жизни, которые съ особой болью и остротой даютъ себя чувствовать въ минуты глубокаго общественнаго затишья.

Бываютъ такія времена, когда кажется, будто телѣга жизни остановилась, застрявъ въ какомъ то болотѣ, изъ котораго не выбраться—ни влѣво, ни вправо податься некуда, и при каждой попыткѣ только глубже и глубже засасываетъ тина. Такое впечатлѣніе, конечно, обманчиво по существу, и процессъ жизни не останавливается. Только онъ совершается, гдѣ-то глубоко-глубоко, носитъ почти молекулярный характеръ, и въ этомъ, пожалуй, заключается его огромное органическое значеніе. Но на поверхности, гдѣ мы только и можемъ наблюдать этотъ процессъ,—это обманчивая тишина, отсутствіе движенія и мертвящая гладь вызываютъ нѣчто въ родѣ мистическаго ужаса при мысли, что жизнь такъ и замерла въ своей современной уродливой формѣ. Чувство неопредѣленной тревоги сжимаетъ сердце, а больная совѣсть возбуждаетъ вопросъ за вопросомъ, на которые текущая жизнь вовсе не даетъ отвѣта, и вниманіе все болѣе и болѣе сосредоточивается на жизни внутри насъ. Кажется, именно здѣсь скрыта причина всѣхъ причинъ, и важнѣйшіе общіе вопросы сводятся къ рѣшенію прежде всего вопроса личной жизни. Какъ будто каждый изъ насъ живетъ внѣ времени и пространства, какъ будто окружающее не имѣетъ ни малѣйшаго къ намъ отношенія, есть лишь отраженіе нашего я, которое властно повернуть жизнь такъ и этакъ! И нужно много стойкости, усилій воли, той

---

[1]) Февраль 1899 г.

особой дисциплины ума, которая вырабатывается опытомъ, наблюденіемъ и размышленіемъ, чтобы поставить вопросъ совершенно обратно, взглянуть на себя, какъ на маленькую часть огромнаго общественнаго организма, часть, которая всецѣло подчинена законамъ этого организма, вліяющимъ на нее такъ же стихійно, какъ законъ тяготѣнія, какъ солнце и воздухъ.

Въ своихъ произведеніяхъ послѣдняго времени Ан. Чеховъ даетъ рядъ такихъ типовъ съ чуткой душой и больной совѣстью, на которыхъ тягота жизни давитъ съ особой силой, именно потому, что они воспріимчивѣе другихъ, чувствительнѣе и нѣжнѣе. Въ первомъ изъ этихъ чудесныхъ по яркости художественнаго выполненія разсказовъ предъ нами настоящая больная, нервная и разбитая, хрупкое и симпатичное существо, на которое судьба взвалила тяжесть пяти огромныхъ фабричныхъ корпусовъ, гдѣ тысячи рабочихъ вырабатываютъ гнилые ситцы для азіатскихъ рынковъ. Огромные доходы отъ этой каторжной работы камнемъ ложатся на душу бѣдной владѣлицы, которой въ сущности такъ мало нужно. Умный и вдумчивый врачъ, приглашенный къ этой оригинальной больной, раздавленной ея милліонами, невольно останавливается передъ этимъ вопіющимъ противорѣчіемъ.

Паціентка возбуждаетъ въ немъ глубокую жалость. Вначалѣ она кажется ему неинтересной и незначительной, но когда въ нервномъ припадкѣ она зарыдала, „впечатлѣніе существа убогаго и некрасиваго вдругъ исчезло, и Королевъ (врачъ) уже не замѣчалъ ни маленькихъ глазъ, ни грубо развитой нижней части лица; онъ видѣлъ мягкое страдальческое выраженіе, которое было такъ разумно и трогательно, и вся она казалась ему стройной, женственной, простой, и хотѣлось уже успокоить ее не лѣкарствами, не совѣтомъ, а простымъ, ласковымъ словомъ“.

Окружающая обстановка, мать, любящая и ничего не понимающая, богатство, не скрашенное даже внѣшнимъ лоскомъ культуры, угрюмый гулъ фабричныхъ корпусовъ, и среди этого неуютнаго, ничѣмъ не осмысленнаго міра чахнущая отъ безмыслицы жизни бѣдная дѣвушка—наводятъ доктора на размышленія. Зачѣмъ все это? Кому это нужно?

И докторъ совершенно правъ, когда, разсматривая всю эту нелѣпую картину жизни съ исключительно личной точки зрѣнія, приходитъ къ оригинальному выводу, что Христина Дмитріевна тутъ только подставное лицо, а „главное, для кого здѣсь все дѣлается—дьяволъ“.

Отъ этихъ грустныхъ мыслей докторъ возвращается къ своей паціенкѣ, которую застаетъ еще болѣе слабой и раз-

битой послѣ нервнаго припадка. Она, какъ бы провидя его думы, сама идетъ ему на встрѣчу, жалуется на одиночество, на пустоту жизни. Ему кажется, что есть только одинъ хорошій совѣтъ, который могъ бы улучшить ея душевное настроеніе—бросить всю эту жизнь, фабрику, милліоны и уйти.

„Случай изъ практики“ есть конечно только „случай“, не поддающійся обобщенію. Въ разсказѣ превосходно очерчено настроеніе „мятущейся души“, подавленной непосильнымъ бременемъ жизни. Выхваченъ изъ сложной картины жизни одинъ яркій моментъ, въ которомъ съ особой силой проявляются противорѣчія, непримиримыя ни съ какой логикой, нелѣпыя сами по себѣ и тѣмъ болѣе тягостныя. Такіе моменты важны и поучительны всегда, и дорогъ художникъ, умѣющій съ поразительной живостью воспроизвести ихъ. Они важны, потому что именно тогда, какъ глубокою ночью при блескѣ молніи, вырѣзывается на хаотическомъ фонѣ житейской неурядицы вся нелѣпость исключительно личной жизни, не осмысленной и не упорядоченной одной общей, все объединяющей идеей, которая могла бы служить руководящей нитью сквозь мракъ и хаосъ удручающей современности. Они поучительны, потому что съ особой силой чувствуется въ эти моменты вся слабость уединенной личности, ея роковая зависимость отъ стихійной силы, дѣйствительно оказывающейся „дьяволомъ“ для личности, не понимающей значенія этой силы. Въ темныхъ легендахъ средне-вѣковья только магъ и волшебникъ, близко изучившій тогдашняго дьявола, могъ справляться съ нимъ. Такихъ же пріемовъ—изслѣдованія и изученія—требуетъ и современный „дьяволъ“, который при свѣтѣ науки оказывается вовсе не такъ страшенъ, какъ его малюютъ...

Уѣзжая отъ своей паціентки въ ясное воскресное утро, мечтательный докторъ „думалъ о томъ времени, быть можетъ, уже близкомъ, когда жизнь будетъ такою же свѣтлой и радостной, какъ это тихое, воскресное утро“. И мы раздѣляемъ съ нимъ ту же надежду, иначе и жить бы не стоило,—но способъ, къ которому, по его мнѣнію, прибѣгнутъ дѣти и внуки для достиженія этой жизни, намъ представляется мало дѣйствительнымъ, не говоря уже объ его неосуществимости.

Въ другомъ разсказѣ „Новая дача“ Чеховъ рисуетъ не менѣе яркую картину житейской нелѣпости, которая разыгрывается въ деревнѣ, гдѣ такая же „мятущаяся душа“ желаетъ найти примиреніе съ жизнью въ работѣ для деревни—и не находитъ.

По художественности „Новая дача“, пожалуй, лучшая вещь изъ написанныхъ за послѣднее время Чеховымъ. Въ

ней все движеніе и жизнь, крестьянскіе типы очерчены съ тонкимъ юморомъ, смягчающимъ рѣзкость и неприглядность мрачной деревенской жизни. Разсказъ, какъ и всѣ произведенія Чехова, не замысловатъ и простъ. Въ глухую деревушку, вблизи которой проводятъ желѣзную дорогу, пріѣзжаетъ строитель моста и устраиваетъ себѣ усадьбу. Его небольшая дача, лежащая въ сторонѣ, ни мало не мѣшаетъ деревнѣ, но жители сразу настраиваются къ новымъ поселенцамъ враждебно. Они и сами не знаютъ, что имъ такъ мѣшаетъ новая дача. Но при первой возможности они устраиваютъ инженеру пакость, загоняютъ его лошадей и дорогой скотъ, хотя сами травятъ его лугъ и лѣсъ. Инженеръ пытается уладить эти отношенія и при встрѣчѣ съ крестьянами заводитъ длинное объясненіе.

„—Я давно уже хочу поговорить съ вами, братцы,—говоритъ онъ,—дѣло вотъ въ чемъ. Съ самой ранней весны каждый день у меня въ саду и въ лѣсу бываетъ ваше стадо. Все вытоптано, свиньи изрыли лугъ, портятъ огородъ, а въ лѣсу пропалъ весь молоднякъ. Сладу нѣтъ съ вашими пастухами; ихъ просишь, а они грубятъ. Каждый день у меня потрава, и я ничего, я не штрафую васъ, не жалуюсь,—между тѣмъ вы загнали моихъ лошадей и бычка, взяли пять рублей. Хорошо ли это? Развѣ это по сосѣдски?—продолжалъ онъ, и голосъ у него былъ такой мягкій, убѣдительный, и взглядъ не суровый.—Развѣ такъ поступаютъ порядочные люди? Недѣлю назадъ кто-то изъ вашихъ срубилъ у меня въ лѣсу два дубка. Вы перекопали дорогу въ Ереснево, и теперь мнѣ приходится дѣлать три версты кругу. За что же вы мнѣ вредите на каждомъ шагу? Что я сдѣлалъ вамъ дурного, скажите ради Бога? Я и жена изо всѣхъ силъ стараемся жить съ вами въ мирѣ и согласіи, мы помогаемъ крестьянамъ, какъ можемъ. Жена моя сердечная, добрая женщина, она не отказываетъ въ помощи, это ея мечта быть полезной вамъ и вашимъ дѣтямъ. Вы же за добро платите намъ зломъ. Вы несправедливы, братцы. Подумайте объ этомъ. Убѣдительно прошу васъ, подумайте. Мы относимся къ вамъ по человѣчески, платите и вы намъ тою же монетой“.

Такое патетическое воззваніе къ добрымъ чувствамъ крестьянъ остается ими, конечно, не понятымъ и получаетъ совершенно иное истолкованіе въ пересказѣ добродушнаго кузнеца Родіона: „Платить, говоритъ, надо... Монетой, говоритъ... Монетой не монетой, а ужъ по гривеннику со двора надо бы. Ужъ очень обижаемъ барина. Жалко мнѣ“...

Родіонъ человѣкъ душевный, любитъ миръ, тишину, врагъ пьянства и буйства. Зато другіе, въ особенности его

сынъ, Володька, и Лычковы отецъ съ сыномъ,—это буйные протестанты. Они вѣчно противъ всего и всѣхъ, хотя, конечно, и сами рѣшительно не могутъ понять, почему ихъ возмущаетъ и строющійся мостъ („не надо намъ моста... жили безъ него"...), и новая дача, такая нарядная и красивая, и пришлая барыня, тихая, добрая, ласковая. Они несчастны, вѣчно избиты, пьяны, грязны, голодны, и въ этомъ противорѣчіи между собой и новыми непонятными имъ явленіями чувствуютъ поводъ для постояннаго раздражительнаго недовольства. Оно вспыхиваетъ съ особенной силой въ тѣ минуты, когда обращаются къ ихъ добрымъ чувствамъ. Безотчетно, но съ тѣмъ большею жестокостью проявляется эта враждебность по отношенію къ барынѣ, которая всей душой стремится быть полезной, нужной именно имъ, такимъ забитымъ нуждою, всѣми забытымъ людямъ.

Барыня дѣлаетъ попытки личнаго непосредственнаго сближенія съ деревней. Она просто и откровенно объясняетъ, что ее влечетъ сюда. Придя въ деревню, она въ бесѣдѣ съ Родіономъ изливаетъ душу. На замѣчаніе Родіоновой жены, добродушной старухи, что богатымъ и на этомъ, и на томъ свѣтѣ живется лучше, она отвѣчаетъ отрицательно и въ примѣръ приводитъ себя.

Ея трогательный разсказъ о себѣ и наивный призывъ къ любви, миру и согласію не вызываетъ сочувствія, разбиваясь о скептицизмъ глупаго Козова и враждебное настроеніе прирожденныхъ протестантовъ Володьки („не надо намъ школы!..") и пьяныхъ Лычковыхъ. Бѣдная барыня совсѣмъ съеживается, пугается и спѣшитъ уйти. Толпа тупо глядитъ ей въ слѣдъ, и только добрушно-глуповатый Родіонъ пытается по своему утѣшить ее, разъяснить, что дѣло не въ грубости Козова или Володьки, а въ чемъ-то другомъ.

„—Не обижайся барыня! чего тамъ, ты потерпи. Года два потерпи. Поживешь тутъ, потерпишь, и все обойдется. Народъ у насъ хорошій, смирный... Народъ ничего, какъ передъ Истиннымъ говорю... Иной, знаешь, радъ бы слово сказать по совѣсти, вступиться, значитъ, да не можетъ. И душа есть, и совѣсть есть, да языка въ немъ нѣтъ... Ты ничего...—бормоталъ онъ.—Потерпи годика два. И школу можно, и дороги можно, а только не сразу. Хочешь, скажемъ къ примѣру, посѣять на этомъ бугрѣ хлѣбъ, такъ сначала выкорчуй, выбери комки всѣ, да потомъ вспаши, ходи да ходи... И съ народомъ, значитъ, такъ... ходи да ходи, пока не осилишь"...

Въ концѣ концовъ инженеръ не выдерживаетъ постоян-

ной мелкой травли сосѣдей и бѣжитъ, продавъ дачу чиновнику, который огородился, заперся и знать не знаетъ ни мужиковъ, ни ихъ нуждъ и желаній. Изрѣдка, возвращаясь съ работы, крестьяне вспоминаютъ прежнихъ господъ и думаютъ. „Въ ихъ деревнѣ, — думаютъ они, — народъ хорошій, смирный, разумный, Бога боится, и Елена Ивановна тоже смирная, добрая, кроткая, было такъ жалко глядѣть на нее, но почему же они не ужились, а разошлись, какъ враги? Что это былъ за туманъ, который застилалъ отъ глазъ самое важное, и видны были только потравы, уздечки, клещи, и всѣ эти мелочи, которыя теперь при воспоминаніи кажутся такимъ вздоромъ? Почему съ новымъ владѣльцемъ живутъ въ мирѣ, а съ инженеромъ не ладили“?

Авторъ не даетъ отвѣта на эти думы, которыя вызываютъ цѣлую вереницу другихъ, тоже невеселыхъ и безотвѣтныхъ. Почему труднѣе всего подойти къ человѣку открыто, прямо, внѣ всякихъ рамокъ, въ которыя поставленъ каждый изъ насъ,—какъ это хотѣла сдѣлать Елена Ивановна? Объясненіе добродушнаго Родіона, можетъ быть, и вѣрно, но оно не менѣе нелѣпо, чѣмъ самый фактъ. Чтобы дѣлать людямъ добро, надо ходить около нихъ цѣлые годы, „терпѣть“ предварительно и путемъ терпѣнія добиться права быть добрымъ, не возбуждая злобныхъ выходокъ и подозрѣній...

Тема, затронутая Чеховымъ, не новая и часто служила для Гл. Успенскаго иллюстраціей непримиримости деревенскаго міросозерцанія и кающагося интеллигента, который вмѣсто распростертыхъ объятій встрѣчаетъ въ деревнѣ вражду. Только Успенскій обобщалъ эти столкновенія, видя въ нихъ продуктъ старыхъ крѣпостныхъ отношеній, не допускающихъ вполнѣ человѣчныхъ отношеній въ деревенскомъ людѣ, для котораго и самый искренній интеллигентъ все же представлялся бариномъ. Теперь эти старыя воспоминанія значительно сгладились, но не создалась зато и новая почва, на которой обѣ стороны могли бы сойтись какъ равныя. Такая почва создается только общностью интересовъ, а они такъ еще спутаны и не ясны для обѣихъ сторонъ, что если и есть какая почва для взаимныхъ отношеній, то безъ крупныхъ недоразумѣній дѣло никогда не обходится. Деревня можетъ понять только опредѣленный, матеріально выражающійся интересъ, и трогательныя наивныя рѣчи Елены Ивановны ей чужды и непонятны, какъ показались бы странны такія же рѣчи со стороны деревни по адресу того или иного интеллигента, котораго деревня не знаетъ и къ которому обратилась бы вдругъ съ изліяніями любви, дружбы и всяческихъ симпатій. Теперь между нами

и деревней существуютъ тысячи перегородокъ, и можно годами жить въ деревнѣ и не быть съ ней связаннымъ непосредственно хотя бы въ пустякахъ, въ родѣ, напримѣръ, выбора общаго сотскаго. А интересы такіе существуютъ несомнѣнно, и время все настойчивѣе указываетъ на необходимость разбить перегородки, окружающія деревню своего рода стеклянным колпакомъ. Теперь существуетъ назойливо бьющая въ глаза ненормальность, что масса лицъ, живущихъ въ предѣлахъ деревни, лишены правъ обсуждать вмѣстѣ съ нею общія дѣла, какія встрѣчаются на каждомъ шагу. Послѣдній пропойца можетъ принимать участіе въ сходѣ и подавать голосъ, выбирать судей и должностныхъ лицъ, но не принадлежащій къ обществу, хотя неменѣе его заинтересованный мѣстный обыватель, живи онъ тутъ хоть сто лѣтъ,—лишенъ права и возможности непосредственнаго воздѣйствія на дѣла міра. Идетъ ли вопросъ объ учрежденіи школы, въ которой будутъ учиться и его дѣти, или о проведеніи новой общей для всѣхъ дороги, или о необходимости столь важныхъ для деревни противопожарныхъ мѣръ, выборѣ новыхъ должностныхъ лицъ, на которыхъ и съ него идетъ слѣдуемая сумма,—все равно, такой обыватель, кто бы онъ ни былъ, стоитъ въ сторонѣ. А между тѣмъ, за послѣдніе годы такихъ не приписанныхъ къ обществамъ жителей можно встрѣтить въ любой деревнѣ,—есть такія села, гдѣ они составляютъ особыя поселенія,—и по большей части это самый культурный слой деревенскаго населенія, прямое участіе котораго въ жизни деревни не только желательно, но необходимо. Къ сожалѣнію, имъ можно фигурировать въ деревенской жизни только въ роли разныхъ благотворителей, — почва, самая ненадежная, даже при самыхъ искреннихъ отношеніяхъ съ обѣихъ сторонъ.

Жизнь стучится въ замкнутыя двери деревенскаго міра, и въ болѣе или менѣе близкомъ будущемъ эти двери откроются, только не для слабыхъ и больныхъ душою, хотя такихъ искреннихъ и добрыхъ людей, какъ бѣдная Елена Ивановна. Здѣсь нужны здоровые, сильные люди, которые были бы живо заинтересованы всѣми неурядицами современной деревни и могли бы принять непосредственное участіе въ борьбѣ съ ними. До сихъ поръ ихъ деревня знаетъ лишь въ образѣ случайно занесеннаго человѣка — „По дѣламъ службы“, какъ называется третій разсказъ Чехова, напечатанный въ „Недѣлѣ“. Какъ два предыдущіе, разсказъ проникнутъ однимъ общимъ для нихъ настроеніемъ печали, грустнаго сознанія ненужности того, что дѣлается, и тоски о лучшихъ человѣчныхъ отношеніяхъ между людьми, теперь

такими чуждыми другъ другу, разрозненными и одинокими.

Въ деревнѣ застрѣлился молодой человѣкъ, земскій страховой агентъ, и на слѣдствіе пріѣзжаютъ два молодыхъ чиновника, докторъ и слѣдователь. Они запоздали, явились только на третій день, да и то къ ночи, и слѣдствіе опять откладывается на утро. Докторъ уѣзжаетъ къ сосѣднему знакомому помѣщику, а слѣдователь Лыжинъ рѣшается заночевать въ земской квартирѣ, гдѣ въ другой половинѣ лежитъ трупъ самоубійцы подъ охраной понятыхъ и сотскаго. Этотъ сотскій, или, какъ онъ самъ себя величаетъ „цоцкай", Лошадинъ, суетливый, добродушный старикъ, принимаетъ живѣйшее участіе во всемъ дѣлѣ и является центральной фигурой разсказа. Приготовивъ слѣдователю постель и самоваръ, онъ занимаетъ его разговоромъ, повѣствуя и о своей несложной жизни, и о покойномъ земскомъ агентѣ Лѣсницкомъ, трупъ котораго сторожатъ за перегородкой понятые. Вся жизнь сотскаго ушла въ ходьбу. „Послѣ воли черезъ пять лѣтъ сталъ ходить, вотъ и считай. Съ этого время каждый день хожу. У людей праздникъ, а я все хожу. На дворѣ Святая, въ церквахъ звонъ, а я съ сумкой... Въ казначейство, на почту, къ становому, къ земскому, къ податному, въ управу, къ господамъ, къ мужикамъ, ко всѣмъ православнымъ христіанамъ. Ношу пакеты, повѣстки, окладные листы, письма, бланки разные, вѣдомости".

Эти разговоры, вой метели на дворѣ, неуютная обстановка мѣшаютъ слѣдователю спать, досаждаютъ ему. Ему думается, „какъ все это—и метель, и изба, и старикъ, и мертвое тѣло, лежавшее въ сосѣдней комнатѣ,—какъ все это было далеко отъ той жизни, какой онъ хотѣлъ для себя, и какъ все это было чуждо для него, мелко, неинтересно. Если бы этотъ человѣкъ убилъ себя въ Москвѣ, гдѣ-нибудь подъ Москвой, и пришлось бы вести слѣдствіе, то тамъ это было бы интересно, важно и, пожалуй, даже было бы страшно спать по сосѣдству съ трупомъ; тутъ же, за тысячу верстъ отъ Москвы, все это какъ будто иначе освѣщено, все это не жизнь, не люди, а что-то существующее только „по формѣ", какъ говоритъ сотскій Лошадинъ, все это не оставитъ въ памяти ни малѣйшаго слѣда и забудется, едва только онъ, Лыжинъ выѣдетъ изъ деревни. Родина, настоящая Россія—это Москва, Петербургъ, а здѣсь провинція, колонія; когда мечтаешь о томъ, чтобы играть роль, быть популярнымъ, быть, напримѣръ, слѣдователемъ по особо важнымъ дѣламъ, или прокуроромъ окружного суда, быть свѣтскимъ львомъ, то думаешь непремѣнно о Москвѣ. Если жить, то въ Москвѣ, здѣсь же ничего не хочется, легко миришься со своей не-

замѣтной ролью и только ждешь одного отъ жизни — скорѣе бы уйти, уйти"...

Насъ всегда чрезвычайно интересовалъ вопросъ, почему наша молодежь, повидимому, такая бодрая, полная готовности къ самопожертвованію на благо другихъ, — съ такой поразительной легкостью превращается въ заурядненьшихъ людей, живущихъ и дѣйствующихъ „по формѣ". Лыжинъ только типичный представитель молодыхъ дѣятелей въ русскомъ вкусѣ. Въ годы университетской жизни человѣкъ кипитъ, горитъ, всѣмъ сердцемъ чувствуетъ свою связь съ общей массой не только своего народа, но даже всего міра. Но вотъ человѣкъ вступаетъ въ жизнь, сталкивается въ дѣйствительности съ „соціальными факторами", только не въ видѣ священныхъ формулъ того или иного признаннаго учителя, а въ видѣ живыхъ людей, страдающихъ и борющихся,—и ничего не понимаетъ, не видитъ и не слышитъ. Получается именно то, что мѣтко выражаетъ Чеховъ въ думахъ Лыжина; все это мелочь, пустяки, не жизнь, а такъ себѣ, а важное, существенное гдѣ-то тамъ — въ книгѣ, въ спорахъ, въ увлекательныхъ стройныхъ положеніяхъ разработанной научной системы.

Въ героѣ разсказа старыя задушевныя мысли всплываютъ подъ вліяніемъ видѣннаго имъ страннаго сна, но врядъ ли надолго. Какъ и огромное большинство, онъ подчинится условіямъ жизни, гдѣ нѣтъ мѣста этимъ важнымъ мыслямъ, гдѣ нѣтъ почвы для ихъ проведенія въ жизнь. Чтобы чувствовать на каждомъ шагу живую связь съ массою, надо, чтобы между людьми были постоянно живыя нити взаимнаго общенія, взаимныхъ интересовъ. Гдѣ каждый живетъ въ перегородкахъ, отдѣляющихъ его живую личность отъ другихъ, гдѣ форма на первомъ планѣ, а содержаніе сводится къ бумагѣ, къ отношеніямъ и предписаніямъ, властно подчинившимъ себѣ живую жизнь, тамъ не на чемъ развить мысль въ дѣло. Огромное большинство, масса, составляющая націю, народъ, состоитъ не изъ героевъ, а изъ среднихъ людей, которые подчиняются охотнѣе чѣмъ борются, и всегда идутъ въ направленіи наименьшаго сопротивленія. И пока незамѣтно созидающіеся новые запросы и требованія не разобьютъ этихъ перегородокъ, до тѣхъ поръ наталкивать и наводить на эти мысли будетъ литература, а не жизнь.

Тѣмъ цѣннѣе для насъ эти чудные разсказы Чехова, въ которыхъ столько острой боли и щемящей сердце тоски.

Мучительно-тревожное настроеніе чуткаго и вдумчиваго художника отдается въ душѣ читателя, будитъ его притупившуюся къ житейскимъ неурядицамъ чувствительность, заставляетъ дать отчетъ въ своей жизни и дѣятельности.

Художникъ является въ данномъ случаѣ выразителемъ тѣхъ глубоко скрытыхъ общественныхъ настроеній, которыя назрѣваютъ въ массѣ общества, еще безсознательныхъ, но уже властныхъ и многозначительныхъ. „Такъ жить дольше нельзя",—этотъ горькій выводъ воплощается въ рядѣ грустныхъ картинъ, понятныхъ всѣмъ, кто еще имѣетъ уши, чтобы слышать, и глаза, чтобы видѣть.

Юродствующая литература: „О любви", М. О. Меньшикова; „Сумерки просвѣщенія", В. В. Розанова [1]).

Есть особый сортъ литературы, для котораго мы не можемъ подобрать болѣе вѣрнаго названія, какъ юродствующая литература. Всякому, конечно, памятно еще изъ учебниковъ, кто были наши юродивые и какими нехитрыми способами привлекали они вниманіе и сочувствіе толпы. Обыкновенно это были нѣсколько поврежденные въ умѣ, но съ достаточной хитрецой нищіе духомъ, которые при помощи наивныхъ пріемовъ старались выдѣлиться изъ ряда обычныхъ нищихъ и создавали иной разъ почетное себѣ имя, перешедшее даже въ исторію. Одни изъ нихъ, затвердивъ какое-либо глупое, но мало понятное слово или фразу, говорили его кстати и некстати и тѣмъ наводили мистическій страхъ на простодушныхъ слушателей. Другіе ограничивались тѣмъ, что ходили въ одной рубахѣ или ѣздили на палочкѣ верхомъ, и видъ бородатаго субъекта въ такомъ легкомысленномъ костюмѣ, занимающагося такимъ ребячьимъ дѣломъ, приводилъ въ трепетъ московскихъ кумушекъ и сокрушалъ ихъ сердца. Были между ними подчасъ и искренніе дураки или прямо сумасшедшіе, невмѣняемость дѣйствій которыхъ оказывала тѣмъ большее вліяніе на осатанѣвшую отъ невѣжества и страха толпу. Послѣднимъ представителемъ такого юродствующаго цеха былъ знаменитый Иванъ Яковлевичъ Корейша съ его проникновеннымъ словечкомъ „кололацы", около котораго создалась даже цѣлая литература, защищавшая и комментировавшая его благоглупости, впрочемъ, довольно невинныя по существу.

Но духъ юродства не вымеръ и не угасъ на святой Руси, и отъ времени до времени онъ осѣняетъ того или иного

---

[1]) Апрѣль 1899 г.

избранника, который, возмнивъ себя пророкомъ и сосудомъ особой мудрости, начинаетъ неутомимо разводить свои „кололацы“, гремѣть „металломъ“ и сокрушать „жупеломъ“. За послѣдніе годы въ литературѣ объявились даже два такимъ сосуда—г. Меньшиковъ изъ „Недѣли“ и г. Розановъ изъ нѣдръ нашей реакціонной прессы. Трудно сказать, кому изъ нихъ надлежитъ пальма первенства, ибо каждый изъ нихъ единственный въ своемъ родѣ и вполнѣ достоенъ унаслѣдовать лавры Ивана Яковлевича. Оба щеголяютъ во всей, если можно такъ выразиться, душевной наготѣ, оба имѣютъ по палочкѣ, на которой лихо гарцуютъ по страницамъ печатной бумаги, на соблазнъ и изумленіе читающаго міра. Палочка у каждаго, конечно, своя. У г. Меньшикова она склеена изъ обрывковъ проповѣди графа Толстого, плохо имъ усвоенныхъ и сдобренныхъ собственной отсебятиной вполнѣ юродиваго содержанія и направленія. То, что у графа представляетъ стройную систему, съ которой можно соглашаться или нѣтъ, но которой нельзя отказать иногда въ страшной силѣ чувства и энергіи выраженія,—у г. Меньшикова превращается въ наборъ обрывочныхъ и противорѣчивыхъ словечекъ и мыслишекъ, разведенныхъ елейной водицей съ доброй дозой постнаго масла, затаенной злости и несомнѣннаго фарисейства. Въ своей книгѣ „Думы о счастьѣ“, какъ помнятъ, быть можетъ, читатели, г. Меньшиковъ пытался претворить идеи графа на мѣщанскій ладъ, чтобы сдѣлать бремя ихъ болѣе удобоносимымъ для себя и своихъ присныхъ. Новая книга его „О любви“ построена на тотъ же ладъ, какъ увидимъ ниже, и по юродству не уступаетъ первой.

Г. Розановъ избралъ себѣ палочку другого типа. Для характеристики ея довольно вспомнить одинъ изъ недавнихъ его подвиговъ, когда по поводу годовщины прискорбнаго событія на Ходынскомъ полѣ онъ забилъ въ бубны и тимпаны и, ликуя, возгласилъ „аллилуйя!“ Или его проповѣдь „животности“, какъ главнаго начала и устоя семьи. Черезъ всѣ его юродства красной нитью проходитъ мысль о грубой силѣ, которая ему представляется единственнымъ argumentum ad hominem, достойнымъ поклоненія. Въ церковь, имя которой онъ постоянно всуе повторяетъ, онъ готовъ людей загонять дубиной и непрочь жечь на кострахъ несогласномыслящихъ. Науку и просвѣщеніе онъ ненавидитъ и, не обинуясь, предлагаетъ скалозубовскій методъ воспитанія. Единственную свободу онъ признаетъ для себя, какъ право говорить свои откровенія, образчики которыхъ мы приведемъ ниже. Въ отличіе отъ г. Меньшикова, который не пишетъ, а баюкаетъ, не говоритъ, а сладко глаго-

летъ, не разсуждаетъ, а ткетъ тончайшую сѣть афоризмовъ, въ которой въ концѣ-концовъ запутывается и онъ самъ, и читатели до полнаго одурѣнія, г. Розановъ съ величайшими усиліями громоздитъ фразу на фразу, бьется надъ словомъ, подыскивая возможно мудренѣе, вычурнѣе, тяжеловѣснѣе, для вящшаго удрученія читателя, который прямо-таки раздавливается этой неуклюжей постройкой. Чтеніе произведеній г. Розанова есть тяжкій и удручающій трудъ. Все время чувствуешь себя словно въ темномъ, непроглядномъ мѣстѣ, гдѣ то и дѣло натыкаешься на углы и закоулки, рискуя постоянно удариться лбомъ въ совершенно неожиданный выступъ, или провалиться въ волчью яму. И происходитъ это не столько отъ путаницы мыслей автора, вообще, примитивныхъ и дѣтски-невѣжественныхъ, сколько отъ витіеватости его слога, тяжкаго, темнаго, удушающаго, какъ тѣ густыя, зловредныя испаренья, которыя въ осеннія сумерки подымаются надъ смрадными болотами. Если справедливо изреченіе Бюффона, что слогъ—это человѣкъ, то, составляя по этому слогу представленіе о г. Розановѣ, испытываешь жуткое впечатлѣніе. Его допотопныя мысли, изложенныя допотопнымъ языкомъ, напоминаютъ одно изъ вымершихъ чудовищъ въ книгѣ Гетчинсона—птеродактиля, представляющаго переходное существо отъ пресмыкающихся къ птицамъ, — небольшое, странное созданіе, нѣсколько напоминающее нашу летучую мышь, — нетопыря, но болѣе фантастическое по формѣ крыльевъ и головы. Эти, въ сущности, невинныя творенія обитаютъ въ затхлыхъ, плохо провѣтриваемыхъ подвалахъ, развалинахъ и старыхъ заброшенныхъ зданіяхъ; по ночамъ они вылетаютъ на добычу, охотясь за ночными насѣкомыми и пугая дѣвушекъ и женщинъ, съ налету ударяясь о ихъ бѣлыя платья и лица, а днемъ они скрываются въ своихъ темныхъ обиталищахъ, вися головой внизъ, прицѣпившись крѣпкими когтями къ мрачнымъ сводамъ. Такъ и господа Розановы укрываются отъ свѣта солнца по разнымъ темнымъ трущобамъ, куда рѣдко-рѣдко заглядываютъ читатели, и лишь въ сумеречные, неясные дни они рѣютъ въ воздухѣ, приводя въ невольную дрожь своимъ фантастическимъ полетомъ и сказочнымъ видомъ. Кромѣ книги „Сумерки просвѣщенія“, о которой мы желаемъ поговорить теперь, издатель г. Розанова—П. П. Перцевъ угрожаетъ намъ еще его произведеніями: „Религія и красота“, „Литературные очерки“ и проч. Все это уже гдѣ-то печаталось, хотя и врядъ ли было кому на потребу. Но не ошибся ли г. Перцевъ, думая, что именно теперь время гг. Розановыхъ приспѣло? Не запоздалъ ли онъ, скорѣе,

съ своими изданіями? Не беремся отвѣчать утвердительно на этотъ вопросъ. Пусть, впрочемъ, судятъ сами читатели.

Но прежде о г. Меньшиковѣ; не о немъ, конечно, а о его книгѣ „О любви".

Любовь, любовь—вотъ, по истинѣ, безсмертная, не старѣющаяся тема, о которой писано и переписано столько, что не хватило бы человѣческой жизни для ознакомленія съ литературой, ей посвященной. Можно себѣ представить, какая это богатая тема для г. Меньшикова. При его многоречіи и пустословіи, это неисчерпаемый источникъ для безконечнаго потока вздора, искусно завернутаго въ безчисленныя папильотки кокетливаго проповѣдника изъ „Недѣли". Тутъ и Дафнисъ и Хлоя, какъ образцы невинной и, тѣмъ не менѣе, страждущей любви. Тутъ и стихъ изъ Гейне про бѣднаго потомка Азровъ, которые, полюбивъ, умираютъ, — какъ доказательство безпощадности злой страсти. Далѣе Вертеръ подъ ручку съ царемъ Соломономъ, изрекшимъ, что любовь сильнѣе смерти, и пушкинская Татьяна съ Дмитріемъ Карамазовымъ Достоевскаго, Вѣра изъ „Обрыва" и Анна Каренина. А потомъ—непрерывными рядами шествуютъ Шопенгауеръ и Будда, Летурно и Мопассанъ, Мантегаца и Бодлэръ, Верленъ и Гомеръ, Байронъ и Шекспиръ, русскіе сектанты, нигилисты и либералы и проч. Словомъ—

„Были тамъ послы, софисты,
И архонты, и артисты,—

пока не явился г. Меньшиковъ:

„Онъ рѣчами завладѣлъ,
И безумными глазами
На красавицу глядѣлъ".

И, наконецъ, повѣдалъ міру плоды своихъ великихъ думъ, вынесенныхъ изъ этого созерцанія.

Дума первая. „Любовь въ алхиміи счастья есть тотъ философскій камень, прикосновеніе котораго къ самымъ презрѣннымъ вещамъ даетъ имъ цѣну золота. Какъ жизненный элексиръ, любовь возвращаетъ омертвѣвшему отношенію нашему къ вещамъ огонь молодости. Это не просто очаровательное состояніе жизни—это сама жизнь въ ея творческомъ порывѣ, въ благоуханіи ея расцвѣта". Какова галантерейность г. Меньшикова? Можно ли блеснуть очаровательнѣе, отсалютовать любви болѣе парадно и эффектно? Одна „алхимія счастья" чего стоитъ,—„не хитрому уму не выдумать и въ вѣкъ". Но, зная пріемы г. Меньшикова по

его прежнимъ подвигамъ въ области философіи и публицистики, мы можемъ быть заранѣе увѣрены, что это—лишь хитроумныя ковы, въ родѣ тѣхъ, что придумалъ сердитый Гефестъ колченогій, чтобы накрыть измѣнницу-жену Афродиту съ свирѣпымъ Ареемъ. „И отъ смѣха боговъ дрожалъ Олимпъ многохолмный“.

Такъ повѣствуетъ нелицепріятный Гомеръ о результатахъ хитрости Гефеста. Нѣчто въ этомъ родѣ испытываетъ и читатель книги г. Меньшикова, когда, развертывая одну за другой авторскія папильотки, онъ получаетъ въ концѣ концовъ рядъ поученій изъ прописей, что любовь „не исчерпывается любовною *страстью*“, что въ „супружествѣ необходима строгая воспитанность въ цѣломудріи и долгѣ ненарушимой вѣрности другъ другу“, что „чистота духа и тѣла обязательна для мужчинъ и для женщинъ“, и что „совершенный союзъ можетъ быть основанъ только на нравственномъ, духовномъ единеніи мужа и жены“.

Кажется, что можетъ быть проще и банальнѣе этихъ мыслей, вошедшихъ въ обиходъ мудрости всѣхъ временъ и народовъ, запечатлѣнныхъ и въ религіозныхъ обрядахъ, и въ высшихъ произведеніяхъ общечеловѣческой литературы, и въ народномъ непосредственномъ творчествѣ, какъ оно проявилось въ пѣсняхъ и сказаньяхъ? Но посмотрите, какихъ только вавилоновъ не наворотилъ нашъ публицистъ!

Онъ начинаетъ съ самыхъ отдаленныхъ временъ, когда еще дикарь „ударомъ дубины по головѣ повергалъ женщину“, и доводитъ эволюцію любви до Мопассана и современныхъ „дамочекъ“, которыя въ любви, своеобразно ими понимаемой, видятъ смыслъ жизни. Если въ жизни дикаря любовное чувство не играло никакой роли, то это и есть „естественное состояніе человѣка“, по мнѣнію г. Меньшикова. Только наша извращенная во всѣхъ отношеніяхъ цивилизація отвела этому чувству такое верховное мѣсто, о чемъ свидѣтельствуетъ яко бы вся наша литература. Непремѣнно „вся“, на меньшемъ юродивые публицисты не мирятся. Это ихъ главный аргументъ,—всѣ въ любви „подлецы“, всѣхъ любовь превращаетъ въ „свиней“. Начинается литературная скачка отъ пушкинской Татьяны до романовъ Стебницкаго, Писемскаго и Клюшникова, въ которыхъ предаются осмѣянію яко бы дѣйствительные факты изъ жизни нигилистовъ шестидесятыхъ годовъ. Услѣдить за головоломными прыжками г. Меньшикова, отмѣтить всѣ его ужимки и тартюфскія киванья въ сторону „интеллигенціи“—мудрено, да и не нужно. Два-три образчика достаточны, чтобы обрисовать съ головы до ногъ несложную

фигуру г. Меньшикова, не безъ граціи гарцующаго на своей палочкѣ въ болѣе чѣмъ легкомысленномъ костюмѣ среди „архонтовъ и софистовъ“ и доблестно сокрушающаго перья въ борьбѣ съ Иветой Гильберъ, Отеро и имъ подобными „жрицами любви“ (см. стр. 60—61 и другія).

Книга его раздѣлена на четыре главы: „О любовной страсти“, „Суевѣрія и правда любви“, „Любовь супружеская“ и „Любовь святая“. Первая посвящена анализу влюбленности и тѣхъ бѣдственныхъ послѣдствій, къ какимъ часто ведетъ страсть. Какъ и вообще мысли г. Меньшикова, его изложеніе въ этой главѣ не блещетъ ни оригинальностью, ни глубиной. Всѣ его вопли по поводу злой страсти тысячи разъ повторялись со временъ Соломона и до нашихъ дней. Невѣрны только его общіе выводы. Онъ комбинируетъ разныя стороны любовной страсти, сваливая въ одну кучу и голую, ничѣмъ не прикрытую, разнузданную чувственность, доходящую до болѣзненности въ лицѣ маркиза де-Сада, и то нѣжное, вполнѣ свободное въ началѣ отъ всякой чувственности—чувство, какое охватываетъ влюбленныхъ съ такой силой въ первый періодъ ихъ влеченія. Грубая ложь звучитъ также въ нападкахъ на литературу, которая будто бы создала и поддерживаетъ въ обществѣ ложный взглядъ на страсть, какъ на идеалъ любви. Выудивъ у Пушкина небрежно и вскользь брошенный стишокъ

„Любви не женщина насъ учитъ,
А первый пакостный романъ“,

онъ сейчасъ же строитъ на немъ цѣлую систему обвиненія противъ литературы. „Въ заурядной семьѣ, гдѣ бабушка читала Грандисона, маменька увлекалась Понсонъ-дю-Терайлемъ, дочь упивается Марселемъ Прево, — въ такой семьѣ изъ поколѣнія въ поколеніе передается мечта о половой любви, какъ нѣкая религія, священная и прекрасная, и всѣ поколѣнія дышатъ одной атмосферой—постояннаго полового восторга, постоянной жажды „влюбленности“. Великіе авторы, описывающіе любовь во всей ея трезвой, ужасной правдѣ, до большинства не доходятъ, да большинству они и не по плечу; средней публикѣ доступнѣе маленькіе писатели и писательницы, которые, какъ и публика, не знаютъ природы и не умѣютъ быть вѣрными ей, которые не знаютъ, что такое любовь, но тѣмъ болѣе стараются изобразить ее обольстительной. И вотъ тысячами голосовъ, исходящихъ „свыше“, въ каждомъ молодомъ поколѣніи создается ложное внушеніе о любви, дѣлающее эту страсть одною изъ самыхъ гибельныхъ для человѣче-

ства. Литературное внушеніе изъ читающихъ классовъ проникаетъ въ нечитающіе и ослабляетъ способы борьбы съ этою страстью, вырабатываемые всякой естественной, патріархальной культурой. Въ деревенской средѣ, гдѣ народъ не испорченъ (у старовѣровъ, напр.), тамъ молодежь воспитывается цѣломудренно и религіозно, половое влеченіе презирается внѣ брака, и вообще никакихъ „романовъ" и „драмъ" не полагается, всякія попытки къ нимъ гаснутъ въ общемъ внушеніи, что это грѣхъ и позоръ. Поэтому здоровое влеченіе обоихъ половъ здѣсь крайне рѣдко развивается въ страсть, регулируясь ранними и крайне-строгими браками. Не то мы видимъ въ среднихъ, не трудовыхъ классахъ съ утраченной религіозностью, съ ослабленнымъ представленіемъ о добрѣ и злѣ" (стр. 11—12). Слѣдуетъ далѣе ссылка на Лукреція и его гимнъ Венерѣ, какъ доказательство испорченности „среднихъ классовъ", хотя Лукрецій жилъ въ первомъ вѣкѣ до Р. Хр. и никакого отношенія къ нашимъ „среднимъ классамъ" никогда не имѣлъ.

Но Богъ съ нимъ, съ Лукреціемъ. Если начать высчитывать всѣ ошибки и курьезы учености г. Меньшикова, въ родѣ, напр., того, что „за порицаніе Елены Аргивской былъ ослѣпленъ Гомеръ" (стр. 39),—мы никогда не кончимъ его скучно-напыщенной канители. Приведенный образчикъ размышленій г. Меньшикова чрезвычайно для него характеренъ. Съ поразительной смѣлостью, не сморгнувъ глазомъ, онъ, не обинуясь, переувеличиваетъ одно, какъ въ данномъ случаѣ вліяніе литературы, и извращаетъ другое, какъ противопоставляемую имъ добродѣтель народа и испорченность среднихъ классовъ. Драмъ и романомъ на любовной подкладкѣ въ народной средѣ никакъ не меньше, чѣмъ и во всякой другой, ибо, выражаясь просто, „всѣ люди, всѣ человѣки". Причемъ тутъ литература? Если гдѣ меньше всеге она имѣетъ вліяніе, такъ именно въ дѣлѣ любви, въ виду общности этого чувства, коренящагося въ одинаковой организаціи человѣческой природы на всѣхъ ступеняхъ соціальной лѣстницы. Только въ народной средѣ любовныя драмы принимаютъ особо-ужасный характеръ, благодаря непосредственности, несдержанности чувства, проявляющагося въ грубѣйшей формѣ, и драма, въ родѣ толстовской „Власти тьмы", можетъ служить хорошей иллюстраціей къ народной любовной хроникѣ.

Распространяться на эту тему значило бы идти по стопамъ г. Меньшикова, пережевывая всякое старье, давнымъ-давно ставшее ходячимъ мѣстомъ. Но и слѣдовать за нитью

его разсужденій оказывается прямо-таки невозможнымъ. Постоянно смѣшивая два понятія—чувственность и здоровое чувство любви, авторъ до того перепутываетъ эту нить, что нѣтъ силъ разобраться въ навороченной имъ кучѣ своихъ и чужихъ афоризмовъ, то вѣрныхъ, хотя и старыхъ, какъ міръ, то смѣшныхъ до наивности. То онъ заявитъ, что прежде люди были здоровѣе и сильнѣе, потому что прежде бракъ рѣшался родителями, которые подбирали невѣстъ и жениховъ, отнюдь не руководствуясь ихъ чувствомъ. Въ доказательство—опыты хозяевъ, которые „не дожидаются, чтобы самецъ самъ выбралъ самку по своему вкусу; напротивъ, они этого боятся и не допускаютъ. „То, наоборотъ, „выборъ жениха и невѣсты долженъ быть предоставленъ имъ самимъ", но съ условіемъ, чтобы ими руководило отнюдь не чувство любви, а дружбы. Слѣдуютъ доказательства, что въ любви не руководствуются высшими соображеніями, ибо любовь есть „психозъ, помраченіе разума, гипнозъ" и т. п. Такъ, великіе люди по большей части женятся на женщинахъ гораздо ниже ихъ по достоинству, примѣръ—Гете, Данте, Мольеръ, Гейне и проч. Отсюда выводъ—если ужъ жениться, то лучше безъ любви. Хотя, поправляется авторъ, „я этой страсти ни отрицать, ни утверждать не могу, она явленіе природное, въ своемъ корнѣ отъ насъ не зависящее". А если такъ, то... опять прыжокъ въ сторону, къ какимъ-то невѣдомымъ временамъ, когда „берегли не только физическую, но и психическую невинность юношей, какъ зеницу ока, старались имъ не давать никакого понятія объ этой сторонѣ жизни, скрывали половую любовь, какъ нѣчто постыдное, въ глубокой тайнѣ. Тогда инстинктивно понимали, что „придетъ пора" и все откроется, но лучше, чтобы это открылось людямъ взрослымъ, съ созрѣвшей волею и разумомъ, съ укрѣпившимися понятіями о чести, съ привычкою относиться къ лицамъ другого пола безукоризненно и безтѣлесно". Авторъ не опредѣляетъ, когда это было, заявляя только, что „въ старину, въ хорошихъ семьяхъ", но воздерживаясь отъ указанія на литературу по этому вопросу. И очень понятно почему. Намъ слишкомъ хорошо извѣстно, что творилось въ эту старину, подъ покровомъ невѣдѣнія, и тайны и исторія „дѣвичей" еще не такъ далека отъ современной русской жизни. И прежде, конечно, и теперь были и есть образцовыя семьи. Но ужъ если сравнивать прошлое отношеніе къ любви и современное, беря не исключительные случаи, а среднее проявленіе этого чувства, то безспорно эти отношенія стали теперь и чище, и разумнѣе, и возвышеннѣе. Стоитъ только вспомнить, что представляла русская семейная жизнь еще лѣтъ пятьдесятъ назадъ

какъ она отразилась въ драмахъ Островскаго, въ произведеніяхъ Грибоѣдова, Гоголя, Тургенева, въ „Пошехонской старинѣ“ Салтыкова и т. п. Тутъ играло роль не только крѣпостное право, страшно принижавшее все и всѣхъ, но и грубое невѣжество, отъ котораго мы, къ несчастью, теперь еще далеко не освободились, какъ свидѣтельствуетъ книга г. Меньшикова. Въ чемъ угодно эта „старина“ пусть служитъ урокомъ, но никакъ не въ дѣлѣ любви можемъ мы у нея поучиться нравственности.

Въ слѣдующей главѣ „Суевѣрія и правда любви“, самой афористической, гдѣ Шопенгауеръ цитируется на ряду съ парижскими кокотками, въ родѣ знаменитыхъ Иветъ и Отеро, г. Меньшиковъ побѣдоносно ниспровергаетъ „культъ“ любви, понимаемой какъ только физическое чувство, не облагороженное никакими высшими стремленіями. Побѣда его, довольно-таки жалкая по существу, такъ какъ онъ штурмуетъ открытыя двери и учиняетъ разгромъ беззащитныхъ. Мы бы охотно увѣнчали его лаврами, если бы не было смѣшно читать, когда онъ громитъ „дамъ“, которыя извращаютъ смыслъ евангельскихъ словъ о любви для оправданія своихъ faux pas. Курьезнѣе всего въ этой главѣ его разборъ „Ромео и Джульетты“, дѣлаемый имъ съ точки зрѣнія аскета-моралиста. Видите, видите, торжествуетъ г. Меньшиковъ, къ чему ихъ привела любовь? Родителей не слушались, родственными чувствами небрегли и погибли. Ну какъ же послѣ этого любовь не безуміе? Ясное дѣло, да. Но не безуменъ ли г. Меньшиковъ со своей критикой, основанной на абсолютной морали, не желающей считаться съ грѣшной землей.

Въ третьей главѣ „Супружеская любовь“, повторивъ, по обыкновенію съ десятокъ разъ, что основа брака „не разсчетъ, на наслажденіе“, а взаимное уваженіе, любовь и дружба, имѣющія цѣль—„взаимное сотрудничество въ дѣлѣ жизни“, г. Меньшиковъ обрушивается на современную семью, гдѣ этого начала будто бы нѣтъ. Для подтвержденія гибели семейнаго начала приводятся наблюденія автора, въ которыхъ онъ говоритъ о развратѣ... „золотой молодежи“ (стр. 138—139). Нельзя сказать, чтобы это было убѣдительное доказательство. Далѣе слѣдуютъ нападенія на нигилистовъ 60-хъ годовъ (стр. 154 и др.). Запоздалая вылазка понадобилась автору для борьбы съ „лже-либеральной“, какъ онъ выражается, теоріей „свободной любви“, оправдывающей разводъ. Какова эта критика, пусть судятъ сами читатели: „Честность“ въ дѣлѣ брака,—повѣствуетъ г. Меньшиковъ о нигилистахъ,—заключалась въ томъ, что если ваша жена полюбила вашего пріятеля, вы обязаны были уступить ему честь и мѣсто, ни мало не прекословя, а чуть-ли даже не съ оттѣнкомъ поч-

тительности. У однихъ беллетристовъ мужъ цѣлуетъ въ послѣдній разъ невѣрную жену и исчезаетъ куда-нибудь, въ Америку, что-ли, у другихъ мужъ доводитъ великодушіе до того, что соединяетъ руки своей жены и любовника, у третьихъ мужъ съ перваго дня брака твердитъ женѣ, что она во всякую минуту свободна, и, наконецъ, добившись ея измѣны, чуть не съ торжествомъ выдаетъ ей отдѣльный видъ или разводъ и даже снабжаетъ деньгами, если любовникъ жены—какой-нибудь интеллигентный пролетарій. На эту тему со всевозможными варіаціями написано множество плохихъ романовъ и повѣстей, которые читались (а вѣроятно, и до сихъ поръ кое-гдѣ читаются) съ восхищеніемъ. Свобода брака! Свобода любви! Вотъ лозунгъ, наиболѣе понятный изъ всѣхъ для распущенныхъ дамъ и кавалеровъ. Положимъ, они и до нигилизма пользовались этою свободою, но прежде она считалась мерзостью, а тутъ вдругъ ее возвели въ достоинство, въ добродѣтель! Немудрено, что десятки и сотни тысячъ дамъ и мужчинъ—нѣсколько поколѣній подъ-рядъ—подъ благословеніемъ этой доктрины пускались во всѣ тяжкія и мѣняли свои привязанности чуть-ли не одновременно съ бѣльемъ" (стр. 155).

„Клевещите, клевещите,—говоритъ донъ Базиліо въ „Севильскомъ цирюльникѣ",—отъ клеветы всегда останется что-нибудь". Зачѣмъ, однако, эта запоздалая клевета, это грубое извращеніе литературы 60-хъ годовъ, посвященной вопросу о свободѣ любви? А затѣмъ, чтобы доказать, что современное поколѣніе есть продуктъ такой распавшейся семьи, гдѣ „привязанности мѣнялись съ бѣльемъ", и что теперь нѣтъ истинной семьи. „Лже-либеральное" движеніе требуетъ разрѣшенія развода и будто бы санкціонируетъ теорію свободной любви. Авторъ рѣшительно противъ развода, онъ хочетъ начать „истинно-либеральное" движеніе, которое бы привело къ ненужности развода. Цѣль очень почтенная, но какъ же надѣется достигнуть ея г. Меньшиковъ? Для этого онъ ставитъ абсолютное требованіе: выходить замужъ и жениться безъ любви, и тогда не будетъ повода къ разводу. „Поводомъ и основою брака можетъ служить только цѣль, указанная при твореніи: необходимость человѣку имѣть помощника, помощника не только въ жизненномъ трудѣ, но и въ нравственномъ подвигѣ, для котораго человѣкъ посылается въ міръ, и для дѣторожденія, необходимаго для совершенствованія тѣхъ душъ, которыя еще слишкомъ далеки отъ идеала. И если встрѣчаются мужчина и женщина, которые изъ всѣхъ пригоднѣе для помощи другъ другу,—это и есть поводъ и основа брака, а вовсе не любовь" (стр. 178).

Договорившись до такого брака, г. Меньшиковъ вполнѣ логически заканчиваетъ книгу главой объ особой „святой любви“, для которой ни бракъ не нуженъ, ни дѣторожденіе, потому что такая любовь въ себѣ самой находитъ цѣль и содержаніе. Слѣдуетъ длинное разсужденіе о достоинствахъ и преимуществахъ святой любви, какъ ее представляетъ г. Меньшиковъ, но которая всякому простому, не изощренному въ „эллинскихъ мудрованіяхъ“ уму и сердцу покажется чѣмъ угодно, только не любовью. Наворотивъ массу словъ о „безстрастіи“, „безкорыстіи“, „безпредметности“ и „безпредѣльности“ этой любви, г. Меньшиковъ ставитъ для опредѣленія такой любви вопросъ, можно ли „одинаково любить и ребенка, и разбойника, который выкалываетъ ему глаза?“ — и отвѣчаетъ съ полнымъ душевнымъ спокойствіемъ: „дѣйствительно, святая любовь любитъ и ребенка, и разбойника“. Слѣдуетъ, по истинѣ іезуитски-казуистическое толкованіе, для юродствующей литературы высоко характерное. „Мы,— говоритъ авторъ,—смотримъ на жизнь сквозь наше искривленное сознаніе, подобно тому, какъ сквозь кривыя стекла дома можно подумать съ улицы, что отецъ душитъ ребенка, тогда какъ онъ его щекочетъ, такъ и сквозь иллюзорное сознаніе наше всѣ факты жизни могутъ быть извращены относительно ихъ абсолютной сущности. Можетъ быть, разбойникъ, замучивая ребенка, т. е. его временное, мгновенное тѣло, тѣмъ самымъ спасаетъ душу. Можетъ быть, это мученіе необходимо для спасенія самого разбойника, для пробужденія въ немъ искры совѣсти. Можетъ быть, это злодѣйство нужно для того, чтобы потрясти слишкомъ неподвижныя души другихъ людей. Я не рѣшаю вопроса, мотивы Высшей воли мнѣ неизвѣстны, но если вѣрить въ эту волю, то нужно вѣрить также, что она Благо, что страданія наши суть только дурно понятыя нами блага“ (стр. 211—212 и далѣе). Не такъ ли во время оно разсуждали господа инквизиторы, сжигая людей для спасенія ихъ души? И неужели въ концѣ XIX в. приходится говорить, что Высшая воля, какъ истинное Благо, не можетъ стремиться къ добру злыми путями? И не потому ли данъ законъ этой Высшею Волею въ словахъ: „нѣтъ той любви больше, какъ если кто положитъ душу свою за друзей своихъ?“ Одно изъ двухъ— или этотъ законъ истина, и тогда дѣйственная любовь, предписанная имъ, никогда не примирится съ этими „можетъ быть“ г. Меньшикова и не останется безстрастной при видѣ разбойника, выкалывающаго глаза ребенку, или же... Впрочемъ, никакого другого „или“ здѣсь и быть не можетъ для нравственно-здоровыхъ людей.

Мы видѣли, какъ этотъ проповѣдникъ примѣняетъ свою

„святую любовь“. Оправдавъ разбойника, онъ съ пѣною у рта накидывается на злополучныхъ нигилистовъ, не обинуясь возводя на нихъ вздорное обвиненіе, будто они развратили и уничтожили семью. Елейный сладкопѣвецъ, не смущаясь, всѣхъ влюбленныхъ величаетъ „свиньями“, обвиняетъ въ „подлости любви“, бросаетъ вызовъ „всѣмъ честнымъ“ людямъ — признаться, что въ пору любви они всѣ были проникнуты самыми гнусными и низменными порывами. Постоянно твердя—«любовь, любовь», онъ извращаетъ исторію, литературу, подхватываетъ всякія вздорныя измышленія до откровенныхъ глупостей парижскихъ кокотокъ— и все это лишь затѣмъ, чтобы оплевать, огадить, загрязнить то, что скрашиваетъ жизнь бѣднаго человѣчества, что единитъ людей и въ самомъ сухомъ и черствомъ сердцѣ вызываетъ трепетъ добра, милосердія и чистѣйшихъ порывовъ. Съ дикой радостью выхватываетъ онъ, проповѣдникъ любви, всякія уродства, неестественныя проявленія полового чувства и торжествующе вопіетъ „вотъ она, ваша любовь!“

Все, что угодно, вдохновляло г. Меньшикова, но никакъ не чувство любви. Ибо давно уже сказано: «Если я говорю языками человѣческими и ангельскими, а любви не имѣю, то я—мѣдь звенящая, или кимвалъ звучащій. Если имѣю даръ пророчества, и знаю всѣ тайны, и имѣю всякое познаніе и всю вѣру, такъ что могу и горы переставлять, а не имѣю любви, — то я ничто. И если я роздамъ все имѣніе мое, и отдамъ тѣло мое на сожженіе, а любви не имѣю, — нѣтъ мнѣ въ томъ никакой пользы. Любовь долготерпитъ, милосердствуетъ, любовь не завидуетъ, любовь не превозносится, не гордится, не безчинствуетъ, не ищетъ своего, не раздражается, не мыслитъ зла, не радуется неправдѣ, а сорадуется истинѣ. Все покрываетъ, всему вѣритъ, всего надѣется, все переноситъ». (Первое посланіе къ коринѳянамъ ап. Павла, гл. 13, ст. 1—7). Вотъ что такое «святая любовь», и ни слѣда ея нѣтъ въ гнусной и человѣконенавистнической книгѣ публициста изъ «Недѣли».

Переходъ отъ г. Меньшикова къ г. Розанову—прямой и непосредственный. Это двѣ родственныя души, единомыслящія и единостремящіяся. Раньше мы указали на разницу ихъ стиля. Теперь укажемъ на ихъ общія свойства.

Мы только что видѣли, какъ г. Меньшиковъ стремится изгнать любовь во имя любви,—г. Розановъ продѣлываетъ ту же операцію надъ просвѣщеніемъ, и, къ счастью, съ такимъ же успѣхомъ. Пріемы его совершенно тѣ же, что и г. Меньшикова, та же логика, тотъ же абсолютизмъ, та же непреложность и широковѣщательная манера, то же самодовольство и глубочайшая увѣренность въ обладаніи полной

истиной. «Мысли, изложенныя въ моей статьѣ, — говоритъ онъ о своей статьѣ «Сумерки просвѣщенія», — должны бы быть индиферентны для всѣхъ партій, борющихся за ту или иную систему образованія у насъ ли, въ Западной ли Европѣ; и я имѣлъ нѣкоторую надежду, что для всѣхъ же партій они будутъ цѣнны, потому что вскрываютъ сторону вопроса, ими всѣми равно опущенную. Я не касаюсь ни реализма, ни классицизма въ образованіи; меня занимаетъ скорѣе вопросъ: почему и при классицизмѣ юныя образующіяся души являются такъ мало проникнутыми имъ? Почему, проходя реальную школу, онѣ такъ мало проникнуты бываютъ интересомъ къ реальнымъ наукамъ—этому плоду новаго трехвѣкового европейскаго движенія? Ни одного типа школы я не отвергаю; я изслѣдую только, почему всѣ типы такъ мало достигаютъ своихъ цѣлей, съ такимъ упорствомъ осуществляемыхъ, такъ ярко и, несомнѣнно, благородно желаемыхъ“ (стр. 86—87).

Такова цѣль г. Розанова. Въ „Сумеркахъ просвѣщенія“ онъ критикуетъ въ началѣ основу современной школы — низшей, средней и высшей, находя всѣ эти школы не отвѣчающими назначенію. Основной недостатокъ заключается въ отсутствіи принципа индивидуальности, въ отрывочности знаній, въ невыдержанности типа для каждой школы. Преимущественно рѣчь идетъ о средней школѣ, но заключенія свои онъ постепенно распространяетъ на всю систему образованія. Онъ указываетъ на шаблонность и формализмъ, на схоластику, изгнавшую изъ средней школы живую жизнь и убивающую личность во имя отвлеченнаго принципа государственности. Всѣ его указанія, какъ видятъ читатели, вѣрны, хотя и не новы, потому что тысячи разъ повторялись въ нашей литературѣ. Если бы г. Розановъ ограничился ими, мы имѣли бы тысячу первую критику современной гимназіи, написанную мучительно тягостнымъ языкомъ—и только. Пожалуй, она даже имѣла бы нѣкоторое значеніе, какъ критика изъ реакціоннаго лагеря, до сихъ поръ упорно отстаивавшаго ломку средней школы, произведенную гр. Д. А. Толстымъ. Въ этомъ и заключалась бы оригинальность г. Розанова. Но, съ другой стороны, какая же критика безъ положительнаго идеала, и вполнѣ законно его стремленіе — указать тотъ свѣтъ, который, по его мнѣнію, долженъ разсѣять нынѣшнія сумерки.

Онъ начинаетъ снизу — съ народной школы, которая, какъ и все прочее, подпала нынѣ ложному и вредному вліянію западной цивилизаціи. Надо изгнать послѣднюю изъ всѣхъ закоулковъ низшей школы, вернуть школу въ ея первобытное состояніе. Какъ же сдѣлать это, какъ изба-

вить плѣненную народную школу, гдѣ теперь учатъ люди, „темные въ просвѣщеніи и въ путяхъ исторіи?“ Ибо „темны были въ просвѣщеніи эти люди, когда, набравъ немножко грамматики, немножко ариѳметики, прибавивъ къ этому кое-что по географіи и исторіи, думали, что съ четырьмя своими книжками они внесутъ что-нибудь въ душу, надъ изученіемъ богатствъ которой трудятся первоклассные ученые; темны они были въ путяхъ исторіи, когда думали, что во всемъ разучившійся и ничему не научившійся наемникъ, придя въ деревню съ этими книжками, можетъ начать въ ней новое просвѣщеніе“ (стр. 28). Надо вернуться къ „естественнымъ“ силамъ. Кто и гдѣ эти силы, ясно само собой. Имѣется въ виду церковно-приходская школа, но отнюдь не та, которую мы знаемъ, съ опредѣленной программой, особыми учителями и подъ надзоромъ высшей власти. „Есть эти силы и для школы, это — силы церкви и всѣхъ, кто, слушая изъ за ограды ея ученіе—болѣе всего его любятъ“. „Нельзя довѣрять слѣпому вести зрячаго“, говоритъ онъ затѣмъ, и такъ какъ государство—слѣпо, то „нужно имѣть довѣріе, что зрячій различитъ пути и не останется на мѣстѣ; не нужно къ церкви приставлять стражей, чтобы она, почти два тысячелѣтія учительная, взростившая въ ученіи своемъ весь христіанскій міръ, не упустила какихъ-нибудь подробностей, въ которыхъ однѣхъ могутъ что-нибудь понимать эти приставленники“. Мало того, что не надо никакого контроля надъ такой школой,—не надо для нея ни программы, ни учебниковъ. „Невозможно, не слѣдуетъ устанавливать „отъ сихъ до сихъ“ программы: не приподнявъ худое, она закроетъ ростъ доброму“. Объ этомъ нечего заботиться. Но вотъ о чемъ слѣдуетъ и даже очень: „Несомнѣнно должны быть удалены изъ элементарной школы тѣ „начатки міровѣдѣнія“, какіе обычно сообщаются при началѣ курса географіи (въ средней школѣ на первомъ же урокѣ ея перваго класса). Есть нѣчто развращающее въ этомъ сообщеніи... Есть недостатокъ благоговѣйной памяти къ трудамъ Коперника и Кеплера, есть страшное насиліе надъ дѣтскимъ воображеніемъ, насильственное вталкиваніе въ него свѣдѣнія, для насъ любопытнаго, но въ немъ ни на что не отвѣчающаго, ни съ чѣмъ не гармонирующаго и, если вдуматься строже, ничего неправильнаго въ его созерцаніи не поправляющаго. Вѣдь не ошибается же ѣдущій изъ Нижняго въ Москву, думая и говоря, что онъ движется на западъ, хотя въ смыслѣ абсолютнаго движенія, онъ съ чрезвычайной быстротой мчится на востокъ. Именно это только утвержденіе дѣлаетъ и простолюдинъ, думая и говоря, что земля неподвижна — не относительно созвѣздія

Козерога или Сиріуса, чего онъ не знаетъ и о чемъ не говоритъ, а относительно его самого, поля, лѣса, города, этихъ плывущихъ облаковъ и тверди небесной, по которой они плывутъ. И также точно говоря, какъ, что солнце восходитъ, онъ ничего другого не говоритъ, что оно становится ближе къ зениту, выше по дугѣ, соединяющей этотъ зенитъ съ горизонтомъ — что правильно и не нуждается въ опроверженіяхъ. Итакъ, въ его твердомъ созерцаніи все покоится, и никто не оцѣнилъ еще важности этого покоя для устойчивости воображенія, мысли—всего душевнаго строя. Механики и психологи говорятъ, что и всѣ мы не могли бы сдѣлать малѣйшаго движенія, если бы ежеминутно вмѣстѣ съ относительнымъ движеніемъ представляли себѣ и абсолютное, и только при психически необходимой ошибкѣ, при представленіи въ каждый моментъ всего, кромѣ себя, въ покоѣ,—можемъ двигаться. Но если для особыхъ цѣлей научнаго знанія намъ иногда необходимо *вспоминать* и объ абсолютномъ движеніи, это воспоминаніе незачѣмъ навязывать, внѣ всякихъ цѣлей и необходимости, простолюдину" (стр. 35—36). Къ этому разсужденію позволимъ себѣ добавить небольшую историческую справку, забытую г. Розановымъ. Онъ ошибается, будто „никто не оцѣнилъ еще важности этого покоя" земли для души народа. Еще святая инквизиція, въ числѣ обвиненій противъ Галилея, указывала, что онъ своимъ утвержденіемъ, что земля движется, *нарушаетъ* и *смущаетъ* покой невинныхъ душъ. Указываемъ на это совпаденіе мыслей г. Розанова и судей Галилея, какъ на любопытный примѣръ атавизма. Далѣе мы еще увидимъ такія же проявленія атавизма.

Чтобы устранить все, что нарушаетъ покой „простолюдина", г. Розановъ совѣтуетъ также избѣгать въ этой школѣ всякихъ учебниковъ. Онъ сравниваетъ исторію Иловайскаго и „Синопсисъ" XVIII в. и приходитъ къ слѣдующему заключенію: „Въ древнихъ книгахъ, въ большомъ и маломъ объемѣ („Синопсисъ" заключаетъ въ себѣ 224 стр., учебникъ Иловайскаго 397 стр.), по всѣмъ, строго необходимымъ для крестьянскаго воспитанія предметамъ даны свѣдѣнія въ формѣ, не дисгармонирующей съ содержаніемъ. Этой дисгармоніи нельзя вносить, не нарушая смысла въ самомъ предметѣ, цѣлесообразности въ преподаваніи его, значенія во всей школѣ. Итакъ, если отъ бѣдственной идеи учебныхъ программъ еще нельзя скоро освободиться по силѣ предразсудка, нужно, по крайней мѣрѣ, отнять въ нихъ зло эгоистическаго самоволія: ихъ нельзя абстрактно составлять и вызывать ими развратную литературу „руководствъ", но, поработавъ надъ старыми книгами, избравъ

изъ сокровищъ воспитанія, въ нихъ содержащагося, наилучшее—слѣдуетъ примѣнительно къ этому наилучшему, обнимая его, составить программы" (стр. 33). Иными словами, ради сокровищъ „Синопсиса" г. Розановъ готовъ отказаться и отъ выраженной имъ нѣсколько выше (стр. 30) ненависти къ программамъ вообще, которыя, „не поднявъ худое, закроютъ ростъ доброму".

Свою реформу низшей школы онъ заканчиваетъ слѣдующимъ пожеланіемъ: „Итакъ, мы думаемъ, что достаточно, если одна половина христіанскаго міра (западно-европейская) отдала дары своего первородства за человѣческую похлебку; у насъ же пусть лучше останется мякинный хлѣбъ и христіанство. Вѣдь несомнѣнно, что именно ихъ сознательно и твердо избираетъ и желалъ бы покончить на вѣки этотъ вопросъ народъ нашъ. Не будемъ же опять лукаво подходить къ нему, чтобы, оставивъ ему тлѣнныя вещи, которыя и намъ не нужны, украсть у него нетлѣнное сокровище. Оставимъ ему его общину, холщевую самодѣльную рубаху, и дадимъ, чего онъ въ правѣ требовать и мы не въ правѣ отказать, три десятины на душу" (стр. 37—38). Читателя не должна удивлять манера г. Розанова — говорить отъ имени всего народа русскаго. Это обычная манера юродствующей литературы—превозноситься до олицетворенія въ себѣ Бога, если рѣчь идетъ о вопросахъ вѣры, какъ это дѣлаетъ г. Меньшиковъ, предавая анаѳемѣ чувство любви, или народа, если дѣло касается народныхъ воззрѣній. Нечего спрашивать у г. Розанова, гдѣ и когда народъ „сознательно и твердо" пожелалъ отказаться отъ общеобразовательной школы въ пользу уродливой затѣи г. Розанова съ „Синопсисомъ" вмѣсто учебниковъ, безъ учителей и безъ программъ? Или кто уполномочилъ г. Розанова такъ просто рѣшить за народъ сложнѣйшій экономическій вопросъ объ общинѣ и трехъ десятинахъ на душу, — „оставимъ" ему! Кто это „мы", столь могущественные, что достаточно „намъ" сказать „да будетъ"—и община останется у народа неприкосновенной плюсъ три десятины земли?.. И съ какихъ это поръ русскій народъ получилъ въ монополію христіанство? На такіе вопросы гг. Меньшиковы и Розановы не отвѣчаютъ, просто потому, что все время они витаютъ внѣ времени и пространства. Иначе тотъ же г. Розановъ вспомнилъ бы, что нигдѣ еще „простолюдинъ" нашъ не отказался отъ современной школы, которая наполнена и переполнена, что никто еще у народа общины не отнималъ и не отниметъ. Что же касается трехъ десятинъ, то ихъ мы готовы приписать всецѣло доброй душѣ г. Розанова и охотно ему посочувствуемъ.

Таковъ „свѣтъ“, которымъ желалъ бы осіять нашу народную школу г. Розановъ. Думаемъ, что всякая критика здѣсь излишня. Въ своемъ усердіи г. Розановъ, что называется, перехолопилъ. Въ самомъ дѣлѣ, какова ни на есть современная церковно-приходская школа, все же она неизмѣримо выше этого „идеала“ съ „Синопсисомъ“ вмѣсто „развратной литературы“ руководствъ, съ тремя китами вмѣсто „развращающихъ“ начатковъ міровѣдѣнія, безъ особыхъ учителей, безъ программъ и всякаго контроля. Есть въ этой школѣ и руководства, и программы, и учителя. Правда, все это далеко отъ совершенства, но самый плохенькій учебникъ, по которому учатъ въ церковно-приходской школѣ, лучше чудовищнаго „Синопсиса“. По крайней мѣрѣ, хоть трехъ китовъ тамъ нѣтъ. Противъ „Синопсиса“ возсталъ даже г. Иловайскій, и мы въ этомъ случаѣ всецѣло на его сторонѣ.

Опять-таки это общая черта у всѣхъ юродствующихъ писателей. Они ужъ если начнутъ, такъ хватятъ что-нибудь такое, что всѣ ихъ присные готовы отъ стыда сгорѣть. Отсутствіе мѣры и такта и излишекъ ревности доводятъ ихъ обыкновенно до неприличія, какъ свидѣтельствуетъ далѣе все тотъ же г. Розановъ.

Приступивъ къ реформѣ средняго образованія, онъ обрушивается на гимназіи, мужскія и женскія, находя, что онѣ только губятъ всѣхъ и ничего не даютъ никому. Больше всего его возмущаетъ смѣшанность въ нихъ учениковъ, и онъ предлагаетъ раздѣлить среднюю школу на два типа, какъ видно изъ слѣдующаго резюме его учебнаго плана: „Должны быть открыты для мірянъ параллельные курсы съ тѣми, какіе проходятъ будущіе священно-и церковно-служители, гдѣ то, что ими изучается, и только это одно, изучалось бы въ степени очень ослабленной. Тотъ же самый душевный строй, устремленіе вниманія къ тѣмъ же предметамъ, наученіе достаточное, чтобы прибавить къ сердечному слушанію литургіи и слушаніе разумное, — вотъ все, что здѣсь удавалось бы каждому и къ чему для даровитыхъ прибавлялись бы и всѣ сокровища христіанской культуры. Нѣтъ сомнѣнія, что для самыхъ людныхъ классовъ городского населенія, для ремесленника, для мѣщанина, для именитаго купца, съ тарелкой собирающаго подаяніе въ церкви, для всѣхъ этихъ людей, столь неожиданно изумленныхъ міромъ Ѳемистокловъ и Лициніевъ, свѣченія моря и вертящейся земли, *этотъ міръ* (курсивъ г. Розанова) евангельскихъ притчъ и житій святыхъ, чудной исторіи объ Руѳи и поученій Іисуса сына Сирахова былъ бы и неудивителенъ, и глубоко родственъ, и,—мы увѣрены въ этомъ,—не менѣе

культуренъ. Такимъ образомъ, средняя классическая школа, какъ это и слѣдуетъ, осталась бы школою для классовъ, уже вышедшихъ изъ культуры только христіанской (т. е.,— поясняетъ г. Розановъ въ примѣчаніи, — для дворянства и бюрократіи, безъ искусственнаго привлеченія, черезъ „преимущества", другихъ классовъ); эта же послѣдняя осталась бы воспитательной для всѣхъ остальныхъ классовъ населенія... Воспитаніе женское, сообразно установившемуся уже историческому теченію (?!), должно быть для городского населенія также двояко: для массы оно должно быть церковное, для нѣкоторыхъ, т. е. также для дворянства и для бюрократіи, то особенное, нѣсколько исключительное, нѣсколько искусственное, но, во всякомъ случаѣ, дѣйствительно образующее, какое дается нашими институтами" (стр. 51—52). Типомъ женскихъ церковныхъ школъ г. Розановъ рекомендуетъ епархіальныя училища, хотя съ горечью и сожалѣніемъ замѣчаетъ: „Они (епархіальныя училища) нѣсколько испорчены только своимъ сближеніемъ съ женскими гимназіями, какъ и семинаріи испорчены черезъ сближеніе со свѣтской школой,—не потому, что она классическая, но потому, что она совершенно не выдержана въ своемъ классическомъ строѣ. Изъ курса епархіальныхъ училищъ, какъ и изъ курса семинарій должны быть удалены физика, космографія и,—я глубоко убѣжденъ въ этомъ,—также геометрія и алгебра" (прим. 2, стр. 51)..

Не правы ли мы, говоря, что откровенность г. Розанова,— или его усердіе, не знаемъ, что лучше и вѣрнѣе,—доходитъ до неприличія? Едва ли кто изъ его единомышленниковъ, за исключеніемъ, конечно, г. П. Перцова, его издателя, рѣшился бы откровенно высказать пожеланіе — изгнать изъ средней школы „для массы" вышеназванныя науки, „весь міръ Ѳемистокловъ и Лициніевъ, свѣченія моря и вертящейся земли". По крайней мѣрѣ, до сихъ поръ это первое громкое и откровенное признаніе, и что бы ни случилось затѣмъ, г. Розанову купно съ г. Перцовымъ надлежитъ пальма первенства за открытое гоненіе на „міръ вертящейся земли",—вмѣстѣ съ тѣмъ и за открытіе такого міра.

Но г. Розановъ и его вѣрный Санчо Панса, г. Перцовъ, на этомъ не останавливаются. Какъ истинно русскіе люди, они не знаютъ предѣла въ своемъ размахѣ и выступаютъ подъ конецъ совсѣмъ au naturel.

Давъ планъ образованія, они не могли не коснуться и воспитательной стороны бѣднаго человѣчества, и такъ какъ ихъ идеалы назади, то г. Розановъ спокойно и безстрастно заявляетъ, а г. Перцовъ почтительно печатаетъ: „Мнѣ не кажется излишней въ школѣ суровость; я не отвергаю (и

думаю, напротивъ, что даже должны быть возстановлены въ ней) физическія наказанія" (стр. 98). Опасаясь, чтобы его не поняли превратно или иносказательно, г. Розановъ на стр. 131, примѣчаніе, поясняетъ:

„Въ бытность мою учителемъ гимназіи и вмѣстѣ классным наставникомъ, ко мнѣ, какъ къ послѣднему, нерѣдко являлись матери учениковъ (всегда вдовы) съ просьбой наказать розгами (т. е., чтобы это было сдѣлано въ гимназіи) своего разбаловавшагося мальчугана: „сестеръ колотитъ, меня не слушаетъ, ничего не могу сдѣлать", и проч.; я, конечно, объяснялъ, что это запрещено всѣми параграфами, но, зная конкретно мальчишку способнаго и, что называется, зарвавшагося, потерявшаго голову отъ баловства, всегда давалъ совѣтъ—обратиться къ кому-нибудь по сосѣдству или изъ родственниковъ и больно-больно высѣчь его. И теперь, когда мнѣ приходится видѣть въ богатой и образованной семьѣ лимфатическихъ дѣтей, киснущихъ среди своихъ „глобусовъ" и другихъ „пособій", я всегда, вспоминая и свое дѣтство, думаю: какъ бы встряхнулись они, оживились, начали тотчасъ и размышлять, и чувствовать, если бы, взамѣнъ всѣхъ этихъ для ихъ любознательности расшпиленныхъ букашекъ и запыленныхъ минераловъ, разъ-другой ихъ самихъ вспрыснуть по-старому. Все тотчасъ бы перемѣнилось въ „обстоятельствахъ": и впечатлительность бы пробудилась, и сила сопротивленія требуемому,—именно *оживился бы* (курсивъ г. Розанова) духъ, который теперь только затягивается какою-то плѣсенью подъ музыку все поученій, поученій и поученій, все разъясненій, разъясненій и разъясненій. Розга — это, наконецъ, фактъ; это—насиліе надо мною, которая вызываетъ всѣ мои силы къ борьбѣ съ собою; это—предметъ моей ненависти, негодованія, отчасти, однако же, и страха; въ отношеніи къ ней—я, наконецъ, не пассивенъ; и, уединившись въ себя отъ тѣхъ, въ рукахъ кого она, — наконецъ, свободенъ, то-есть, свободенъ въ душѣ своей, въ мысли, непокоренъ ничему, кромѣ боли своей и негодованія. Я серьезно спрашиваю: чѣмъ, какими коллекціями, какими иллюстраціями и глобусами можно вызвать эту *сложную* и *яркую* работу души, эту ея самостоятельность, силу, напряженіе? Что касается „униженія человѣческой природы", будто бы наносимаго розгой, то вѣдь не унизила она Лютера, нашего Ломоносова; отчего же бы унизила современныхъ мальчишекъ?"

Этотъ гимнъ розгѣ заимствованъ авторомъ цѣликомъ изъ древнихъ букварей, современныхъ „Синопсису", въ которыхъ на заглавномъ листѣ помѣщались обыкновенно стишки

въ назиданіе питомцу, совершенно похожіе по содержанію съ гимномъ г. Розанова. Совершенно „серьезно“ спрашиваемъ его: не розгою ли вызываетъ онъ въ себѣ эту „свободу въ душѣ своей, въ мысли, непокорство“, которыя проявляетъ въ своей чудовищной проповѣди дикаго мракобѣсія? Намъ представляется невозможнымъ, чтобы образованный человѣкъ конца XIX в., въ здравомъ умѣ и полной памяти, могъ серьезно приглашать насъ вернуться къ тѣмъ временамъ, когда, по словамъ Амоса Коменскаго, школы были застѣнками, а учителя палачами, упражнявшимися во имя науки надъ ея невинными жертвами.

Мы далеко еще не исчерпали всѣхъ откровенныхъ признаній г. Розанова, но и этихъ образчиковъ, думаемъ, достаточно, чтобы оправдать нашу характеристику, сдѣланную въ началѣ. Еще лишь два слова изъ его реформы университетовъ, которыми онъ тоже недоволенъ за „начатки міровѣдѣнія“. Но, признавая, что въ наше время все же нельзя отказать человѣчеству въ знаніяхъ, онъ стремится лишь „упорядочить“ оныя. „Безусловная несвязанность мысли и ея выраженія должна быть допущена здѣсь — вѣдь безъ этого тотчасъ нарушается самая идея познанія“,—не правда ли, какъ „лже-либерально“? Хотя „несвязанность“ и не есть еще свобода, но все же для г. Розанова это уже очень много. Однако, не будемъ торопиться. „Но,—предостерегающе подъемлетъ перстъ г. Розановъ,—конечно, къ этому высокому праву могутъ быть допущены только тѣ, которые подходили бы къ нему съ священнымъ трепетомъ долга“. Первое ограниченіе „несвязанности“—„священный трепетъ долга“, качество, вообще весьма трудно констатируемое. Познанія, умъ, талантъ, ученыя работы—всѣ эти данныя въ глазахъ г. Розанова нѣчто несущественное, внѣшнее, поверхностное: „священный трепетъ долга“—вотъ что рѣшаетъ вопросъ о правѣ быть допущеннымъ на каѳедру. Согласны, пусть даже это мистически-туманное качество. Но кто же будетъ рѣшать, какой профессоръ обладаетъ имъ, какой нѣтъ? Сами университеты? О нѣтъ: „Доступъ туда (на каѳедру) не можетъ быть свободенъ для всякаго, и онъ не можетъ стать предметомъ передачи отъ учителя къ ученику... и не можетъ этотъ доступъ открываться самимъ университетомъ... Мы думаемъ,—совокупности университетовъ, но такъ, чтобы избираемый въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ былъ избираемъ не изъ корпораціи, его избирающей, но изъ другихъ родственныхъ“. Замѣтивъ, что онъ предлагаетъ нѣчто сугубо несуразное, г. Розановъ моментально поправляется и уже строго и настойчиво рѣшаетъ: „Это же право, безъ всякаго ущерба для университета и

его достоинства, могло бы принадлежать пожизненнымъ ихъ покровителямъ, но непремѣнно—близкимъ имъ... Мы думаемъ, назначеніе отъ государства подобныхъ покровителей *наилучшимъ образомъ* могло бы обезпечить университеты..." (стр. 63). Что же останется отъ „несвязанности мысли и выраженія"? Съ одной стороны—„священный трепетъ долга", съ другой—„покровитель", какъ единый судья и вершитель—не получится ли въ результатѣ вмѣсто „Сумерокъ просвѣщенія"—сугубая тьма? Въ особенности, если подобранному такимъ образомъ университету былъ бы порученъ, какъ предлагаетъ г. Розановъ, еще и „надзоръ за печатью".

Теперь окинемъ „умственнымъ окомъ" весь планъ просвѣщенія, какъ онъ мерещится распаленному „вспрыскиваніемъ" розгами духу гг. Розановыхъ и Перцовыхъ. Внизу „простолюдинъ", просвѣщаемый „Синопсисомъ", строго оберегаемый отъ „развращающей литературы" руководствъ съ ихъ „начатками міровѣдѣнія" и блаженно покоющійся на трехъ китахъ невиннаго невѣдѣнія. Для пищи матеріальной—„оставимъ ему общину и три десятины на душу".—словомъ, внизу „мякинный хлѣбъ и христіанство" въ духѣ, конечно г. Розанова. Слѣдующая ступень—среднее образованіе безъ геометріи, алгебры, физики, географіи, свободное „отъ міра Ѳемистокловъ и Лициніевъ, свѣченія моря и вертящейся земли". Для оживленія „силы сопротивляемости, духа любознательности и свободы въ мысли"—розги, въ изобиліи расточаемыя вмѣсто „глобусовъ" и другихъ „пособій". На третьей ступени—университетъ, составленный изъ проникнутыхъ „священнымъ трепетомъ долга" профессоровъ, избираемыхъ пожизненными покровителями по назначенію администраціи. И, наконецъ, какъ увѣнчаніе зданія—печать подъ надзоромъ подобнаго трепещущаго университета. Нельзя этому плану гг. Розановыхъ и Перцовыхъ отказать въ стройности и послѣдовательности. Но, можетъ спросить иной наивный читатель, что же тогда станется съ просвѣщеніемъ? Именно то самое, къ чему стремится г. Розановъ: оно будетъ уничтожено во имя индивидуальности, цѣльности и единства типа, который, въ отличіе всякаго другого, мы осмѣлились назвать „юродствующимъ".

Есть одна несомнѣнная заслуга въ юродствующей литературѣ. Доводя до крайности въ своихъ откровенно-циничныхъ признаніяхъ основныя положенія, заимствуемыя ею изъ источниковъ, пользующихся если не признаніемъ, то вниманіемъ,—эта литература вскрываетъ до очевидности всю дикость этихъ основоположеній. Она показываетъ, во что превратилась бы наша жизнь, какъ частная, такъ и

общественная, если бы человѣчество забыло хоть на мгновеніе здравыя требованія ума и сердца. По г. Меньшикову, идеалъ семьи—это супружество безъ любви, безъ влеченія брачущихся, основанное исключительно какъ коопераціи. По г. Розанову, просвѣщенная въ духѣ христіанства страна—это народная масса, пребывающая во тьмѣ „Синопсиса", руководимая трепещущими университетами. И тотъ, и другой исходятъ изъ самыхъ, повидимому, высокихъ принциповъ: одинъ во имя якобы поруганной любви, другой—просвѣщенія, нынѣ переживающаго сумерки. Но одинъ изгоняетъ изъ любви необходимѣйшій, существеннѣйшій ея элементъ, безъ котораго любовь превращается въ нѣчто болѣзненное и извращенное. Другой отнимаетъ у просвѣщенія главную его силу—свободу духа, стремясь заковать его въ тѣ старыя оковы, изъ которыхъ человѣчество выбилось путемъ трехвѣковой мучительной борьбы. Одинъ желалъ бы передѣлать человѣческую природу, не замѣчая, что даже съ своей точки зрѣнія наноситъ этимъ жесточайшее оскорбленіе Высшей волѣ, Тому, чьи будто бы велѣнія онъ готовъ признать благомъ даже въ поступкахъ разбойника, выкалывающаго глаза ребенку. Другой хотѣлъ бы потушить свѣтъ знанія совсѣмъ, потому что этотъ свѣтъ, благодаря плохому устройству свѣтильника, недостаточно свѣтитъ, или, вѣрнѣе сказать, не такъ освѣщаетъ, какъ угодно его изувѣрской душѣ. Оба, въ заключеніе, выдаютъ себя головой — своимъ лицемѣріемъ и кощунственнымъ отношеніемъ къ самымъ дорогимъ для человѣчества силамъ—любви и знанію.

Въ этомъ ихъ приговоръ, въ этомъ ихъ и наказаніе.

«Полное собраніе сочиненій П. И. Мельникова». [1]).

Среди бытописателей русской жизни одну изъ оригинальнѣйшихъ фигуръ представляетъ Мельниковъ, псевдонимъ Печерскій, извѣстность котораго въ большой публикѣ распространили его послѣднія два крупныхъ произведенія „Въ лѣсахъ" и „На горахъ". Въ 70-хъ годахъ, когда эти бытовые романы печатались въ „Рус. Вѣстникѣ", имя Мельникова ставили на ряду съ Тургеневымъ и Гончаровымъ, а литературная партія, къ которой принадлежали Катковъ и

[1]) Іюль 1899 г.

Леонтьевъ, превозносила его превыше пирамидъ. Его сравнивали съ Гомеромъ, видѣли въ его романахъ новое откровеніе, всю глубину народной жизни и мудрости, а въ авторѣ усматривали чуть ли не того провиденціальнаго человѣка, которому удалось, наконецъ, найти истинные устои народнаго уклада и народной души. Его цитировали, какъ великаго знатока народнаго быта, на него ссылались, имъ аргументировали. Нужно, впрочемъ, замѣтить, что шумъ дѣлала реакціонная партія. Противная сторона больше отмалчивалась и серьезной критикѣ не подвергала его произведеній, ограничиваясь только признаніемъ несомнѣннаго таланта за авторомъ вездѣ, гдѣ онъ описываетъ бытъ Заволожья, преимущественно одного его уголка, и жизнь раскольничьихъ скитовъ.

Теперь имя Мельникова уже исторія, и о немъ можно говорить совершенно спокойно. Изданное М. Вольфомъ полное собраніе его сочиненій даетъ достаточный матеріалъ для оцѣнки оригинальной личности Мельникова—безъ преувеличеній, съ возможной объективностью при оцѣнкѣ его интересной литературной физіономіи.

Мельниковъ представляетъ особый типъ писателя, который можно сравнить съ двуликимъ Янусомъ, и эту его двуличность не обойдетъ никакая, самая объективная критика. Иначе его нельзя понять и объяснить, какъ только разсмотрѣвъ въ отдѣльности каждое изъ его лицъ: лицо житейское и лицо литературное. Прежде всего предъ нами чиновникъ, и притомъ не просто чиновникъ, выполняющій съ достодолжнымъ вниманіемъ возложенныя на него обязанности, а сыщикъ-доброволецъ, съ вдохновеннымъ увлеченіемъ выполняющій принятую на себя миссію. Вначалѣ учитель гимназіи, онъ скоро понялъ, что не въ этомъ его призваніе. Уловленіе юныхъ душъ не давало удовлетворенія его природнымъ дарованіямъ и очень скоро по выходѣ изъ Казанскаго университета мы его видимъ съ жаромъ и усердіемъ человѣка, нашедшаго свой путь, въ роли сыщика по расколу, учиняющаго энергичный сыскъ въ этой богатой для изслѣдователя области. Онъ носится по Нижегородской губерніи, осматриваетъ скиты, заглядываетъ въ молельни и пишетъ, не покладаючи рукъ, доносительныя записки и проекты о мѣрахъ къ сокращенію раскола.

Время тогдашнее, сороковые годы, было жестокое мрачное время, и такіе люди, какъ Мельниковъ, съ его энергіей разрушителя и страстью прирожденнаго искоренителя, были чистымъ кладомъ. Какъ быстро усвоилъ молодой борецъ стремленія и духъ своего времени, показываютъ его проекты на первыхъ же порахъ,—проекты стремительные, сокруши-

тельные, истинно кипящіе юношеской удалью и полнымъ забвеніемъ всего, что мы нынѣ называемъ гуманностью. П. Усовъ, авторъ біографіи Мельникова, помѣщенной въ первомъ томѣ, біографіи, прямо безцѣнной по ея наивности и спокойному тону, съ какимъ Усовъ повѣствуетъ о своемъ героѣ, — приводитъ два образчика этихъ проектовъ, одинъ другого превосходнѣе. Занимаясь расколомъ въ Нижегородской губерніи, Мельниковъ замѣтилъ, что нѣкоторые помѣщики, чтобы избавиться отъ раскольниковъ, сдаютъ ихъ въ солдаты, отчего, по ихъ словамъ, расколъ знатно сокращается. Поэтому Мельниковъ внесъ предложеніе вездѣ, гдѣ раскольники живутъ вмѣстѣ съ православными, отдавать въ рекруты первыхъ. Однимъ словомъ, онъ задумалъ, ревнуя о вѣрѣ, превратить ряды русской арміи въ исправительное для раскольниковъ учрежденіе. Мысль эта понравилась нижегородскому губернатору, который внесъ ее и въ свой всеподданнѣйшій докладъ. Но императоръ Николай оказался много сдержаннѣе, чѣмъ юный ревнитель православія и отмѣтилъ на докладѣ: „Сдѣлать объ этой мѣрѣ, соображеніе",—и мѣра, послѣ нѣкоторыхъ соображеній, осталась не приведенной въ исполненіе.

Другой проектъ Мельникова, ни мало, повидимому, не обезкураженнаго первой неудачей, еще чудовищнѣе. Онъ предложилъ, какъ самое дѣйствительное средство, отбирать у раскольниковъ всѣхъ дѣтей, рожденныхъ отъ браковъ, совершенныхъ бѣглыми попами, наставниками безпоповщинскихъ сектъ или по родительскому благословенію, словомъ, отъ „браковъ, неизвѣстныхъ правительству", и отдавать такихъ дѣтей въ кантонисты. Кто знаетъ, что такое были въ тѣ времена школы для кантонистовъ, гдѣ тысячи дѣтей засѣкались на смерть, а остальныя выходили на всю жизнь искалѣченными физически и нравственно, гдѣ единственнымъ руководствомъ воспитанія служили знаменитыя слова Клейнмихеля: „Сѣките ихъ мерзавцевъ, сѣките на смерть",— тотъ пойметъ, какой ужасъ охватилъ раскольниковъ, когда до нихъ дошелъ слухъ объ этомъ предложеніи Мельникова. Въ раскольничьей средѣ имя его стало скоро произноситься на ряду съ именемъ Антихриста, хотя на верху и на эту мѣру взглянули недостаточно внимательно, и она осталась въ области проектовъ, къ прискорбію ея автора.

Съ неменьшимъ усердіемъ выполнялъ Мельниковъ и свои „изслѣдованія", какъ выражается почтительно его біографъ Усовъ. Объ этомъ сохранилась любопытная жалоба какой-то раскольничьей купчихи Головастиковой. Съ мужемъ ея онъ вначалѣ велъ дружбу и вмѣстѣ съ Погодинымъ нерѣдко осматривалъ его хранилище, гдѣ было много

любопытныхъ старыхъ иконъ, книгъ и рукописей, которыми торговалъ Головастиковъ. А черезъ нѣсколько лѣтъ жена послѣдняго очень картинно разсказываетъ въ жалобѣ, какъ Мельниковъ, въ отсутствіи ея мужа, производилъ обыскъ у нея въ домѣ. Въ сопровожденіи цѣлой свиты будочниковъ, Мельниковъ втихомолку напалъ ночью на домъ Головастиковой, взялъ его штурмомъ и вошелъ въ числѣ шести человѣкъ „въ нижній этажъ дома, гдѣ Головастикова со своими домашними находилась при больной замужней своей дочери, разрѣшившейся за 18 часовъ передъ тѣмъ отъ бремени". Дѣлая вездѣ обыскъ, Мельниковъ „обратилъ вниманіе и на больную дочь мою,—жалуется мать,—и приступилъ къ осмотру ея постели и чего-то искалъ за нею, на ея кровати, на которой она лежала, да и за оной, держа въ одной рукѣ зажженную свѣчу, и таковымъ неожиданнымъ своимъ дѣйствіемъ привелъ больную въ большее болѣзненное состояніе, и у нея отъ испуга произошла нервическая съ бредомъ лихорадка".

Представимъ себѣ только современнаго писателя, лазящаго со свѣчей подъ кровать, обыскивающаго и ощупывающаго безъ памяти лежащую роженицу, запускающаго безтрепетно лапу въ сундуки и сдирающаго со стѣны иконы—и мы поймемъ, насколько личность Мельникова изъ ряду вонъ выдающаяся, не подходящая подъ наши мѣрки и требующая особаго измѣренія и опредѣленія своей нравственной стороны. И вѣдь, добро бы это былъ фанатикъ, въ пылу сжигающаго его фанатизма не сознающій, что творитъ. О нѣтъ!—это былъ истый чиновникъ, всегда держащій носъ по вѣтру и отлично примѣняющійся къ обстоятельствамъ. Когда съ воцареніемъ Александра II повѣялъ иной духъ, Мельниковъ „сдѣлался, по словамъ его наивнаго біографа, жаркимъ сторонникомъ того снисходительнаго образа дѣйствій, который замѣнилъ прежнее преслѣдованіе". Случилась эта крутая перемѣна въ немъ два года спустя послѣ описаннаго обыска у Головастиковой. Нечего, поэтому, и предполагать, будто у Мельникова были свои взгляды или убѣжденія по вопросу о расколѣ. Для него расколъ явился только конькомъ, на которомъ этотъ дошлый малый сдѣлалъ двойную карьеру. Какъ чиновникъ — онъ преуспѣвалъ въ глазахъ начальства, всегда умѣвшаго оцѣнить по достоинству эту талантливую натуру, которую даже не приходилось поворачивать въ ту или иную сторону: Мельниковъ, какъ флюгеръ, самъ поворачивался съ подобострастной готовностью. Сегодня онъ съ яростью вопіялъ: «распни Его! распни!»—а завтра лилъ потоки слезъ и милость къ павшимъ призывалъ. Какъ писатель, онъ тоже не клалъ охулки на

руку, и богатый запасъ наблюденій, добытыхъ во время лазанія со свѣчей подъ кроватями, по чердакамъ и сундукамъ раскольниковъ, чеканилъ въ мѣткія слова и переливалъ въ художественные образы.

Нельзя отказать ему въ разносторонности, отличавшей его въ средѣ чиновниковъ и въ средѣ писателей. Онъ отъ обыска переходилъ къ перу, отъ пера къ обыску, и вездѣ былъ на мѣстѣ. Изъ сыщика по расколу, зорившаго скита, обдиравшаго иконы со стѣнъ и обыскивавшаго бабъ, не скрываютъ ли они плода запрещеннаго, онъ дѣлается соредакторомъ министерскаго органа при Валуевѣ, пишетъ разсказы изъ стараго помѣщичьяго быта на Волгѣ («Старые годы») и «ученыя» изслѣдованія по разсколу, гдѣ правда и ложь подогнаны подъ мѣрку устава благочинія, наконецъ, заканчиваетъ свое литературное поприще двумя безспорно выдающимися произведеніями «Въ лѣсахъ» и «На горахъ», гдѣ съ удивительной любовью описываетъ то самое, надъ разрушеніемъ чего такъ усердно поработалъ въ молодости. Но это творчество ни мало не мѣшаетъ ему закончить свою чиновничью карьеру исполненіемъ роли начальника тайной охраны во время нижегородской ярмарки въ 1879 г.

Можно сказать—крѣпкой совѣсти былъ человѣкъ. Онъ не зналъ мучительныхъ сомнѣній раздвоенной личности, не смотря на всю двойственность его жизни и дѣятельности. Гдѣ же причина этой безмятежности? Неужели такъ-таки его

„Совѣсть никогда не грызла,—совѣсть,
Когтистый звѣрь, скребящій сердце,—совѣсть,
Незванный гость, докучный собесѣдникъ,
Заимодавецъ грубый: эта вѣдьма,
Отъ коей меркнетъ мѣсяцъ и могалы
Смущаются и мертвыхъ высылаютъ?“

На этотъ любопытный вопросъ мы не находимъ никакого отвѣта: въ его произведеніяхъ по части совѣсти все обстоитъ благополучно, а его біографъ приводитъ наивно-восторженные отзывы современниковъ, которые могли только усилить благодушіе Мельникова, когда онъ любовно живописалъ своихъ Манефъ и Чапуриныхъ, проклинавшихъ его, какъ антихриста, и имѣвшихъ на то всѣ права и основанія. «А теперь позвольте, г. Андрей Печерскій,—пишетъ одинъ изъ такихъ немудрыхъ цѣнителей и судей,—выразить предъ вами искреннее желаніе, чтобы и вашему художественному возсозданію старыхъ годовъ выпала доля вашего соплеменника Печерскаго Нестора: благородная доля—быть предметомъ уваженія для 800 лѣтъ потомства». Послѣднее едва ли. Даже навѣрное можно сказать, что именно предметомъ

уваженія не будетъ ни самъ Печерскій, ни его произведенія, въ которыхъ съ теченіемъ времени все ярче и ярче выступаютъ ихъ недостатки и все скромнѣе достоинства.

О его научныхъ работахъ по расколу можно говорить лишь съ большими оговорками. Въ нихъ нѣтъ ни научнаго безпристрастія, ни желанія критически разобраться въ богатомъ матеріалѣ, который, благодаря условіямъ службы, самъ собою накопился въ рукахъ Мельникова. Говоритъ-ли онъ о раскольникахъ или о сектантахъ, какъ хлысты и молокане, предъ нами не ученый, не безпристрастный изслѣдователь, безкорыстно радующійся новому открытію, а всегда и вездѣ чиновникъ, прежде всего взирающій на начальство, которому онъ во что бы то ни стало стремится угодить. Бранчивый тонъ, прокурорскіе пріемы и неблаговидное толкованіе самыхъ глупыхъ слуховъ и толковъ—таковъ Мельниковъ-ученый. Образцомъ его ученой критики можетъ служить ужасное обвиненіе, которое онъ по слухамъ возводитъ на хлыстовъ, будто они причащаются тѣломъ младенца, рожденнаго отъ избранной ими въ богородицы дѣвушки. Мельниковъ подробно, съ обстоятельностью, не уступающею добросовѣстности знаменитаго отца Блинова въ его работѣ о человѣческомъ жертвоприношеніи у вотяковъ,—описываетъ всю процедуру причащенія у хлыстовъ и только въ концѣ вскользь бросаетъ замѣчаніе, что «юридически ни разу самый фактъ причащенія тѣломъ младенца установленъ не былъ». Ни гдѣ, ни однимъ словомъ онъ не упоминаетъ, откуда взяты имъ эти подробности, а самое краснорѣчіе описанія внушаетъ даже не критически расположенному читателю подозрѣніе, что все это сплошная выдумка. Если же принять во вниманіе, что подобный вздоръ помѣщался Мельниковымъ въ оффиціальныхъ докладахъ, имѣвшихъ прямое вліяніе на судьбу сектантовъ, то для всякаго, надѣемся, яснымъ становится, какъ велики права Мельникова на «уваженіе 800 лѣтъ потомства». А между тѣмъ, этотъ человѣкъ дѣйствительно зналъ много и могъ бы знать еще больше, но чиновникъ и сыщикъ убили въ немъ научнаго изслѣдователя, и весь этотъ матеріалъ, наполняющій три тома въ изданіи его сочиненій, представляетъ теперь научный хламъ, лучше сказать—труху казенщины, отравившей талантливаго человѣка и выѣвшей у него и душу, и умъ.

Да, и умъ, ибо Мельниковъ, при всей даровитости, былъ неумнымъ человѣкомъ. Не смываемая печать пошлости лежитъ на всемъ, что онъ писалъ, на всѣхъ его работахъ по расколу, на его повѣстяхъ и разсказахъ и больше всего на его романахъ „Въ лѣсахъ“ и „На горахъ“. Сказывается эта пошлость въ любованіи своими подвигами, о которыхъ онъ

разсказываетъ въ дневникѣ, напечатанномъ Усовымъ, въ его проектахъ и мѣрахъ противъ раскола. Но сильнѣе всего пробивается она въ тонѣ его художественныхъ произведеній. Такъ, лучшій изъ его небольшихъ разсказовъ „Старые годы", написанный наполовину въ видѣ разсказа отъ лица стараго крѣпостного, весь проникнутъ благоговѣйной восторженностью предъ старымъ временемъ. Если такое настроеніе можно допустить въ старикѣ крѣпостномъ, то тамъ, гдѣ авторъ повѣствуетъ отъ себя, это настроеніе производитъ впечатлѣніе искусственности, выдавая головой авторскій взглядъ и его глубокое пониманіе старины. Въ этомъ отношеніи Мельниковъ напоминаетъ Лѣскова. Какъ и послѣдній, онъ—писатель безъ мѣры и безъ твердаго собственнаго взгляда на вещи. Не онъ матеріаломъ, а матеріалъ имъ владѣетъ. Онъ не можетъ установить на него опредѣленной точки зрѣнія и сразу впадаетъ въ дѣланную восторженность, переходящую въ его романахъ въ сантиментализмъ и пошловатое восхваленіе яко бы народной жизни, которую Мельниковъ не понималъ совершенно, что съ особой очевидностью онъ доказалъ въ двухъ самыхъ крупныхъ своихъ произведеніяхъ „Въ лѣсахъ" и „На горахъ", которыя развѣ по недоразумѣнію можно считать художественнымъ воспроизведеніемъ народнаго быта.

Эти два произведенія, занимающія восемь томовъ въ полномъ собраніи сочиненій Мельникова, сдѣлали его популярнымъ и создали ему огромный кругъ читателей. При первомъ появленіи „Въ лѣсахъ" были встрѣчены восторженно, но теперь, когда прошло четверть вѣка и народная жизнь значительно освящена и беллетристикой Гл. Успенскаго, и рядомъ земскихъ работъ,—намъ уже трудно раздѣлять эти восторги.

Первое, что бросается въ глаза, это языкъ Мельникова, слащавый и дѣланный, какимъ написанъ весь романъ. Можно развѣ подивиться искусству, съ какимъ авторъ выдерживаетъ свою поддѣлку подъ народную рѣчь на пространствѣ двухъ тысячъ страницъ. То онъ поддѣлывается подъ тонъ сказаній, то пишетъ, словно былину сочиняетъ, то заговоритъ ломаннымъ полу-церковнымъ языкомъ, неустанно пребывая въ восторженномъ настроеніи.

„Не стучитъ, не гремитъ, ни копытомъ говоритъ, безмолвно, беззвучно по синему небу стрѣлой каленой несется олень златорогій... Безъ огня онъ горитъ, безъ крыльевъ летитъ, на какую тварь ни взглянетъ, тварь возрадуется... Тотъ олень златорогій—око и образъ свѣтлаго бога Ярилы—красное солнышко.

„Бѣжитъ олень, летитъ златорогій, серебрянымъ копытомъ

хочетъ въ воду ступить. И станетъ отъ того вода студена и пойдетъ солнце на зиму, а лѣто на жары.

„Шумитъ въ лѣсахъ, трещитъ въ кустахъ, бренчитъ по травѣ муравѣ звонкокопытный олень. Солнечнымъ лучомъ, что ременнымъ бичомъ, гонитъ его свѣтоносный Ярило изъ темнаго бора на свѣтлую поляну рода людского моляну... Брать его руками, колоть его ножами и на братчинѣ на Петровщинѣ людямъ ѣсть благодарно моленый кусъ“.

Такова „запѣвка“ про Ярилу, взятая нами безъ выбора, какъ образчикъ мельниковскаго языка, какимъ написаны двѣ трети книги. „Добрые молодцы“, „красны-дѣвицы“, „старушки-колотушки“ и тому подобные эпитеты щедрой рукой разсыпаны повсюду, уснащаютъ рѣчи дѣйствующихъ лицъ, словно на плохомъ театрѣ, гдѣ для народа дается „народное представленіе». Къ этому надо прибавить массу мѣстныхъ выраженій, чтобы сохранить couleur locale, отчего красота ничего не выигрываетъ, а дѣланность языка усугубляется. Намъ трудно понять теперь, что такимъ „штилемъ“ могли восторгаться и превозносить его, какъ истинную народную рѣчь. Какъ будто народъ говоритъ подобнымъ языкомъ, напоминающимъ ломающагося актера. Еще тамъ, гдѣ приводятся рѣчи дѣйствующихъ лицъ, языкъ мѣстами живой и образный, хотя и здѣсь чувствуется поддѣлка, а не настоящая народная рѣчь, потому что нельзя представить людей, постоянно говорящихъ напыщеннымъ высокопарнымъ языкомъ. Но когда авторъ описываетъ, эта дѣланность становится невыносимой.

Крупнѣйшій, однако, недостатокъ обоихъ романовъ, особенно „Въ лѣсахъ“, составляетъ слащавость въ описаніи быта и взаимныхъ отношеній. Авторъ все время рисуетъ какую-то идиллію, гдѣ лишь изрѣдка проявляются темныя пятна, да и то съ цѣлью оттѣнить „доброжитье“ остальной народной массы. Живутъ люди въ Заволжьѣ припѣваючи, сладко ѣдятъ, сладко спятъ, милуются да красныя рѣчи говорятъ. А между тѣмъ описывается самый бѣдный уѣздъ Нижегородской губерніи, гдѣ кулачество расцвѣло самымъ пышнымъ цвѣтомъ. Но у Мельникова фигурируютъ не кулаки, какихъ знаетъ земская статистика, а истинные благодѣтели рода человѣческаго, одинъ друго лучше, одинъ друго краше и добродѣтельнѣе. Самый главный герой, Потапъ Чапуринъ, расписанъ такъ, что лучше и быть нельзя, — и доберъ, и уменъ, и удачливъ. Въ его лицѣ Мельниковъ хотѣлъ возсоздать истиннаго представителя великороссійскаго племени, легендарнаго героя нашего времени, чистаго сердцемъ, простого душой, великодушнаго и великоумнаго. Ни одной отрицательной черточки, одно великолѣпіе. Его богат-

ство само плыветъ къ нему, и онъ лишь пожинаетъ плоды своей добродѣтели. Получается типичная суздальская мазня.

Въ Чапуринѣ она еще не такъ претитъ, благодаря интересу, какой возбуждаетъ его дѣятельность и отчасти живость его языка. Но въ обрисовкѣ остальныхъ характеровъ суздальская манера живописи не скрашена ничѣмъ. Ужъ если добродѣтель, такъ безъ сучка безъ задоринки, если красавица, такъ непремѣнно писаная, и т. д. Въ особенности приторны добрые купеческіе молодцы у Мельникова: для нихъ онъ не жалѣетъ красокъ и сотни страницъ посвящаетъ любованію ихъ ухарствомъ, ухаживаніемъ, ихъ сердечной тоскѣ и млѣнію предъ писаными подругами, чему посвящена треть романа „На горахъ". Вообще, этотъ второй романъ несравненно хуже перваго. Старческая болтливость, отъ которой много страдаютъ и „Въ лѣсахъ", здѣсь не знаетъ удержу. Еще когда романъ печатался въ „Рус. Вѣстникѣ", редакція изо всѣхъ силъ боролась съ авторомъ, который просто потоплялъ журналъ обиліемъ ненужныхъ и неинтересныхъ подробностей. Понадобится автору, наприм., описать возникновеніе хлыстовской общины въ одной деревнѣ, и онъ на сотнѣ страницъ разсказываетъ и скучно, и вяло исторію деревни. Тутъ и кулачные бои, и прохожій солдатъ, повѣствующій о солдатской жизни, и любовь разныхъ добрыхъ молодцевъ и красныхъ дѣвицъ.

Не высока мораль, которую проводитъ авторъ подъ видомъ яко бы мудрости народной. Поклоненіе богатству, преклоненіе предъ силой, восхваленіе ловкой хитрости и удачливаго обмана—вотъ и все, что составляетъ идеалы Мельникова. Они такъ примитивны и такъ животны, что вся несложная философія автора выступаетъ какъ на ладони. Онъ является не прикрытымъ хвалителемъ купеческаго сословія въ первой стадіи его развитія, когда преобладающимъ въ немъ элементомъ выступаетъ хищничество, которое восхищаетъ Мельникова, какъ явный признакъ силы и могущества. Стоитъ прочесть, съ какимъ смакованіемъ онъ расписываетъ разные подвохи въ этой средѣ, какъ восхищается пирами и ликованіями по поводу ловкой штуки того или иного удалого грабителя. Его ни мало не смущаютъ средства, и читатель чувствуетъ все время, что симпатіи автора всецѣло на сторонѣ удачи.

Но этими чисто отрицательными сторонами не ограничивается творчество Мельникова, и если бы только въ этомъ заключалось значеніе его произведеній, о немъ давно уже забыли бы. Положительное и несомнѣнное достоинство его двухъ большихъ романовъ заключается въ художественномъ описаніи раскольничьихъ скитовъ и въ созданіи цѣлаго

ряда раскольничьихъ типовъ. Эту жизнь Мельниковъ не только хорошо зналъ, но и сумѣлъ ее описать. Вездѣ, гдѣ онъ разсказываетъ про скиты и ихъ обитателей, онъ разомъ оживляется, становится интересенъ, уменъ и умѣетъ увлечь читателя. Даже длинноты, и здѣсь дающія себя чувствовать, не мѣщаютъ общему интересу разсказа, а художественность типовъ мѣстами указываетъ, какимъ описательнымъ талантомъ обладалъ Мельниковъ. Его мать Манефа, Фленушка, рядъ скитницъ и московскій начетчикъ, пріѣзжающій въ скитъ, останутся навсегда достояніемъ русской художественной литературы. Ни до него, ни послѣ этотъ своеобразный бытъ не былъ затронутъ съ такой полнотой художественнаго изображенія, раскрывшаго цѣлый міръ типовъ, цѣльныхъ, крѣпкихъ натуръ, съ которыми по образности и жизненности могутъ соперничать только типы Островскаго. Мельникову не достаетъ только глубины послѣдняго. Низменность натуры художника-сыщика, узость взгляда и присущая Мельникову пошловатость не дали ему возвести свои типы въ „перлъ созданія", каковы типы Любима Торцова, Китъ Китыча или Кабанихи у Островскаго.

Читая эти превосходныя страницы описанія скитовъ и ихъ обитателей, испытываешь жгучее сожалѣніе, что художникъ Мельниковъ не выбился изъ-подъ всяческаго хлама, какимъ завалила его душу казенщина. Чиновникъ и художникъ не совмѣстимы, и одинъ непремѣнно задавитъ другого. Щедринъ понялъ это и во время сбросилъ съ себя мертвящее иго чиновничества. Мы бы никогда не имѣли ни „Головлевыхъ", ни „Пошехонской старины", если бы Щедринъ не сдѣлалъ этого рѣшительнаго шага въ началѣ шестидесятыхъ годовъ. У Мельникова не хватило на это силы, хотя и онъ временами сознавалъ, что его литературная дѣятельность несовмѣстима съ его оффиціальными обязанностями, которыя, по его словамъ, не давали „необходимаго спокойствія духа" и — мы добавимъ — свободы духа, чего всегда не доставало Мельникову. Сплошь и рядомъ чувствуется недоговоренность, желаніе прикрыть и то, и другое, что могло бы послужить для очень и очень яркой картины. Таковы, напр., отношенія администраціи къ скитамъ, о чемъ только вскользь упоминается, но нигдѣ лица администраціи не дѣйствуютъ, какъ самостоятельные персонажи. Точно такъ же финалъ скитовъ сухо разсказанъ на нѣсколькихъ страничкахъ, хотя именно сцена закрытія могла бы послужить для художественно-бытовой картины. Положимъ, Мельникову пришлось бы тогда описывать собственные некрасивые подвиги, слава о которыхъ до сихъ поръ держится въ Семеновскомъ уѣздѣ. Такого самоот-

верженія трудно было бы ожидать отъ человѣка, всю жизнь служившаго не истинѣ, а видамъ начальства и согласно имъ мѣнявшаго взгляды и убѣжденія.

Но это-то и лишаетъ произведенія Мельникова значенія клтосическихъ, которыя для всѣхъ временъ были поучительны и интересны, какъ напр., творенія Тургенева или Островскаго. Талантъ Мельникова не настолько обширенъ, чтобы окупить недостатокъ правдивости и ума, если вообще подобный недостатокъ можетъ быть чѣмъ-либо окупаемъ. Его талантъ чисто описательнаго свойства. Схватить особенно яркія бытовыя черты, подмѣтить вѣрно мѣстныя особенности и нарисовать живую бытовую сцену—вотъ и все, на что способенъ Мельниковъ. Но если онъ пробуетъ заглянуть въ душу своихъ героевъ, пытается представить всю сложность борьбы различныхъ душевныхъ настроеній,—всякій разъ получается плачевнѣйшее фіаско. Послѣ превосходнаго, напр., описанія ветлужскихъ лѣсовъ и артелей лѣсныхъ рабочихъ, просто комичное впечатлѣніе производятъ его любовныя сцены между добрыми молодцами и разными красными дѣвицами. Мало того, и самыя его описанія не столько художественны, сколько вѣрны дѣйствительности: онъ скорѣе талантливый фотографъ, чѣмъ художникъ. Насколько, напр., хороши его описанія керженскихъ скитовъ, которые онъ видѣлъ и изучилъ во время учиняемаго имъ разоренія, настолько блѣдны, выдуманны и мертвы его сцены изъ жизни хлыстовской общины. Чувствуется грубая фальшь на каждомъ шагу и полное безсиліе понять хлыстовскихъ сектантовъ, которыхъ онъ не видѣлъ и описывалъ по слухамъ, на основаніи нелѣпыхъ данныхъ обвинительныхъ актовъ, составленныхъ такими же, не по разуму усердными сыщиками, какимъ былъ онъ самъ. Онъ здѣсь становится скучнымъ, расплывается въ длиннѣйшихъ подробностяхъ, не можетъ схватить главнаго, установить центра, около котораго могъ бы сосредоточить повѣствованіе. Получается смѣшное заключеніе, что въ хлыстовскіе корабли идутъ всѣ поврежденные въ умѣ, дѣвицы, потерпѣвшія крушеніе въ сердечныхъ дѣлахъ, и юродивые. Мельниковъ просто набралъ разные факты обвинительныхъ актовъ, не смогъ ихъ соединить общей идеей и согрѣть художественнымъ пониманіемъ, потому что художника въ немъ не было, а былъ лишь этнографъ, испорченный прокурорскими навыками.

Такова эта оригинальная фигура въ русской литературѣ. Трудно сравнить его съ кѣмъ-либо, что подчеркиваетъ его самобытность и цѣльность. Ближе всего онъ подходитъ къ Далю, съ которымъ имѣетъ много общаго по матеріалу, надъ

которымъ работалъ. Какъ и Даль, онъ хорошо зналъ нѣкоторыя мѣстныя нарѣчія и особенности великорусскаго племени и далъ кое-что для разработки русскаго языка, въ который внесъ нѣсколько оригинальныхъ и мѣткихъ выраженій. Отчасти онъ напоминаетъ Лѣскова своею анекдотичностью, неумѣніемъ овладѣть матеріаломъ и отсутствіемъ своихъ взглядовъ и убѣжденій. Но въ концѣ-концовъ, онъ далъ немного и меньше всего можно сопоставлять его съ такими художниками, какъ Тургеневъ и Островскій. Значеніе Мельникова уже теперь ничтожно, а въ будущемъ онъ перейдетъ окончательно въ разрядъ забытыхъ писателей, имѣвшихъ въ свое время значеніе, съ тою лишь разницей, что о немъ меньше всего можно будетъ сказать „уважаемый" и „почтенный", такъ какъ никогда не будетъ забыта его дѣятельность въ керженскихъ лѣсахъ, столь хорошо имъ описанныхъ впослѣдствіи.

«Воскресеніе», романъ Л. Толстого [1])

„Воскресеніе" Л. Толстого, конечно, уже знакомо читателямъ и намъ не приходится излагать его содержаніе. Въ этомъ великомъ произведеніи, равнаго которому не появлялось за послѣднее десятилѣтіе ни у насъ, ни въ иностранной литературѣ, больше чѣмъ достаточно матеріала для самыхъ разнообразныхъ выводовъ и заключеній. И какъ ни дерзко говорить о немъ въ бѣглой журнальной замѣткѣ, нельзя удержаться, чтобы не высказать хоть отчасти того, что такъ волнуетъ при чтеніи этого произведенія.

Прежде всего невольное изумленіе охватываетъ читателя при видѣ этой неувядающей силы творчества, какую проявилъ великій писатель, семидесятилѣтіе котораго еще такъ недавно было отпраздновано литературой и въ Россіи, и за границей. Не смотря на очевидную порчу, которой несомнѣнно подвергся романъ въ различныхъ мѣстахъ,—и вся концепція его, и отдѣльныя удивительной красоты мѣста вполнѣ напоминаютъ того Толстого, какимъ мы его знаемъ въ „Войнѣ и Мірѣ" или „Аннѣ Карениной". Та же широта захвата жизни, легкость и естественная простота, съ какими геніальный авторъ переноситъ насъ изъ тюрьмы въ залу суда, изъ суда въ великосвѣтское общество, изъ

[1]) Февраль 1900 г.

деревни въ столицу, изъ пріемной министра въ камеру сибирскаго этапа. При этомъ не чувствуется не малѣйшей дѣланности, какъ будто сама жизнь развертывается предъ нами во всемъ своемъ разнообразіи.

И какъ развертывается! Вы испытываете одновременно и потрясеніе отъ видимаго ужаса и несправедливости человѣческихъ отношеній, и умиленіе и радость за неугасимую жажду правды, которая все время чувствуется въ каждомъ моментѣ этихъ отношеній. Даже въ сценахъ самаго дикаго разгула насилія и неправды слышится неумолчный голосъ недремлющей совѣсти, къ которому чутко прислушивается авторъ и съ потрясающей силой передаетъ читателю. Благодаря этому чувству умиленія при видѣ торжества совѣсти надъ видимымъ господствомъ лжи, дикости, произвола, тягостныхъ и ненужныхъ жестокостей, чѣмъ такъ опутана жизнь человѣчества,—выносишь ощущеніе бодрящей свѣжести и радостнаго настроенія. Это общее впечатлѣніе можно бы сравнить съ тѣмъ, какое производятъ старинныя легенды о мученичествѣ праведниковъ. Какъвъ этихъ легендахъ, такъ и здѣсь, вся власть грубой силы и лжи кажется чѣмъ-то не настоящимъ, безъ корней, чѣмъ-то такимъ, что не прочно, не имѣетъ внутренняго развитія, а лишь временно и преходяще, что отпадетъ, какъ шелуха, когда наступитъ „полнота временъ".

Какъ въ прежнихъ романахъ Толстого, читатель сразу вводится въ центръ дѣйствія и интереса повѣствованія, которое развертывается съ поразительной быстротой, захватывая и увлекая, и чѣмъ далѣе, тѣмъ больше усиливается эта стремительность дѣйствія. Оба центральныхъ лица романа обрисованы на первыхъ же страницахъ во всей сложности ихъ душевной драмы, на-ряду съ которой затѣмъ также быстро начинается другая, болѣе высокая общественная драма, борьба воскресающаго человѣка съ общественной не правдой. Вторая драма непосредственно вытекаетъ изъ первой, являясь первымъ необходимымъ актомъ воскресенія души, до того мертвой, погрязшей въ ложной условности и грязи жизни. И далѣе обѣ драмы идутъ параллельно, дополняя и освѣщая одна другую. Съ искусствомъ, доступнымъ только великому художнику, Толстой не отвлекается ни на одну минуту въ сторону, не теряетъ ни одной лишней строчки. Каждый штрихъ—это новая черта въ характерѣ главныхъ лицъ, въ ихъ душевной и общественной борьбѣ, новое явленіе, необходимое для усиленія правды общей картины нашей общественной жизни. Сжатость описанія доведена до виртуозности, что придаетъ всему роману особую силу, крѣпость и выразительность. Такая простота

изложенія, почти лѣтописная, доступна только или великимъ художникамъ, какъ Пушкинъ, напр., или тѣмъ простымъ и сильнымъ душамъ, для которыхъ всегда важенъ лишь самый предметъ разсказа, а все остальное кажется слишкомъ ненужнымъ и лишнимъ, чтобы стоило о немъ распространяться и останавливаться на немъ. Но эта простота не имѣетъ въ себѣ ничего торопливаго или спѣшнаго; напротивъ, въ ней есть что-то важное и строгое, что удивительно отвѣчаетъ важности содержанія.

А содержаніе это дѣйствительно такъ важно, что въ сравненіи съ нимъ все представляется и ничтожнымъ, и преходящимъ, какъ мимолетныя настроенія будничнаго дня. Воскресеніе Нехлюдова—это вопросъ о возможности воскресенія для каждаго, кто погрязъ въ тинѣ нечистой животныхъ страстей и мелкихъ будничныхъ интересовъ и потерялъ свободу души. Воскресаетъ въ романѣ не Катюша Маслова, которую погубилъ Нехлюдовъ, а онъ самъ. Катюша чиста, ея душа не тронута и свѣжа, она только усыплена ужасами жизни, которую съ легкой руки Нехлюдова ей пришлось вести. Катюша не воскресаетъ, а просыпается, какъ только услышала благую вѣсть, что есть человѣкъ, который видитъ къ ней не просто предметъ для удовольствія, а человѣка такого же, какъ онъ самъ. Ей не съ чѣмъ бороться. Послѣ перваго момента оживленія старой острой боли, которая ей напомнила все ужасное, когда-то пережитое благодаря Нехлюдову, Катюша покорно отдается новому настроенію, которое и есть ея настоящее подлинное настроеніе, всецѣло отвѣчающее ея складу души. Съ того ужаснаго момента, какой она пережила, когда бѣжала за поѣздомъ, уносившимъ Нехлюдова, она не жила, не была человѣкомъ, а превратилась въ предметъ купли и продажи, и когда по временамъ что-то просыпалось въ душѣ, обострялась боль смутнаго сознанія причиненной ей несправедливости. Катюша сейчасъ же старалась подавить ее обычнымъ въ ея положеніи средствомъ: „станетъ скучно—покурила или выпила, и пройдетъ". Катюша—жертва, и все время ея роль пассивная. Только въ послѣднемъ моментѣ ея окончательнаго пробужденія, когда она, любя Нехлюдова, жертвуетъ этимъ чувствомъ для болѣе высокаго дѣла служенія страждущимъ и обремененнымъ, Катюша становится активнымъ существомъ. И все время въ романѣ не столько сама Катюша интересна, сколько окружающая ее обстановка, которая заслоняетъ ее постоянно. Сначала судъ, тюрьма, потомъ этапная жизнь, кружокъ политическихъ ссыльныхъ настолько привлекаютъ вниманіе, что даже подчасъ забываешь о ней, хотя она и должна бы быть центральнымъ

лицомъ. Но ея пассивность, какъ жертвы, мѣшаетъ этому. И мѣсто, отведенное ей художникомъ въ романѣ, въ сущности незначительное. Только въ первыхъ главахъ она выступаетъ съ яркостью и полнотой художественнаго изображенія какія по силамъ одному Толстому. Удивительно чарующее впечатлѣніе производятъ эти главы, гдѣ описывается первое время сближенія ея съ Нехлюдовымъ, сцена въ церкви во время заутрени, да еще то мѣсто, когда она бѣжитъ за поѣздомъ. Послѣдняя сцена, пожалуй самое сильное въ художественномъ отношеніи мѣсто романа. Эти главы прекрасны и не уступаютъ лучшимъ мѣстамъ прежнихъ романовъ Толстого.

Тѣмъ не менѣе, главный интересъ сосредоточенъ на Нехлюдовѣ, который и является центральнымъ лицомъ романа. Его душевная борьба и борьба, которую онъ ведетъ съ общественными условіями, сосредоточиваютъ все вниманіе автора и читателей. Да иначе и быть не можетъ, такъ какъ дѣйственная роль принадлежитъ Нехлюдову съ начала и до конца. Онъ—преступникъ, сначала только мучающійся сознаніемъ совершоннаго проступка, потомъ всѣ силы кладущій на то, чтобы исправить причиненное зло и возстановить хотя отчасти нарушенную справедливость. Въ то же время онъ долженъ являться выразителемъ взглядовъ самого автора, что усложняетъ его личность въ романѣ и придаетъ ему двойной интересъ.

Что такое Нехлюдовъ? Прежде всего, какъ намъ кажется, онъ, по замыслу автора, человѣкъ вполнѣ простой, отнюдь не выше средняго уровня. Конечно, въ своей средѣ, гдѣ онъ росъ, воспитывался и дѣйствовалъ, онъ, несомнѣнно, выше этого уровня, настолько выше, что его тамъ и не понимаютъ вовсе. Благодаря его знатности, богатству, родовитымъ связямъ, его уважаютъ, но подсмѣиваются, какъ надъ чудакомъ, который самъ не знаетъ, что дѣлаетъ. Этой средѣ онъ чуждъ всѣмъ своимъ душевнымъ складомъ, его увлеченія, сомнѣнія, раскаяніе—все непонятно и смѣшно въ глазахъ его окружающихъ, даже преступно и не должно быть терпимо, какъ увѣренно заявляетъ мужъ его сестры, готовый требовать надъ нимъ опеки, какъ надъ расточителемъ и ненормальнымъ субъектомъ. Но вся эта среда такъ чудовищно низменна, такъ плоска и ничтожна внутри, что внѣ ея Нехлюдовъ — только средній человѣкъ, не выдающійся ни особыми способностями, ни особой силой воли, ни темпераментомъ. Какъ большинство людей интеллигентнаго круга, онъ получилъ рядъ взглядовъ, признаваемыхъ имъ правильными, но лишь въ отвлеченномъ смыслѣ имѣющими для него значеніе. Его убѣжденія — одно, а жизнь и прак-

тика—другое, и нужно что-либо страшно выдающееся, чтобы заставить его проникнуться сознаніемъ этого противорѣчія и увидѣть, какъ онъ опустился отъ того идеала, который нѣкогда лелѣялъ въ душѣ. Развѣ это не обычная исторія массы среднихъ людей? Вначалѣ «честный, самоотверженный юноша, готовый отдать себя на всякое доброе дѣло", потомъ—„развращенный, утонченный эгоистъ, любящій только свое наслажденіе". «Тогда міръ Божій представлялся ему тайной, которую онъ радостно и восторженно старался разгадать; теперь все въ этой жизни было просто и ясно и опредѣлялось тѣми условіями жизни, въ которыхъ онъ находился. Тогда нужно и важно было общеніе съ природой и съ людьми жившими, мыслившими и чувствовавшими до него (философами, поэтами); теперь нужны и важны были человѣческія учрежденія и общеніе съ товарищами. Тогда женщина представлялась таинственнымъ и прелестнымъ,—именно этою таинственностью прелестнымъ существомъ; теперь значеніе женщины, всякой женщины, кромѣ своихъ семейныхъ и женъ друзей, было очень опредѣленное: женщина была однимъ изъ лучшихъ орудій испытаннаго уже наслажденія. Тогда не нужно было денегъ и можно было не брать и третьей части того, что давала мать, можно было отказаться отъ имѣнья отца и отдать его крестьянамъ; теперь же не доставало тѣхъ 1,500 р. въ мѣсяцъ, которые давала мать, и съ ней бывали уже непріятные разговоры изъ за денегъ. Тогда своимъ настоящимъ *я* онъ считалъ свое духовное существо: теперь онъ считалъ собою свое здоровое, бодрое, животное *я*", — такъ характеризуетъ Толстой прежняго и теперешняго Нехлюдова, и развѣ эта характеристика не приложима цѣликомъ къ любому изъ массы среднихъ людей?

Авторъ по своему объясняетъ эту рѣзкую перемѣну, какую каждый можетъ найти въ себѣ, сравнивъ себя въ юности съ тѣмъ, какимъ онъ становится потомъ. Но перемѣна вѣрно указана, и исторія Нехлюдова—это обычная исторія огромнаго большинства, что и дѣлаетъ его типичнымъ представителемъ середины. Немногимъ, правда, приходится пережить такую душевную катастрофу, какъ Нехлюдову, и большинство опускается постепенно, даже не замѣчая паденія.

Съ Нехлюдовымъ случилось не такъ, и не потому, чтобы онъ обладалъ особой чувствительностью, но и его проступокъ самъ по себѣ былъ выдающимся и возмездіе, обрушившееся на его голову, было таковымъ же. Нехлюдовъ не просто соблазнилъ дѣвушку, первую попавшуюся подъ руку, что такъ часто случалось и случается въ обыденной жизни. И такой поступокъ былъ бы подлостью, для которой нѣтъ

и не можетъ быть снисхожденія. Но обстоятельства, которыми сопровождался его поступокъ, дѣлаютъ его поистинѣ чудовищнымъ. Для него эта дѣвушка была раньше дорогимъ, любимымъ существомъ, одно присутствіе котораго освѣщало жизнь. „Какъ только Катюша входила въ комнату или даже издалека Нехлюдовъ видѣлъ ея бѣлый фартукъ, такъ все для него какъ бы освѣщалось солнцемъ, все становилось интереснѣе, веселѣе, значительнѣе, жизнь становилась радостной... Но не только присутствіе и близость Катюши производили это дѣйствіе на Нехлюдова; это дѣйствіе производило на него одно сознаніе, что есть Катюша... Получалъ ли Нехлюдовъ непріятное письмо отъ матери, или не ладилось его сочиненіе, или онъ чувствовалъ юношескую безпричинную грусть, стоило ему только вспомнить о томъ, что есть Катюша и онъ увидитъ ее, и все это разсѣивалось". И потомъ, когда онъ снова пріѣзжаетъ вторично къ теткѣ въ деревню, гдѣ жила Катюша, его влечетъ къ ней любовь. Какъ и прежде, хотя самъ онъ уже измѣнился и изъ чистаго юноши превратился въ зауряднаго офицера, его охватываетъ то же чувство при видѣ ея. „Такъ же, какъ и прежде, онъ не могъ безъ волненія видѣть теперь бѣлый фартукъ Катюши, не могъ безъ радости слышать ея походку, ея голосъ, ея смѣхъ, не могъ безъ умиленія смотрѣть въ ея черныя, какъ мокрая смородина, глаза, особенно когда она улыбалась, не могъ главное, безъ смущенія видѣть, когда она краснѣла при встрѣчѣ съ нимъ". Съ особой чарующей силой и радостью онъ испытываетъ это чувство любви во время заутрени, когда онъ съ изумленіемъ думаетъ, какъ это другіе не замѣчаютъ, «что все, что существуетъ здѣсь да и вездѣ на свѣтѣ—существуетъ только для Катюши, и что пренебречь можно всѣмъ на свѣтѣ, только не ею, потому что она—центръ всего. Для нея блистало золото иконостаса и горѣли всѣ эти свѣчи на паникадилѣ и въ подсвѣчникахъ, для нея были эти радостные напѣвы: „Пасха Господня, радуйтесь людіе". И все, что только было хорошаго на свѣтѣ, было для нея». Словомъ, Нехлюдовъ любилъ ее всѣмъ пыломъ хорошаго, молодого чувства, и тѣмъ ужаснѣе, безобразнѣе былъ его поступокъ, которымъ завершилась эта любовь, когда на другой день, прощаясь съ соблазненной имъ дѣвушкой, онъ далъ ей сто рублей, думая, этимъ не то что искупить, а хотя отчасти возмѣстить обиду. «Нѣтъ, возьми, —пробормоталъ онъ (когда Катюша отбивается отъ его денегъ), и сунулъ ей конвертъ за пазуху и, точно какъ будто онъ обжегся, онъ, морщась и стоная, побѣжалъ въ свою комнату. И долго послѣ этого онъ все ходилъ по своей комнатѣ, и корчился, и даже прыгалъ, и вслухъ охалъ

словно отъ физической боли, какъ только вспоминалъ эту сцену". Поступивъ какъ самый послѣдній негодяй, Нехлюдовъ не понялъ, не могъ даже представить себѣ всей глубины жестокости и обиды своего дѣла. Онъ оправдывалъ себя тѣмъ, что всѣ его знакомые такъ поступаютъ въ подобныхъ случаяхъ, и это до извѣстной степени его успокаивало. А праздная, барская жизнь, „новыя мѣста, товарищи, война», помогла ему и окончательно забыть весь этотъ эпизодъ.

И не встрѣть онъ случайно ту же Катюшу десять лѣтъ спустя на скамьѣ подсудимыхъ, Нехлюдовъ такъ и не вспомнилъ бы загубленную имъ дѣвушку. Вся жизнь его за это время сложилась такъ, какъ бываетъ въ его средѣ, обезпеченной, не знающей никакой цѣли, кромѣ наслажденій. Въ своихъ глазахъ и въ мнѣніи окружающихъ онъ считался вполнѣ порядочнымъ, „корректнымъ" господиномъ, и даже, самъ не отдавая себѣ отчета, питалъ въ душѣ особыя требованія на особую къ нему почтительность и уваженіе. Онъ унаслѣдовалъ послѣ матери огромное состояніе, намѣревается обзавестись семьей, имѣетъ любовницу „изъ вполнѣ порядочнаго дома", и лишь смущается неудобствомъ ухаживать за дѣвушкой, на которой онъ хочетъ жениться, и въ то же время находиться въ связи съ замужней женщиной.

Чтобы встряхнуть такую легко и удобно примѣняющуюся къ текущей обычной жизни натуру, надо что-либо ужасное, страшное, подавляющее. Но и послѣ встрѣчи, когда онъ видитъ уже послѣдствія своего поступка, онъ не сразу мѣняется, и здѣсь Толстой проявилъ удивительное пониманіе такихъ слабыхъ натуръ. Еще въ судѣ, когда Нехлюдовъ ясно видитъ, что Катюша невинна, онъ могъ-бы энергичнымъ вмѣшательствомъ при обсужденіи присяжными ея вины, измѣнить ихъ приговоръ. Но все время онъ молчитъ, погрузившись въ свои терзанія, и допускаетъ грубую неправильность въ окончательномъ рѣшеніи присяжныхъ,—неправильность, благодаря которой невинная женщина должна идти на каторгу. Въ томъ „безуміи эгоизма", въ которомъ Нехлюдовъ жилъ всѣ десять лѣтъ, иначе и быть не могло. Сначала у него является дрянной страхъ, что Катюша его узнала и сейчасъ при всѣхъ осрамитъ его. Потомъ—терзанія воспоминаніемъ о своемъ поступкѣ и даже затаенная жалость къ себѣ, и только уже затѣмъ просыпается другое чувство, заставляющее Нехлюдова забыть на время себя и подумать о ней, предъ которой онъ провинился вторично, не отстоявъ ея интереса на судѣ, что было такъ просто и легко. Всѣ эти колебанія, попытка какъ-нибудь вывернуться

изъ труднаго положенія и, наконецъ, отчаянное рѣшеніе жениться на обиженной имъ дважды Катюшѣ, обрисованное съ тонкостью и мастерствомъ великаго психолога-художника, дѣлаютъ изъ Нехлюдова вполнѣ живое лицо. Такъ легко было-бы впасть въ мелодраматизмъ и фальшь, только немного усиливъ героизмъ положенія, въ которомъ очутился Нехлюдовъ. Ничего подобнаго, однако, мы не видимъ, и все время предъ нами не герой, а жалкій и слабый человѣкъ, выбитый изъ такъ хорошо, казалось, налаженной колеи жизни. Даже рѣшеніе жениться на Катюшѣ и начать новую жизнь не возвышаютъ его, ибо Толстой, отмѣтивъ облегченіе, какое при этомъ почувствовалъ Нехлюдовъ, немедленно ловитъ его: „На глазахъ его были слезы, когда онъ говорилъ себѣ это, и хорошія, и дурныя слезы, хорошія потому, что это были слезы радости, пробужденія въ себѣ того духовнаго существа, которое всѣ эти годы спало въ немъ, и дурныя потому, что они были слезы умиленія надъ самимъ собой, надъ своей добродѣтелью".

Отсюда еще далеко до воскресенія, до полнаго пониманія и себя, и своего поступка, и до того душевнаго подъема, когда человѣкъ сознательно дѣлаетъ добро не ради себя, а ради самого добра и въ этомъ испытываетъ великую радость. Нехлюдовъ долженъ пройти рядъ испытаній, которыя постепенно раскрываютъ ему глаза и очищаютъ его засоренную эгоизмомъ душу. Какъ всѣ слабые, не энергичные люди, Нехлюдовъ не въ силахъ управлять своей жизнью, скорѣе событія его влекутъ и направляютъ. Въ новомъ его настроеніи онъ не противится, когда эти событія его влекутъ въ хорошую сторону, какъ раньше не противился, когда жизнь, окружающіе, товарищи, мать—влекли его въ дурную.

И та же Катюша первая вскрываетъ ему истину его героическаго рѣшенія жениться на ней. При второмъ свиданіи въ тюрьмѣ происходитъ объясненіе, поразительное по силѣ и правдѣ. Даже у самого Толстого трудно указать такую потрясающую сцену, какъ это свиданіе. Когда Нехлюдовъ говоритъ, что пришелъ просить у нея прощенія, Катюша, предъ тѣмъ нѣсколько выпившая, смущается.

„— Ну что, все простить, простить, ни къ чему это... вы лучше...

„— Я хочу загладить свою вину,—продолжалъ Нехлюдовъ:—и загладить не словами, а дѣломъ. Я рѣшилъ жениться на васъ.

„Лицо ея вдругъ выразило испугъ. Косые глаза ея, остановившись, смотрѣли и не смотрѣли на него.

„— Это еще зачѣмъ понадобилось? — проговорила она, злобно хмурясь.

„— Я чувствую, что я передъ Богомъ долженъ сдѣлать это.

„— Какого еще Бога тамъ нашли? Все вы не то говорите. Бога? Какого Бога? Вотъ вы бы тогда помнили Бога,— сказала она и, раскрывъ ротъ, остановилась.

„Нехлюдовъ только теперь почувствовалъ сильный запахъ вина изъ ея рта и понялъ причину ея возбужденія.

„— Успокойтесь,—сказалъ онъ.

„— Нечего мнѣ успокаиваться. Ты думаешь, я пьяна? Я и пьяна, да помню, что говорю,—вдругъ быстро заговорила она и вся багрово покраснѣла:—я каторжная, а вы баринъ, князь, и нечего тебѣ со мной мараться. Ступай къ своимъ княжнамъ...

„— Какъ бы жестоко ты ни говорила, ты не можешь сказать того, что я чувствую,—весь дрожа, тихо сказалъ Нехлюдовъ:—не можешь себѣ представить, до какой степени я чувствую свою вину передъ тобою!..

„— Чувствую вину"!—злобно передразнила она.—Тогда не чувствовалъ, а сунулъ 100 рублей. Вотъ—твоя цѣна!..

„— Знаю, знаю, но что же теперь дѣлать?—сказалъ Нехлюдовъ.—Теперь я рѣшилъ, что не оставлю тебя,—повторилъ онъ:—и что сказалъ, то сдѣлаю.

„— А я говорю, не сдѣлаете!—проговорила она и громко засмѣялась.

„— Катюша!—началъ онъ.

„— Уйди отъ меня! Я—каторжная, а ты—князь и нечего тебѣ тутъ быть,—вскрикнула она, вся преображенная гнѣвомъ, вырывая у него руку.—Ты мной хочешь спастись,— продолжала она, торопясь высказать все, что поднялось въ ея душѣ.—Ты мной въ этой жизни услаждался, мной же хочешь и на томъ свѣтѣ спастись! Противенъ ты мнѣ, и очки твои, и жирная, поганая вся рожа твоя. Уйди, уйди ты!—закричала она, энергическимъ движеніемъ вскочивъ на ноги.

„Надзиратель подошелъ къ нимъ.

„— Ты что скандалишь! Развѣ такъ можно...

„— Оставьте, пожалуйста,—сказалъ Нехлюдовъ.

„— Чтобъ не забывалась,—сказалъ надзиратель.

„— Нѣтъ, подождите, пожалуйста,—сказалъ Нехлюдовъ. Надзиратель отошелъ къ окну.

„Маслова опять сѣла, опустивъ глаза и крѣпко сжавъ свои скрещенныя пальцами маленькія руки. Нехлюдовъ стоялъ надъ ней, не зная, что дѣлать.

„— Ты не вѣришь мнѣ,—сказалъ онъ.

„— Что вы жениться хотите—не будетъ этого никогда. Повѣшусь скорѣе! Вотъ вамъ.

„— Я все-таки буду служить тебѣ.

„— Ну, это ваше дѣло. Только мнѣ отъ васъ ничего не нужно. Это я вѣрно вамъ говорю,—сказала она.—И зачѣмъ я не умерла тогда,—прибавила она, и заплакала жалостнымъ тономъ“.

Это ужасное объсненіе, при которомъ Нехлюдовъ играетъ такую жалкую роль, открываетъ ему глаза, и съ этого момента начинается для него настоящая казнь и вмѣстѣ съ тѣмъ воскресеніе. „Да, такъ вотъ оно что! вотъ что! думалъ Нехлюдовъ, выходя изъ острога и только теперь вполнѣ понимая всю вину свою. Если бы онъ не попытался загладить, искупить свой проступокъ, онъ никогда бы не почувствовалъ всей преступности его, мало того, и она бы не чувствовала всего зла, сдѣланнаго ей. Только теперь это все вышло наружу во всемъ своемъ ужасѣ. Онъ увидѣлъ теперь только, что онъ сдѣлалъ съ душой этой женщины, и она увидала и поняла, что было сдѣлано съ нею. Прежде Нехлюдовъ игралъ своимъ чувствомъ, любовался самимъ собой и своимъ раскаяніемъ, теперь ему просто было страшно. Бросить ее,—онъ чувствовалъ это теперь,—онъ не могъ, а между тѣмъ не могъ себѣ представить, что выйдетъ изъ его отношеній къ ней“.

И первое, въ чемъ начинаетъ проявляться новый человѣкъ, пробуждающійся въ Нехлюдовѣ, это вниманіе и сочувствіе къ чужимъ страданіямъ. Въ романѣ идутъ рядомъ двѣ работы, совершаемыя Нехлюдовымъ: работа надъ собой, надъ своимъ воскресеніемъ, и безкорыстная чистая работа для другихъ. Этотъ параллелизмъ, превосходно проведенный до мельчайшихъ деталей, дѣлаетъ вполнѣ понятнымъ окончательное торжество новаго человѣка, исполненнаго готовности на любое самопожертвованіе, надъ прежнимъ эгоистическимъ животнымъ, которое въ теченіе десяти лѣтъ подавляло всякое проявленіе духовнаго существа Нехлюдова. Такая побѣда не дается сразу и даромъ, какъ казалось вначалѣ Нехлюдову послѣ его скоропалительнаго рѣшенія: „женюсь на ней, если надо“. Онъ увидѣлъ, что отъ Катюши это зависитъ гораздо больше, чѣмъ отъ него, а кромѣ того, въ самомъ этомъ рѣщеніи было больше фарисейскаго самолюбія, чѣмъ искренняго горячаго чувства.

Трудно совлекается старый человѣкъ со всѣмъ его комплексомъ привычекъ, взглядовъ, отношеній къ другимъ людямъ, съ которыми онъ сжился и связанъ тысячами неуловимыхъ, но весьма прочныхъ нитей. Вся вторая часть романа посвящена описанію той внутренней и внѣшней

борьбы, которую ему приходится вести съ той минуты, когда свое рѣшеніе посвятить себя Катюшѣ и страждущимъ онъ начинаетъ приводить въ исполненіе. Эта часть далеко уступаетъ первой по художественности. Въ ней больше отведено мѣста размышленіямъ и наблюденіямъ, устами Нехлюдова то и дѣло говоритъ самъ Толстой, что такъ любитъ авторъ вообще. Въ деревнѣ Нехлюдовъ пытается растолковать мужикамъ теорію Генри Джоржа о національзаціи земли, — теорію, которой Толстой, видимо, придаетъ вполнѣ серьезное значеніе. Въ столицѣ авторъ водитъ Нехлюдова по разнымъ пріемнымъ высокопоставленныхъ лицъ, и здѣсь его мѣткія характеристики и опредѣленія разныхъ учрежденій болѣе интересны и важны, чѣмъ увлеченіе Генри Джоржемъ. Здѣсь для него открывается широкое поле для уничтожающей критики, съ которою Толстой относится къ обществу. Сцена въ сенатѣ, разборъ кассаціонной жалобы, поданной Нехлюдовымъ отъ имени Масловой, превосходна. Лучше всего, однако, удивительныя характеристики сановныхъ лицъ, по истинѣ подлинные историческіе портреты, напоминающіе его же характеристики съ „Войнѣ и мирѣ". Въ нихъ сконцентрировано все бездушьеи формализмъ высшей бюрократіи, далекой отъ всего живого, неспособной понять даже, когда это живое стонетъ и корчится въ мукахъ отъ тѣхъ экспериментовъ, какіе продѣлываетъ надъ нимъ формализмъ. Припомнимъ, напр., стараго генерала спирита, съ бѣлымъ крестомъ въ петличкѣ, къ которому Нехлюдовъ обращается съ просьбой о смягченіи участи одного заключеннаго. „Онъ строго исполнялъ предписанія высшаго начальства и особенно дорожилъ этимъ исполненіемъ. Приписывая этимъ предписаніямъ особенное значеніе, онъ считалъ, что все на свѣтѣ можно измѣнить, но только не эти предписанія". Въ изображеніи этого живого мертвеца есть что-то почти мистическое, апокалипсическое, и васъ невольно охватываетъ то же чувство безнадежности, какъ и Нехлюдова. Не менѣе хороши и типы сенаторовъ, обсуждающихъ кассаціонную жалобу, но вполнѣ и ярче другихъ изображеніе дяди Нехлюдова, бывшаго министра, „главныя качества котораго состояли въ томъ, во-первыхъ, что онъ умѣлъ понимать смыслъ написанныхъ бумагъ и законовъ и хотя и нескладно, но умѣлъ составлять удобопонятныя бумаги и писать ихъ безъ орѳографическихъ ошибокъ; во-вторыхъ, въ томъ, что онъ былъ чрезвычайно представителенъ, и, гдѣ нужно было, могъ являть видъ не только гордости, но неприступности и величія, а гдѣ нужно было, могъ быть подобострастенъ; въ-третьихъ, въ томъ, что у него не было никакихъ общихъ

принциповъ или правилъ, ни нравственныхъ, ни государственныхъ, и что онъ поэтому со всѣми могъ быть согласенъ, когда это нужно было, и когда это нужно было, могъ быть со всѣми не согласенъ. Поступая такъ, онъ старался только о томъ, чтобы былъ выдержанъ тонъ и не было явнаго противорѣчія самому себѣ; къ тому же, нравственны или безнравственны его поступки сами по себѣ, и произойдетъ ли отъ нихъ величайшее благо или величайшій вредъ для Россійской имперіи или для всего міра,—онъ былъ совершенно равнодушенъ. Когда онъ сдѣлался министромъ, не только всѣ зависѣвшіе отъ него, а зависѣло отъ него очень много людей и приближенныхъ, но и всѣ посторонніе люди, и онъ самъ были увѣрены, что онъ очень умный государственный человѣкъ. Но когда прошло извѣстное время, и онъ ничего не устроилъ, ничего не показалъ и когда, по закону борьбы за существованіе, точно такіе же, какъ и онъ, научившіеся писать и понимать бумаги, представительные и безпринципные чиновники вытѣснили его, и онъ долженъ былъ выйти въ отставку, то всѣмъ стало ясно, что онъ былъ не только не особенно умный человѣкъ, но очень ограниченный и мало образованный, хотя и очень самоувѣренный человѣкъ, который едва-едва поднимался въ своихъ взглядахъ до уровня передовыхъ статей консервативныхъ газетъ. Оказалось, что въ немъ ничего не было отличающаго его отъ другихъ мало образованныхъ и самоувѣренныхъ чиновниковъ, которые его вытѣснили, и онъ самъ это понялъ, но это нисколько не поколебало его убѣжденія въ томъ, что онъ долженъ каждый годъ получать большое количество казенныхъ денегъ и новые ордена".

Единственное, до извѣстной степени человѣческое лицо, съ которымъ сталкивается Нехлюдовъ, это его бывшій товарищъ Селенинъ, по крайней мѣрѣ, въ немъ еще живо чувство не внѣшней, а внутренней порядочности. Но и онъ уже почти совсѣмъ отравленъ мертвечиной бюрократіи, и для него важнѣе форма, а не сущность. Онъ стоитъ за отказъ въ пересмотрѣ дѣла Катюши только потому, что не соблюдена формальность—„надо было записать въ протоколъ". Этого не сдѣлано, и пусть гибнетъ человѣкъ. Встрѣча съ Селенинымъ является послѣднимъ толчкомъ, окончательно заставляющимъ Нехлюдова махнуть рукой на этотъ мертвый кругъ, гдѣ онъ нѣкогда вращался. Примѣръ Селенина, когда-то такого правдиваго, вѣрнаго, честнаго и чистаго, котораго этотъ кругъ все-таки превратилъ въ мумію,—убѣждаетъ его, что для живой души, для хорошей, умной и честной работы на пользу людей здѣсь нѣтъ мѣста. И служба, и семьи здѣсь все „не то", одна ложь и взаимный об-

манъ. Въ то же время есть что-то подкупающее и заманчивое въ тѣхъ мягкихъ, культурноутонченныхъ формахъ, въ которыя отлились здѣсь ложь и обманъ. Нехлюдовъ это испытываетъ на себѣ въ мимолетномъ флиртѣ, завязывающемся у него съ женой того больного чиновника. отъ котораго зависитъ судьба политическихъ. У него возникаетъ мучительное сомнѣніе. „Хорошо ли я сдѣлаю, уѣхавъ въ Сибирь? И хорошо ли сдѣлаю, лишивъ себя богатства?“ Но разъ понявъ ложь всего этого круга, онъ уже не можетъ вернуться туда, его гонитъ чувство гадливости, какое онъ испытываетъ отъ общаго лганія, взаимнаго лицемѣрія и чудовищной наглости царящаго здѣсь животнаго эгоизма. И прежде приходилось ему испытывать такое же ощущеніе гадливости, въ тѣ минуты, когда онъ производилъ, по его выраженію, „чистку души“, но раньше дальше „чистки“ дѣло не шло. Очищенную душу онъ снова и не медля засорялъ тѣмъ же хламомъ. Теперь въ его душѣ была забота, много заботъ о другихъ, о самыхъ важныхъ для нихъ дѣлахъ, и эта забота не позволила ему удаляться съ избранной дороги.

Изъ Петербурга Нехлюдовъ возвращается наполовину возрожденнымъ и вполнѣ воскресаетъ къ новой жизни, пройдя тягостный путь отъ Москвы до Иркутска по ужаснымъ этапамъ вмѣстѣ съ партіей, въ которой идетъ Маслова. Третья часть, самая краткая, видимо много-много сокращенная, едва ли не самая интересная, хотя и не такъ сильно написана, какъ первая. Въ литературѣ послѣдняго времени впервые выступаютъ здѣсь политическіе ссыльные, съ которыми удается Нехлюдову помѣстить Маслову и тѣмъ уберечь ее отъ ужасовъ уголовной среды. Огромный талантъ, его несравненная психологическая проницательность помогли Толстому справиться съ этой новой задачей. Онъ обрисовалъ рядъ типовъ политическихъ ссыльныхъ, избѣжавъ двухъ крайностей—не возводя на пьедесталъ и не принизивъ ихъ. Они вышли у него такими же живыми людьми, какъ и остальные, кого только онъ коснулся своимъ магическимъ творческимъ перомъ. Онъ сумѣлъ подмѣтить въ нихъ и то, что сближаетъ ихъ съ обыкновенными людьми, и то, что выдѣляетъ ихъ изъ ряда обыкновенныхъ. Художественная перспектива соблюдена съ поразительной вѣрностью, и въ свою огромную галлерею типовъ Толстой ввелъ рядъ новыхъ. Послѣдующей литературѣ остается только ихъ дополнять и развивать,—тонъ данъ вѣрный и путь указанъ настоящій.

Нехлюдовъ, видя ихъ благотворное вліяніе на Маслову, сближается съ ними дорогой и, узнавъ ихъ ближе, убѣждается, „что это не были сплошные злодѣи, какъ ихъ пред-

ставляли себѣ многіе, и не были сплошные герои, какими нѣкоторые изъ нихъ считали людей своей партіи, а были обыкновенные люди, между которыми были, какъ и вездѣ, хорошіе и дурные, и средніе люди. Были между ними и такіе, которые руководствовались эгоистическими, тщеславными мотивами; большинство же было привлечено знакомымъ Нехлюдову, по военному времени, желаніемъ опасности, риска, наслажденіемъ игры своей жизнью, чувствами, свойственными самой обыкновенной энергической молодежи... Это были такіе же люди, какъ и всѣ, но съ тою разницей, что тѣ изъ нихъ, которые были выше средняго уровня, были гораздо выше его, тѣ же, которые были ниже средняго уровня, были гораздо ниже его, представляя изъ себя часто людей несправедливыхъ, притворяющихся и вмѣстѣ съ тѣмъ самоувѣренныхъ и гордыхъ".

Въ описаніи Толстого, однако, большинство, если не всѣ, несомнѣнно выше того средняго уровня, которымъ ихъ мѣряетъ авторъ. Только одинъ, нѣкто Новодворовъ, производитъ нѣсколько иное впечатлѣніе, и Нехлюдовъ, „не смотря на то благодушное настроеніе, въ которомъ онъ находился во время путешествія", не любитъ его и даже презираетъ въ душѣ. Всѣ портреты набросаны бѣгло, за исключеніемъ двухъ—дѣвушки Марьи Павловны и Симонсона, къ которымъ Толстой постоянно возвращается, рисуя ихъ съ необычайной теплотой и любовью. Первая является у него олицетвореніемъ истинной дѣйственной доброты и дѣятельной любви къ людямъ, идеаломъ настоящаго человѣка. Одинъ изъ ея товарищей, тотъ самый Новодворовъ, столь несимпатичный автору, „шутя, говоритъ про нее, что она предается спорту благотворенія. И это была правда. Весь интересъ ея жизни состоялъ, какъ для охотника найти дичь, въ томъ, чтобы найти случай служенія другимъ. И этотъ спортъ сдѣлался привычкой, сдѣлался дѣломъ ея жизни. И дѣлала она это такъ естественно, что всѣ, знавшіе ее, уже не цѣнили, а требовали этого". Другой, Симонсонъ, выступаетъ олицетвореніемъ самостоятельной мысли, всецѣло стремящейся къ правдѣ жизни. Онъ никогда не подчиняется чужому мнѣнію, а только голосу собственнаго разума, и что признаетъ правильнымъ, тому слѣдуетъ неуклонно. Съ людьми онъ былъ кротокъ и скроменъ, но „когда онъ рѣшилъ что-нибудь, ничто уже не могло остановить его".

Эти два человѣка оказали рѣшительное вліяніе на судьбу Масловой. Марья Павловна своей любовью къ ней, какъ къ несчастной, нуждающейся въ помощи. Симонсонъ тѣмъ, что горячо и безповоротно полюбилъ ее. „Маслова женскимъ чутьемъ очень скоро догадалась объ этомъ, и сознаніе того,

что она могла возбудить любовь въ такомъ необыкновенномъ человѣкѣ, подняло ее въ ея собственномъ мнѣніи. Нехлюдовъ предлагалъ ей бракъ по великодушію и по тому, что было прежде, но Симонсонъ любилъ ее такою, какою она была теперь, и любилъ прямо за то, что любилъ". Судьба Катюши рѣшилась такимъ образомъ, и Толстой сумѣлъ сдѣлать это рѣшеніе вполнѣ жизненнымъ и простымъ. Окончательное преображеніе Катюши въ обществѣ хорошихъ людей подъ вліяніемъ двухъ равно сильныхъ чувствъ вполнѣ естественно. Не испорченная, по существу здоровая и хорошая натура дѣвушки очнулась изъ подъ наслоенія житейскаго хлама и проявила себя такою, какою она была до роковой для нея встрѣчи съ Нехлюдовымъ. Катюша нѣсколько колеблется между Нехлюдовымъ и Симонсономъ. Перваго она сама любитъ, старое чувство къ нему не могло не проснуться при видѣ его раскаянія и тѣхъ усилій, какія онъ дѣлалъ для облегченія ея жизни. Второй любитъ ее, и она принимаетъ его предложеніе. Съ тѣмъ же женскимъ инстинктомъ она поняла, что въ Нехлюдовѣ говоритъ только великодушіе, а не любовь къ ней, и что жизнь съ нимъ въ Сибири превратилась бы для обоихъ въ своего рода каторгу. Ее подавляла бы ежедневно мысль о его великодушіи, его—сознаніе необходимости выполнить долгъ до конца. Тогда какъ Симонсонъ предлагалъ ей чистое и горячее чувство, жизнь на правахъ равной съ равнымъ, общее дѣло и общіе интересы. Въ этомъ рѣшеніи ея сказывается полная побѣда прежней Катюши, только возвышенной и очищенной страданіемъ, надъ грѣшной Катюшей, какою встрѣтилъ ее Нехлюдовъ на скамьѣ подсудимыхъ. Она вторично приноситъ ему себя въ жертву, сознательно отказываясь отъ любимаго человѣка, чтобы не испортить ему жизни.

Катюша, дѣйствительно, воскресла. Какъ бы ни сложилась ея дальнѣйшая жизнь, будетъ она счастлива съ новымъ мужемъ или нѣтъ—это уже не важно. Одно несмнѣнно—это будетъ жизнь хорошихъ людей, тружениковъ, честно несущихъ крестъ свой и въ мѣру силъ помогающихъ другимъ нести его. Иное дѣло Нехлюдовъ. Онъ тоже преобразился, и для него нѣтъ возврата къ прежней, сытой и праздной, жизни тунеядца, жизни гриба-паразита, высасывающаго соки изъ благороднаго дерева. Онъ понялъ это при послѣднемъ свиданіи съ Катюшей. Одинъ моментъ на него напала слабость, когда онъ видѣлъ счастливую семейную чету въ губернаторскомъ домѣ, „и ему стало завидно и захотѣлось себѣ такого же изящнаго, чистаго какъ ему казалось, счастья". Но то, что онъ снова увидѣлъ въ тюрьмѣ, пробудило его. „То, что было въ домѣ генерала, то былъ

сонъ, а это, все то, что онъ видѣлъ теперь, и вся та дѣятельность, которую вызывало и которой требовало отъ него все то, что онъ видѣлъ, была настоящая жизнь, настоящая дѣйствительность". Только усыпленные и ослѣпленные „изящнымъ и чистымъ" личнымъ счастьемъ могутъ чувствовать себя далекими отъ ужаса этой настоящей жизни. Кто разъ пробудился и понялъ эту дѣйствительную жизнь, лишенную всякихъ прикрасъ изящества и чистоты, тотъ не можетъ искать для себя такого личнаго счастья. Для него—иной путь, иное счастье.

Этотъ путь Толстой указываетъ словами евангелія, въ притчѣ о виноградаряхъ. „Въ этомъ все"—думалъ Нехлюдовъ.—„Я жилъ и всѣ мы живемъ въ нелѣпой увѣренности, что мы сами хозяева своей жизни, что она дана намъ для нашего наслажденія. А, вѣдь, это, очевидно, нелѣпо. Вѣдь, если мы посланы сюда, то по чьей-нибудь волѣ и для чего-нибудь. А мы рѣшили, что мы, какъ грибы: родились и живемъ только для своей радости, и ясно, что намъ дурно, какъ дурно работнику, не исполняющему воли хозяина. Воля же хозяина выражена въ ученіи Христа. Только исполняй люди это ученіе, и на земли установится царство Божіе и люди получатъ наибольшее благо, которое доступно имъ".

Романъ на этомъ оканчивается, а новая жизнь для Нехлюдова этимъ должна начаться. Толстой не даетъ никакихъ указаній, въ какой формѣ проявится новая жизнь Нехлюдова. Мы можемъ, конечно, предположить, что онъ станетъ продолжать ту работу для другихъ, которую дѣлалъ для Катюши и всѣхъ, такъ или иначе связанныхъ съ нею. Но этого, однако, мало, хотя и страшно много само по себѣ. Вопросъ гораздо сложнѣе и труднѣе, чѣмъ онъ представляется Нехлюдову. Недаромъ же люди почти двѣ тысячи лѣтъ слышатъ ученіе Христа и все еще не могутъ устроить своей жизни согласно этому ученію. Значитъ, есть что-то, что сильнѣе ихъ, что мѣшаетъ имъ, и ссылка на это ученіе, какъ на разрѣшеніе всего, еще не даетъ отвѣта на вопросъ, поставленный Нехлюдовымъ, что дѣлать? Какъ устроить жизнь, чтобы не было ни „ослѣпленныхъ", ни „сумасшедшихъ", ни „озвѣрѣвшихъ" людей? Громадная, неоцѣненная заслуга автора въ томъ и заключается, что онъ съ страшной силой возбуждаетъ въ читателѣ этотъ вопросъ. Его романъ сильнѣе его проповѣди, какъ, вообще, жизнь сильнѣе самыхъ умныхъ и строго логическихъ разсужденій. А „Воскресеніе"—это сама жизнь, это—печальная и ужасная правда. Исторія Катюши — это исторія тысячи-тысячъ Катюшъ, гибнущихъ на зарѣ жизни и не воскресающихъ никогда. Исторія Нехлюдова—тоже обычная исторія постепен-

наго паденія огромной массы когда-то хорошихъ и чистыхъ юношей, превращающихся въ сытыхъ самодовольныхъ животныхъ, въ „безуміи эгоизма“ не замѣчающихъ этого паденія. А вся обстановка, при которой разъигрывается драма этихъ двухъ людей, жизнь въ тюрьмѣ, судъ, этапъ, высшая бюрократія—развѣ это не сама дѣйствительность, та „настоящая жизнь“, къ которой мы такъ привыкли, что уже и не замѣчаемъ всѣхъ ея ужасовъ? И нуженъ такой огромный талантъ, какъ Толстого, чтобы заставить насъ очнуться и задуматься надъ нею.

Этого результата Толстой несомнѣнно достигъ. Ни одно крупное художественное произведеніе не было до сихъ поръ такъ распространено, какъ „Воскресеніе“, такъ читаемо и обсуждаемо. Оно проникло въ самые далекіе уголки, куда рѣдко проникаетъ книга, и тамъ возбудило еще большее вниманіе, чѣмъ на поверхности жизни. Огромное значеніе этого факта скажется въ той или иной формѣ въ свое время. Теперь же можно сказать, что результатъ будетъ самый благотворный, ибо мысли и чувства, возбуждаемыя романомъ, очищаютъ душу и воскресятъ не одного Нехлюдова, спасутъ не одну Катюшу.

Воскресшая книга.—«Знаменіе времени» г. Мордовцева. [1]).

Habent sua fata libelli.

Эта старинная пословица невольно вспомнилась намъ, когда мы получили „для отзыва“ романъ г. Мордовцева—„Знаменіе времени“. Странное чувство не то смущенія, не то удивленія охватило насъ, нѣчто въ родѣ того, что испытываешь, встрѣтивъ совершенно неожиданно стараго знакомаго, съ которымъ давно разстался и давно позабылъ о его существованіи. Книга, гонимая нѣкогда, осѣненная ореоломъ „запрещенной“, книга тѣхъ временъ, когда „еще намъ были новы всѣ впечатлѣнія бытія“, и теперь выходитъ въ свѣтъ, какъ и всякая другая, и цѣна ей всего два рубля. По истинѣ, воскресеніе изъ мертвыхъ. Только къ новому ли бытію? Не скорѣе ли къ вторичной смерти, и на этотъ разъ уже навсегда? И думается намъ,—скорѣе второе, такъ какъ книги еще могутъ воскресать, но настроеніе, когда-то вызвавшее ихъ къ жизни, не повторяется никогда.

---

[1]) Августъ 1900 г.

Есть особый сортъ книгъ, которыя въ свое время имѣютъ значеніе вовсе не потому, что онѣ выдаются высокими литературными достоинствами, глубокимъ содержаніемъ, силою чувства, вложеннаго въ нихъ авторомъ. Вовсе нѣтъ,—во всѣхъ этихъ отношеніяхъ онѣ ниже посредственности. Но въ нихъ есть то, что думали и говорили въ это время многіе, что было для многихъ дорого и свято. Читатели того времени встрѣчали въ такой книгѣ живой отголосокъ своихъ чувствъ и мыслей и увлекались книгой, не обращая вниманія на всѣ ея литературныя несовершенства. Даже напротивъ,—именно эти несовершенства въ огромной степени усиливали популярность книги. Грубость изложенія, недостатокъ художественности, рѣжущая прямолинейность книги упрощали ея пониманіе, дѣлая ее доступнѣе для большинства, которое въ книгѣ, такой аляповатой по формѣ, яснѣе и проще разбиралось, чѣмъ въ тонкомъ художественномъ произведеніи, гдѣ, какъ и въ жизни, вовсе нѣтъ подчеркиваній, поясненій отъ автора, что „се левъ, а не собака", какъ писалось подъ аракчеевскими печатями. Никакихъ своихъ мыслей авторъ не преподноситъ читателю въ такой книгѣ. Какъ фонографъ, онъ повторяетъ ходячую въ данную минуту идею именно въ той формѣ, въ которой читатель слышитъ ее, что дѣлаетъ книгу еще любезнѣе для него. Никакихъ новыхъ чувствъ авторъ не выражаетъ,—онъ выражаетъ лишь то, что чувствуютъ если и не всѣ, такъ по крайней мѣрѣ опредѣленная группа. Авторъ ничего не выдумываетъ, онъ только рабски повторяетъ и въ своемъ изложеніи упрощаетъ извѣстное общественное направленіе, иллюстрируя его грубыми примѣрами. По формѣ его произведеніе напоминаетъ издѣліе суздальскаго богомаза, но оно рѣзкими чертами запечатлѣваетъ волнующія въ данную минуту мысли и чувства, что и привлекаетъ къ нему читателя.

Литература освободительной эпохи шестидесятыхъ годовъ была очень богата такими произведенія. Стоитъ вспомнить романы Шеллера, Омулевскаго, Бажина и многихъ другихъ, теперь основательнѣйшимъ образомъ забытыхъ, писателей, это все—богомазы. Тутъ лица человѣческаго нѣтъ, а тогда все это читалось, поглощалось жадно и страстно и имѣло несомнѣнное вліяніе, потому что отражало въ себѣ настроеніе передовой части тогдашняго общества. Въ противовѣсъ этимъ писателямъ выступали богомазы и изъ противоположнаго лагеря — Клюшниковъ, Маркевичъ и т. п. Настоящая литература стояла въ сторонѣ отъ борющихся теченій и творила въ произведеніяхъ Тургенева, Достоевскаго и Толстого вѣчные, не умирающіе образы, а не иллюстраціи къ

излюбленнымъ теоріямъ того или иного направленія. Достоевскій разъ только сдѣлалъ уклоненіе въ сторону злободневности, въ „Бѣсахъ“, самомъ неудачномъ изъ своихъ романовъ, хотя и тутъ его громадный талантъ спасъ его если не отъ пошлости, то отъ суздальской живописи.

Однимъ изъ самыхъ характерныхъ образцовъ этой литературы является „Знаменіе времени“. Даже для шестидесятыхъ годовъ, въ концѣ которыхъ оно появилось, это произведеніе было выдающимся по грубости формы, прямолинейности и рѣзкости, съ которой подчеркиваются ходячія идеи того времени. Современнымъ читателямъ, людямъ 90-хъ годовъ, даже въ 80-ые годы, уже трудно было проникнуться настроеніемъ этого романа, тѣмъ, что собственно и составляло главную протягательную силу для читателя шестидесятыхъ и семидесятыхъ годовъ.

Съ самаго начала выводится какой-то сумасшедшій, бредъ котораго, повидимому, долженъ заключать въ себѣ нѣчто поразительно глубокое и важное. Вѣроятно, тогдашніе читатели и находили это, но для нынѣшнихъ читателей единственно интересное представляетъ описаніе казни, видѣнной больнымъ, хотя само описаніе сдѣлано чисто посуздальски, растянуто, съ массой повтореній, въ высокомъ „штилѣ“, такъ что даже и эта единственная трагическая сцена въ романѣ не производитъ теперь ни малѣйшаго впечатлѣнія. Этимъ бредомъ романъ начинается и тотъ же бредъ сумасшедшаго, нѣкоего Канадѣева, снова и снова повторяется въ нѣсколькихъ мѣстахъ, но дальше въ немъ ничего нельзя понять. Тутъ есть все: и рѣчи о страданіяхъ человѣчества, и народъ, который мучается въ безсильныхъ порывахъ къ свободѣ, и славяне, терзаемые турками, и много настоящаго безсмысленнаго вздора, который, вѣроятно, и для современниковъ былъ непонятенъ, какъ и для насъ. Но чѣмъ оно было непонятнѣе тогда, тѣмъ лучше, и загипнотизированный читатель видѣлъ въ этихъ сугубо темныхъ мѣстахъ глубину глубинъ и бездну премудрости. Бредъ больного служитъ припѣвомъ къ высокимъ и тягучимъ рѣчамъ, которыми главные герои „романа“ разражаются на каждомъ шагу и кстати, и не кстати, лишь бы еще и еще подчеркнуть разницу между „львами“ и „собаками“.

Героевъ этихъ немного—Стожаровъ, Бармитинова и, наконецъ, изъ героевъ герой—Карамановъ, который, подобно державинскому богатырю—

„Ступитъ на горы—горы трещатъ,
Ляжетъ на бездны—воды кипятъ,

Граду коснется—градъ упадаетъ,
Башни рукою за облакъ кидаетъ".

Или еще лучше—подобенъ тому анекдотическому мужику, который въ мечтаніяхъ говорилъ про себя: „Кабы я былъ царемъ, сѣлъ бы у воротъ, и какъ кто мимо—того въ зубы, какъ кто мимо—того въ зубы". Онъ рѣшилъ,—Карамановъ всегда и все рѣшаетъ категорически и безповоротно,—что все несчастіе людей происходитъ отъ лжи, а потому, чтобы сдѣлать ихъ счастливыми, надо вездѣ и всегда говорить имъ правду. Согласно этому правилу онъ и дѣйствуетъ, и „какъ кто мимо—того въ зубы". Ибо правда всегда на его сторонѣ, а всѣ остальные—мерзавцы. Одинъ Стожаровъ еще ничего, да и тотъ, какъ гоголевскій прокуроръ, если правду сказать—„свинья".

Стожаровъ, однако, тоже не лыкомъ шитъ. Еще въ гимназіи „многосторонностью знаній и оригинальностью мнѣній онъ приводилъ въ изумленіе всѣхъ, съ кѣмъ ему приходилось высказываться". Въ университетѣ онъ всѣ науки „превзошелъ", но не удовлетворился и рѣшилъ, что все это не то. Написалъ онъ такую забористую диссертацію, что профессоръ, ее читавшій, испугался за автора. „Въ прежнее время,—сказалъ онъ,—сжигали на кострахъ авторовъ подобныхъ сочиненій, а въ наше время автора посадили бы въ крѣпость". Влюбился онъ, между прочимъ, въ одну дѣвушку, которая тоже ему отвѣчала. Но побоялся что „эти отношенія установятся на общепринятыхъ рутинныхъ началахъ", и поспѣшилъ разстаться съ нею. Онъ уѣзжаетъ, конечно, въ западную Европу, чтобы тамъ поискать разрѣшенія мучающихъ его вопросовъ, но не находитъ этого разрѣшенія, ибо вездѣ тоже, „что и у насъ въ Кинешмѣ: городничій деретъ носъ передъ обручникомъ, а обручникъ для него же дѣлаетъ кадки къ огурцамъ и унижается, чтобы городничій позволилъ ему набить на кадку обручъ". Въ Россіи онъ „перегорѣлъ" въ литературномъ огнѣ и понялъ, что дѣло современныхъ „великихъ людей состоитъ не въ томъ, въ чемъ состояло дѣло тѣхъ великихъ людей, которымъ исторія приписывала величіе иногда по ошибкѣ, иногда же въ силу того, почему для мелкаго воришки закоренѣлый убійца и негодяй кажется великимъ человѣкомъ. Переходя изъ дѣтства въ возмужалость, онъ на дорогѣ столкнулъ съ пьедестала многихъ великихъ людей, которыхъ прежде считалъ таковыми, и въ своей памяти отвелъ имъ самое нужное мѣсто, тотъ бросовый уголокъ, въ которомъ помѣщался старостинъ племянникъ Ларька, угодившій въ Сибирь за конокрадство и убійство. Зато на этой же доро-

гѣ онъ встрѣтилъ дѣйствительно великихъ людей и понялъ, что величіе ихъ слѣдуетъ мѣрить не всегда тѣмъ аршиномъ, которымъ мѣрилъ Плутархъ". Тутъ читатели шестидесятыхъ годовъ съ жаднымъ нетерпѣніемъ ждали, каковъ же аршинъ для современнаго важнаго человѣка, и читали, затаивъ дыханіе: „Исходной точкой жизни Стожарова съ той поры стала—*польза*, если и не въ широкихъ размѣрахъ, не въ общечеловѣческихъ видахъ, то хоть самая узенькая, хотя бы такая, которая принесла бы счастіе и спасеніе Ларькѣ, укравшему у его отца пѣгаго иноходца". Въ поискахъ за этой пользой мы и застаемъ Стожарова на первыхъ страницахъ романа.

Въ сопровожденіи молодого человѣка, еще студента, но уже тоже перегорѣвшаго огнемъ и не нашедшаго въ наукѣ отвѣта на вопросы о счастьи, Стожаровъ ѣдетъ по Волгѣ, собирая статистическія данныя о народномъ житьѣ-бытьѣ. Волею судебъ его заноситъ въ приволжскую деревню, гдѣ онъ снова сталкивается съ любимой нѣкогда дѣвушкой, нынѣ сельской учительницей въ земской школѣ, и его „точеная голова",—этотъ эпитетъ, долженствующій характеризовать преобладаніе умственности надъ сердцемъ Стожарова, повторяется безчисленное количество разъ въ романѣ,—просіяла. Его избранница „порвала узы рутины" и изъ ничтожной куколки-дѣвицы превратилась въ сознательнаго человѣка - женщину, которая на практикѣ осуществила его принципъ—приносить пользу хотя бы и узенькую, хотя бы только Ларькѣ. Школа ея процвѣтаетъ яко кринъ сельный, ея ученики ведутъ войну съ отсталыми учениками министерскаго двуклассного училища, гдѣ больше обучаютъ всякимъ „исторіямъ", только не естественной исторіи, тогда какъ ея ученики превосходно изучаютъ именно послѣднюю. И „точеная голова" склоняется передъ учительницей, Бармитиновой, которая такъ просто и геройски разрѣшила задачу жизни, что для права на личное счастье надо прежде поработать для другихъ, отдавъ себя на служеніе этимъ другимъ во имя его афоризма, „что двумъ подло пользоваться счастьемъ, когда другіе двадцать несчастливы". Старое чувство даетъ себя знать, но теперь Стожаровъ подходитъ къ ней, какъ равный къ равному, и между ними происходитъ окончательное объясненіе, выясняющее, что нынѣ оба они имѣютъ право принадлежать другъ другу, такъ какъ онъ „все время тесалъ камни для зданія будущаго", она—подготовляла тоже камни для этого будущаго. Ибо камень этотъ—народъ, на немъ созиждутъ они это зданіе, гдѣ для всѣхъ будетъ равное счастье, всѣмъ будетъ „тепло въ немъ и свѣтло". Именно какъ разъ теперь идетъ

Стожаровъ дѣлать первую закладку фундамента. Въ чемъ состоитъ этотъ фундаментъ, мы сейчасъ узнаемъ. Тутъ-то и явится неотразимый въ своей побѣдительности Карамановъ, который и наложитъ на него „необорныя руки“ и докажетъ, что хотя онъ, „точеная голова“, и ничего себѣ, а въ сущности—онъ ничто.

У Стожарова есть отецъ, обладатель недурного имѣнія. Туда-то и направляется нашъ герой, чтобы заложить свой фундаментъ. Туда же направилъ свои стопы и Карамановъ. Лицо у него, какъ „смоленая дратва“, „улыбка собачья“, „глаза стоячіе“, голова, хотя и стриженная нагладко, но до нея „не касалась ни гребенка, ни щетка“. Старикъ Стожаровъ, освѣдомившись о его имени и званіи, спрашиваетъ не родственникъ ли онъ сосѣдняго богатаго помѣщика. „Да, къ несчастью, я сынъ этого негодяя“, спокойно выпаливаетъ Карамановъ, и чтобы ошарашить бѣднаго старичка въ конецъ, продолжаетъ: „Мнѣ говорили, что вы честный человѣкъ. Это такое рѣдкое явленіе, что я пришелъ посмотрѣть на васъ“... И дальше весь разговоръ ведется въ такомъ же тонѣ. Изъ него узнаемъ, что Карамановъ ищетъ „честной работы“, почему нигдѣ ужиться не можетъ, и проситъ, чтобы старикъ принялъ его къ себѣ въ рабочіе. Пока живъ его богатый отецъ, Кармановъ не хочетъ съ нимъ связываться, но отъ своей доли въ имѣніи, перешедшей къ нему отъ матери, онъ не отказывается и ждетъ, пока умретъ отецъ, чтобы затѣмъ осуществить свой особый планъ осчастливить „подлое человѣчество“. Здѣсь и застаетъ его Стожаровъ, пріѣхавшій для закладки фундамента. Когда Стожаровъ, десять лѣтъ не бывшій дома и не писавшій ничего о своемъ пріѣздѣ родителямъ, является неожиданно въ домъ свой, на порогѣ его встрѣчаетъ смерть: старуха нянька, все сторожившая его пріѣздъ изъ слухового окна, падаетъ съ лѣстницы и убивается на смерть. Эта неожиданность наводитъ Стожарова на слѣдующее философское размышленіе: „Какая странная, роковая встрѣча... Неужели отъ одного нашего приближенія должны вымирать старые люди, какъ вымираютъ дикія индѣйскія племена отъ соприкосновенія съ европейской цивилизаціей?“.

Въ романѣ нѣтъ поясненій, какіе предварительные шаги дѣлаютъ оба героя для осуществленія своихъ плановъ, пока ихъ отцы живы. Одинъ, повидимому, все обдумываетъ свою „узенькую пользу“, другой пока работаетъ у него же въ батракахъ и между дѣломъ сокрушаетъ „зубы“ неправдѣ. Но отцы смертны, и наши герои, получивъ въ наслѣдство, большія состоянія, приступаютъ къ дѣлу... „обновленія общества“, ни больше, ни меньше, о чемъ мы узнаемъ изъ

слѣдующаго разговора Караманова съ сумасшедшимъ Канадѣевымъ (по мѣрѣ надобности авторъ излѣчиваетъ его на время).

„— Я хочу попробовать сдѣлать тотъ послѣдній шагъ, который люди боятся и не умѣютъ сдѣлать, чтобы быть счастливыми,—процѣдилъ Карамановъ сквозь зубы.—Мы рѣшились съ Стожаровымъ начать дѣло обновленія общества на новыхъ началахъ,—сказалъ онъ съ разстановкой, какъ бы стараясь гвоздемъ вбить свои слова въ мозгъ Канадѣева. — Ты, вѣроятно, находишь, что начальныя мои слова слишкомъ громки?— вдругъ спросилъ онъ, замѣтивъ, что зеленые глаза Канадѣева выразили не то сомнѣніе, не то насмѣшку.—Они и должны быть громки. Тамъ, гдѣ словами не прошибешъ деревяннаго черепа, надо вбивать это слово обухомъ. Тамъ, гдѣ словъ не слышатъ, надо кричать... Надо обновить общество, перевоспитать, создать, хоть изъ земли выкопать... Мы уже начали это дѣло. Стожаровъ отдалъ даромъ все свое имѣніе бывшимъ своимъ крестьянамъ — отдалъ землю, усадьбу, всѣ заведенія. Онъ хочетъ перевоспитать старую крестьянскую общину, я хочу создать новую. Вотъ почему я ищу пустыню, никѣмъ не заселенную, куплю эту пустыню и заселю ее. Здѣсь въ заволжскихъ степяхъ, по сосѣдству съ Азіей, всего удобнѣе будетъ осуществить мою завѣтную мысль—сдѣлать тотъ великій, послѣдній шагъ... Я куплю здѣсь свободныя земли и заселю ихъ охотниками,—говорилъ Карамановъ,—земли свои я отдамъ даромъ моимъ колонистамъ съ условіемъ, чтобы они разорвали всякую связь съ старыми крестьянскими порядками... У насъ будетъ собственность.

— Значитъ, ты признаешь принципъ вознагражденія, принципъ платы, заработка, а слѣдовательно принципъ богатства и бѣдности,—замѣтилъ Канадѣевъ.—Это скользко...

„— Для неподкованнаго ума скользко... А мой умъ подкованъ прочно,—отвѣчалъ Карамановъ...“

Вотъ и все. Стожаровъ пріѣзжаетъ за Бармитиновой, чтобы увезти ее въ свою общину, но Бармитинова не вынесла непосильныхъ трудовъ по школѣ, заболѣла чахоткой и умираетъ, а наши герои уходятъ съ послѣднихъ страницъ романа исполнять свои планы. Есть тутъ, правда, еще вводныя лица, но особаго значенія не имѣющія. Напр., дѣвица Марина, относительно которой Карамановъ съ перваго абцуга заявляетъ ея брату Канадѣеву, что „она должна быть глупа и мелка“, отъ того, что „слишкомъ хороша“, а при первой встрѣчѣ съ нею выпаливаетъ: „я думалъ, что вы все-таки умнѣе“. Такими упрощенными пріемами, хорошо изученными еще писаремъ у Гл. Успенскаго („она одно, а

ты ей — совсѣмъ напротивъ"), Карамановъ убѣждаетъ дѣвицу, что онъ и есть соль земли. Дѣвица бросается къ нему на шею „прыжкомъ кошки", но онъ остается твердъ и непоколебимъ, и повторяетъ урокъ Стожарова Бармитиновой. „За моимъ великимъ дѣломъ я буду думать не о дѣлѣ, а о васъ", и потому „дѣлаетъ послѣднее усиліе, отталкиваетъ отъ себя обѣими руками грудь дѣвушки, и она падаетъ на землю". Карамановъ уѣзжаетъ одинъ, а дѣвица готовится стать „человѣкомъ", чтобы быть достойной этого великаго мужа съ лицомъ цвѣта „смоленой дратвы" и съ хорошо „подкованнымъ умомъ".

Что же это за настроеніе, которое привлекало читателей шестидесятыхъ и семидесятыхъ годовъ къ этому роману, несмотря на всю неестественность героевъ и общую нехудожественность всего произведенія? Эти отрицательныя стороны и тогда кидались въ глаза всѣмъ, но они стушевывались и исчезали передъ основной тенденціей романа, которая преобладала тогда въ настроеніи прогрессивныхъ кружковъ общества. Тенденція эта—вѣра въ себя, въ силу личности, которая можетъ перестроить міръ на разумныхъ основаніяхъ. Необходимо только сдѣлаться критически мыслящей личностью, чтобы выработать ясный, толковый планъ разумной жизни, согласно которому и остается передѣлать общество. Сама по себѣ эта перестройка дѣло нетрудное, разъ окажется достаточно сильныхъ личностей, такихъ Стожаровыхъ, Карамановыхъ, Бармитиновыхъ и Маринъ. Въ нихъ-то и заключается вся сила вещей, они-то и суть творцы новой жизни. И всякій, кто мнилъ себя критически мыслящей личностью, съ жадностью хватался за „знаменіе времени", увлекался героями романа и посильно подражалъ имъ. Ихъ рѣчи, мысли, чувства находили себѣ отголосокъ въ читателѣ, который, приблизительно, такъ же говорилъ, мыслилъ, чувствовалъ. Разсматриваемый съ этой точки зрѣнія, романъ „Знаменіе времени" получаетъ несомнѣнный историческій интересъ. Для пониманія бурной эпохи 70-хъ годовъ онъ даетъ очень много. Въ рѣчахъ, если не въ поступкахъ,—хотя и поступковъ такихъ было въ то время довольно,—его героевъ сохранились задушевныя мысли передовыхъ людей того времени, и, слушая ихъ, мы какъ бы присутствуемъ при страстныхъ дебатахъ, какіе велись тогда за или противъ переустройства общества на тѣхъ или иныхъ новыхъ началахъ. Теперь мы ясно видимъ всю наивность этихъ проектовъ, проявляющуюся хотя бы въ этой „абсолютной общности труда, денегъ, заработка, всего имущества", и „съ передѣлами земли". Этотъ передѣлъ земли, которая находится въ абсолютной общности, а слѣдователь-

но и передѣлять ее нѣтъ никакой надобности,—какъ кончикъ ослинаго уха, выдаетъ съ головой Стожарова. То же и въ карамановской новой общинѣ, гдѣ всѣ общее, но тѣмъ не менѣе существуетъ заработная плата и проч. Не въ томъ сила, это мелочь, деталь,—важна вѣра въ силу личности, которая въ одинъ прекрасный моментъ можетъ перевернуть міръ. И читатель упивался этой вѣрой, а мы, отдаленные отъ него тридцатилѣтіемъ, полнымъ такихъ глубокихъ разочарованій, можемъ отнестись къ этой вѣрѣ лишь съ „горькой насмѣшкой сына надъ промотавшимся отцомъ". Сколько бы не увѣряли насъ современныя намъ „точенныя головы" и „хорошо подкованные мозги", что сила въ личности, въ субъективномъ отношеніи къ дѣйствительности",—имъ не увлечь за собой никого. Сколько бы ни практиковали они карамановскаго рецепта—„кто мимо, того въ зубы",—время ихъ прошло.

Потому-то и думается намъ что воскрешеніе такихъ произведеній, какъ „Знаменіе времени", является для нихъ не воскресеніемъ, а скорѣе—вторичными похоронами. Люди переживаютъ нерѣдко свое время и настроеніе, выдвинувшее ихъ когда-то, но время не повторяется. Довлѣетъ бо дневи злоба его, и у каждаго дня своя печаль, у каждаго времени—свое знаменіе. „Что прошло, того не будетъ вновь",—сказалъ поэтъ.

Requiescat in pace.

Московскій художественный театръ. [1])

„Кто не любитъ театра, кто не видитъ въ немъ одного изъ живѣйшихъ наслажденій жизни, чье сердце не волнуется сладостнымъ, трепетнымъ предчувствіемъ предстоящаго удовольствія при объявленіи о бенефисѣ знаменитаго артиста или о постановкѣ на сцену произведенія великаго поэта? На этотъ вопросъ можно смѣло отвѣчать: всякій и у всякаго, кромѣ невѣждъ и тѣхъ грубыхъ, черствыхъ душъ, недоступныхъ для впечатлѣній искусства, для которыхъ жизнь есть безпрерывный рядъ счетовъ, разсчетовъ и обѣдовъ".

Такъ восклицалъ Бѣлинскій въ концѣ тридцатыхъ годовъ, привѣтствуя постановку новыхъ произведеній Шил-

[1]) Апрѣль 1901 г.

лера на московской сценѣ. Страстный любитель театра, онъ посвятилъ ему рядъ лучшихъ статей, въ которыхъ явился выразителемъ того увлеченія театромъ, какое было такъ характерно для русскаго общества тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ. Театръ замѣнялъ тогда общественную жизнь, которой не было, и въ немъ лучшіе люди того времени искали не развлеченія или отдыха, а высшихъ интересовъ для ума и души, интересовъ, которыхъ такъ недоставало въ окружающей дѣятельности. И какъ ни искусственна была такая замѣна, все же театръ служилъ нѣкоторымъ суррогатомъ жизни и помогъ сохранить „душу живу“ среди мертвящей „мерзости запустѣнія“ того времени. Съ оживленіемъ общества послѣ реформы театръ отступилъ на задній планъ, оттѣсненный живыми впечатлѣніями и подлинными жизненными интересами. Только въ послѣдніе годы прошлаго столѣтія снова замѣчается увлеченіе театромъ, вызванное отчасти тѣмъ же унылымъ настроеніемъ общества, отсутствіемъ живой общественной дѣятельности, сдавленной и урѣзанной со всѣхъ сторонъ, но главнымъ образомъ это увлеченіе было обусловлено оживленіемъ самого театра, новыми теченіями въ драмѣ и сценическомъ искусствѣ. Если „казенная“ сцена оставалось по-прежнему мертва, то рядомъ начали появляться попытки дать что-то новое, болѣе глубокое, яркое, захватывающее. Въ Петербургѣ выступилъ „Малый театръ“, первое время привлекшій къ себѣ вниманіе именно подобными попытками. Вскорѣ, однако, та подкладка „чего изволите“, которая лежитъ въ основѣ всей растлѣнной и растлѣвающей дѣятельности г. г. ново-временцевъ, выступила въ „Маломъ театрѣ“ на первый планъ и убила то живое, что какъ-будто проявлялось вначалѣ. Гнилое болото могло дать только гнилыя испаренія, и якобы новыя теченія завершились на нововременской сценѣ... „Контрабандистами“. Театръ г. Суворина сдѣлался продолженіемъ „Новаго Времени“, иллюстрируя на сценѣ его передовицы и тенденціи. Въ краткой исторіи этого театра сжато повторилась исторія газеты этого преуспѣвающаго россіянина: стремленіе угодить на всѣ вкусы и въ заключеніе травля инородцевъ. И лавочка г. Суворина заторговала... искусствомъ „распивочно и на выносъ“, но ни новаго направленія, ни тѣмъ болѣе—школы не создала.

И одно, и другую создаютъ только высокое пониманіе искусства и любовь къ нему, что еще разъ доказалъ примѣръ московскаго художественнаго театра, въ которомъ удивительно счастливо сочетались и рѣдкій талантъ главнаго руководителя, г. Станиславскаго, и любовь къ искусству всей труппы, и глубокое пониманіе ею требованій и

задачъ художественнаго творчества. Именно художественнаго творчества, такъ какъ каждая постановка новой пьесы является для этой на рѣдкость подобранной труппы не просто исполненіемъ даннаго произведенія, согласно указаніямъ автора и режиссера, но творческимъ актомъ, въ который каждый участникъ вноситъ свою черту, свою индивидуальность и свое пониманіе. Въ результатѣ получается такое одухотворенное воспроизведеніе пьесы, такое цѣльное и выдержанное олицетвореніе данныхъ авторомъ типовъ, что возникаетъ не только иллюзія живой дѣйствительности, но художественная картина жизни,—картина, настроеніе которой властно и всецѣло захватываетъ зрителя. И достигается это не рабскимъ воспроизведеніемъ на сценѣ разныхъ житейскихъ мелочей, что было бы въ сущности только грубымъ натурализмомъ на сценѣ, а именно художественнымъ освѣщеніемъ этихъ незамѣтныхъ, но въ общемъ необходимыхъ для полноты представленія жизненныхъ условій, въ которыхъ вращается данная жизнь. Когда мы присутствуемъ на сходкѣ въ четвертомъ актѣ „Доктора Штокмана" или при послѣдней сценѣ въ „Дядѣ Ванѣ", насъ привлекаетъ не то или иное отдѣльное лицо, не та или иная отдѣльная черта въобстановкѣ, а общее настроеніе картины, развернутой передъ нами. Какъ будто великій мастеръ нарисовалъ ее въ порывѣ вдохновенія, запечатлѣвъ въ ней охватившее его настроеніе. Пьеса является только матеріаломъ, изъ котораго труппа художественнаго театра творитъ картину.

Эта творческая черта въ дѣятельности труппы особенно ярко проявляется въ постановкѣ пьесъ Чехова, которыя въ чтеніи производятъ совершенно иное впечатлѣніе, чѣмъ въ исполненіи московской труппы. Когда читаешь и „Дядю Ваню", и „Трехъ сестеръ", все время испытываешь скорѣе недоумѣніе, чѣмъ художественное наслажденіе, какъ отъ вѣрнаго воспроизведенія жизни. Не чувствуется непосредственной правды, а что-то надуманное и тяжелое, какъ мысли въ конецъ изстрадавшагося человѣка. Общее ощущеніе безъисходной тоски, которое въ концѣ „Дяди Ванѣ" охватываетъ читателя, получается какъ логическій выводъ изъ ряда посылокъ, данныхъ авторомъ, но отнюдь не какъ непосредственное впчеатлѣніе созданной авторомъ картины. Разобравшись въ впечатлѣніи пьесы, начинаешь понимать, что зависитъ это отъ недостатка въ ней художственной правды: всѣ главныя лица не живые люди, а аллегоріи, которыя должны выяснять основную мысль автора. Въ особенности это замѣтно въ центральномъ лицѣ пьесы, дядѣ Вани, и въ профессорѣ, которые не имѣютъ ни одной живой черты. Что такое, въ самомъ дѣлѣ, дядя Ваня у г. Чехова? Стран-

ный человѣкъ, который всю жизнь прожилъ съ закрытыми глазами, не отдавая себѣ отчета ни въ томъ, что онъ видитъ, ни въ томъ, что дѣлаетъ. Всю жизнь онъ работаетъ для удовлетворенія требованій какого-то профессора, который съ перваго появленія на сценѣ ясенъ и простъ, какъ пошлѣйшій дуракъ, сухой эгоистъ, неспособный ни на какое увлеченіе или живое дѣло. И самъ дядя Ваня съ первой же сцены заявляетъ, что ненавидитъ и презираетъ эту мертвую куклу. Но какъ же онъ раньше этого не замѣчалъ? Вѣдь профессоръ—мужъ его покойной сестры, онъ его отлично зналъ, видѣлъ и могъ еще двадцать пять лѣтъ назадъ сразу раскусить такую примитивную до нелѣпости фигуру. Но въ томъ и дѣло, что профессоръ лицо аллегорическое, какъ и дядя Ваня, который слѣдующимъ образомъ аттестуетъ того, на котораго онъ двадцать пять лѣтъ смотрѣлъ, какъ на полубога.

„Отставной профессоръ, понимаешь ли, старый сухарь, ученая вобла... Подагра, ревматизмъ, мигрень, отъ ревности и зависти вспухла печенка... Живетъ эта вобла въ имѣньѣ своей первой жены, живетъ по-неволѣ, потому что жить въ городѣ ему не по карману. Вѣчно жалуется на свои несчастья, хотя, въ сущности, самъ необыкновенно счастливъ. Ты только подумай, какое счастье! Сынъ простого дьячка, бурсакъ, добился ученыхъ степеней и каѳедры, сталъ превосходительствомъ, зятемъ сенатора и проч., и проч. Все это неважно, впрочемъ. Но ты возьми вотъ что. Человѣкъ ровно двадцать пять лѣтъ читаетъ и пишетъ объ искусствѣ, ровно ничего не понимая въ искусствѣ. Двадцать пять лѣтъ онъ пережевываетъ чужія мысли о реализмѣ, натурализмѣ и всякомъ другомъ вздорѣ; двадцать пять лѣтъ читаетъ и пишетъ о томъ, что умнымъ давно извѣстно, а для глупыхъ не интересно,—значитъ, двадцать пять лѣтъ переливаетъ изъ пустого въ порожнее. И въ то же время какое самомнѣніе! Какія претензіи! Онъ вышелъ въ отставку, и его не знаетъ ни одна живая душа, онъ совершенно неизвѣстенъ; значитъ, двадцать пять лѣтъ онъ занималъ чужое мѣсто“.

Трудно придумать болѣе жестокую характеристику для „профессора“, какимъ онъ изображенъ въ пьесѣ, но тѣмъ непонятнѣе, какъ могъ дядя Ваня, такой, повидимому, и вдумчивый, и любящій, полный высшихъ стремленій человѣкъ, ничего этого не понимать раньше, мало того—всю жизнь, по его словамъ, убить на работу для этого ничтожества. „Двадцатьпять лѣтъ я, какъ кротъ, сидѣлъ въ четырехъ стѣнахъ. Всѣ наши мысли и чувства принадлежали тебѣ одному. Днемъ мы говорили о тебѣ, о твоихъ работахъ, гордились тобою, съ благоговѣніемъ произносили твое имя; ночи мы

губили на то, что читали журналы и книги, которыя я теперь глубоко презираю! Ты для насъ былъ существомъ высшаго порядка, а твои статьи мы знали наизусть"... Читая эти изліянія вдругъ прозрѣвшаго дяди Вани, невольно недоумѣваешь, да гдѣ же были его глаза, гдѣ была его вдумчивость, все то, что такъ внезапно раскрыло ему глаза? Одно изъ двухъ: или профессоръ не то, за кого его принимаетъ теперь дядя Ваня, или онъ самъ спалъ двадцать пять лѣтъ и вдругъ проснулся. И то, и другое равно неестественно, а потому и нехудожественно. Оба они не живые люди, выхваченные авторомъ изъ жизни, а только схематическія фигуры, нужныя автору для иллюстраціи его мысли.

Еще ярче недостатокъ художественности въ „Трехъ сестрахъ", гдѣ и тоскущія сестры, и подполковникъ Вершининъ, всю время твердящій, какъ попугай, свою тираду о будущемъ счастьѣ человѣчества, и баронъ, все призывающій на работу, и врачъ, все перезабывшій, и другіе,—мертвыя фигуры. Растянутость пьесы, отсутствіе дѣйствія и безконечные разговоры все на одну и ту же тему о скукѣ провинціи и прелестяхъ Москвы дѣлаютъ чтеніе ея невыносимо скучнымъ. Мѣстами только эта скука разсѣевается оживленными сценами, въ которыхъ глуповатый, всегда довольный учитель, одно изъ немногихъ типичныхъ лицъ пьесы,—и пошлая Наташа вносятъ нѣкоторое разнообразіе и жизнь въ ноющую и тоскующую атмосферу, окружающую злополучныхъ трехъ сестеръ.

И надо видѣть, что дѣлаетъ изъ этого страннаго матеріала московская труппа! Въ своемъ исполненіи она создаетъ удручающую картину жизни, въ которой вся неестественность и безжизненность героевъ Чехова гармонично сливается съ общимъ фономъ мертвящей дѣйствительности, гдѣ и профессоръ можетъ казаться издали „полубогомъ", и дядя Ваня можетъ всю жизнь незамѣтно для себя убить на пустяки, и три сестры заживо похоронить себя, и подполковникъ Вершининъ выступитъ героемъ именно благодаря нехитрой тирадѣ о будущемъ счастьи человѣчества. Трудно уловить, чѣмъ достигается та правда, которая такъ всецѣло охватываетъ зрителя. Все здѣсь имѣетъ свое значеніе и глубокій смыслъ, какъ тотъ ничтожный, повидимому, штрихъ, которымъ художникъ придаетъ жизнь своему произведенію и который отличаетъ его отъ бездарнаго мазилки, можетъ быть, и знающаго, и трудолюбиваго, но лишеннаго того „нѣчто", что, по словамъ Брюлова, является въ искусствѣ всѣмъ.

Съ первой же сцены „Дяди Вани" скрипъ старыхъ качелей, на которыхъ лѣниво покачивается докторъ Астровъ, и комары, отъ которыхъ постоянно отмахиваются дѣйствую-

щія лица, и старая няня, и приживальщикъ Телѣгинъ, будятъ въ душѣ неясныя, смутныя ощущенія деревенскаго затишья, сонливаго покоя и безмятежнаго существованія. Кажется, все это давно-давно существуетъ, не измѣняясь, не требуя и не возбуждая желанія перемѣнъ. Это ощущеніе сонливости все растетъ, по мѣрѣ развитія пьесы, и самая вспышка дяди Вани, стрѣляющаго въ ненавистнаго профессора, кажется глупымъ и дѣтскимъ протестомъ противъ вѣковѣчныхъ устоевъ окружающей жизни, которая обречена роковымъ образомъ на смерть путемъ медленнаго увяданія и вырожденія, гдѣ нѣтъ мѣста для человѣческихъ страстей, для идейной борьбы, для высокихъ порывовъ духа, ибо для этой жизни все это ни къ чему. Чувствуется въ этомъ что-то стихійное, съ чѣмъ нельзя бороться, а развѣ только съ горечью сознать свое безсиліе предъ „этимъ вырожденіемъ", какъ говоритъ докторъ Астровъ, рисуя картину уѣзда пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ и теперь.

„Смотрите,—говоритъ онъ,—картина нашего уѣзда, какимъ онъ былъ 50 лѣтъ назадъ. Темно-и свѣтло-зеленая краска означаетъ лѣса; половина всей площади занята лѣсомъ. Гдѣ по зелени наложена красная сѣтка, тамъ водились лоси, козы... Я показываю тутъ и флору, и фауну. На этомъ озерѣ жили лебеди, гуси, утки и, какъ говорятъ старики, птицы всякой была сила, видимо-невидимо: носилась она тучей. Кромѣ селъ и деревень, видите, тамъ и сямъ разбросаны разные выселки, хуторочки, раскольничьи скиты, водяныя мельницы... Рогатаго скота и лошадей было много. По голубой краскѣ видно. Напримѣръ, въ этой волости голубая краска легла густо; тутъ были цѣлые табуны, и на каждый дворъ приходилось по три лошади... Теперь посмотримъ ниже. То, что было 25 лѣтъ назадъ. Тутъ ужъ подъ лѣсомъ только одна треть всей площади. Козъ уже нѣтъ, но лоси есть. Зеленая и голубая краска уже блѣднѣе. И такъ далѣе, и такъ далѣе. Переходимъ къ третьей части: картина уѣзда въ настоящемъ. Зеленая краска лежитъ кое-гдѣ, но не сплошь, а пятнами; исчезли и лоси, лебеди, и глухари... Отъ прежнихъ выселковъ, хуторковъ, скитовъ, мельницъ и слѣда не осталось. Въ общемъ, картина постепеннаго и несомнѣннаго вырожденія, которому, повидимому, остается еще какихъ-нибудь 10—15 лѣтъ, чтобы стать полнымъ. Вы скажете, что тутъ культурныя вліянія, что старая жизнь естественно должна уступить мѣсто новой. Да, я понимаю, если бы на мѣстѣ этихъ истребленныхъ лѣсовъ пролегли шоссе, желѣзныя дороги, если бы тутъ были заводы, фабрики, школы,—народъ сталъ бы здоровѣе, богаче, умнѣе, но, вѣдь, тутъ нѣтъ ничего подобнаго! Въ уѣздѣ тѣ же бо-

лота, то же бездорожье, нищета, тифъ, дифтеритъ, пожары... Тутъ мы имѣемъ дѣло съ вырожденіемъ вслѣдствіе непосильной борьбы за существованіе; это вырожденіе отъ косности, невѣжества, отъ полнѣйшаго отсутствія самосознанія, когда озябшій, голодный, больной человѣкъ, чтобы спасти остатки жизни, чтобы сберечь своихъ дѣтей, инстинктивно, безсознательно хватается за все, чѣмъ только можно утолить голодъ, согрѣться, разрушаетъ все, не думая о завтрашнемъ днѣ. Разрушено уже почти все, но взамѣнъ не создано ничего".

Эта длинная реплика доктора только подчеркиваетъ удручающе настроеніе, какое испытываешь отъ пьесы. Московская труппа сумѣла передать замыселъ автора безподобно, освѣтивъ неуловимыми и непередаваемыми штрихами эту безъисходную тоску, какую должны испытывать живые еще люди на фонѣ всеобщаго вырожденія. Понятнымъ становится увлеченіе дяди Вани, для котораго профессоръ долженъ былъ казаться здѣсь дѣйствительно полубогомъ, создающимъ новую жизнь, сѣющимъ сѣмена будущаго возрожденія. Не видя возможности бороться на мѣстѣ, дядя Ваня увлекался мечтой—служить хоть косвенно идеѣ будущаго, идеѣ свѣта и правды, носителемъ которыхъ ему представлялся профессоръ. Только тотъ, кто самъ испыталъ весь ужасъ и всю тоску одиночества въ русской жизни, пойметъ возможность увлеченія миражами и вздорными болтунами, въ особенности, если послѣдніе еще осѣнены ореоломъ науки, каѳедры, университета. Какъ ни велики были разочарованія обывателя, все же титулъ профессора соединяется въ его представленіи съ высокимъ и безкорыстнымъ служеніемъ идеальнымъ задачамъ жизни, а если послѣдняя въ окружающей дѣйствительности представляетъ сплошную мерзость запустѣнія,— тѣмъ выше кажется и этотъ „профессоръ", хотя бы на дѣлѣ онъ служилъ только самому себѣ, торговалъ наукой и приспособлялъ ее къ чему угодно, только не къ высокимъ цѣлямъ. Самый порывъ дяди Вани, помогшій ему разомъ прозрѣть все ничтожество своего идеала и всю безцѣльность своей загубленной жизни, становится понятнымъ въ этой обстановкѣ медленнаго умиранія и постепеннаго, незамѣтнаго разложенія, среди полуразваливающагося дома, гдѣ тишина нарушается только поскрипываніемъ сверчка да щелканіемъ счетовъ. Разъ нарушилось равновѣсіе этой невозмутимой жизни, вошло что-то новое и какъ будто такое свѣтлое, какою кажется ему жена профессора, — контрастъ между мечтой и дѣйствительностью долженъ былъ привести непремѣнно къ взрыву, непремѣнно къ дикой выходкѣ, нелѣпой, какъ и вся жизнь, сложившаяся такъ неудачно и нелѣпо.

Но все это выясняется для зрителя, а не для читателя,

потому что только постановка пьесы московской труппой даетъ ей ту художественную оболочку, которой пьеса сама по себѣ не имѣетъ. Артисты московскаго художественнаго театра проявили не только рѣдкое чутье художественной правды, избѣгнувъ всего, что внесло бы въ ихъ представленіе невѣрную ноту, но и настоящее творчество въ созданіи обстановки для пьесы и въ изображеніи типовъ. Изъ схематическаго профессора они создали типичную фигуру тщеславнаго, недалекаго, сухого и жалкаго профессора-карьериста, привыкшаго красоваться на каѳедрѣ и въ обществѣ, цѣнящаго каждое свое слово на вѣсъ золота и неспособнаго относиться критически ни къ себѣ, ни къ другимъ. Невольно встаетъ въ памяти каждаго рядъ живыхъ и сошедшихъ уже со сцены „дѣятелей“ науки, когда слышишь скрипучую, отчеканенную рѣчь артиста, исполняющаго эту роль. Менѣе удаченъ самъ дядя Ваня, расплывчатая и неясная личность котораго у автора не поддается сколько-нибудь типичному олицетворенію. Но докторъ Астровъ, котораго играетъ г. Станиславскій, превосходенъ по яркости и жизненности изображенія въ исполненіи этого превосходнаго артиста. Этотъ земскій врачъ, увлекающійся лѣсонасажденіемъ, въ которомъ видитъ одну изъ панацей противъ общаго упадка уѣзда, является однимъ изъ лучшихъ художественныхъ созданій г. Станиславскаго. Астровъ выдержанъ имъ съ такой полнотой жизненной правды, что его одного уже достаточно, чтобы упрочить славу г. Станиславскаго. Живая, изнывающая въ пустынѣ личность Астрова, бодраго и жизнерадостнаго по природѣ, способнаго горы сдвинуть, лучше всего освѣщаетъ мертвенность окружающаго запустѣнія, безлюдія и обнищанія жизни. Его уже подточила эта уѣздная безтолочь, безцѣльная сутолока, лишенная высшаго смысла. Онъ одинъ понимаетъ, въ чемъ несчастье всѣхъ этихъ хорошихъ людей, которые такъ зря пропадаютъ, какъ дядя Ваня или Соня, но и онъ чувствуетъ безсилье спасти ихъ. Онъ не пессимистъ, но и не оптимистъ, онъ—просто здоровая натура, которую еще не успѣла исковеркать и засушить окружающая жизнь, хотя и чувствуется въ концѣ дѣйствія, что и его пѣсенка спѣта. Онъ любитъ жену профессора, но понимаетъ, что нѣтъ въ этомъ увлеченіи ничего жизненнаго,—слишкомъ различны онъ и она, которая, по его словамъ, способна вносить всюду только разрушеніе. Астровъ все же единственное лицо, оживляющее зрителя надеждой, что пока есть такіе, не все потеряно. Слишкомъ въ немъ много упорнаго желанія жить во что бы то ни стало, и когда за сценой раздается звонъ колокольчика тройки, уносящей Астрова, кажется, будто все умерло и мы присутствуемъ при погребеніи живыхъ людей,

для которыхъ исчезъ послѣдній связующій ихъ съ жизнью лучъ свѣта. А тихая скорбь и безропотная покорность, которой проникнуты послѣднія слова Сони, производятъ впечатлѣніе отходной молитвы, которую читаютъ надъ умирающимъ: „Что же дѣлать, надо жить!.. Мы, дядя Ваня, будемъ жить. Проживемъ длинный—длинный рядъ дней, долгихъ вечеровъ; будемъ терпѣливо сносить испытанія, какія пошлетъ намъ судьба, будемъ трудиться для другихъ и теперь, и въ старости, не зная покоя, а когда наступитъ нашъ часъ, мы покорно умремъ и тамъ за гробомъ мы скажемъ, что мы страдали, что мы плакали, что намъ было горько, и Богъ сжалится надъ нами и мы съ тобою, дядя, милый дядя, увидимъ жизнь свѣтлую, прекрасную, изящную, мы обрадуемся и на теперешнія наши несчастія оглянемся съ умиленіемъ, съ улыбкой и отдохнемъ. Я вѣрую, дядя, я вѣрую горячо, страстно... Мы отдохнемъ“.

На ряду съ Астровымъ Соня является однимъ изъ лучшихъ созданій московскаго художественнаго театра. Въ пьесѣ г. Чехова она нѣсколько безлична и неопредѣленна, безплотна и монотонна, какъ сѣрыя фигуры на картинахъ символистовъ, у которыхъ вся жизнь сосредоточена въ глазахъ, а тѣло скрыто въ безформенныхъ складкахъ покрывала. Не то на сценѣ, гдѣ мы видимъ удивительно симпатичную дѣвушку, живую и любящую жизнь, кроткую и терпѣливую, но стойкую и непоколебимую въ своихъ стремленіяхъ, влюбленную въ Астрова, который непреодолимо влечетъ ее къ себѣ своимъ жизнерадостнымъ темпераментомъ, своей здоровой, неизломанной натурой. Сцена, когда Соня сама признается ему въ любви и встрѣчаетъ безмолвный, но тѣмъ болѣе краснорѣчивый отказъ, трогаетъ до глубины души изяществомъ и благородствомъ этой женской души, такой возвышенной и чистой въ своемъ порывѣ дѣвственнаго, всецѣло охватившаго ее чувства. Соня напоминаетъ Пушкинскую Татьяну, только не Татьяну—полуребенка, влюбленную въ Онѣгина, а Татьяну, прозрѣвшую всю суетность жизни, ушедшую въ себя, съ покорнымъ преклоненіемъ предъ судьбой, готовую всю себя отдать на жертву за другихъ и для другихъ.

Еще больше, чѣмъ для „Дяди Вани“, сдѣлалъ московскій театръ для „Трехъ сестеръ“ г. Чехова. Не только удивительно передано мертвящее настроеніе безъисходной тоски, которымъ проникнута вся пьеса, но въ исполненіи исчезла вся дѣланность пьесы. Авторомъ, какъ и въ „Дядѣ Ванѣ“, взятъ случай не дѣйствительный, что въ чтеніи производитъ рѣзкій и непріятный диссонансъ. Три сестры на протяженіи четырехъ актовъ все ноютъ, ноютъ, ноютъ и вздыхаютъ по

жизни въ Москвѣ, гдѣ онѣ жили нѣкогда и которая теперь въ дали временъ имъ рисуется, какъ недостижимый идеалъ. Между тѣмъ мы не видимъ ни повода для такого нытья, ни реальной причины, которая мѣшала бы имъ осуществить свою мечту. Сестры обезпечены, прекрасно воспитаны и образованы, знаютъ три иностранныхъ языка,—онѣ милы, всѣмъ нравятся, привлекая людей своей добротой и сердечностью,— казалось бы, почему имъ не жить? Почему не бросить свой провинціальный городъ, если онъ имъ такъ надоѣлъ, и не перебраться въ Москву, гдѣ, конечно, онѣ съ успѣхомъ могли бы проявить всѣ свои несомнѣнные таланты. Тысячи дѣвушекъ, гораздо хуже обставленныхъ, съ меньшимъ багажемъ знаній и душевныхъ достоинствъ, ежегодно покидаютъ провинцію, наполняютъ всякія учебныя заведенія, работаютъ въ литературѣ и печати и такъ или иначе двигаютъ жизнь. Но три сестры, по авторскому хотѣнію, только ноютъ, измышляютъ несущественныя преграды, вродѣ женитьбы брата, который готовился къ каѳедрѣ, а вмѣсто того застрялъ въ земской управѣ, и не двигаются съ мѣста. Вся жизнь ихъ уходитъ въ ничтожную работу, которую они не любятъ, въ странныя, надоѣвшія имъ знакомства съ офицерами мѣстной артиллерійской бригады, въ слабыя и смѣшныя попытки борьбы съ пошлой женой брата, которая весь домъ и ихъ въ томъ числѣ прибираетъ къ рукамъ, и въ безконечное, надоѣдливое нытье. Такъ въ жизни не бываетъ, вотъ что назойливо испытываетъ читатель, и совершенно иное испытываетъ онъ, когда видитъ пьесу въ исполненіи московскаго художественнаго театра.

Не говоря уже о превосходной внѣшней постановкѣ, дающей полную иллюзію дѣйствительности, мы должны опять отмѣтить рѣдкую творческую способность г. Станиславскаго и его товарищей создавать типы изъ схематическихъ набросковъ автора. Въ этой пьесѣ они изъ каждаго лица дѣлаютъ типичную фигуру, которая навсегда врѣзывается вамъ въ память. Предъ нами словно цѣлая галлерея типовъ изъ офицерской среды, начиная съ мечтательнаго сорокалѣтняго подполковника и до пьяненькаго, все перезабывшаго старичка военнаго врача. Мрачный Соленый, считающій себя Лермонтовымъ, и рядомъ съ нимъ безкровный баронъ, все проповѣдующій необходимость работать, работать, работать, — это въ своемъ родѣ идейные представители офицерской среды, которую дополняютъ легкомысленные Федотикъ и Родэ, веселые, добрые ребята, одинъ съ своей фотографіей, другой съ гитарой, всегда готовые любезничать съ барышнями, шумѣть и веселиться по поводу и безъ повода. Въ этой средѣ вполнѣ понятенъ инте-

ресъ, какой возбуждаетъ подполковникъ Вершининъ своими мечтами о будущемъ и жалобами на настоящее свое семейное положеніе. Понятно и увлеченіе имъ, какое охватываетъ одну изъ сестеръ, замужнюю, мужъ которой учитель латинскаго языка, добродушное, всегда и всѣмъ довольное и безконечно глупое существо, если можетъ что внушить къ себѣ, такъ развѣ глубочайшее taedium vitae,— своимъ самодовольствомъ, тупостью и той безсознательной, инстинктивной пошлостью, которая заставляетъ его, напр., сбрить усы только потому, что такъ сдѣлалъ директоръ, не одобряющій усовъ. Жизнь среди такого общества превращается въ безконечную, „нудную" маяту, засасывающую и медленно, но неуклонно притупляющую и принижающую человѣка. Зритель, подавленный безграничною тоскою этой безотрадной жизни, забываетъ всю не реальность трехъ сестеръ, которыя такъ легко и просто могли бы рѣшить вопросъ своей личной судьбы, и видитъ нѣчто гораздо большее: предъ нимъ постепенно развертывается удручающая картина мѣщанскаго болота. Дѣло уже не въ судьбѣ трехъ злополучныхъ сестеръ,—это прогнившая до нутра *русская* жизнь, въ которой задыхаются *люди*, не потерявшіе еще облика человѣческаго. Какъ вянетъ жизнь трехъ сестеръ, такъ вянутъ милліоны русскихъ людей, не зная, за что и почему суждено имъ гибнуть безъ радости, безъ свободнаго расцвѣта своихъ лучшихъ душевныхъ сторонъ, безъ осмысленнаго дѣла, которое наполняло бы ихъ существованіе трепетомъ хотя бы просто человѣческой радости, не отравленной и не загаженной пошлостью.

„Гдѣ оно, куда ушло мое прошлое, когда я былъ молодъ, веселъ, уменъ, когда я мечталъ и мыслилъ изящно, когда настоящее и будущее мое озарялось надеждой? Отчего мы, едва начавши жить, становимся скучны, сѣры, не интересны, лѣнивы, равнодушны, безполезны, несчастны... Городъ нашъ существуетъ уже двѣсти лѣтъ, въ немъ сто тысячъ жителей, и ни одного который не былъ бы похожъ на другихъ, ни одного подвижника ни въ прошломъ, ни въ настоящемъ, ни одного ученаго, ни одного художника, ни мало-маломальски замѣтнаго человѣка, который возбуждалъ бы зависть или страстное желаніе подражать ему... Только ѣдятъ, пьютъ, спятъ, потомъ умираютъ... родятся другіе и тоже ѣдятъ, пьютъ, спятъ, и чтобы не отучнѣть отъ скуки, разнообразятъ жизнь свою гадкой сплетней, водкой, картами, сутяжничествомъ, и жены обманываютъ мужей, а мужья лгутъ, дѣлаютъ видъ, что ничего не видятъ, ничего не слышатъ, и неотразимо пошлое вліяніе гнететъ дѣтей, и искра Божія гаснетъ въ нихъ, и они

становятся такими же жалкими, похожими другъ на друга мертвецами, какъ ихъ отцы и матери"...

Такъ скорбитъ и жалуется братъ трехъ сестеръ когда-то мечтавшій о каѳедрѣ и кончающій ролью члена земской управы, какъ высшей степенью его бытія. А торжествующая пошлость въ лицѣ Наташи, жены его, измѣняющей мужу и постепенно выжившей изъ дому всѣхъ сестеръ, поетъ побѣдную пѣснь: „Значитъ, завтра я уже тутъ одна... (*Вздыхаетъ*). прежде всего срубить эту еловую аллею, потомъ вонъ этотъ кленъ... По вечерамъ онъ такой некрасивый... И тутъ вездѣ я велю понасажать цвѣточковъ, и будетъ запахъ"...

Нѣтъ выхода изъ этой жизни. Пошлость обволакиваетъ все мягкимъ, густымъ, всюду проникающимъ туманомъ, непреодолимая сила котораго заключается въ его безформенности. Съ кѣмъ или съ чѣмъ бороться, когда всякій ударъ поражаетъ что-то рыхлое, поддающееся, какъ трясина, гдѣ даже слѣда не остается борьбы,—все затягиваетъ моментально и на поверхности та же тишь да гладь, какъ будто ничего и не случилось. Пошлость тѣмъ и ужасна, что она не убиваетъ сразу, не производитъ рѣзкихъ, потрясающихъ катастрофъ, которыя бы поражали, какъ ударъ молніи, убивающій, но и озаряющій ослѣпительнымъ свѣтомъ,—она медленно, незамѣтно задушаетъ все живое, обезличивая и притупляя. А если и наступаетъ рѣдкій моментъ, когда глотокъ свѣжаго воздуха оживитъ внезапно полузадохшагося человѣка,—уже поздно: онъ можетъ только стонать, а не бороться. Пошлость не имѣетъ формы, не имѣетъ ничего опредѣленнаго, яркаго, что сразу бросалось бы въ глаза, указуя, гдѣ врагъ, гдѣ его главная сила, въ чемъ ея содержаніе. Пошлость сѣра и безцвѣтна, она молчалива и безгласна, медлительна и неутомима, безшумна и спокойна, она вездѣ и нигдѣ, надъ всѣмъ и во всемъ. Она обезкровливаетъ людей, высасывая кровь изъ нихъ капля по каплѣ, неумолимая и ненасытная, превращая ихъ въ мумій безъ чувствъ, безъ желаній, безъ страстей.

Но она сама себя губитъ въ концѣ концовъ. Въ ней нѣтъ творческаго начала, она ничего не можетъ созидать,—она только разрушаетъ и растлѣваетъ. Какъ въ картинѣ уѣзда, рисуемой докторомъ Астровымъ, все вырублено и уничтожено, остается одна пустыня и обезсилѣвшее, низведенное до животнаго состоянія населеніе, такъ въ общественной жизни, гдѣ воцарилась пошлость, нѣтъ сознательной, планомѣрной, осмысленной дѣятельности, а только одно равнодушіе и безпредметная тоска. И тогда наступаетъ конецъ царству пошлости, потому что въ людяхъ

нельзя убить творческое начало. Именно въ тотъ моментъ, когда пошлость кажется сильнѣе всего, наступаетъ ея конецъ. Нѣтъ возрожденія ни для дяди Вани, ни для трехъ сестеръ. Ихъ жизнь кончена, но не кончена жизнь вообще. „Насъ забудутъ, забудутъ наши лица, голоса и сколько насъ было, но страданія наши перейдутъ въ радость для тѣхъ, кто будетъ жить послѣ насъ, счастье и миръ настанутъ на землѣ, и помянутъ добрымъ словомъ и благословятъ тѣхъ, кто живетъ теперь", говоритъ одна изъ сестеръ въ концѣ пьесы, и въ ея словахъ звучитъ отголосокъ грознаго голоса справедливости, требующей удовлетворенія. И зритель уходитъ изъ театра подавленный, но и возмущенный, унося въ душѣ твердое рѣшеніе: такъ жить дольше нельзя...

Удивительно бодрящее впечатлѣніе производитъ послѣ чеховскихъ пьесъ „Докторъ Штокманъ" Ибсена, эта полнѣйшая противоположность той жизни, которую по Чехову возсоздаетъ московскій художественный театръ. Вмѣстѣ съ тѣмъ „Докторъ Штокманъ"—высшее торжество этого театра и въ особенности его вдохновителя, г. Станиславскаго. Послѣдній несомнѣнно очень хорошъ въ роли Астрова и Вершинина, сумѣвъ дать художественную оболочку этимъ схематическимъ изображеніямъ г. Чехова. Но въ Штокманѣ г. Станиславскій создаетъ не только живое лицо, несравненный по жизненности художественный образъ, который данъ и Ибсеномъ,—онъ идетъ дальше автора. Штокманъ Ибсена, безспорно, одно изъ лучшихъ его созданій, но, какъ всегда, у Ибсена въ обрисовкѣ Штокмана есть нѣкоторая неопредѣленность, что-то недосказанное и въ то же время чрезмѣрное, что, поднимая Штокмана надъ уровнемъ обыкновенныхъ людей, дѣлаетъ его иногда неяснымъ. У Ибсена Штокманъ представляется читателю больше носителемъ идеи правды, вообще борцомъ, и героемъ, чѣмъ человѣкомъ. Въ изображеніи г. Станиславскаго эти обѣ стороны — героическое и человѣческое—слиты въ единое гармоничное цѣлое, что дѣлаетъ его Штокмана не только ближе и понятнѣе намъ, но и выше, какъ образъ, какъ всякое вообще истинное художественное произведеніе, вполнѣ вѣрное дѣйствительности. Здоровый реализмъ русской литературы такъ прочно привилъ намъ вкусъ къ реальному изображенію жизни, что всякая даже вполнѣ законная попытка къ патетическому уже расхолаживаетъ. Тѣмъ болѣе, что въ данномъ случаѣ это совершенно лишнее. Положеніе, занятое Штокманомъ, такъ высоко само по себѣ, что артисту скорѣе приходится бояться—не взять слишкомъ высокаго тона, чѣмъ

слишкомъ обыкновеннаго, который принизилъ бы представленіе о характерѣ героя.

Г. Станиславскій счастливо избѣжалъ обѣихъ крайностей. Его Штокманъ это правдивый и живой типъ человѣка, который, будучи въ дѣйствительности героемъ, меньше всего думаетъ,—что онъ—герой. Онъ мирно и хорошо прожилъ жизнь, радуется, что видитъ у себя въ семьѣ довольство, тѣшится всякимъ пустякомъ, который можетъ украсить жизнь, доставить удовольствіе окружающимъ людямъ, вродѣ хорошаго ростбифа или новой скатерти и абажура на лампу. Нервная и дѣятельная натура, онъ вовсе не то, что принято называть безпокойнымъ человѣкомъ, но онъ не можетъ успокоиться на достигнутомъ результатѣ, который удовлетворилъ бы другихъ. Онъ—вѣчно ищущій и стремящійся впередъ талантливый работникъ, котораго постоянно толкаетъ и возбуждаетъ самый процессъ работы. Онъ любитъ общество, особенно молодое, въ которомъ есть отвѣчающая его живому характеру черта свободолюбивой дѣятельности, не поддающейся заранѣе опредѣленнымъ строгимъ рамкамъ. Открывъ цѣлебные источники возлѣ родного города, онъ такъ счастливъ, что можетъ служить и работать на благо близкихъ ему людей. Другой на его мѣстѣ успокоился бы на этомъ и опочилъ на лаврахъ, какъ его братъ бургомистръ, совершеннѣйшая ему противоположность, рабски идущій въ ту сторону, куда и всѣ, и проповѣдующій порядокъ, разъ онъ уже установленъ и признанъ если не всѣми, то большинствомъ. Но Штокманъ, какъ всякій талантъ, знаетъ не то, чему слѣдуютъ всѣ, а свое, индивидуальное, что выдѣляетъ его изъ всѣхъ и помогаетъ ему сначала создать цѣлебное заведеніе, а потомъ неумолимымъ образомъ приводитъ его въ столкновеніе со всѣми. Талантъ—вотъ что рѣзко выдѣляетъ его изъ окружающей среды и ставитъ выше ея, и столкновеніе Штокмана сначала съ братомъ, потомъ со всѣмъ городомъ, это вѣчная исторія борьбы таланта съ пошлостью.

Сдѣлавъ второе, не менѣе важное открытіе, что трубы плохо проложены и заражаютъ цѣлебные источники, онъ сразу оцѣниваетъ важность положенія для лѣчебнаго заведенія, не обращая ни малѣйшаго вниманія, насколько второе открытіе можетъ задѣвать интересы тѣхъ, кто уже воспользовался первымъ. Эта черта наивности свойственна всякому таланту, для котораго существуетъ одинъ только интересъ—истины. Въ исполненіи г. Станиславскаго эта наивность оттѣнена превосходно. Вы все время, до момента открытаго столкновенія, видите человѣка, преисполненнаго радости, что именно ему суждено оказать такую важную услугу об-

ществу. Объясненія съ братомъ все еще недостаточно, чтобы показать обратную сторону медали. Штокманъ наивно думаетъ, что братъ просто не понялъ, не усвоилъ еще всей важности его открытія, но когда всѣ остальные, редакторъ газеты, его тесть, все общество станутъ на его сторонѣ, то и упрямый братъ пойметъ, что здоровье тысячъ людей важнѣе нѣсколькихъ сотъ тысячъ рублей, необходимыхъ на улучшеніе купаній. Только когда братъ грозитъ ему потерею мѣста за разоблаченіе, въ немъ просыпается смутное пока еще представленіе, что не для всѣхъ важна истина. Но и тутъ его возмущаетъ не корыстное сопротивленіе брата, а его непониманіе, повидимому, такихъ простыхъ вещей. Его возмущаетъ, что истина не трогаетъ брата и его клики, и онъ съ комичнымъ для зрителя раздраженіемъ восклицаетъ: „И эти болваны могутъ навлечь такія невзгоды на свободнаго, честнаго человѣка!“ Для него все это такъ просто, такъ ясно, что отдѣлить себя отъ истины, разъ блеснувшей ему въ глаза, онъ уже не въ силахъ, даже если бы хотѣлъ. Онъ слился съ нею и на просьбы жены вспомнить о дѣтяхъ, отвѣчаетъ великолѣпной по своей простотѣ фразой: „Я долженъ имѣть право смотрѣть прямо въ лицо моимъ сыновьямъ, когда они выростутъ большими“. Артистъ, менѣе талантливый и чуткій, чѣмъ г. Станиславскій, могъ бы испортить весь чудный эффектъ этой сцены, повысивъ тонъ, ставъ въ театральную позу, къ чему эта центральная фраза даетъ не мало повода. У г. Станиславскаго она выходитъ просто, естественно, такъ какъ для Штокмана въ ней ней нѣтъ ничего особеннаго,— онъ иначе не можетъ поступать и свято вѣрить, что и другіе не могутъ. Нѣкоторая доля комизма, вкладываемая г. Станиславскимъ въ свое исполненіе, придаетъ Штокману ту юмористическую жилку, безъ которой этотъ характеръ былъ бы неясенъ. Для Штокмана въ начавшейся борьбѣ между нимъ и противной кликой есть дѣйствительно нѣчто комическое, какъ казалось бы, напр., Геркулесу, противъ котораго возстали муравьи. Именно такими муравьями кажутся ему въ сравненіи съ истиной ея противники, въ особенности его достопочтенный братецъ. Этимъ объясняется комичная сцена въ типографіи, когда Штокманъ, надѣвъ форменную фуражку брата-бургомистра и завладѣвъ его тростью, важно расхаживаетъ, увѣряя брата, что теперь онъ, докторъ Штокманъ,—первая власть въ городѣ. Для него сопротивленіе брата—просто смѣхотворная комедія и на сердитое требованіе брата возвратить его „оффиціальную фуражку“, онъ, шутя и добродушно посмѣиваясь, увѣряетъ его „Пустое! Или ты воображаешь, что твоя оффиціальная фуражка испугаетъ пробуждающійся народъ? Такъ знай, завтра же со-

вершится переворотъ. Ты грозилъ отставить меня отъ должности, но теперь я отставляю тебя отъ всѣхъ твоихъ должностей. А ты думаешь, я не могу этого сдѣлать? Ошибаешься! За меня общество, Гофстадтъ и Биллингъ будутъ громить въ „Народномъ Вѣстникѣ", Аслаксенъ вступитъ въ борьбу во главѣ всей ассоціаціи домовладѣльцевъ". Трудно передать лучше, чѣмъ дѣлаетъ это г. Станиславскій, когда постепенно выясняется для Штокмана истинное положеніе вещей,—изумленіе, разочарованіе, наконецъ, яростное негодованіе овладѣваетъ имъ, и онъ уходитъ, бросая вызовъ всему обществу: „Теперь посмотримъ, можетъ ли человѣческая низость зажать ротъ патріоту, который стремится очистить общество".

Съ этого момента начинается открытая борьба таланта и пошлости, истины и низости, и скрытый героизмъ натуры Штокмана выступаетъ наружу. Но г. Станиславскій не измѣняетъ ни на іоту правдѣ, когда неизмѣнно выдерживаетъ тотъ же тонъ добродушія, наивности и юмора, составляющихъ отличительныя черты Штокмана, какъ человѣка. На народномъ собраніи онъ остается такимъ же предъ бѣснующейся толпой, какъ и у себя въ семьѣ или при стычкѣ въ типографіи. Напротивъ, онъ даже спокойнѣе, такъ какъ волновавшій его прежде эпитетъ „врагъ общества", брошенный ему братомъ, онъ принимаетъ, какъ должное. Да, онъ врагъ народа, пока этотъ народъ глухъ къ правдѣ, пока имъ руководитъ сплоченная клика людей безъ убѣжденій, въ родѣ бургомистровъ, безсовѣстныхъ Гофстадтовъ и продажныхъ Биллинговъ, трусовъ, какъ Аслаксенъ, проповѣдующихъ „благоразумную умѣренность и умѣренное благоразуміе". Теперь для него вопросъ идетъ не о купальномъ заведеніи, не о проведеніи новыхъ трубъ, а о томъ, что „всѣ источники нашей жизни отравлены и все наше общество стоитъ на зараженной почвѣ". Заикаясь, не находя подходящихъ выраженій, но ни мало не смущаясь общимъ протестомъ искусно возбуждаемой толпы, Штокманъ развиваетъ новое открытіе, что самый опасный врагъ истины—это сплоченное большинство. Съ спокойствіемъ математика, рѣшающаго интересную задачу, онъ доказываетъ, что истина всегда на сторонѣ меньшинства, ее открывающаго впервые, и становится общимъ достояніемъ лишь послѣ того, какъ утратитъ значительную часть своей чарующей и бодрящей свѣжести. А до тѣхъ поръ масса бродитъ во тьмѣ, ее надуваютъ тѣ, кому это выгодно, и онъ ничего не имѣетъ, если рухнетъ общество, основанное на этихъ началахъ лжи и взаимнаго обмана. „Что за бѣда,—горячо убѣждаетъ онъ слушателей,—если погибнетъ лживая община! Повторяю — ее слѣдовало

стереть съ лица земли! Всѣ люди, питающіеся ложью, должны быть уничтожены, какъ гады! Съ теченіемъ времени вы отравите остальную страну, вы доведете ее до того, что вся страна заслужитъ гибель. И если когда-либо настанетъ такая минута, я скажу отъ всего сердца: да погибнетъ страна! до истребится весь народъ ея!" И когда его объявляютъ единогласно врагомъ народа, онъ удивляется безумію толпы, неспособной понять такой простой истины, что правда непобѣдима и голоса ея нельзя заглушить. Съ философскимъ спокойствіемъ относится онъ къ неистовству толпы, и на жалобы жены, что на собраніи изорвали его лучшую пару, онъ замѣчаетъ съ чисто сократовскимъ юморомъ: „Никогда не слѣдуетъ надѣвать лучшую пару, когда идешь сражаться за свободу и правду". И когда волна общественнаго негодованія подымается еще выше и вокругъ него образуется пустота, онъ приходитъ къ конечному выводу, что „самый сильный человѣкъ въ этомъ мірѣ тотъ, кто болѣе всѣхъ одинокъ". Этотъ смѣлый вызовъ, бросаемый имъ ослѣпленному обществу, гармонически завершаетъ героическій образъ человѣка, не знавшаго всю жизнь никакихъ сдѣлокъ съ совѣстью и подчинявшагося только голосу истины. Пусть онъ одинокъ, — тѣмъ лучше: это избавляетъ его отъ необходимости считаться съ разными бургомистрами и кожевенниками, съ умѣреннымъ благоразуміемъ однихъ и открытой жаждой выгодъ другихъ, съ трусостью тайныхъ друзей и ненавистью открытыхъ мерзавцевъ. Одиночество даетъ свободу дѣйствій, а больше ему ничего и не нужно. Надъ старымъ міромъ онъ ставитъ крестъ и обращается къ юному поколѣнію,—изъ него онъ воспитаетъ „свободныхъ, благородно мыслящихъ людей".

Таковъ Штокманъ въ исполненіи г. Станиславскаго, и мы не видимъ, въ чемъ онъ отступилъ отъ Ибесна? Можетъ быть, другой артистъ подчеркнулъ бы героическую сторону его характера, усилилъ бы въ немъ черту непреклонной воли, которая должна быть очень сильна въ Штокманѣ, но, намъ кажется, личность его потеряла бы тогда цѣльность. Теперь предъ нами веселый, добродушный человѣкъ, нервный и живой, съ открытой душой, довѣрчивый и ласковый, который постепенно растетъ, по мѣрѣ того, какъ предъ нимъ раскрывается низость окружающаго его общества, и когда дѣло доходитъ до открытаго столкновенія, становится героемъ, потому что не знаетъ иныхъ велѣній, кромѣ велѣній совѣсти, никогда не подчинялся иному голосу, кромѣ голоса истины. Обстоятельства дѣлаютъ его героемъ, вызывая изъ глубины его души таившіяся въ ней силы, которыхъ ни окружающіе, ни онъ самъ не подозрѣвали раньше. Въ такомъ изобра-

женіи Штокмана мы не видимъ приниженія *личности;* на, противъ, скорѣе ея реабилитацію. Сколько, быть можетъ-такихъ скрытыхъ героевъ живетъ между нами, пока не наступитъ ихъ часъ, какъ наступилъ онъ для Штокмана.

Въ репертуарѣ московскаго художественнаго театра, который намъ привелось видѣть, это лучшая пьеса. Не будемъ поэтому останавливаться ни на „Одинокихъ", ни на „Геншелѣ", въ постановкѣ которыхъ нѣтъ такой цѣльности впечатлѣнія, какъ въ предыдущихъ пьесахъ, что зависитъ отъ нѣкоторой слабости силъ этого театра въ женскомъ персоналѣ, а въ обѣихъ названныхъ пьесахъ требуются выдающіяся артистки. Какой же общій выводъ объ этомъ новомъ театрѣ? Думаемъ, что имъ сдѣлано очень много для развитія сценическаго искусства у насъ. Помимо прекраснаго подбора пьесъ, мы видимъ такое пониманіе ихъ, любовь къ искусству, сказывающуюся во всякой мелочи, и талантливое руководство всѣмъ и всѣми, что въ дальнѣйшемъ Московскому художественному театру остается только пожелать развитія этихъ основныхъ началъ всякаго искусства.

Въ мірѣ мерзости и запустѣнія—„Гимназическіе очерки" г. Б. Никонова [1]).

Почти одновременно въ нашемъ журналѣ и „Русскомъ Богатствѣ" появились очерки изъ гимназической жизни, очерки захватывающаго интереса не столько по своимъ литературно-художественнымъ достоинствамъ, сколько по своему содержанію. Тридцать лѣтъ эта жизнь таилась глубоко подъ спудомъ, куда не проникалъ ни одинъ лучъ гласности, и что тамъ творилось, знали лишь тѣ, кому сіе вѣдать надлежитъ. Да знали ли и они? Смѣемъ думать, что нѣтъ, по крайней мѣрѣ, далеко не всѣ и далеко не все. Жизнь классической школы шла особнякомъ отъ насъ, отъ семьи, отъ общества, которому вмѣнялось почти въ преступленіе интересоваться ею, и лишь изрѣдка доносились оттуда извѣстія о какомъ-либо уголовномъ дѣяніи, свидѣтельствовавшія, что въ этомъ мірѣ мрака и запустѣнія что то не ладно. Какъ это ни странно, но такое уединеніе школы, этого хранилища живыхъ силъ, ими же жива страна и двигается государство, считалось чѣмъ то столь естественнымъ, необходимымъ, что мы и сами къ этому привыкли.

---

[1]) Сентябрь 1901 г.

Такъ можно судить хотя бы по тому пренебреженію, съ какимъ литература относилась къ этому мірку. Положимъ, многое мѣшало проникнуть туда, но имѣемъ же мы такія яркія картины изъ „Міра отверженныхъ“, который тоже охраняется довольно-таки тщательно. Почему же до сихъ поръ не явилось въ литературѣ ничего подобнаго изъ жизни школы? Мы думаемъ, что именно привычка и равнодушіе тому причиной. „Привычка свыше намъ дана“, и она не только „замѣна счастію“, но лишаетъ насъ и любознательности, желанія вникать въ явленіе, которое примелькалось и стало обычнымъ, будничнымъ и потому неинтереснымъ.

Будничнымъ и обычнымъ явленіемъ стала на протяженіи тридцати лѣтъ гибель живыхъ душъ, гибель талантливыхъ, яркихъ личностей, которыя, попавъ на зарѣ жизни въ школу, тонули въ ней или выходили оттуда изломанными, обезличенными, жалкими неврастениками или тупыми и равнодушными исполнителями чужихъ велѣній. Что такъ дорого въ личности — иниціатива, энергія, находчивость, смѣлость, предпріимчивость, сознаніе своего достинства, чувство чести и гордая независимость мнѣнія—все это гибло въ зачаткахъ. Отсюда и тотъ общій кличъ—„нѣтъ людей“, который мы слышимъ всякій разъ, когда поднимается вопросъ о живомъ дѣлѣ, требующемъ не мертвыхъ исполнителей, а живыхъ личностей.

Въ очеркахъ г. Б. Никонова, печатающихся въ „Русскомъ Богатствѣ“, проходитъ предъ нами исторія „перваго ученика“, которую можно назвать „исторіей гибели личности“, обычной для нашей, нынѣ сходящей со сцены средней школы. Вообще, очерки г. Б. Никонова написаны довольно однообразно и слабо, преобладаютъ не художественные типы, а скорѣе фотографическія воспоминанія лично пережитаго и выстраданнаго. Но чувствуется въ нихъ глубокая подкупающая искренность, а фотографическая ихъ правда придаетъ этимъ воспоминаніямъ значеніе человѣческаго документа, свидѣтельствующаго нелицепріятно о томъ, что многимъ и многимъ пришлось пережить самимъ.

Гимназія, описываемая авторомъ, не хуже и не лучше другихъ. Хорошо знакомыя всѣмъ по личному опыту равнодушныя лица учителей, ничѣмъ не интересующихся, кромѣ двадцатаго числа, ученики, презирающіе ученіе, которое представляется имъ ненужной и скучной тяготой — вотъ общій фонъ картины любой изъ нашихъ гимназій. Авторъ выдвигаетъ на первый планъ оригинальную и интересную фигурку маленькаго ученика Аркатова, который напоми-

наетъ своею серьезностью и вдумчивостью маленькаго Домби въ романѣ Диккенса. Аркатовъ глубоко заинтересованъ новой гимназіей, и боится ея, и влечется къ ней неудержимо. Онъ все силится осмыслить и даже въ безтолковыхъ латинскихъ пословицахъ ищетъ скрытаго смысла. Его слабенькая, съ широко раскрытыми глазами, недоумѣвающая фигурка—это какъ бы прообразъ той дѣтской души, которая изъ семейныхъ объятій, полныхъ если не всегда, то въ огромномъ большинствѣ случаевъ—ласки, доброты и осторожной снисходительности, попадаетъ вдругъ въ суровый режимъ школы, не признающей никакихъ исключеній, никакихъ разновидностей, не считающейся съ силами и способностями отдѣльныхъ индивидуальностей и знающей только программу да начальственный окрикъ, предписывающій выполнить ее во что бы то ни стало. Что не укладывается въ рамки программы, должно погибнуть, какъ негодное. Что не согласуется съ начальственнымъ окрикомъ, должно быть уничтожено, какъ опасное и вредное. И только то, что покладисто, мягко, сгибается, какъ воскъ, слѣдовательно, безлично и безформенно, признается настоящимъ матеріаломъ, годнымъ для школы и достойнымъ классической шлифовки. И нѣжная душа маленькаго Аркатова сразу сдается и безпрепятственно воспринимаетъ всѣ формы программы. Недюжинныя способности помогаютъ мальчику уловить всякія тонкости различныхъ правилъ и исключеній латинскаго и греческаго языка, а чуткая душа инстинктивно улавливаетъ и тотъ modus vivendi который не только облегчаетъ гнетъ школы, но и дѣлаетъ изъ Аркатова „перваго ученика“. Быстрое перерожденіе изъ вдумчиваго мальчика въ настоящаго мученика столь высокаго положенія совершается тѣмъ легче, что мальчикъ оказался болѣзненно-самолюбивымъ и чуткимъ ко всему грубому и унизительному.

„Но, Боже мой!—говоритъ авторъ,—чего это ему стоило!.. Изумительная несправедливость гимназической программы, обрушивающей тяжесть ученія, главнымъ образомъ, на маленькіе классы и позволяющей старшимъ лѣниться и бить баклуши, дѣлала то, что Аркатовъ не зналъ теперь почти ни минуты отдыха. Высиживая въ состояніи напряженія пять часовъ въ гимназіи, онъ и дома имѣлъ немного утѣшенія. Пообѣдавъ, онъ сейчасъ же принимался за уроки, и еле-еле успѣвалъ окончить ихъ къ 11-ти, а то и къ 12-ти часамъ ночи... Нерѣдко у него болѣла голова и ныло все тѣло какимъ-то необъяснимымъ образомъ—вѣроятно, отъ отсутствія сколько-нибудь порядочнаго воздуха въ гимназіи... И все свое внѣклассное время Аркатовъ

употреблялъ на ученіе уроковъ. Онъ училъ ихъ, можно сказать, неистово; училъ, не только сидя за столомъ, но и прыгая на одной ногѣ по всѣмъ комнатамъ, и становясь вверхъ ногами, и лежа на кровати, уткнувши голову въ подушку, и даже залѣзая подъ кровать. Онъ словно поджаривался все время на медленномъ огнѣ отъ этихъ безконечныхъ, безпросвѣтныхъ уроковъ... Иногда, намаявшись за день, уже улегшись спать, Аркатовъ вдругъ съ ужасомъ вспоминалъ, что еще остался невыученный урокъ. Онъ торопливо одѣвался и, не смотря на протесты матери, принимался снова за ученіе. Покончивъ, наконецъ, и съ этимъ урокомъ, онъ ложился спать совершенно одурманеннымъ и долго не могъ уснуть, соображая, вызовутъ его завтра или нѣтъ, много ли еще не вызванныхъ изъ этого предмета учениковъ, или просто мучился вопросомъ, „слетитъ“ онъ изъ первыхъ или не слетитъ? Съ тѣхъ поръ, какъ онъ попалъ въ первые ученики, этотъ вопросъ сдѣлался для него поистинѣ „проклятымъ вопросомъ“. Онъ заслонялъ для Аркатова всѣ другіе вопросы, и въ жертву своему первенству Аркатовъ теперь приносилъ все: трудъ, удовольствія, чтеніе интересныхъ книгъ, и пр. Всѣ помыслы его устремлялись къ страшной гимназіи, и тамъ, въ этомъ страшномъ мѣстѣ ему нужно было непремѣнно поддерживать престижъ и славу перваго ученика, и не получить какъ-нибудь четвертки или, Боже упаси, тройки! Единственное удовольствіе, которое Аркатову оставалось теперь въ жизни—это было сознаніе своего первенства, благодаря которому онъ уже не былъ несчастной сѣрой песчинкой въ необъятной массѣ другихъ сѣрыхъ песчинокъ-учениковъ. Его знали, онъ былъ личностью“...

Такъ быстро претворила гимназія способнаго и любознательнаго мальчика въ примѣрнаго ученика, ушедшаго цѣликомъ въ чисто формальную сторону ученія. Ставъ первымъ, онъ ухватился за внѣшнюю сторону и сталъ учиться уже не для удовлетворенія прежней своей любознательности, а для отмѣтокъ. Представимъ себѣ только психологію этой маленькой „личности“, изъ души которой вытравили всѣ радости, всѣ живые порывы, дѣтскія увлеченія и стремленія и вмѣсто всего этого богатства втиснули туда—страсть къ пятеркѣ, какъ къ высшему идеалу, обожаемому предмету, цѣли всѣхъ стремленій и желаній. Что можетъ быть уродливѣе, сквернѣе, и пошлѣе? И это былъ лучшій продуктъ школы, которымъ она гордилась, какъ своимъ превосходнѣйшимъ произведеніемъ, образцовымъ плодомъ! Обыкновенно такіе образцовые продукты кончали или преждевременной смертью, не выдер-

живая въ младшихъ классахъ непосильной работы, или же благополучно дотягивали курсъ, оканчивая гимназію „медальерами“, давно уже вошедшими въ поговорку: „Глупъ, какъ гимназистъ, окончившій съ медалью“.

Съ Аркатовымъ не случалось этого. Въ старшихъ классахъ онъ началъ „портиться“. Напряженное ученіе, непосильная работа и безсмысленная жажда быть непремѣнно первымъ вдругъ ослабѣла въ старшихъ классахъ подъ вліяніемъ новыхъ интересовъ, невѣдомо какими путями проникавшихъ въ гимназію, заглушенныя способности и страсть къ живому знанію дали себя знать, какъ только явился первый толчекъ извнѣ. Для Аркатова такимъ толчкомъ послужило увлеченіе писательствомъ и чтеніе,—опять-таки общая панацея, спасавшая нашихъ гимназистовъ отъ окончательнаго отупѣнія. Не даромъ въ числѣ самыхъ вредныхъ занятій считалось въ гимназіяхъ до послѣдняго времени именно чтеніе и, Боже упаси, сочинительство. Ничто такъ не преслѣдовалось и не искоренялось, какъ писательство, выражавшееся обыкновенно въ изданіи ученическихъ журналовъ и въ рефератахъ при совмѣстномъ чтеніи. Самое слово „рефератъ“ являлось равнозначущимъ соціализму, и авторы рефератовъ, пойманные съ поличнымъ, рѣдко кончали гимназію благополучно. А сколько было изгоевъ за чтеніе!.. Но зато и все лучшее, что спасли въ себѣ ученики средней школы за эти тридцать лѣтъ плѣненія, было результатомъ чтенія, только его одного. Ни въ чемъ, пожалуй, не сказалось у насъ такъ ярко значеніе книги, какъ въ борьбѣ съ отупляющимъ вліяніемъ классической системы, которая преслѣдовала книгу съ ожесточеніемъ почти сектантскимъ. Ученическія библіотеки были доведены до полнаго оскудѣнія, а полученіе книгъ изъ другого источника обставлено самыми суровыми преградами. Общественныя библіотеки были строжайше воспрещены для учениковъ гимназій, журналы тоже, чтеніе даже русскихъ писателей ограничено до послѣдней степени. Трудно повѣрить, хотя это фактъ вчерашняго дня, что были запрещены для гимназистовъ. Бѣлинскій и даже Данилевскій! Несмотря, однако, на самыя суровыя мѣры, до исключенія изъ гимназіи включительно, ученики все же добирались до книги. Правда, далеко не всѣ ученики пользовались ею, и жалобы профессоровъ университета на крайнюю неразвитость „зрѣлыхъ“ въ общемъ вполнѣ справедливы. На массу учениковъ недостатокъ чтенія и опасность его оказали огромное принижающее вліяніе. Новой системѣ, въ которой книгѣ и чтенію отведено довольно видное мѣсто, прежде всего придется пріучить своихъ пи-

томцевъ къ книгѣ и позаботиться объ устройствѣ библіотекъ. Всякій ненужный хламъ, который именуется нынѣ ученическими библіотеками, только загромождаетъ мѣсто въ гимназіяхъ, и придется начать съ его уничтоженія. Таково уже наслѣдіе классической системы, что прежде всего приходится расчищать почву, засоренную ею, и затѣмъ уже насаждать на ней новое сѣмя.

Исторія Аркатова, очень недурно разсказанная г. Никоновымъ, тѣмъ характерна и поучительна, что въ ней проходитъ предъ читателемъ въ сжатомъ видѣ какъ бы исторія самаго классицизма у насъ. Наивный и способный мальчикъ со страстью накидывается на классическую мудрость и постепенно тупѣетъ до полнаго умственнаго паденія. Не находя живого матеріала для ума и души, Аркатовъ весь поглощается формой. Онъ учится не для знанія, котораго ему не даютъ, а для отмѣтки, для видимости, т.-е. для вздора. И масса учениковъ кончала тѣмъ же, чѣмъ онъ началъ. Знаніе, ученіе, мысли о высшемъ значеніи науки все было чуждо классицизму, ихъ замѣняла одна форма. Только немногіе прозрѣвали во время и, какъ Аркатовъ, уходили въ свой, особый мірокъ, чуждый и враждебный гимназіи, гдѣ чтеніемъ и кружковой жизнью боролись съ ослѣпляющимъ вліяніемъ гимназіи. Какъ происходилъ этотъ процессъ „паденія“ лучшихъ учениковъ? „Аркатовъ сталъ сознательнѣе всматриваться въ тяготѣвшее надъ нимъ гимназическое преподаваніе. Заучивая съ великимъ трудомъ чуждыя ему греческія вокабулы, которыя притомъ и произносились Богъ ихъ знаетъ какъ: не то по Эразму, не то по Рейхлину,—Аркатовъ сталъ соображать, что едва ли произойдетъ для него какая-нибудь радость или удовольствіе въ жизни отъ этихъ вокабулъ или отъ омерзительныхъ, невыносимо трудныхъ спряженій съ ихъ всевозможными прошедшими, будущими, предбудущими, сверхбудущими, давнопрошедшими и давнымъ-давнопрошедшими и никогда не бывшими временами, съ ихъ сослагательными, желательными и нежелательными наклоненіями. „Чортъ ихъ знаетъ! — возмущался онъ. — Мало имъ единственнаго и множественнаго числа, такъ они еще двойственное выдумали! Мало разныхъ простыхъ прошедшихъ временъ, такъ еще аористовъ настряпали!“ Въ пятомъ классѣ Аркатовъ „по инерціи“ все еще считался въ числѣ хорошихъ учениковъ, но паденіе его шло впередъ гигантскими шагами. Струна, такъ сильно сразу натянутая въ младшихъ классахъ, стала ослабѣвать съ изумительной быстротой. У Аркатова не было достаточной уравновѣшенности въ характерѣ, чтобы съ разсчетомъ и хладнокровно

заниматься гимназическими благо-глупостями латыни и греческаго языка. По натурѣ импульсивной и крайне впечатлительной, онъ страстно возненавидѣлъ всю классическую учебу, едва только раскусилъ ея тлѣнъ и гниль. А раскусить ее теперь для него не представлялось никакой трудности, особенно подъ руководствомъ и при содѣйствіи такихъ педагоговъ, какъ „Ѳита“ и Элладскій... Первыми учениками въ старшихъ классахъ стали совсѣмъ иные типы. Въ младшихъ классахъ первыми были усердствующія способныя натуры, рьяно на первыхъ порахъ переваривавшія все то, чѣмъ ихъ пичкала гимназія. Въ старшихъ же классахъ первенство отнимали у нихъ или уравновѣшенныя трудолюбивыя посредственности, работавшія усердно по привычкѣ или изъ страха и мало озабоченныя содержаніемъ той трухи, которую они изучали, или же карьеристы, въ достаточной степени далновидные, разсчетливые и способные молодые люди, прекрасно понимавшіе, что классицизмъ,—чепуха и гниль, но старательно изучавшіе Цезаря, Софокла и Гомера, даже презирая ихъ не по заслугамъ“...

Что можно сказать въ защиту такой системы? Искренно признаемся, что теперь, когда она осуждена безповоротно, мы бы желали указать хотя что-нибудь хорошее въ ней, что давало бы намъ право отнестись къ ней, какъ къ мертвой, снисходительно, хотя въ чемъ нибудь помянуть ее добрымъ словомъ,—и не можемъ. Припоминая личное знакомство наше съ этой системой, мы можемъ вспомнить одного-двухъ недурныхъ учителей-классиковъ, которые искренно желали внушить намъ любовь къ классичесскимъ языкамъ и ко всему, что съ ними связано. Но эти рѣдкія исключенія сыграли скорѣе дурную роль. Они личными достоинствами прикрывали пустоту того, что у насъ величалось классицизмомъ. И хотя это покажется парадоксомъ, но, право, всѣ эти „Ѳиты“, Бѣлоглавеки и другіе „классики“, о которыхъ повѣствуютъ гг. Никоновъ и Яблоновскій, имѣли благотворное значеніе для русскаго общества. Они явились такой превосходной иллюстраціей системы, что и слѣпые увидѣли ея ничтожество, и глухіе поняли ея мертвящую пустоту, которою система глушила все живое и жизнеспособное.

Страничка изъ исторіи реакціонной прессы [1]).

Очень рѣдко, почти ничего не приходится намъ говорить о русской реакціонной прессѣ. Происходитъ это главнымъ образомъ оттого, что эта пресса очень не интересна, и рѣдко-рѣдко можно найти и у нея что-нибудь, что моглобы послужить на пользу нашему читателю. Чѣмъ объяснить такое оскудѣніе реакціонной печати, судить не беремся. Зато съ тѣмъ большимъ удовольствіемъ обращаемъ вниманіе на замѣчательную статью г. А. Филиппова въ первой книжкѣ воскресшаго въ этомъ году „Русскаго Обозрѣнія" — „Изъ исторіи журнала", въ которой авторъ съ откровенностью, достойною всяческаго поощренія, разсказываетъ, какъ возникъ журналъ, какъ и чѣмъ онъ держался и отчего, наконецъ, палъ. Въ исторіи нашей реакціонной печати статья г. Филиппова должна занять видное мѣсто, и чѣмъ больше она будетъ извѣстна, тѣмъ полезнѣе и для печати вообще.

Г-нъ А. Филипповъ начинаетъ съ жалобы, что нынѣ журналъ могъ бы праздновать десятилѣтіе, такъ какъ въ 1890 г. было основано „Русское Обозрѣніе», — по словамъ автора, „въ самый разгаръ патріотическаго воодушевленія, внесеннаго политикой покойнаго государя Александра III, вѣрнѣе его образомъ мыслей и силой чувства, сливавшагося съ тѣмъ, что таится въ груди русскаго народа. И не будь судьба этого журнала исключительной по своему характеру, мы выслушали бы уже много рѣчей, заздравныхъ тостовъ и привѣтствій читателей. Но, — меланхолически замѣчаетъ авторъ,—какъ все, что призвано отстаивать интересы нашей народности, оно (т.-е. журналъ) захирѣло, пришло въ упадокъ и, думаю, рѣдко кто помнитъ, скорѣе мало кто знаетъ объ этой поучительной страничкѣ изъ исторіи близкаго намъ времени".

Идея журнала возникла въ Москвѣ — у кого именно, авторъ не помнитъ. Зародился онъ подъ редакціей кн. Цертелева и при матеріальной поддержкѣ Давыда Морозова. „Московскій публицистъ, дворянинъ чисто русскихъ традицій, соединялся съ представителемъ лучшей части московскаго купечества, образованнымъ старовѣромъ. Что можетъ быть трогательнѣе союза двухъ нелицемѣрно любящихъ родину лицъ, пользовавшихся притомъ совершенно независимымъ положеніемъ?!" спрашиваетъ г. Филипповъ.

---

[1]) Сентябрь 1901 г.

Успѣхъ, казалось, былъ заранѣе обезпеченъ. „Конечно, на зовъ редактора не замедлили откликнуться интересные по своему сочетанію элементы русской литературы. Въ журналѣ приняли участіе царственный поэтъ К. Р., и неоцѣненный, но высоко цѣнный философъ, П. Е. Астафьевъ; романистъ, публицистъ и политико-экономъ К. Ѳ. Головинъ, и увлекательный поэтъ-беллетристъ Іер. Ясинскій, и повѣствователь-историкъ гр. Саліасъ; бывшій адвокатъ, изслѣдователь искусства и будущій властелинъ въ области печати М. П. Соловьевъ. Поэтъ, прославившійся переводами, П. А. Козловъ въ звучныхъ сонетахъ воспѣвалъ современность. Ген. А. А. Кирѣевъ, по обыкновенію, эффектно-джентельменски полемизировалъ съ Вл. Сер. Соловьевымъ, а князь Ухтомскій, теперь съ такимъ презрѣніемъ нападающій на „Московскія Вѣдомости", дружески усаживался за редакціонный столъ съ Вл. А. Грингмутомъ, непоколебимымъ защитникомъ классицизма. Павелъ Безобразовъ, тотъ самый, что съ пѣною у рта, „какимъ то демономъ внушаемъ", читалъ впослѣдствіи лекціи „въ защиту женщинъ"—чѣмъ инымъ создается въ настоящее время популярность?! — спокойно переносилъ сосѣдство степеннаго соціолога и осторожнаго политика Льва Тихомірова", и т. д.

„Не правда ли,—восклицаетъ г. Филипповъ, какое поразительное разнообразіе именъ, статей и ихъ настроенія!" Дѣйствительно, но это и повело въ ближайшемъ будущемъ къ разладу. Въ первые два года, не смотря на то, что „скромный издатель журнала Д. Морозовъ затратилъ свыше 200.000 р.", не смотря на всякое поощреніе со стороны, „подписчиковъ было немного. При значительномъ количествѣ даровыхъ экземпляровъ, при искусственномъ распространеніи журнала, число ихъ не доходило до 2.000; существовать при такихъ условіяхъ самостоятельно журналу нельзя". А тутъ еще въ 1892 г. „умеръ гражданской (?) смертью Н. Н. Боборыкинъ, нотаріусъ и въ нѣкоторой степени литераторъ. лицо, подписывавшееся за издателя". Возникъ вопросъ и о редакторѣ, такъ какъ кн. Цертелевъ послѣ „гражданской смерти" Боборыкина поспѣшилъ отказаться отъ руководительства журналомъ. На выручку явился „случай", помогшій подыскать нужнаго человѣка, найти котораго, по словамъ автора статьи, было вообще очень трудно, ибо „отдать изданіе, такъ счастливо начатое и обратившее на себя вниманіе не только публики, но и двора, въ руки случайныхъ предпринимателей казалось невозможнымъ". „Только человѣкъ устойчивыхъ убѣжденій, большого запаса энергіи, обладавшій литературной извѣстностью, могъ протендовать на полученіе журнала". Но, печально поясняетъ авторъ, такого

человѣка не было. Къ счастью для журнала, „случай свелъ Боборыкина на улицѣ съ малознакомымъ ему Анатоліемъ Александровымъ, молодымъ человѣкомъ, не достигшимъ 30 лѣтъ и почти никому неизвѣстнымъ". Могъ ли онъ выполнить роль руководителя столь серьезно поставленнаго изданія? — спрашиваетъ г. Филипповъ, и безъ колебаній отвѣчаетъ: „Изъ тѣхъ силъ, которыя необходимы при составленіи редакціи и для развитія такого крупнаго и широкаго дѣла, какъ изданіе ежемѣсячника, у Александрова не было ни одной. Нѣсколько стихотвореній, обличавшихъ въ авторѣ самое заурядное дарованіе; два-три фельетона по литературѣ, свидѣтельствовавшіе и бойкости пера и опредѣленности мыслей больше, чѣмъ о талантѣ — вотъ и все, чѣмъ могъ похвастать будущій редакторъ". А „въ то время пресса ревниво оберегалась отъ вторженія сомнительныхъ элементовъ",—внушительно замѣчаетъ авторъ. Такъ и взглянули на новаго кандидата въ Петербургѣ. Но тутъ выручили знакомства. Александровъ въ свое время, «по чутью скорѣе, нежели благодаря опыту и знаніямъ, примкнулъ къ кружку молодежи, приверженцевъ идей философа-публициста К. Н. Леонтьева, а черезъ послѣдняго обратилъ на себя вниманіе тогдашняго министра народ. просв. графа Делянова, который и сталъ покровительствовать способному молодому человѣку. Вскорѣ объ Александровѣ узналъ и К. П. Побѣдоносцевъ». Въ Петербургѣ встрѣтили Александрова сначала недовѣрчиво, «но часъ бесѣды съ Побѣдоносцевымъ создалъ Александрову такого покровителя и союзника, который остался для него памятнымъ и навсегда оказалъ громадное вліяніе на судьбы журнала. Побѣдоносцеву, конечно, случалось ошибаться въ размѣрѣ силъ и дарованій людей, которыхъ онъ выдвигалъ, но относительно направленія ихъ и искренности ихъ чувствъ къ родинѣ, никто не упрекнетъ его въ ошибкѣ. И Анатолій Александровъ, успѣвшій получить привать-доцентуру при Московскомъ университетѣ, а вскорѣ затѣмъ сдѣлавшійся и редакторомъ-издателемъ газеты «Русское Слово», оказался, конечно, соотвѣтствующимъ возложенной на него задачѣ».

Итакъ, первое крушеніе, вызванное „гражданскою смертью" издателя, было предотвращено. Новый редакторъ-издатель, хотя и не обладавшій никакими нужными для журнала дарованіями, собралъ новыя силы, въ лицѣ „прославленнаго нынѣ В. В. Розанова", а старыя поощрялъ и ободрялъ; такъ напр., „Мих. П. Соловьевъ этюдами по Святой землѣ прокладывалъ себѣ дорогу къ должности главноуправляющаго по дѣламъ печати"; „въ 1894 г. возобновилъ эффектныя статьи Spectator, находившій Россію на распутьи, но силь-

ной, въ то время, какъ Европа быстрыми шагами шла къ разложенію. Увѣренно звучащій, почти властный, тонъ замѣтокъ обратилъ на себя серьезное вниманіе. Автору статей В. Грингмуту черезъ нѣкоторое время было предложено редактировать „Московскія Вѣдомости".

Несмотря однако на всѣ эти успѣхи сотрудниковъ журнала, „подписчиковъ не прибывало. Изданіе не давало дохода и требовало постоянной поддержки". „И вотъ, пришло время,—съ грустью продолжаетъ авторъ, — когда Давыдъ Морозовъ отказался отъ дальнѣйшей помощи предпріятію, въ успѣхъ котораго уже не вѣрилъ, особенно послѣ цѣлаго ряда обличительныхъ доносовъ со стороны „друзей" Александрова, и послѣдній оказался въ отчаянномъ положеніи, изъ котораго былъ выведенъ Высочайшею милостью. На продолженіе журнала было отпущено изъ личныхъ Его Величества средствъ нѣсколько десятковъ тысячъ рублей. Сотрудникъ „Рус. Обозрѣнія", такъ сказать, пестунъ его, К. П. Побѣдоносцевъ, помѣстившій въ 1893 г. статью о Ле-Пле, былъ живымъ двигателемъ дѣла, обратившимъ высокое вниманіе покойнаго государя на Александрова, который и былъ представленъ Его Величеству. Послѣ этого звѣзда Александрова засіяла яркимъ свѣтомъ на нашемъ литературномъ небосклонѣ".

Время это было апогеемъ благополучія Александрова, вокругъ котораго, „незамѣтнаго прежде человѣка, стали тѣсниться люди, отличающіеся по своему положенію или дѣятельности", а главное—„къ нему возвратилось прежнее расположеніе Морозова", что опять обезпечило существованіе журнала на два еще года. Но, увы!—велика человѣческая неблагодарность: „одни за другими мелькали мѣсяцы, тянулись годы, не принося увеличенія подписчиковъ, не вызывая отклика среди безмолвствовавшихъ, гдѣ-то „въ глубинѣ Россіи" разсѣянныхъ читателей", а тутъ еще „съ 1896 г. Давыдъ Морозовъ, уже больной, съ неохотой выдавалъ деньги на изданіе и то въ крайнихъ затруднительныхъ случахъ". Между тѣмъ, этихъ „случаевъ" становилось все больше, ибо „неувѣренность въ завтрашнемъ днѣ заставляла падать, а не развиваться журналъ". Но счастливая звѣзда Александрова не совсѣмъ закатилась еще, и „при новыхъ матеріальныхъ затрудненіяхъ на журналъ было обращено высокое вниманіе Его Величества. Нынѣ царствующему Государю благоугодно было отпустить въ 1896 г. на изданіе журнала нѣсколько десятковъ тысячъ изъ собственныхъ Его Величества средствъ, а въ 1897 г. Ея Величество, вдовствующая Императрица, почтила Александрова таковою же помощью. Редакторъ-издатель былъ обласканъ и ободренъ".

Однако, ничто уже не могло спасти изданія, которое не встрѣчало поддержки со стороны читателей, по прежнему продолжавшихъ хранить „безмолвіе“ и, что еще хуже, не подписывавшихся на журналъ, гдѣ сотрудники вели, каждый по своему, опредѣленную линію: кто „пролагалъ“ дорогу къ тепленькому мѣстечку, кто тономъ, „почти властнымъ“, выписывалъ себѣ видное положеніе, кто преслѣдовалъ цѣли, намъ неизвѣстныя, но очевидно симпатичныя г. Филиппову, насколько можно судить по его теплому тону. Все это, конечно, никакого отношенія къ литературѣ не имѣло. А въ результатѣ такого разброда „наша партія“, о значеніи и дѣйствіяхъ которой,—ядовито замѣчаетъ г. Филипповъ, — „такъ краснорѣчиво писали на страницахъ „Русскаго Обозрѣнія“, не только не проявляла жизни, но неизвѣстно гдѣ находилась, по крайней мѣрѣ она не хотѣла поддерживать Александрова и въ наиболѣе острый періодъ его борьбы съ равнодушіемъ публики не могла организовать дѣло такъ, чтобы оно продолжало стройно функціонировать. Наоборотъ, извѣстія о высочайшихъ милостяхъ къ Александрову, распространяясь по административнымъ сферамъ, переносились съ быстротой фурій въ литературныя, вызывая зависть и недоброжелательство прежде всего у представителей „нашей партіи“, полное равнодушіе къ судьбѣ журнала среди лицъ, стоящихъ внѣ ея. Изъ устъ въ уста передавалось, какъ достовѣрность, что деятки тысячъ, отпущенныя Александрову, истрачены не на дѣло, а припрятаны; другая часть обращена на покупку великолѣпныхъ дачъ у Тройцы“. И въ лѣто 1898 г. отъ Р. Хр., заканчиваетъ лѣтописецъ свою повѣсть, журналъ закрылся, истощивъ силы въ борьбѣ съ равнодушіемъ публики. Въ августѣ этого года появилась майская книга, въ которой редакція заявляла, что, „въ силу непредвидѣнныхъ обстоятельствъ и перемѣны типографіи, книжки задержаны, но редакторъ приметъ всѣ мѣры и послѣдующія книги начнутъ выходить аккуратно“. Но „это было послѣднимъ судорожнымъ движеніемъ журнала. Онъ пересталъ существовать, его забыли“.

Итакъ, журналъ, имѣвшій такія матеріальныя средства, какъ ни одно изданіе ни до него, ни послѣ, снискавшій столь высокую поддержку, что ея одной уже, казалось, было достаточно, чтобы обезпечить крупный и прочный успѣхъ, — просуществовалъ, лучше сказать — съ трудомъ протянулъ около семи лѣтъ и погибъ безславной смертью, не возбудивъ сожалѣнія даже въ средѣ своихъ ближайшихъ сотрудниковъ, которые въ значительной степени сами доканали его. Что же послужило причиной такого страннаго на первый взглядъ неуспѣха? Матеріальная сторона, на ко-

торую усиленно напираетъ г. Филипповъ, во всякомъ случаѣ тутъ не причемъ. Больше 200.000 р. Давыдъ Морозова, три раза значительныя субсидіи изъ средствъ Высочайшихъ Особъ—неужели этого мало, не считая еще кое-какихъ подписныхъ суммъ, которыя на худой конецъ дали не одинъ десятокъ тысячъ? Очевидно, дѣло не въ деньгахъ. Причина и не въ постороннихъ обстоятельствахъ, такъ какъ журналу была обезпечена поддержка, которая, какъ мы видѣли, могла устранить всѣ препятствія. Причина гибели журнала лежитъ гораздо глубже. Прежде всего она заключалась внутри самого дѣла. Не смотря на столь восхищающій г. Филиппова идеальный союзъ „дворянина чисто русской традиціи съ представителемъ лучшей части купечества", во главѣ изданія съ самаго начала ставится человѣкъ, черезъ годъ умершій „гражданской" смертью. Это фактъ глубоко знаменательный для настоящаго предпріятія: въ реакціонной литературной средѣ не нашлось лучшаго человѣка, какъ двусмысленная личность. Далѣе, уходитъ человѣкъ съ литературнымъ именемъ, кн. Цертелевъ, и, по словамъ нашего лѣтописца, его замѣняетъ человѣкъ, „у котораго не было ни одной изъ тѣхъ силъ, какія необходимы для этого крупнаго дѣла": ни литературнаго имени, ни таланта, ни опыта, ни трудолюбія, ни авторитета, ничего, кромѣ „опредѣленности мыслей". Словомъ, багажъ болѣе чѣмъ скудный для редактора-издателя большого журнала. Такимъ образомъ, во главѣ дѣла все время не было даже съ точки зрѣнія реакціонныхъ требованій — подходящаго человѣка. Затѣмъ, сотрудники, которые и составляютъ главную силу журнала. Наивный лѣтописецъ откровенно указываетъ, что всякій преслѣдовалъ свои цѣли, не имѣющія ничего общаго съ литературой. Понятно, каково было содержаніе журнала, — и вотъ третья и самая коренная причина: равнодушіе публики. Какое дѣло читателю до тѣхъ цѣлей, какія преслѣдовали сотрудники? Даже своя, реакціонная публика, которая все же могла бы поддержать журналъ, не могла не отшатнуться въ концѣ концовъ, видя не только идейную и литературную слабость руководителей, но и что-то совсѣмъ темное въ ихъ поведеніи... Правда, г. Филипповъ заявляетъ, что „по провѣркѣ счетовъ и книгъ оказалось, что онъ (Александровъ) не оставилъ себѣ ни одной копѣйки чужихъ денегъ". Но фактъ остается тѣмъ не менѣе фактомъ: нѣсколько сотъ тысячъ „чужихъ денегъ" исчезли такъ же безслѣдно, какъ исчезъ и самъ журналъ.

Реакціонная печать всегда жалуется на все и всѣхъ, обвиняя въ особенности либеральную печать, которая ей будто бы перебиваетъ дорогу, обладая большими средствами,

чтобы оплачивать сотрудниковъ и приманивать читателей обиліемъ матеріала. Исторія „Русскаго Обозрѣнія“ лишаетъ ее и этого обвиненія. Журналъ, повторяемъ, обладалъ по истинѣ громадными средствами, значитъ—не въ средствахъ дѣло, а въ людяхъ прежде всего и въ содержаніи. У „Русскаго Обозрѣнія“ денегъ было больше, чѣмъ требуется на два такихъ журнала, но у него не было ни людей, ни идей, и оттого оно и погибло. Журналъ оказался никому ненужнымъ. Мало того, отъ него отшатнулись даже искренніе консерваторы, въ родѣ кн. Ухтомскаго, которые не могли переварить ни статей г. Розанова, его знаменитой „Ходынской катастрофы“ (см. о ней „Критич. Замѣтки“, 1897 г., октябрь), ни „властнаго“ тона Spectatora, возстановившаго всю печать.

Въ концѣ концовъ, все свелось, такимъ образомъ, къ равнодушію публики, отчего журналъ и погибъ. Да, равнодушіе публики—это страшная, непреодолимая сила, съ которой не могутъ бороться никакія силы, никакіе капиталы, никакіе Александровы, Филипповы и т. п. личности, сколь бы безупречна ни была ихъ „опредѣленность мысли“. Такова поучительная мораль „басни сей“, за которую мы отъ души благодаримъ г. А. Филиппова.

Великая годовщина—пятидесятилѣтія смерти Гоголя. [1])

Однимъ изъ поучительнѣйшихъ явленій русской жизни представляется намъ судьба величайшаго нашего художника-реалиста Гоголя. Едва выступивъ въ литературѣ, онъ сразу занялъ единственное и никѣмъ не оспариваемое мѣсто, какъ великій и несравненный изобразитель русской дѣйствительности, какою она была въ угрюмое время крѣпостного царства. Въ десять лѣтъ почти онъ далъ такія картины изъ этого царства мертвечины и гнили, что послѣдующимъ художникамъ осталось развѣ только дорисовать детали, но главное — было дано, и какъ дано! Въ образахъ столь геніально-правдивыхъ и глубокихъ, что, казалось, художникъ заглянулъ въ самую глубь крѣпостного царства, въ его святая святыхъ и представилъ на поученіе и страхъ современности и потомству—весь ужасъ и отвратительное существо этой „злой ямы“, которая называлась тогда „исконнымъ“

[1]) Февраль 1902 г.

строемъ русской жизни. Великій юмористъ, онъ не рисовалъ трагедій, совершавшихся тогда на каждомъ шагу,—трагедій, такъ хорошо повѣданныхъ намъ впослѣдствіи Щедринымъ и Терпигоревымъ, — и хотя безсознательно, но поступилъ какъ мудрѣйшій изъ мудрыхъ: онъ осмѣялъ этотъ строй. Трагедія, даже самая ужасная, есть все же борьба, въ ней есть исходъ въ смерти, и зритель такъ или иначе возбуждается, вдохновляется ею и примиряется съ судьбой, ибо смерть—великая примирительница. Гоголь далъ нѣчто болѣе важное—картину пошлости русской жизни, онъ показалъ пораженному читателю то, что лежало въ основѣ окружающей жизни. Немногочисленное тогдашнее общество русской интеллигенціи встрѣтило это геніальное воспроизведеніе пошлости русской дѣйствительности съ восторгомъ откровенія, такъ какъ и самые проницательные наблюдатели не видѣли всей глубины того, что далъ Гоголь. Но самого художника погубилъ его великій даръ, и пошлость жестоко отомстила ему за себя.

Слишкомъ неблагопріятны были условія, при которыхъ Гоголь совершилъ свое дѣло. Представимъ только подавляющую обстановку жизни тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, когда ему пришлось жить. Въ литературной средѣ полный разгулъ Булгариныхъ и Сенковскихъ, Гречей — и Дубельта. Пушкинъ только-что кончилъ трагически мучительную жизнь, и трупъ его втихомолку, какъ нѣкую заразу, препроводили подальше отъ тѣхъ, кто могъ его оплакать. А въ общественной средѣ — полный разгулъ тѣхъ самыхъ „потомковъ извѣстной подлостью прославленныхъ отцовъ“, которыхъ другой геніальный поэтъ только-что пригвоздилъ къ позорному столбу исторіи своимъ стихомъ, „облитымъ горечью и злостью“. На кого могъ опереться Гоголь? У кого могъ онъ найти поддержку и дружественное укрѣпленіе въ минуты душевной слабости и колебаній?

Онъ меньше всего былъ натурой героической, которая въ себѣ самой ищетъ стимула для борьбы и въ самомъ одиночествѣ находитъ новый источникъ силы. Гоголь былъ человѣкъ слабый, приспособляющійся инстинктивно къ обстоятельствамъ и шедшій не противъ теченія, хотя и не за нимъ. Онъ искусно лавировалъ тамъ, гдѣ было можно, а больше всего ему было по душѣ — стоять въ сторонкѣ и съ своей скрытой, полуязвительной, полугрустной усмѣшечкой созерцать жизнь. Болѣзненный, мнительный, недовѣрчивый, самолюбивый до чудовищности, онъ сторонился отъ жизни и боялся ея. Ему легче дышалось за границей, гдѣ міръ былъ ему глубоко чуждый, но гдѣ онъ могъ уйти въ свою скорлупу, не вызывая ни удивленія, ни порицанія

своей замкнутостью. На родинѣ это было немыслимо, здѣсь онъ былъ слишкомъ огромной величиной, чтобы не принимать участія въ окружающей дѣйствительности, а послѣдняя положительно пугала его. На родину, въ рѣдкіе наѣзды, онъ являлся только за поклоненіемъ, безъ котораго жить не могъ. Онъ упивался ѳиміамомъ, которымъ со всѣхъ сторонъ окружали его Аксаковы, Плетневы, Смирновы и др. Въ запахѣ этого ѳиміама онъ плохо, лучше сказать, вовсе не разбирался. Въ то время, какъ кругъ Аксаковыхъ славилъ его великое художественное дарованіе и въ унизительномъ для обѣихъ сторонъ преклоненіи ждалъ, требовалъ и молилъ новыхъ проявленій того же дара, — кругъ Смирновыхъ и Плетневыхъ тянулъ его въ противоположную сторону, восхваляя его проповѣдническій даръ, глубину его взглядовъ какъ мыслителя, и возбуждая сказать „великое слово", которое должно довершить дѣло его жизни, вскрывъ таинственную для всѣхъ суть русской жизни. Онъ, Гоголь, нарисовалъ только видимую, поверхностную сторону, тогда какъ только онъ можетъ раскрыть изумленному міру и тайну этой жизни.

И все это Гоголь принималъ какъ должное, безъ критики, безъ вдумчиваго отношенія и къ той, и къ другой сторонѣ. Голова его кружилась и не было около него ни одной души, ни одного человѣка, равнаго ему по таланту и силѣ слова, который могъ бы внести въ эту атмосферу хвалы здоровую струю отрезвленія. Принимая все за чистую монету, онъ и самъ проникся убѣжденіемъ, что онъ-то и есть провиденціальный человѣкъ, который завершитъ зданіе русской жизни и откроетъ человѣчеству великую правду, и придутъ всѣ, и поклонятся.

Ни для кого, быть можетъ, не была большей потерей смерть Пушкина, какъ для Гоголя *). Пушкинъ былъ единственнымъ человѣкомъ, который могъ бы уберечь Гоголя отъ головокруженія и своимъ здоровымъ умомъ оздоровить и эту болѣзненную, шаткую, колеблющуюся душу. Какъ бы далеко ни склонялся Пушкинъ вправо, онъ никогда не перешелъ бы того предѣла, за которымъ начинается нравственное разложеніе. Его умъ былъ для этого слишкомъ великъ и чувство—здорово, онъ немогъ не видѣть той бездны, которая

*) „Ты знаешь,—говорилъ Гоголь Ал. Ив. Тургеневу,—какъ я люблю мою мать, но еслибъ я потерялъ даже ее, то такъ не могъ бы быть огорченъ, какъ теперь—Пушкинъ въ этомъ мірѣ не существуетъ больше". Его же слова: „Пушкинъ! — какой прекрасный сонъ видѣлъ я въ моей жизни". По словамъ Кулиша, перваго біографа Гоголя, „смерть Пушкина положила въ жизни Гоголя рѣзкую грань... При жизни Пушкина—Гоголь былъ одинъ человѣкъ, послѣ его смерти сдѣлался другимъ".

скрывалась за крѣпостнымъ режимомъ и за всѣмъ, что зиждилось на немъ. А голосъ Пушкина даже изъ-за могилы былъ единственнымъ, къ которому еще прислушивался Гоголь и которому вѣрилъ безусловно, хотя уже и пускался въ своеобразныя толкованія мыслей Пушкина.

Въ только что вышедшемъ сборникѣ „Подъ знаменемъ науки", изданномъ въ честь Н. И. Стороженки, есть очень интересная статья „Гоголь и Бѣлинскій лѣтомъ 1847 г.", въ которой проф. А. И. Кирпичниковъ даетъ любопытныя черты для характеристики этого упоеннаго своимъ величіемъ настроенія Гоголя. Не прошло еще и десяти лѣтъ съ того момента, какъ появились „Мертвыя души" и „Ревизоръ", два капитальныхъ творенія Гоголя, поставившія его имя въ зенитѣ литературнаго міра. Бѣлинскій уже написалъ свои великія статьи, разъяснившія всѣмъ значеніе этихъ произведеній, и Гоголь былъ на высотѣ, до которой послѣ Пушкина не поднимался писатель. Его не только признали славой и гордостью родной литературы,—его чтили, какъ нѣкую сокровищницу, его обожали, предъ нимъ благоговѣли и преклонялись. У Аксаковыхъ предъ нимъ, по свидѣтельству очевидцевъ, чуть не молебны служили. А суетливыя и его-заливыя великосвѣтскія дамочки, разныя Смирновы и Віельгорскія, въ письмахъ выпрашивали у него чуть не благословенія и закидывала его просьбами по части совѣтовъ на всякій случай жизни *).

Въ этомъ небываломъ для русскаго писателя положеніи было нѣчто глубоко комическое, и странно, какъ Гоголь съ его юморомъ не замѣчалъ этого. А онъ не только не замѣчалъ, но прямо-таки опьянѣлъ отъ хваленій и въ упоеніи разразился книгой дерзкой, легкомысленной и патетической, книгой, которая, кромѣ святошъ и ханжей, повергла всю собравшуюся около его имени клику въ великій конфузъ. Самъ авторъ, возбуждаемый и разгорячаемый чрезмѣрностью хвалы и поощреній—стать на всероссійскую каѳедру и озарить міръ „всею правдой", былъ такъ увѣренъ въ успѣхѣ, что даже „заранѣе велѣлъ заготовить бумагу для второго изданія", и писалъ Плетневу, тоже пресмыкавшемуся предъ нимъ, какъ Смирнова и проч., что „это его до сихъ поръ *единственная дѣльная книга*, необходимая въ настоящее

*) Вотъ что говоритъ о нихъ С. Т. Аксаковъ: „...Не менѣе вредны были ему дружескія связи съ женщинами большею частью высшаго свѣта. Онѣ сейчасъ сдѣлали изъ него нѣчто въ родѣ духовника своего, вскружили ему голову восторженными похвалами и увѣреніями, что его письма и совѣты поддерживаютъ или возвращаютъ ихъ на путь добродѣтели. Нѣкоторыхъ я даже не знаю, назову только Віельгорскую, Соллогубъ и Смирнову". Въ особенности, вредна была послѣдняя, въ то время „кающаяся Магдалина", по выраженію Аксакова.

время многимъ и многимъ". И первое время тѣ же Плетневы поддерживаютъ его въ этомъ убѣжденіи. „Гоголь на основаніи словъ Плетнева увѣрился, что изданіе распродастся въ мѣсяцъ", и торжествовалъ новую побѣду. Быть можетъ, ему уже предвидѣлась вся Россія, устремляющаяся къ нему, какъ къ новому пророку за поученіемъ и духовной пищей. Скоро однако и Плетневъ палъ духомъ и смиренно увѣдомлялъ „учителя", что „книгопродавцы пріостановились своими требованіями и о второмъ изданіи никто изъ нихъ не заикается".

Этотъ чувствительный для адскаго самолюбія Гоголя ударъ былъ однако ничтоженъ въ сравненіи съ удручающими отзывами именно тѣхъ, кто прежде благоговѣлъ предъ нимъ, какъ предъ „величайшимъ писателемъ времени". По словамъ проф. Кирпичникова, „изъ лицъ, прикосновенныхъ къ русской литературѣ и познакомившихся съ „Выбранными мѣстами", болѣе 90 процентовъ оказалось противъ него". Даже великосвѣтскія поклонницы новаго пророка вынуждены сознаться, что эффектъ книги совершенно неожиданный. Такъ, гр. С. М. Сологубъ пишетъ: „Критики столь язвительны, разборъ вашихъ писемъ такъ немилосердно строгъ и насмѣшливъ и выведенныя заключенія изъ собственныхъ вашихъ словъ и сужденій такъ странны и преувеличены, что я считаю лишнимъ упоминать о нихъ здѣсь, руководствуясь этимъ правиломъ: плетью обуха не перешибешь". Этимъ „обухомъ" оказалось общее возмущенное чувство стыда и обиды за Гоголя, а въ друзьяхъ и поклонникахъ— и за себя. Вопреки ихъ ожиданіямъ, Гоголь, что называется, „повелъ себя неприлично", „понесъ дичь" и выказалъ себя такимъ „моветономъ", что даже у самыхъ заядлыхъ хвалителей его не хватило духу выступить на его защиту. Дѣло было погибшее и настолько погибшее, что только Смирнова да еще небольшой кружокъ обскурантовъ, ханжей и мистиковъ въ духѣ византизма, рѣшился отстаивать его.

Самъ Гоголь вначалѣ еще не даетъ себѣ отчета, что онъ надѣлалъ, и пытается, по обыкновенію, хитрить и выкручиваться. Его книга только попытка узнать мнѣніе другихъ о положеніи Россіи. „Письма эти вызвали бы отвѣты; отвѣты эти дали бы мнѣ свѣдѣнія. Мнѣ нужно много набрать знаній; мнѣ нужно хорошо знать Россію"—для работы надъ второю частью „Мертвыхъ душъ". Увѣряетъ, что „почти нарочно" помѣстилъ въ своей книгѣ много такихъ мѣстъ, которыя заносчивостью тона способны „задрать за живое и разсердить читателя", такъ какъ „русскаго человѣка до тѣхъ поръ не заставишь говорить, покуда не разсердишь его и не выведешь изъ терпѣнія". Потомъ, какъ

набалованный и слабый человѣкъ, „старается всю отвѣтственность въ неудачѣ книжки возложить на своихъ близорукихъ поклонниковъ, которые слишкомъ торопили его и приставали къ нему". Но въ концѣ концовъ падаетъ духомъ и признается, что „размахнулся въ своей книгѣ такимъ Хлестаковымъ, что не имѣетъ духу заглянуть въ нее".

Знаменитое письмо Бѣлинскаго довершило ударъ, нанесенный ему общественнымъ мнѣніемъ. „Душа моя изнемогла,—пишетъ онъ ему въ отвѣтъ.—Могу сказать, что не осталось чувствительныхъ струнъ, которымъ не было бы нанесено пораженіе еще прежде, нежели я получилъ письмо ваше. Письмо ваше я прочелъ почти безчувственно, но тѣмъ не менѣе былъ не въ силахъ отвѣчать. Да и что мнѣ отвѣчать! Богъ вѣсть, можетъ быть, въ словахъ вашихъ есть часть правды"... Такое признаніе послѣ всего, что было сказано въ „Выбранныхъ Мѣстахъ", являлось для Гоголя отказомъ отъ учительства и пророческихъ откровеній. Въ другомъ письмѣ (къ Анненкову) онъ, по словамъ проф Кирпичникова, „какъ-бы взываетъ къ милосердію самагс благороднаго изъ своихъ противниковъ" (Бѣлинскаго), чувствуя себя глубоко виноватымъ, хотя потомъ въ письмахъ къ другимъ онъ же передаетъ впечатлѣніе отъ письма Бѣлинскаго и свой отвѣтъ на него уже въ совершенно другомъ тонѣ. По этому поводу проф. Кирпичниковъ замѣчаетъ: — „такая тенденціозная передача фактовъ, по моему глубокому убѣжденію, не есть умственное коварство или ложь, но результатъ той наклонности и умѣнья приспособляться къ людямъ и положеніямъ, которая замѣчается и въ скромномъ Гоголѣ-юношѣ, и въ прославленномъ авторѣ „Ревизора". Эта приспособляемость тѣсно связана съ живымъ воображеніемъ: обдумывая письма, онъ представляетъ себѣ того, кому пишетъ, и беретъ тотъ тонъ, какой онъ взялъ-бы въ разговорѣ съ нимъ".

Несомнѣнно, что горячій и убѣдительный тонъ Бѣлинскаго подѣйствовалъ на Гоголя сильно. „Съ тѣхъ поръ Бѣлинскій для него не литературный наѣздникъ, а одинъ изъ неглупыхъ людей и пріятелей, не безъ нѣкотораго основанія считающій его книгу вредной". Также вредной призналъ ее и Аксаковъ, „и такое удивительное согласіе двухъ представителей враждующихъ лагерей, людей идеальной прямоты и честности и знатоковъ искусства, не могло не оказать сильнаго и благотворнаго вліянія на самоувѣреннаго, упорнаго, но геніально-умнаго малоросса", заключаетъ авторъ.

Къ великой печали всѣхъ истинныхъ цѣнителей таланта Гоголя, побѣда осталась не за Бѣлинскимъ и Аксаковымъ.

Повернуть снова на путь творчества, отказаться отъ роли учителя и открыто признать свою ошибку Гоголь уже не могъ. Самолюбивый до болѣзненности и захваленный не въ мѣру, онъ не могъ примириться съ неудачей „Выбранныхъ мѣстъ“ и все больше погружался въ ханжество и мистику, куда его усердно тянули Смирнова, Толстой, Стурдза при помощи пресловутаго ржевскаго проповѣдника о. Матвѣя Константиновскаго. Въ мучительной борьбѣ, которая несомнѣнно свела его преждевременно въ могилу, Гоголь не имѣлъ возлѣ себя никого, кто поддержалъ-бы его въ свѣтлые промежутки, чей авторитетъ былъ-бы достаточно силенъ, чтобы противостать комплоту ханжей, тѣсно окружавшихъ несчастнаго писателя и уже взиравшихъ на него, какъ на славнѣйшую жертву, какую они могли-бы принести своему византійскому Богу. Мракъ, нависшій надъ русской жизнью съ конца сороковыхъ годовъ, гробовое молчаніе, воцарившееся въ литературѣ подъ гнетомъ знаменитаго Бутурлина, въ значительной степени усилили меланхолическое настроеніе, свойственное Гоголю вообще, и помогли развиться тому отчаянію, которое и привело къ катастрофѣ, такъ преждевременно лишившей Россію одного изъ лучшихъ ея сыновъ.

Такимъ образомъ Гоголь палъ жертвой не столько своей слабости, сколько жестокихъ условій, при которыхъ ему довелось жить и дѣйствовать. Онъ не былъ душевно-больнымъ, когда печаталъ свою „переписку“, но глубокое разочарованіе, послѣдовавшее затѣмъ, упадокъ творческой способности и сознаніе ошибки, имъ совершенной—надломили его силы. Въ теченіе послѣдующихъ лѣтъ онъ уже не былъ прежнимъ Гоголемъ, творцомъ „Мертвыхъ душъ“ и „Ревизора“. Все послѣдущее время было въ сущности сплошной мучительной агоніей, безуспѣшными порывами къ творческой работѣ, которая не давалась, а вслѣдъ затѣмъ наступалъ такой упадокъ духа, когда несчастный писатель хватался за все, лишь бы найти успокоеніе для своей пошатнувшейся гордости, какъ писателя. Въ это-то время имъ и овладѣлъ о. Матвѣй и его присные. Имъ досталась одна тѣнь прежняго величія, надъ которой они и могли торжествовать легкую побѣду. Но что Гоголь и въ эти минуты роковой слабости пытался все-таки бороться съ ними, показываютъ обстоятельства его смерти. Онъ не примирился и ушелъ скорѣе подавленный, разбитый, уничтоженный, но не примиренный. Иначе, откуда эти муки послѣднихъ минутъ, этотъ странный конецъ, такъ похожій на сознательное самоубійство? Онъ отдалъ имъ свое творчество, уничтожилъ вторую часть „Мертвыхъ душъ“, уничтожилъ и многое другое, что было у него въ рукописяхъ, но одного не могъ

отдать—свободы духа, которую требовали у него ослѣпленные враги ея, и унесъ ее съ собой, какъ горькую жалобу къ Тому, Кого онъ, конечно, понималъ лучше, чѣмъ окружавшіе его фанатики.

Побѣда ихъ была, слѣдовательно, далеко не полной и превратилась скорѣе въ пораженіе, такъ какъ жертва, въ концѣ концовъ, ускользнула, а то, что осталось отъ нея въ наслѣдіе потомству, принесло пышный плодъ, заставившій всецѣло забыть всѣ ошибки писателя, на которыхъ имъ хотѣлось бы обосновать славу его. Такъ жизнь торжествовала побѣду надъ смертью, и нынѣ въ пятидесятилѣтнюю годовщину печальной кончины великаго писателя мы можемъ вдвойнѣ чествовать его: и какъ творца русской литературы, давшаго ей то направленіе, отъ котораго она никогда потомъ не уклонялась, и какъ человѣка, мучительно алкавшаго правды и своею смертью запечатлѣвшаго вѣковѣчную истину, что жизнь только въ свободѣ духа, а не въ отреченіи отъ нея. Онъ далъ намъ великій урокъ. Не будемъ же забывать его, и если иногда кажется, что беретъ верхъ иное начало, то это лишь иллюзія, самообманъ, временное затменіе, „туманъ предъ зарею", какъ было и въ тѣ дни, когда Гоголь въ мукахъ сомнѣнія кончалъ свою жизнь. А заря возрожденія была уже такъ близко, міръ крѣпостничества, такъ имъ осмѣянный, доживалъ послѣднія минуты, и подъ неподвижной, мертвой поверхностью уже кипѣла новая жизнь.

Типы Гоголя въ современной обстановкѣ. — «Служащій», разсказъ г. Елпатьевскаго [1]).

Кто видѣлъ въ послѣднее время гоголевскаго „Ревизора" на сценѣ, прочелъ „Мертвыя души",—а наступленіе „гоголевскихъ дней" невольно влечетъ всякаго къ этимъ твореніямъ, съ которыми душа русскаго читателя сроднилась еще съ дѣтства, — у того самъ собой напрашивается вопросъ, насколько эти безсмертные образы жизненны теперь? Отошли ли они въ область исторіи, или и теперь бродятъ по русскимъ градамъ и весямъ и Павелъ Ивановичъ Чичиковъ съ Селифонтомъ и Петрушкой, и Ноздревъ съ Собакеви-

[1]) Мартъ, 1902 г.

чемъ обдѣлываютъ дѣла, а дама просто пріятная вмѣстѣ съ дамой пріятной во всѣхъ отношеніяхъ составляютъ общественное мнѣніе? Также ли трепетъ передъ ревизоромъ помрачаетъ мозги мирнаго обывателя, и Хлестаковъ многообразно пользуется этимъ трепетнымъ настроеніемъ провинціи?

Задавшись такими вопросами, вы начинаете припоминать все видѣнное, и слышанное, и убѣждаетесь, что великій художникъ схватилъ нѣчто неумирающее въ русской жизни. Какъ ни измѣнилась послѣдняя за полвѣка, протекшіе со дня его смерти, а живы оказываются и Чичиковъ со всѣмъ антуражемъ „губерніи", и Хлестаковъ со всѣми своими подвигами. Пало крѣпостное право, но не исчезъ „дряхлый" человѣкъ, возросшій на немъ, глубоко пропитавшійся его развращающимъ духомъ.

Возьмите любого изъ героевъ Гоголя и разсмотрите его примѣнительно къ современной обстановкѣ, современнымъ нравамъ и условіямъ. Какую эволюцію совершилъ, напр., почтеннѣйшій Сквозникъ-Дмухановскій? А эволюцію онъ долженъ же былъ совершить, ибо „все течетъ", какъ говорятъ философы. Во времена Гоголя это былъ воришка-чиновникъ, плутоватый и суевѣрный, тонкая бестія, котораго „ни одинъ купецъ, ни одинъ подрядчикъ не могъ провести", который „мошенниковъ надъ мошенниками обманывалъ, пройдохъ и плутовъ такихъ, что весь свѣтъ готовы обворовать, поддѣвалъ на уду, трехъ губернаторовъ обманулъ". Нынѣ нѣтъ городничихъ, но все остальное, что запечатлѣно въ этой характеристикѣ, развѣ ушло вмѣстѣ съ ними? Нѣтъ, оно примѣнилось къ обстоятельствамъ, приняло формы болѣе неуловимыя и не столь наивныя. Но духъ Сквозника-Дмухановскаго вѣетъ надъ нашей провинціей многочасне и многообразне, и что это такъ, объ этомъ свидѣтельствуетъ тотъ постоянный и всегда поразительный успѣхъ, коимъ и нынѣ пользуется тамъ Хлестаковъ. Пусть читатели припомнятъ всѣ безчисленные случаи самозванныхъ ревизоровъ и всякаго рода удивительно ловкихъ по своей простотѣ самозванцевъ, которые то и дѣло налетаютъ въ провинцію, исчезаютъ, прорвавшись на пустякѣ, и вновь выныриваютъ въ другомъ мѣстѣ, но всегда съ неизмѣннымъ успѣхомъ, всегда пользуясь однимъ и тѣмъ же пріемомъ. Ревизоръ— и этого довольно, чтобы нашъ современный Сквозникъ, не уступающій по ловкости и тонкости своему прототипу, потерялъ голову и далъ себя провести „мальчишкѣ", „вертопраху", и когда игра такого мальчишки раскрывается, онъ также вопитъ, потрясая сжатымъ кулакомъ: „Ну, что въ немъ было такого, чтобъ можно было принять за важнаго

человѣка, или вельможу? Пусть бы имѣлъ онъ что-нибудь внушающее уваженіе, а то чортъ знаетъ что: дрянь, сосулька! Тоньше сѣрной спички!" И психологія всякаго такого траги-комическаго эпизода старая: трепетъ съ одной стороны, полное пренебреженіе къ личности — съ другой. Сквозникъ привыкъ не считаться съ обывателями, не признавать въ немъ человѣка, какъ и обыватель не привыкъ считать себя личностью, имѣющею права. Онъ знаетъ только обязанности, и чортъ его знаетъ, этого внезапно налетѣвшаго „мальчишку", какія новыя обязанности наложитъ онъ на обывателя! А если принять во вниманіе, что у рѣдкаго изъ этихъ грозныхъ мѣстныхъ владыкъ рыльце не бываетъ въ пуху, то понятно желаніе забѣжать впередъ, поюлить, поподличать, показать свою „благонамѣренность" не токмо за страхъ, но и за совѣсть. И если сплошь и рядомъ современные Хлестаковы почти всегда влетаютъ въ силки, то исключительно отъ того, что у рѣдкаго изъ нихъ есть степенный, осмотрительный Осипъ, который остановилъ бы ихъ во время мудрымъ совѣтомъ: „Погуляли здѣсь два денька, ну и довольно; что съ ними связываться! плюньте на нихъ! Неровенъ часъ: какой-нибудь другой наѣдетъ".

Право, мы, что называется, перезрѣли въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, и наши Сквозники-Дмухановскіе никогда еще не расцвѣтали въ такой мѣрѣ, какъ теперь. Пріемы, быть можетъ, у нихъ иные, и въ этомъ вся эволюція. Прежде это былъ сокрушительный кулакъ, открытая дань, налагаемая на дореформенное купечество, унтеръ офицерша, не по правиламъ высѣченная, и пр. Тперь болѣе тонкій „поведенцъ", въ родѣ нарушенія обывателемъ безчисленныхъ правилъ, не задержаніе, напр., извозчика, на которомъ ѣхалъ „подозрительный" субъектъ, и соотвѣтственно сему и штрафы въ томъ или иномъ размѣрѣ. И какъ трудно уловить здѣсь составъ преступленія, такъ же неуловимы и пріемы пресѣченія. Отсюда для Сквозника безчисленные способы уловленія обывателя, но въ то же время и постоянный суевѣрный страхъ, что три крысы, видѣнныя имъ во снѣ, которыя „пришли, понюхали и ушли", знаменуютъ нѣчто сугубо важное и трепетное. А если къ тому же достовѣрное извѣстіе со стороны одного изъ мѣстнихъ добровольцевъ-охранителей, Петра Ивановича Бобчинскаго, что пріѣхалъ невѣдомый молодой человѣкъ, то и довольно. „Молодой человѣкъ, чиновникъ, ѣдущій изъ Петербурга—Иванъ Александровичъ Хлестаковъ, а ѣдетъ въ Саратовскую губернію,— и что чрезвычайно странно себя аттестуетъ: больше полуторы недѣли живетъ, дальше не ѣдетъ, забираетъ все на счетъ и денегъ хоть бы копѣйку заплатилъ". И при этомъ,

„такой наблюдательный, все обсмотрѣлъ и по угламъ вездѣ, и даже заглянулъ въ тарелки наши полюбопытствовать, что ѣдимъ. Такой осмотрительный, что Боже сохрани“...

Живъ и Земляника съ его классическимъ правиломъ, что „простой человѣкъ если умретъ, то и такъ умретъ, если выздоровѣетъ, то и такъ выздоровѣетъ“. Намъ не приходится вдаваться въ тонкія соображенія по сему поводу: только что закончившійся въ Москвѣ пироговскій съѣздъ врачей подчеркнулъ всю недостаточность врачебной помощи, антисанитарное состояніе городовъ. Или вспомнимъ описаніе одной, напр., томской больницы, напечатанное года два-три назадъ въ нашемъ журналѣ, или знаменитую одесскую больничную эпопею, кажется, и до сихъ поръ не завершившуюся. А вѣдь это въ нѣкоторомъ родѣ столицы: Томскъ, Одесса,— что же творится въ какой-нибудь Тмутаракани... Не исчезли условія для благополучнаго процвѣтанія Земляники, и было бы странно, если бы этотъ богобоязненный типъ вымеръ самъ собой. Геніальный художникъ изобразилъ его нѣсколькими рѣзкими штрихами, въ предѣлахъ которыхъ возможны измѣненія, но яркость контуровъ не поблекла отъ времени.

Не беретъ, конечно, и Ляпкинъ-Тяпкинъ взятокъ борзыми щенками, которые вмѣстѣ съ псовой охотой отошли въ область преданій. Но ежели напр., подъ дутый вексель получить изъ какого-нибудь екатеринославскаго банка или акціями и паями другого не менѣе почтеннаго учрежденія, то такая современная форма благодарности показываетъ только на измѣненіе формы, а не существа дѣла. Иначе, какимъ образомъ могли бы возникать знаменитыя исторіи въ родѣ кожинской и имъ подобныхъ.

И тотъ же подъ перо подвернувшійся пресловутый Кожинъ—развѣ не Чичиковъ, скупающій не мертвыя души, а договоры на эксплуатацію крестьянской земли для перепродажи ихъ какой-нибудь бельгійской или иной компаніи? Воображаемъ, какое въ свое время было ликованіе и пированіе въ городишкѣ, гдѣ разыгралась эта эпопея, и какъ тотъ или иной городской нотабль, уподобясь гоголевскому предсѣдателю палаты, обнималъ Чичикова, то бишь Кожина, произнося въ изліяніи сердечномъ: „Душа ты моя! Маменька моя!“ и даже, щелкнувъ пальцами, пошелъ приплясывать вокругъ него, припѣвая извѣстную пѣсню: „Ахъ ты такой и эдакой, комаринскій мужикъ!“ Въ качествѣ мертвыхъ душъ фигурируютъ и злополучные акціонеры, и миѳическія копи, и многое разное, что ловкіе Павлы Ивановичи охотно скупаютъ теперь для оборотовъ на современный ладъ. Съ такимъ же успѣхомъ они фигурируютъ среди провинціальныхъ Маниловыхъ и Собакевичей, производятъ фуроръ среди

дамъ просто пріятныхъ и пріятныхъ во всѣхъ отношеніяхъ. Безсмертная пошлость русской жизни видоизмѣнила форму, а сущность остается все та же. Развѣ не Собакевичи заполонили теперь наши губернскія и уѣздныя управы, и въ лицѣ Гордѣенокъ и Родзянокъ ведутъ войну съ „третьимъ элементомъ", отстаивая кулацкое хозяйство, которое одно имъ по плечу. „Ибо „кто ужъ кулакъ, тому не разогнуться въ ладоны! А разогни кулаку одинъ или два пальца—выйдетъ еще хуже. Попробуй онъ слегка верхушекъ какой-нибудь науки, — дастъ онъ знать потомъ, занявши мѣсто повиднѣе, всѣмъ тѣмъ, которые въ самомъ дѣлѣ узнали какую-нибудь науку!" И слова эти пророчески сбываются нынѣ.

И опять-таки какъ имъ не сбываться? Пошлость, изображенная Гоголемъ, безсмертна, потому что она не есть нѣчто временное, наносное, нѣчто такое, что устранимо, какъ переходное явленіе, какъ плодъ тѣхъ или иныхъ условій. Она—коренная сущность человѣческой души вообще, а русской въ особенности. Она всегда жива, но временами, при неблагопріятныхъ общественныхъ условіяхъ она притаивается и ждетъ своего часа. А когда онъ наступаетъ, пошлость расцвѣтаетъ внезапно, выступая во всей наготѣ и безобразіи, какъ было и въ то время, когда Гоголь впервые раскрылъ ея сущность изумленному міру.

Въ одномъ письмѣ изъ „Выбранныхъ мѣстъ изъ переписки" Гоголь пишетъ: „Обо мнѣ много толковали, разбирая кое-какія мои стороны, но главнаго существа моего не опредѣлили. Его слышалъ только Пушкинъ. Онъ мнѣ говорилъ всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара выставлять такъ ярко пошлость жизни, умѣть очертить въ такой силѣ пошлость пошлаго человѣка, чтобы вся та мелочь, которая ускользаетъ отъ глазъ, мелькнула бы крупно въ глаза всѣмъ", и далѣе поясняетъ значеніе своего главнаго творенія „Мертвыя души": „Мертвыя души" не потому такъ испугали Россію и произвели такой шумъ внутри ея, чтобы они раскрыли какія-нибудь ея раны или внутреннія болѣзни, и не потому также, чтобы представили потрясающія картины торжествующаго зла и страждущей невинности,— ничуть не бывало: герои мои вовсе не злодѣи; прибавь я только одну добрую черту любому изъ нихъ, читатель помирился бы съ ними всѣми. Но пошлость всего вмѣстѣ испугала читателей. Испугало ихъ то, что одинъ за другимъ слѣдуютъ у меня герои одинъ пошлѣе другого, что нѣтъ ни одного утѣшительнаго явленія, что негдѣ даже и пріотдохнуть или духъ перевести бѣдному читателю, и что, по

прочтеніи всей книги, кажется, какъ будто точно вышелъ изъ какого-то душнаго погреба на Божій свѣтъ". Въ этой самооцѣнкѣ глубокая правда. Только въ то время было немного тѣхъ, которые могли оцѣнить значеніе факта появленія „Мертвыхъ душъ". Подъ давленіемъ все покорившей тогда пошлости, души, дѣйствительно, были, какъ мертвыя, и лишь немногія живыя души были испуганы нарисованной картиной. Но на всемъ громадномъ пространствѣ необъятнаго царства торжествующей и торжественной пошлости господствовало молчаніе.

Въ наше время, когда пошлость тоже возобладала и празднуетъ если не вездѣ и во всемъ, то въ огромномъ большинствѣ случаевъ побѣду, одно мѣшаетъ этому торжествующему ходу пошлости. Теперь появленіе новаго Гоголя который сумѣлъ бы такъ же ярко „очертать пошлость пошлаго человѣка", какъ его великій предшественникъ,—было бы встрѣчено нѣсколько иначе. Съ тѣхъ поръ неизмѣримо расширился кругъ людей, понимающихъ весь ужасъ пошлости и необходимость бороться съ нею на всѣхъ поприщахъ жизни. Пусть герои и типы Гоголя и теперь, какъ живые, говорятъ съ нами со сцены и со страницъ его великихъ твореній, и каждому изъ нихъ мы можемъ противопоставить живой образецъ изъ современности. Но полстолѣтія все же прошло не даромъ и для насъ. Самое обостреніе пошлости, поднявшей голову теперь съ особо торжественнымъ видомъ, есть фактъ, имѣющій и оборотную сторону. Пошлость чувствуетъ, что въ жизни накопилось много элементовъ, готовыхъ для борьбы съ нею, и дѣлаетъ усиленную попытку отстоять свои твердыни. Отсюда эта небывалая страстность къ борьбѣ и неуступчивость пошлости, предчувствующей наступленіе чего-то новаго и для нея неотразимаго. Вотъ почему, несмотря на цѣлый рядъ фактовъ, свидѣтельствующихъ о торжествѣ пошлости то тутъ, то тамъ, нѣтъ того удручающаго впечатлѣнія, какое на современниковъ произвела книга Гоголя, хотя это была только книга. Гоголь разсказываетъ въ томъ же письмѣ: „Когда я началъ читать Пушкину первыя главы изъ „Мертвыхъ душъ" въ томъ видѣ, какъ они были прежде, то Пушкинъ, который всегда смѣялся при моемъ чтеніи (онъ же былъ охотникъ до смѣха), началъ понемногу становиться все сумрачнѣе, сумрачнѣе и, наконецъ, сдѣлался совершенно мраченъ. Когда же чтеніе кончилось, онъ произнесъ голосомъ тоски: „Боже, какъ грустна наша Россія!" Меня это изумило. Пушкинъ, который такъ зналъ Россію, не замѣтилъ, что все это каррикатура и моя собственная выдумка! Тутъ-то я уви-

дѣлъ, что значитъ дѣло, взятое изъ души, и вообще душевная правда, и въ какомъ ужасающемъ для человѣка видѣ можетъ быть ему представлена тьма и пугающее отсутствіе свѣта". Теперь едва ли могло бы насъ такъ испугать подобное изображеніе, „пугающее отсутствіе свѣта", и не потому только, что нервы притупились. Усилилась вѣра въ неотразимое наступленіе „побѣды свѣта", которое нельзя ничѣмъ остановить. Возможны временныя затменія, и какъ они ни тяжки по своимъ послѣдствіямъ, они не могутъ доводить до отчаянія, до болѣзненнаго страха предъ тьмою, одолѣвшаго самого Гоголя, который задумалъ, по его словамъ, тогда же дать и иную картину — пошлости противопоставить идеальную Россію во второй части „Мертвыхъ душъ". Попытка эта и погубила его, такъ какъ въ дѣйствительности онъ не видѣлъ никакой идеальной Россіи и долженъ былъ ее выдумать.

И мы неизмѣримо далеки еще отъ этой идеальной Россіи, современность гораздо родственнѣе первой части „Мертвыхъ душъ", и тѣмъ не менѣе жива въ душѣ гордая увѣренность, что все это—область прошлаго, которое идетъ на смарку. Сквозники-Дмухановскіе, Чичиковы, Ноздревы и Собакевичи, населяющіе наши благодатныя палестины, не могутъ удержать позицій, сколько ни укрѣпляютъ они ихъ разными новыми какъ будто и усовершенствованными способами. Сильнѣе ихъ всепобѣждающая жизнь съ новыми требованіями и запросами, для удовлетворенія которыхъ нужны иныя силы, и она же сама и выдвигаетъ ихъ, несмотря на давленіе. Изъ столкновенія новаго и стараго и состоитъ творческое дѣло жизни, въ которой все перемѣшано въ причудливыхъ сплетеніяхъ, странныхъ, иногда ужасныхъ и на первый взглядъ непонятныхъ, но полныхъ смысла и значенія для тѣхъ, кто имѣетъ уши, чтобы слышать, и глаза, чтобы видѣть.

Новое, идущее на смѣну стараго гоголевскаго міра, многообразно и многоразлично, но есть и одна доминирующая нота въ немъ, все рѣзче выдѣляющаяся со времени паденія крѣпостного права. Это—голосъ личности, сознавшей свое человѣческое достоинство и стремящейся на всѣхъ путяхъ жизни отвоевать себѣ свободное развитіе.

Очень любопытную иллюстрацію этого роста личности даетъ одинъ изъ вдумчивыхъ, талантливыхъ наблюдателей современной жизни, г. Елпатьевскій въ прекрасномъ раз-

сказѣ „Служащій“, напечатанномъ въ первой книгѣ „Русскаго Богатства“ за текущій годъ. Будучи художникомъ, стремящимся проникнуть вглубь явленія и дать законченный типъ, г. Елпатьевскій не чуждъ и публицистическимъ задачамъ—взглянуть на данный фактъ съ болѣе широкой точки зрѣнія, объединяя поразившее его явленіе съ рядомъ другихъ аналогичныхъ, подводя ихъ къ общему источнику. Такіе высоко-интересные экскурсы въ широкую жизнь, общественную по преимуществу, этотъ хорошій знатокъ русской жизни дѣлаетъ отъ времени до времени, вызывая всякій разъ общее вниманіе.

„Служащій“ значительно лучше прежнихъ очерковъ того же типа. Это совершенно новая фигура, аналогій для которой мы не припомнимъ въ литературѣ. Когда почтенный авторъ рисовалъ намъ генезисъ „купечества“ или дворянскія попытки послѣдняго времени, онъ имѣлъ такихъ могучихъ предшественниковъ въ этой области, какъ Гл. Успенскій и Щедринъ, и учителя невольно навертывались сравненія, невольно возникало желаніе подвести итогъ пережитому съ тѣхъ поръ, какъ Успенскій и Щедринъ изображали тѣхъ же героевъ.

Въ новомъ очеркѣ г. Елпатьевскаго—совершенно новое явленіе.

„—Услужающій...—вотъ наше настоящее имя!—Злобный огонекъ блеснулъ въ сѣрыхъ свѣтлыхъ глазахъ моего собесѣдника.

„—Вы думаете,—*онъ* только труда отъ меня хочетъ, головы? Какъ же не такъ!.. Будь ты услужающій... И чувствуй... „Жалованье плачу, понимать долженъ, чувствовать“... Все дѣлай и не перечь, съ праздниками поздравь, выборы въ думу пойдутъ—шаръ за него клади!..“

Такъ начинаетъ свои изліянія „служащій“, объясняя автору тѣ взаимоотношенія, какія долголѣтнимъ путемъ сложились между „имъ“ — всероссійскимъ купцомъ—и тѣмъ мелкимъ людомъ, который является главной опорой купца въ его всероссійскихъ подвигахъ.—„Служащій“ это представитель огромнаго сословія мелкихъ людей, приказчиковъ и полуинтеллигентныхъ тружениковъ, наполняющихъ лавки, конторы, банки, думскія и управскія канцеляріи и пр. Прежде этотъ типъ носилъ особыя черты, которыя Ножичкинъ, герой разсказа, не обинуясь называетъ „халуйствомъ“, готовностью душу свою положить за „него“, хозяина, который, въ свою очередь, „измывался“ надъ „услужащими“.

Не таковъ народившійся за послѣдніе годы новый „служащій“, какимъ выступаетъ Ножичкинъ. Самъ онъ сынъ

почтальона, добившійся всего собственными усиліями, знающій себѣ цѣну и не позволяющій наступить себѣ на мозоль. Онъ далеко отбился отъ старины и требуетъ себѣ правъ на уваженіе и признаніе въ себѣ человѣческой личности. „Хозяинъ“ для него не „благодѣтель“, а эксплуататоръ, противъ котораго онъ готовъ бороться всѣми дозволенными средствами. Ножичкинъ выступаетъ естественнымъ вождемъ цѣлой группы такихъ же „служащихъ“, въ которой ясно сознаніе своихъ человѣческихъ правъ, онъ проектируетъ нѣчто въ родѣ союза свободныхъ тружениковъ, въ видѣ артели, и требуетъ участія для служащихъ въ прибыляхъ предпріятія. И аудиторія у него очень благодарная, такъ какъ ясно понимаетъ, что сила за тѣмъ, кто умѣетъ отстаивать свои интересы. А сила у этой аудиторіи есть. Сила, прежде всего, количественная и затѣмъ качественная. Въ городахъ торговопромышленнаго типа они составляютъ главный средній слой. Они наполняютъ мѣстные клубы и разныя просвѣтительно-экономическія общества, они составляютъ главный контингентъ, на которомъ держится все дѣло торговли и оборота, они его ведутъ, отлично понимая, что безъ нихъ „хозяину—крышка“. И по мѣрѣ развитія промышленной жизни, сосредоточившейся въ городахъ, такъ непомѣрно выросшихъ за послѣдніе годы, сила «услужающихъ» все увеличивается, и увеличивается не только количественно, но растетъ и качественно, что и отмѣчаетъ г. Елпатьевскій въ своемъ живомъ очеркѣ.

„Я, кажется, знаю, откуда пришелъ этотъ всякаго рода служащій. Утлая ладья русскаго просвѣщенія не всегда довозитъ пассажировъ до намѣченной пристани и часто ссаживаетъ на перепутьи и въ непредусмотрѣнныхъ мѣстахъ, на пустынныхъ берегахъ, на дикихъ островахъ. Въ частности, въ былое время, когда въ газетахъ появлялись сообщенія о томъ процентѣ учащихся, который достигаетъ аттестата зрѣлости, меня всегда интересовалъ вопросъ,—куда дѣвается и какъ используется жизнью тотъ—другой процентъ... Мнѣ показалось, что я нашелъ, наконецъ, этотъ „процентъ“, нашелъ этого, не успѣвшаго сдѣлаться „механикомъ“ и оставшагося „полумеханикомъ“ человѣка—нашелъ его за толстыми конторскими книгами, за стойкой мануфактурнаго магазина, въ капитанской рубкѣ парахода, у котловъ завода, подъ форменной фуражкой начальника станціи. Мнѣ показалось даже, что для меня освѣтились многія явленія русской жизни, остававшіяся темными тамъ, гдѣ я раньше служилъ, что я открылъ, кто потребляетъ эту все растущую массу книгъ, появляющихся на рынкѣ, кто читатель этихъ

размножившихся провинціальныхъ газетъ, которыя все-таки существуютъ, для кого въ самые дальніе углы несутся цѣлые цѣлые вагоны „приложеній“ сочиненій русскихъ писателей... Мнѣ думается, я нашелъ этого новаго читателя. Я пересталъ удивляться тѣмъ книгамъ и журналамъ, которые брали молодые приказчики и служащіе въ библіотекѣ нашего общества и торгово-промышленнаго клуба, пересталъ удивляться росту библіотекъ и читаленъ и книжныхъ магазиновъ, огромному наплыву публики на всякія публичныя лекціи, курсы, пересталъ удивляться всему, что было такъ удивительно для меня, хорошо помнившаго, что было какихъ-нибудь двадцать пять—тридцать лѣтъ назадъ...“

Самымъ яркимъ представителемъ новаго типа выведенъ авторомъ Ножичкинъ, около котораго группируются другія, не менѣе любопытныя лица изъ этой мало затронутой въ литературѣ среды. Самъ Ножичкинъ, энергичный и смѣлый иниціаторъ въ борьбѣ за интересы своего сословія противъ „хозяина“, цѣлой головой выше остальныхъ, но присущія ему черты до извѣстной степени родовыя. Онъ выдвигаетъ при каждомъ столкновеніи вопросъ о *правѣ*, о достоинствѣ личности и страстно отстаиваетъ свое право быть наравнѣ со всѣми. Когда въ клубѣ заходитъ, напр., рѣчь объ отчетности, одинъ изъ старшинъ, „владѣлецъ лѣсныхъ складовъ“, обижается щепетильностью ревизіонной коммиссіи, требующей отчетъ въ истраченныхъ деньгахъ. „Ежели этакъ будутъ оскорблять, ежели всякій (подчеркнулъ онъ) придетъ и будетъ насъ въ копѣйкахъ учитывать, такъ это и служить нельзя, уйти только и больше ничего“... Это обычная въ нашихъ провинціальныхъ собраніяхъ обидчивость встрѣчаетъ со стороны Ножичкина страстный отпоръ, въ которомъ такъ и вырисовывается самое характерное отличье его, „новаго“ человѣка, больше всего блюдущаго именно свое право, свое достоинство, какъ человѣка.

„— Какъ вы смѣете оскорбляться?—гремитъ онъ. — Кто вы такой? Выбранный нами старшина, обязанный всякому изъ насъ,—слышите *всякому*—давать отчетъ въ каждой копѣйкѣ, истраченной вами...“

Можно подумать, что это Мирабо, отвѣчающій на вопросъ, кто они, эти „всякіе“. Но дѣло не въ размѣрѣ событія, не въ предѣлахъ правъ, а въ самой сущности вопроса о правѣ вообще, правѣ, такъ тяжко добытомъ и отстаиваемомъ Ножичкиными отъ посягательствъ. Отсюда и эта страстность человѣка, всѣмъ обязаннаго только себѣ и готоваго на каждомъ шагу стоять за это „свое“.

Ножичкинъ не только цѣнитъ себя, какъ всякій добив-

шійся положенія лично своими усиліями и энергіей,—нѣтъ. Онъ идетъ дальше и, какъ истый представитель „новаго сословія“, глядитъ далеко впередъ. Онъ презираетъ современнаго купца и промышленника, которому было все „дано“ и который, поэтому, вырождается въ третьемъ уже поколѣніи и ничего не умѣетъ добиться самъ, а все черезъ „казну-матушку“. Они всѣ осуждены имъ на смарку, ибо сила знанія дѣла и традиція труда—только въ такихъ людяхъ, какъ онъ, Ножичкинъ, и его товарищахъ, „служащихъ“. „Все дѣло торговое въ Россіи мы ведемъ. И традиціи только у насъ однихъ и имѣются,—традиціи людей изъ поколѣнія въ поколѣніе вытягивавшихъ изъ себя жилы“.

Но какъ представитель своего сословія, онъ и понимаетъ интересы только *своихъ*, и когда въ разговорѣ одинъ изъ служителей, симпатизирующихъ Ножичкину, хотя и скептически настроенный, задаетъ вопросъ о рабочихъ, которыхъ нельзя обойти ни въ какомъ дѣлѣ, герой нашъ морщится и отнѣкивается очень характернымъ словечкомъ.

„— Онъ мнѣ не товарищъ... Всякъ самъ по себѣ... Хлопочи, добивайся... Я тебѣ сколько говорилъ,—не богадѣльню мы строимъ и не воспитательный домъ.

„— Намъ не по дорогѣ... Такъ, Николаичъ?..—сумрачный бухгалтеръ улыбнулся.

„— Ну да, не по дорогѣ...—вдругъ разсердился Ножичкинъ.—Я ему дороги не заступаю... Иди, встрѣтимся,—милости просимъ. Только я не благотворитель, не филантропъ...“

Эта черта дорисовываетъ оригинальную фигуру Ножичкина. Именно такъ и долженъ стоять Ножичкинъ въ будущей исторіи, какъ онъ представляетъ ее себѣ, и это хорошо. Прежде всего надо научиться свои интересы отстаивать, такъ какъ самъ онъ весь въ будущемъ, и все остальное ему должно представляться „филантропіей“, которая внушаетъ ему одно презрѣніе. Онъ получилъ пока хорошую закалку и съумѣетъ съ помощью ея завоевать свои „права“, но теперь ему нелегко, и если бы онъ сталъ увлекаться „филантропіями“, не добился бы ничего. Его сила только въ цѣльности его желаній и стремленій, а теперь, пока у него есть воля, чтобы хотѣть, ему еще надо поработать и пережить не одно разочарованіе, пока онъ достигнетъ и „силы мочь“. Но чувство справедливости въ немъ живо,—не даромъ онъ всею силою души отстаиваетъ право,—и это чувство внушаетъ ему уваженіе и къ стремленіямъ другихъ. „Хлопочи, старайся... Встрѣтимся, милости просимъ„. Въ этихъ словахъ залогъ взаимнаго пониманія двухъ нарождающихся

новыхъ общественныхъ силъ, объединяемыхъ общимъ содержаніемъ жизни, общей традиціей—„людей, изъ поколѣнія въ поколѣніе вытягивавшихъ изъ себя жилы“.

Рядомъ съ Ножичкинымъ стоитъ его жена, типъ, прелестно очерченный авторомъ и тоже оригинальный въ своемъ родѣ. Она не только понимаетъ стремленія мужа, но всѣми силами поддерживаетъ его въ борьбѣ, которой ни мало не боится. Она прошла тоже жестокую школу жизни и вынесла увѣренность въ свои силы. Когда старый почтальонъ, отецъ Ножичкина, совѣтуетъ сыну по-старинкѣ „поклониться“ сильнымъ міра сего, смиреніемъ взять то, чего сынъ добивается упорствомъ, она со смѣхомъ разсказываетъ объ этомъ мужу, не смущаясь ни закладомъ вещей, ни гнѣвомъ сильныхъ. Это настоящая подруга жизни, работница, привыкшая стоять рядомъ у станка, смѣло устремляя взоръ въ будущее, которое она завоюетъ для своихъ дѣтей, не пользуясь ни правительственными субсидіями, ни филантропіей. Сдержанная и строгая, она и дѣтей выдержитъ и воспитаетъ въ томъ же сосредоточенномъ, спокойномъ стремленіи къ дѣятельной, бодрой и здоровой жизни, къ борьбѣ за свое достоинство, которое она цѣнитъ выше всего. Среди привычной для насъ русской распущенности и разгильдяйства въ семейной и общественной жизни, эта пара представляетъ ячейку новой семьи, „ревниво берегущей свою неприкосновенность отъ постороннихъ людей», т.-е. самое главное, на чемъ держится культурное общество. Долгъ, дисциплина и выдержка—все новыя для насъ начала, плохо вяжущіяся съ русской небрежностью, невниманіемъ къ себѣ и чужимъ интересамъ, и все это на яко бы общей гуманной подкладкѣ, въ которой по существу ничего нѣтъ, кромѣ лѣни, безхарактерности и позорной неустойчивости.

Таковы представители народившагося за послѣдніе годы новаго сословія, которое требуетъ устами Ножичкина и своей доли въ жизни, и какъ требуетъ! Не слезницами со ссылками на бывшее великолѣпіе и современное оскудѣніе, а указаніемъ на свое право жить, потому что оно имѣетъ волю хотѣть и скоро завоюетъ себѣ силу мочь. Оно только не съорганизовано еще, но всѣми силами стремится къ организаціи, понимая, какая мощь заключается въ единеніи. Поэтому, оно прогрессивно теперь, стоитъ за расширеніе всякихъ правъ, за просвѣщеніе, за всѣ виды общихъ и частныхъ свободъ, ибо при каждомъ шагѣ въ этомъ направленіи съ Ножичкина слетаютъ тѣ или иныя путы, которыя на него надѣты съ рожденія. Что намъ досталось даромъ,

ему приходиться добиваться величайшими усиліями. Зато, если онъ ужъ добьется чего,—онъ не выпуститъ и безъ бою не отдастъ. Предстоитъ ему тягостная дорога, на которой много разъ придется ему быть побитымъ и повѐрженнымъ, но каждое пораженіе послужитъ новымъ урокомъ и новымъ стимуломъ къ дальнѣйшей борьбѣ, въ конечномъ итогѣ которой его все же ждетъ побѣда. И это потому такъ, что Ножичкины ни на кого, кромѣ себя, не разсчитываетъ. Эту мысль онъ очень оригинально разъясняетъ на примѣрахъ другихъ, созданныхъ и живущихъ „казной-матушкой".

„— Я еще маленькимъ помню, все, бывало, слышишь: „на казну поставляетъ". Одинъ около тюрьмы пропитывается, другой обмундировываетъ, третій дрова въ казну сдаетъ, четвертый казенные подряды беретъ... И дальше и выше все то же. Теперь, вотъ, промышленность пошла... Грандіозно!.. Перспективы!.. Техническій прогрессъ!..—передразнивалъ онъ.—Мнѣ-то очки не вотрутъ!.. Все та же казна. Она и родила, она и соской кормитъ. Вонъ у насъ дворянское землевладѣніе сколько вѣковъ существовало,—кажется можно бы на ноги стать, а... вынули соску—какъ вѣтромъ все и вымело... И промышленность тоже... Отвори заграницу, только пыль пойдетъ отъ нашей промышленности. Знаете,—оживленно заговорилъ онъ,—въ чемъ, я думаю, главное наше зло? Все намъ дано, а не взято нами... Дано, дадено... Землей дадено, рудниками, крѣпостными, дадено пошлинами, субсидіями, казенными заказами, а не взято иниціативой, энергіей, образованіемъ, дѣйствительнымъ техническимъ прогрессомъ... Вотъ и вышло, что у насъ только одна традиція и имѣется,—казна! Исторія, что ли у насъ ужъ такая, что все мы дѣлали скопомъ, міромъ, а не отдѣльными личностями,—и государство устраивали..."

Но, какъ вѣрно заключаетъ Ножичкинъ, это уже—исторія. Теперь наступаетъ время иниціативы, энергіи, образованной личности, которая, не прибѣгая къ казнѣ, напротивъ, всячески отъ нея отбиваясь, желаетъ лишь одного, чтобы ей не мѣшали, не опекали ее на каждомъ шагу. Эту идею вноситъ Ножичкинъ всюду, куда жизнь приводитъ его, несмотря на всѣ противодѣйствія. Онъ и въ земствѣ, и въ думѣ, и въ мѣстной печати борется за эту идею, за принципъ самодѣятельности противъ бюрократизма, опутавшаго все и всѣхъ такъ, что, въ концѣ концовъ, никто ничего не дѣлаетъ и дѣлать не въ состояніи. Чѣмъ острѣе приходится Ножичкину чувствовать свое безсиліе въ бюрократическихъ тискахъ, тѣмъ усиленнѣе онъ станетъ выбиваться изъ нихъ, такъ какъ ему нѣтъ иного

спасенія, какъ въ свободѣ иниціативы, въ свободѣ личности—и поменьше опеки.

Предстоятъ ему жестокія испытанія, но бояться ихъ ему не приходится. Разъ выбившись на поверхность, ему нѣтъ ни малѣйшаго разсчета идти назадъ, въ тѣ темныя трущобы, которыя ему хорошо извѣстны. Впереди брезжитъ заманчиво свѣтъ, а глаза у него зоркіе и изъ виду онъ его не упуститъ, какъ бы ни усиливались туманы на пути.

Есть около него и свои мечтатели, безъ которыхъ ни одно дѣло не дѣлается и которые расширяютъ „узенькую" истину Ножичкина, въ родѣ Алеши, влюбленнаго въ своего героя. Этотъ Алеша, только намѣченный въ разсказѣ г. Елпатьевскаго, утопистъ чистой крови, жаждущій обновленія жизни путемъ обширныхъ ассоціацій, мечтающій о томъ, „какъ хорошо было бы, если всѣ маленькія людскія дороги вели на одинъ торный широкій путь подъ свѣтлымъ, высокимъ небомъ". И эти наивныя мечты расширяютъ горизонтъ въ дѣятельности новыхъ людей, даютъ полетъ ихъ мысли и согрѣваютъ ихъ сердца надеждой на возможность лучшей, болѣе человѣческой жизни.

Какъ далеко все это отъ стараго гоголевскаго міра съ его Чичиковыми, Сквозниками-Дмухановскими, Собакевичами и Ноздревыми! Пусть этотъ міръ еще проченъ, еще живъ, какъ живуча пошлость вообще. Но дни его сочтены, потому что онъ изжилъ себя до глубины, прогнилъ до сердцевины и одряхлѣлъ, какъ старое вѣковое древо, только держащееся до перваго сильнаго порыва вѣтра, который вывернетъ его съ корнемъ и обнаружитъ всѣмъ его изъѣденную червями, истлѣвшую внутренность.

Г. Ив. Успенскій въ воспоминаніяхъ В. Г. Короленко [1]).

Изъ числа писателей—народниковъ, выступившихъ цѣлымъ гнѣздомъ въ концѣ шестидесятыхъ годовъ, одинъ Глѣбъ Успенскій не только не затерялся въ „дали временъ", какъ почти всѣ его современники и сверстники, но сохранилъ неувядающую свѣжесть интереса и громадное значеніе, какъ быто-писатель русской жизни. Стоитъ взять его произведеніе, что такъ часто приходится дѣлать нашему

[1]) Іюль 1902 г.

брату журналисту для справки, для цитаты, и уже не можешь оторваться отъ его нерѣдко геніальныхъ по яркости и жизненности страницъ. Увлекшись чтеніемъ, забываешь и о справкѣ и просто наслаждаешься его чуднымъ языкомъ, этимъ истинно-русскимъ, яркимъ и образнымъ языкомъ, его художественнымъ умѣніемъ творить жизнь, изъ незначительной, пустой сценки возсоздать такую подавляющую подчасъ картину человѣческой скорби или несчастья, что, потрясенный до глубины души, откладываешь книгу, чтобы передохнуть отъ его мучительной правды. Его, какъ и другихъ великихъ нашихъ писателей, нельзя читать „сплошь", что называется: онъ до того волнуетъ, захватываетъ и заставляетъ вдумываться, что приходится то и дѣло откладывать книгу, чтобы овладѣть впечатлѣніемъ и получше охватить всю глубину нарисованнаго образа. И когда, желая дать себѣ отчетъ, начинаешь вспоминать, что именно у него ярче всего, что законченѣе и цѣльнѣе —встаетъ такая масса этихъ образовъ, такое разнообразіе „лицъ, нарѣчій, состояній", что невольно чувствуешь себя подавленнымъ громадностью захвата этого удивительнаго русскаго писателя, великаго знатока русской жизни и по истинѣ геніальнаго художника, по той проникновенности, съ которой онъ рисуетъ душу мужика, рабочаго, интеллигента, солдата и всякаго живого человѣка, въ данную минуту привлекшаго его вниманіе. Кого здѣсь только нѣтъ? Порфиричъ, Ершишка, Хрипуновъ, Михаилъ Иванычъ, Кудимычъ, Мымрецовъ, Тяпушкинъ, чиновникъ („Задача"), „вольный казакъ", Иванъ Босыхъ, Иванъ Ермолаичъ, Варвара, спившійся дьяконъ, безконечная вереница разныхъ дѣльцовъ и дѣятелей, вплоть до того русскаго мужика, что силою однихъ „природныхъ дарованій" сразу, въ одинъ присѣстъ, производитъ цѣнность въ сто рублей, и... Аракчеевъ. Да, и этотъ послѣдній, и такъ выписанный, что вы можете прочесть всего Шильдера, Богдановича, сколько угодно копаться въ „Русской Старинѣ" и все же не получите такого яркаго и цѣльнаго впечатлѣнія, какъ отъ нѣсколькихъ строкъ Глѣба Ивановича. „Страху имѣлъ въ себѣ,—разсказываетъ старый бурмистръ.—Столь много было въ немъ, значитъ, испугу этого самаго. Носъ у него, у покойника, былъ этакій мясистый, толстый, сизый, значитъ, съ сизиной. И гнусавый былъ, гнусилъ... Идетъ ли, ѣдетъ ли, все будто мертвый, потому глаза у него были тусклые и такъ оказывали, какъ, примѣромъ сказать, гнилыя мѣста вотъ на яблокахъ бываютъ: будто глядитъ, а будто нѣтъ, будто есть глаза, а будто только гнилыя ямы. Вотъ въ этакомъ то видѣ—ѣдетъ ли, идетъ ли—точно мертвецъ

холодный, и носъ этотъ самый сизый, мясистый, виситъ. А чуть раскрылъ ротъ—и загудитъ, точно изъ подъ земли или изъ могилы: „Па-а-л-локъ!“ Да въ носъ, гнусавый былъ... „Па-а-л-локъ!“ Это ужъ, стало быть, что-нибудь запримѣтилъ... И только его и словъ было, а то все какъ мертвый... Вотъ какой былъ сурьезный, дьяволъ!“ Цѣльность впечатлѣнія отъ этого несравненнаго образа, такъ, мимоходомъ начертаннаго Глѣбомъ Ивановичемъ, еще усиливается тѣмъ, что разсказчикъ (въ очеркѣ „старый бурмистръ“) весь на сторонѣ Аракчеева („такъ... былъ порядокъ“).

Такими безподобными перлами переполнены три увѣсистыхъ тома компактнаго изданія твореній Успенскаго. И среди безконечнаго разнообразія этихъ образовъ, то подавляющихъ васъ, то трогательныхъ до слезъ, то возбуждающихъ самое неудержимое дѣтское веселье, все время не покидаетъ васъ образъ самого творца, всегда грустный, словно трепещущій отъ удивленія и скорби при видѣ того, что творится вокругъ него, или словно недоумѣвающій, какъ же это никто, кромѣ него, не видитъ, не пугается всего безобразія жизни, не замѣчаетъ, какъ далеко-далеко уклонилась эта жизнь отъ красоты настоящаго человѣка? Потому что самъ онъ, Глѣбъ Ивановичъ, переполненъ трепетнымъ восторгомъ передъ этой чарующей красотой истиннаго человѣка и потому такъ до болѣзненности чутокъ ко всякимъ уклоненіямъ, уродующимъ „образъ и подобіе божье“. Изъ этой чуткости и восторга передъ человѣческой красотой, передъ красотой природы и жизни вообще проистекаетъ и дѣтская незлобивость Глѣба Ивановича, съ которой онъ относится ко всѣмъ и всему. Гнѣвъ, суровое осужденіе, безпощадная жесткость къ описываемымъ имъ звѣроподобнымъ чудищамъ, къ образамъ почти апокалипсическаго характера, какъ приведенный выше Аракчеевскій портретъ,—чужды ему вполнѣ. Онъ и за нихъ страдаетъ, какъ и за тѣхъ, кто пострадалъ отъ нихъ. Онъ и въ ихъ искаженныхъ злобою лицахъ видитъ черты, сближающія ихъ съ общечеловѣческой красотой, которая въ этихъ несчастныхъ превратилась въ свою противоположность. Ему пожалуй, еще больнѣе при видѣ ихъ, чѣмъ при видѣ ихъ жертвъ, потому что страданіе приближаетъ къ красотѣ, очищаетъ и возвышаетъ, тогда какъ дикое безобразіе палачей выступаетъ на фонѣ общаго страданія еще ярче и гнуснѣе, до жгучей боли ранитъ сердце писателя. Самому предателю, котораго такъ безпощадно казнитъ Салтыковъ, Успенскій не смогъ бы сказать роковое: „иди! нѣтъ тебѣ прощенія!“ Самое большее—онъ молча отвернулся бы отъ

него. „И его тоже мать родила“, какъ говоритъ у Достоевскаго каторжникъ, указывая на закованный трупъ своего товарища.

Источникъ этой незлобимости Успенскаго отнюдь не безразличье или слащевая гуманность, преисполненная мира и всепрощенія. Напротивъ, Глѣбъ Ивановичъ — это живое воплощеніе дѣйственной любви и неустанныхъ поисковъ за дѣлами и проявленіями именно такой дѣятельной любви. Всѣ его произведенія проникнуты этимъ исканіемъ, безпокойнымъ, напряженнымъ, страстнымъ. Въ самыхъ совершенныхъ и законченныхъ своихъ произведеніяхъ онъ не выдерживаетъ спокойнаго эпическаго тона, и то и дѣло стремительно уклоняется въ сторону, не въ силахъ удержать свое рвущееся на голосъ любви сердце. Нарисовавъ удивительную картину человѣческихъ безобразій, онъ же первый приходитъ въ ужасъ и ищетъ пути къ устраненію ихъ, къ истинной правдѣ человѣческихъ отношеній, къ замѣнѣ „зоологической“ правды — правдой человѣческой, которая пребудетъ во вѣкъ. И если когда негодованіе прорывается у Успенскаго, то въ тѣхъ лишь случаяхъ, когда, вмѣсто этой правды, подсовываютъ другую, подъ разными соусами скрывающуюся, «звѣриную» по существу. Такъ было, напр., послѣ знаменитой рѣчи Достоевскаго (на пушкинскомъ празднествѣ) о „русскомъ все-человѣкѣ“. Во второй половинѣ своей замѣчательной статьи, посвященной описанію торжества («На другой день»), у него прорываются такія злыя слова, звучитъ мѣстами такой ѣдкій сарказмъ. какого вы не найдете нигдѣ во всѣхъ его произведеніяхъ. Его возмутила именно неискренность оратора, его игра словами, то, что на своемъ оригинальномъ языкѣ Успенскій характеризуетъ, какъ подмѣну „все-человѣческаго“ — „все-заячьими свойствами“. Характеризуя эту знаменитую рѣчь, Успенскій превращается въ сатирика,—вообще, ему мало свойственная роль. По его словамъ, Достоевскій разными вставками, незамѣтными уклоненіями, путанными словечками сводитъ своего все-человѣка на нѣтъ. „Такіе заячьи прыжки даютъ автору возможность превратить мало-по-малу все свое „фантастическое дѣланіе“ въ самую ординарную проповѣдь полнѣйшаго мертвѣнія. Помаленьку, да полегоньку, съ кочки на кочку, прыгъ да прыгъ, все-заяцъ мало-по-малу допрыгиваетъ до непроходимой дебри, въ которой не видать ужъ и заячьяго хвоста...“

У Успенскаго нѣтъ ни проповѣди любви, ни всепрощенія, ни какихъ бы то ни было высокихъ словечекъ: онъ— сама простота. какъ въ изображеніи, такъ и въ языкѣ, до того ему чуждо все искусственное, дѣланное, надуманное.

Отъ того и самая форма его произведеній такая смѣшанная— наполовину беллетристика, наполовину публицистика. О чемъ бы онъ ни разсказывалъ, онъ не можетъ воздержаться, чтобы не высказать всѣхъ мыслей, какія ему пришли въ голову по этому поводу. Если такіе постоянные переходы отъ разсказа къ размышленію мѣшаютъ иногда читателю, ослабляя впечатлѣніе, зато они тѣмъ ярче и цѣльнѣе обрисовываютъ писателя, раскрывая ему душу цѣликомъ, не оставляя никакихъ сомнѣній, что и какъ именно думалъ Успенскій по тому или иному поводу. Но какъ разнообразны темы его произведеній, охватывая всю нашу русскую дѣйствительность, такъ же разнообразенъ и трудно объемлемъ и самъ Успенскій. Онъ поистинѣ „дистанція огромнаго размѣра", и этимъ можно объяснить, что литература о немъ такъ бѣдна. Вступительная статья Н. К. Михайловскаго и его же статьи въ „Русскомъ Богатствѣ" текущаго года, небольшое сравнительно мѣсто, удѣленное Успенскому г. Скабичевскимъ въ его „Исторіи литературы", статья г. Уманьскаго „Писатель переходнаго времени" въ „Русской мысли" этого года — вотъ, пожалуй, и все что есть объ Успенскомъ. Можно указать еще очеркъ г. Волжскаго „Два очерка объ Успенскомъ и Достоевскомъ", въ которомъ есть очень важныя замѣчанія о разныхъ взглядахъ Успенскаго, но въ общемъ г. Волжскій только комментируетъ и дополняетъ извѣстную „Вступительную статью" Н. К. Михайловскаго, на что, впрочемъ, онъ самъ же и указываетъ

Смерть Успенскаго оживила литературу о немъ, и мы уже теперь имѣемъ превосходную характеристику его, какъ писателя и человѣка, данную В. Г. Короленко въ статьѣ его „О Глѣбѣ Ивановичѣ Успенскомъ", заключающей личныя воспоминанія автора. Самъ чуткій и вдумчивый художникъ, Короленко, быть можетъ, лучше и глубже всѣхъ съумѣлъ изобразить этого оригинальнѣйшаго человѣка, котораго мы всѣ знаемъ только по его писаніямъ. И человѣкъ въ изображеніи его такъ тѣсно и полно сливается съ писателемъ, что ихъ уже не отдѣлить, разъ вы прочли эти воспоминанія. Изъ небольшихъ, обыденныхъ фактовъ, изъ незамѣтныхъ черточекъ онъ создалъ такой обаятельный образъ, что Глѣбъ Ивановичъ выступилъ еще свѣтлѣе и чище, чѣмъ мы могли знать его раньше, и въ то же время многое, о чемъ мы только догадывались, выступаетъ теперь въ его произведеніяхъ яснѣе, понятнѣе и еще болѣе захватываетъ васъ, когда вы знаете теперь душу Успенскаго. Самъ Короленко познакомился съ нимъ уже на склонѣ его литературной дѣятельности, незадолго до роковаго конца, такъ неожиданно пресѣкшаго его писательскую работу. Это было

во второй половинѣ восьмидесятыхъ годовъ, когда усталость, разочарованіе и какое-то безсиліе разслабленной воли господствовали въ обществѣ.

„Всякій, — говоритъ Короленко, — кто жилъ уже сознательною жизнью въ то смутное и туманное время, помнитъ общій тонъ тогдашняго настроенія. У такъ называемой интеллигенціи начиналась съ „меньшимъ братомъ" крупная ссора (о которой послѣдній, впрочемъ, по обыкновенію, даже не зналъ). Хотя Успенскій никогда не идеализировалъ мужика, наоборотъ, съ большой горечью и силой говорилъ о мужицкомъ свинствѣ и о распоясовской темнотѣ даже въ періодъ наибольшаго увлеченія „устоями" и тайнами „народной правды", тѣмъ не менѣе въ это время онъ со всей силой своего огромнаго таланта продолжалъ призывать вниманіе общества ко всѣмъ вопросамъ народной жизни, со всѣми ея болящими противорѣчіями и во всей ея связи съ интеллигентною совѣстью и мыслью. Такъ что съ реакціей противъ мужика начиналась реакція и противъ Успенскаго: къ нему обращались запросы, упреки, письма. Въ одной изъ своихъ статей въ „Отеч. Запискахъ" Глѣбъ Ивановичъ съ большимъ остроуміемъ отмѣчалъ и отражалъ это настроеніе при самомъ его возникновеніи. Онъ характеризовалъ его словами: „надо и намъ". Что въ самомъ дѣлѣ: мужикъ заполонилъ всю литературу. Мужикъ да мужикъ, народъ да народъ. „Мы тоже хотимъ... надо и намъ..." Началось *само*-углубленіе, *само*-усовершенствованіе, рѣшеніе вопросовъ изолированной личности, внѣ связи съ общественными вопросами, до тѣхъ поръ властно занимавшими умы и сердца. „Восемьдесятъ тысячъ верстъ вокругъ самого себя", съ обычною мѣткостью характеризовалъ Глѣбъ Ивановичъ одну сторону этого настроенія. Огорченный и разочарованный, русскій интеллигентный человѣкъ углублялся въ себя, уходилъ въ культурные скиты или обиженно требовалъ „новой красоты", становясь особенно капризнымъ относительно эстетики и формы".

Такое настроеніе переживалъ и одинъ пріятель автора, раздѣляя указанное предубѣжденіе противъ Успенскаго за его настойчивые призывы „все-таки смотрѣть на мужика".

„Однажды, — продолжаетъ Короленко, — онъ вошелъ въ мою гостиную, когда за чайнымъ столомъ, въ кружкѣ моей семьи и знакомыхъ, сидѣлъ Глѣбъ Ивановичъ, только что пріѣхавшій въ Нижній Новгородъ. Онъ говорилъ о чемъ-то своимъ обычнымъ тономъ, въ которомъ проглядывала какая-то сдержанная, глубокая печаль, по временамъ вдругъ уступавшая мѣсто вспышкамъ особеннаго, только Успенскому присущаго, тихаго юмора. Я представилъ своего пріятеля.

Успенскій всталъ, пожалъ ему руку, невнятно пробормоталъ свою фамилію и опять обратился къ занимавшей его темѣ, которая уже овладѣла вниманіемъ слушателей. Взглянувъ случайно на своего пріятеля, я замѣтилъ на его лицѣ напряженное вниманіе, смѣшанное съ чрезвычайнымъ изумленіемъ. Черезъ четверть часа онъ поднялся съ своего мѣста и, выйдя въ сосѣднюю комнату, поманилъ меня за собою.

„—Кто это у васъ? — спросилъ онъ съ величайшимъ любопытствомъ.—Я не разслышалъ его фамиліи.

„—А что? Почему вы спрашиваете такимъ тономъ?

„—Это какой-то необыкновенный человѣкъ. Отъ него вѣетъ геніальностью.

„—Поздравляю васъ,—отвѣтилъ я смѣясь,—вы познакомились съ Глѣбомъ Ивановичемъ Успенскимъ".

Такимъ образомъ, говоритъ авторъ, „мой пріятель былъ завоеванъ навсегда, и при томъ не писатель предрасположилъ его къ личности, наоборотъ—необыкновенное обаяніе личности обратило скептика къ изученію произведеній писателя".

И это вполнѣ понятно, такъ какъ, по словамъ Короленки, Глѣбъ Ивановичъ былъ „дорогимъ и рѣдкимъ исключеніемъ", когда писатель и личность нераздѣлены другъ отъ друга. Этимъ объясняетъ авторъ особый тонъ и манеру творчества Успенскаго, который не вынашивалъ своихъ твореній, не отдѣлывалъ ихъ съ тщательностью и любовью ради нихъ самихъ: „ему нужна была не красота, не цѣльность впечатлѣнія, не образъ. Съ лихорадочной страстностью среди обломковъ стараго онъ искалъ матеріаловъ для созиданія новой совѣсти, правилъ для новой жизни или хотя бы для новыхъ желаній этой жизни. То, что онъ предполагалъ извѣстнымъ, общимъ у себя и у читателя, надъ тѣмъ онъ не останавливался для детальной отдѣлки, то отмѣчалъ только бѣглыми штрихами, заполнялъ кое-какъ, лишь бы не оставить пустоты. Наоборотъ, то, что еще только мелькало впереди смутными очертаніями будущей правды,—за тѣмъ онъ гнался страстно и торопливо, не выжидая, пока оно самопроизвольно сложится въ душѣ въ ясный самодовлѣющій образъ. Онъ пытался обрисовать его поскорѣе для насущныхъ потребностей данной исторической минуты тѣми словами, какія первыя приходили на умъ. Отъ этого онъ часто повторялся, все усиливая находимыя идеи, заставлялъ читателя переживать съ нимъ вмѣстѣ и его поиски, и его разочарованія, и всю подготовительную работу, пускалъ своихъ жильцовъ, когда у постройки еще не были убраны лѣса. Все это искупалось важностью и насущностью зани-

мавшихъ Успенскаго вопросовъ, а общность настроеній писателя и его читателей заполняла пробѣлы въ этой торопливой работѣ... Но особенно интересна во всемъ этомъ самая личность автора, съ ея своеобразной глубиной, съ ея необыкновенной чуткостью къ вопросамъ совѣсти, съ ея смятеніемъ и болью... И всякій, кто зналъ Успенскаго лично, кто помнитъ это обаяніе и значительность основнаго душевнаго тона, который сразу чувствовался во всякомъ словѣ, движеніи, взглядѣ задумчивыхъ глазъ, въ самомъ даже молчаніи Успенскаго,—согласится съ отзывомъ моего пріятеля: отъ этой своеобразной, единственной въ своемъ родѣ личности дѣйствительно вѣяло геніальностью...“

Дѣйствительно, все въ личности Успенскаго было „не какъ у другихъ прочихъ“ и сразу привлекало вниманіе, начиная съ его „удивительныхъ глазъ, широко разставленныхъ и глубокихъ. Въ нихъ было что-то ласковое и печальное въ то же время; лицо мнѣ показалось усталымъ,— описываетъ Короленко первое свое знакомство съ Успенскимъ.—Помню, однако, что оно какъ-то сразу, безъ всякаго промежуточнаго впечатлѣнія и разлада, слилось со всѣмъ лучшимъ, что отлагалось въ души отъ его произведеній. Мнѣ казалось только, что лицо и взглядъ автора „Будки“, „Разоренія“ и столькихъ картинъ, полныхъ яркаго и своеобразнаго юмора—должно бы быть нѣсколько веселѣе. Однако, я чувствовалъ, что отъ этого оно не стало бы лучше, чѣмъ съ этой грустью, сосредоточенной, вдумчивой и какъ будто давно отложившейся на самомъ днѣ этой глубокой души“.

Также глубокъ и значителенъ былъ онъ весь, даже въ небольшихъ замѣчаніяхъ, бѣглыхъ отзывахъ, какъ значительны тѣ образныя, яркія вставки въ его произведеніяхъ, когда онъ вдругъ однимъ словечкомъ, коротенькой сценкой, неожиданнымъ сравненіемъ, какъ молніей, освѣтитъ цѣлое сложное явленіе, запечатлѣетъ въ вашей памяти рѣдкій типъ или подчеркнетъ, словно ударомъ рѣзца, главную особенность того или иного характера. Иные жалуются на „трудность“ чтенія Успенскаго, и въ этомъ есть доля правды, потому что онъ требуетъ напряженнаго вниманія, — иначе рискуешь пропустить драгоцѣнную черту, „крылатое“ словечко, глубокую и оригинальную мысль, которыми блещутъ страницы его очерковъ и разсказовъ. Онъ самъ—весь страсть и напряженіе даже въ самыхъ эпическихъ своихъ произведеніяхъ, и это утомляетъ. Его нельзя читать бѣгло, перелистывать, выхватывая отдѣльное „морсо“, такъ какъ все у него, при видимой разбросанности и неустройствѣ, крѣпко связано цементомъ его страстнаго исканія и неумолчно рвущейся къ дѣлу любви.

Въ разговорѣ его, приводимомъ авторомъ, вы слышите это постоянное напряженіе чувства, звучащагб все время, какъ туго натянутая струна, которая кажется, вотъ-вотъ оборвется и замретъ съ жалобнымъ, хватающимъ за сердце, тономъ. Авторъ приводитъ его безподобный отзывъ о Достоевскомъ, котораго собесѣдники случайно коснулись.

„— Вы его любите?—спросилъ меня Глѣбъ Ивановичъ.

„Я отвѣчалъ, что не люблю, но нѣкоторыя его вещи, напр., „Преступленіе и наказаніе", перечитываю съ величайшимъ интересомъ.

„Перечитываете?—переспросилъ меня Успенскій, какъ будто удивляясь, и потомъ, слѣдя за дымомъ папиросы своими задумчивыми глазами, сказалъ:—А я не могу... Знаете ли... у меня особенное ощущеніе... Иногда ѣдешь въ поѣздѣ... И задремлешь... И вдругъ чувствуешь, что господинъ, сидѣвшій противъ тебя... самый обыкновенный господинъ... даже съ добрымъ лицомъ... И вдругъ тянется къ тебѣ рукой... и прямо... прямо за горло хочетъ схватить... или что-то сдѣлать надъ тобой... И не можетъ никакъ двинуться.

„Онъ говорилъ это такъ выразительно и такъ глядѣлъ своими большими глазами, что я, какъ бы подъ внушеніемъ, самъ почувствовалъ легкое вѣяніе этого кошмара и долженъ былъ согласиться, что это описаніе очень близко къ ощущенію, которое испытывается порой при чтеніи Достоевскаго.

„— А все-таки есть много правды,—возразилъ я.

„— Правды?—Глѣбъ Ивановичъ задумался и потомъ, указывая двумя пальцами на дверь кабинета, которая была открыта и прислонена къ стѣнѣ, сказалъ:—Посмотрите вотъ на эту дверь, много-ли тутъ за нею уставится?

„— Конечно, не много,—отвѣтилъ я, еще не понимая этого перехода мысли.

„— Пара калошъ...

„— Пожалуй.

„— Положительно пара калошъ. Ничего больше...—И вдругъ, повернувшись ко мнѣ лицомъ и оживляясь, онъ докончилъ:—А онъ сюда столько набьетъ... человѣческаго страданія... горя... подлости человѣческой... что прямо на четыре каменные дома хватитъ".

Такая напряженность чувства и вѣчная работа мысли не могли не истощать этого удивительнаго человѣка, что и разрѣшилось нервной болѣзнью, такъ рано положившей конецъ его писательской дѣятельности. Короленко положительно отрицаетъ нелѣпые слухи объ алкоголизмѣ Глѣба Ивановича. Онъ много курилъ и въ обществѣ пилъ со

всѣми, но „вообще, когда теперь я вспоминаю эту папиросу и вино и то, что я, безъ привычки, тоже курилъ и пилъ въ присутствіи Глѣба Ивановича, и что ни куреніе, ни табакъ не оказывали на меня никакого дѣйствія,—то мнѣ кажется, что это было какое-то ровное, безпрестанное и чрезвычайно интенсивное горѣніе мозга и нервовъ, заразительное, вовлекавшее тотчасъ же и другихъ въ свою сферу. И въ этомъ горѣніи совершенно утопало впечатлѣніе наркотиковъ. Это были просто капли, шипѣвшія на раскаленной плитѣ. Но плита раскалилась не ими...“

Внутренній огонь, сжигавшій Успенскаго, придавалъ всей его фигурѣ что то особенное. „Разсказывая что нибудь, онъ глядѣлъ на собесѣдника своимъ глубокимъ мерцающимъ взглядомъ, говорилъ тихо, какъ будто сквозь слегка сжатые зубы и при этомъ жестикулировалъ какъ-то особенно, то и дѣло прикладывая два пальца къ груди, какъ будто указывая на какую то боль, которую онъ чувствовалъ отъ собственныхъ разсказовъ гдѣ то въ области сердца. Его рѣчь была отрывиста, безъ закругленныхъ періодовъ, полная причудливыхъ изгибовъ и неожиданныхъ опредѣленій, часто вспыхивала своеобразнымъ юморомъ. И никогда она не производила впечатлѣнія простой болтовни на досугѣ, среди которой такъ хорошо иногда отдохнуть отъ работы и отъ мыслей. Его молчаніе было отмѣчено тѣми же чертами, какъ и его разговоръ. Въ его отрывистыхъ замѣчаніяхъ, какъ и въ его молчаніи чувствовалась какая то неразрывная связь. Въ одномъ изъ своихъ очерковъ онъ говоритъ, что иногда можно „молчать о многомъ“. Дѣйствительно, бываютъ разговоры, въ которыхъ содержанія меньше, чѣмъ въ полномъ молчаніи, и бываетъ молчаніе, въ которомъ ходъ мысли чувствуется яснѣе, чѣмъ въ иномъ даже умномъ разговорѣ. Такое именно значительное молчаніе чувствовалось въ паузахъ Успенскаго. Его рѣчь и его паузы продолжали другъ друга... Разъ вслушавшись въ основное содержаніе занимавшей его мысли, вы уже были во власти этого теченія, во время самыхъ паузъ уже чувствовали это „молчаніе обо многомъ“ и невольно ждали, гдѣ эта не отдыхающая мысль сверкнетъ на поверхности какимъ нибудь неожиданнымъ поворотомъ, образомъ, картиной, иногда въ одной короткой фразѣ или даже въ одномъ только словѣ.

„Я думаю, что эта манера молчать такъ же утомительна, какъ и напряженная работа. А между тѣмъ, это было нормальное состояніе Успенскаго, по крайней мѣрѣ, въ томъ періодѣ его жизни, когда я зналъ его. Для него почти не существовало тѣхъ минутъ полнаго безразличія организма,

когда въ немъ совершаются, не задѣвая сознанія, одни только растительные, возстановляющіе процессы. Нѣкоторыя „житія“ рисуютъ намъ подвижниковъ, никогда не разстававшихся съ молитвой, которая входила даже въ ихъ забытье и сонъ. Совершенно также нѣкоторые вопросы совѣсти и мысли никогда не засыпали въ Успенскомъ. И это то, я думаю, придавало такую выдѣляющую значительность его лицу, его словамъ, его взгляду, самому его молчанію.

„Но это же и сжигало его неустаннымъ огнемъ“.

Въ дальнѣйшемъ разсказѣ авторъ показываетъ намъ, какъ „господствующая идея“ овладѣвала Успенскимъ и на каждомъ шагу, въ каждомъ поступкѣ и словѣ проявляла надъ нимъ свою неодолимую силу, подчиняя себѣ и всѣхъ его окружающихъ. Передать всю прелесть этого разсказа невозможно, пришлось бы перепечатать его до слова, такъ какъ все здѣсь значительно и вноситъ новый и новый штрихъ въ характеристику Успенскаго.

„Всю жизнь онъ стремился къ правдѣ, хотя бы и болящей, но истинной“, заканчиваетъ свои слова Короленко, и вотъ почему такое громадное значеніе имѣютъ его произведенія, въ которыхъ запечатлѣлся цѣлый періодъ русской жизни со всѣми его исканіями, болями, надеждами и разочарованіями, и каждое слово здѣсь—правда. Въ самый разгаръ народническихъ увлеченій одинъ Успенскій неизмѣнно оставался правдивымъ и, страстно болѣя душой за „мужицкое свинство“, представилъ всѣ отрицательныя стороны народной жизни также ярко и выпукло, какъ и привлекавшія его положительныя. Онъ не колеблясь призналъ односторонность этой народной правды, окрестивъ ее „зоологической“, потому что, по его словамъ, „народное дѣло непремѣнно должно быть выяснено въ самой строгой безпристрастности и, если угодно, безстрашіи“. Ни одинъ народникъ писатель не далъ намъ такой упоительно правдивой картины „красоты ржаного поля“, „гармоніи земледѣльческихъ идеаловъ“, поэзіи земледѣльческаго труда“ и рядомъ съ этимъ только онъ далъ и обратную сторону, обрисовавъ въ своихъ „Мишанькахъ“ и другихъ не менѣе яркихъ типахъ всѣ темныя, поразительно мрачныя и чисто „звѣриныя“ явленія того же земледѣльческаго уклада.

Значеніе Успенскаго, какъ бытописателя народной жизни, такъ велико что безъ изученія его не мыслимо сколько-нибудь правильное представленіе о народѣ. И вполнѣ понятно, почему въ разгаръ спора марксистовъ съ народниками Успенскій былъ единственнымъ изъ народническихъ писателей, котораго читали съ карандашомъ въ рукѣ, изучая и вчитываясь въ его произведенія, какъ если-бы это

были ученія, статистическія и экономическія изслѣдованія. Богатство фактическаго матеріала въ нихъ соединяется съ такимъ проникновеніемъ въ глубину народной психологіи, что въ этомъ отношеніи Успенскій пока не имѣетъ соперниковъ. Эта сторона произведеній его никогда не утратитъ значенія, хотя бы настроеніе, съ какимъ все это было написано, и испарилось. По мѣткому выраженію г. Короленко Успенскій мѣстами становится „труденъ", т. е. намъ трудно войти въ его настроеніе „исканія" правды въ народной жизни, но *правдивость* картины той же жизни осталась навсегда запечатлѣнной въ его произведеніяхъ, отмѣченныхъ печатью почти геніальности.

Говоря „почти", мы въ сущности совершаемъ нѣкую несправедливость, по отношенію къ Успенскому, безсознательно дѣлая уступку мнѣнію, будто Успенскій не все сказалъ, не все далъ, что могъ бы сказать. Это мнѣніе раздѣляютъ многіе, напр:, тотъ же Короленко, такъ глубоко заглянувшій въ Успенскаго, какъ никто,—исключая развѣ Н. К. Михайловскаго,—говоритъ, что „Успенскій не сказался въ своихъ произведеніяхъ со всею силою своей необыкновенной личности, и своего таланта. Чистый образъ, тщательно выношенный въ душѣ и выплавленный изъ однороднаго художественнаго матеріала, вообще легче привлекаетъ вниманіе и живетъ дольше, чѣмъ та смѣсь образа и публицистики, посредствомъ которой работалъ Успенскій". Намъ кажется, въ этихъ словахъ есть доля невѣрной оцѣнки Успенскаго, къ которому не примѣнимы никакія общія мѣрки. Это вѣрно что онъ не далъ „чистаго образа" и въ его творчествѣ преобладаетъ „смѣсь образа и публицистики". Но ее такъ и надо оцѣнивать какъ преобладающую особенность Успенскаго-писателя, и тогда мы должны признать, что эта „смѣсь", въ родѣ Ивана Босыхъ изъ „Власти земли", Порфирыча изъ „Нравовъ Растеряевской улицы" или Мымрецова—геніальные образы, наряду съ которыми можно поставить Каратаева изъ „Войны и мира" да типы, встрѣчающіеся у Гоголя и Салтыкова. Затѣмъ, въ его мелкихъ по объему произведеніяхъ, каковы разсказы, собранные имъ подъ общимъ заглавіемъ „Растеряевскіе типы и сцены", „Столичная бѣднота", „Мелочи" и другіе,—публицистики нѣтъ совсѣмъ, или если угодно—она сказывается мѣстами въ субъективизмѣ автора, въ его нескрываемой подчасъ симпатіи или антипатіи къ герою. Такіе чудные разсказы, какъ „Нужда пѣсенки поетъ", „Задача", „Про одну старуху", „Будка", „Дворникъ" и масса другихъ того же рода—останутся въ русской литературѣ прекрасными образцами творчества, надъ которыми время безсильно.

Мы думаемъ, поэтому, что въ трехъ компактныхъ томахъ, оставленныхъ намъ Успенскимъ, онъ сказался весь, безъ остатка, такъ, какъ немногіе изъ нашихъ великихъ писателей. Его огромный художественный талантъ развернулся въ его произведеніяхъ во весь ростъ, а его душа, скорбная, ищущая, не мирящаяся ни съ какой неправдой, вѣчно напряженная въ неустанныхъ поискахъ справедливости, гармоніи человѣческихъ отношеній — вылилась съ такой полнотой, яркостью и стремительностью, что я не знаю, чего еще могли бы мы потребовать отъ Успенскаго, для выясненія его, какъ писателя и человѣка. Если бы не роковая болѣзнь, прекратившая его работу въ годы полной физической и умственной бодрости, мы, вѣроятно, получили бы еще рядъ чудныхъ разсказовъ и очерковъ, представляющихъ ту же „смѣсь образа и публицистики", что и раньше, и содержаніемъ своимъ они уяснили бы намъ многое, что мы пережили за эти десять послѣднихъ мучительныхъ лѣтъ болѣзни Успенскаго. Не можетъ быть ни малѣйшаго сомнѣнія, что крупный переворотъ, совершившійся за это время въ русскомъ обществѣ, не избѣгъ бы вниманія такого чуткаго и глубокаго наблюдателя, какимъ является Успенскій-художникъ. И кто знаетъ, можетъ быть, многое получило бы иное направленіе подъ вліяніемъ его мощнаго таланта, такъ глубоко умѣвшаго „потрясать" сердца... Но все это не прибавило бы ни одной лишней черты къ его характеристикѣ, не увеличило бы и не умалило его, какъ писателя,— это явилось бы только приложеніемъ все тѣхъ же силъ, которыя съ исчерпывающей полнотой вылились въ его произведеніяхъ.

Думаемъ, что въ такомъ мнѣніи нѣтъ ничего, умаляющаго значенія Успенскаго въ томъ видѣ, какъ мы его знаемъ теперь, и даже напротивъ. Мнѣ лично всегда нѣсколько обидно за любимаго писателя, когда говорятъ, что онъ не далъ всего,—потому что не далъ того-то и того-то,— не весь проявился въ своихъ произведеніяхъ, — и обиднѣе всего такое мнѣніе именно объ Успенскомъ, который далъ больше, чѣмъ можно бы ожидать отъ такой нервной, напряженно-страстной писательской организаціи. Объемъ его работы вызываетъ, по истинѣ, удивленіе: свыше 3.000 убористыхъ страницъ, до трехсотъ печатныхъ листовъ,—и какихъ листовъ!—на протяженіи менѣе, чѣмъ тридцати лѣтъ! Мало писателей, которые могли бы гордиться такой продуктивностью, и при томъ такой значительной по содержанію, вліянію и силѣ впечатлѣнія. Что больше могли бы мы требовать отъ Успенскаго?

Какъ писатель, онъ представляется намъ вполнѣ закон-

ченнымъ, завершеннымъ, оригинальнымъ явленіемъ русской порсформенной жизни, которую онъ отразилъ въ своемъ творчествѣ съ необычайной полнотой. Всѣ изгибы этой жизни, ея бурныя теченія и широкіе разливы, мели и бездонные яры мы находимъ въ произведеніяхъ его мысли, которая, по удивительно вѣрному слову Короленки, „шла какъ рѣка, которая то течетъ на поверхности, то исчезаетъ подъ землей, чтобы черезъ нѣкоторое время опять сверкнуть уже въ другомъ мѣстѣ“, вынося наверхъ тѣ чудные перлы, которыми переполнена сокровищница, именуемая „Сочиненіями Глѣба Успенскаго“.

Современные славянофилы.—Начало Русскаго собранія [1]).

„Благословите, братцы, старину сказать.

„Въ великой книгѣ Божіей написана судьба нашей родины,—такъ вѣрили въ старину на Руси, и древняя родная мысль наша тревожно и страстно всматривалась въ темныя дали будущаго, тѣ дали, гдѣ листъ за листомъ будетъ раскрываться великая хартія судебъ вселенной...“

Откуда это? Что значитъ этотъ величаво-гаерскій тонъ, смѣсь раешника съ дьячкомъ?—спроситъ изумленный читатель. Это—„благовѣстъ“ о „возрожденіи“ Россіи, ни больше ни меньше, какъ возвѣщаютъ намъ два сборника, вышедшіе одинъ въ началѣ года, другой недавно—„Заря“ и „Москва“, въ которыхъ провозглашается всему міру русскому о новомъ чудѣ добромъ и радостномъ, о славянофильскомъ походѣ на всякаго врага и супостата, заполонившаго нынѣ „святую Русь“. Ударяя въ бубны и тимпаны, или по московски, „во всѣ колокола“, кучка до сихъ поръ невѣдомыхъ міру славянофиловъ, какимъ-то чудомъ уцѣлѣвшихъ отъ общаго разгрома, постигшаго (по ихъ словамъ) „святую Русь“, собралась вкупѣ и влюбѣ и, „напрягши умъ, наморщивши чело“, съ потугами и усильями, отвѣчающими важности задачи, выпустила два сборника, полные предостереженій, мудрыхъ указаній и восторженныхъ откровеній.

Читатели не должны сѣтовать, если міръ, который имъ откроется, покажется имъ страненъ, напомнитъ имъ „чудище обло, озорно, стозѣвно и лаяй“: все надо знать, тѣмъ болѣе свое, родное, въ которомъ какъ никакъ звучатъ несомнѣнно отголоски современности.

Оживленіе славянофильства — вотъ что прежде всего

---

[1]) Августъ, 1902.

знаменуютъ эти сборники, которые не стоятъ одиноко, но къ нимъ примыкаютъ и другія однозначущія явленія, какъ увидимъ ниже. Признаемся, — мы думали, что славянофильство теперь есть мертвый историческій терминъ, обозначающій давно отжившее историческое явленіе. Оказывается, — это далеко не такъ; оно, по крайней мѣрѣ, само заявляетъ, что живо и несетъ въ себѣ не что-нибудь иное, какъ „возрожденіе Россіи". Уже ради одной этой великой „миссіи", возлагаемой имъ на свои рамена, оно заслуживаетъ если не вниманія, то хотя бы нѣкотораго знакомства. Правда, матеріалъ для этого, — мы должны предупредить читателей, очень скуденъ. Въ обоихъ сборникахъ фигурируютъ все интересные незнакомцы, скрывающіе свои великія имена подъ многообѣщающими псевдонимами или скромными иниціалами: Апокрифъ, Славяноборъ, Македонецъ, Русскій, Востоковѣдъ, Г. Е. Р. У—скій, В—евъ. Остальныя имена, пропечатанныя полностью, также мало говорятъ уму и сердцу: Недолинъ, Ягодынскій, Московцевъ. Къ великому нашему стыду, мы съ ними нигдѣ не встрѣчались въ печати и ничего не можемъ сказать о ихъ дѣятельности. Но, пожалуй, оно и лучше: съ тѣмъ большей свободой могутъ говорить они, не будучи связаны прошлымъ, которое обязываетъ.

И дѣйствительно, прошлаго для нихъ не существуетъ. „Заря". Выпускъ I,—читаемъ на обложкѣ перваго сборника, что знаменуетъ и выпускъ второй, стало быть дѣло, разсчитанное на будущее если не процвѣтаніе, то продолженіе. Открывается сборникъ статьей „Гр. Л. Н. Толстой и вопросъ жизни" Н. Апокрифа, въ которой нѣтъ собственно ничего славянофильскаго.

Но эта статья, должно быть, попала сюда по недоразумѣнію, ибо далѣе въ сборникахъ идетъ настоящая славянофильская свистопляска съ обычными для современнаго славянофильства неуклюжими движеніями. Начинаетъ ее г. Недолинъ, обрушиваясь сразу на весь западъ, которому онъ грозитъ „жупеломъ и металломъ", если тотъ во-время не опомнится и не признаетъ добровольно единою „святую русскую правду". Наступитъ моментъ, вопитъ въ торжественномъ порывѣ г. Недолинъ, когда „по пятамъ изгнанныхъ насильниковъ можетъ послѣдовать месть освободившихся народовъ, не менѣе сильныхъ, окрѣпшихъ, но не забывшихъ многовѣковаго рабства. Тогда могла бы наступить такая всемірная революція, такое страшное потрясеніе стараго европейскаго міра, подобнаго чему не видала подлунная. Россія въ тотъ часъ должна быть страшно сильна

и грозна,—грозна гнѣвомъ Бога, чтобы дать народамъ правду, судъ и свободу". Словомъ, трепещите, языцы, и покоряйтесь.

Въ „Задачѣ современности" г. А. М. У—скій раскрываетъ идею возрожденія славянофильской школы, предупреждая, что „не плакать, не смѣяться, но понимать" надо его статью. Итакъ, воздержимся на время. Хотя статья трактуетъ о школѣ вообще, но рѣчь по существу идетъ о поднятіи „издревле служилаго сословія", или проще—„нашего вѣрнаго дворянства". „Есть серьезныя основанія утверждать,—говоритъ авторъ вначалѣ, — что за освобожденіемъ крестьянъ установившаяся система образованія была главною причиной экономическаго паденія помѣстнаго дворянства". „Въ силу своихъ особенныхъ традицій,—поучаетъ авторъ,—дворянство не имѣло навыка къ трудовому пріобрѣтенію матеріальныхъ средствъ, считая все подобное занятіемъ, не приличествующимъ дворянству, и вслѣдствіе этого, естественно, не имѣло ни надлежащихъ знаній, ни практической подготовки, необходимыхъ для самостоятельнаго, трудового пріобрѣтенія средствъ, что требовалось уже новою эпохою". Надо было создать „новое питаніе", путь къ которому долженъ лежать черезъ школу. А для этого надо сдѣлать школу „земледѣльческою", такъ какъ дворянство имѣетъ (или имѣло) землю, но не умѣло съ нею обращаться. „Программа русской школы должна быть существенно опредѣлена программой русской жизни: послѣ русской азбуки — азбука землевѣдѣнія; послѣ православнаго катехизиса—катехизисъ земледѣлія, среди молитвъ къ Богу — теплыя молитвы къ землѣ: въ этомъ основаніе національной программы русской школы". Далѣе рекомендуется внушить дворянству „уваженіе къ рублю", который дворянство раньше презирало, теперь же къ оному вожделѣетъ, но недостаточно уважаетъ. Въ заключеніе „вопросъ о правительственномъ поощреніи". Россія страна земледѣльческая, а потому „каждая постановка кѣмъ либо въ Россіи образцоваго, въ смыслѣ экономическомъ и культурномъ, хозяйства... подлежитъ публичной отмѣткѣ тѣмъ или другимъ способомъ въ законодательномъ порядкѣ. Въ большинствѣ случаевъ такіе дѣльные хозяева изъ лучшихъ земскихъ людей отличаются здравымъ умомъ и яснымъ пониманіемъ мѣстныхъ условій экономической жизни и народныхъ нуждъ, и поэтому только черезъ такихъ дѣятелей, людей трезваго сужденія, обширнаго ума и большого опыта, возстановится плодотворная связь между Землей и Властью. Кстати припоминается поучительный для насъ разсказъ. Въ одной старой земледѣльческой странѣ былъ слѣдующій интересный обычай: первый вельможа въ государствѣ при вступленіи своемъ въ должность обязанъ

былъ при устроенныхъ въ честь этого событія празднествахъ всенародно пройти борозду въ полѣ съ сохой... Хорошій бы обычай для Россіи", глубокомысленно заключаетъ г. У—скій. Обычай ничего себѣ, замѣтимъ и мы, главное, недорогой и ни для кого не обидный—ни для „бархатника", ни для „пахотника", и сверхъ того символизирующій „плодотворную связь земли съ властью". Хорошо пишутъ господа славянофилы о воспособленіи дворянству: дворянская школа, законодательнымъ порядкомъ отмѣтка и — связь съ землей. Въ особенности нравится намъ идея автора внушить дворянскому юношеству уваженіе къ рублю. По времени этотъ совѣтъ важнѣе прочихъ, такъ какъ съ каждымъ днемъ рублей у насъ становится все меньше и меньше, какъ объ этомъ докладываетъ намъ постоянно тоже „славянофилъ" г. Сергѣй Шараповъ.

Столько о школѣ. Авторъ ни мало не смущается вопросомъ, каковъ долженъ быть „земледѣльческій катехизисъ", что это за земледѣльческая азбука. Все это не суть важно, ибо важно одно—изыскать новый способъ „питанія" для обиженнаго судьбою сословія, которое, по своимъ традиціямъ имѣя склонность къ питанію, не обладаетъ для онаго средствами. Столь же простъ въ разрѣшеніи національнаго вопроса г. Недолинъ, который полемизируетъ съ Вл. Соловьевымъ объ націонализмѣ. „Не пристало Россіи искать, т.-е. вѣрнѣе заискивать какого-то фантастическаго примиренія съ Европой, какъ это надлежитъ намъ сдѣлать, слѣдуя политическимъ идеямъ Вл. Соловьева, — пора самой Европѣ сознать всѣ свои вины передъ Россіей, а тѣмъ народамъ, которые, давно уже и навсегда побѣжденные Россіей, вошли въ составъ ея населенія, но все еще въ лицѣ шумливыхъ газетныхъ фразеровъ „враждуютъ" съ нами заднимъ числомъ, понять смыслъ своихъ предательскихъ чувствъ, а подчасъ и дѣйствій, по отношенію къ россійскому государству". Любопытнѣе всего въ этой тирадѣ „всѣ вины" Европы. Жаль, что дальше мы не находимъ ихъ перечисленія, а то г. Недолинъ внесъ бы очень полезную графу въ нашу долговую книгу: „а за всѣ вины столько-то". Счетъ этотъ славянофилы ведутъ издавна, со времени Петра, и до сихъ поръ не могутъ подвести итоговъ. Европа съ своей стороны могла бы предъявить болѣе существенный счетъ, въ видѣ нѣсколькихъ милліардовъ рублей, данныхъ ею въ займы на разныя мѣропріятія, въ томъ числѣ и на воспособленіе дворянскому сословію, о нуждахъ котораго современные славянофилы такъ пекутся. Право, за это одно она заслуживаетъ спасиба. Что было бы съ ними, если бы по ихъ желанію Европа снялась съ мѣста и исчезла, какъ

щедринскій мужикъ, который улетучился по молитвѣ глупаго помѣщика, ненавидѣвшаго мужичій духъ? Г. Недолинъ, надѣемся, помнитъ, что случилось съ глупымъ помѣщикомъ, котораго и начальство за это не одобрило.

Европу, конечно, пугать можно, но достать ее трудно, и потому г. Недолинъ всю свою энергію направляетъ на чуждыя національности, „давно уже побѣжденныя", и обращается къ евреямъ. Отрицая цѣликомъ мысль Соловьева о необходимости равноправности, авторъ съ паѳосомъ восклицаетъ: „Что же будетъ, если евреи, какъ того требуютъ ихъ защитники, стали бы „равноправными" съ русскимъ народомъ въ русской землѣ, если даже теперь, когда цѣпкія руки евреевъ все-жъ-таки не вполнѣ еще развязаны, они со своимъ геніальнымъ пролазничествомъ забираются всюду, умѣютъ находить самыя вліятельныя связи, легко и незамѣтно подбираютъ къ своимъ рукамъ не только богатства русской земли, но, заполняя свободныя профессіи, постепенно, но неуклонно, и послѣдовательно захватываютъ и русскую литературу... Наша государственная власть... защищаетъ „малыхъ силъ", русскій народъ, отъ позорнаго еврейскаго ига". Также рѣшаетъ славянофилъ г. Недолинъ и всѣ остальные національные вопросы, все сводя къ „единой святорусской правдѣ": все, что не русское, да трепещетъ... „Національзмъ въ политикѣ, національзація гражданской жизни"— альфа и омега, ея же не прейдеши.

Есть одно достоинство въ современномъ славянофильствѣ, это—его откровенность. Читая статьи обоихъ сборниковъ отнюдь не впадешь въ сентиментализмъ стараго славянофильства, что-то, хотя и смутно, говорившаго объ идеальномъ братствѣ, о единеніи душъ, хотя бы и въ маниловскомъ тонѣ, и проч. Нынѣ всему этому конецъ, — какой-то почти свирѣпой ненавистью ко всему чужому несетъ отъ этихъ рѣчей о приведеніи всѣхъ къ одному знаменателю. Достается жестоко и печати въ статьѣ нѣкоего г. Московцева. Вся печать, если вѣрить этому суровому стражу „національнаго русскаго слова", прогнила, заполонена еврействомъ (*я* дались имъ эти евреи!) и источаетъ тлетворный ядъ, отъ котораго погибаетъ все истинно-русское. Авторъ даже не задумывается, отчего-же, если справедливы его нападки, эта истинно-русская печать, представляемая имъ купно съ братьей, такъ по существу ничтожна, слаба и неподвижна, что можетъ только вопить? Что же мѣшаетъ ей проявить свою силу, коренную русскую мощь, истый духъ, по ихъ словамъ, непобѣдимый и непереносный ни для кого, кромѣ истинно-русскихъ? Кажется, по ихъ же слову, время теперь самое для нихъ распрекрасное: всѣ излюбленныя ими искон-

ныя начала „святорусской правды“ въ полномъ ходу, инородцы и иновѣрцы поставлены въ надлежащіе предѣлы, а если Европа еще не повинилась, то все же и не наскакиваетъ. Между тѣмъ, г. Московцевъ вопитъ „караулъ!“ и требуетъ „національзаціи русской печати“. Опять таки, какъ это сдѣлать, онъ не задумывается, хотя тутъ же, какъ истинно не унывающій россіянинъ, и замѣчаетъ вскользь: „Если наше законодательство не позволяетъ евреямъ занимать мѣста на государственной службѣ, то нѣтъ никакихъ основаній допускать и сосредоточеніе печати въ еврейскихъ рукахъ“. И такъ говорятъ и пишутъ люди, осмѣливающіеся считат ь себя „наслѣдниками“ Аксакова, того самаго славянофила, который воспѣлъ гимнъ „свободному слову“, который съ чисто религіознымъ паѳосомъ писалъ о свободѣ слова: „Мысль, слово! Это та неотъемлемая принадлежность человѣка, безъ которой онъ не человѣкъ, а животное. Безсмысленны и безсловесны только скоты, и только разумъ, иначе слово, уподобляетъ человѣка Богу. Мы, христіане, называемъ самого Бога Словомъ. Посягать на жизнь разума и слова въ человѣкѣ—не только совершать святотатство Божьихъ даровъ, но посягать на божественную сторону человѣка, на на самый Духъ Божій, пребывающій въ человѣкѣ, на то, чѣмъ человѣкъ—человѣкъ. Свобода жизни разума и слова—такая свобода, которую по настоящему даже смѣшно и странно формулировать юридически или называть правомъ. Это такое же право, какъ право быть человѣкомъ, дышать воздухомъ, двигать руками и ногами. Эта свобода вовсе не какая-либо политическая, а есть необходимое условіе самого человѣческаго бытія,—при нарушеніи этой свободы нельзя и требовать отъ человѣка никакихъ правильныхъ отправленій человѣческаго духа, ни вмѣнять что-либо ему въ преступленіе; умерщвленіе жизни, мысли и слова — самое страшное изъ всѣхъ душегубствъ“. („День“, 23-го января 1863 г.).

Замѣтимъ, однако, въ поученіе г. Московцеву, что русское законодательство нигдѣ не воспрещаетъ евреямъ занимать мѣста на государственной службѣ, такого спеціальнаго закона противъ евреевъ пока еще нѣтъ. Что же касается сосредоточенія печати въ еврейскихъ рукахъ, то это чистѣйшій вздоръ, не въ обиду евреямъ будь сказано. Въ столичной ежедневной печати нѣтъ ни одного органа еврейскаго. Правда, есть одна газета, редактировавшаяся евреемъ, но и тотъ, по сообщенію „Московскихъ Вѣдомостей“, недавно крестился. Но, охотно уступая этого недавно крещенаго еврея г. Московцеву, все же не можемъ не возразить, что какъ одна ласточка не дѣлаетъ весны, такъ одинъ еврей, притомъ же „немножко“ православный, еще не въ силахъ

сдѣлать всю русскую печать еврейской. Переходя къ журналистикѣ, можемъ констатировать, что въ ней, кромѣ одного спеціально-еврейскаго изданія („Восходъ"), нѣтъ ни одного журнала, издаваемаго или редактируемаго евреемъ. Къ этому можемъ добавить къ вящему утѣшенію г. Московцева, что и громадное число сотрудниковъ въ журналахъ тоже искони-русскіе люди. Поэтому, сѣтовать на сосредоточеціе прессы въ еврейскихъ рукахъ ему нечего, тѣмъ болѣе нечего задумываться объ особыхъ мѣрахъ для огражденія невинности русской печати, которая и такъ достаточно ограждена всякими писанными и неписанными законами.

Да и зачѣмъ? Если вѣрить авторамъ „Зари" и „Москвы", нынѣ это во всякомъ случаѣ излишне, такъ какъ наше время есть моментъ „національнаго возрожденія Россіи". Объ этомъ свидѣтельствуютъ не только два эти сборника, но... русскія общества, прототипомъ которыхъ служитъ „Русское собраніе" въ „Петроградѣ". Задача этихъ „разсадниковъ" истинно-русскаго духа во вкусѣ современнаго славянофильства понимается слѣдующимъ образомъ: „Путь къ объединенію русскихъ, патріотически настроенныхъ людей лежитъ въ организаціи русскихъ обществъ по примѣру Петербургскаго Русскаго Собранія. Ставя основною задачей поднятіе въ нашемъ обществѣ чувства своего національнаго достоинства, русскія общества разностороннимъ образомъ и публичными чтеніями, и нужною книгой, и патріотической газетой стремились бы освѣтить лучшія черты нашего національнаго характера, выяснить прекрасныя стороны нашей исторіи и быта, освѣтить дѣйствительность, возбуждая среди русскихъ людей энергію и предпріимчивость на пользу русскаго дѣла; публичною отмѣткою антинаціональныхъ теченій въ нашей жизни и литературѣ общества въ самомъ корнѣ подсѣкали бы (!) всякаго рода инородческія интриги; ознакомляли бы болѣе широкіе слои русскаго общества съ мало оцѣненными сокровищами русской религіозной и гражданской мысли". Далѣе идетъ перечисленіе еще цѣлаго ряда задачъ вплоть до поощренія національной русской промышленности. Словомъ, если бы „Русское собраніе" въ „Петроградѣ" прониклось какъ слѣдуетъ важностью своей миссіи, то ему пришлось бы стать чѣмъ-то въ родѣ особаго государственнаго департамента, охватывающаго всѣ стороны и проявленія русской жизни.

Таковы мечты, но, къ счастью для насъ, не имѣющихъ чести состоять членами „Русскаго собранія", послѣднее весьма далеко и отъ сотой части этихъ задачъ. По крайней мѣрѣ, живя въ „Петроградѣ" и имѣя полную возможность слѣдить за дѣятельностью упомянутаго общества, мы рѣши-

тельно ничего о ней сказать не можемъ. Прошло уже больше года, какъ это общество возникло, и если на первыхъ порахъ еще слышались отголоски его жизни на страницахъ періодической печати, то затѣмъ очень быстро общество со страницъ печати стушевалось. Очень вѣроятно, что члены его услаждаютъ другъ друга душеполезными бесѣдами во вкусѣ вышеприведеннаго рецепта и дѣятельно „подсѣкаютъ въ корнѣ инородческія интриги", но за стѣнами „Русскаго собранія" это не отдается. Мы подчеркиваемъ эту безжизненность Русскаго собранія, какъ лишнее доказательство того, что почвы для его работы нѣтъ, нѣтъ той дружественной атмосферы внѣ его, которая живо воспринимала бы мысли собранія, такъ или иначе откликалась бы на нихъ, установляя живую связь между Собраніемъ и остальнымъ русскимъ обществомъ. Вѣдь какъ-ни-какъ, а послѣднее все же живетъ, волнуется, работаетъ, но ему рѣшительно все равно до того, чѣмъ занято „Русское собраніе". И выходитъ на дѣлѣ, что послѣднее просто мертворожденный плодъ „любви несчастной" къ исключительному націонализму, всегда чуждому и русскому народу, и русской интеллигенціи.

Редакторы „Зари" и „Москвы" обнадеживаютъ себя, что это лишь пока, а вотъ со временемъ вся Россія покроется цѣлой сѣтью такихъ русскихъ собраній, и тогда „пойдетъ ужъ музыка не та". „Какъ мы слышали,—заявляетъ редакція „Москвы",—въ Харьковѣ возникаетъ русское общество по почину проф. А. С. Вязигина, редактора „Мирнаго Труда". Эти слова побудили насъ поинтересоваться, что это за журналъ, первый номеръ котораго мы получили еще весною, но дальнѣйшихъ номеровъ такъ и не видѣли, почему и не можемъ съ достаточной достовѣрностью утверждать, что „Мирный Трудъ" въ Харьковѣ продолжается. На обложкѣ этого перваго номера значатся, въ качествѣ сотрудниковъ, чуть не всѣ профессора Харьковскаго университета и около нихъ нѣсколько хотя въ литературѣ и неизвѣстныхъ, но несомнѣнно почтенныхъ именъ, въ „Мирномъ Трудѣ" надѣющихся снискать эту недостающую имъ пока популярность въ мірѣ читателей. Журналъ открывается заявленіемъ отъ редактора, проф. Вязигина, излагающаго profession de foi новаго изданія. Скромно, но твердо, какъ подобаетъ истинному сыну своего отечества, редакторъ провозглашаетъ хвалу родному языку и выражаетъ увѣренность, что народъ, создавшій такой языкъ, не погибнетъ, съ чѣмъ, навѣрное, согласятся всѣ, даже и вольтеріанцы. Далѣе слѣдуетъ заявленіе, что достаточно мы созрѣли и „вошли уже, не какъ энтографическая величина, а какъ полноправный членъ въ среду культурныхъ народовъ". Отсюда слѣдуетъ,

что, не отворачиваясь отъ Запада, „страны святыхъ чудесъ“, по выраженію Хомякова, намъ слѣдуетъ внимательно изучить то хорошее, что тамъ есть, но главное—оставаться на родной почвѣ. Въ особенности теперь, когда, „къ сожалѣнію, въ наше общество далеко еще не проникли твердые и ясные выводы современной науки. Оно еще недостаточно знаетъ свое родное и легковѣрно усваиваетъ обобщенія, безъ дальнихъ доказательствъ, какъ непреложную истину, какъ своего рода откровеніе. Западъ попрежнему остается поставщикомъ вѣяній и идей, заимствуемыхъ безъ провѣрки и порождающихъ только умственный и нравственный сумбуръ. Крайности и извращенія, встрѣчающія стойкій отпоръ и дружное опроверженіе на мѣстѣ своего происхожденія, у насъ принимаются за руководящія начала, за новыя слова, вливающія жизнь въ одряхлѣвшій міръ. Поклонники новизны пытаются водворить у насъ культъ силы, настроенія и страсти, объявляютъ безпощадную войну „обанкротившемуся“ разуму и суровой логикѣ, усматриваютъ спасеніе отъ нашихъ болѣзней въ скорѣйшемъ усвоеніи прелестей капитализма и кадятъ передъ новымъ кумиромъ—босяками, выдавая ихъ за носителей обновляющихъ идеаловъ“. Такому нежелательному настроенію проф. Вязигинъ желаетъ противопоставить „не пустыя и звонкія слова, не боевые кличи и громкія рѣчи, способныя сладкимъ дурманомъ опьянить юныя головы“, а—„Мирный Трудъ“, ибо „наше отечество прежде всего нуждается въ скромныхъ труженикахъ, дѣлающихъ свое „маленькое дѣло“ ради подъема общаго культурнаго уровня, являющагося слѣдствіемъ настойчивой работы каждаго надъ самимъ собой, а не туманныхъ стремленій къ насильственнымъ и кореннымъ переворотамъ, заранѣе осужденнымъ исторіей на полную неудачу“.

Тотъ націонализмъ, образчикомъ котораго служатъ „Заря“, „Москва“ и „Русское собраніе“ въ „Петроградѣ“, настолько чуждъ нашему обществу, что всякая попытка привить его намъ заранѣе осуждена на смерть. Славянофилы перваго призыва, Хомяковъ, Кирѣевскій, затѣмъ И. С. Аксаковъ, ихъ наиболѣе видный наслѣдникъ, были, дѣйствительно, люди выдающагося ума, таланта и благородной души, и тѣмъ не менѣе ничего не сдѣлали. Они дали нѣсколько интересныхъ образцовъ, лучше сказать попытокъ своеобразной философіи, которыя прошли почти безслѣдно для русской культуры—въ наукѣ, искусствѣ и еще менѣе въ русскомъ общественномъ сознаніи. Думать, что маленькіе эпигоны этихъ дѣйствительно большихъ людей смогутъ болѣе удачно справиться съ задачей обособленія Россіи отъ всего европейскаго, просто смѣшно, когда читаешь „выкликанія“

такихъ „мыслителей“, какъ всѣ упоминаемые выше гг. Московцы, У—скіе, Славяноборы и Востоковѣды. Могутъ возразить, что время было тогда неблагопріятное для дѣла Хомяковыхъ и Кирѣевскихъ, а теперь именно такой моментъ, когда и общественное мнѣніе болѣе склонно къ націонализму, и условія общія—тоже. Это глубоко ошибочно, такъ какъ условія современной жизни меньше всего могутъ поощрять всякія націоналистическія попытки, и въ этомъ вся суть. Россія такъ тѣсно связана теперь съ общеевропейскими интересами и матеріально, и идейно, что отдѣлить насъ отъ Запада не смогъ бы и второй Петръ Великій, буде такой феноменъ вторично бы повторился въ исторіи. И развѣ только г. Меньшиковъ можетъ договориться до „китайской стѣны“ въ своемъ іудушкиномъ пустословіи. Въ одномъ изъ послѣднихъ номеровъ „Нов. Времени“ (отъ 14-го іюля) онъ разработалъ даже цѣлую программу „Россіи для русскихъ“, обнаруживъ въ ней поистинѣ пошехонское невѣжество въ народномъ хозяйствѣ и финансахъ. Пусть читатели простятъ намъ небольшую выдержку изъ этихъ іудушкиныхъ рѣчей о „Россіи для русскихъ“,—онѣ очень характерны не только для г. Меньшикова.

„Допустимте на минуту,—пустословитъ г. Меньшиковъ,—что это возможно, что это уже случилось, что европейскія границы закрыты для нашего хлѣба. Разъ нѣтъ вывоза — нѣтъ и ввоза; все то, что наше образованное общество получаетъ на Западѣ, оно будетъ вынуждено покупать дома. Какъ вы думаете—будетъ ли это большимъ несчастьемъ?“—вопрошаетъ нововременскій Порфирій Владиміровичъ Головлевъ, и продолжаетъ съ наслажденіемъ пустословить: „Мнѣ кажется, первымъ послѣдствіемъ закрытія границы, будетъ стремительный подъемъ русскихъ производствъ. Къ намъ точно съ неба упадетъ тотъ рынокъ, отсутствіе котораго угнетаетъ всѣ промыслы и котораго мы напрасно ищемъ въ Персіи, Туркестанѣ, Турціи. Къ намъ вернется изъ-за границы нашъ русскій покупатель—все образованное общество, весь богатый классъ Спросъ на внутренніе товары подымется на сумму теперешняго ввоза: подумайте, какой это электрическій толчокъ для „предложенія“!.. Что же касается избытка хлѣба, прежде вывозившагося, то „и съ хлѣбомъ не будетъ большой бѣды. Не станутъ его покупать у насъ—хлѣбъ останется дома. Онъ тотчасъ упадетъ въ цѣнѣ и сдѣлается болѣе доступнымъ народной массѣ. Исчезнетъ эта страшная язва—недоѣданіе; можетъ быть, исчезнутъ и голодовки: ихъ не было, или они не были столь острыми до той эпохи, когда Россія стала выбрасывать за границу цѣлыя горы зерна. Въ старинныя времена въ каждой усадьбѣ

и у каждаго зажиточнаго мужика бывали многолѣтніе запасы хлѣба, иногда прямо сгнивавшіе за отсутствіемъ сбыта. Эти запасы застраховывали отъ неурожаевъ, засухъ, гессенскихъ мухъ, саранчи и т. п... Если вновь появится избытокъ хлѣба въ странѣ, народъ поздоровѣетъ, отъѣстся, говоря грубо,—соберется съ силами для борьбы со стихійными бѣдствіями" и т. д., и т. д.

Можно ли возражать противъ такого безпримѣрнаго пустословія, обезоруживающаго своимъ наивнымъ невѣжествомъ? Въ невинности души своей г. Меньшиковъ увѣренъ, что изъ-за границы Россія получаетъ только дорогія вина, сигары и бархатъ. Только одинъ щедринскій Іудушка могъ бы побѣдоносно выступить противъ и потопить словоизверженіе г. Меньшикова въ собственномъ пустословіи, въ родѣ, напр., такой реплики: „Ахъ, ахъ, ахъ! А я еще думалъ, что вы, г. Меньшиковъ, справедливый человѣкъ, степенный! Ну, а мнѣ-то, скажите, чѣмъ мнѣ-то жить прикажете? Я-то откуда свои расходы долженъ удовлетворить? Вѣдь у меня сколько расходовъ—знаете ли вы? Конца краю, голубчикъ, расходамъ у меня не видно! Я и тому дай, и другого удовлетвори, и третьему вынь да положь! Всѣмъ надо, всѣ Порфирія Владиміровича теребятъ, а Порфирій Владиміровичъ отдувайся за нихъ! Опять и то: кабы я купцу рожь продалъ—я бы денежки сейчасъ на столъ получилъ. Деньги, братъ, святое дѣло. Съ деньгами накуплю я себѣ билетовъ, положу въ вѣрное мѣсто и стану пользоваться процентами! Ни заботушки мнѣ, ни горюшка; отрѣзалъ купончикъ—пожалуйте денежки. А за рожью-то я еще походи, да похлопочи около нея, да постарайся! Сколько ея усохнетъ, сколько на розсыпь пойдетъ, сколько мышь съѣстъ! Нѣтъ, братъ, деньги какъ можно!" и т. д., и т. д. до безконечности, какъ и г. Меньшиковъ, неутомимо истощающій свои рѣчи о мужикѣ, о Россіи для русскихъ и проч.

Столь же основательны и утвержденія нашихъ славянофиловъ современнаго толка объ особомъ національномъ духѣ, который имъ только однимъ удалось узрѣть и, по мѣткому выраженію г. Струве (въ его статьѣ „Въ чемъ же истинный національизмъ?", напечатанной первоначально въ „Вопросахъ философіи и психологіи"), „снять съ него даже не одну фотографію въ разныхъ позахъ—религіозной, государственной, общественной". Каждый изъ нихъ вкладываетъ въ эти формы свое содержаніе и требуетъ затѣмъ общаго преклоненія, отметая все, что не укладывается въ его формочку, яко ересь, и взывая къ охранѣ. Они желали бы остановить самую жизнь и заковать ее въ излюбленныя оковы „національнаго духа". „Практически это—грубое по-

сягательство на естественное право „исканія",—говорится въ упомянутой статьѣ,—на право и обязанность человѣка, какъ таковаго, безконечно совершенствовать культуру". Отсюда проистекаетъ та мертвенность, которою отдаютъ всѣ славянофильскія современныя рѣчи. Тамъ, гдѣ все въ движеніи, въ исканіи, въ творчествѣ новыхъ и новыхъ идей, они желали бы внести нѣчто незыблемое, утвердить на вѣки вѣчные нѣкоторое status quo, какъ раскольники—букву вмѣсто духа. Между тѣмъ, „національный духъ созидается въ вѣчно творческомъ процессѣ народной жизни, онъ не застываетъ никогда ни въ какую сущность до тѣхъ поръ, пока не прекращается этотъ процессъ; поэтому національный духъ не соизмѣримъ съ тѣми формулами, въ которыя его стремятся втиснуть отдѣльныя лица, направленія и поколѣнія, онъ не тождественъ съ тѣми содержаніями, которыя націоналисты всѣхъ сортовъ такъ старательно пытаются одѣть его соблазнительною, вѣчно юною и пышною тканью. Никто и ничто, никакая формула, ни трехчленная, ни двухчленная, ни одночленная, не можетъ и не имѣетъ права сказать: національный духъ—это я.

„Мы рѣшительно отвергаемъ, — говоритъ г. Струве въ томъ же мѣстѣ упомянутой статьи,—какъ нелѣпое и — да будетъ позволено такъ выразиться—наглое притязаніе присвоить какимъ-нибудь содержаніямъ величество національнаго духа. Но мы знаемъ, какъ можно „въ духѣ и истинѣ" служить этому величеству. Для этого нужно не указывать властной рукой творческому процессу жизни его путей, а пролагать и расчищать ихъ для свободнаго исканія, памятуя, что только свобода творчества обезпечиваетъ національной культурѣ полноту и богатство содержанія, красоту и изящество формы" *).

Свѣжестью повѣяло на насъ отъ этихъ словъ послѣ того, какъ намъ пришлось одолѣть „Зарю" и „Москву" съ ихъ специфическимъ духомъ, отъ котораго, что называется, не продохнешь. Духъ этотъ, однако, не опасенъ, такъ какъ ютится онъ всегда на задворкахъ культуры и, по мѣрѣ роста послѣдней, все болѣе и болѣе вытѣсняется за предѣлы общественнаго сознанія. Правда, по временамъ онъ какъ будто оживляется, крѣпнетъ и овладѣваетъ болѣе слабыми умами, какъ, напр., въ недавніе годы во Франціи. Это всегда совпадаетъ съ какимъ-нибудь важнымъ кризисомъ въ ростѣ общества и вмѣстѣ съ минованіемъ его исчезаетъ. Но еще никогда не бывало, чтобы окончательная побѣда принадлежала узкому націонализму, и его непремѣннымъ членамъ—

*) Цитируемъ по сборнику „На разныя темы", стр. 535 и слѣдующія.

шовинизму, антисемитизму и прочимъ его исключительнымъ качествамъ,—такая побѣда означала бы смерть культурѣ, смерть человѣку, какъ существу, имѣющему право „на самочинное мышленіе и дѣйствованіе“.

„Если вѣрно, что „нація есть начало духовное“,—говоритъ г. Струве въ заключеніе упомянутой статьи о націонализмѣ,—то истинный націонализмъ не можетъ быть ни чѣмъ инымъ, какъ безусловнымъ уваженіемъ къ единственному реальному носителю и субъекту духовнаго начала на землѣ—къ человѣку. Провозгласить такое уваженіе принципомъ развитія національнаго духа не значитъ бросить громкую фразу. Это значитъ выговорить точное и строгое нравственное правило, вѣрность которому налагаетъ тяжелыя и отвѣтственныя обязательства“.

Въ этихъ словахъ лучшій отвѣтъ современнымъ славянофиламъ съ ихъ программой ограничительныхъ мѣръ, образчики которой мы привели выше. Ростъ личности—вотъ отличительный признакъ нашихъ дней, и ни въ какія рамки больше не уложишь ее, кромѣ тѣхъ, которыя она сама себѣ выберетъ, какъ наиболѣе отвѣчающія именно этому росту. Все, что способствуетъ ему, имѣетъ будущее,—и потому національно; все, что его задерживаетъ — осуждено жизнью на гибель,—и потому противно національному духу, который устами И. С. Аксакова провозгласилъ неотъемлемыми правами всякой личности—свободу слова, мысли и совѣсти. И, по остроумному замѣчанію г. Струве, именно отсутствіе этой свободы прежде всего убило самое славянофильство! „Славянофилитъ „Новое Время“, славянофилятъ даже „Московскія Вѣдомости“, на разные голоса славянофилитъ „Русское собраніе“, но славянофильства и славянофиловъ нѣтъ.

То, что теперь именуется этимъ историческимъ терминомъ, есть грубая поддѣлка, по существу заключающая въ себѣ самый наивный шовинизмъ, съ одной стороны, съ другой—преслѣдованіе узко-сословныхъ интересовъ, преимущественно дворянскихъ. Гдѣ прежній идеализмъ, хотя и туманный, но возвышенный и благородный? Гдѣ прежняя проповѣдь вѣротерпимости и братства по отношенію къ иновѣрцамъ и инородцамъ? Гдѣ прежняя ненависть къ насилію и произволу, ненависть, извлекавшая изъ лиры Хомякова мощные звуки противъ „неправды черной“?

Все это прошло и „быльемъ поросло“ для нынѣшнихъ славянофиловъ, а въ лучшемъ случаѣ звучитъ для нихъ горькой насмѣшкой.

«Въ Туманѣ» Андреева и «Одна за многихъ» [1]).

Наибольшее вниманіе читателей и критики привлекалъ въ истекшемъ году молодой писатель Л. Н. Андреевъ. Три изданія въ одинъ годъ, рядъ критическихъ статей, хвалебныхъ и бранчивыхъ отзывовъ, шумъ около каждой имъ написанной вещи („Бездна", „Мысль")—все выставило его на первый планъ, и новое его произведеніе „Въ туманѣ", только что появившееся въ „Журналѣ для всѣхъ", даетъ новый поводъ для шума около его имени, новую пищу цѣнителямъ и противникамъ этого выдающагося таланта. И дѣйствительно, „Въ туманѣ" такое произведеніе, которое способно расшевелить даже очень хладнокровнаго и безчувственнаго читателя. И содержаніе, одинъ изъ самыхъ жгучихъ вопросовъ вообще, а въ наше время получившій еще особое значеніе, благодаря обостренію вопросовъ личной морали, и обработка, вполнѣ достойная вопроса, все это дѣлаетъ новое произведеніе г. Андреева достойнымъ всяческаго вниманія.

Но прежде чѣмъ высказать нѣкоторыя мысли по этому поводу, мы коснемся другого произведенія—иностраннаго автора, скрывающагося подъ псевдонимомъ „Vera", „Одна за многихъ", которое одновременно вышло у насъ въ нѣсколькихъ переводахъ. Шумъ, поднятый имъ у себя на родинѣ, въ веселой и грѣшной Вѣнѣ, перекатился и къ намъ, и нельзя не признать, что поводовъ для него „Одна за многихъ" даетъ достаточно. То, что побудило насъ сопоставить два произведенія столь различныя, какъ увидимъ, по существу, заключается въ общности не темы, а того вопроса, который остановилъ на себѣ вниманіе этихъ авторовъ. Вопросъ этотъ — вопросъ половой этики, но темы у того и другого автора различны.

„Одна за многихъ" — это новая попытка дать свое рѣшеніе вопроса объ обязательности добрачнаго цѣломудрія для мужчины, какъ оно обязательно для женщины. Это не новое освѣщеніе вопроса, возбужденнаго Бьернсономъ въ его драмѣ „Перчатка", но вопросъ здѣсь поставленъ рѣзче и рѣшительнѣе. Героиня Бьернсона отказываетъ жениху, узнавъ о его добрачной связи съ женщиной. „Одна изъ за многихъ" кончаетъ съ собой, не будучи въ силахъ вынести мысли, что ея избранникъ не чистъ физически, имѣлъ связь съ женщиной безъ любви. „Я не могу стать твоею! Я

---

[1]). Январь, 1903 г.

употребила всѣ усилія воли на то, чтобы заполнить раздѣляющую насъ пропасть. Напрасно. Я не въ состояніи побороть своихъ чувствъ. Съ тобой моя жизнь должна была бы погрязнуть въ вѣчной лжи".

Чтобы понять этотъ вопль оскорбленной чистоты, необходимо познакомиться подробнѣе съ жизнью героини, которая рекомендуетъ себя, какъ одну изъ многихъ, приносящую себя въ жертву за многихъ. Ея дневникъ, оставленный ею въ даръ ея жениху, даетъ намъ представленіе о ней, какъ о дѣвушкѣ изъ обычнаго мѣщанскаго круга со всѣми его узкими взглядами на жизнь, долгъ, добродѣтели и пороки. Она хочетъ выйти замужъ не иначе, какъ по любви, и страшно возмущается своей подругой, которая „продала себя" ради хорошей партіи человѣку, уже пожилому, пожившему, но богатому. Ея отецъ и мать, напротивъ, вполнѣ одобряютъ такую партію и ссылаются на свой примѣръ. Но героиня уже тронута высшими потребностями жизни. Ее не удовлетворяетъ сытая, обезпеченная жизнь, въ которой такъ мало мѣста чувству, уму, словомъ душѣ, и все посвящается Мамону. „Я испытываю ужасъ передъ болотомъ, передъ низиной. Я хочу вдыхать свѣжій, чистый, прозрачный воздухъ высотъ. Я хочу попытаться стать собой, я хочу возвратить своей личности всю кристалличность ея собственныхъ исконныхъ свойствъ... У меня несчастный характеръ, продуктъ обезпеченной сытой жизни. Ни желаній, ни радости! Въ довольствѣ и изобиліи чахнетъ, истощается энергія души. Силы слабѣютъ безъ напряженія. Плугъ ржавѣетъ въ сараѣ. Поэтому я часто говорю себѣ: если бы я была поставлена въ необходимость работать, если бы нужда вогнала меня въ работу, если бы мнѣ была знакома забота о завтрашнемъ днѣ, можетъ быть, я была бы свѣжѣе, здоровѣе, радостнѣе... А это сытое довольство въ вѣчной неудовлетворенности, эта буржуазная фанатическая приверженность къ комфорту, они убиваютъ не только способность къ серьезной работѣ, но даже самое стремленіе къ ней". Она жалуется далѣе на одиночество въ семьѣ, гдѣ ей чужда вся основа окружающей жизни. Даже любимый человѣкъ, ея Георгъ, избранникъ ея сердца, не понимаетъ ея, и она справедливо жалуется на обычное мужское пренебреженіе къ запросамъ женщины на высшую жизнь. Ее смущаютъ и возмущаютъ стремленія мужчины слить женщину со своимъ „я", сдѣлать ее лишь частью его, „орудіемъ своей власти, обстановкой своего комфорта".

Но она любитъ его, любитъ сильно, страстно, и мысль о полномъ единеніи наполняетъ ее блаженствомъ. Осуществленію его мѣшаетъ пока необезпеченность Георга. И вотъ

приходитъ минута, когда онъ получаетъ мѣсто адъюнкта въ университетѣ, всѣ препятствія благополучно устранены, и наша парочка почти наканунѣ свадьбы, какъ вдругъ и происходитъ катастрофа. Однажды, возвращаясь съ женихомъ изъ театра, они встрѣчаютъ женщину, видъ которой смутилъ Георга. На вопросъ, что съ нимъ, и почему эта встрѣча его такъ смутила, Георгъ признается, что у него нѣсколько лѣтъ тому назадъ была связь съ нею. Такое признаніе вызвало вполнѣ естественное чувство, „смѣшанное изъ отчаянія, разочарованія, злобы и ревности". „Онъ такъ часто клялся мнѣ въ томъ, что никогда до меня не любилъ ни одной женщины. Я слѣпо увѣровала въ это и считала его неспособнымъ сойтись съ женщиной безъ любви... какъ другіе... безъ любви! Въ этомъ столько низкаго и и отвратительнаго". Георгъ, пользуясь этимъ моментомъ, раскрываетъ ей всю свою прошлую жизнь, которая, какъ и у огромнаго большинства людей его среды, была далеко не безупречна,—и ужасъ невѣсты возрастаетъ. „Онъ велъ половую жизнь большинства мужчинъ. Легко разрываемыя связи, не закрѣпленныя никакими узами чувствъ, оплачиваемая любовь съ ея неразборчивыми животными инстинктами, — жизнь, въ которой расточалось самое высокое. Онъ отшвырнулъ отъ себя свою чистоту, какъ грязный лоскутъ бумаги. Онъ никогда и не зналъ цѣны этой чистоты. Онъ ни разу не подумалъ о томъ, что существо, которое когда-нибудь отдастся ему съ полной, чистой преданностью, можетъ потребовать отъ него этой чистоты".

Послѣ этой знаменательной минуты въ душѣ героини начинается мучительная борьба. Она заноситъ въ дневникъ рядъ вполнѣ вѣрныхъ мыслей о необходимости одинаковой морали для мужчины и женщины, возмущается условіями добрачной жизни большинства мужчинъ, отмѣчаетъ, что въ обезпеченныхъ кругахъ это встрѣчается чаще, чѣмъ въ бѣдныхъ, гдѣ мужчины женятся раньше.

Все это много разъ говорилось и раньше, и пока мы не узнаемъ ничего, что противорѣчило бы правдѣ. Наступаетъ, однако, моментъ, когда героиня должна и для себя рѣшить вопросъ, какъ же ей быть съ открывшимся фактомъ, какъ поступить въ своемъ личномъ дѣлѣ. Георгъ кается, взываетъ къ ея великодушію, говоритъ, что раскаяніе очищаетъ душу, что „жизнь, полная самопожертвованія, можетъ искупить прошлое". Въ отвѣтъ Вѣра бросаетъ ему холодную сентенацію: „Раскаяніе не поможетъ, если чистота потеряна". И окончательно добиваетъ его вопросомъ: „Могъ ли бы ты жениться на проституткѣ?"

„Онъ взглянулъ на меня испуганно и тихо покачалъ головой. А я молчала и подумала про себя: „Всѣ эти мужчины нисколько не лучше проститутокъ". Онъ, должно быть, понялъ мои мысли, потому что вдругъ какъ-то съежился, точно отъ удара".

Борьба кончается катастрофой: Вѣра не можетъ пересилить, съ одной стороны, отвращенія при мысли о прежней жизни своего будущаго мужа, съ другой—ею овладѣваетъ отчаяніе, что она не можетъ совладать со своимъ чувствомъ къ нему. „Я не могу обманывать человѣка, котораго люблю больше всего на свѣтѣ. Не могу я также броситься въ его объятія съ чувствомъ физическаго отвращенія. Я не могу жить съ нимъ... подъ гнетомъ неизгладимаго, унизительнаго воспоминанія о его прошломъ. Но я отъ этого люблю его не меньше. И именно потому, что я не могу жить съ нимъ... и не могу жить безъ него... я избираю послѣдній путь".

Рѣшивъ покончить съ собой, Вѣра утѣшаетъ себя сознаніемъ, что „люди, которые со своими загрубѣлыми взглядами смѣялись надъ моими мыслями, какъ надъ неисполнимыми фантазіями, мужчины, которые—не безъ скрытаго сознанія своей вины—глумились надо мной... перестанутъ на минуту смѣяться, когда узнаютъ о моей участи. И не одна чистая, тонко чувствующая женщина... пойметъ мои страданія—можетъ быть, сама испытаетъ и переживетъ ихъ... И если бы мнѣ удалось положить хоть одинъ камешекъ въ дивное зданіе болѣе чистаго, цѣломудреннаго будущаго... то я считаю, что не слишкомъ дорого плачу за это цѣной моей жизни".

Трогательныя и высокія слова, но... мы думаемъ, что Вѣра ошиблась. Мы оставляемъ въ сторонѣ ея узко личное чувство, то отвращеніе, котораго она не могла преодолѣть. Здѣсь не приходится разсуждать. Возможно,—есть такія тонкія организаціи, которыя, при столкновеніи съ суровыми условіями жизни, не выдерживаютъ и разбиваются, какъ тотъ драгоцѣнный венеціанскій хрусталь, столь тонкой и изящной работы, что онъ не выдерживаетъ перевозки и имъ можно любоваться только на мѣстѣ. Но для „дивнаго зданія болѣе чистаго, цѣломудреннаго будущаго" требуются болѣе крѣпкіе „камешки", способные выдержать борьбу за это будущее, вынести тяжкое давленіе всѣхъ условій современной жизни, полной лжи, насилія и обмана.

Есть одна грубая, основная ошибка въ размышленіяхъ Вѣры: она, какъ истый фанатикъ, свела всю жизнь и мораль къ одному догмату—физическая чистота. „Раскаяніе

не поможетъ, если чистота потеряна", — такъ рѣшаетъ именно фанатикъ, посылая другого на костеръ съ святой вѣрой, что огонь лучшее средство въ борьбѣ съ грѣхомъ или съ тѣмъ, что онъ считаетъ за грѣхъ. Распространяя свою мысль, она въ другомъ мѣстѣ приходитъ къ еще болѣе рѣшительному выводу: „Индивидуализмъ и принципъ солидарности, всѣ борющіяся между собой теченія современности идутъ изъ безконечности по разнымъ направленіямъ и стремятся слиться въ одномъ пунктѣ. Я думаю, что этотъ пунктъ находится въ области половой этики, которая наряду съ экономическими вопросами имѣетъ самое важное и рѣшающее значеніе для будущаго, и которая неразрывно связана со всѣми вопросами современности". Такое сведеніе всей жизни къ половой этикѣ намъ представляется крайностью, которая граничитъ съ болѣзненностью, мы могли бы сказать почти съ своеобразной эротоманіей.

Въ самомъ дѣлѣ, попробуемъ немного разобраться въ догматѣ Вѣры—половая чистота—главный пунктъ жизни, и кто ее утратилъ, тотъ конченный, погибшій человѣкъ. Для него, какъ для бѣдной Маргариты, нѣтъ спасенія, его долженъ вѣчно преслѣдовать голосъ возмущенной совѣсти: „Ты погибъ!" Высшій судъ, однако, оправдываетъ Маргариту, найдется, быть можетъ, и для нашего грѣшника, если не оправданіе, то право на помилованіе. Этотъ грѣшникъ могъ бы указать, что въ громадномъ большинствѣ онъ скорѣе грѣшникъ безсознательный, совершающій свое паденіе еще тогда, когда онъ далеко не сознаетъ того, что совершаетъ, когда онъ слишкомъ слабъ и безволенъ, чтобы побороть жгучую силу инстинкта. Онъ могъ бы указать и на уродливо поставленное воспитаніе, на что намекаетъ и сама строгая героиня, занося въ дневникъ справедливыя мысли: „свободныя, товарищескія отношенія между лицами разныхъ половъ до сихъ поръ еще клеймятъ, какъ что-то запретное, и этимъ только придаютъ имъ особенную прелесть и дѣлаютъ ихъ чѣмъ-то соблазнительнымъ и опаснымъ. Боятся, что эта дружба запятнаетъ доброе имя, что болото сплетенъ засосетъ молодую дѣвушку, и ея чистота, высшее сокровище, которымъ она обладаетъ, осквернится подъ вліяніемъ предразсудка... Въ усиленномъ, почти граничащемъ съ безнравственностью, подчеркиваніи чисто полового момента въ отношеніяхъ между мужчиной и женщиной не малую долю вины несетъ эта система разобщенности половъ. Благо тому поколѣнію, которое когда-нибудь доживетъ до лучшихъ, болѣе здоровыхъ временъ". Онъ могъ бы указать и на страшную силу

экономическихъ причинъ, все болѣе и болѣе удлиняющихъ срокъ вступленія въ бракъ, и на ненормальности въ самой жизни, въ этой нездоровой городской атмосферѣ, губящей столько чистыхъ и лучшихъ силъ. Но въ конечномъ итогѣ, несомнѣнно, не въ этомъ сила его оправданія.

Физическая чистота, могъ бы онъ сказать, еще не духовная чистота. и мы достаточно пережили, чтобы умѣть разбираться, гдѣ граница той или другой. Вѣра, по ея словамъ, поражаетъ, какъ ударомъ, своего жениха словами: „могъ ли бы ты жениться на проституткѣ?“ Художественная литература уже давно дала отвѣтъ на этотъ вопросъ. Французскій поэтъ рѣшилъ его въ великолѣпномъ стихѣ: „Моя любовь возвратитъ тебѣ невинность“. У насъ, начиная съ Сони Мармеладовой и до Катюши въ „Воскресеніи“, вопросъ этотъ выясненъ и выраженъ съ поразительной тонкостью и глубиной. Всѣ почти наши великіе писатели коснулись его и дали утвердительный отвѣтъ, ибо они стояли выше буржуазной морали, на которой въ концѣ концовъ стоитъ и великолѣпная въ своей утонченности Вѣра. Да, буржуазной, какъ и всякая мораль, ставящая субботу выше человѣка.

Вопросъ этотъ, какъ ни кажется онъ самой Вѣрѣ новъ и глубокъ, въ сущности рѣшенъ давнымъ давно, и рѣшеніе это гласитъ, что не тѣлесная чистота есть главное, а духовная. „Не то, что въ уста, а то, что изъ устъ“ грязнитъ человѣка. Спору нѣтъ, счастливъ и достоинъ всяческой зависти и уваженія, кто сумѣетъ подняться до пониманія истинной духовной чистоты, сохранивъ въ тоже время и тѣлесную. Таковъ великій идеалъ свободной личности, который лишь смутно мерещится бѣдной Вѣрѣ, но до котораго она тѣмъ не менѣе не додумалась. Въ противномъ случаѣ она бы поняла, что ея искренно кающійся женихъ, готовый цѣлой жизнью, „полной самопожертвованія“, искупить свою вину, гораздо выше и чище теперь, чѣмъ когда онъ былъ еще тѣлесно непороченъ, какъ новорожденный младенецъ.

Трудной и тяжкой дорогой ошибокъ и паденія покупаемъ мы право на высшій судъ и высшее пониманіе жизни, и Вѣра, безповоротно осудившая эту жизнь, не имѣетъ этого права. Безполезна ея жертва, не вытекающая изъ сознанія необходимости и блага ея для другихъ. Легко судить такъ тому, кто самъ не пережилъ ни ошибокъ, ни паденій, кто изъ узенькаго круга личной жизни не выходилъ на арену житейской борьбы, полную труда, столкновеній и невѣрныхъ дѣйствій. Вѣра не выдержала перваго, далеко не самаго тяжкаго удара, какіе наноситъ подчасъ

безпощадная судьба, и доказала своей легомысленной смертью только полную свою негодность къ жизни. Она, можно сказать, переросла ту буржуазную сферу, которая ее окружаетъ, но не могла достигнуть высшей, подняться на „высоту, гдѣ свѣжій, чистый, прозрачный воздухъ". Она прочувствовала, поняла и справедливо осудила мораль „низинъ", „болота", гдѣ превосходно чувствуютъ себя ея родители, противящіеся ея стремленіямъ къ браку по любви. Но у нея не хватила ни ума, ни силы воли довершить разрывъ съ низиной, отбросить всякую догматику, всѣ путы, связывающіе нравственную личность, мѣшающіе ей „сорвать всѣ покрывала съ наготы души, всѣ оковы свободнаго саморазвитія", какъ она мечтала въ началѣ своего дневника. Тогда она поняла бы, прежде всего, что ее отдѣляетъ отъ Георга больше всего его непониманіе ея, какъ женщины, желающей быть не только его женой, но прежде всего свободной личностью. На это непониманіе она жалуется какъ-то мимоходомъ, вскользь, не придавая ему особаго значенія. Тогда какъ для насъ здѣсь лежитъ корень ея несчастья. Если бы ея женихъ былъ выше по уму, по чувству, по стремленіямъ къ свободной жизни, онъ понялъ бы ея отвращеніе къ его тѣлесному проступку и сумѣлъ бы ее поднять на ту высоту, съ которой этотъ проступокъ показался бы ей печальной необходимостью, въ то же время способствовавшей и ему, и ей постичь высшую, духовную чистоту. Въ томъ и несчастье ея жизни, что Георгъ—чистѣйшій мѣщанинъ въ душѣ, для котораго его адъюнктство на первомъ планѣ, а она, Вѣра,—какъ жена, равное ему и сознательное существо, жена не-любовница, а товарищъ и другъ въ борьбѣ,—только придатокъ къ „обстановочкѣ". Мужественно переживъ это первое разочарованіе, она поняла бы и другую истину, что въ жизни не все рѣшается половой этикой, какъ ни важна послѣдняя сама по себѣ. Порвавъ съ моралью низинъ, по которой всякій человѣкъ долженъ приспособляться къ жизни, она выступила бы на путь приспособленія жизни къ себѣ, такъ чтобы ея свободная личность могла порвать оковы и стать сама собой.

Но для нѣмецкой Вѣры и то уже огромный шагъ впередъ, что она *заговорила* о равноправности этической. Вѣдь до сихъ поръ нѣмецкая женщина еще почти не вышла изъ круга понятій „дѣльной хозяйки" (tüchtige Hausfrau), и мы понимаемъ, что протестъ Вѣры вызвалъ такой негодующій шумъ въ нѣмецкомъ буржуазномъ обществѣ. Какъ можетъ дѣвушка говорить о такихъ вещахъ, требовать одинаковой морали для мужчины и женщины, осудить

безповоротно мужчину за потерю цѣломудрія?! Это былъ несомнѣнный скандалъ въ благородномъ семействѣ. Но чего мы никакъ не можемъ понять, такъ это протестовъ, раздающихся противъ разсказа г. Андреева „Въ туманѣ", въ которомъ затронутъ тоже важный вопросъ, лучше сказать, рядъ вопросовъ, связанныхъ тоже съ половой моралью. Страннымъ кажется намъ этотъ протестъ послѣ хотя бы „Крейцеровой Сонаты". Какъ тогда негодующіе критики огуломъ рѣшили, что Позднышевъ психопатъ, маніакъ, эротоманъ, типъ, достойный Крафтъ-Эбинга, такъ и теперь въ героѣ разсказа „Въ туманѣ", бѣдномъ Павлѣ Рыбаковѣ хотятъ видѣть патологическаго субъекта, вырожденца и маніака.

Такъ ли это однако?

Редакція журнала Міръ Божій, потому ли, что его читаютъ преимущественно молодые люди—не знаю, часто получаетъ разные запросы отъ молодежи, въ числѣ ихъ есть одинъ, который упорно повторяется изъ года въ годъ. И въ настоящій моментъ предо мною лежитъ письмо „студента варшавскаго университета" съ просьбой—указать, есть ли въ Россіи общество для „нравственнаго усовершенствованія". Пишущій добавляетъ, что „такое общество помогло бы мнѣ въ борьбѣ... съ порокомъ проституціи". Такія письма это своего рода вопль измученной въ непосильной борьбѣ души, и разсказъ г. Андреева—отвѣтъ на этотъ вопль, и чудная иллюстрація къ нему.

Въ туманный и слякотный день, столь хорошо знакомый каждому жителю столицы, Павелъ Рыбаковъ, юноша, оканчивающій гимназію, валяется въ своей комнатѣ на кровати и мучится тяжелыми думами и еще больше тяжелыми воспоминаніями. „ — Скучно... Скучно! — протяжно говоритъ Павелъ, закрываетъ глаза и вытягивается такъ, что носки сапогъ касаются желѣзныхъ прутьевъ кровати. Углы густыхъ бровей его скосились и все лицо передернула гримаса боли и отвращенія, странно исказивъ и обезобразивъ его черты; когда морщины разгладились, видно стало, что лицо его молодо и красиво. И особенно красивы были смѣлыя очертанія пухлыхъ губъ, и то, что надъ ними по-юношески не было усовъ, дѣлало ихъ чистыми и милыми, какъ у молоденькой дѣвушки. Но лежать съ закрытыми глазами и видѣть въ темнотѣ закрытыхъ вѣкъ все то ужасное, о чемъ хочется забыть навсегда, было еще мучительнѣе..."

Онъ подходитъ къ окну, но и здѣсь то же мучительное и ужасное, о чемъ ему не хотѣлось бы думать, опять властно вторгается въ его душу. Онъ видитъ въ туманѣ смутныя фигуры людей, очертанія домовъ, и все кажется такимъ

„безцѣльнымъ и скучнымъ". „Но среди идущихъ и ѣдущихъ были женщины, и ихъ присутствіе давало картинѣ сокровенный и тревожный смыслъ. Онѣ шли по своему дѣлу и были, казалось, такія обыкновенныя и незамѣтныя; но Павелъ видѣлъ ихъ странную и страшную обособленность: онѣ были чужды всей остальной толпѣ и не растворялись въ ней, но были какъ огоньки среди тьмы. И все было для нихъ: улица, дома и люди, и все стремилось къ нимъ, жаждало ихъ—и не понимало. Слово „женщина" было огненными буквами выжжено въ мозгу Павла; онъ первымъ видѣлъ его на каждой развернутой страницѣ; люди говорили тихо, но когда встрѣчали слова „женщина", они какъ будто выкрикивали его,—и это было для Павла самое непонятное, самое фантастическое и страшное слово"...

Въ этихъ сжатыхъ образахъ предъ нами вырисовывается типичное настроеніе юноши въ періодъ критическаго возраста, когда природа рѣзко подчеркиваетъ впервые принадлежность пола и его властные порывы. Настроеніе Павла Рыбакова осложнено рядомъ мучительныхъ мыслей и воспоминаній: онъ... боленъ, заразился одною изъ обычныхъ болѣзней, и мысль, что онъ навсегда загрязненъ и болѣзнью, и сопровождающимъ ее развратомъ, послѣдствіемъ котораго она явилась, перепутываются съ воспоминаніями недавняго прошлаго, когда онъ еще былъ чистъ и невиненъ. И эти-то сладкія сами по себѣ воспоминанія о первой юношеской любви получаютъ невыносимую остроту отъ контраста съ настоящимъ, когда онъ чувствуетъ „грязь, которая обволакиваетъ его и проникаетъ насквозь", какъ ему кажется. Сестра его ждетъ къ себѣ въ гости подругъ,—гимназистки придутъ. „Это значитъ, что придетъ и Катя Реймеръ — всегда серьезная, всегда задумчивая, всегда искренняя Катя Реймеръ. Эта мысль была какъ огонь, на который упало его сердце,- и со стономъ онъ быстро повернулся и уткнулся лицомъ въ подушку. Потомъ, также быстро принявъ прежнее положеніе, онъ сдернулъ съ глазъ двѣ ѣдкія слезинки и уставился въ потолокъ... Онъ вспомнилъ дачу и темную іюльскую ночь.

„Темная была эта ночь, и звѣзды дрожали въ синей безднѣ неба, и снизу гасила ихъ, подымаясь изъ-за горизонта, черная туча. И въ лѣсу, гдѣ онъ лежалъ за кустами, было такъ темно, что онъ не видѣлъ своей руки, и порой ему чудилось, что и самого его нѣтъ, а есть только молчаливая и глухая тьма. И далеко во всѣ стороны разстилался міръ и былъ онъ безконечный и темный, и всѣмъ одинокимъ и скорбнымъ сердцемъ чувствовалъ Павелъ его неизмѣримую и чуждую громаду. Онъ лежалъ и ждалъ, когда

по тропинкѣ пройдетъ Катя Реймеръ съ Лилечкой и другими веселыми, беззаботными людьми, которые живутъ въ томъ чуждомъ для него мірѣ и чужды для него. Онъ не пошелъ съ ними, такъ какъ любилъ Катю Реймеръ чистой, красивой и печальной любовью, и она не знала объ этой любви и никогда не могла раздѣлить ее. И ему хотѣлось быть одному и возлѣ Кати, чтобы глубже почувствовать ея далекую прелесть и всю глубину своего горя и одиночества. И онъ лежалъ въ кустахъ, на землѣ, чужой всѣмъ людямъ и посторонній для жизни, которая со всею своею красотою, пѣснями и радостью проходила мимо него,—проходила въ эту іюльскую темную ночь.

„Онъ долго лежалъ, и тьма стала гуще и чернѣе, когда далеко впереди послышались голоса, смѣхъ, хрустѣніе сучковъ подъ ногами, и ясно стало, что идетъ много молодого и веселаго народа. И все это надвигалось толпою веселыхъ звуковъ и стало совсѣмъ близко.

„ — Охъ, батюшки!—говорила Катя Реймеръ густымъ и звучнымъ контральто:—да тутъ голову расшибешь. Тиновъ, свѣтите!

„Изъ тьмы пропищалъ странный и смѣшной голосъ полишинеля:

„— Спички потерялъ, Катерина Эдуардовна!

„Среди смѣха прозвучалъ другой голосъ, молодой и сдержанный басъ:

„— Позвольте, Катерина Эдуардовна, я посвѣчу!

„Катя Реймеръ отвѣтила, и голосъ ея былъ серьезный и измѣнившійся:

„—Пожалуйста, Николай Петровичъ!

„Спичка сверкнула и секунду горѣла яркимъ, бѣлымъ свѣтомъ, выдѣляя изъ мрака только державшую ее руку, какъ будто послѣдняя висѣла въ воздухѣ. Потомъ стало еще темнѣе, и всѣ со смѣхомъ и шутками двинулись впередъ.

„— Давайте вашу руку, Катерина Эдуардовна!—прозвучалъ тотъ же молодой и сдержанный басъ.

„Минута тишины, пока Катя Реймеръ давала свою руку, и затѣмъ твердые мужскіе шаги и рядомъ съ ними скромный шелестъ платья. И тотъ же голосъ тихо и нѣжно спросилъ:

„— Отчего вы такъ грустны, Катерина Эдуардовна?

„Отвѣта Павелъ не слыхалъ. Идущіе повернулись къ нему спиною; голоса сразу стали глуше, вспыхнули еще разъ, какъ умирающее пламя костра, и потухли. И когда казалось, что ничего уже нѣтъ, кромѣ глухого мрака и молчанія, съ неожиданною яркостью прозвучалъ женскій смѣхъ, и высокій теноръ запѣлъ широко и открыто:

Разгульна, свѣтла и любовна,
Душа веселится моя.
Да здравствуетъ Марья Петровна
И... ручка, и... ножка...

„Ея“ пронеслось высоко и радостно, и тяжелая тьма словно придавила идущихъ. Стало мертвенно тихо и пусто, какъ въ пустомъ пространствѣ, на тысячу верстъ надъ землей. Жизнь прошла мимо со всѣми ея радостями, пѣснями, красотою,—прошла въ эту іюльскую темную ночь.

„Павелъ поднялся изъ-за кустовъ и тихо прошепталъ:

„—Отчего вы такъ грустны, Катерина Эдуардовна? — и тихія слезы навернулись на его глазахъ.

„—Отчего вы такъ грустны, Катерина Эдуардовна?—повторялъ онъ и безъ цѣли шелъ впередъ, во тьму крѣпчающей ночи. Разъ онъ совсѣмъ близко коснулся дерева и остановился въ недоумѣніи. Потомъ обнялъ шершавый стволъ рукою, прижался къ нему лицомъ, какъ къ другу, и замеръ въ тихомъ отчаяніи, которому не дано слезъ и бѣшенаго крика. Потомъ тихо отшатнулся отъ дерева, которое его пріютило, и пошелъ дальше.

„—Отчего вы такъ грустны, Катерина Эдуардовна?—повторялъ онъ, какъ жалобную пѣсню, какъ тихую молитву отчаянія, и вся душа его билась и плакала въ этихъ звукахъ. Грозный сумракъ охватывалъ ее, и, полная великой любви, она молилась о чемъ то свѣтломъ, чего не знала сама, и оттого такъ горяча была ея молитва“...

Съ величайшей неохотой прекращаемъ эту выписку,—до того прекрасно это чарующее описаніе юношеской первой любви, первыхъ грезъ и тревогъ переполненнаго сердца, которое, кажется, вотъ-вотъ разорвется и изойдетъ въ невыносимо сладостныхъ мукахъ. И кто не переживалъ ихъ въ свое время, не знаетъ лучшей странички въ скучной и утомительной книгѣ жизни. Но кто не переживалъ ихъ?!.

И можно ли считать бѣднаго Павла патологическимъ субъектомъ за то, что сопоставленіе этого чуднаго момента, какой мы переживаемъ только разъ въ жизни, съ тягостной минутой паденія, когда впервые онъ почувствовалъ всю силу животнаго, скрытаго въ немъ, и все безсиліе свое сладить съ нимъ одинъ на одинъ,—доводитъ его до другого отчаянія, мрачнаго, безъисходнаго, когда мысль о смерти является отраднымъ избавленіемъ отъ невыносимой муки. Напротивъ, Павелъ Рыбаковъ въ обоихъ случаяхъ вполнѣ типичный, нормальный юноша, какихъ по меньшей мѣрѣ 99 на 100. Онъ нисколько не испорченный, въ корень порочный юноша, хотя и палъ физически, хотя рисуетъ отвратительныя циничныя картинки, приводящія въ ужасъ и

недоумѣніе его отца. Его случай вовсе не клиническій, и разсказъ г. Андреева—не иллюстрація къ душевной патологіи Крафтъ-Эбинга. Павелъ Рыбаковъ—*нашъ* сынъ, какихъ огромное большинство, и его печальная исторія съ ея трагическимъ концомъ—великолѣпная картина *нашихъ* нравовъ.

Развѣ это не типичнѣйшая картина отношеній отца и сына въ тотъ моментъ, когда Павелъ Рыбаковъ мучится сознаніемъ ужаса своего положенія, обуреваемый воспоминаніями съ одной стороны, съ другой отчаянными мыслями о безъисходности своего физическаго и душевнаго состоянія? Какъ далеки и чужды эти два человѣка, которые, однако, ближе всего должны бы быть другъ другу! Отецъ чувствуетъ, что съ сыномъ что то неладно, но не знаетъ, какъ подойти къ нему, какъ спросить его о самомъ главномъ, о томъ. что мучитъ и терзаетъ того. Превосходно изобразилъ художникъ настроеніе обоихъ въ сценѣ „умнаго" разговора между отцомъ и сыномъ, разговора, который еще больше удаляетъ ихъ другъ отъ друга. Въ концѣ наступаетъ одинъ моментъ, когда оба чувствуютъ, что одно слово—и ледъ растаетъ, и юноша на родной груди выплакалъ бы, съ крикомъ, съ рыданіями, свою мучительную тайну, нашелъ бы совѣтъ, поддержку и надежду. Но мигъ этотъ блеснулъ, какъ молнія, и исчезъ, и опять въ туманѣ отецъ и сынъ не видятъ другъ друга. Великолѣпно это „другъ мой", которымъ заканчивается разговоръ, вмѣсто просившагося на уста отцовскаго теплаго и любовнаго призыва „сынъ мой". И этотъ брезгливо протянутый скабрезный рисунокъ, найденный отцомъ, и вопросъ отца, „откуда-то издалека": „это ты"?

„Замучили!"—съ воплемъ вырывается изъ истомленной души Павла послѣ этого разговора,—и затѣмъ онъ словно летитъ въ бездну; катится съ горы все быстрѣе и быстрѣе, подхваченный нестерпимымъ, все наростающимъ порывомъ отчаянія, вплоть до послѣдней катастрофы, ужасной сцены борьбы и смерти въ истомъ логовѣ разврата.

Повидимому, эта, именно, сцена и вызываетъ наибольшія нареканія на автора своимъ реализмомъ съ одной стороны, съ другой—недостаточной психологической обоснованностью. Начнемъ съ послѣдняго упрека, котораго мы совершенно не раздѣляемъ. Въ настроеніи несчастнаго юноши, въ которомъ онъ уходитъ изъ дому, гдѣ все гнететъ его, усиливая его отчаяніе, вы уже чувствуете неизбѣжность трагическаго конца. Онъ уже не вернется назадъ, если его не спасетъ чудо, но чудесъ въ наши дни не бываетъ, а на улицѣ большого города онъ встрѣчаетъ именно то, что послужило началомъ его паденія и что неизбѣжно должно было довершить его гибель. Поразительно вѣрна эта сцена, когда Павелъ

въ туманѣ, уже во власти чудовища, охватившаго его своими цѣпкими лапами, бродитъ подъ окнами дома своей „чистой любви“ и упивается злобными представленіями, какъ бы встрѣтила его она, его, развратнаго, грязнаго, зараженнаго, какъ онъ думаетъ, неизлѣчимой, ужасной болѣзнью. Онъ ясно видитъ Катю Реймеръ: „какъ она, чистая и невинная, сидитъ среди чистыхъ людей и улыбается, и читаетъ хорошую книгу, и ничего не знаетъ объ улицѣ, въ грязи и холодѣ которой стоитъ погибающій человѣкъ. Она чистая и подлая въ своей чистотѣ; она, быть можетъ, мечтаетъ сейчасъ о какомъ-нибудь благородномъ героѣ, и если бы вошелъ къ ней Павелъ и сказалъ: „Я грязенъ, я боленъ, я развратенъ, и оттого я несчастенъ и умираю; поддержи меня!“—она брезгливо отвернулась бы и сказала: „Ступай! Мнѣ жаль тебя, но ты противенъ мнѣ. Ступай!“ И она заплакала бы; она, чистая и добрая, она заплакала бы... прогоняя. И милостынею своихъ чистыхъ слезъ и гордаго сожалѣнія она губила бы того, кто просилъ ее о человѣческой любви, которая не оглядывается и не боится грязи“.

Только представимъ себѣ эту больную душу, уже помутившій отъ ужаса умъ и воображеніе, юное, возбужденное, рисующее въ изступленіи картины, одна другой ужаснѣе и печальнѣе, и мы поймемъ, что все послѣдующее развертывается съ неумолимой неизбѣжностью. Въ представленіи своемъ отвергнутый той, которая сіяетъ для него и въ эту минуту, какъ „чистѣйшей прелести чистѣйшей образецъ“, смертельно оскорбленный ея „горделивой милостыней“, онъ идетъ за первой встрѣчной падшей женщиной. „И съ вѣжливостью, въ которой былъ вызовъ, насмѣшка и слезы смертельнаго отчаянія, онъ сказалъ:

— „О, божественная! вы такъ хотите моихъ страстныхъ ласкъ?

„Женщинѣ показалось обидно...“

Здѣсь мы прекращаемъ выписки, ибо пришлось бы выписать всю заключительную сцену, чтобы шагъ за шагомъ показать, какъ психологически вѣрно прослѣжена художникомъ вся исторія катастрофы, ея постепенное приближеніе, наростаніе и страшный конецъ.

Да, описаніе здѣсь реально, до того художественно-правдиво, что минутами испытываешь такое ощущеніе, какъ будто самъ при этомъ присутствуешь. И не намъ возмущаться реализмомъ, въ которомъ нѣтъ ничего смакующаго, специфическаго, что такъ нравится многимъ, а есть только правда жизни, въ данномъ мѣстѣ неизбѣжная.

Павелъ Рыбаковъ погибъ, и художникъ изобразилъ въ превосходной картинкѣ исторію его паденія и гибели. Но

зачѣмъ онъ взялъ такой сюжетъ? Какъ смѣлъ онъ коснуться такъ безцеремонно той стороны жизни, о которой не принято говорить... Въ гостиныхъ? Конечно, но русская литература никогда и не была „салонной".

Общество—вотъ чей судъ былъ важенъ, и его приговоръ, мнѣ кажется, можетъ быть только одинъ: художникъ за свою смѣлость заслуживаетъ высшей благодарности. Ибо если бы это было иначе, общество дѣйствительно уподобилось бы той Катѣ Реймеръ, какъ ее представляетъ себѣ Павелъ Рыбаковъ въ моментъ полнаго отчаянія: „чистая и подлая въ своей чистотѣ". И какъ Катя Реймеръ въ дѣйствительности совсѣмъ не такова и не такъ отнеслась бы къ злополучному Павлу, такъ и общество, конечно, не можетъ не задуматься надъ представленнымъ ему изображеніемъ гибели хорошаго юноши, не сладившаго съ собой. Для всякаго отца и матери этотъ разсказъ—угроза и предостереженіе. Не всѣ, конечно, товарищи Павла Рыбакова, имя же имъ легіонъ, гибнутъ такъ жалко. Но сколько мукъ ими переживается, сколько исковерканныхъ характеровъ, болѣзненныхъ послѣдствій получается отъ того, что мы неискренни и неправдивы и сами съ собой, и съ своими дѣтьми. Почему родители, какъ этотъ отецъ въ разсказѣ—послѣдніе, къ кому обращаются ихъ дѣти въ трудныя минуты? И почему, какъ этотъ отецъ, они, даже догадываясь о какой-то трагедіи въ душѣ сына, не умѣютъ просто, по-человѣчески подойти къ нему, проявить ту любовь, „которая не оглядывается и не боится грязи"?

Мы, не колеблясь, отвѣчаемъ на эти вопросы—потому, что мы неискренни и боимся правды. Мы бродимъ „въ туманѣ", сумрачные и молчаливые, и охотнѣе вѣримъ, что все обстоитъ благополучно, хотя и знаемъ, что это ложь, и радуемся туману, который скрываетъ правду... Но если мы на минуту станемъ искренни и правдивы, мы должны быть благодарны художнику, который смѣло разсѣялъ туманъ и заставилъ насъ заглянуть хоть въ одинъ уголокъ жизни, гдѣ далеко не все обстоитъ благополучно.

И не героини-проповѣдницы тѣлесной чистоты, какъ перваго и главнаго условія счастья и нравственности жизни, внесутъ въ этотъ уголокъ освѣжающую атмосферу. Напротивъ, своимъ фанатическимъ credo—„раскаяніе не поможетъ разъ чистота потеряна", онѣ могутъ только толкнуть безвозвратно на путь разврата несчастныхъ грѣшниковъ, именно, скорѣе несчастныхъ, чѣмъ порочныхъ, и еще менѣе неспособныхъ возстать изъ бездны паденія и очиститься. Что потеряно, то потеряно,—спору нѣтъ. Но нѣтъ паденія, для котораго не было бы

спасенія. Для этого, прежде всего, нужна любовь, „которая не оглядывается и не боится грязи“.

Нужно помнить еще старое и мудрое правило,—гони природу въ дверь, она войдетъ въ окно. И вспомнивъ, широко и настежь открыть ей и двери, и окна чтобы въ затхлую среду современной семьи вошла свѣтлая, вѣчно радостная, цѣломудренная природа, внеся туда и свою свѣжесть, и свою чистоту. Путемъ совмѣстнаго воспитанія, товарищеской жизни, въ дружной работѣ бокъ-о-бокъ, наши юноши и дѣвушки помогутъ другъ другу сохранить свою чистоту и создадутъ то цѣломудренное будущее, о которомъ мечтала Вѣра. Побольше довѣрія къ юности, побольше уваженія къ ней и, главное правды и искренности въ отношеніяхъ,—и будущее это не такъ ужъ далеко.

«Очерки и разсказы» Вл. Короленко, т. III [1]).

Выходъ третьяго тома произведеній Вл. Короленко, до сихъ поръ разсѣянныхъ на протяженіи почти пятнадцати лѣтъ („Сказаніе о Флорѣ“ появилось еще въ концѣ 80-хъ годовъ въ „Сѣв. Вѣстн.“) въ разныхъ журналахъ и сборникахъ, является настоящимъ подаркомъ всѣмъ любителямъ родной литературы. И именно теперь этотъ прекрасный подарокъ такъ кстати, когда все наростающая волна новыхъ читателей съ такой жадностью поглощаетъ художественную литературу, ищетъ въ ней разгадки массы текущихъ явленій, не поддающихся анализу и не укладывающихся ни въ какія излюбленныя нѣкогда рамки. И авторъ имѣетъ что сказать этой ищущей отвѣта читательской массѣ и умѣетъ сказать такъ, что слово его находитъ доступъ въ самое очерствѣлое сердце и вызываетъ откликъ въ самой заглохшей душѣ, казалось, утратившей эту способность отзываться на чужую боль и чужую радость подъ бременемъ мелкихъ, неустанныхъ тяготъ обыденной жизни. Въ пьесѣ М. Горькаго „На днѣ“ выведенъ странникъ Лука, который всякому умѣетъ сказать нѣчто, именно ему нужное, открывающее и для него какой-то если не выходъ изъ ямы, куда его засосала жизнь, то просвѣтъ, гдѣ онъ вдали, пусть даже и недосягаемой для него, видитъ яркую звѣздочку надежды, ободренія и вѣры и возможности лучшаго будущаго. Въ современной нашей

---

[1]) Мартъ, 1903 г.

литературѣ мы не знаемъ другого художника, который, какъ этотъ странникъ Лука, могъ бы подымать въ читателѣ вѣру въ человѣка, въ жизнь, въ идеалъ, такъ умѣлъ бы подойти къ опустившемуся и извѣрившемуся въ добро, указать ему съ истинно-материнскою ласкою на маячащій огонекъ, что, „переливаясь и маня", стоитъ впереди, и съ недопускающей сомнѣнія убѣдительностью увѣрить его, что нѣтъ той силы, которая смогла бы погасить этотъ живительный огонекъ идеала. Пусть „жизнь течетъ въ тѣхъ же угрюмыхъ берегахъ, а огни еще далеко. И опять приходится налегать на весла... но все-таки... все-таки впереди—огни!.."

Этими бодрящими словами начинается новая книга Вл. Короленки, и мысль, заключающаяся въ нихъ, простая и яркая, какъ и всякая вѣковѣчная правда, не та правда сегодняшняго дня, что завтра, быть можетъ, предстанетъ ложью, а та, что не съ нами родится и съ нами не умретъ, но передается изъ рода въ родъ и „до скончанія вѣка пребудетъ",—живыми искрами сверкаетъ въ каждомъ разсказѣ, проблескиваетъ въ каждой строчкѣ и разгорается въ яркое пламя немеркнущаго свѣта жизнерадостнаго идеализма и человѣчности.

Неумирающая и неутолимая жажда правды — вотъ что, въ концѣ концовъ, руководитъ людьми, несмотря на всѣ нагноенія житейской грязи, несмотря на кровь и слезы, которыми такъ обиленъ путь человѣчества, и Вл. Короленко въ чудесныхъ образахъ заставляетъ насъ повѣрить этой истинѣ. И не только повѣрить, но и почувствовать жажду борьбы за нее, что и составляетъ безсознательный для художника и реальный результатъ истиннаго художественнаго произведенія для читателя. Какъ истинный художникъ, онъ не обращается къ нашему уму съ прямымъ призывомъ, не подчеркиваетъ своей мысли, которая не торчитъ, какъ шестъ, съ опредѣленнымъ знаменемъ, а даетъ рядъ образовъ, проникнутыхъ яснымъ настроеніемъ самого художника. Говоря „яснымъ", мы хотимъ подчеркнуть особенность субъективнаго творчества автора, въ которомъ преобладаютъ свѣтлые тона, чуждые всему мрачному, озлобленному или человѣконенавистническому. Это-то свойство творчества и дало, повидимому, поводъ одному изъ мрачныхъ критиковъ современности охарактеризовать настроеніе произведеній Вл. Короленки, какъ „примиреніе съ дѣйствительностью". Только глубочайшее непониманіе или полное неумѣніе проникнуть въ скрытый за художественной стороной смыслъ этихъ произведеній могло привести къ такому нелѣпому по существу заключенію. Мы очень рады, что третья книга разсказовъ даетъ именно самое яркое опроверженіе этого вывода отно-

сительно „примиренія съ дѣйствительностью“, якобы вытекающаго изъ произведеній Вл. Короленко.

Да, авторъ, дѣйствительно, примиряетъ насъ, но не съ современной дѣйствительностью, а съ человѣкомъ. Въ каждомъ разсказѣ, въ каждомъ положеніи, въ самыхъ мрачныхъ картинахъ жизни онъ указываетъ нѣчто, способное примирить насъ съ жизнью,—идеальную сторону ея, тотъ „огонекъ“, переливающійся и манящій, который свѣтитъ вдали.

Вслѣдъ за прелестнымъ стихотвореніемъ въ прозѣ „Огоньки“, которое не уступаетъ по формѣ и глубинѣ содержанія лучшимъ стихотвореніямъ въ прозѣ Тургенева, авторъ въ „Сказаніи о Флорѣ, Агриппѣ и Менехемѣ, сынѣ Іегуды“ даетъ страничку изъ самой мрачной трагедіи, когда-либо пережитой человѣчествомъ. Это — гибель Іерусалима подъ ударами внѣшней силы и отъ раздоровъ партій внутри. Предъ лицомъ надвигающагося неумолимаго врага въ народѣ рѣзко опредѣляются два настроенія—примирительное, стремящееся путемъ угодливаго смиренія укротить свирѣпость римлянъ, и боевое, призывающее къ борьбѣ во что бы то ни стало. Представителемъ послѣдняго выступаетъ Менехемъ, сынъ Іегуды Гамалліота, славнаго борца за свободу. Его сильная проповѣдь внушаетъ уваженіе даже врагамъ, но безсильна сплотить весь народъ, смущаемый рабской угодливостью, слезами и страхомъ главарей, первосвященниковъ и знатныхъ, съ царемъ Агриппой во главѣ. Менехемъ уходитъ изъ города съ своими приверженцами, рѣшивъ защищать родину самостоятельно. Онъ не обманывается относительно исхода борьбы, которая должна привести и его къ гибели. Но онъ не боится такого исхода, такъ какъ все существо его проникнуто однимъ сознаніемъ,—онъ не можетъ примириться съ неправдой и насиліемъ, разъ понялъ, что такое правда и къ чему она обязываетъ. Кто прошелъ періодъ невѣдѣнія, для того скорбь и самая смерть теряютъ свою силу и власть, — и въ превосходной молитвѣ, обращенной къ Богу, Менехемъ выражаетъ вѣчный стимулъ борьбы за идеалъ, хотя бы и безъ надежды на побѣду въ данный историческій моментъ. Это прекрасное сказаніе, къ сожалѣнію, было до сихъ поръ похоронено на страницахъ мало распространеннаго журнала и потому мало знакомо читателямъ, по крайней мѣрѣ современнымъ, и потому они едва ли посѣтуютъ на насъ, если мы приведемъ конецъ этой боевой молитвы борцовъ за правду.

Гамалліотъ говоритъ, что предстоитъ послѣдняя борьба, и кому Богъ судилъ побѣду — угнетателямъ или угнетеннымъ, неизвѣстно,—но, заканчиваетъ онъ:

„Если Ты, въ безконечной мудрости, судилъ въ наше время гибель правому дѣлу и еще разъ дашь торжествовать насилію, и если намъ, защитникамъ, суждено погибнуть, а угнетатели воздвигнутъ алтари торжества и нечестія на мѣстѣ Твоихъ алтарей,—да будетъ!..

„Но исполни же просьбу обреченныхъ, исполни нашу просьбу, Всевышній!

„Пусть никогда не забудемъ мы, доколѣ живы, завѣты борьбы за правду.

„Пусть никогда не скажемъ: лучше спасемся сами, оставивъ безъ защиты слабѣйшихъ.

„Пусть ни одинъ нашъ ударъ не будетъ направленъ противъ неповинныхъ въ насиліи.

„Пусть никогда не посягнемъ на святость чужихъ алтарей, помня поруганіе своихъ.

„Пусть мысли наши сохраняютъ ясность, дабы направлять стопы наши по пути правды, а удары рукъ на защиту, а не на утѣсненіе.

„И когда будутъ смежаться наши очи въ виду смерти,— не отыми у насъ, Адонаи, вѣру въ торжество праваго дѣла на землѣ.

„Чтобы мы знали, что законъ правды непреложенъ, какъ непреложенъ законъ природы: вотъ нынѣ грозное знаменіе (комета, бывшая въ то время. *А. Б.*) пламенѣетъ въ синевѣ неба, но оно пробѣжитъ и исчезнетъ. А кроткая луна, которая нынѣ мало замѣтна, будетъ восходить надъ землей въ свое время отъ вѣка до вѣка.

„Когда же пробьетъ часъ Твоей воли и мы погибнемъ, пусть ангелъ скорби осѣнитъ своимъ крыломъ наши могилы и повѣдаетъ о насъ нашимъ дѣтямъ и дѣтямъ враговъ нашихъ, чтобы и наша смерть служила правому дѣлу.

„И я вѣрю, о, Адонаи, что на землѣ наступитъ Твое царство!..

„Исчезнетъ насиліе, народы сойдутся на праздникъ братства, и никогда уже не потечетъ кровь человѣка отъ руки человѣка!..

„Тогда ангелъ скорби, радостно взмахнувъ своими крылами, поднимется къ небу, а на землѣ будетъ радость и миръ.

„Пусть тогда люди вспоминаютъ о насъ, несчастныхъ, въ жестокое время проливших свою кровь для дѣла защиты, а не для утѣсненія“.

Это чудесное „Сказаніе“ появилось въ восьмидесятые годы, въ періодъ толстовства, проповѣди малыхъ дѣлъ и того упадка духа, которымъ ознаменовано то скучное и мертвое время. „Сказаніе“ прозвучало тогда, какъ рѣзкій

диссонансъ въ тихой баюкающей мелодіи, и встрѣчено было, какъ призывъ къ бодрой дѣятельности, не ограниченной только интересами текущаго дня. Для пониманія идейной стороны таланта автора оно очень характерно по ясности мысли, не допускающей никакихъ толкованій, въ родѣ примиренія съ дѣйствительностью и смиренія. Для всякаго вдумчиваго читателя Вл. Короленки, положимъ, и безъ этого „сказанія" ясно, гдѣ коренятся симпатіи автора, каковы его чаянія и надежды. Но полнота художественнаго изображенія, съ которой авторъ рисуетъ жизнь, не дозволяя односторонняго освѣщенія, вникая въ глубину каждаго выводимаго имъ лица и предоставляя образамъ говорить за себя, не для всѣхъ, очевидно, доступна, если могло явиться и такое представленіе о немъ.

По идеѣ въ одной связи съ „Сказаніемъ" можно поставить и „Мгновеніе", небольшую картинку, появившуюся впервые въ сборникѣ „На славномъ пути". Идея та же, что и въ „Сказаніи" — „одинъ мигъ настоящей жизни стоитъ цѣлыхъ годовъ прозябанія". Долгіе годы томившійся въ одиночномъ заключеніи узникъ бѣжитъ на утлой лодчонкѣ въ жестокую бурю. При нѣкоторой искусственности построенія всего разсказа, въ немъ есть превосходные отдѣльные штрихи, какъ, напр., моментъ, когда бѣглецъ, истомленный долгимъ заключеніемъ, останавливается въ страхѣ передъ бушующей стихіей и робко возвращается въ свою одиночную келью. „Нѣтъ, онъ не можетъ бѣжать... на морѣ гибель... Онъ схватился руками за карнизъ, поднялся къ окну и остановился... Въ камерѣ было пусто и сравнительно тихо. Ровный желтоватый свѣтъ фонаря падалъ на стѣны, на вытоптанный полъ, на матрацъ, лежащій въ углу... Надъ изголовьемъ, вырѣзанная глубоко въ камнѣ, виднѣлась надпись: „Хуанъ-Марія-Хозе-Мигуэль-Діацъ, инсургентъ. Да здравствуетъ свобода"! И всюду по стѣнамъ, крупныя и мелкія, глубокія и едва намѣченныя, мелкали эти же надписи... Далѣе потянулись цифры... Сначала онъ отмѣчалъ время днями, недѣлями, потомъ мѣсяцами... Десятый годъ былъ отмѣченъ простой цифрой безъ восклицаній... Далѣе счетъ прекращался... Только имя продолжало мелкать, вырѣзанное слабѣющей и лѣнивой рукой... И на все это безстрастно и ровно падалъ желтоватый свѣтъ фонаря... И вдругъ Діацу представилось, что на его постели лежитъ человѣкъ и спитъ тяжелымъ сномъ. Грудь поднимается тихо, съ тупымъ спокойствіемъ... Это онъ? Тотъ Діацъ, который вошелъ сюда полнымъ силъ и любви къ жизни и свободѣ?.. Діацъ отпустилъ руки и опять спрыгнулъ на берегъ"...

Что произошло съ нимъ, погибъ онъ или сумѣлъ спастись, для читателя безразлично. Художникъ съ рѣдкой силой далъ ему почувствовать, что одно мгновеніе жизни, настоящей жизни, выше томительнаго прозябанія, и пробудилъ щемящее чувство тоски по этой настоящей жизни, которая не всякому доступна, хотя и всякій къ ней призванъ. Если бы мы могли, какъ Діацъ, на мигъ вырваться изъ той душной тюрьмы, которую каждый безсознательно самъ устраиваетъ себѣ, сколькіе изъ насъ удивились бы, увидя странное существо, которое „спитъ тяжелымъ сномъ, грудь поднимается тихо, съ тупымъ спокойствіемъ". Удивились бы и испугались,—неужели это мы, тѣ самые, что начали жить когда-то, полные силъ и любви къ жизни и свободѣ? Таковъ, напр., этотъ опустившійся, бывшій нѣкогда борцомъ за освобожденіе крестьянъ, земскій начальникъ, который ѣдетъ въ разсказѣ „Въ облачный день" и уныло вспоминаетъ прежнее, съ неумолчнымъ припѣвомъ, „а теперь... что же мы видимъ?" Рамки разсказа какъ бы сами собой раздвигаются, образъ Мигуэля-Діаца стушевывается и исчезаетъ за чѣмъ-то болѣе важнымъ и близкимъ, что поднимается въ глубинѣ души читателя и властно напоминаетъ о болѣе высокомъ существованіи, о цѣли жизни, объ идеальныхъ стремленіяхъ. Такъ и въ разсказѣ „Парадоксъ" бѣдный калѣка своимъ афоризмомъ возбуждаетъ въ окружающей его толпѣ простыхъ людей тѣ же мечты. „Человѣкъ созданъ для счастья, какъ птица для полета", пишетъ безрукое, изломанное, несчастное существо, и рѣзкое противорѣчіе между его видомъ и смысломъ его парадокса возбуждаетъ въ окружающихъ лучшія стороны ихъ души.

Идеализмъ писателя, проникающій всѣ его разсказы, придаетъ всему, чего онъ коснется, особый оттѣнокъ глубины и чарующей гуманности. Мы не можемъ подобрать лучшаго слова, какъ „очеловѣченіе" жизни, для этой особенности Вл. Короленки. Въ самыхъ темныхъ и печальныхъ сторонахъ жизни онъ умѣетъ указать то человѣчное, что таится тамъ, на днѣ, подъ грудой всякихъ наслоеній и, не умирая, лишь ждетъ момента, чтобы выбиться наверхъ и заставить всѣхъ вспомнить о себѣ. Реализмъ описанія, который у Вл. Короленки достигаетъ необычайной законченности, такъ что каждый штрихъ, каждая мимолетная картинка кажутся словно вычеканенными на металлѣ, смягчаются этой любовной, ласковой проникновенностью въ глубь явленія, и въ результатѣ получается не примиреніе съ жизнью и ея темными сторонами, а пониманіе ея, любовь къ этой бѣдной, полной страданій жизни, желаніе борьбы за тѣ

скрытыя въ ней начала добра и правды, которыя освѣтилъ художникъ...

Большую часть третьяго тома составляютъ сибирскіе очерки, въ которыхъ до сихъ поръ Вл. Короленко не имѣетъ себѣ соперника въ русской литературѣ. Въ книгу вошли три разсказа—„Государевы ямщики", „Морозъ", „Послѣдній лучъ" и цѣлая повѣсть „Марусина заимка", всѣ изъ жизни далекой сибирской окраины, природу и обитателей которой, вольныхъ и невольныхъ, авторъ сроднилъ съ читателемъ и сдѣлалъ ихъ дорогими украшеніями нашей литературы. Въ разсказѣ „Государевы ямщики" онъ даетъ два новыхъ типа, которые по праву займутъ равное мѣсто наряду съ его «Убивцемъ» и «Соколинцемъ»: это идеалистъ Микеша и озлобленный жизнью и тяжкой несправедливостью судьбы ссыльно-поселенецъ, уніатъ Островскій.

Микеша прелестный типъ, излюбленный авторомъ и всегда описываемый имъ съ тонкимъ юморомъ и лаской. Онъ искатель новой жизни, протестантъ противъ сложившихся условій, которыхъ онъ не можетъ вполнѣ усвоить, и скорѣе чувствомъ постигающій, что такъ жить нельзя и не слѣдуетъ. Его манитъ что-то невидимое, далекое и прекрасное, чуждое постылому окружающему міру, гдѣ все такъ низменно и глубоко несправедливо. Микеша тоже „Государевъ ямщикъ", прикрѣпленный къ „камню" на Ленѣ, гдѣ изъ рода въ родъ гоняютъ ямщину, на лошадяхъ и водою, поддерживая сообщеніе между этимъ «гиблымъ» мѣстомъ и тѣмъ далекимъ міромъ, что смутно мерещится темной душѣ Микеши. Все ему здѣсь постыло и ленскій каменъ, отъ котораго некуда уйти, и гоньба, и ямщичій міръ, забитый, вымирающій и несчастный, который Микеша вполнѣ постигъ и злобно критикуетъ. Его попытки сбѣжать, куда глаза глядятъ, неудачны и дики. Въ концѣ концовъ онъ нарочно впутываетъ себя въ уголовное дѣло, лишь бы путемъ острога и ссылки завоевать себѣ свободу, отдѣлаться отъ дикаго камня и ути туда, куда его непреодолимо тянетъ его безпокойная мятущаяся душа. „Да, всякія бываютъ мечты", задумчиво кончаетъ авторъ свой очеркъ, и приленскій мечтатель, „порченый" по мнѣнію „міра", становится намъ близокъ, какъ родная душа, гдѣ-то далеко-далеко бьющаяся надъ разрѣшеніемъ близкихъ и намъ вопросовъ, по существу имѣющихъ одинаковое значеніе и на Ленѣ, и въ Петербургѣ, ибо сущность ихъ все тѣ же мечты о добрѣ и правдѣ. И сколько такихъ Микешъ ищутъ дорогъ въ неизвѣстному свѣту среди непроницаемаго мрака и погибаютъ, не проявивъ и тысячной доли скрытой въ нихъ возможности творить добро и служить правдѣ. Но уже одно то, что

они вездѣ есть, эти мечтатели, служитъ ободряющей надеждой, а наивная вѣра Микеши въ Бога, что „хоть худенькой худой, ну, все еще сколько-нибудь дѣламъ-те правитъ", убѣдительнѣе дѣйствуетъ на душу, чѣмъ самыя витіеватыя разсужденія на тему о „человѣкобогѣ и богочеловѣкѣ".

Рядомъ съ свѣтлой, хотя и нѣсколько юмористической фигурой Микеши трагическій образъ Островскаго выступаетъ съ удручающей силой, какъ безвинная жертва царящаго мрака и зла. Вообще, авторъ неохотно останавливается на такихъ мрачныхъ образахъ, и Островскому мы не находимъ аналогіи въ длинномъ ряду типовъ Вл. Короленки.

Кажется, какъ будто жизнерадостное, вѣчно и всюду стремящееся къ свѣту воображеніе художника съ нѣкоторою стыдливою боязнью обходитъ такія явленія, при видѣ которыхъ смолкаетъ голосъ ободренія и надежды, а въ возмущенной душѣ поднимается страшное чувство мести...

Встрѣча съ Островскимъ происходитъ послѣ того, какъ по дорогѣ авторъ и его спутники съ Микешей видѣли пожаръ заимки Островскаго, которую послѣдній самъ сжегъ, чтобы никому не доставалась. Фактъ этотъ поражаетъ и привлекаетъ Микешу своей грандіозностью.

„— Ча? — крикнулъ Микеша. — Погляди ты, какіе люди бываютъ: самъ юрту зажигалъ, амбаръ зажигалъ, городьбу что есть въ амбаръ бросалъ... У-у, дьяволъ!

„— Кто это?

„— Да кто иной: Островскій, говорю, уніатъ...

„И Микеша съ интересомъ и оживленіемъ сталъ разсказывать мнѣ исторію этого пожара.

„Она была проста и сурова, какъ эти берега и горы. Нѣсколько лѣтъ назадъ уніатъ Островскій былъ высланъ, кажется—за отпаденіе отъ православія и поселенъ на Ленѣ. За нимъ пришла молодая жена съ маленькой дѣвочкой. Якуты отвели ему надѣлъ въ широкой пади, между двумя скалами. Мѣсто показалось удобнымъ для земледѣлія, якуты оказали нѣкоторую помощь. Сравнительно не трудно было сбывать хлѣбъ на пріиски, и Островскій бодро принялся за работу. Якуты не сказали ему одного: въ этой лощинѣ хлѣбъ родился прекрасно, но никогда не вызрѣвалъ, такъ какъ его уже въ іюлѣ каждый годъ неизмѣнно убивали сѣверо-западные вѣтры, дувшіе изъ ущелья, какъ въ трубу, и приносившіе ранній иней. Якуты, не желавшіе вообще поселенцевъ на своихъ земляхъ,—имѣли свои виды, а сосѣди станичники, арендовавшіе у якутовъ покосы и, поэтому, зависимые, тоже не предупредили поляка, боясь разсердить якутовъ.

На станкѣ разказчикъ встрѣчаетъ и самого Островскаго.

„Это былъ человѣкъ небольшого роста, коренастый, съ сильно загорѣлымъ энергичнымъ лицомъ, настоящаго земледѣльца. На плечахъ онъ несъ нѣсколько связанныхъ вмѣстѣ узловъ, образовавшихъ цѣлую гору, а за полу его суконнаго кафтана держалась дѣвочка лѣтъ 8 или 9-ти, тоненькая, блѣдная и, видимо, испуганная. Я встрѣтилъ его на площадкѣ и сразу угадалъ, кто это: въ глазахъ его какъ-будто застыло охладѣвшее тяжелое горе...“

Островскій рѣшилъ круто порвать со всѣмъ, что составляло его жизнь до сихъ поръ—съ землею и людьми, которые обманули его. Онъ—отчаялся въ правдѣ, не найдя ее нигдѣ, и сталъ „отчаяннымъ человѣкомъ“. „На пріиски иду. ...Если дорогой не пропаду, наймусь... А дѣвочку стану продавать господамъ...“ Среди одичалыхъ, забитыхъ жизнею, станичниковъ онъ вызываетъ страхъ своей отчаянной, свирѣпой готовностью идти на все, разъ все рухнуло, и нѣтъ ничего для него на землѣ. Когда патріархъ станка думаетъ урезонить его требовательность напоминаніемъ о вѣрѣ, за которую Островскій былъ сосланъ, вся накипѣвшая горечь противъ людей вырывается у него бѣшенымъ потокомъ.

„—Слушай,—сказалъ Островскій, отчеканивая слова. — Слушай и ты меня, старая со-ба-ка...

„— А-ахъ!—охнулъ Микеша при этомъ тяжкомъ оскорбленіи станочнаго патріарха. Ямщики смолкли. Нѣсколько мгновеній слышно было только легкое потрескиваніе огня въ камелькѣ.

„— Помнишь ты,—продолжалъ Островскій,—какъ я въ первый разъ приходилъ къ тебѣ съ женой, какъ я кланялся твоимъ сѣдымъ волосамъ, просилъ у тебя совѣта? А-а, ты это забылъ, а о Богѣ вспоминаешь... Собака ты лукавая, всѣ вы собаки! — крикнулъ онъ почти въ изступленіи, отмахнувшись отъ дѣвочки, которая, не понимая, что тутъ происходитъ, потянулась къ отцу.—Вы—дерево лѣсное!... И сторона ваша проклятая, и земля, и небо, и звѣзды, и...

„Онъ хотѣлъ сказать еще что-то, но остановился передъ кощунствомъ, и въ потемнѣвшей избушкѣ опять водворилось молчаніе, полное тяжелой подавленности и испуга“...

Фигура Островскаго вырастаетъ, какъ олицетвореніе подавленной и попранной справедливости, взывающей о мщеніи, и образъ этого человѣка, словно отлитый изъ бронзы, стоитъ съ угрозой предъ нашей совѣстью. И что мы могли бы ему сказать, какъ и эти напуганные станичники. „Ха!— сказалъ онъ, продолжая глядѣть на меня тяжелымъ взглядомъ. — За вѣру!.. Бога вспомнили... Давно это было... Не хотѣлъ ребенка хоронить на православномъ кладбищѣ... Те-

перь жену зарылъ въ яму, завалилъ камнями, безъ креста, безъ молитвы... Лѣсъ, камни, и люди, какъ камни"...

Образъ уніата Островскаго, затеряннаго среди этихъ „камней-людей", принадлежитъ къ числу лучшихъ типовъ Вл. Короленки, и одинокая фигура отчаяннаго человѣка бредущаго по тайгѣ съ „тоненькой" дѣвочкой, вопіетъ къ чувству справедливости сильнѣе всякихъ трактатовъ о важности этого соціальнаго чувства.

По идеѣ можно сопоставить съ нимъ героя разсказа въ той же третьей книгѣ „Морозъ", о которомъ въ свое время мы уже говорили, почему, не останавливаясь на немъ, напомнимъ только эту чудную повѣсть о „замершей совѣсти" и ея пробужденіи. Разсказчикъ и его спутникъ на одномъ изъ перегоновъ встрѣчаютъ въ лютый морозъ въ тайгѣ затеряннаго въ лѣсу путника, который только мелькнулъ мимо и исчезъ. Подъ вліяніемъ страшнаго холода путешественники почти не обратили на него вниманія, хотя имъ показалось, что онъ обращался къ нимъ съ чѣмъ-то. И лишь на станкѣ, въ теплой избѣ, ночью, оба разомъ вспомнили эту встрѣчу и поняли, что этотъ человѣкъ замерзалъ и просилъ ихъ о помощи. Совѣсть оттаяла и заговорила, товарищъ разсказчика не выдержалъ и бросился одинъ искать погибавшаго и самъ погибъ, „казнилъ себя, подлую человѣческую природу, въ которой совѣсть можетъ замерзнуть при пониженіи температуры тѣла на 2 градуса".

„Послѣдній лучъ" изъ той же серіи разсказовъ даетъ грустную, чудесно написанную картинку умиранія цѣлаго рода, который считаетъ себя происходящимъ отъ декабриста, среди дикихъ камней Лены. Въ этомъ разсказѣ удивительно слита поэтичность описанія природы съ грустнымъ содержаніемъ, что производитъ впечатлѣніе настоящаго стихотворенія въ прозѣ, выдержаннаго до мельчайшихъ деталей. Благодаря этой гармоніи формы и содержанія, это лучшее по художественности произведеніе третьей книги. Дикая природа сѣвера какъ бы оживаетъ передъ нами, и щемящее, безысходное чувство грусти властно захватываетъ читателя, присутствующаго при прощаніи людей съ „послѣднимъ лучомъ" надолго закатившагося зимняго солнца. Такимъ же послѣднимъ лучомъ кажется и этотъ мальчикъ, потомокъ неизвѣстнаго борца за правду, сложившаго здѣсь свои кости. Среди ставшаго, какъ камни, населенія, мечтательный и грустный мальчикъ, „припадочный и хилый", по словамъ дѣда, такой же послѣдній догорающій лучъ человѣчности, которому не суждено уже никого освѣтить въ дикой пади на Ленѣ.

Самое большое по размѣрамъ произведеніе въ настоящей книгѣ „Марусина заимка“ совсѣмъ въ иномъ духѣ: тутъ жизнь кипитъ и бьетъ черезъ край. „Ухорѣзъ“ Степанъ, смѣлая и жаждущая дѣятельности натура, эпическій представитель земли Тимоха и надломленная, но не падающая Маруся—такіе типы, которые выдержатъ спокойно сравненіе съ любыми героями прежнихъ разсказовъ автора, и даже выше ихъ, по нашему мнѣнію, по сжатости обрисовки и, если можно такъ выразиться, мужественности письма. Намъ кажется, что въ этомъ произведеніи талантъ автора сдѣлалъ значительный шагъ впередъ, избавившись отъ нѣкоторой излишней детальности въ описаніяхъ, что придавало его прежнимъ произведеніямъ нѣкоторую расплывчивость и чрезмѣрность красокъ, какую-то припухлость стиля. „Марусина заимка“ совершенно свободна отъ такого недостатка: языкъ всюду сжатый и сильный, эпитеты яркіе, но скупо отпущенные каждому лишь постольку, сколько это необходимо для характеристики даннаго лица или положенія. Драма развертывается быстро, наростающее впечатлѣніе разсказа держитъ вниманіе читателя все время въ напряженномъ состояніи, не давая ослабнуть интересу ни на минуту. Въ стройной конструкціи разсказа нѣтъ ни одного отступленія, усложняющаго дѣйствіе, запутывающаго его и потому ослабляющаго общій эффектъ. Стремленіе Маруси къ порядку жизни, къ тому земледѣльческому укладу, который она впитала въ родномъ углу, и порывистость неудержимой натуры Степана, не укладывающейся въ рамки тихаго житія, съ первой страницы выясняютъ драму, какая разыгрывается въ заимкѣ. Тяжелая неподвижность Тимохи, несокрушимая тяга его къ землѣ дѣлаютъ его настоящимъ хозяиномъ положенія, какимъ онъ и становится въ концѣ концовъ.

Разсмотрѣвъ всѣ произведенія третьей книги разсказовъ Вл. Короленки, мы не можемъ не сказать, что по художественности и глубинѣ содержанія они не уступаютъ нисколько его прежнимъ разсказамъ. Скорѣе напротивъ, талантъ художника словно окрѣпъ и возмужалъ, избавившись отъ прежняго излишества въ нагроможденіи эпитетовъ и не утративъ утонченной чувствительности. Ни въ одномъ изъ новыхъ произведеній нѣтъ старой сентиментальности, которая даетъ себя чувствовать даже въ такихъ превосходныхъ его вещахъ, какъ „Въ дурномъ обществѣ“ и „Лѣсъ шумитъ“. Художникъ достигъ въ авторѣ той зрѣлости таланта, которая даетъ намъ право ожидать отъ него новыхъ превосходныхъ твореній. Бодрый и жизнерадостный духъ, вѣющій свѣжестью и здоровьомъ отъ чудныхъ страницъ

третьей книги разсказовъ, свидѣтельствуетъ, какая неисчерпаемая сила жизни таится въ художникѣ, каждое новое произведеніе котораго также богато возбудительнымъ содержаніемъ, также проникнуто идеалистическимъ стремленіемъ къ правдѣ, какъ и лучшія первыя его вещи, въ то же время превосходя ихъ по совершенству формы. Оставаясь все тѣмъ же глубокимъ *идейнымъ* писателемъ, Вл. Короленко растетъ и какъ мыслитель, и какъ художникъ, неустанно работая надъ собой, о чемъ такъ краснорѣчиво говорятъ его „Послѣдній лучъ", „Морозъ", „Марусина заимка" и его „Огоньки", въ которыхъ онъ символически изображаетъ смыслъ своей творческой работы:

„Мнѣ часто вспоминается теперь и эта темная рѣка, затѣненная скалистыми горами, и этотъ живой огонекъ. Много огней и раньше, и послѣ манили не одного меня своею близостью. Но жизнь течетъ все въ тѣхъ же угрюмыхъ берегахъ, а огни еще далеко. И опять приходится налегать на весла"...

И съ бодрой и свѣтлой душой онъ налегаетъ на весла...

О г. Куприпѣ и другихъ молодыхъ беллетристахъ.—Еще о г. Короленкѣ.

Цѣлый потокъ художественныхъ сборниковъ хлынулъ на читательскій столъ: произведенія гг. Короленки, Горькаго, Бунина, Куприна, Серафимовича, Телешова, Юшкевича, Чирикова, новый томъ (III) Вересаева, — все имена нашихъ лучшихъ современныхъ художниковъ, изъ которыхъ каждый выдѣляется вполнѣ опредѣленной, яркой литературной физіономіей. Не говоря уже о гг. Короленкѣ и Горькомъ, принадлежащихъ теперь не только русской, но и европейской литературѣ, и остальные упомянутые писатели въ любой литературѣ явились бы замѣтной величиной и вызвали бы не меньшій потокъ критическихъ статей и замѣтокъ. И притомъ, какъ въ сущности недавно каждый изъ нихъ создалъ свое имя и занялъ опредѣленное мѣсто въ художественной литературѣ. Большинство ихъ выступили не больше десяти лѣтъ тому назадъ; нѣкоторые, какъ гг. Куприпъ и Юшкевичъ, и того меньше, и выросли на нашихъ глазахъ

за послѣдніе 3—4 года, не поощряемые критикой, которая или игнорировала ихъ, или съ высокомѣрнымъ пренебреженіемъ изрѣдка „поощряла". Мы не можемъ указать ни одной статьи, посвященной такимъ крупнымъ дарованіямъ, какъ г. Купринъ, или такому оригинальному писателю, какъ г. Юшкевичъ. Каждый изъ нихъ выдвинулся исключительно самъ и обязанъ только читателю, который сразу же оцѣнилъ и отмѣтилъ ихъ.

Одно изъ замѣчательнѣйшихъ явленій нашего времени —это свобода читательскаго выбора. Современный читатель руководствуется *своимъ* вкусомъ и самъ выбираетъ своихъ любимыхъ авторовъ, иногда совершенно въ разрѣзъ съ установившимися въ критикѣ взглядами и требованіями, какъ случилось, напр., съ произведеніями г. Чирикова, котораго правовѣрная критика предала „проклятію" за его „Инвалидовъ", а его сборники повѣстей и разсказовъ выходятъ третьимъ и четвертымъ изданіемъ на протяженіи трехъ лѣтъ. Очевидно, произошелъ большой расколъ между критикой и читателемъ. Не то, чтобы читатель окончательно извѣрился въ правовѣрности критиковъ,—онъ просто пересталъ руководствоваться ихъ мнѣніемъ, зная напередъ, что можетъ сказать тотъ или иной изъ присяжныхъ критиковъ. Издавна они усвоили себѣ точные образцы и шаблоны, по которымъ и примѣряютъ художниковъ,—подошелъ, хорошо, нѣтъ — отметается. Привыкнувъ къ такой подгонкѣ и примѣркѣ, читатель, въ концѣ концовъ, заскучалъ, и отъ критики обратился къ самимъ художникамъ, отчего оказался въ несомнѣнномъ выигрышѣ. Тутъ онъ находитъ жизнь, если и не со всѣми ея переливами, то все же не поддѣлку ея по рецептамъ того или иного присяжнаго цѣнителя, съ выговоромъ автору, зачѣмъ онъ не далъ того-то и какъ осмѣлился писать то и то. Читатель, несомнѣнно, съ жадностью ищетъ этой жизни и поглощаетъ все, въ чемъ находитъ отголоски ея. Ярче и громче всего говорятъ объ этомъ цифры изданій, какихъ раньше не зналъ книжный рынокъ. Повѣсть, напр., В. Короленки „Безъ языка", вышедшая мѣсяца три тому назадъ въ 5,000 экз., уже разошлась, или „На днѣ" М. Горькаго, вышедшее въ 35,000 экз., разошлось въ 2 мѣсяца.

Успѣхъ всѣхъ этихъ писателей, столь различныхъ по своимъ дарованіямъ, но яркихъ и опредѣленныхъ по своимъ талантамъ, нельзя подвести подъ какое-либо модное теченіе, и въ немъ проявляется нѣчто болѣе глубокое и важное. Съ одной стороны, предъ нами несомнѣнный ростъ читательской массы, что сказывается хотя бы въ общемъ спросѣ на книгу и журналы, за исключеніемъ, впрочемъ, доблест-

наго органа „Русскаго собранія“ — „Русскаго Вѣстника“, который даже въ ловкихъ рукахъ г. Комарова еле влачитъ дни свои. Должно быть, ревнители новѣйшаго націонализма не очень-то любятъ собственную литературу, предпочитая поучаться у своихъ противниковъ, и только платонически готовы поддерживать своихъ пророковъ.

Съ другой стороны, помимо численнаго роста, въ этомъ сказывается и свѣжесть новаго читателя, который непосредственнымъ чутьемъ схватываетъ правду художественныхъ произведеній, не руководствуясь ничьей указкой. Непосредственное чутье правды даетъ новому читателю свободу выбора и дѣлаетъ его совершенно недоступнымъ для лицемѣрныхъ запугиваній разныхъ защитниковъ читательской нравственности. Яркимъ примѣромъ безсилія такого похода противъ таланта теперь можетъ служить комическая травля, начатая г. Буренинымъ противъ г. Андреева и привлекшая къ себѣ вниманіе, какъ ни странно такое сочетаніе, только... графини С. Толстой и — г. Розанова. А читатель, на котораго была разсчитана вся эта комедія возмущеннаго цѣломудрія нововременскихъ весталокъ, остался глухъ и продолжаетъ раскупать произведенія г. Андреева.

Въ то же время читательская свобода отнюдь не свидѣтельствуетъ, чтобы новый читатель совсѣмъ былъ противъ критики. Только свой выборъ онъ не подчиняетъ ей, но критику an und für sich онъ читаетъ и раскупаетъ такія дорогія сравнительно изданія, какъ полное собраніе сочиненій Бѣлинскаго, вышедшихъ одновременно въ нѣсколькихъ изданіяхъ, Добролюбова, выдержавшаго въ послѣдніе годы три изданія, и цѣлый рядъ небольшихъ критическихъ брошюръ мало извѣстныхъ авторовъ, какъ, напр., гг. Новополинъ, Волжскій и др. Каждый мѣсяцъ въ спискѣ новыхъ книгъ читатель нашего журнала можетъ найти нѣсколько критическихъ брошюръ, которыя, несомнѣнно, имѣютъ спросъ, что доказывается вторыми ихъ изданіями (напр., Новополинъ или третье изданіе г. Андреевскаго). Для новаго читателя эти критики — не судьи его вкуса, не „властители думъ“, онъ и въ нихъ цѣнитъ также, если находитъ, свѣжую мысль, вѣрное историческое освѣщеніе или тонкій литературный вкусъ.

Такъ постепенно создается новая литературная атмосфера, гдѣ „іудеи и эллины“ свободно соприкасаются, каждый внеся свое, самое дорогое и оригинальное, индивидуальное, неизломанное, согласно требованію того или иного критика. Свободная атмосфера создаетъ свободное искусство и вызоветъ, въ свою очередь, и свободную критику, которой наша литература еще не знаетъ, но уже предчувствуетъ. Эта кри-

тика не станетъ распинать художника на прокрустовомъ ложѣ шаблона, а будетъ брать у него то, что онъ далъ истинно-художественнаго, слѣдовательно, правдиваго, стоющаго быть увѣковѣченнымъ.

Останавливаться на всѣхъ новыхъ сборникахъ разсказовъ, выпущенныхъ издательствомъ „Знаніе", мы не станемъ. Не потому, что бы не всѣ авторы заслуживали вниманіе читателя. Напротивъ, каждый имѣетъ оригинальныя, ему одному присущія черты, отличительный знакъ несомнѣнной талантливости. У г. Серафимовича, напр., хороши по яркости и художественности его очерки изъ жизни рыбаковъ и крайняго сѣвера. Разсказъ „Месть", въ которомъ сжато и сильно описанъ самосудъ надъ воромъ, выкрадывавшимъ рыбу изъ сѣтей товарищей, или „Тундра" съ прекраснымъ описаніемъ снѣжной бури, несомнѣнно, сдѣлали бы честь любому художнику. Или повѣсть г. Телешова „Сухая бѣда" (первоначально была помѣщена на страницахъ нашего журнала въ 1898 г.), дающая живую и оригинальную группу типовъ ирбитской ярмарочной жизни и яркую психологію бѣднаго черемиса, который собственною смертью мститъ за великую обиду. У обоихъ авторовъ, наряду съ тонкой наблюдательностью, читатель находитъ и недурную художественную отдѣлку, и умѣлую обрисовку характеровъ, и литературный, образный языкъ. Но ни г. Серафимовичъ, ни г. Телешовъ не представляютъ въ этомъ отношеніи чего-либо особаго, потому что мы уже избалованы по части художественности, къ которой насъ пріучила русская литература предшествующаго періода. Оба они, несомнѣнно, талантливые и яркіе художники, но въ нихъ мы не чувствуемъ современности съ ея нервностью, тревожнымъ исканіемъ новыхъ путей въ осложнившейся жизни и чуткостью къ безпокойному настроенію, переживаемому нами теперь. Оба представляются намъ вполнѣ законченными художниками, которые умѣютъ нарисовать прекрасный пейзажъ или бытовую картину, что, конечно, очень много, но еще не все. Мы не чувствуемъ въ нихъ того проникновенія въ глубину даннаго образа, которое вдругъ невѣдомымъ способомъ открываетъ въ немъ нѣчто новое, близкое, родное и въ то же время общее всѣмъ и для всѣхъ важное.

Въ этомъ отношеніи въ новой серіи изданій „Знанія" два писателя выдѣляются особенно рѣзко—гг. Юшкевичъ и Купринъ. Такъ какъ съ произведеніями перваго наши читатели знакомы довольно близко, у насъ были напечатаны „Кабатчикъ Гейманъ", „Ита Гайне" и „Студентъ Павловъ", то мы ближе остановимся только на большой

повѣсти „Распадъ“, представляющей двойной интересъ—и бытовой, и какъ произведеніе, раскрывающее вѣчный разладъ между „отцами и дѣтьми“, но не въ обычной для русскаго читателя обстановкѣ. Между прочимъ, слѣдуетъ отмѣтить, что весь сборникъ г. Юшкевича посвященъ изображенію жизни еврейской среды, въ которой авторъ находитъ цѣлую галлерею живыхъ и любопытныхъ типовъ, какихъ до него никто еще не вводилъ въ русскую литературу. Послѣдняя знаетъ отдѣльные типы, внѣ связи съ ихъ средой, причемъ всегда интересовалась ими съ особой, специфической точки зрѣнія, не столько ради нихъ самихъ, сколько для цѣлей скорѣе публицистическихъ. Враждебные еврейству авторы выводили типы евреевъ для доказательства излюбленной ими теоріи объ отверженности этого народа. Противники стремились доказать обратное, указывая на общія черты, сближающія насъ съ изображаемыми еврейскими типами. Но художественнаго описанія еврея и его жизни ради него самого, вполнѣ художественнаго и свободнаго отъ всякой публицистики, мы до г. Юшкевича не имѣли. Вотъ почему сборникъ его, помимо всего прочаго, заполняетъ очень существеный пробѣлъ въ литературѣ. Въ изображеніи этого міра г. Юшкевичъ великій мастеръ, и его кабатчикъ Гейманъ, философъ Мотя или Ита Гайне такіе яркіе и сильные образы, что могутъ по праву занять мѣсто наряду съ лучшими образами въ русской литературѣ изъ народной среды. С. Юшкевичъ сумѣлъ схватить въ яркихъ чертахъ ихъ оригинальную психологію, ихъ языкъ, смѣсь жаргона съ яркой восточной живостью въ изображеніи повседневной жизни, со всею сложностью бытовой и психической жизни въ чертѣ осѣдлости.

„Распадъ“ — это широкая картина того глубокаго переворота, который происходитъ въ еврейской семьѣ средней буржуазіи. Жизнь послѣдней сложилась давно и, повидимому, прочно, благодаря той замкнутости, которой еврейство обязано особымъ условіямъ черты осѣдлости, не позволявшимъ естественнаго обмѣна и соприкосновенія постороннихъ элементовъ и внутренней жизни еврейской среды. Но жизнь не могла остановиться въ этой средѣ, она только замедлила свое теченіе, благодаря искусственнымъ перегородкамъ, и на исторіи семейства Розеновыхъ мы видимъ все то, что раньше привыкли встрѣчать въ русской буржуазной семьѣ. Распадъ семьи идетъ съ двухъ, такъ сказать, сторонъ—извнутри и извнѣ. Съ одной стороны, старики Розеновы, по своему хорошіе, обыкновенные люди, всю жизнь посвятившіе дѣтямъ, чувствуютъ, что между ними и послѣд-

ними все шире и шире раздвигается какая-то щель, отдѣляющая ихъ другъ отъ друга. Это—внутренняя причина распада, выростающая сама собой, благодаря различію во взглядахъ на жизнь и въ пониманіи ея задачъ и цѣлей. Съ другой стороны, упадокъ семейнаго благосостоянія, такъ какъ дѣла Розенова пошатнулись, ускоряетъ распадъ семьи, внося острые раздоры изъ-за средствъ къ существованію. И то, и другое продуктъ новыхъ жизненныхъ условій, съ которыми старики не умѣютъ сладить, что мучитъ ихъ и вызываетъ острое чувство боли при видѣ непониманія этихъ мукъ дѣтьми. Но и послѣднія мучаются и страдаютъ не менѣе, такъ какъ и они видятъ, и чувствуютъ все шире раздвигающуюся щель семейной жизни. Ихъ пониманіе и требованія къ жизни и возвышеннѣе, и глубже, и проще въ то же время, но они не мирятся и не могутъ примириться съ упрощенными семейными традиціями. Съ особой страстностью относится къ распаду семейнаго уклада мать, Соня Розенова, для которой семья—все, и внѣ семьи — ничего. Это—истая древляя Рахиль, для которой въ мужѣ и дѣтяхъ—весь міръ, а все, что его окружаетъ, или возбуждаетъ въ ней вражду, или желаніе употребить на пользу той же семьи. И мать яростно отстаиваетъ цѣльность семьи противъ дѣтей и противъ угрожающаго міра, надвигающагося на нее со всѣхъ сторонъ со своими новыми, злыми и безжалостными требованіями.

Отецъ еще готовъ понять это требованіе своей жизни и только скорбитъ, что грозящее разореніе дѣлаетъ его безсильнымъ помочь дѣтямъ на первыхъ шагахъ ихъ самостоятельности. Мать, какъ настоящая хранительница стараго завѣта „все для семьи", до конца не мирится съ требованіями дѣтей, и если понимаетъ что, то лишь стремленія старшаго сына Якова, который является въ повѣсти типичнымъ образцомъ интеллигентнаго еврея-буржуа. Онъ получилъ среднее образованіе, имѣетъ аттестатъ зрѣлости, и его мечта кончить университетъ и стать докторомъ, завести широкую практику и жить для себя. Узкій и низменный эгоизмъ Якова, требующаго всякихъ жертвъ отъ отца и матери для осуществленія своего идеала, ей понятенъ. Онъ прямо вытекаетъ изъ стараго уклада семьи—все для себя, и мать не о томъ скорбитъ, что Яковъ эгоистъ, а лишь о томъ, что онъ не вполнѣ согласенъ на тѣ мѣры, которая она рекомендуетъ ему, въ родѣ женитьбы на богатой невѣстѣ. Сама готовая на все во имя семьи, даже на преступленіе, она не можетъ понять нѣкоторой его брезгливости. Розенова это цѣльная натура, вся изъ одного куска, не знающая колебаній тамъ, гдѣ рѣчь идетъ о благѣ семьи. Эту

ея цѣлостность рельефно оттѣняетъ дряблость мужа, добраго и по своему умнаго дѣльца, который запутался въ противорѣчіяхъ жизни, понимаетъ и дѣтей, и ее, и свое безвыходное положеніе, но вѣчно колеблется, много говоритъ и ничего не дѣлаетъ.

И дѣти тоже представляютъ двѣ разновидности. Яковъ весь въ мать по силѣ своего эгоизма. Онъ добивается своей цѣли и заставляетъ отца сколотить нужную сумму для поѣздки его за границу, чтобы тамъ докончить образованіе и вернуться съ дипломомъ врача. Давидъ это сколокъ отца, рефлектирующій, порывистый, но слабый и потому такой же жалкій. Онъ женится по увлеченію на бѣдной дѣвушкѣ и съ первыхъ же шаговъ начинаетъ такую же семейную жизнь, отъ которой ушелъ изъ дому, какъ бы продолжая дѣло распада, который не въ одной семьѣ Розеновыхъ начался и не на ней одной окончится, какъ бы герончески ни были усилія такихъ желѣзныхъ натуръ, какъ мать.

Все для той же семьи, для своего жестокаго Бога и тирана, которому она служила всю жизнь, она поджигаетъ свой домъ, чтобы высокой страховой платой спасти то, что ей кажется возможнымъ спасти. Въ повѣсти это самое яркое и сильное мѣсто, когда эта мать, обезумѣвшая отъ распада семьи, крадется на чердакъ, чтобы совершить поджогъ, а потомъ ея мужъ, знающій истину, съ невыразимой мукой видитъ, какъ, спасая ихъ, его жена губитъ жалкіе остатки другихъ семей, еще болѣе несчастныхъ и пришибленныхъ.

„Какъ жалко, ничтожно его горе предъ этимъ огромнымъ горемъ. Какой ужасъ совершить преступленіе на спинѣ беззащитныхъ, безсильныхъ людей. Розеновъ схватился за грудь, чувствуя, что вотъ, вотъ самъ онъ крикнетъ, чтобы связали его, преступника, чтобы бросили на этотъ костеръ, который онъ самъ зажегъ. Но жена, грозная, стойкая, какъ рулевой въ бурю, смѣло направляла къ виднѣвшимся берегамъ. Пусть не дрожитъ Исаакъ. Она, она стоитъ на стражѣ, и нѣтъ той дорогой цѣны, которой она не дала бы за спасеніе своей семьи. Довольно уже страданій, безсонныхъ ночей, страховъ, мученій. Пусть горитъ этотъ старый проклятый домъ, ибо съ нимъ сгоритъ все ужасное прошлое. Здѣсь погибли люди, и вотъ они окружаютъ ее, молятъ, стонутъ, но развѣ она мало плакала въ жизни? Пусть каждый думаетъ о себѣ...“ И она чувствуетъ себя глубоко правой, какъ волчица, задавившая овцу, чтобы прокормить своихъ дѣтенышей, и равнодушно смотритъ на пожаръ. „А пожаръ разгорался все больше подъ вліяніемъ не стихавшаго вѣтра и, казалось, грозилъ сжечь до корня эти дома безпредѣльной нищеты и горя. Все небо было освѣщено его

пламенемъ, и видно было, какъ быстро уходили облака, зажженныя по краямъ. И точно гигантскія скорбныя руки, сплетаясь и разнимаясь, столбы огня поднимались вверхъ все выше, чтобы умилостивить божество, молить его о спасеніи, умиротворить его всегда карающую десницу, передавая небу своимъ горячимъ дыханіемъ огонь мукъ и страданій, сжимавшій эти бѣдныя сердца ихъ жажду о каплѣ счастья, о кускѣ обезпеченнаго хлѣба; а между тѣмъ внизу, тамъ, гдѣ стояли уставшіе и обезсиленные люди, крики о спасеніи, плачъ, стоны не переставали смѣшиваться съ воемъ вѣтра, хищнымъ воемъ праздновавшаго побѣду чудовища".

Въ чемъ же лежитъ коренная, внутренняя причина распада? Отвѣтъ даетъ письмо сына Левы, который уходитъ изъ дому въ невѣдомую даль, чтобы „служить народу". Лева тоже цѣльная, прямая натура, какъ и мать. Если для нея семья все, ея Богъ и тиранъ, для него Богомъ является неподкупная совѣсть, которая не мирится съ жизнью только для себя, для семьи, чего бы это ни стоило другимъ. Мать приноситъ міръ въ жертву семьѣ, Лева жертвуетъ семьей во имя интересовъ міра, которые несовмѣстимы, по его мнѣнію, съ интересами современнаго семейнаго уклада. Въ письмѣ къ отцу онъ говоритъ: „Спрашиваешь ли ты себя еще, кто правъ изъ насъ? Знаешь, что я скажу тебѣ, отецъ. При настоящихъ условіяхъ, всякій изъ нашей семьи поступилъ, какъ могъ, и въ прямомъ смыслѣ слова виноватыхъ нѣтъ, всѣ правы. Ты могъ бы поставить другой вопросъ: должно ли оно было такъ случиться, не было ли возможности избѣгнуть этого распада? Я отвѣчу тебѣ увѣренно: нѣтъ, оно не могло быть иначе. Настоящая семья всегда носила въ себѣ зародышъ распаденія, а ея идеалы, внушаемые дѣтямъ, только углубляли эту пропасть. Если она еще не погибла, то она начинаетъ уже погибать, и она погибнетъ. Есть одно спасеніе отъ этого разгрома, ты его не захочешь, это работа для народа. Если бы ты воспиталъ насъ въ этой мысли, мы бы, можетъ быть, не разбрелись, твоя жизнь была бы иной, и всѣ бы мы работали другъ подлѣ друга, связанные не зоологически, не кровной связью, которая, ты видишь, разрывается отъ перваго усилія, какъ сгнившая нитка, а общими интересами народнаго дѣла, которые не сравняются съ родственными связями. Но безъ этого семья и общество, которое образуетъ эти семьи, должны разрушиться. Это неизбѣжно, какъ день послѣ ночи".

Идея повѣсти, ясно выраженная въ письмѣ Левы, далеко выходитъ за предѣлы исторіи семьи Розеновыхъ, и такъ въ каждомъ почти разсказѣ г. Юшкевича. Напомнимъ хотя бы исторію Иты Гайне, одной изъ безчисленныхъ „замѣститель-

ницъ", составляющихъ огромный кадръ несчастныхъ, осужденныхъ на поддержаніе современной семьи цѣною отказа отъ собственной семейной жизни и радостей материнства. Въ каждомъ произведеніи г. Юшкевича идейность содержанія преобладаетъ, что рѣзко выдѣляетъ его среди современныхъ беллетристовъ. До сихъ поръ въ его произведеніяхъ почти исключительно захваченъ міръ еврейства, кромѣ „Студента Павлова", въ которомъ авторъ сдѣлалъ попытку нарисовать неустойчивую психологію одного изъ представителей современной молодежи, попытку, по нашему мнѣнію, удачную, хотя выведенный имъ типъ и не вполнѣ законченъ.

Если идейность составляетъ преобладающую черту въ характерѣ таланта г. Юшкевича, то художественность является главнымъ элементомъ въ творчествѣ г. Куприна. Изъ десяти небольшихъ разсказовъ, составляющихъ сборникъ, трудно сказать, который лучше. Исключеніе составляетъ самый большой изъ нихъ „Молохъ". Несмотря на отдѣльныя превосходныя мѣста, напр., описаніе общей картины завода, въ разсказѣ, скорѣе повѣсти, чувствуется какая-то связанность, словно художникъ работаетъ подъ чуждымъ вліяніемъ.

Но стоитъ только отъ „Молоха" перейти къ слѣдующему разсказу „Ночная смѣна", и впечатлѣніе сразу мѣняется, словно предъ нами новый авторъ. И далѣе это новое впечатлѣніе все растетъ и усиливается, не ослабѣвая до конца этой небольшой книги. Это впечатлѣніе необычайной свѣжести, чистоты и яркости. Читая эти небольшія сцены, этюды и очерки, испытываешь такое ощущеніе, какъ въ ясный весенній день, когда воздухъ расширяетъ грудную клѣтку и дышется легко и свободно, а на ясномъ до прозрачности небѣ съ удивительною отчетливостью вырисовываются мельчайшія детали молодой зелени деревьевъ. Жизнь радуетъ въ такія минуты, и этою безсознательною радостью, что жизнь интересна, полна и глубока самыми разнообразными ощущеніями, проникнута вся книга. Художникъ, словно ребенокъ, выбѣжавшій въ поле, не можетъ натѣшиться непосредственностью бытія и передаетъ ее читателю, который и самъ заражается его здоровымъ, бодрящимъ настроеніемъ и невольно восклицаетъ: „Господи, какъ хорошо жить на свѣтѣ!" А между тѣмъ содержаніе разсказовъ вовсе не изъ веселыхъ. Въ нихъ, какъ и въ жизни, печаль и радость, смѣшное и грустное перемѣшиваются въ причудливыхъ узорахъ, слагаясь въ общую, пеструю и яркую картину, живую почти до осязательности.

Прекрасно, напримѣръ, описаніе тетеревиной охоты изъ разсказа „Въ лѣсной глуши".

Или описаніе болота и вымирающей на немъ семьи,

кругомъ застывшій въ туманѣ лѣсъ и дикая колыбельная пѣсня, которую, быть можетъ, тянули еще предки этой затерянной въ болотѣ семьи. Авторъ безсознательно подымается въ этомъ чудесномъ разсказѣ до высшаго символа, въ которомъ художественность изображенія проникнута глубокою идеею. Такое же глубокое впечатлѣніе производятъ и другіе разсказы, какъ „Ночная Смѣна", „Ночлегъ", „Дознаніе". Нѣсколько въ иномъ родѣ два послѣднихъ прекрасныхъ разсказа—„Въ циркѣ" и „На покоѣ", въ которыхъ тонкая психологія дѣйствующихъ лицъ изображена съ рѣдкимъ мастерствомъ, доступнымъ только настоящимъ художникамъ. Что особенно выдѣляетъ г. Куприна, это его сжатая манера,—ни одного лишняго штриха, ни одного шаблоннаго эпитета, во всемъ строгая соразмѣрность. Увѣренность и твердость рисунка, умѣніе сразу найти сущность изображаемаго явленія и нужную для даннаго образа точку освѣщенія, обнаруживаютъ въ г. Куприне художника, идущаго своею самостоятельною дорогою. Его послѣдній разсказъ „Трусъ", напечатанный въ январьскомъ номерѣ „Журнала для всѣхъ", по оригинальности задачи и художественному выполненію—лучшая вещь, напечатанная за послѣднее время. Психологія труса, еврея-актера, отправляющагося въ экспедицію съ суровымъ и смѣлымъ контрабандистомъ, это настоящій шедевръ. Цирельманъ—нервная и тонкая натура, чуткость и раздражительность которой дѣлаютъ его превосходнымъ артистомъ, увлекающимъ зрителей неподдѣльностью выражаемыхъ имъ чувствъ, и его товарищъ — Файбишъ, грубый и смѣлый, благодаря тупости, съ которою относится къ окружающимъ явленіямъ, два поистинѣ превосходныхъ образа. Настроеніе Цирельмана въ бойкой корчмѣ, гдѣ онъ увлекаетъ зрителей своею игрою, и ночью, во время злополучной экспедиціи, передано съ полнотою и законченностью, удовлетворяющею самую придирчивую критику.

Въ лицѣ г. Куприна русская литература, по нашему мнѣнію, обогатилась новой крупной силой, отъ которой мы можемъ ожидать многаго. Всѣ эти небольшіе разсказы, такіе изящные, законченные, цѣльные и глубокіе, показываютъ, что авторъ можетъ дать и нѣчто болѣе крупное, чѣмъ отдѣльный этюдъ или картинка. Въ „Молохѣ" видна уже попытка поставить себѣ большую задачу. Съ тѣхъ поръ прошло шесть лѣтъ, талантъ автора выросъ, окрѣпъ и сложился, и новая попытка въ этомъ направленіи, для насъ несомнѣнно, дастъ лучшій результатъ. Съ тѣхъ поръ г. Куприн освободился отъ несвойственныхъ ему пріемовъ въ искусствѣ, глушившихъ его самостоятельный талантъ и извращавшихъ его свободное влеченіе къ разносторонности

и полнотѣ жизни. Въ „Молохѣ“ онъ еще подражалъ, въ разсказахъ, послѣ того написанныхъ, въ особенности послѣдняго времени, какъ „Въ циркѣ“, „Болото“ и „Трусъ“, талантъ г. Куприна свободенъ вполнѣ, нашелъ свою дорогу и идетъ крупными шагами впередъ.

Куда онъ поведетъ его, увидимъ, но для настоящаго художественнаго дарованія жизнь на каждомъ шагу открываетъ такую глубину и ширь, что темъ не оберешься.

Въ текущей беллетристикѣ послѣдняго времени, къ сожалѣнію, эта жизнь почти не отразилась. И на ея блѣдномъ фонѣ, гдѣ мелькаютъ слабыя, какъ тѣни въ сумеркахъ, отраженія жизни, яркимъ до боли пятномъ выступаетъ „Не страшное“ Короленки. „Не страшное“—это мелочи жизни, которыя незамѣтно обволакиваютъ душу, постепенно усыпляютъ голосъ недовольства и гасятъ огонь свободы и чести, пока человѣкъ нечувствительно для себя не погрузится въ дремотное состояніе, изъ котораго выходъ одинъ—въ могилу. „Не страшное“ — потому что незамѣтное, будничное, притупляющее вниманіе своей обыденностью, тѣмъ, что все это „въ порядкѣ вещей“, какъ, напр., этотъ сонный машинистъ, который ведетъ поѣздъ, гдѣ разсказчикъ монотонно передаетъ несложную драму, разыгравшуюся на глазахъ у него, бокъ-о-бокъ, и которую онъ бы проглядѣлъ, если бы не ея трагическій конецъ, заставившій его проникнуть въ страшную силу „не страшнаго“.

„—Да, я, знаете, на одной изъ станцій пошелъ къ локомотиву. Машинистъ человѣкъ отчасти знакомый... Хронически, доложу вамъ, сонный субъектъ, даже глаза опухшіе.

„—Да?—спросилъ собесѣдникъ равнодушно.

„—Положительно-съ. Теперь представьте себѣ, такъ сказать, картину. Мы вотъ всѣ заснемъ. Поѣздъ несется на всѣхъ парахъ, а управляетъ имъ, все, такъ сказать, держитъ въ рукахъ человѣкъ нѣкоторымъ образомъ совершенно осовѣлый.

„Собесѣдникъ завозился на своемъ мѣстѣ и сказалъ съ признаками безпокойства.

„—Да... вы это вотъ съ какой стороны? Дѣйствительно, чортъ возьми... Положеніе!

„—Вотъ видите. А вѣдь тоже какъ просто выходитъ и какъ обыкновенно въ Петербургѣ тамъ или гдѣ... вообще въ какомъ-нибудь управленіи сидитъ человѣкъ и передъ нимъ—таблицы. Въ извѣстной графѣ—машинистовъ столько-то. Жалованія имъ, замѣтьте, столько-то, а поверстныхъ столько-то. Ну, поверстныя-то эти, это пробѣгъ, соотвѣтственно потребности. Цифра, такъ сказать, полезная, доходная. А вотъ жалованье людямъ величина уже перемѣнная, непрочная. Если взять меньше машинистовъ—меньше

жалованья... Понимаете: простая, такъ сказать, математика свободная игра цифръ, чернильный значокъ въ вѣдомости. Чего проще! А отъ этого по полямъ и равнинамъ вотъ въ этакія лунныя ночи мчатся вотъ этакіе же поѣзда, и съ машинъ тускло глядятъ впередъ полусонные, запухшіе глаза... Минута какая-нибудь... естественное дѣйствіе сна... И вотъ-съ, можетъ быть, надъ нами уже, такъ сказать, виситъ то, что всего таинственнѣе и неразгаданнѣе на свѣтѣ... Толчекъ какой-нибудь, трескотня, все кувыркомъ, стоны эти, крики тамъ...

„—Ну васъ, ей-Богу, съ вашимъ карканьемъ, — сказалъ собесѣдникъ и, приподнявшись съ подушки, сѣлъ на скамью.

„—Да нѣтъ, я, вѣдь, это такъ, для поясненія, такъ сказать, своей мысли, съ оттѣнкомъ невольной досады сказалъ первый.—Я не о физическомъ страхѣ говорю... Дастъ Богъ, доѣдемъ благополучно... Я это къ нашему разговору: и тутъ вѣдь все вполнѣ обыкновенно. Въ концѣ то вѣдь, если сказать по чистой совѣсти, непремѣнно простой значокъ на бумагѣ, сдѣланный гдѣ-нибудь въ Петербургѣ какимъ-нибудь господиномъ. И господинъ то опять самый обыкновенный: и сюртучокъ, и галстучекъ, и видъ порядочности... И дѣточекъ любитъ, и женѣ сувенирчики, разумѣется, даритъ...“

Да, вотъ какъ все просто и ничуточку не страшно, а жизнь то ау! Какъ оно и случилось съ разсказчикомъ. Нужна катастрофа, „стоны эти, крики тамъ“, чтобы человѣкъ встряхнулся, съ недоумѣніемъ и ужасомъ увидѣлъ, что ничего у него въ душѣ не осталось, все не то что ушло, а одеревенѣло, застыло и заглохло, и счастливъ, кого катастрофа еще можетъ разбудить, оживить въ немъ человѣческое и поднять его надъ „нестрашной“ будничной жизнью. Вотъ и Семенъ Николаевичъ Будниковъ, о которомъ идетъ разсказъ, въ началѣ жизни тоже имѣлъ „гдѣ-то тамъ, позади что-то этакое... идейное“. А тамъ наслѣдство, хлопоты объ устройствѣ, жизнь, текучая изо дня въ день, и засосало, сталъ человѣкъ самымъ обыденнымъ, заправскимъ животнымъ. Цѣль жизни, смыслъ ея, „идейное“ исчезло, осталось накопленіе безцѣльное и безсмысленное.

„И ничего этого... трагическаго что ли, страшнаго... Я и говорю,—дѣло самое обыкновенное: пріѣхалъ въ глухой городишко человѣкъ, который говоритъ о томъ, что деньги только средство, что жизнь наша ненормальна, что онъ будетъ работать для достиженія какихъ-то цѣлей, ну и прочее въ этомъ родѣ... И понемногу превращается въ Семена Николаевича Будникова“.

И самъ разсказчикъ тоже, пріѣхавъ учителемъ въ городъ, кипѣлъ и разныя цѣли имѣлъ въ виду, просвѣщать,

вліять на юношество, а потомъ, по маленьку да полегоньку, послѣ нѣкоторыхъ указаній начальства, безъ всего трагическаго и страшнаго, затихъ, замолкъ и сталъ обыденнымъ учителемъ, который учитъ, но никого не просвѣщаетъ. Отвѣтственность, связь людей другъ съ другомъ, идейность все ушло куда-то, пропало, осталось „нестрашное", тихое житіе.

У Будникова была такъ себѣ, „нестрашная", самая обыденная въ жизни стараго холостяка исторія—связишка съ дѣвушкой, съ теченіемъ времени сама собой прекратившаяся. А тутъ еще кстати подвернулся дворникъ Гаврила, который все дѣло прикрылъ вѣнцомъ по любви. Все, значитъ, и совсѣмъ благополучно бы было. Если бы не то, что все одно съ другимъ связано, одно за другое цѣпляется и такъ или иначе, но требуетъ завершенія. И у Будникова былъ одинъ моментъ, когда будто что-то человѣческое въ немъ шевельнулось къ обольщенной Еленѣ, что онъ и думалъ утишить тоже обыденномъ образомъ, проще говоря уплатить. Онъ предложилъ ей выбрать и взять себѣ одинъ изъ выигрышныхъ билетовъ, а когда она не взяла, самъ намѣтилъ ей карандашомъ билетъ, который и долженъ былъ считаться ея собственностью. Билетъ этотъ вдругъ и выигралъ... Дѣло темное, но Будниковъ деньги оставилъ, какъ и билетъ, у себя, а Елена вышла замужъ за Гаврилу. И шло все хорошо, пока не пошли сначала слухи объ этомъ выигрышѣ и не ввязался въ дѣло пропащій человѣкъ, ходатай по дѣламъ изъ темныхъ дѣльцовъ, Роговъ, бывшій ученикъ разсказчика, когда-то въ гимназіи подававшій большія надежды и сильно привязавшійся къ разсказчику въ тотъ его періодъ, когда и тотъ еще горѣлъ огнемъ свободы и чести. Но потомъ, испугавшись неудовольствія начальства, онъ не сумѣлъ отстоять начатыя имъ задушевныя бесѣды съ учениками и утратилъ вліяніе на чуткаго, но неустановившагося юношу. Мальчикомъ, а потомъ въ университетѣ Роговъ выдавался и способностями, и стремленіями, но потомъ свихнулся послѣ смерти любимой матери, сказалась и наслѣдственность отъ отца алкоголика, и въ родной городъ Роговъ вернулся уже проходимцемъ. Онъ постепенно сближался съ мужемъ Елены и подбиваетъ того выкрасть злополучный билетъ. Но Гаврила, подъ вліяніемъ разбуженной ревности къ Будникову и злости за утаенный выигрышъ, убиваетъ Будникова. И тогда въ душѣ разсказчика возстановляется вся незамѣтная цѣпь причинъ и слѣдствій, изъ которыхъ слагается „нестрашное", то, что „затопляетъ, затопляетъ всѣ уголки души..." Какъ могъ онъ жить бокъ-о-бокъ съ людьми, у которыхъ шла драма, а онъ даже не интересовался ею? Какъ могъ допустить, чтобы хо-

рошій мальчикъ, котораго онъ просвѣщалъ, сталъ мерзавцемъ? Зачѣмъ отъ страха передъ вздорными требованіями начальства отказался отъ благодарной роли просвѣтителя и превратился въ учителя—машину?

Нашъ блѣдный пересказъ не даетъ представленія о прелести выдержанной формы этого замѣчательнаго произведенія. Въ предыдущей книгѣ мы говорили о г. Короленкѣ по поводу III-го тома его разсказовъ. „Не страшное“ вноситъ въ знакомый образъ писателя новую черту, о которой намъ, вѣроятно, еще придется говорить. Это—неспокойный тонъ новаго разсказа, нѣкоторая тревожность, проникающая его, не ощущавшаяся въ его прежнихъ, всегда такихъ ясныхъ и спокойныхъ по настроенію, разсказахъ. Художникъ является тутъ не живописцемъ, а лирикомъ. Учитель, отъ лица котораго ведется разсказъ, не просто наблюдатель, онъ человѣкъ съ сложной и глубоко интересной душевной жизнью, и передавая намъ абрисъ простой драмы, участникомъ которой онъ считаетъ и себя, онъ пробуждаетъ и въ душѣ читателя сложныя и глубокія настроенія. Вслѣдствіе этого его разсказъ волнуетъ до глубины души, возбуждая жгучее чувство боли за ту жизнь, что „нестрашно“ и постепенно „затопляетъ всѣ уголки души“. Просыпается сознаніе отвѣтственности и встаетъ вопросъ, а что если и каждый изъ насъ тоже Будниковъ въ своей жизни. Что если смыслъ жизни и цѣль ея тоже потеряны и осталось только увлеченіе средствами, осталось „нестрашное“, незамѣтное прозябаніе изо дня въ день... А жизнь не стоитъ и быть можетъ близка у каждаго своя катастрофа, когда и онъ услышитъ призывъ, что сдѣлалъ онъ для осуществленія своихъ идеаловъ, для того идейнаго, которое у каждаго было „гдѣ-то тамъ, позади?...“

Памяти Н. К. Михайловскаго [1]).

Смерть Николая Константиновича Михайловскаго—самое крупное и самое тяжкое событіе въ литературѣ. Подъ впечатлѣніемъ этой неожиданной и великой утраты мысль замираетъ, и не можетъ опомниться отъ неожиданности, что вдругъ не стало человѣка, который въ теченіе сорока почти лѣтъ стоялъ во главѣ нашей журналистики, какъ признанный вождь и руководитель въ важнѣйшихъ вопросахъ общественности и критики. Не вѣрится, что навсегда смолкъ

[1]) Мартъ 1904 г.

голосъ, къ которому мы привыкли прислушиваться всякій разъ, когда въ литературѣ возникало новое явленіе, появлялось новое теченіе или выступалъ новый талантъ. Что скажетъ Михайловскій?—таковъ былъ обычный вопросъ читателя, съ которымъ онъ привыкъ обращаться подчасъ даже назойливо къ этому писателю, требуя отъ него разрѣшенія чуть ли не всякаго вопроса. И въ самой этой требовательности и настойчивости чувствовалось глубокое довѣріе къ мыслителю, сказывалась вѣра въ человѣка, въ его искренность и непоколебимость, какъ общественнаго борца.

И вдругъ его не стало, такъ неожиданно, такъ не вовремя... Онъ умеръ смертью прекрасною для самого себя, завидной для другихъ,—какъ истый боецъ, до конца на славномъ посту, съ перомъ въ рукахъ, не ослабѣвшій и не утомленный борьбою, защищая память двухъ своихъ соратниковъ по литературѣ, нанося гибельные удары противникамъ и съ новой силой подчеркивая дорогіе завѣты лучшихъ борцовъ за правду и справедливость.

„Своею смертью умираетъ совершившій свой путь, умираетъ побѣдоносно, окруженный тѣми, кто надѣются и кто даютъ священный обѣтъ“, говоритъ Заратустра.

Да, завидная, славная смерть, но тѣмъ болѣе ощущаемъ значеніе утраты мы, остающіеся, на которыхъ палъ этотъ нежданный, непредвидѣнный и неотвратимый ударъ.

Не билъ барабанъ передъ смутнымъ полкомъ,
Когда мы вождя хоронили,

—этимъ стихомъ стараго поэта г. Якубовичъ вѣрно выразилъ то чувство, которое подавляло всѣхъ у свѣжей могилы. Именно *вождя* потеряли мы, и мѣсто это осталось пустымъ, безъ достойнаго замѣстителя, котораго долго-долго придется ждать русскому обществу.

Ибо рѣдко такое сочетаніе силъ, какое такъ счастливо олицетворялъ въ себѣ покойный. Философъ русской жизни, публицистъ несравненный силы пера, неутомимый журналистъ, глубокій и разносторонній ученый, борецъ за правду и справедливость, непоколебимый общественный дѣятель, не знавшій сдѣлокъ съ честью и совѣстью,—это-ли не рѣдчайшій типъ писателя, дѣятеля и человѣка? И при томъ—удивительный работникъ, черта какъ-то не вяжущаяся съ представленіемъ о русскомъ человѣкѣ. Начиная съ конца шестидесятыхъ годовъ, когда онъ вошелъ вплотную въ обновленныя Некрасовымъ „Отечественныя Записки“, и до послѣдней минуты онъ жилъ съ перомъ въ рукахъ, поражая своей рабочей силой и выносливостью. Свершенной имъ работы хватило бы на добрый десятокъ первоклассныхъ

талантовъ въ области журналистики. И каждый моментъ этой долгой работы отмѣченъ печатью таланта, печатью рѣзкой, почти колющей индивидуальности, не поддающейся сравненію, до того въ ней было все свое—отъ несравненной формы и всегда оригинальной мысли и до того неуловимаго „нѣчто", что присуще только великому художественому таланту. Этимъ только и объясняется его огромное вліяніе. Къ Михайловскому нельзя было относиться безразлично: его можно было любить или не любить, но нельзя было не чувствовать. Онъ вносилъ съ собой страсть мысли и страсть писательскаго темперамента, возбуждавшія вокругъ цѣлую бурю чувствъ. И по поводу каждаго затронутаго имъ вопроса закипала борьба, въ которой не всегда Михайловскій соблюдалъ справедливость къ противникамъ, но зато была жизнь, яркая сверкающая и здоровая. Что-то боевое чувствовалось даже во внѣшности его—въ этомъ гордомъ наклонѣ его высокаго крутого лба и всей головы, въ прямой постановкѣ, словно неудержимо стремящейся вверхъ и къ движенію, всей фигуры и во вдумчиво устремлянныхъ впередъ упрямыхъ глазахъ. Боецъ и мыслитель—таково было первое впечатлѣніе отъ его красивой, стройной и какой-то строгой фигуры, внушавшей невольное почтеніе. Быть съ нимъ небрежнымъ, что называется „за панибрата", врядъ ли кому приходило въ голову. Чувствовалось что предъ тобой сила, и, какъ всякая сила, требущая осторожнаго и внимательнаго обращенія. Чувствовалось въ то же время и благородство этой силы, заставлявшее подтягиваться въ его присутствіи и слѣдить за собой. Такое же благараживающее вліяніе оказывалъ онъ и въ журналистикѣ, гдѣ его авторитетное слово сплошь и рядомъ являлось приговоромъ, что заставляло многихъ и многихъ быть и осторожнѣе, и сдержанѣе. Недаромъ такъ страстно ненавидѣли его разные „аристократы духа", еще такъ недавно чуть не въ пѣною у рта накидывавшіеся на него за "мѣткое и убійственное слово, которымъ онъ пригвоздилъ къ позорному столбу навѣки одного изъ ихъ лагеря. Ненависть этой породы „перевертней" и продажныхъ душъ—одинъ изъ самыхъ яркихъ цвѣтовъ въ вѣнкѣ Михайловскаго. И мы боимся, но думаемъ, что это такъ: скоро почувствуется въ литературѣ отсутствіе этого авторитетнаго голоса, который всѣ привыкли уважать и многіе бояться...

Выяснить значеніе Михайловскаго для русской жизни и литературы крайне трудно, благодаря широтѣ захвата его мысли и таланта. Въ сущности его сороколѣтняя работа заключаетъ въ себѣ исторію развитія русской общественности и русской мысли за это время. Онъ коснулся

всего, откликнулся на все далъ отвѣтъ на каждый вопросъ, поставленный жизнью. Съ нимъ много спорили, во многомъ не соглашались, но вліянія этой кипучей умственной и нравственной силы никогда не отрицали. Самый до извѣстной степени хаотическій характеръ этой работы лучше всего говоритъ, что предъ нами истинное отраженіе умственной работы цѣлыхъ поколѣній, которыя черпали полными пригоршнями изъ его неоскудѣвающей сокровищницы. Онъ не систематическій ученый, не строгій мыслитель, не публицистъ въ обычномъ значеніи, онъ—все вмѣстѣ. Это цѣльная живая личность, жившая всѣми силами ума и души, и только въ одномъ неизмѣнно вѣрная съ начала и до конца: въ стремленіи къ тому идеалу жизни, который сложился у него въ эпоху шестидесятыхъ годовъ и который онъ самъ такъ прекрасно и образно охарактеризовалъ, какъ осуществленіе въ жизни правды-истины и правды-справедливости.

„Всякій разъ,—говоритъ онъ въ предисловіи къ полному собранію своихъ сочиненій,—какъ мнѣ приходитъ въ голову слово „правда", я не могу не восхищаться его поразительной внутренней красотой. Такого слова нѣтъ, кажется, ни въ одномъ европейскомъ языкѣ. Кажется, только по-руски истина и справедливость называются однимъ и тѣмъ же словомъ и какъ бы сливаются въ одно великое цѣлое. Правда, въ этомъ огромномъ смыслѣ слова всегда составляла цѣль моихъ писаній. Правда-истина, разлученная съ правдой-справедливостью, правда теоретическаго неба, отрѣзанная отъ правды практической земли, всегда оскорбляла меня, а не только не удовлетворяла. И наоборотъ, благородная житейская практика, самые высокіе нравственные идеалы представлялись мнѣ всегда обидно-безсильными, если они отворачивались отъ истины, отъ науки. Я никогда не могъ повѣрить и теперь не вѣрю, чтобы нельзя было найти такую точку зрѣнія, въ которой правда-истина и правда-справедливость являлись бы рука объ-руку, одна другую пополняя. Во всякомъ случаѣ выработка такой точки зрѣнія есть высшая изъ задачъ, какія могутъ представиться человѣческому уму, и нѣтъ усилій, которыхъ жалко было бы потратить на нее. Безбоязненно смотрѣть въ глаза дѣйствительности и ея отраженію — правдѣ-истинѣ, правдѣ объективной, и въ тоже время охранять правду - справедливость, правду субъективную, — такова задача моей жизни. Нелегкая эта задача. Слишкомъ часто мудрымъ зміямъ не хватаетъ голубиной чистоты, а чистымъ голубямъ—зміиной мудрости. Слишкомъ часто люди, полагая спасти нравственный или общественный идеалъ, отво-

рачиваются отъ непріятной истины, и, наоборотъ, другіе люди, люди объективнаго знанія, слишкомъ часто наровятъ поднять голый фактъ на степень незыблемаго принципа. Вопросы о свободѣ воли и необходимости, о предѣлахъ нашего знанія, органичеекая теорія общества, приложенія теоріи Дарвина къ общественнымъ вопросамъ, вопросъ объ интересахъ и мнѣніяхъ народа, вопросы философіи, исторіи, этики, эстетики, экономики, политики, литературы въ разное время занимали меня исключительно съ точки зрѣнія великой двуединой правды. Я выдержалъ безчисленные полемическіе турниры, откликался на самые разнообразные запросы дня, опять-таки ради водворенія все той же правды, которая, какъ солнце, должна отражаться и въ безбрежномъ океанѣ отвлеченной мысли, и въ малѣйшихъ капляхъ крови, пота и слезъ, проливаемыхъ сію минуту".

Это неуклонное стремленіе въ одну сторону выработало въ Михайловскомъ борца за высшіе общественные интересы. Высокое развитіе общественности въ связи съ философскимъ обоснованіемъ его взглядовъ въ этой области создало изъ Михайловскаго самаго крупнаго публициста, боровшагося за свободу мысли, совѣсти и слова, за личность человѣка. По его словамъ, онъ былъ такъ счастливъ, что сразу, въ дни молодости, нашелъ основы своего міросозерцанія и донесъ ихъ неизмѣнными до могилы. Въ одномъ ему отказала судьба—увидѣть ихъ осуществленіе въ жизни, когда онъ могъ бы сказать съ полнымъ правомъ про себя: „нынѣ отпущаеши"... Съ той высоты, на которой онъ стоялъ по проникновенной мысли, по умудряющему опыту и знанію людей, онъ видѣлъ вблизи обѣтованную землю, но, какъ Моисею, ему не дано было войти въ нее...

Его не стало. Но духъ живетъ и будетъ жить, пока существуетъ русская литература, на страницахъ которой имя Михайловскаго выписано нетлѣнными знаками вслѣдъ за именами Бѣлинскаго, Добролюбова и Чернышевскаго. Ихъ завѣты онъ впиталъ въ себя, свято соблюдалъ ихъ всю жизнь и передалъ послѣдующимъ поколѣніямъ, всю жизнь примѣромъ своимъ поучая, какъ надо жить и... умирать. Ибо, какъ говоритъ Заратустра:

„Въ смерти вашей долженъ еще горѣть духъ вашъ и добродѣтель ваша, какъ вечерняя заря горитъ на землѣ: или смерть ваша плохо удалась вамъ.

„Такъ хочу умереть я самъ, чтобы вы, друзья, ради меня еще больше любили землю; и въ землю хочу опять обратиться я, чтобы найти отдыхъ у той, что родила меня".

Мало людей, которые посмѣли бы сказать про себя, что въ смерти ихъ горятъ духъ и добродѣтели ихъ, и къ ихъ

числу безспорно принадлежитъ Михайловскій. Онъ-то ужъ заработалъ свой отдыхъ у той, что родила его...

Въ области женскаго вопроса: [1])

Женскій вопросъ давно уже утратилъ ту остроту, съ которой онъ трактовался нѣкогда обѣими заинтересованными сторонами, но что онъ далеко не сошелъ со сцены, показываетъ художественная литература. Въ будничномъ строѣ жизни, когда часъ за часомъ уноситъ частицу бытія незамѣтно, но неумолимо и безвозвратно, мы какъ-то не видимъ за примелькавшимися явленіями, сколько въ нихъ таится страданія, которое поглощаетъ все лучшее, свѣтлое, жизнерадостное въ жизни цѣлой половины человѣческаго рода. И только художники отъ времени до времени вскрываютъ намъ тотъ или иной уголокъ женской души, чтобы показать, что не все здѣсь обстоитъ благополучно, что многое, сдѣланное и достигнутое въ этой области, далеко еще не рѣшаетъ вопроса, и женская личность еще не стоитъ на той высотѣ, которой она въ правѣ себѣ требовать, чтобы чувствовать себя не только женщиной, но и человѣческой личностью, прежде всего. Художественной литературѣ мы обязаны тѣмъ, что женскій вопросъ, все разростаясь и углубляясь, заставляетъ задумываться и равнодушныхъ къ нему зрителей, и участниковъ въ общей борьбѣ за лучшее будущее. Изъ цѣлаго ряда художественныхъ произведеній послѣдняго времени, затрогивающихъ женскій вопросъ, мы остановимся на нѣкоторыхъ, гдѣ онъ поставленъ въ болѣе чистомъ, безпримѣсномъ видѣ и потому съ особою силою бьетъ по нервамъ.

Въ этомъ отношеніи безспорно на первомъ мѣстѣ мы должны поставить небольшой, но полный жгучаго страданія очеркъ, скорѣе даже бѣглый эскизъ, картинку, схваченную на лету, г. Вересаева. „Проѣздомъ“ [2])—она такъ и называется, какъ бы съ цѣлью подчеркнуть, что предъ нами явленіе, примелькавшееся автору, какое мы можемъ наблюдать на каждомъ шагу, почему и не стоитъ его расписывать: достаточно его указать, и каждый самъ дополнитъ все недостающее въ картинѣ изъ личныхъ наблюденій.

---

[1]) Апрѣль 1904 г.
[2]) „Образованіе“, № 1.

Важно одно—дать главный пунктъ въ картинѣ, отмѣтить центральную точку, изъ которой исходятъ лучи, освѣщающіе и осмысляющіе все остальное. И въ этомъ смыслѣ картина г. Вересаева вполнѣ законченное произведенье, представляющее цѣлую драму человѣческой жизни, одной изъ многихъ, можно не обинуясь сказать—безчисленныхъ жизней.

Даны два особо выпуклыхъ момента въ жизни женщины—сначала предъ нами „она“ невѣстой, затѣмъ „она“ женой и матерью. Въ противопоставленіи этихъ двухъ моментовъ и выясняется драма. Студентъ Ширяевъ и его невѣста Катерина Николаевна, оба сверкающіе всѣми красками молодого чувства и жизнерадостности, и докторъ со своей женой Марьей Сергѣевной, подавленные и отцвѣтшіе, какъ растенія, которыхъ осенью хватилъ ранній морозъ. А между тѣмъ оба они еще молоды, но кажутся какъ бы не въ расцвѣтѣ силъ, а въ концѣ жизненнаго пути, когда тяжкіе итоги давятъ плечи и сгибаютъ спину. Вначалѣ—поэзія, блескъ, игра бьющей черезъ край отъ полноты силъ души. Спустя десять лѣтъ вотъ какое настроеніе, вызывающее слѣдующіе разговоры.

„— Скажи, пожалуйста, ты видѣлъ книгу... Какъ ее, Викторъ Михайловичъ? Да, „Проблемы идеализма“... Видѣлъ ее?—спросила Марья Сергѣевна доктора.

„— Видѣлъ,—неохотно пробурчалъ докторъ.

„— Удивительное дѣло! — нервно засмѣялась Марья Сергѣевна.—А я даже и не знала ничего, ничего даже и не слыхала про нее.

„— Кто же въ этомъ виноватъ?—докторъ пожалъ плечами.

„— Вотъ и подумай, кто въ этомъ виноватъ... Отъ кого я что-нибудь могу услышать, кромѣ тебя? Весь день торчу въ кухнѣ и дѣтской, забочусь, чтобъ тебѣ обѣдъ былъ во время и чтобы дѣти тебѣ не мѣшали спать послѣ обѣда... Откуда же я могу узнать?

„— Ну, пошло!—нахмурился докторъ и тяжело вздохнулъ.

„— Да, пошло!.. „Общеніе“, „совмѣстная духовная жизнь“... Какія красивыя слова, какъ пріятно употреблять ихъ въ умныхъ разговорахъ! Со стороны можно подумать, какой новый человѣкъ, съ какими новыми требованіями отъ брака! А на повѣрку выходитъ—обыкновенный мягкотѣлый интеллигентъ, нужно только все прежнее.

„Она говорила нервнымъ, спѣшащимъ голосомъ, какъ-будто нарочно старалась не дать себѣ времени одуматься. Ширяеву было неловко. Въ глазахъ доктора загорался

мрачный неврастеническій огонекъ, онъ тоже уже терялъ желаніе замять ссору и не дать ей разгорѣться хоть при чужомъ человѣкѣ.

„— Скажи, пожалуйста, причемъ тутъ мягкотѣлость?— спросилъ онъ, враждебно глядя на жену.

„— Нужно только все прежнее, — продолжала Марья Сергѣевна.—Чтобъ жена рожала дѣтей, заботилась о провизіи и о дровахъ и устраивала уютъ, а чтобъ самому спокойно пользоваться жизнью... Господи, настоящіе пауки, право. Приникнутъ къ женщинѣ и сосутъ, и высасываютъ умъ, запросы, всю духовную жизнь. И остается отъ человѣка одна родильная машина“.

Смущенный этими горькими рѣчами, студентъ Ширяевъ „смотрѣлъ на Марью Сергѣевну и думалъ: вѣдь, были же были у нея эти ясные, славные глаза, съ какими она снята на группѣ... Обманывала ли ими жизнь, какъ она обманываетъ людей мимолетною дѣвическою прелестью, или тутъ погибло то, что не могло и не должно было погибнуть? И почему тогда оно погибло такъ легко и такъ безвозвратно?“

И счастливый влюбленный студентъ, ругнувъ про себя доктора „русакомъ проклятымъ“, увѣренъ, что въ „ихъ жизни ничего подобнаго не повторится. „Люди ищутъ новаго счастья и ждутъ, что къ нему притти также легко, какъ къ старому; а жизнь и дремуча, и не раздвигается сама собой въ гладкую дорожку; кто хочетъ новыхъ путей, долженъ выходить не на прогулку, а на работу“.

Такъ же, какъ эта докторша, чахнетъ въ повѣсти г-жи Дмитріевой („Руск. Бог.“, январь—февраль) „Тучки“ кончившая консерваторію, жена земскаго начальника „Барбарисыча“, Евгенія Ивановна. Правда, ее хоть дѣти утѣшаютъ, но и она чувствуетъ, какъ жестоко дѣйствительность разошлась съ мечтами ея дѣвическихъ лѣтъ.

„— Вотъ, Дора, вы все гоните, гоните меня на сцену... Развѣ можно отъ нихъ (дѣтей) уйдти?

„Дора Яковлевна смутилась, покраснѣла и брови ея нахмурились.

„— Я и не говорила никогда, что вамъ надо уйдти отъ нихъ,—рѣзко возразила она.—Развѣ артистка должна быть непремѣнно монахиней? Вотъ уже несогласна и несогласна! Это мужчины выдумали, что ужъ если женщина вышла замужъ, такъ и сиди на привязи у семейнаго очага, а сами-то они преспокойно женятся и плодятъ дѣтей, да вѣдь не мѣшаетъ же имъ это быть и учеными, и писателями, и артистами, и... земскими начальниками!—неожиданно прибавила она и сама разсмѣялась.

„Евгенія Ивановна тоже улыбнулась, но улыбка у нея

вышла какая-то неловкая, точно ей совсѣмъ не было смѣшно и нужно было только показать, что смѣшно, и что она сама не прочь надъ собой посмѣяться.

„— Вы еще совсѣмъ не понимаете жизни, Дора,—сказала она, поглядывая то на Дору, то на Надежду Григорьевну своими красивыми, немножко усталыми глазами.— Хотя вы обѣ и ученыя дѣвицы, но ничего-ничего вы не понимаете. Ахъ, милыя мои, я тоже мечтала, когда мнѣ было 20 лѣтъ. Мы познакомились съ Борисомъ Борисычемъ въ вагонѣ желѣзной дороги... Я ѣхала въ консерваторію, а онъ въ университетъ. Ахъ, какъ мы хорошо говорили, если бы вы знали!.. Мы не спали всю ночь, и какіе были планы, какія мечты, какія огромныя дѣла мы хотѣли дѣлать!.. А вотъ прошло 10 лѣтъ... и Борисъ Борисычъ—земскій начальникъ, а я мать троихъ дѣтей... и только!..“

„Быть экономкой и нянькой—и больше ничего!.. Мать троихъ дѣтей—и только!“ Эти и имъ подобныя жалобы, какъ заключительный аккордъ, звучатъ въ массѣ произведеній, посвященныхъ женской жизни не только въ русской литературѣ. Припомнимъ мать и сестру героини романа Елены Белау „Полуживотное“, напр., гдѣ съ особой рѣзкостью и горечью авторъ подчеркиваетъ этотъ обидный конецъ женской жизни. Или въ романѣ „Сотрудница“, гдѣ попытки жены стать товарищемъ мужа тоже кончаются неудачей.

Мы слышали эти жалобы столько разъ, что онѣ успѣли уже достаточно намъ наскучить, и уже не обращаемъ на нихъ вниманіе. Но въ послѣднее время начинаютъ звучать уже и новыя нотки, на которыхъ стоило бы остановиться.

Кто же виноватъ? Жизнь такъ устроена, говоритъ докторъ въ очеркѣ г. Вересаева. Надо искать новыхъ путей, замѣчаетъ про себя влюбленный студентъ. Какіе же эти пути? Намекъ на нихъ есть въ упомянутомъ романѣ Белау, въ которомъ Изольда не подчиняется общей дорогѣ для дѣвушекъ—выдти .замужъ, рожать дѣтей—и только. Ей удается отвоевать себѣ свой уголокъ въ мірѣ искусства и она увлекается гордыми мечтами о самостоятельномъ творчествѣ. Но ей помогло отчасти счастливое обстоятельство— неожиданное богатство, а также искра таланта, не давшая ей опошлѣть и опуститься. Авторъ, однако, не довелъ ея жизни до полнаго завершенія и удовлетворенія, заставивъ ее трагически покончить съ жизнью, хотя и съ гордой надеждой, что въ конечномъ итогѣ побѣда останется за женщиной, которая сумѣетъ сама проложить свою дорогу къ счастью.

Не у каждой, однако, обстоятельства такъ счастливо слагаются, какъ у Изольды. И богатство, и талантъ—даръ

случая, и не на нихъ можетъ строить женщина зданіе своего лучшаго будущаго, гдѣ бы ни материнство не становилось для нея проклятьемъ, ни замужество не преображало ихъ въ насѣдокъ и кухарокъ. Такой опорой можетъ служить только *личность*, разъ сознавшая себѣ цѣну и понявшая, что выше, важнѣе и цѣннѣе нѣтъ ничего на свѣтѣ. Такое пониманіе не дается разомъ, не можетъ быть вычитано хотя бы изъ самой умной книги,—оно является какъ результатъ долгой и упорной борьбы съ жизнью, съ самимъ собой, съ людьми. И понемногу это пониманіе себя, какъ самоцѣнной личности, пролагаетъ себѣ дорогу въ жизни, хотя съ великими усиліями и огромной подчасъ болью.

Въ романѣ Ильзы Франанъ „Трудъ“ мы видимъ такую же болѣзненную и тяжкую дорогу въ борьбѣ за свою личность. Жизнь Іозефины Гейеръ сложилась вначалѣ по обычному порядку. Она замужемъ, мать четырехъ дѣтей и пока только жена и мать. Но вотъ разражается надъ семьей громовой ударъ, въ видѣ преступленія, совершеннаго мужемъ, ударъ, разбивающій все. Обычный порядокъ готовъ придти на помощь со своими столь же обычными рецептами—скрыться гдѣ-нибудь, въ тихій уголокъ, гдѣ можно укрыть отъ постороннихъ свой позоръ и свое горе, и тамъ тихо исчахнуть вдали отъ людей. Но въ эту-то минуту и просыпается въ Іозефинѣ нѣчто, что заставило ее всѣмъ существомъ противиться уговорамъ любящаго отца и сестеръ уѣхать, покинуть городъ и заняться всецѣло только воспитаніемъ дѣтей, всю себя и весь остатокъ еще не изжитыхъ силъ пожертвовать дѣтямъ и несчастному преступнику. Это „нѣчто“—пока еще полусознательное представленіе, что жизнь вовсе не заключается въ жертвѣ собою, что есть что-то болѣе цѣнное, хотя и неизмѣримо болѣе трудное, чѣмъ любая жертва. Это—борьба за свое человѣческое достоинство во имя неустаннаго совершенствованія себя и черезъ себя—всего, что со мною такъ или иначе связано и соприкасается. И Іозефина выходитъ на эту дорогу борьбы, тяжкую для всѣхъ, вдвойнѣ тяжелую для женщины вообще и въ ея положеніи въ особенности. Медленно и постепенно, путемъ тяжкаго личнаго опыта она добивается сравнительнаго благополучія, когда возвращеніе мужа чуть-было не губитъ всѣхъ результатовъ ея трудовой жизни. Но борьба не даромъ такъ тяжела вообще,—она закаляетъ людей, и тамъ, гдѣ другіе падаютъ, привычный къ борьбѣ можетъ устоять. И героиня въ концѣ концовъ сумѣла отстоять себя и увидѣть, что ея героическія усилія не пропали даромъ.

Мы не послѣдуемъ за нею далѣе, не въ ней дѣло,—мы хотѣли только отмѣтить новую постановку женскаго во-

проса, этого коренного вопроса не только современности Потому что, пока не будетъ рѣшенъ вопросъ о достойномъ существованіи цѣлой половины рода человѣческаго, онъ, какъ гири на ногахъ, будетъ мѣшать дальнѣйшему ходу впередъ. А рѣшить его можетъ только сама женщина, и никто ей въ этомъ помочь не въ силахъ.

Напрасно поэтому такъ раздражается жена доктора въ очеркѣ г. Вересаева. „Интеллигентъ мягкотѣлый", ругаетъ она своего мужа. „Присосутся къ женщинѣ, какъ пауки, и сосутъ, и высасываютъ умъ, запросы, всю духовную жизнь",—бросаетъ она безпощадное обвиненіе по адресу всѣхъ мужчинъ. Такъ ли, однако? Было ли что высасывать, эти самые запросы и духовная жизнь? А если и были, то почему же она позволила ихъ высосать? Глядя на ея дѣвичью карточку, снятую на голодѣ, гдѣ наша докторша славно поработала, и воспоминаніями о томъ времени молодитъ свою сѣрую жизнь,—Ширяевъ тоже задается почти такимъ же вопросомъ: „вѣдь были же у нея эти ясные, славные глаза... Обманывала ли ими жизнь, или тутъ погибло то, что не могло и не должно было погибнуть?" Можетъ быть, инымъ это покажется жестоко, но мы думаемъ, что не было, и что тутъ ничего въ сущности цѣннаго не погибло. Были, пожалуй, мечты, преувеличенная оцѣнка себя, столь свойственная молодости вообще, когда „міръ кажется тѣсенъ" и отъ накопившихся силъ кажется себѣ человѣкъ чуть не титаномъ. А только столкнулся съ горькой дѣйствительностью—и титанъ превратился въ самаго обычнаго сѣраго нытика. Была, словомъ, обычная молодая иллюзія, но цѣннаго ядра, существа человѣческаго, гордой силы—не было.

Такъ-то оно такъ, въ правѣ возразить намъ, но, можетъ быть, она пожертвовала этими силами мужу, дѣтямъ. Ахъ, сколько разъ приходится и читать, и слышать походя про ту или иную „жертву" семейной жизни, и всякій разъ намъ хочется сказать въ отвѣтъ: „Да нужна ли еще была эта жертва?" И позвольте спросить—кому? Начнемъ хотя бы съ мужа, съ этого злого „паука",—что же, сладко ему живется? Онъ очень счастливымъ себя чувствуетъ оттого, что высосалъ запросы и все прочее? Отвѣтъ можетъ быть только отрицателенъ. Онъ-то больше всѣхъ, можетъ быть, несчастенъ, если только есть въ немъ хоть искра человѣчности и способности понимать чужія страданія. Разъ предъ нимъ жена-жертва, значитъ онъ—палачъ, а это во всякомъ случаѣ сознаніе не изъ пріятныхъ. Да и выслушивать такія признанія, какъ выше приведенныя, согласитесь—какое ужъ тутъ счастье? Выходитъ, стало быть, „пауку" жертва

не доставила ни малѣйшаго счастья, а вѣрнѣе—наоборотъ: отправила жизнь въ конецъ. Остаются дѣти. Мать, жертвующая собою для дѣтей, это ли не священнѣйшее призваніе женщины? Жена доктора боится съ нянькой оставить дѣтей на ночь, сама съ ними спитъ, и потому всегда чувствуетъ себя не выспанной (этимъ отчасти объясняется ея дурное расположеніе). Очень прискорбное обстоятельство, за которымъ много-много другихъ, по мѣрѣ роста дѣтей, предвидится впереди, вплоть до унизительныхъ компромиссовъ съ честью и совѣстью, все ради дѣтей, какъ мы слышимъ сплошь и рядомъ въ жизни. Это ли не святыя жертвы? Нѣтъ, будь онѣ прокляты, и эти жертвы!— съ полнымъ правомъ могли бы отвѣтить дѣти. Да и отвѣчаютъ подчасъ, замѣтимъ въ скобкахъ. Принижая себя, свою личность, отказываясь ради дѣтей отъ своихъ правъ на полное и яркое существованіе, такія матери прежде всего губятъ своихъ дѣтей, которымъ онѣ создаютъ жизнь такую же нудную, сѣрую, никчемную, какъ и своя собственная, почему лучшія изъ дѣтей и начинаютъ самостоятельную жизнь съ разрыва съ своими „отцами", т.-е. съ семьей. Все это настолько старыя и печальныя истины, что развивать ихъ, надѣемся, нѣтъ надобности.

Жертва еще не оправданіе. А если это жертва своимъ человѣческимъ достоинствомъ, то и того хуже,—это уже отчужденіе. „Милости хочу, а не жертвы", давно это сказано, и не даромъ сказано. Потому что жертва убиваетъ жизнь, а только жизнь имѣетъ цѣну. И потому не жертвовать собой, своей личностью надо, а всегда быть самимъ собой. Вотъ тогда и скажется то, что было въ насъ и что не должно погибать. Конечно, на повѣрку очень часто оказывается, что ничего и не было въ душѣ, кромѣ иллюзій, а подчасъ и прямой дрянности, только прикрытой громкими словами, какъ, смѣемъ думать, и случилось съ несчастной женой нашего доктора или земской начальницей въ разсказѣ г-жи Дмитріевой. На голодѣ она чувствовала себя превосходно, въ воронежской библіотекѣ и того превосходнѣе. Почему? Потому что боролась, помогала, учила. Но что же ей помѣшало и дальше бороться? Мужъ и дѣти? Странно это слышать. Если велика была въ ней потребность борьбы, мужъ и дѣти только усилили бы эту потребность, послужили бы новымъ толчкомъ, новымъ стимуломъ для борьбы съ жизнью, съ тѣмъ же голодомъ, физическимъ и духовнымъ, съ тѣми условіями, которыя создаютъ этотъ голодъ. Но вышло совсѣмъ иное, и вмѣсто борца предъ нами кислая дама, изливающая свои „горя" передъ первымъ встрѣчнымъ, дама, какихъ тысячи. Всѣхъ

ихъ въ сущности жаль, но и слезы, и жалобы ихъ—праздное занятіе. Отъ нихъ ни имъ, ни окружающимъ не становится легче. Только скучно и имъ самимъ, и съ ними.

Не знаемъ, обратили ли наши читатели вниманіе въ повѣсти г. Тана „За океаномъ" на поразительное различіе въ томъ, какъ чувствуютъ себя въ Америкѣ переселившіяся туда интеллигентныя женщины и простыя русскія бабы. Первыя въ буквальномъ смыслѣ изнываютъ въ тоскѣ и чахнутъ отъ неумѣнья, куда имъ приложить свои силы. Въ нихъ развиваются нездоровые аппетиты, ихъ дразнитъ роскошная жизнь большихъ городовъ и онѣ незамѣтно для себя опускаются. Совсѣмъ иначе чувствуютъ и живутъ вторыя. Какъ-нибудь Авдотья или Ѳеня, у себя на родинѣ сознававшая себя развѣ на одну ступень выше домашняго животнаго, тутъ развертываются въ человѣка. Начинается это не только съ повышенія простыхъ житейскихъ потребностей, съ новыхъ привычекъ — лучше ѣсть, чище одѣваться и быть какъ „всѣ", но и сознательная человѣческая душа очень быстро оживаетъ. Подавленная у себя на родинѣ нуждой и приниженностью, душа женщины въ новыхъ условіяхъ быстрѣе, чѣмъ мужчины, подымается и крѣпнетъ, какъ растеніе, выбившееся изъ-подъ снѣга. Жена рабочаго Усольцева, врядъ ли мечтавшая дома о чемъ-либо, кромѣ того, какъ быть сытой и дѣтей накормить, здѣсь упрекаетъ мужа и его товарищей, почему они не устроятъ дежурствъ на островѣ, гдѣ временно задерживаются эмигранты, чтобы помогать пріѣзжимъ: „насъ люди тоже выручали!" Просыпается чувство товарищества, благожелательства и взаимной поддержки. Отчего же происходитъ это, что интеллигентная женщина, нѣкогда всю себя отдававшая голодающимъ, библіотекамъ и прочимъ высокимъ предметамъ, — здѣсь превращается въ даму, мечтающую о тысячныхъ нарядахъ и со злостью протестующую, когда на одну доску ставятъ ее съ прислугой. „Нѣтъ, скажите пожалуйста! Почему она лѣзетъ ко мнѣ въ подруги? Я совсѣмъ иначе устроена. У меня другія потребности, другія мысли. Ей совсѣмъ не къ чему сидѣть со мною за однимъ столомъ". Вотъ какъ разсуждаетъ, можетъ быть, бывшая народница, во время оно кипѣвшая горячимъ желаніемъ „слиться съ народомъ", и не только кипѣвшая, а дѣйствительно приносившая все въ жертву ради этого сліянія. Въ жертвѣ—въ этомъ вся разгадка. Жертва — это своего рода гипнозъ, опьянѣніе, подымающее ее до подвига, эту бѣдную русскую интеллигентную женщину. А здѣсь, въ Америкѣ не надо жертвы, никто ея не проситъ, да и не приметъ. Жизнь такъ устроена въ этомъ новомъ мірѣ, что

каждому, если есть въ немъ силы, находится свое мѣсто и возможность развернуться, проявить себя, если только есть что проявить. Послѣднее—главное. Мы сильно сомнѣваемся, во что превратилась бы тамъ жена нашего доктора,—не стала ли бы она лѣтъ черезъ десять въ Америкѣ тоже жаловаться, что Америка у нея все „высосала, всѣ запросы, всю духовную жизнь“.

И не она одна. Безконечной вереницей проходятъ онѣ, эти славныя русскія дѣвушки, которыя тысячами устремляются на голодъ, въ народныя библіотеки, въ учительницы, въ сестры милосердія, словомъ, всюду, гдѣ нужда, мракъ, страданіе. Кажется, какая бездна силъ, сколько энергіи, чтобы весь міръ перевернуть. И потомъ — какое быстрое превращеніе въ мокрыхъ курицъ, въ насѣдокъ и нервныхъ дамъ! Тутъ есть надъ чѣмъ призадуматься. Куда дѣвалось все старое, и откуда взялось это новое? И кто виноватъ въ неожиданномъ превращеніи? Прежде всего виноватъ „онъ“, бывшій герой, нѣкогда увлекавшій „ее“ пылкими рѣчами.

Спору нѣтъ, „онъ“ вообще тоже виноватъ, не меньше во всякомъ случаѣ, чѣмъ она, и г. Вересаевъ правдиво обнажаетъ намъ бывшаго героя, заставляя его дать такую реплику на упрекъ въ „высасываніи“.

„— Ты скажи мнѣ, при чемъ тутъ мягкотѣлость... Ну, укажи мнѣ,—вотъ я спрашиваю тебя, какъ иначе устроить нашу жизнь? Самъ я не могу заботиться объ обѣдѣ, потому что до обѣда мнѣ нужно принять сто человѣкъ больныхъ, послѣ обѣда мнѣ нужно поспать, а то я вечеромъ не въ состояніи буду ѣхать къ больному. Если я вздумаю слѣдить за дровами и провизіей, то не въ состояніи буду зарабатывать на дрова и провизію. Ребятъ мнѣ няньчить некогда... Въ чемъ же я могу тебя облегчить? Ну, скажи, укажи, въ чемъ?

„— Вотъ, вотъ, это самое и выходитъ: будь экономкой и нянькой, и больше ничего!—засмѣялась Марья Сергѣевна.

„— Это самое и выходитъ: будь экономкой и нянькой,— угрюмо вызывающе подтвердилъ докторъ. — Оно такъ въ дѣйствительности и есть въ каждой семьѣ, да и не можетъ быть иначе. Только интеллигентный человѣкъ стыдится этого и старается скрыть отъ постороннихъ, какъ какую-то тайную дурную болѣзнь. Почему же мнѣ этого прямо не признать? Если люди женятся для бездѣтнаго разврата, то вопросъ, конечно, рѣшается легко; но тогда зачѣмъ жениться? А въ противномъ случаѣ женщина только и можетъ быть матерью и хозяйкой.

„— Вотъ какъ! — протянула Марья Сергѣевна. — Я это отъ тебя въ первый разъ слышу.

„— Да. И всѣ нынѣшнія... общественныя формы, что ли, таковы, что иначе и не можетъ быть. Мы теоретически выработали себѣ идеалъ, который соотвѣтствуетъ совсѣмъ другому общественному строю, болѣе высокому, и идемъ съ этимъ идеаломъ въ настоящее, гдѣ онъ не примѣнимъ, и всѣ только мучаются, надсаживаются, проклинаютъ свою жизнь“.

Но довольно. Бѣдный докторъ виновенъ и не заслуживаетъ ни малѣйшаго снисхожденія. Тѣмъ не менѣе, да будетъ позволено часть вины, и очень значительную, перенести и на „нее“. Какъ могло это случиться, что только теперь „она“ услышала такое признаніе, что „женщина только и можетъ быть матерью и хозяйкой“, т.-е. „полуживотнымъ“, по энергичному опредѣленію Елены Белау? А очень просто.—„Она“ всю жизнь жила по чужой указкѣ, сама же ничего своего не вносила въ жизнь. Сначала эта указка заключалась въ „умной книгѣ“, въ „новомъ направленіи“, которому она беззавѣтно отдавалась. Непремѣнно беззавѣтно, т.-е. безъ критики, безъ думы о томъ, насколько оно отвѣчаетъ ея личности, ея силамъ и запросамъ. Чужія мысли, чужія настроенія она принимала за свои, съ тѣмъ большей охотой, что это страшно облегчало жизнь. Вѣдь такъ трудно вырабатывать свое, отстаивать его и тѣмъ паче проводить на практикѣ. Затѣмъ выступаетъ въ роли руководителя и „учителя жизни“—онъ, самъ такой же несамостоятельный, весь изъ чужихъ мыслей и настроеній состряпанный, свято вѣрующій, какъ влюбленный студентъ Ширяевъ, что у „нихъ“ все будетъ по иному. Далѣе уже вмѣстѣ они отдаются безвольно теченію жизни, не замѣчая, какъ черезъ десять лѣтъ она—„только мать и хозяйка“, а онъ—волъ подъяремный. И тогда наступаетъ катастрофа.

А впрочемъ—никакой катастрофы не бываетъ. Ибо для катастрофы тоже сила нужна, оригинальность, нѣчто свое, т.-е. именно то, чего въ нашихъ герояхъ и не было съ самаго начала; тѣмъ менѣе можно ихъ ожидать въ концѣ.

Гдѣ же выходъ? И есть ли онъ вообще? Или же женщинѣ только и остается ждать, что придетъ кто-то и все передѣлаетъ по-новому, по-хорошему? Нѣтъ, никто не придетъ, никто ничего не передѣлаетъ. Только она сама можетъ это сдѣлать.

Въ разсказѣ г-жи Шапиръ „Дунечка“ есть любопытный разговоръ, имѣющій прямое отношеніе къ нашей темѣ. Ѣдущая по дорогѣ съ Дунечкой, Юлинька, разбитая жизнью интеллигентная дѣвушка, направляющаяся въ глухой уголокъ Сибири учить дѣтей и тамъ сложить свою не нашед-

шую нигдѣ пристанища бѣдную голову, задаетъ Дунечкѣ вопросъ:

„— Вы развѣ замужъ вовсе не собираетесь? Зарокъ? — спросила она ласково.

„Дунечка не сразу отвѣтила. Сняла свою шубку, шапочку и завернулась въ теплый платокъ.

„— Коли я замужъ зря выскочу — ну, тогда, значитъ, душа коротка оказалась. Сборы только большіе.

„— Это какъ же понимать надо—зря?.. Безъ любви, что ли?

„Усмѣхнулась и снисходительно поглядѣла на барышню.

„— Можно и по любви, да зря. Не изъ-за чего жизнь-то ломать. Развѣ для любви стоитъ ломать, что ужъ сдѣлано?.. Сколько труда, усилій... Надолго ея хватитъ, любви этой!

„— Ну... разная тоже любовь бываетъ, это вы напрасно,— возразила Юлинька.

„— Ничего не разная. У васъ это, у дворянъ, о любви невѣсть что воображаютъ... да чего только и не натерпятся черезъ нее! Воображаютъ, будто она сильнѣе всего на свѣтѣ.

„— Да вы, Дунечка, вѣрно и влюблены-то никогда еще не были?... Недосугъ... отъ большого прилежанія.

„Дунечка нахмурилась и помолчала нѣсколько минутъ.

„— Была, не безпокойтесь... Въ студента. Давно уже... Гдѣ-то онъ теперь мыкается несчастный. Вотъ ужъ кому тоже нянька нужна, все равно какъ вамъ!..

„— Отчего же такъ?—подсказала Юлія Николаевна.

„— Выслали его тогда. Больной... за душой ни гроша... Нигдѣ ни души... Умеръ, должно быть. Да и лучше.

„— Фу, что вы говорите! А еще любили!

„Дунечка вспыхнула и насупилась.

„— Потому и говорю, что жалко. Кромѣ мученья всякаго, этотъ человѣкъ ничего для себя въ жизни не найдетъ. Горе его обойдетъ, такъ онъ и самъ въ догонку за нимъ пустится. Тутъ люби не люби—все одно.

„— Вотъ что! Такихъ людей немало, Дунечка, для которыхъ жизнь мученье. Неужто всѣхъ ихъ въ гробъ заколотить?..

„Дунечка сердито дергала бахрому сѣраго платка.

„— Не понимаете, что я говорю... Странно даже!

„— Понимаю, понимаю! Благополучные люди—прекрасные люди. А кто мучается, тотъ и другимъ жизнь портитъ... Зрѣлище непріятное! Не вы одна такъ думаете, Дунечка! Вамъ Богъ проститъ... совсѣмъ вы юная. Не потому, сколько лѣтъ, а всѣмъ... сырая вы еще совсѣмъ! Мнѣ оттого на васъ смотрѣть весело — весною вѣетъ. А только слушать васъ жутко подчасъ.

„Дунечка, смущенная, силилась понять. Не первый разъ

она такое слышитъ... Пусть хоть бы разъ одинъ человѣкъ объяснилъ понятно: почему точно какъ стыдно быть счастливой? Коли ты всего сама добилась, повезло тебѣ, неужто это все равно, будто ты чужое отняла?!. Да съ какой же стати, Господи, кто это выдумываетъ?

„Дунечка не могла успокоиться.

„— Вотъ я васъ не понимаю... для чего въ дикую глушь пропадать тащитесь черезъ силу? Въ Сибирь...

„— Тамъ у меня знакомые живутъ. Къ хорошимъ людямъ поближе.

„— Да жизнь-то какая же тамъ съ вашимъ-то здоровьемъ? Какъ ужъ тогда и жить, не понимаю. По моему, каждый человѣкъ долженъ все выше и выше карабкаться, коли силы хватаетъ,—только это и жизнь. Тогда всѣмъ хорошо и будетъ, когда на худое никто соглашаться не захочетъ, развѣ не правда?“

Такъ разсуждаетъ, главное, такъ чувствуетъ здоровая, непосредственная натура, родная сестра Ѳени, которая въ Америкѣ, встрѣтивъ подходящія условія, токе карабкается выше, коли силы хватаетъ, и не понимаетъ, чѣмъ такъ недовольны „барыни“, пріѣхавшія изъ Россіи. Стремленіе карабкаться выше всегда идетъ рука объ руку съ стремленіемъ развить всѣ возможности, въ каждомъ изъ насъ заложенныя, не подчиняясь и не поддаваясь слабости и безволью другого. Юлинька этого не понимаетъ, она бы пожалѣла бѣднаго студента и вмѣстѣ съ нимъ мыкалась бы въ погонѣ за горемъ, пока въ одинъ прескверный день не увидѣла бы, что жизнь его и ея ушла между рукъ. А то, можетъ быть, услышала бы, что женщина только и можетъ быть сидѣлкой, ибо таково ея назначеніе, и, услышавъ, возмутилась бы. Да поздно, жизни назадъ не воротишь.

Намъ кажется, поэтому, что не надо жертвовать своей личностью изъ жалости къ кому бы то ни было и къ чему бы то ни было. Эта фальшивая жертва. Человѣческая личность—такое высокое достояніе, что погубить ее въ себѣ—грѣхъ противъ Духа Святого. И не высокаго калибра та жалость, которая заставляетъ приносить подобныя жертвы. Въ ней есть что-то унизительное для обѣихъ сторонъ. Не изъ жалости должна проистекать готовность давать нѣчто другимъ, а изъ непобѣдимаго внутренняго влеченія, несущаго въ себѣ самомъ удовлетвореніе. Женщинѣ столько натвердили про высокую роль какой-то всеобщей сестры милосердія, что изъ-за нея она проглядѣла высшее назначеніе человѣка—никогда и ни для чего не поступаться своимъ человѣческимъ достоинствомъ. Ей самой столько довелось изъ-за этого выстрадать, что если теперь она проявитъ не-

множко жестокости, то отъ этого мы всѣ будемъ въ выигрышѣ. Даже если она сама отъ этого будетъ страдать, потому что быть жестокимъ вовсе не сладко. Но „нѣтъ исхода, нѣтъ спасенія, нѣтъ другой радости, кромѣ радости, рожденной страданіемъ". Это единственная радость, которой не стыдно, какъ смутно предчувствуетъ Дунечка, когда ее смущаетъ мысль о завоеванномъ собственными силами счастьи.

Но не надо жертвовать и ради блага другихъ, тѣхъ, кому жертвы приносятся. Онѣ ихъ развращаютъ и дѣлаютъ безвольными и безсильными, пріучаютъ надѣяться на другихъ, а не на себя, поддерживаютъ обманъ, что кто-то другой можетъ дать мнѣ то, чего я самъ взять не въ силахъ. Это одна изъ самыхъ опасныхъ иллюзій, потому что она съ особой цѣпкостью держится за душу слабаго человѣка, который не можетъ собственными силами завоевать себѣ мѣсто въ жизни, и все ждетъ и надѣется, что кто-то придетъ и все устроитъ для него...

Главное, конечно, остается стремленіе впередъ, къ совершенствованію жизни, въ неустанномъ желаніи „карабкаться" выше и выше, какъ выражается Дунечка,—подыматься надъ жизнью, не давая изъ себя „высасывать" запросы и духовную жизнь тому или иному „пауку". Въ этомъ и заключается борьба съ обычной пошлостью будничной жизни, гдѣ не приходится совершать подвиговъ, а вести стойкую и постоянную мелочную борьбу, не давая себя засосать всякому житейскому вздору. Вотъ тутъ-то и сказывается, есть ли дѣйствительно въ душѣ запросы, или былъ только юношескій самообманъ, переоцѣнка силъ, которыхъ въ нужный моментъ и не оказывается вовсе, какъ и бываетъ, къ сожалѣнію, слишкомъ-слишкомъ часто. Самообманъ не можетъ вѣчно длиться, наступаетъ минута проясненія и тогда раздаются жалобы на „паука", на „среду" и прочія страшилища, не давшія расцвѣсть тѣмъ яко бы недюжиннымъ силамъ, которыя таились будто бы въ душѣ героини. И это, конечно, тоже иллюзія, съ которой особенно горько разставаться. Не этой ли горечью сознанія, что не „мягкотѣлый интеллигентъ", а собственная дряблость и „мягкотѣлость" повинны въ ничтожествѣ жизни,—и объясняется раздражительность нашей докторши? Когда-то юношескій порывъ увлекъ ее на голодъ, кормить голодающихъ. Но собственный голодъ духовный она такъ и не сумѣла утолить. Конечно, то былъ прекрасный порывъ, доказавшій, что въ ней было когда-то живое зерно, но все-таки это былъ только порывъ. Долгаго твердаго напряженія воли онъ не требовалъ. Не то, что постоянно держать зажженнымъ свой „свѣ-

тильникъ" и свѣтить себѣ и другимъ,—это, дѣйствительно, трудная задача. И когда такая подававшая во время оно надежды „докторша" начинаетъ изливаться на счетъ загубленной жизни, намъ всегда хочется отвѣтить ей: никто не виноватъ, кромѣ васъ самихъ. Что же помѣшало ей во-время спохватиться, уйти отъ „мягкотѣлаго интеллигента" и поискать иной дороги, иныхъ задачъ? Голодающихъ у насъ, слава Богу, нечего искать, и библіотеки не только въ Воронежѣ, если ужъ ничего другого ей не видится въ жизни. Но и оставаясь въ семьѣ, разъ ей дороги и мужъ, и дѣти, развѣ умная, энергичная, интеллигентная женщина, настоящій живой человѣкъ съ запросами и богатой духовной жизнью, допуститъ мерзость запустѣнія, уйдетъ въ пеленки, кухню, въ устроительство „уюта" и только? Такая женщина слишкомъ ясно видитъ, что это не уютъ, не семья, а могила, гдѣ безвозвратно хоронятся лучшія силы, надежды, все, чѣмъ жизнь красна, и сумѣетъ охранить себя и дорогихъ ей лицъ отъ жалкой участи—быть заживо похороненными. Или семья удесятеритъ силы такой женщины, потому что въ кругѣ дорогихъ и любимыхъ лицъ она находитъ ежечасно новый источникъ для ума и души, или же она броситъ семью, если видитъ, что не можетъ дать ей счастья даже цѣною собственной гибели. А что счастья нѣтъ, это мы уже указывали. Такой выходъ—для всѣхъ спасеніе, и прежде всего для нея самой. Но прожить чуть не полъ-жизни и только тогда спохватиться, что душа опустошена и никому не легче отъ этого, — значитъ, что въ душѣ-то врядъ ли было что опустошать, и злобная ссылка на „паука" — просто одинъ отводъ глазъ, новый самообманъ, послѣдняя и самая жалкая иллюзія.

Тѣмъ и отличается современная постановка женскаго вопроса, что никто уже, кромѣ допотопныхъ ихтіозавровъ, не оспариваетъ правъ женщины на самостоятельное человѣческое существованіе. Эти права ею отвоеваны. Надо только умѣть ими пользоваться. И въ каждомъ конфликтѣ жизни, гдѣ приходятъ въ столкновенія права человѣка и обязанности жены и матери, женщина должна, не колеблясь, отстаивать прежде всего первыя. Прежде человѣкъ, а потомъ уже жена, потомъ уже мать, и никогда наоборотъ,—и потому такъ, что только женщина-человѣкъ въ высшемъ и всеобъемлющемъ значеніи слова можетъ быть и истинной женой, и истинной матерью. Достаточно мы имѣемъ женъ-кухарокъ и матерей-насѣдокъ, и счастья онѣ еще никому не дали. Тогда и „мягкотѣлый интеллигентъ" пойметъ, что женщина можетъ быть не только хозяйкой и матерью, а еще коечѣмъ, весьма цѣннымъ въ семейномъ быту. Ему и въ голову

не придетъ изрекать такія „истины“ и недоумѣло вопрошать, какъ примѣнить къ жизни высшіе идеалы семейственности и общественности. Потому и не придетъ, что ему прежде всего самому придется преобразиться изъ мягкотѣлаго тоже въ человѣка, иначе не видать ему ни жены, ни семьи. Тогда и дѣтямъ не придется начинать самостоятельную жизнь съ разрыва съ „отцами“, потому что не будетъ такой пропасти между ихъ идеалами и той семьей, какую устроитъ новая женщина.

Задача трудная, требующая долгой борьбы и многихъ страданій, но кто „ищетъ новыхъ путей, долженъ выходить не на прогулку, а на работу“...

«Петръ и Алексѣй», ром. г. Мережковскаго.—«Страна отцовъ» г. Гусева-Оренбургскаго [1]).

Закончивъ свою громоздкую трилогію „Христосъ и Антихристъ“, врядъ ли г. Мережковскій могъ сказать съ чувствомъ полнаго удовлетворенія: „нынѣ отпущаеши“. Не думаемъ, чтобы авторъ остался доволенъ своимъ трудомъ, и потому такъ, что, начавъ эту большую работу при одномъ настроеніи, онъ завершилъ ее при другомъ. Чѣмъ ближе къ концу, тѣмъ рѣзче чувствуется эта разница. Если въ „Отверженномъ“ преобладаетъ туманная и тѣмъ не менѣе горячая мѣстами мистическая струя, то уже въ „Воскресшихъ богахъ“ ее мало-по-малу вытѣсняетъ холодное изслѣдованіе ученаго, а въ „Петрѣ и Алексѣѣ“ мистика окончательно перешла въ холодный разсказъ, отъ котораго вѣетъ „пылью вѣковъ“. Именно тѣ мѣста этого романа, гда авторъ желаетъ разогрѣть себя религіозными порываніями своего героя въ міръ надздѣшній, меньше всего увлекаютъ читателя. Таковы всѣ сцены, гдѣ дѣйствуютъ сектанты, а „взыскующій града“ Тихонъ самая неудавшаяся фигура романа. Для созданія Тихона авторъ не имѣлъ руководства въ видѣ многочисленныхъ хроникъ, его приходилось творить, а для творчества необходимо самому горѣть огнемъ и мучиться муками своего героя. Намъ уже неоднократно приходилось, говоря о художественной работѣ г. Мережковскаго, отмѣтить холодность его темперамента, преобладаніе въ немъ разсудочности надъ сердцемъ, изслѣдованія надъ

---

[1]) Іюль 1905 г.

творчествомъ. Мистическаго нѣтъ ни капли въ натурѣ автора, онъ типичный резонеръ, и его работа напоминаетъ скорѣе рѣшеніе шахматной задачи, а не проповѣдь или восторженное влеченіе въ міръ неяснаго и неопредѣленнаго, куда г. Мережковскій хочетъ насильственно проникнуть. Въ сущности, о чемъ бы ни повѣствовалъ г. Мережковскій, онъ остается холоденъ, и чувствуется, что ему рѣшительно нѣтъ никакого дѣла до своихъ героевъ. Но они ему нужны, какъ элементы для поставленной имъ себѣ задачи—доказать, что аскетическое начало христіанства и древнее оргіастическое, которое отлилось въ культъ Діониса, сливаются въ нѣкоторой „по-тусторонней" точкѣ. Поставивъ себѣ такую задачу—объединить Христа и Антихриста, г. Мережковскій беретъ три эпохи, особенно яркія по столкновенію этихъ началъ, и путемъ тщательнаго изслѣдованія источниковъ силится возсоздать это сліяніе Христа и Діониса, и какъ только доходитъ до этого пункта, терпитъ настоящій крахъ. Такъ было съ „Отверженнымъ", такъ случилось съ „Леонардо да Винчи", такъ вышло и съ Тихономъ, который и есть главный герой послѣдняго романа „Петръ и Алексѣй".

Не увлекаясь самъ, авторъ не можетъ увлечь за собой и читателя въ манящія его „бездны внизу и вверху", и всѣ эти „оргіастическія", „по-тусторонніе" порыванія отдаютъ самой обычной скукой, которую читатель пробѣгаетъ какъ безплодныя пустыни, торопясь къ тѣмъ главамъ, гдѣ разсказъ оживляется всегда интересными выписками изъ хроникъ. Въ послѣднемъ романѣ это особенно замѣтно. Авторъ почти не далъ себѣ труда переработать сырой историческій матеріалъ и, право, за это можно быть ему только благодарнымъ. Личности Петра, Алексѣя и другихъ главныхъ дѣятелей этой знаменитой эпохи такъ значительны, что даже простой разсказъ по хроникамъ глубоко интересенъ. Положимъ, характеры Петра и Алексѣя очерчены шаблонно, какъ мы привыкли видѣть ихъ со временъ Костомарова, которому г. Мережковскій слѣдуетъ довольно-таки рабски, не принося почти ничего отъ себя. То же самое слѣдуетъ сказать и о другихъ характеристикахъ—императрицы Екатерины, Меньшикова, Толстого, „дѣвки" Афросиньи, Докукина, Кикина и прочихъ героевъ трагедіи, разыгравшейся при русскомъ дворѣ.

Среди этихъ давно знакомыхъ каждому фигуръ одна въ особенности привлекаетъ къ себѣ вниманіе читателя, сближая его съ современными настроеніями. Это Ѳеофанъ Прокоповичъ, правая рука Петра въ его борьбѣ съ духовенствомъ. Надъ этой фигурой авторъ, видимо, поработалъ, и дѣйствительно личность ловкаго монаха, сумѣвшаго закабалить

русское духовенство на два вѣка, вышла, какъ живая. Съ перваго момента появленія его на страницахъ романа онъ почти заслоняетъ все остальное и невольно сосредоточиваетъ на себѣ весь интересъ послѣднихъ частей романа.

„Родомъ черкасъ - малороссъ, лѣтъ тридцати восьми, полнокровный, съ лоснящимся лицомъ, лоснящейся черной бородой и большими лоснящимися черными усами, онъ походилъ на огромнаго чернаго паука. Усмѣхаясь шевелилъ усами, какъ жукъ. По одной этой усмѣшкѣ видно было, что онъ любитъ скоромныя латинскія шуточки - фацетіи Поджіо не менѣе, чѣмъ жирныя галушки, и острую діалектику не менѣе, чѣмъ добрую горилку. Несмотря на святительскую важность, въ каждой черточкѣ лица его такъ и дрожало, такъ и бѣгало, какъ живчикъ, что-то слишкомъ веселое, точно пьяное: онъ былъ пьянъ собственнымъ умомъ своимъ, этотъ румянорожій Силэнъ въ архіерейской рясѣ. „О, главо, главо, разума упившись, куда ся преклонишь?“ говаривалъ онъ въ минуту откровенности.

„И царевичъ дивился удивленіемъ великимъ, какъ сказано въ Апокалипсисѣ, думая о томъ, что этотъ бродяга, бѣглый уніатъ, римскаго костела присягатель, ученикъ сперва іезуитовъ, а потомъ протестантовъ и безбожныхъ философовъ, можетъ быть и самъ безбожникъ, сочиняетъ Духовный Регламентъ, отъ котораго зависятъ судьбы русской церкви“.

Петръ умѣлъ выбирать людей. Онъ не цѣнилъ убѣжденности, честности, гордости, вѣрности. Онъ даже не долюбливалъ эти качества и боялся ихъ, зато дорожилъ умомъ и той продажностью души, которая позволяетъ человѣку сегодня поклоняться тому, что сжигалъ вчера, и сжигать то, чему поклонялся. Таковы его главные сотрудники, которымъ за это ихъ качество онъ прощалъ и воровство, и ложь, и самыя дикія преступленія. Но среди всѣхъ его излюбленныхъ сотрудниковъ не было другого, который превзошелъ бы Ѳеофана въ изворотливости, беззастѣнчивости, въ готовности перевернуть вверхъ ногами самыя установившіеся догматы, передѣлать самое Евангеліе, подогнать его подъ любое, въ данный моментъ нужное Петру правило. Вѣрилъ ли Петръ, это большой вопросъ. По крайней мѣрѣ, онъ былъ глубоко равнодушенъ къ вопросамъ вѣры, пока они не задѣвали его лично. Но что Ѳеофанъ не вѣрилъ ни во что, это несомнѣнно. Для него вопросы вѣры были просто игра ума, такая же, какъ и всякая другая, предметы для діалектики, пожалуй, особенно пикантной—и только. Только такой „святитель“ и могъ создать знаменитый Духовный Регламентъ, въ которомъ, между

прочимъ, утверждалось такое, единственное въ своемъ родѣ, правило:

„Ежели кто на исповѣди духовному отцу своему нѣкое злое и нераскаянное умышленіе на честь и здравіе государево, наипаче же на бунтъ или измѣну объявитъ, то долженъ духовникъ донести вскорѣ о томъ гдѣ надлежитъ, въ Преображенскій приказъ или Тайную канцелярію. Ибо симъ объявленіемъ не порокуется исповѣдь и духовникъ не преступаетъ правилъ евангельскихъ, но еще исполняетъ ученіе Христа: обличи брата, аще же не послушаетъ, повѣждь церкви. Когда уже такъ о братнемъ согрѣшеніи Господь повелѣваетъ, то кольми паче о злодѣйственномъ на государя умышленіи“ (стр. 159, янв. „Вопросы Жизни“).

Это правило было примѣнено въ дѣлѣ царевича Алексѣя. „Алексѣй понялъ, что о. Варлаамъ нарушилъ тайну исповѣди,—и вспомнилъ слова св. Дмитрія Ростовскаго: „Если бы какой государь или судъ гражданскій повелѣлъ и силой понуждалъ іерея открыть грѣхъ духовнаго сына и если бы мукой и смертью грозилъ,—іерей долженъ умереть паче и мученическимъ вѣнцомъ вѣнчаться, нежели печать исповѣди отрѣшить“.

Съ тѣхъ поръ это знаменитое правило Регламента такъ и осталось, въ противность ученію церкви о святости таинства исповѣди. Но Ѳеофанъ пошелъ въ своемъ усердіи еще дальше, доказывая, что „всѣ люди Россійскаго царства, не только мірскіе, но и духовные, да имѣютъ имя самодержца своего, благочестивѣйшаго государя Петра Алексѣевича, яко главы своей и отца отечества, и Христа Господня“. Дальше идти было нельзя даже и такой „главѣ разумной“, какъ Ѳеофанъ. Онъ надолго начерталъ путь, по которому духовенство шло до сего дня и продолжаетъ идти. „И какъ одно дѣло—воинству, другое гражданству, и врачамъ, и купцамъ, и мастерамъ различнымъ, такъ и пастырю, и всѣ духовные имѣютъ собственное дѣло свое—быть служителями божіими, однако же покорены суть властямъ державнымъ“.

Въ романѣ г. Мережковскаго прекрасно обрисована некрасивая роль, какую при Петрѣ играло высшее духовенство въ его борьбѣ съ расколомъ. Освящая своимъ авторитетомъ всѣ ужасныя мѣры того времени, Ѳеофанъ создалъ и тотъ лицемѣрный языкъ, какой установился тогда оффиціально. „Съ противниками церкви поступать надлежитъ съ кротостью и разумомъ, а не такъ, какъ нынѣ, жестокими словами и отчужденіемъ“, что въ переводѣ на языкъ дѣйствительности означало—преданіе упорствующихъ въ руки властей предержащихъ, „по многомъ убѣжденіи съ

кротостью и смиреньемъ". Для примѣненія этого правила жизнь предоставляла широкое поле, и лучшія страницы романа полны описаніями самосожженій и странныхъ то изувѣрныхъ, то мистическихъ сектъ, куда устремлялись тогда всѣ не мирившіеся съ хитроумными циркулярами Ѳеофана и только-что народившагося синода.

Два почти вѣка отдѣляютъ насъ отъ той знаменательной эпохи, но какъ все это свѣжо и отдаетъ современностью! Только на дняхъ указъ 17 апрѣля поставилъ предѣлъ, отъ котораго начинается новая эра для русской церкви и русскаго народа въ его исканіи „истиннаго благочестія". Читателямъ извѣстна, конечно, любопытная книга г. Пругавина „Монастырскія тюрьмы". Она можетъ служить превосходнымъ комментаріемъ къ Духовному Регламенту и той удивительной прочности, съ которой Петръ и его слуга Ѳеофанъ сковали русское духовенство, превративъ его „въ особый чинъ", по остроумно-насмѣшливому опредѣленію лукаваго Ѳеофана, какъ „и всякое другое мастерство". За эти два вѣка мы почти не видимъ борьбы. Духовенство не только примирилось со своимъ „чиновнымъ" положеніемъ, но очень удобно устроилось въ немъ. Взять хотя-бы, упомянутыя монастырскія тюрьмы, только на самыхъ послѣднихъ дняхъ раскрывшіяся по указу 17 апрѣля. Въ какой странѣ, на протяженіи всего міра, можно было бы указать подходящій примѣръ — духовенство въ роли тюремщиковъ въ двадцатомъ вѣкѣ? Нигдѣ въ мірѣ наше время не знаетъ ничего подобнаго. Такой фактъ, возмущающій даже невѣрующихъ и тѣмъ болѣе оскорбительный для искреннихъ и религіозныхъ людей, сталъ вездѣ давно уже преданіемъ старины глубокой, однимъ изъ проклятій, тяготѣющихъ на средневѣковьи. Но въ Россіи онъ былъ самой реальной дѣйствительностью до 17 апрѣля 1905 г. Еще не дальше года тому назадъ, когда отрывки изъ книги г. Пругавина печатались въ журналѣ „Право", мы лишены были возможности познакомить съ ними читателей, а статья о послѣднемъ гетманѣ запорожскомъ Кальнишевскомъ, протомившемся въ застѣнкѣ Соловецкой тюрьмы свыше тридцати лѣтъ, такъ и не могла появиться на страницахъ нашего журнала. И теперь, когда „кротко-смиренное" обращеніе съ противниками предписано духовенству указомъ 17 апрѣля, невольно возникаетъ сомнѣніе, можетъ ли оно разомъ отвыкнуть отъ двухсотлѣтней практики? Слишкомъ русское духовенство привыкло къ „чиновной" роли, отвыкло отъ „пастырской" и мало подготовлено къ новому положенію, при которомъ ему придется полагаться только на себя. Правда, „новыя вѣянія" коснулись и его, что и выразилось

въ странномъ увлеченіи идеей патріаршества. Но увы! „нѣтъ дорогъ къ невозвратному!“ Патріаршество не мыслимо безъ большой экономической силы, какую представляли громадныя церковныя и монастырскія имущества семнадцатаго вѣка. Только опираясь на эти имущества, представляло патріаршество извѣстную политическую величину и могло тягаться съ государствомъ, отстаивая свои прерогативы. Такой экономической силы духовенство теперь не имѣетъ и никогда больше имѣть не будетъ. Въ восемнадцатомъ вѣкѣ государство отняло у него его огромныя земли и капиталы и превратило его въ „служилое“ сословіе, какимъ и является теперь духовенство. Свободное духовенство возможно только тамъ, гдѣ оно матеріально независимо. И потому то мечты о патріархѣ никогда не выйдутъ у насъ изъ области мечтаній, къ счастью для мірянъ, для которыхъ много удобнѣе имѣть дѣло съ „служилымъ“ духовенствомъ, чѣмъ съ независимымъ, какъ показываетъ примѣръ хотя бы Германіи. Даже „желѣзный канцлеръ“ въ самый расцвѣтъ своего могущества вынужденъ былъ положить оружіе передъ рясой и смиренно идти въ Каноссу, а партія центра до сихъ поръ самая могущественная и всѣмъ приходится считаться съ нею.

Петръ зналъ, что дѣлалъ, когда унижалъ духовенство, сначала вышучивая его въ своемъ „всепьяннѣйшемъ соборѣ“, а потомъ создавъ при содѣйствіи лукаваго „черкаса“ свой Желѣзный Регламентъ, попиравшій всѣ каноны и постановленія отцовъ церкви въ угоду „власти предержащей“. Онъ преслѣдовалъ, конечно, свои интересы, ни мало не заботясь о мірянахъ, но польза для послѣднихъ явилась сама собой, и Россія нынѣ свободна отъ борьбы съ воинствующей церковью, съ которой борется и Германія и Франція. Благодаря Петру, церковь въ Россіи такъ ослабѣла, что клерикализмъ и связанная съ нимъ опасность у насъ не мыслимы. Каковъ-бы ни былъ будущій строй Россіи, духовенство будетъ покорно примѣняться къ нему, приспособляясь къ тому или иному регламенту. Въ теченіе двухсотлѣтія бюрократическаго режима оно смиренно несло обязанности чиновника у алтаря, выполняющаго требы, стерегущаго по тюрьмамъ еретиковъ, поддерживающаго все, что прикажутъ.

Романъ г. Мережковскаго имѣетъ, поэтому, для насъ немалое общественное значеніе именно этой своей стороной, выясняющей паденіе духовенства подъ могучими ударами Петра. Несмотря на отдаленность эпохи, это сближаетъ его произведеніе съ современностью. Насколько читатель остается глухъ къ мистическимъ порывамъ автора, настолько же

живо воспринимаетъ онъ превосходно написанную картину упадка духовенства при Петрѣ и самъ уже дорисовываетъ аналогію съ тѣмъ, что видитъ теперь. Историческая картина въ романѣ поясняетъ ему настоящее. Безъ Ѳеофана было бы непонятно многое въ наши дни, хотя бы, напр., подтвержденіе пущенной въ оборотъ латинско-русскимъ агенствомъ Черепъ-Свиридовича сплетни о японскомъ подкупѣ рабочихъ... Надо было пройти хорошую школу ѳеофановскаго лицемѣрія, чтобы такъ спокойно относиться къ то роли, которую исполняетъ въ такихъ случаяхъ „духовный чинъ въ народѣ", какъ опредѣлилъ Ѳеофанъ значеніе духовенства (стр. 169, „Вопросы Жизни", 1).

Новыя вѣянія, однако, такъ или иначе все же коснулись и „духовнаго чина", несмотря на всѣ загородки, которыми этотъ чинъ старался отгородить себя отъ жизни. Какъ ни велика кастовая замкнутость духовенства, но жизнь, конечно, оказалась и здѣсь сильнѣе и мало-по-малу расшатывала устои ѳеофановскаго регламента, не давая „отцамъ" успокоиться въ блаженномъ невѣдѣніи того что творится вокругъ. „Страна отцовъ" зашевелилась въ безпокойномъ ожиданіи грядущаго дня, о которомъ одно можно сказать, что онъ не будетъ похожъ на вчерашній. Двухсотлѣтнее мирное житіе подъ охраной бюрократіи кончилось, и „отцы" привлекаются къ отвѣту.

Въ повѣсти г. Гусева-Оренбургскаго „Страна отцовъ" читатели присутствуютъ при началѣ того волненія, которое понемногу охватываетъ и духовную касту. Это волненіе пришло извнѣ и застигло духовныхъ отцовъ внезапно, хотя признаки его были и раньше, и литература робко, но все же отмѣчала ихъ. Въ числѣ бытописателей духовенства можно указать на трехъ художниковъ, которые въ своихъ произведеніяхъ указывали на постепенную перемѣну. У г. Потапенки мы встрѣчаемъ по большей части благодушныхъ батюшекъ, исполняющихъ свои обязанности, не мудрствуя лукаво, но болѣе или менѣе близко принимающихъ къ сердцу бѣды и радости мірянъ. Чувствуется хотя и неглубокая, но несомнѣнная живая связь между приходомъ и причтомъ. Въ лучшемъ произведеніи г. Потапенки „На дѣйствительной службѣ" выведенъ даже идеальный типъ сельскаго священника, который пренебрегъ блестящей духовной карьерой ради служенія народу. И типъ этотъ, при всей его идеализаціи, не производилъ впечатлѣнія фальши въ то время, когда появилась эта повѣсть. Затѣмъ онъ уже

больше не появляется въ литературѣ. У другого духовнаго бытописателя, болѣе поздняго, г. Елеонскаго, мы уже не видимъ благодушныхъ представителей клира. Мѣсто ихъ заняли сухіе „стяжатели“, вѣчно занятые мелкими ссорами между собой и непрекращающейся наступательной и оборонительной войной съ приходомъ. Связи между клиромъ и приходомъ нѣтъ, ихъ соединяютъ, или лучше сказать, разъединяютъ сухія, чисто формальныя отношенія, въ которыхъ нѣтъ мѣста взаимному пониманію. А между тѣмъ авторъ беретъ свои типы именно того времени, когда особенно много стали говорить о роли и значеніи духовенства, когда возникли церковно-приходскія школы, началась усиленная миссіонерская дѣятельность, и духовное сословіе, бывшее всегда въ нѣкоторомъ загонѣ у бюрократіи, стало усиленно выдвигаться ею на почетное мѣсто естественнаго хранителя „исконныхъ“ устоевъ и нарочитаго „народнаго“ духа. Наконецъ, у г. Гусева-Оренбургскаго, еще болѣе поздняго бытописателя, такъ сказать писателя послѣднихъ дней, мы уже видимъ вполнѣ оформившійся типъ священника бюрократа, типъ воинствующій и ничѣмъ не напоминающій мирныхъ и благодушныхъ батюшекъ г. Потапенка.

Въ послѣдней повѣсти „Страна отцовъ“ г. Гусевъ-Оренбургскій пытается дать очень широкую картину тѣхъ измѣненій, какія происходятъ вообще въ народной средѣ и соприкасающихся съ нею областяхъ. Современныя настроенія и народной крестьянской массы, и отчасти рабочей, и духовной среды, и администраціи — все это авторъ затрогиваетъ, не какъ-то мимоходомъ, не давая общей картины, даже какого-либо общаго фона. Главное, почти исключительное вниманіе читателя приковано все же къ духовной средѣ. Экскурсіи автора въ сторону, съ цѣлью расширить горизонтъ повѣсти, по большей части мало удачны, хотя и даютъ кое-какія данныя для сужденія о тревожномъ настроеніи, охватывающемъ всю „страну отцовъ“. Публицистъ здѣсь вытѣсняетъ художника, который не можетъ изъ разрозненныхъ обрывковъ дать картину, цѣльную и яркую, какую въ его изображеніи представляетъ болѣе узкая „страна отцовъ“ не вообще, а „отцовъ“ духовныхъ.

Деревня обнищала и опустѣла. Когда-то богатая хлѣбомъ поволжская сторона бьется теперь въ рукахъ крупныхъ кулаковъ-капиталистовъ, сумѣвшихъ выжать изъ земли всѣ соки и такъ скрутить деревню, что ей „податься некуда“, нечѣмъ и защититься отъ все наростающихъ требованій. Хлѣбъ, когда-то „мужицкій“, сталъ теперь „купецкимъ“ и „арендательскимъ“. Явились элеваторы искусно переправляющіе этотъ хлѣбъ въ „заморскія страны“, а на мѣстѣ стала

все больше и продолжительнѣе утверждаться хроническая голодовка, временами переходящая въ настоящій, даже оффиціально признаваемый голодъ. И по мѣрѣ обнищанія деревни росъ капиталъ въ лицѣ „новоявленныхъ лэндлордовъ—Шаповаловыхъ, Стрижикозиныхъ, Широкозадовыхъ“, которые изъ мелкихъ скупщиковъ выросли въ крупнѣйшихъ землевладѣльцевъ. Авторъ рисуетъ одного изъ нихъ, Широкозадова, какъ типичнаго представителя недавно народившейся силы. „Онъ нутромъ понялъ тактику земельнаго хищенія, умѣлъ использовать каждый недочетъ мужичьяго хозяйства, умѣлъ выбрать моментъ, чтобы придти и закабалить. Наступали у мужиковъ сроки платежей въ земельный банкъ, онъ умѣлъ дать деньги на такихъ условіяхъ, что земли въ концѣ концовъ переходили къ нему. Была нехватка у мужиковъ въ посѣвномъ хлѣбѣ, онъ гостепріимно раскрывалъ амбары, урожай же переходилъ къ нему. А неурожай отдавалъ мужиковъ въ его полную власть, и, разоренные, часто они совсѣмъ безъ борьбы уступали ему земли, чтобы потомъ голоднымъ потокомъ наполнить житницкіе пригороды и слободки. Позади него, гдѣ онъ прошелъ, слышались стоны и проклятія закабаленныхъ, а онъ шелъ дальше и дальше по уѣзду, тая планы захвата, пугавшіе даже крупныхъ землевладѣльцевъ своей тонко-придуманной неожиданностью. Точно сытый, но жадный коршунъ медленно кружилъ онъ по уѣзду, и участокъ за участкомъ оставались въ его рукахъ. При этомъ онъ не останавливался даже передъ мошенничествомъ, если оно было легально обставлено, дѣлая этимъ только шагъ впередъ по скользкой, развращающей почвѣ изжившаго закона“ (стр. 113, „Страна отцовъ“).

Этотъ процессъ покоренія деревни капиталомъ давно уже и неоднократно былъ описанъ въ литературѣ. Насъ интересуетъ въ данномъ случаѣ отношеніе духовенства къ новой силѣ и то разложеніе, какое и въ его среду, какъ оказывается, вноситъ тотъ же Широкозадовъ и К°. Съ одной стороны авторъ даетъ типичныхъ представителей поклонниковъ успѣха и всякой силы, въ лицѣ о. Матвѣя, напр., о. Рудометова и другихъ. Они и свои дѣла устраиваютъ, и даже подыскиваютъ подходящіе тексты изъ писанія для возвеличенія дѣятельности Широкозадовыхъ. Въ то же время они хотятъ и себя представить строгими ревнителями чистоты церкви. Такъ, о. Рудометовъ, крупный пайщикъ акціонернаго предпріятія, первый подымаетъ на духовномъ съѣздѣ вопросъ объ отобраніи дѣтей у сектантовъ.

„—Отцы и братіе!—гремѣлъ онъ на весь съѣздъ:—если мы заключаемъ вора въ темницу, разбойника посылаемъ на

каторгу, прокаженнаго—въ больницу, то какъ же подобало бы поступить съ сектантомъ, который есть воръ, ибо отъемлетъ у ребенка благодать крещенія, разбойникъ, ибо убиваетъ его душу, прокаженный, ибо заражаетъ смрадомъ грѣха младенца! Но мы милосерды, какъ милосердъ Христосъ: оставляемъ на свободѣ преступника, ожидая его раскаянія, и лишь спасаемъ жертву его, исхищая изъ бездны грѣха родительскаго и прародительскаго.

„Борода его трепетала на груди, и глаза горѣли".—Мы не полицейскіе,—замѣтилъ кто-то изъ молодыхъ батюшекъ. Но Рудометовъ не сдался.

„—Мы — полицейскіе Бога вышняго!—сказалъ онъ:—ибо стражи храма его и охранители стада его!"

Отецъ Матвѣй, молодой батюшка изъ академиковъ, типъ воинствующаго „отца", мечтающаго ни болѣе ни менѣе, какъ о „ѳеократіи". Когда разносится слухъ, „что всѣ школы, волею правительства, отойдутъ въ духовное вѣдомство", онъ даже забываетъ личныя огорченія и ликуетъ:—Да вы поймите: это мечта! Это возвратъ къ великому прошлому! Прошедшее становится будущимъ! Это первый шагъ въ царствѣ ѳеократіи!..

„О. Матвѣй вскочилъ на любимаго конька и теперь несся на немъ безъ удержу, скакалъ, жестикулируя, по пустынямъ безбожья, среди развалинъ вѣры, но скакалъ самоувѣренно, безъ страха и сомнѣнія, въ широко-распахнутыя ворота, за которыми видѣлись ему строгія очертанія „царства ѳеократіи". Наступало, по его словамъ, время „изженения плевелъ", всесожженія сорныхъ травъ, заглушавшихъ „ниву Божью".

„—Вотъ во Франціи духовенство гонятъ. Конечно, то черная католическая рать. А все же сказывается и въ семъ безумная дерзость интеллигентовъ и невѣровъ... Но то въ чужой полуязыческой державѣ творится. А что же наши суедумцы? Тотчасъ откликаются! Возвышаютъ главы свои, воздвигаютъ гоненіе на церковную школу: слышали, какъ тверское земство отличилось? Да и оно ли одно! Но... съ Богомъ шутки плохи! И тверское земство испытало это на себѣ... И Франція испытаетъ...

„О. Матвѣй, поощряемый вниманіемъ слушателей, уже докапывался до самыхъ основаній, взрывалъ фундаменты и скакалъ на головокружительныя высоты, съ фанатическимъ блескомъ глазъ вскидывая руки, точно вызывая на борьбу какого-то ненавистнаго.

„—Православіе! самодержавіе! народность! Вотъ три краеугольныхъ камня нашей жизни. И изъ нихъ первый—православіе! Ибо кто собралъ Русь во едино стадо и создалъ самодержавіе? Оно! Кто совокупилъ разнообразныя племена во

едину народность? Оно! Русь всегда была Русью православной церковности, и въ этомъ ея сила, ея слава, ея святость, ея превосходство передъ другими народами! Непоколебима и крѣпка была она для враговъ внутреннихъ и внѣшнихъ, пока монастыри были ея свѣтильниками, пока горѣли въ ней солнца вѣры такія. какъ патріархи! Всегда заря истиннаго образованія, источника вѣры и силы, исходила изъ школъ церковныхъ. И вотъ повторяю... привѣтствую я это намѣреніе высшаго правительства передать намъ школы! Онѣ принадлежатъ намъ по историческому праву. Не только низшія школы... гимназіи и университеты слѣдовало бы отдать въ наши руки, подъ нашъ надзоръ"... (стр. 244—248)..

Воинственный тонъ о. Матвѣя звучитъ, повидимому, вполнѣ согласно тому, что до послѣдняго времени стало все явственнѣе пробиваться въ застывшей отъ вѣкового гнета средѣ духовенства. Борьба за церковную школу, миссіонерское рвеніе, сказавшееся на извѣстномъ казанскомъ съѣздѣ, гдѣ былъ поднятъ вопросъ объ отбираніи дѣтей у раскольниковъ, — это все факты вчерашняго дня. Но даже при всемъ могуществѣ поддержки бюрократіи, эти факты не имѣли и тогда сколько-нибудь прочнаго основанія не только въ жизни, но и въ средѣ самого духовенства, которое въ общей массѣ оставалось холодно и неподвижно. Правда, то тутъ, то тамъ проявлялись отдѣльныя личности, въ особенности изъ молодыхъ обуянныхъ честолюбивыми стремленіями батюшекъ, которые охотно откликнулись на призывъ бюрократіи помочь ей въ борьбѣ съ новыми запросами жизни. Общая масса духовныхъ, однако, увидѣла въ церковныхъ школахъ, напр., лишнюю обузу, неблагодарный трудъ, къ тому же плохо оплачиваемый, къ которому стали присосѣживаться только неудачники изъ духовныхъ дѣтей, псаломщики, заштатные дьячки и въ особенности дѣвицы-епархіалки до выхода замужъ. Лучшіе священники откровенно отрицали церковную школу, не скрывая ея недостатковъ и отказываясь сами поддерживать ее личнымъ трудомъ.

Вполнѣ вѣрно поэтому авторъ заставляетъ на пылкую рѣчь о. Матвѣя возразить юношу-студента, сына благочиннаго: „Вы отъ лица духовенства говорите или отъ себя? Если отъ лица духовенства, то я увѣренъ, что духовенство въ лучшей части своей само откажется отъ вашихъ словъ; если за себя, то такія рѣчи возмутительны въ устахъ священника! Вы порочите лучшихъ людей страны, вы пытаетесь отнять у нихъ то, что они добыли потомъ и кровью, что они въ тяжелой борьбѣ создавали въ то время, какъ вы собирали калачи и шкурки съ тѣхъ бѣдныхъ рабовъ, кото-

рыхъ сами же величаете овцами... Вы самозванцы, вы обманщики! Для чего вы протягиваете ваши рабскія руки къ школамъ? Чему вы можете учить народъ? Цѣпи умственнаго рабства вы называете небесной истиной, вѣчную подлую ложь жизни—высшей правдой"...

Эта горячая реплика сочувственно подхватывается окружающею толпою духовныхъ, которые не могутъ не признать правды въ словахъ студента. „Мы дѣлаемъ свое дѣло, а свѣтскіе люди свое! Мы сами оттолкнули отъ себя интеллигенцію нетерпимостью"...

И опять-таки авторъ совершенно правъ. Теперь вопросъ о церковной школѣ имѣетъ уже историческій интересъ. Жизнь взяла свое, и, стоя наканунѣ общаго переустройства русскаго строя, можно смѣло утверждать, что въ вопросѣ о школѣ бюрократія потерпѣла самое чувствительное пораженіе именно потому, что духовенство не поддержало ее. Невольно опять напрашивается сравненіе съ Западомъ, гдѣ духовенство боролось съ государствомъ изъ-за школы и въ значительной степени одержало побѣду. У насъ государство толкало школу въ объятія духовенства, но послѣднее съ большой неохотой шло навстрѣчу. Оффиціально казалось полное согласіе. Печатались широковѣщательные отчеты, въ которыхъ церковныя школы насчитывались тысячами, говорились громкія рѣчи, воинственныя по духу,—на дѣлѣ же не было ни школъ, ни охоты заниматься ими. Нѣтъ дѣла болѣе отвѣтственнаго, какъ просвѣщеніе народа. Оно требуетъ прежде всего любви и преданности, доходящей до самопожертвованія, требуетъ проникновеннаго сознанія важности его, увлеченія, творческой работы, словомъ того „духа живаго", который со временъ Ѳеофана Прокоповича былъ систематически вытравляемъ изъ духовной среды. И когда бюрократія обратилась къ духовенству за содѣйствіемъ въ борьбѣ съ живыми силами страны, она встрѣтила угодливость и лукавство раба: оффиціально духовенство возликовало, на дѣлѣ—оказалось лѣниво и неспособно, къ счастью для русскаго просвѣщенія.

Карьеристы и стяжатели, какъ о. Матвѣй и о. Рудометовъ, не исключенія, конечно. Они достаточно окрасили собой за послѣдніе годы всю среду не только какъ наиболѣе яркіе цвѣты въ общемъ безцвѣтномъ букетѣ. Они придали ей особый „душокъ" нетерпимости и воинственности. Ихъ голоса были достаточно многочисленны и сильны, чтобы придать нѣчто внушительное общему хору. И тѣмъ не менѣе, они не составляютъ силы, сколько-нибудь опасной и серьезной. Сила заключается въ убѣжденіи, вѣрѣ, въ талантахъ. А какія же убѣжденія, вѣра и таланты у отцовъ Матвѣевъ

и Рудометовыхъ, когда съ одной стороны они мечтаютъ о поворотѣ къ давно прошедшему, съ другой—всѣми корнями жадно тянутся къ настоящему въ видѣ многихъ матеріальныхъ выгодъ, даваемыхъ этимъ послѣднимъ? Одинъ—членъ акціонернаго общества, весь въ рукахъ Широкозадовыхъ и ему подобныхъ, другой забираетъ по приходу, что только можетъ, юлитъ передъ земскимъ начальникомъ, котораго и самъ считаетъ великимъ развратникомъ, и смотритъ на свою службу, какъ на доходное мѣсто. Сухой формализмъ вмѣсто вѣры, рабское преклоненіе предъ волею начальства вмѣсто убѣжденія и жадность—вотъ его талантъ.

Все, что есть дѣйствительно сильнаго и талантливаго, убѣжденнаго и вѣрующаго, уходитъ изъ духовной среды, не уживается и ищетъ простора, какъ о. Иванъ въ повѣсти, какъ жена о. Матвѣя, какъ другіе молодые еще, но уже подающіе надежды сыновья о. Рудометова, благочиннаго и прочія лица изъ духовной среды, выводимыя авторомъ. При всемъ разнообразіи характеровъ, настроеній и мотивовъ, ихъ объединяетъ одно—сознаніе, что въ мертвой средѣ нѣтъ мѣста живому духу. Среди нихъ особый интересъ вызываетъ о. Иванъ, въ которомъ безсознательно и долго идетъ внутренняя борьба привитыхъ съ дѣтства и развитыхъ воспитаніемъ привычекъ показного смиренія, стяжательства и подчиненія чужой волѣ—съ здоровой, сильной и увлекающейся натурой честнаго и благороднаго человѣка, способнаго на высокій подвигъ самопожертвованія. Онъ любитъ тяжелый трудъ, отличный хозяинъ, веселаго жизнерадостнаго характера, открытая душа, чуждая лицемѣрія и лжи. „Зачѣмъ я пошелъ въ попы?“ недоумѣваетъ онъ самъ, чувствуя, что не можетъ уложить себя въ отведенныя ему рамки „служенія требъ“. Его тянетъ къ мужику, котораго онъ сгоряча ругаетъ и тутъ же возражаетъ о. Матвѣю, что „мужики, хотя какіе они ни на есть, а народъ теплый... По моему, лучше мужика и человѣка нѣтъ!“ Въ сущности онъ и самъ недалеко ушелъ отъ крестьянскаго міра, и то, что ему навязало семинарское воспитаніе, только тяготитъ его, не давая развернуться его природнымъ силамъ и способностямъ. Семинарія вспоминается ему „громаднымъ ящикомъ, въ которомъ смутно гудѣло населеніе звѣрьковъ, милыхъ и невинныхъ, съ покорностью невѣдѣнія склонявшихъ головы подъ вѣковымъ педагогическимъ молотомъ, высѣкавшимъ въ умахъ и сердцахъ ихъ священныя надписи могильныхъ плитъ, подъ которыми будетъ судорожно задыхаться грудь ихъ всегда, всегда“... Жизнерадостная натура юноши трепетала, слыша постоянную проповѣдь порядка прежде всего, порядка, въ которомъ Богъ выступалъ „карателемъ, посы-

лающимъ съ незримаго престола только глады, моры, потопы, землетрясенія и всякія несчастія". Его боялись, и „съ этимъ страхомъ шли въ жизнь и распространяли его". А наряду съ этимъ стояло съ дѣтства усвоенное представленіе о служеніи, какъ „о золотомъ полѣ, по которому бредятъ мужички и разносятъ золотыхъ телушечекъ. Поборы рисовались въ поэтическомъ ореолѣ, всѣмъ хотѣлось поскорѣе туда, на эти золотыя поля"... „И съ этимъ сномъ, съ этимъ бредомъ шли въ жизнь. И на всѣ явленія ея смотрѣли сквозь сумбуръ могильныхъ надписей и во всѣхъ страшныхъ драмахъ ея не могли разобраться. Натуры нѣжныя таяли и гибли въ мукахъ раздвоенности между тѣмъ, что знали и что видѣли, натуры сухія и черствыя ожесточались, натуры гордыя—отчаявались и кончали наглымъ презрѣніемъ къ себѣ, къ людямъ, ко всему святому".

Отецъ Иванъ не очерствѣлъ, не отчаялся и не погибъ. Его спасла здоровая, сильная натура и любовь, указавшая на выходъ изъ духовнаго званія, какъ на единственный путь спасенія. Тяготѣніе къ мужику, къ землѣ, къ физическому труду не дало ему очерствѣть и отдаться бреду „о золотомъ полѣ поборовъ". А любовь пробудила дремавшія умственныя и нравственныя силы, извлекла ихъ изъ-подъ „могильной плиты". Какъ и всѣхъ, его женили для полученія мѣста, безъ сердечнаго вліянія, безъ знакомства даже съ будущей женой, и чувство любви долго не просыпалось, пока не было вызвано страстнымъ призывомъ женщины тоже подавленной, но протестующей и борющейся. Жена о. Матвѣя, которая не могла выдержать ежедневнаго лицемѣрія своего супруга, увлекается искренностью, простотой и силой, бьющей ключомъ въ душѣ о. Ивана, и, порывая сама съ „могильными плитами", увлекаетъ за собой и о. Ивана.

Окончательный разрывъ проявляется въ немъ бурно, неистово подъ вліяніемъ тяжелыхъ условій жизни гибнущей, разоренной Широкозадовыми и К° деревни, при равнодушномъ попустительствѣ духовенства, льстиво ухаживающаго за побѣдоноснымъ кулакомъ.

„— Я рѣшилъ! Твердо рѣшилъ, безповоротно! Ухожу, довольно.

„— Что съ вами?! — волновались рясы и подрясники и колебались въ воздухѣ широкіе рукава.—Откуда это? Почему?

„— Потому что я пересталъ бояться думать! Прозябалъ, какъ червь! Ползъ во мракѣ! Жилъ, какъ приказано, а не такъ, какъ должно жить... Довольно! Я и вамъ говорю: довольно! Развѣ вы не видите, что такъ жить нельзя больше...

Позорно! Жизнь уходитъ отъ насъ въ сіяющую даль, а мы стоимъ на мѣстѣ окаменѣлые, черною стѣною... Сами не идемъ и мѣшаемъ идти другимъ! Накинули на жизнь цѣлую сѣть текстовъ, оправдываемъ произволъ тѣхъ, кто уродуетъ жизнь, проповѣдуемъ терпѣнье тѣмъ, кто и безъ того достаточно терпѣлъ. Всѣ вокругъ насъ ищутъ рая правды, рая справедливости, страстно борются за свой идеалъ... А мы?! Довольно!

„— Да онъ съ ума сошелъ!—тихо сказалъ о. Сильвестръ.

„О. Иванъ быстро обернулъ къ нему возбужденное лицо.

„— Мы всѣ безумцы! Живемъ безсознательно, мыслимъ навязанными мыслями, мыслями рабовъ!.. Мы съ дѣтства обмануты, съ дѣтства ранены... Въ умъ и въ сердце ранены! И эта рана превратилась въ постоянную язву, угнетающую духъ! Нѣтъ, нѣтъ! Вся жизнь должна измѣниться! Я хочу быть свободнымъ человѣкомъ, служить свободному Богу!" (стр. 318).

И отецъ Иванъ не одинъ. На это указываетъ все растущее среди духовенства желаніе расширить свой кругозоръ, измѣнить семинарское воспитаніе, которое при всѣхъ реформахъ русской жизни оставалось почти неизмѣнно. Иначе и быть не можетъ. Вѣдь русское духовенство это одинъ изъ лучшихъ элементовъ русскаго народа. Оно самая чистая русская раса, здоровая физически и духовно. Подсчитайте, сколько оно дало превосходныхъ работниковъ на всѣхъ поприщахъ русской жизни... кромѣ духовнаго. Какая масса врачей, учителей, адвокатовъ, профессоровъ, ученыхъ, писателей, государственныхъ дѣятелей вышла изъ духовной среды! Значитъ есть тамъ и силы, и таланты, и если только въ своей спеціальной области оно словно замерло и навѣки застыло, то причины надо искать въ специфическихъ особенностяхъ этой области. Духовенство было подавлено бюрократіей, а раскрѣпощеніе русской жизни оживитъ и въ немъ дремлющія, не находившія выхода силы.

Больше всѣхъ, быть можетъ, выиграетъ при обновленіи русскаго строя именно духовенство, такъ какъ оно поставлено въ исключительно благопріятныя условія. Никто не стоитъ ближе его къ народу, этому источнику всѣхъ силъ. Оно знаетъ его, и народъ его знаетъ. Ихъ пока раздѣляла бюрократическая стѣна, не допускавшая сближенія и единенія, которое такъ естественно на почвѣ общихъ нуждъ и интересовъ. Въ громадной части своей духовенство тѣ же земледѣльцы. И вотъ когда оно внесетъ въ деревню истинное знаніе, свободу и свѣтъ настоящаго просвѣщенія, евангельскій духъ любви, воодушевленіе и энергію истинной вѣры—кто можетъ сдѣлать больше, чѣмъ оно? Теперь его

лучшія силы уходятъ на сторону, не находя себѣ примѣненія въ духовной области, опутанной сѣтью бюрократическихъ циркуляровъ. Тогда эти силы останутся здѣсь, на мѣстѣ, упорствуя, волнуясь и спѣша восполнить то, что было упущено вѣками. И какъ изъ среды духовенства выходили не разъ „учителя жизни", въ родѣ Чернышевскаго, Добролюбова, Елисѣева, такъ появятся въ немъ и истинные „пастыри добрые", которые подымутъ значеніе этого сословія на ту высоту, на какой оно должно и можетъ стоять...

«Разсказы» г. Арцыбашева. [1]).

Молодой, сравнительно недавно начавшій свою литературную работу писатель, г. Арцыбашевъ почти съ перваго своего выступленія уже обратилъ на себя вниманіе и читателей, и критики. Всѣ его разсказы — „Прапорщикъ Гололобовъ", „Конокрадъ", „Бунтъ" и др., выдѣлялись изъ ряда другихъ, одновременно появившихся разсказовъ и очерковъ, ежемѣсячно печатающихся въ журналахъ и разныхъ сборникахъ. Что-то заставляло читателя вдуматься поглубже въ жизнь, дать себѣ отчетъ въ томъ, что его окружаетъ, и это что-то было такъ печально и въ то же время остро захватывало, мучило и безпокоило, не давая стряхнуть впечатлѣніе, навѣянное разсказомъ. Исканіе правды жизни и противорѣчіе между жизнью дѣланной и той, настоящей, которая могла бы быть, вотъ что рѣзко подчеркивалось въ этихъ разсказахъ, ярко выступало изъ-подъ наслоеній жизни и мучило, не давая примиренія. Эти черты еще рѣзче и ярче проявляются теперь въ талантѣ г. Арцыбашева, когда его разсказы собраны вмѣстѣ и даютъ возможность прослѣдить, какіе вопросы мучатъ автора и подчиняютъ незамѣтно, но неодолимо и его читателя. Какъ же жить? И зачѣмъ все такъ нелѣпо и жестоко до ужаса слагается въ жизни? Неужели мы безсильны разорвать эти дикія условія жизни, создать новую, настоящую, хорошую жизнь, гдѣ бы все лучшее, въ нашемъ существѣ не подавлялось, не уничтожалось, не коверкалось въ угоду какому-то злому призраку, уродующему все и ломающему стихійно, безсмысленно и безцѣльно? Авторъ даетъ отвѣтъ на эти вопросы, и отвѣтъ положительный, какъ увидимъ дальше.

---

[1]) Сентябрь 1905 г.

Книга г. Арцыбашева начинается разсказомъ „Паша Тумановъ", который и по времени былъ первымъ разсказомъ его, хотя появился только теперь. Судьба его такъ характерна, что не мѣшаетъ сказать о ней два слова. Сначала онъ былъ переданъ авторомъ въ редакцію „Русскаго Богатства", гдѣ его немедленно приняли и напечатали, но по независящимъ отъ редакціи обстоятельствамъ разсказъ не могъ появиться. Тогда, это было какъ разъ въ самый разгаръ „Сердечнаго попеченія" о средней школѣ покойнаго Ванновскаго, „Паша Тумановъ" поступилъ къ намъ, но и тутъ тоже „независящія" обстоятельства встали непреодолимой преградой между авторомъ и читателемъ. По нашему совѣту г. Арцыбашевъ передалъ его въ журналъ безъ предварительной цензуры, гдѣ однако, узнавъ предварительную исторію хожденія по мытарствамъ этого разсказа, не рѣшились его напечать. Можно подумать, что авторъ задался цѣлью по меньшей мѣрѣ „разрушить государство", а дѣло все въ томъ, что онъ далъ удивительно написанную картину душевныхъ мукъ юноши, который, затравленный школой, убиваетъ директора. Въ разсказѣ усмотрѣли нападеніе на систему средней школы и призывъ къ насильственному ея разрушенію. Между тѣмъ, въ немъ нѣтъ ни того, ни другого, потому что онъ гораздо значительнѣе и глубже. Авторъ поступилъ правильно, уничтоживъ бывшій раньше подзаголовокъ: „поэма дореформенной гимназіи", такъ какъ гимназія играетъ здѣсь не главную роль.

Паша Тумановъ обычный типъ юноши, начинающаго „мыслить и страдать", со всѣми уклоненіями и порывами, свойственными этому неустановившемуся возрасту, когда все въ человѣкѣ находится въ движеніи. Отъ существованія почти исключительно физіологическаго, свойственнаго дѣтству, начинается переходъ къ самому важному — къ сознанію себя человѣкомъ, къ осмысленному отношенію къ обществу, къ окружающей жизни, къ людямъ. Въ этотъ важнѣйшій моментъ перелома, когда въ насъ подымается впервые сознательная личность, Паша Тумановъ, какъ и тысячи его товарищей, не встрѣтилъ никого, кто направилъ бы кипѣвшія въ немъ силы на правильный путь духовнаго развитія, а наоборотъ, все окружающее было такъ устроено, чтобы подавить въ немъ личность и отлить его, Пашу, по готовому и для всѣхъ одинаковому образцу.

Онъ въ одномъ изъ послѣднихъ классовъ и чувствуетъ, что запустилъ дѣло ученія и что на экзаменѣ его ожидаетъ провалъ. „Почему такъ много, неопредѣленно много было упущено, Паша не зналъ. Отчасти это случилось по лѣни, отчасти по обстоятельствамъ, отъ Паши не зависящимъ, на

главнымъ образомъ отъ того, что настоящая, дѣйствительная жизнь цѣликомъ захватывала своими интересами живого Пашу Туманова; а эта жизнь шла далеко въ сторонѣ отъ мертвой неподвижной гимназіи". Одновременно съ чувствомъ жалости къ себѣ у него закипало и глухое озлобленіе противъ людей, которыхъ онъ считалъ виновными въ своемъ несчастіи, противъ директора гимназіи и преподавателя латинскаго языка. Онъ ошибался: причины его несчастія заключались вовсе не въ этихъ двухъ чиновникахъ министерства народнаго просвѣщенія, не въ ихъ относительныхъ достоинствахъ и недостаткахъ, какъ преподавателей, людей и чиновниковъ, а въ томъ противоестественномъ положеніи вещей, по которому двадцатилѣтняго юношу, жаждущаго смысла и интереса въ жизни, заставляли зубрить неинтересные, лишенные жизненнаго смысла учебники и, наоборотъ, лишали того, чего онъ въ теченіе всей юности добивался".

Чего же онъ добивался? Чего-нибудь невозможнаго, несуществующаго, надуманнаго, намечтаннаго необузданной фантазіей юности? Нѣтъ. Въ прекрасной сценкѣ встрѣчи послѣ экзамена, на которомъ Паша провалился, со старикомъ-рыболовомъ, отцомъ тоже провалившагося товарища Паши, мы видимъ, что его влечетъ и радуетъ просто *жизнь*, здоровая, яркая жизнь, радующая его, какъ и все живое и здоровое. „Благодать!"—радуется старикъ весеннему дню, солнцу, птицамъ, плескающейся у его ногъ рѣки, и видя уныніе Паши удивляется. „Ну, не выдержали вы экзамена... Васька мой тоже не выдержалъ?... Ну, да. А вѣдь онъ, навѣрно, и въ усъ не дуетъ? А отчего? Оттого, что ему наплевать... Оно, конечно, получить свидѣтельство тамъ, на мѣсто поступить... Это хорошо... А только не въ этомъ сила... Много ли ума нужно, чтобы латинскія спряженія да геометрію съ исторіей вызубрить? Сиди да зубри — только и всего. И не нужно это никому, а такъ только, чтобы мѣстечко похлѣбнѣе потомъ добыть. Такъ, вѣдь, это какъ кому: иному ничего, кромѣ мѣстечка, не нужно, ну тотъ и зубритъ, и старается... а иному вотъ эта рѣка тамъ, да воздухъ, тому какое зубреніе? Тотъ и не зубритъ. А развѣ хуже онъ оттого, что ради теплаго мѣстечка не старается? Такъ-то... Да, молодой человѣкъ, напрасно вы такъ... Ну, провалились... оно, конечно, непріятно, но не хуже вы отъ этого не стали, ни лучше... такой какъ были, такимъ и остались, Право!.."

Оставшись одинъ, Паша задумался надъ этой, повидимому, нехитрой философіей старика, „и хотя не могъ понять словъ его въ томъ глубокомъ смыслѣ, который вклады-

валъ въ свои спутанныя рѣчи старый рыболовъ, но ему все-таки стало легче". И солнце, и рѣка, и птицы снова засверкали для него, запѣли и заставили на минуту забыть и провалъ на экзаменѣ, и его послѣдствія. Вмѣстѣ съ нимъ становится легче и читателю при мысли, что, и въ самомъ дѣлѣ, не одинъ „провалъ", бывшій въ его жизни, куда легче можно бы перенести, если бы не тѣ тысячи нитей всякихъ пустяковъ, которыми мы сами себя опутали и изъ за которыхъ каждый изъ насъ „свѣту божьяго солнца не радъ". Совлечь съ себя эту паутину, порвать съ условностями, дать выходъ своему „я" на волю,—„и сейчасъ же сводъ неба раздвинулся бы, вода стала бы прозрачнѣе и плескала бы звучнѣе, струйки весело зазвенѣли бы и заговорили въ гладкомъ пескѣ, солнце стало бы ярче и теплѣе и послышалось бы много новыхъ звуковъ, живыхъ и смѣлыхъ, которыхъ онъ до этого не замѣчалъ".

Но Паша, какъ и тысячи тысячъ изъ насъ, не въ силахъ совлечь съ себя ветхаго человѣка, въ котораго его успѣли преобразить и семья, и школа, и погибаетъ жалкимъ образомъ, возбуждая справедливое и искреннее сожалѣніе въ секретарѣ полицеймейстера, къ которому онъ явился послѣ преступленія: „Бѣдный мальчикъ!.."

Да, истинно бѣдный, но, право, не бѣднѣе тѣхъ, что „вызубрили" все требуемое для „тепленькаго мѣстечка", которое исковеркало имъ душу, изсушило сердце и превратило въ живыхъ мертвецовъ, безъ воли, безъ желанія и проблеска радости.

Но—это между прочимъ. Авторъ въ дальнѣйшихъ разсказахъ даетъ намъ новые образцы разбитыхъ безъ вины жизней. Таковъ конокрадъ Купріянъ, такова взбунтовавшаяся Саша (повѣсть „Бунтъ"), таковъ прапорщикъ Гололобовъ, и докторъ („Смѣхъ"), и другіе герои разсказовъ, которые не могутъ уже, не въ силахъ выбиться для настоящей жизни изъ узилища жизни дѣланной, условной и гнусной по своей дикости и безсмысленности.

Отсюда трагедія каждаго изъ нихъ. Все, что въ нихъ есть человѣческаго, прекраснаго и добраго, не находитъ примѣненія въ жизни, выпавшей на ихъ долю. Напротивъ, все извращенное, навязанное внѣшними силами, все чуждое имъ по существу, по складу ихъ личности, торжествуетъ. Въ борьбѣ ихъ скрытой сущности съ этимъ внѣшнимъ ихъ существомъ они и погибаютъ, какъ „бѣдный мальчикъ" Паша, котораго уже послѣ преступленія пожалѣлъ секретарь полиціи, но никого не нашлось, кто пожалѣлъ бы его до преступленія, кромѣ старика-рыболова.

Вотъ Купріянъ-конокрадъ. Онъ „съ измальства мыкается...

Ну, двѣнадцати годовъ съ батькой первую лошадь свели... У насъ всѣ такъ... Еще дѣдъ промышлялъ, потому нѣтъ никакой возможности, земли мало, да и ту хоть брось!" Но онъ—коренной земледѣлецъ, земля его тянетъ: „такъ бы и взрылъ всю землю, и чтобъ зеленя, зеленя пошли кругомъ". Ему на мужиковъ „завидно". Онъ сильный, ловкій и сердечный человѣкъ, какъ и всѣ сильные, простые и здоровые люди. Онъ сходится по любви съ „солдаткой", жалѣя ея „сиротство", и когда приходитъ со службы мужъ, не хочетъ ее покинуть, втайнѣ надѣясь спасти ее и сына отъ „смертнаго" боя мужа. Эта надежда и губитъ его: крестьяне ловятъ его на свиданіи съ любимой женщиной и, какъ конокрада, убиваютъ.

Трагическая красота этого разсказа еще усиливается выясненіемъ такой же пришибленности и подавленности личности и остальныхъ людей, противъ которыхъ выступаетъ Купріянъ. Соперникъ—мужъ, по существу вовсе не звѣрь, онъ такой же крестьянинъ, тяготѣющій къ землѣ, какъ и Купріянъ. Въ солдатчинѣ онъ не забылъ ни жены, ни дома, и хотя „за пять лѣтъ солдатчины Егоръ Шибаевъ совершенно отвыкъ отъ жены, но, тѣмъ не менѣе, хорошо помнилъ, что въ деревнѣ у него осталась жена, и хотя самъ, какъ всякій солдатъ, жилъ съ другими женщинами, онъ твердо вѣрилъ въ несокрушимость своихъ правъ надъ женой... Вспоминать о женѣ ему было всегда пріятно не потому, чтобы онъ ее любилъ, а потому, что онъ чувствовалъ себя солиднѣе, имѣя жену и домъ... Въ городѣ и солдатчинѣ, онъ совершенно забылъ деревню и его не тянуло туда, но когда поѣздъ двинулся и понесся по чернѣющимъ распаханнымъ полямъ съ кучками гнилого навоза и черными грачами, разгуливающими по межамъ, хорошее, радостное и оживленное чувство пробудилося у него въ душѣ, и онъ уже по цѣлымъ часамъ глядѣлъ въ окно вагона на безконечныя сѣрыя равнины, затянутыя сѣрой завѣсой дождя и сливающіяся на горизонтѣ съ такимъ же сѣрымъ небомъ. Все то грязное, скверное и безтолковое, что насадила ему въ душу безсмысленная, непонятная его мужицкому уму и сердцу, солдатская жизнь, разомъ исчезло, уступивъ мѣсто сначала безотчетно радостному настроенію человѣка, приближающагося послѣ долгаго отсутствія къ роднымъ мѣстамъ, а потомъ и дѣловымъ соображеніямъ хозяина-мужика, проснувшагося въ немъ, несмотря на колоссальную величину той мерзости, разврата и лѣни, которая нашла на него въ казармахъ". Его мечты о жизни по-хорошему сразу наталкиваются на неприглядную дѣйствительность: жена „связалась", да еще съ конокрадомъ. Дальнѣйшее естественно

вытекаетъ изъ этого столкновенія вѣковыхъ взглядовъ на жену, какъ на собственность, съ разбитыми мечтами о хорошей жизни и еще съ чѣмъ-то, внезапно съ острой болью пробудившемся въ немъ. Избивъ жену до полусмерти, „онъ опустилъ голову на локоть и зарыдалъ, чувствуя, что испорчено навсегда и еще что-то хорошее, чего онъ и самъ не сознавалъ“, и что можно назвать личнымъ достоинствомъ, что придавало ему въ собственныхъ глазахъ вѣсъ и значеніе—уваженіе къ себѣ не какъ къ солдату, унтеръ-офицеру, не къ мужику-хозяину, а къ человѣку, мужу и отцу. Забитая личность проснулась и въ немъ, но уже поздно и безъ пользы для него и для окружающихъ.

Трагедія проснувшейся личности еще ярче очерчена въ лучшемъ, по нашему мнѣнію, произведеніи г. Арцыбашева, въ повѣсти «Бунтъ». Это дѣйствительно бунтъ «на днѣ». Саша одна изъ обычныхъ жертвъ „общественнаго темперамента“. Какъ она ни забита и унижена, но въ ней еще теплится искорка личности, не желающей примириться съ невозможностью выбиться, отстоять себя, и она взбунтовалась противъ жизни. Она молода, красива, здорова, и когда ея подруга погибаетъ отъ обычной, въ ихъ положеніи „случайности“, Саша не выдерживаетъ. „И всегда-то такъ“—эти страшныя слова подымаютъ со дна души всѣ силы личности, жаждущей жить, бороться, отстаивать свое „я“. Весь ужасъ ея положенія освѣщается какъ молніей одной ясной, до боли яркой мыслью, что она, Саша, не человѣкъ, а вещь, хуже вещи... „Мы что тутъ?.. Такъ... падаль одна! Живемъ, пока сгніемъ... А другіе же живутъ... свѣту радуются“... Разъ проснувшаяся личность уже не можетъ терпѣть прежнее, Саша или должна покончить съ собой, какъ ея подруга, или уйти. „Куда? Тамъ видно будетъ. Уйти бы только!..“ Но надежда на новую лучшую жизнь не оправдалась. Тѣ тысячи нитей общественныхъ условій, въѣвшихся въ душу каждаго, опутывающихъ насъ какъ паутиной, невидимой и тѣмъ болѣе крѣпкой, не даютъ ей выбиться со дна, развернуть своихъ силъ, проявить то прекрасное, человѣчное, что есть въ ней, и тянутъ ее назадъ. Она хочетъ жить, „свѣту радоваться“, а ее приспособляютъ къ уходу за больными, приковываютъ къ разлагающейся отъ рака несчастной больной, требуютъ терпѣнія, смиренія, покорности. Но и противъ этого она не возстала бы, если бы видѣла цѣль впереди, хотя какое-нибудь утѣшеніе въ сознаніи, что это ее дѣлаетъ снова человѣкомъ, такимъ какъ всѣ. Она любитъ, впервые любитъ настоящей чистой любовью, для которой не одно ея тѣло нужно, но и душа, какъ она думаетъ и вѣритъ. И въ этомъ чувствѣ она получаетъ самый важный и чувстви-

тельный для нея ударъ. Студентъ, который, поддавшись порыву, помогаетъ ей выбраться на поверхность, не можетъ спасти ее, потому что все противъ него — и его семья, и онъ самъ, смутно понимающій, что ему не отдѣлаться отъ особаго взгляда на „этихъ женщинъ". Саша снова „бунтуетъ", на этотъ разъ безповоротно, противъ всѣхъ. „Чортъ съ вами со всѣми!" и кидается, какъ въ омутъ „на дно", откуда порывъ вынесъ ее было на поверхность на одну только минуту, чтобы затѣмъ кинуть туда уже навсегда. Этотъ двойной бунтъ личности, по истинѣ, настоящая пощечина лицемѣрному обществу, въ которомъ все приспособлено для гибели души и нѣтъ средствъ для помощи, для спасенія личности, которой въ борьбѣ остается разсчитывать только на себя. У кого не хватаетъ силъ, тотъ долженъ тонуть какъ Паша Тумановъ, Купріянъ, Саша и тысячи имъ подобныхъ. Таковъ безотрадный выводъ, самъ собою вытекающій изъ исторіи ихъ разбитыхъ существованій.

А жизнь тѣмъ не менѣе хороша! Вотъ что, какъ призывъ повторяется въ каждомъ почти изъ разсказовъ г. Арцыбашева. Она можетъ быть, она должна быть прекрасна, только не надо портить ее самимъ всякимъ вздорамъ, засоряющимъ душу, умъ, сердце. Авторъ страстно любитъ жизнь, его настроеніе полно жизнерадостности, и тѣмъ трагичнѣе поэтому его печальныя повѣсти о томъ, какъ люди сами дико, безсмысленно портятъ себѣ и другимъ эту чудную жизнь, только разъ каждому данную никогда уже не повторяющуюся.

„Она выходила ко мнѣ на свиданіе черезъ вишневый садъ, по насыпи, въ тоненькую и бѣлую березовую рощицу. Еще издали была видна ея высокая и гибкая фигура и мягкимъ силуэтомъ вырѣзывалась въ безконечно широкомъ и глубокомъ небѣ, усѣянномъ золотыми, голубыми и красными звѣздочками и далеко облитомъ ровнымъ холоднымъ свѣтомъ луны.

„За насыпью была густая, черная и жуткая тѣнь, въ которой неподвижно и чутко стояли тоненькіе стволы березокъ и молчаливо тянулась отъ земли высокая влажная трава. Въ этой рощѣ я ждалъ ее, и мнѣ было жутко и весело въ прозрачной голубой тѣни. Когда въ небѣ, высоко надо мною, вырисовывался знакомый силуэтъ, я карабкался навстрѣчу, скользя по мокрой травѣ, подавалъ ей руку, и мы оба, точно падая, стремительно сбѣгали внизъ, съ силой разгоняя густой воздухъ, развѣвавшій волосы и шумѣвшій въ ушахъ, влетали въ сумракъ и тишину рощи и вдругъ сразу замирали, по колѣни въ травѣ, сильно и смущенно прижимаясь всѣмъ тѣломъ другъ къ другу.

„Мы почти не говорили, и намъ не хотѣлось говорить. Было тихо, пахло страннымъ, таинственно непонятнымъ ароматомъ, отъ котораго кружилась голова, и все исчезало изъ глазъ и сознанія, кромѣ жгучаго и тревожнаго наслажденія. Сквозь тонкую, сухую матерію я чувствовалъ, какъ чуть-чуть дрожало и томилось, наслаждаясь, молодое, сильное упругое и нѣжное тѣло, какъ подавалась и ускользала изъ моихъ влажныхъ пальцевъ круглая и мягкая грудь. Близко-близко отъ своего лица я видѣлъ въ темнотѣ полузакрытые, какъ будто ничего не говорящіе, слабо и таинственно поблескивающіе изъ-подъ рѣсницъ глаза. Трава была мокрая и брызгала холодной, пріятной росой на голое тѣло, странно теплѣвшее въ прохладномъ и влажномъ воздухѣ. Какъ будто на всю рощу разносились торжествующіе удары нашихъ сердецъ, но намъ казалось, что во всемъ необъятно-громадномъ мірѣ нѣтъ никого, кромѣ насъ, и никто не можетъ притти помѣшать намъ среди этихъ сдвинувшихся березокъ, ночныхъ тѣней, влажной травы и одуряющаго запаха сырого, глубокаго лѣса. Время шло гдѣ-то внѣ, и все было наполнено однимъ жгучимъ, неизъяснимо прекраснымъ, могучимъ и смѣлымъ наслажденіемъ жизнью“.

Развѣ это не настоящій „гимнъ торжествующей любви“? И какое печальное заключеніе! Герой этого разсказа („Жена“) женится на любимой дѣвушкѣ и... скоро ничего не остается отъ этого ликованія „могучимъ и смѣлымъ наслажденіемъ жизнью“.

Отчего же произошло, что только изнанка жизни остается любящимъ супругамъ, а вся поэзія, все, что приподымало ихъ надъ этой изнанкой и скрашивало ее, поблекло и улетучилось? Отъ пустяковъ житейскихъ, отъ непониманія личности другъ друга и неуваженія къ ней, отъ вздора, противъ которой защитой можетъ служить только неустанное стремленіе „впередъ и выше“, отъ безцѣльнаго топтанія на мѣстѣ и нечеловѣчнаго взаимнаго отношенія, когда столько надо нѣжности, не бросающейся въ глаза, но проникающей все и всюду, снисхожденія къ слабости и высшей оцѣнки взаимныхъ достоинствъ. Словомъ, уваженіе къ чужой личности должно стоять на первомъ планѣ. А вмѣсто того въ жизни героя начинается обоюдное стѣсненіе, тысячи мелочей, возводимыхъ въ нѣчто столь важное, что вся старая жизнь, привычки и потребности каждаго подчинены именно этой мелочной, несущественной сторонѣ, въ угоду которой приносится самое главное—свобода личности. Обѣ стороны оказались далеко не на высотѣ положенія, и если не опустились „на дно“ супружеской жизни, какъ огромное боль-

шинство, то лишь благодаря скорому бѣгству мужа, что дало имъ свободу и возможность вновь попытать счастья.

Другіе несчастливцы кончаютъ иначе, какъ подпрапорщикъ Гололобовъ или сумасшедшій и докторъ въ очеркѣ „Смѣхъ". Эти трое безличностей помѣшались отъ страха смерти. Представимъ себѣ такого Гололобова, какимъ онъ очерченъ въ разсказѣ: почти мальчика, плохо развитаго, но склоннаго къ рефлексіи и богомольнаго. Жизнь монотонная, день въ день, безъ выдающихся интересовъ и особаго содержанія. Скучно, тускло, сѣро. И понятнымъ становится начинающій мучить его вопросъ о безцѣльности жизни и неизбѣжности смерти. „Каждый человѣкъ долженъ думать о смерти, потому что положеніе каждаго человѣка есть положеніе приговореннаго къ смертной казни". Такъ гласитъ первое заключеніе, выведенное бѣднымъ подпрапорщикомъ изъ своего и общаго опыта. „Я не хочу умирать, но умру. Во мнѣ есть желаніе жить, и весь я приспособленъ къ жизни, а все-таки я умру. Это и насиліе, и противоестественно". Противъ этого закона природы ничего не подѣлаешь, а потому не лучше ли, не дожидаясь, когда природа выполнитъ свой приговоръ, самому покончить съ собой? Но вѣдь это будетъ насиліе надъ самимъ собой",—возражаетъ Гололобову слушающій его странныя изліянія докторъ. „Нѣтъ,—отвѣчаетъ подпрапорщикъ. Это будетъ насиліемъ моего духа надъ природой... Духъ мой есть именно я, а тѣло только случайное помѣщеніе, не больше... Если бы тѣло мое было именно я, то я бы остался жить Смерть не была бы тогда приговоромъ къ казни: вѣдь и послѣ смерти моей тѣло останется. Тѣло есть вѣчно... Это фактъ: я умру, тѣло распадется на атомы, атомы сложатся въ какую-нибудь иную форму, но сами не измѣнятся, и ни одинъ не исчезнетъ. Можно даже допустить, что комбинація когда-нибудь повторится, и будетъ таже форма. Это пустяки... Духъ умретъ... Я исчезну. Будетъ ли потомъ мой духъ святымъ въ раю, или грѣшникомъ въ аду, или переселится въ другое существо,—я, именно я, мои пороки, привычки, смѣшныя и прекрасныя особенности, мои сомнѣнія, мой умъ, моя глупость, мой опытъ и мое незнаніе, все то, что было именно подпрапорщикомъ пѣхотнаго полка, человѣкомъ Гололобовымъ, все исчезнетъ. Будетъ, что угодно, но не Гололобовъ".

Эта безотрадная философія заражаетъ другого такого же несчастливца, доктора, онъ поддается ей и чуть съ ума не сходитъ въ одинокую, глухую, темную ночь. „И какой идіотъ думаетъ о томъ, какъ лучше и честнѣе и умнѣе жить, когда надо думать о томъ какъ ужасно умереть?"—со злобою восклицаетъ онъ. Но въ томъ то и дѣло, что и Голо-

лобовъ, и докторъ не *жили* и не *живутъ*, — иначе, самая мысль о неизбѣжности смерти вовсе не была бы такъ мучительно-неотвязна для обоихъ. Побороть въ себѣ страхъ смерти можно только полнотою жизни, когда всѣ силы души и тѣла принимаютъ дѣятельное участіе въ борьбѣ жизни, не давая ни минуты безцѣльнаго прозябанія, сѣренькаго, стихійнаго, неосмысленнаго существованія, какое влачатъ тысячи-тысячъ Гололобовыхъ и злополучныхъ сумасшедшихъ (разсказъ „Смѣхъ"). Для тѣхъ, кто умѣетъ отстоять себя и проявить всѣ силы своего „я", и жизнь прекрасна, и смерть не страшна. Имъ ближе и понятнѣе, чѣмъ эта мертвящая философія, всепримиряющая мысль безсмертнаго поэта:

И пусть у гробового входа
Младая будетъ жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вѣчною сіять...

Самъ авторъ не на сторонѣ смерти. Онъ нигдѣ этого не высказываетъ, но онъ слишкомъ любитъ жизнь, какъ мы видѣли, любитъ природу, которую описываетъ вездѣ съ подкупающей красотой и художественностью. Онъ возмущается всякимъ насиліемъ, надъ чѣмъ-бы и въ чемъ-бы оно ни проявлялось. Въ разсказѣ „Кровь" (въ первоначальной редакціи онъ былъ озаглавленъ „Диссонансъ", что излишне подчеркивало основную мысль) съ особенной яркостью проступаетъ его любовь къ природѣ и отвращеніе отъ всякаго насилія, какъ вносящаго уродства, дисгармонію въ жизнь, въ которой все полно для него гармоніи и красоты, хотя на самомъ дѣлѣ это не совсѣмъ то такъ, и тамъ, гдѣ онъ видитъ только жизнь, скрывается подчасъ насиліе и смерть на каждомъ шагу. Въ этомъ очеркѣ ярко проведена мысль о томъ противорѣчіи, которое вноситъ съ собой всюду человѣкъ. Предъ нами веселая компанія, пріѣхавшая на охоту въ деревню, все интеллигентная молодежь, одухотворенная лучшими стремленіями, враждебная всякому насилію, кровопролитію и злобѣ. А между тѣмъ съ перваго появленія ея уже проливается кровь животныхъ, цыплятъ и барашковъ, которыхъ они кушаютъ, ни мало не смущая себя вопросами о погибшихъ жизняхъ. Далѣе идетъ кровопролитная потѣха—охота, опустошающая и распугивающая мирное болото, гдѣ жизнь кишмя кишитъ. Въ любовномъ мастерокомъ описаніи этого уголка лучше всего сказывается жизнерадостное настроеніе автора.

„Болото было большое, кочковатое, съ мелкимъ и чистымъ озеркомъ посрединѣ. Съ одной стороны болота разстилались безконечные, сплошь густо зеленые луга, а по другую —

заняла еще почти безлистая роща, и чуть-чуть виднѣлись отсюда тоненькія, какъ ниточки, стволы бѣлыхъ березокъ. Все болото покрывали пухлыя круглыя кочки, между которыми всюду весело блестѣла вода и желтѣли камыши. Небо надъ болотомъ какъ-будто было еще чище и голубѣе, а воздухъ прозрачнѣе. Все было видно отчетливо и ярко, и послѣдняя тростинка желтѣла на солнцѣ, какъ золотая палочка.

„И, казалось, все болото было живое: за каждой кочкой была жизнь и шевелилось живое существо. Утки крякали спокойно и разсудительно, и ихъ мирное кряканье отчетливо было слышно на берегу. То тутъ, то тамъ какой-нибудь красавецъ селезень неожиданно срывался на воздухъ, съ крикомъ проносился надъ водой и, описавъ широкій полукругъ, садился, шумно бороздя голубую воду, которая долго не могла успокоиться и вся рябилась, точно улыбаясь отражавшемуся въ ней небу. Длинноногіе кулички, съ востренькими носиками, вытянувъ тоненькія комариныя ножки, одинъ за другимъ перепархивали съ кочки на кочку и съ радостнымъ пискомъ уносились все дальше и дальше къ синѣющей рощѣ. Далеко подымались двѣ-три гусыни и, тяжело махая крыльями, перегоняя другъ друга, подымались невысоко надъ болотомъ и вдругъ грузно шлепались на чистое мѣстечко, блестѣвшее между камышами. Тамъ, гдѣ болото было чище и начиналось озерцо, видны были десятки нырковъ, какъ черныя точки, быстро кружившихся по водѣ. Ближе, по мелкому мѣсту чинно стояли на одной ногѣ, цапли и, втянувъ головы въ плечи, важно поводили длинными носами, точно любуясь природой. Бѣлыя чайки, какъ всегда, кружились повсюду, припадая бѣлой грудью къ водѣ, и опять взмывали кверху, махая длинными гибкими крыльями и зорко выглядывая по сторонамъ. Далеко вереницей пролетѣли гуси и опустились гдѣ-то за рощей, утонувшей въ волнахъ голубого воздуха и свѣта.

„И все гомонило, кричало, пищало. И всѣ эти могучіе звуки прекрасной вольной жизни сливались въ одинъ торжествующій гулъ, покрывавшій все озеро“.

Только человѣкъ вноситъ противорѣчащій этому диссонансъ, распространяя вокругъ себя смерть и несчастіе. Гуманные, проникнутые, казалось-бы, любовью и жалостью, люди безпощадно истребляютъ подвернувшихся подъ выстрѣлъ птицъ ради дикой забавы. У нихъ нѣтъ даже того оправданія, какое можетъ привести звѣрь, питающійся другими животными, такъ какъ вся эта уйма перебитой птицы вовсе не нужна имъ, какъ пища. Имъ нужно упоеніе истребленіемъ, ихъ увлекаетъ самый процессъ убійства, удача,

ловкость, умѣнье убить какъ можно больше. „Ихъ лица горѣли, глаза блестѣли, шапки съѣхали на затылокъ. Убитая дичь ихъ уже не занимала, они торопливо, какъ попало, совали ее въ яхташи и опять устремляли воспаленные широко раскрытые глаза на собаку, которая окровавленной и слюнявой мордой тянула впереди". А возвратившись съ охоты, пресыщенные убійствомъ, усталые отъ крови, они снова и снова станутъ вести безконечные разговоры „о томъ далекомъ утопическомъ времени, въ которое они не вѣрили, когда все, и люди и порядокъ жизни, будутъ не такими, какъ теперь, а гораздо лучше, когда будетъ ясно для всѣхъ разграничено понятіе о добрѣ и злѣ".

Но что для насъ бѣдныя животныя, крови которыхъ мы даже замѣтить не можемъ, — до того мы уже въѣлись въ нее! Мы настолько привыкли ко всякимъ противорѣчіямъ въ жизни, ко злу и несчастью, что нужно нѣчто рѣзкое, изъ ряду вонъ выходящее, ужасное, чтобы заставить насъ задуматься и оглянуться. Смерть и гибель Купріяна, Паши Туманова, Саши и другихъ, развѣ на минуту остановятъ нашу мысль, мы лишь скользимъ по поверхности жизни, не задаваясь вопросомъ, что происходитъ тамъ, въ глубинѣ, гдѣ кроются причины этихъ несчастій. Нуженъ ужасъ, чтобы встряхнуть человѣческую толпу, пробудить въ ней полузадушенные человѣческіе инстинкты, чувства взаимной любви и голосъ справедливости. „Ужасъ" — такъ названъ послѣдній разсказъ г. Арцыбашева—потрясаетъ, вскрывая внезапно ложь, насиліе, животную грубость, царящія въ общественныхъ отношеніяхъ, глубоко скрытыя подъ личиной лицемѣрнаго порядка и тихаго благополучія.

Предъ читателемъ одинъ изъ тѣхъ многочисленныхъ фактовъ, которые рѣдко и то лишь случайно всплываютъ наверхъ и становятся общимъ достояніемъ. Совершено насилье надъ дѣвушкой и, чтобы скрыть его, убійство. Виновники — становой, слѣдователь и докторъ, — случайно съѣхавшіеся по какому-то дѣлу, случайно напиваются, случайно натыкаются на подвернувшуюся дѣвушку и случайно-же совершаютъ преступленіе, которое, быть можетъ, уже не разъ совершалось каждымъ изъ нихъ и развѣ какъ своеобразный эпизодъ мелькало въ ихъ воспоминаніяхъ. Въ данномъ случаѣ дѣло осложнилось, благодаря сопротивленію жертвы и нежданной для нихъ самихъ смерти ея. Они вовсе не отпѣтые злодѣи, а самые обыкновенные русскіе обыватели-чиновники, которымъ въ условіяхъ нашей обывательщины всякое съ рукъ сходило и безъ шума удавалось хоронить концы въ воду. Они искренно изумлены совершеннымъ и огорчены до глубины души и тѣмъ, что надѣ-

лали, и тѣмъ, что изъ того воспослѣдовало. Но главное, что ихъ пугаетъ, это страхъ, страхъ огласки, шума, отвѣтственности. Не само преступленіе терзаетъ и мучаетъ, а то, что за это надо отвѣтить. „Минутамм казалось доктору, что все это „такъ", ошибка, ошибка поправимая, что все это кончится, пройдетъ, и опять будетъ такъ же хорошо, весело и удобно жить, какъ прежде. Но вдругъ наплывалъ огненный непонятный туманъ: хорошенькая голая женщина, въ черныхъ чулкахъ, съ голубыми подвязками, женщина, которая мгновеніе была только вещью, съ которой дѣлали они, что хотѣли, съ безумнымъ наслажденіемъ, жестокостью и властью, терзая мягкое, сладострастное, жгучее тѣло, вдругъ выплывала изъ тумана пьянаго безумія и забвенія—синимъ холоднымъ трупомъ. И жизнь исчезала, исчезала возможность жизни, будущій день проваливался въ черную дыру безысходнаго страха. Вставали какіе-то карающіе образы, знакомыя лица становились чужими и страшными, подымались надъ головой неизбѣжныя властныя руки, и сердце падало, замирая, въ бездну стыда и страха".

Товарищи доктора, слѣдователь и становой, хладнокровнѣе относятся къ случившемуся. Для нихъ весь вопросъ въ томъ, какъ скрыть все, а изворотливый, бывавшій въ передѣлкахъ, становой сейчасъ же находитъ и выходъ. „Я сейчасъ узналъ, что двое мужиковъ видѣли, какъ сторожъ Матвѣй Похвальный выходилъ ночью изъ школы... А? Вотъ и спасеніе!.. Изнасилованія не будетъ, будетъ грабежъ... грабежъ понятнѣе и не такъ громокъ!.. Понимаете?.. Сторожа сбить съ толку не трудно, я берусь"... Дѣло налаживается хорошо, но тутъ-то и сказывается сила ужаса. Молчаливая масса, тоже видавшая взякіе виды, не выдерживаетъ и вмѣшивается. Ее поражаетъ и двойное преступленіе, и его безнаказанность. Впечатлѣніе ужаса растетъ и распространяется. „Еще съ вечера невидимая и неслышимая, ползущая тайно изъ устъ въ уста, пошла во всѣ стороны тяжелая молва о злодѣяніи. Было совсѣмъ тихо, но въ этой мертвой тишинѣ отчаянный крикъ, казалось летѣлъ отъ человѣка къ человѣку, и въ душахъ становилось больно, страшно, и тяжелое, кошмарное, рождалось возмущеніе. Оно таилось въ глубинѣ и какъ-будто уходило все глубже и глубже, но вдругъ неизвѣстно никому, какъ и гдѣ, точно крикнулъ въ толпѣ какой-то паническій голосъ, оно вырвалось наружу, вспыхнуло и покатилось изъ края въ край. На разсвѣтѣ рабочіе на бумагопрядильной фабрикѣ и на ближайшей желѣзной дорогѣ побросали работы и черными кучками пополали черезъ поля въ деревню.—Сами убили да сами и судъ вели,—заговорилъ тяжелый глухой

голосъ, и въ его шопотѣ стало наростать что-то огромное, общее грозное, какъ надвигающаяся туча. Оно росло съ сокрушительной силой и стремительной быстротой. И въ своемъ стихійномъ движеніи увлекало за собой все потаенное, задавленное, вѣковую обиду. Казалось, жизнь маленькой замученной женщины, въ дѣтскихъ черныхъ чулкахъ съ наивными голубыми подвязками, воплотила вдругъ въ себя что-то общее, свѣтлое, молодое, милое, безконечно и безнадежно задавленое и убитое. Не хотѣлось вѣрить, не хотѣлось жить, и ноги сами собой шли въ ту сторону, какъ на зовъ погибающаго, голоса сами собой принимали грозное и отчаянное выраженіе"... А дальше подавленіе, усмиреніе, вся обычная житейско-русская обстановка, превосходно выписанная авторомъ, съ заключительнымъ аккордомъ: „Въ сараѣ, при волости, на помостѣ лежали рядами неподвижные мертвые люди и смотрѣли вверхъ остановившимися навсегда бѣлыми глазами, въ которыхъ тускло блестѣлъ вопрошающій и безысходный ужасъ"...

Этотъ прекрасный, на рѣдкость выдержанный разсказъ выдвигаетъ идею ужаса въ ея чистомъ видѣ, въ какомъ въ жизни она не такъ-то часто встрѣчается. Правда, жизнь послѣднихъ двухъ-трехъ лѣтъ отчасти пріучила насъ и къ такимъ картинамъ... Но для автора важнѣе, какъ показываетъ нашъ разборъ его книги, обыденная жизнь, гдѣ изъ мелочей слагаются трагическія исторіи, о которыхъ онъ повѣтствуетъ съ такимъ талантомъ.

А жизнь сама по себѣ такъ прекрасна. Таковъ его выводъ. Если злб и насиліе торжествуютъ надъ добромъ и радостью, то вовсе не потому, что это неизбѣжно, стихійно, а потому, что мы придаемъ слишкомъ большое значеніе мелочамъ, подчиняемся имъ безъ борьбы и отравляемъ ими источникъ жизни—нашу свободную, гордую и чистую личность. Въ ней заложены задатки ко всему высокому и прекрасному, и нужно бороться со всѣмъ, что ведетъ къ подавленію, а не къ развитію личности. Не надо компромиссовъ съ совѣстью, довольно лжи и лицемѣрія, отъ которыхъ мы задыхаемся, не замѣчая, какъ понемногу глохнутъ прекрасные зачатки, вложенные въ насъ природою, и душа засоряется всяческимъ житейскимъ соромъ до того, что уже ничто почти не въ силахъ ее разбудить...

Изъ приведенныхъ многочисленныхъ выдержекъ читатели могутъ убѣдиться, насколько оригинально разрабатываетъ свои всегда значительныя темы авторъ, никогда не довольствуясь поверхностнымъ описаніемъ, а стараясь, какъ истинный художникъ-психологъ, проникнуть въ глубину душевныхъ движеній своихъ героевъ. Его манера напоми-